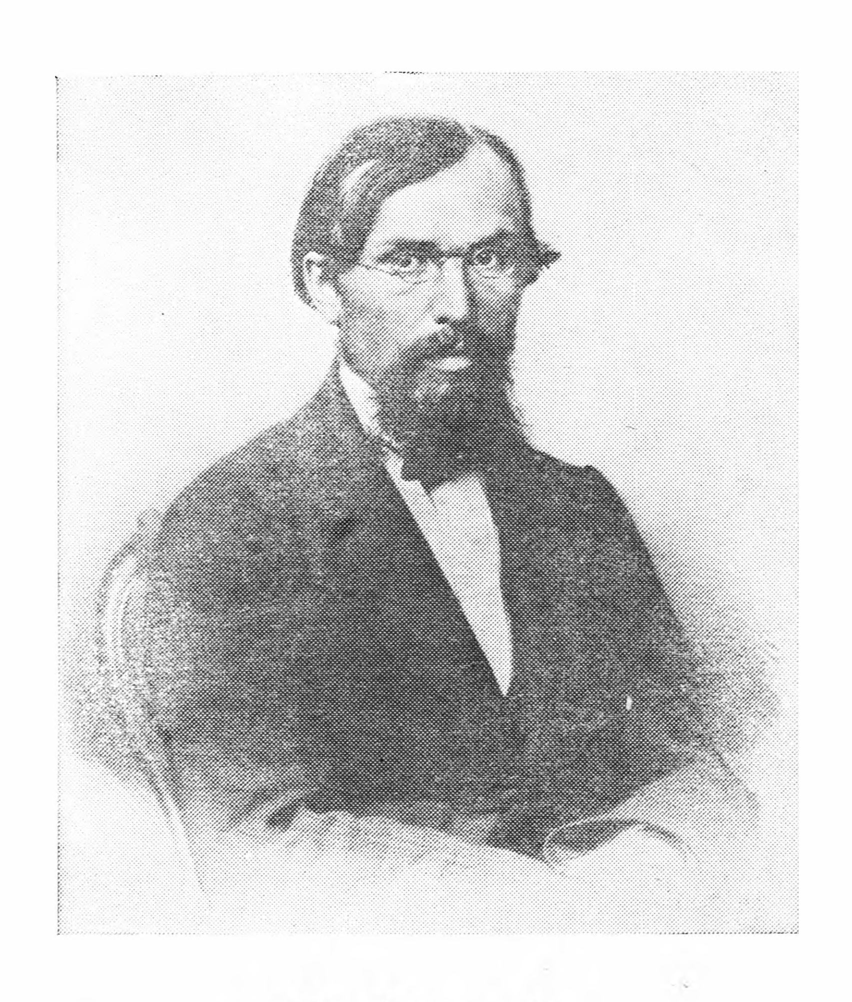


Куль хлеба

С.В. МАКСИМОВ
КУЛЬ ХЛЕБА



С. Максимовъ

С.В. МАКСИМОВ



РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

ЛЕНИЗДАТ
1987

Составление, вступительная статья
и примечания
А. Н. МАРТЫНОВОЙ

Художник *Е. И. Аносов*

М $\frac{4702010100-061}{М171(03)-87}$ 175—87

С. В. Максимов

Имя С. В. Максимова, всю свою жизнь посвятившего изучению духовной и материальной культуры русского народа, было широко известно читающей России прошлого века. Его талантливые произведения немало способствовали укреплению русского самосознания. С. В. Максимова высоко ценили его знаменитые современники: И. С. Тургенев, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. П. Чехов, А. Н. Островский, Н. С. Лесков. Большое влияние оказали его труды на творчество Н. А. Некрасова особенно на декабристские поэмы.

Сергей Васильевич Максимов родился 7 октября 1831 года в посаде Парфентьев Кологривского уезда Костромской губернии в семье мелкопоместного дворянина, служившего почтмейстером. Отец его был человек просвещенный и начитанный, в его доме охотно проводил время ссыльный поэт, критик и театральный деятель П. А. Катенин, один из руководителей Военного общества декабристской организации, которого вынужденная жизнь в деревне оторвала от литературной деятельности, а неудача декабрьского восстания лишила единомышленников.

В детстве будущий писатель в основном был предоставлен самому себе: мать его умерла, когда ему не было и двух лет, отец, не имевший других доходов, кроме жалованья, был всецело занят службой и не имел возможности наблюдать за воспитанием детей. Мальчик рос на свободе, в тесном общении с посадскими и крестьянскими детьми, принимал участие в их играх и забавах, целыми днями пропадая в лесу или на берегу речки Неи.

Рано познакомился С. В. Максимов со всеми особенностями крестьянского быта, с его обычаями и обрядами, дошедшими из глубокой древности и сохранившимися в неприкосновенности здесь, в «лесной глуши».

Успешно закончив костромскую гимназию, С. В. Максимов в 1850 году приехал в Москву, чтобы поступить на филологический факультет университета. Однако учиться ему пришлось на медицинском, поскольку правительство, напуганное революцией в Европе и делом петрашевцев в России, закрыло все остальные факультеты. В университете С. В. Максимов сближается с кружком молодой редакции «Москвитянина», во главе которого стоял А. Н. Островский. Именно здесь заложенная в детстве любовь к родной природе, простым русским людям, уважение к их верованиям, художественной культуре получили дальнейшее развитие. Этот кружок имел в виду Максимов, когда позднее писал о том, что Москве он обязан первыми литературными связями, литературным воспитанием и пробуждением сознания необходимости быть чем-нибудь полезным народу. Членов кружка объединял живой интерес к народному быту,

горячее сочувствие русскому крестьянину, любовь к народному творчеству. К кружку тянулась и демократически настроенная молодежь Москвы: музыканты, артисты, художники. Вспоминая о значении кружка, С. В. Максимов писал в старости: «Для нас незабвенным представляется то явление, что если в кружке московских друзей привольно было лишь коренным русским людям, то побывавший здесь уходил и с более приподнятым челом, уверенной и твердой поступью, как будто он на свое прирожденное звание получил оформленный и засвидетельствованный патент». В Москве началась дружба Максимова с А. Н. Островским, продолжавшаяся тридцать лет.

В 1852 году Сергей Васильевич переехал в Петербург, надеясь поступить на филологический факультет университета, но вместо этого оказался слушателем медико-хирургической академии. В это время «в подспорье к скудным средствам существования» он начал работу в «Справочном энциклопедическом словаре» Старчевского, где было помещено несколько его статей, в том числе биографический очерк о В. И. Дале.

Первые очерки С. В. Максимова, получившие признание читателей и критики, были опубликованы в журнале «Библиотека для чтения» в 1854 году. В небольших по объему произведениях писатель изображает картинки деревенской или городской жизни («Крестьянские посиделки в Костромской губернии», «Несколько слов о музыкальности») или воспроизводит быт крестьянина-отходника, в котором отразились все свойства его социальной среды («Извозчики», «Маляр», «Сергач», «Швецы»). В следующие три года публикуются еще несколько очерков С. В. Максимова («Дружка», «Сысоев», «Встреча», «Кулачок», «Булыня» и др.). Вместе с ранее напечатанными они составили цикл очерков, изданных отдельной книгой под названием «Лесная глушь» (1871). Первые произведения Максимова имеют много общего с физиологическими очерками. Показывая ту или иную профессиональную группу, социальную прослойку, Максимов раскрывает ее многосоставность, неоднородность, выявляет внутренние «подвиды» среди крестьян-отходников, уличных артистов, извозчиков, скупщиков и др. Это стремление исследовать общественное явление, всесторонне анализируя его, вскрывая внутренние, скрытые для поверхностного взгляда связи, станет основным методом всех последующих работ ученого-писателя. И всегда в основе его дифференциации — социальное и имущественное неравенство.

Однако при всей близости первых произведений С. В. Максимова к физиологическим очеркам, в них проявились те особенности его творческого метода, которые через несколько лет позволят А. Н. Пыпину, автору «Истории русской этнографии», назвать его одним из лучших представителей нового общественно-этнографического направления русской литературы. Для работ Максимова характерна почти научная точность, полнота и комплексность описываемых этнографических явлений, достоверность показа фольклора как живого процесса повседневного народного быта. Включая в ткань очерков произведения различных жанров народного творчества, писатель демонстрирует жизненную нерасторжимость материального и духовного начал народной культуры. Всестороннее знание С. В. Максимовым деревни, в частности экономики крестьянской семьи, раскрылось уже в первых его рассказах. Так, в очерке «Булыня» автор пишет о перекупщиках-булынях как о представителях «экс-

плуататоров крестьянской собственности, которая таким тяжким трудом наживается и с такой бессовестной беззастенчивостью выманивается различными способами».

Общее направление очерков Максимова, близкое устремлениям передовых писателей-демократов, приветствовал М. Е. Салтыков-Щедрин, писавший в «Отечественных записках» по поводу книги «Лесная глушь»: «Максимов принадлежит к числу лучших наших этнографов-беллетристов, и изданное им ныне новое собрание очерков и рассказов служит несомненным тому доказательством. Драгоценнейшее свойство Максимова заключается в его близком знакомстве с народом и его материальною и духовною обстановкою. В этом смысле его рассказы должны быть настольной книгой для всех исследователей русской народности наравне с трудами Даля, Мельникова, Якушкина и других».

Высокую общественную оценку со временем получила и другая сторона деятельности С. В. Максимова, прямо связанная с его литературным творчеством. Еще в ту пору, когда печатались первые очерки, Максимов, следуя совету И. С. Тургенева и собственному влечению, предпринимает первые шаги на пути активного, действенного познания русского народа — пути, которым он будет следовать всю свою жизнь. В 1855 году он совершает путешествия по Владимирской губернии с целью изучения промысла, быта и тайного языка офеней (коробейников).

Дело предстояло новое и очень нелегкое. Изучив литературу об этом своеобразном явлении русской жизни, С. В. Максимов нашел, что сведения об офенях скупы и немногочисленны. Известно было, что это один из видов отхожего промысла, которым занимаются крестьяне нескольких уездов Владимирской губернии, нанимаясь к московским купцам для торговли мелким товаром вразнос. Известно было также, что офени тщательно скрывают тайны своего ремесла и имеют особый язык, чтобы легче было обманывать доверчивых покупателей и свободней объясняться между собой: несколько десятков слов этого языка было опубликовано в журналах и газетах. Вот то немногое, что знал молодой этнограф, отправившийся в путь. Задача осложнялась не только тем, что офени были подозрительны и не любили постороннего глаза, и даже не только тем, что Сергей Васильевич не имел опыта собирательской работы. Основное затруднение состояло в отсутствии опыта, традиций, разработанной методики полевого этнографического исследования в русской науке. Молодому исследователю приходилось надеяться только на себя.

Назвавшись семинаристом, подыскивающим место учителя, С. В. Максимов сближается с офенями, записывает более тысячи слов тайного языка офеней, в их домах наблюдает домашний уклад и, наконец, получает предложение принять участие в торговле. Вскоре можно было видеть направлявшегося на торжок офеню с коробом за плечами и следовавшего за ним с аршином в руках писателя. На шумном и говорливом сельском базаре сбили они с хозяином дощатый прилавок и навес от дождя и солнца, разложили товар: ленты всех цветов, нитки, пуговки, бусы, коробочки с бисером, зеркала, кошельки, лубочные картинки. Бойко расхваливал свой товар коробейник, «умея и обмануть вовремя и надуть подчас». Взяв из дому товара на 62 рубля, продал он его на 129. И все это на глазах своего

нового знакомца, не пропускавшего ни одного слова краснобая-торговца. Из Владимирской Сергей Васильевич направился в Нижегородскую, Костромскую губернии, а потом пробрался в лесные деревушки Вятской. Исследовательская экспедиционная работа Максимова, по определению А. Н. Пыпина, была одним из первых опытов прямого изучения народного быта в молодом поколении того времени.

* * *

Вскоре произошло событие, оказавшее влияние на всю дальнейшую судьбу Сергея Васильевича. Осенью 1855 года морское министерство предпринимает организацию экспедиции, целью которой являлось исследование и описание быта жителей морских побережий и берегов крупных рек и озер. Участником ее стал и С. В. Максимов.

В марте 1856 года он приезжает в Архангельск. К этому времени в экспедиции находились А. Н. Островский, обследовавший верхнюю Волгу, А. А. Потехин, отправившийся на нижнюю Волгу, Афанасьев-Чужбинский на Днепре, М. Л. Михайлов на Урале, Н. Н. Филиппов на Дону, А. Ф. Писемский в Астраханской губернии. В марте в Малороссию и Крым направился Г. П. Данилевский. Знакомство с работами предшественников — исследователей Севера — привело писателя к неутешительному выводу, что ими не было сказано «почти ни одного слова для этнографии и за этнографию». В их обширных трудах содержались географические, исторические, естественнонаучные сведения; материалы же о быте населявших Север народов почти полностью в них отсутствовали.

С началом навигации, в мае, С. В. Максимов занялся обследованием побережий Белого моря. За год он объездил Зимний, Терский, Поморский, Летний и Онежский берега, побывав почти в каждом поморском городе и селе, на Соловецких островах, на реках «стран полунощных» — Пинеге, Мезени, Кулое, Печоре. Такое путешествие нелегко совершить даже при современных средствах передвижения, а это не было просто путешествие, это была научная экспедиция, результаты которой сделали бы честь целому научному коллективу. С. В. Максимов собрал точные и полные сведения о разных видах промысла морского зверя и лова рыбы, судостроении, варке соли из морской воды, торговле, взаимоотношениях судовладельцев с «покрутчиками» — бедными поморами, нанимавшимися к ним на суда, описал народные обычаи и обряды, записал сотни произведений устного народного творчества. В центре внимания писателя — тяжелый труд, самобытная культура поморов — потомков древних новгородцев.

В 1859 году вышла книга «Год на Севере», в основу которой легли опубликованные в журналах очерки о быте поморов. Книга произвела огромное впечатление на современников, перед которыми предстал совершенно неведомый им русский край, описанный пером талантливым, словом самобытным и пленительным. «Год на Севере» раскупался нарасхват и сразу сделал имя С. В. Максимова популярным, поставив его в один ряд с крупнейшими русскими писателями. Географическое общество удостоило книгу малой золотой медали. Особая привлекательность книги, ее популярность объясняются не только тем, что писатель открыл для широкого читателя целую страну — русский Север, а прежде всего человека, освоившего этот самобытный

край. Поморы, о которых рассказал Максимов, предстали со страниц книги здоровыми, физически крепкими людьми, которых тяжелые условия труда раздружили с теплой печью, закалили, сделали скупыми на слезы. С XI века, приплывая сюда из Новгородчины на долбленых лодках — ушкуях, заселяли они берега сурового моря. Холодный климат, тундра, болота да скалы не позволяли заниматься земледелием. «Море — наше поле, — говорили поморы, — даст бог рыбу, даст и хлеб». Много рассказов об опасном труде северян выслушал и записал писатель. И сейчас невозможно без волнения читать о гибели поморов от голода на пустынных островках, об унесенных на льдинах в океан. Мужеству поморов, их прирожденной сметке и уму посвящена не одна страница книги.

В середине XIX века основные суда Поморья: шхуны, лодьи, карбасы — строились без всяких чертежей. Мастер, как правило, набрасывал на снегу или песке чертеж будущего судна, опираясь на собственный опыт и чутье и сообразуясь с желанием заказчика. На таких судах поморы бороздили море, ходили с товаром в Норвегию. Тяжелые условия труда развили в них наблюдательность, позволяющую в десятках мелочей: крике чаек, легком облачке над далеким берегом — распознать опасность, определить, через какое время стремительный и грозный шквал налетит на судно. По три раза в год уходили они в море на промысел, по месяцу и больше не видя крыши над головой. Увлекшись охотой, часто не замечали промысловики, что их льдина оторвалась и несет ее в океан. Хорошо, если прибьет ее к острову Моржовцу...

С. В. Максимов не ставил перед собой специальной цели собирать произведения народного творчества, однако не упускал ни малейшей возможности записать песню, балладу, местное предание, поверье, пословицу, сделать описание свадебного обряда. В результате с Севера С. В. Максимов привез два сборника произведений народной поэзии, но, видимо, не предпринимал никаких шагов к их изданию. Он передал свои записи известным собирателям и издателям. Однако сама его книга является своеобразной антологией различных жанров русского фольклора. Значение ее, как и всех предыдущих (и последующих) работ С. В. Максимова, заключается в том, что фольклор в ней представлен в живой обстановке своего бытования. На борту морских судов воочию наблюдал писатель практическое применение знания многочисленных примет, накопленного поморами в течение веков и помогавшего им в плаваниях по капризному и суровому морю. На палубе парусников писатель наблюдал и проявления верований в силы природы, отношение к морю, ветрам как к персонифицированным духам стихии, существам, имеющим каждый свой нрав и обычай: охотно рассказывали поморы писателю о повадках ветров, на его глазах «дразнили» их во время штиля. В период подготовки к экспедиции и во время путешествия С. В. Максимов постоянно обращался к историческим источникам, печатным и архивным. Он исследует местные церковные, монастырские и судебные архивы и на основе их материалов сообщает историю поморских посадов, монастырей, городов (Колы, Архангельска, Кеми, Онеги, Холмогор, Сумпосада, Соловков и др.), сведения об исторических лицах. Материалы исторических источников он дополняет преданиями и рассказами местных жителей. В книгу включены предания о Марфе Борецкой, Петре I, протопопе Аввакуме, М. В. Ломо-

носове, А. Матвееве, В. В. Голицыне. От своих собеседников писатель записывает также предания и рассказы о разбойниках, чуди, расколе, новгородском вечевом колоколе, возникновении островов.

Видимо, первым из этнографов С. В. Максимов описал обряды проводов поморов на летние промыслы и встречи их осенью на берегу моря. В описание обрядов включены тексты причитаний, заговоров. Запись свадебных обрядов писатель производит или со слов местных жителей или по собственным наблюдениям. Внимательно вслушивается он в красочную, образную речь поморов, записывая пожелания, приветствия, приглашения. Поговорки, пословицы, присловья органично входят в речь поморов, переданную писателем. Многие из них в лаконичной и точной форме отражают отношение поморов к их тяжелому труду на море: «С моря жди горя, а от воды — беды», «Нудой поля не изъездишь, тугой моря не переплывешь», «Дальше моря — меньше горя», «Тихо — не лихо, да гребля лиха», «Дай бог промышлять моржа на берегу, а ошкуя (белого медведя) — на воде», «В море по тиши ветер и по ветру тишь» и др. Максимовым записаны десятки терминов, обозначающих различное состояние воды в приливах и отливах, льда — от мелкой крошки до сплошного покрова на десятки километров, камней в море и реках, представляющих прямую опасность для моряков.

Еще в ту пору, когда выходили из печати очерки о Севере, С. В. Максимов предпринял путешествие в губернии черноземной России, исследуя быт земледельцев. Собранные материалы были использованы в последующих работах Сергея Васильевича и послужили основой для его замечательной книги «Куль хлеба и его похождения», изданной в 1873 году. Книга была адресована детям, по выражению писателя, «обреченным на городскую жизнь и отрезанным от деревенских интересов». «Куль хлеба» — энциклопедия хлебопашества на Руси. В форме живого рассказа писатель излагает сведения о производстве зерна в крестьянском хозяйстве: сев, уборка, хранение, перевозка и торговля изображены яркими красками, языком лаконичным и в то же время поэтическим. Такую книгу неизбежно должен был написать С. В. Максимов. Эта книга — гимн в честь хлебопашца и его нелегкого труда — является центральной в творчестве писателя. Именно в ней сконцентрировались все творческие интересы народного бытописателя, подобно тому как в жизни крестьянина все помыслы и интересы были сконцентрированы вокруг хлеба. «Хлеб — всему голова!» «Хлеб на стол — и стол престол, а хлеба ни куска — и стол доска», — говорят крестьяне. «Хлеб да соль!» — приветствует коренной русский человек всех, кого увидит за едой. Хлебом и солью встречают всякого дорогого и желанного гостя испокон веку русские люди. Русское гостеприимство и называется хлебосольством. Такое отношение к хлебу у русского человека сложилось оттого, что хлеб издревле был кормильцем простых людей, их надеждой.

Книга пользовалась большой популярностью не только среди детей, но и среди взрослых и выдержала четыре издания. Пятое издание, предпринятое в самое последнее время (М., 1982), показало, что со временем ее ценность лишь возросла: теперь, когда в корне изменились процессы производства и обработки зерна, давно забыты многие орудия земледельческого труда, ушел в прошлое старый, складывавшийся веками деревенский

быт, лишь из литературы можно почерпнуть сведения об одной из основных сторон русской жизни. И здесь неоценимую услугу окажет автор книги «Куль хлеба и его похождения», в живых и образных картинах показывая долгий путь хлеба от зерна в лукошке сеятеля до каравая на столе.

* * *

В 1859 году С. В. Максимов предпринимает новое путешествие — на Амур и дальше, к берегам Тихого океана. Поездке предшествовали следующие обстоятельства. В 1858 году правительство Александра II приняло решение в целях заселения Амурской области направить туда казаков Забайкальского войска, солдат внутренних гарнизонов из России и добровольцев из государственных крестьян некоторых губерний. Охотников на Амур нашлось немало. Сотни семейств с подводами и пешком, с детьми, домашним скарбом потянулись на восток в надежде на лучшую долю.

Вскоре в различных газетах и журналах страны стали появляться статьи самого противоречивого характера о проводимых правительством мероприятиях по освоению и заселению края. Завязалась оживленная полемика, принявшая особо резкие формы между Д. И. Романовым, военным инженером, и Д. И. Завалишиным, известным декабристом, проживавшим на поселении в Чите. В восторженных статьях Д. Романова, Н. Назимова и других корреспондентов восхвалялись правительственные меры, имеющие целью освоение и заселение новой территории, организация переселения и условия жизни переселенцев. Из их сообщений следовало, что на Амуре и Байкале налажено регулярное пароходное движение, позволяющее не только снабжать край всем необходимым, но и вести «миллионную» торговлю с иностранными купцами в новых портах и устье Амура, что переселенцы живут в теплых, удобных, специально построенных для них домах и не испытывают никакой нужды. В ответ раздался трезвый и обескураживающий голос Д. И. Завалишина, заявившего, что авторам подобных статей свойственна «непостижимая отвага на подобные дерзко-лживые показания». Правильное пароходное сообщение? «По сию пору никакого сообщения нет, если не называть сообщением тягу бечевой людьми изнуренными, заболевающими и умирающими». Миллионная торговля с заграницей? «Ее и быть не может, поскольку в Амурском крае для ее развития нет никаких условий, и главным образом двух основных: дешевого производства местных товаров и скорой и дешевой их доставки».

Мнение демократических кругов о создавшемся положении на Амуре нашло отражение в рецензии Н. А. Добролюбова на книгу Р. Д. Маака «Путешествие на Амур» (1859), опубликованной в «Современнике» (1859, № 12). Анализируя в рецензии статьи об Амуре, Н. А. Добролюбов с большим недоверием отнесся к славословиям Романова, изображавшего «небывалые пароходы, несуществующие почтовые тройки и зародыши будущих городов». Более интересными считает он статьи «неугомонного Завалишина», «разрушающего наивные восторги от Амура». Добролюбов полагал, что причины недостатков этого грандиозного правительственного мероприятия следует искать не «в свойствах отдельных лиц», а в самом общественном порядке. Под-

водя итог, он считает, что необходима новая экспедиция, чтобы «разрешить хоть отчасти путаницу, которая до сих пор существует у нас в сведениях о нашем положении на Амуре».

Задача, которую поставил перед общественностью страны Н. А. Добролюбов, была выполнена С. В. Максимовым. Весной 1860 года, преодолев 10 тысяч верст, С. В. Максимов прибыл на Амур и, проплыв по всему его течению до устья на корвете «Америка», побывал в шести тихоокеанских портах, в том числе японском, на короткий срок заглянул в Маньчжурию, затем вернулся в Николаевск-на-Амуре.

Летом 1861 года начали появляться в печати очерки С. В. Максимова, содержащие ответ на волновавший общественность вопрос о положении на Амуре. Ответ писателя был вполне определенный: «Водворение государственных крестьян великороссийских губерний на этих амурских прибрежьях произведено безрасчетно, неудачно и к тому же несчастливо».

В очерках об Амуре и книге «На Востоке» (1864) С. В. Максимов не только наглядно, на основе проверенных фактов, показал недостатки правительственных мероприятий, но и указал причины, в силу которых они не могли быть успешными. И не случайно очерки об Амуре подверглись жестоким нападкам цензуры. В письмах этого времени Максимов жаловался, что четверть очерков «провалилась между типографскими станками».

Книга «На Востоке» получила горячее одобрение прогрессивной печати. «Современник» откликнулся на нее большой рецензией, в которой определялось значение в русской литературе не только последней книги, но и в целом деятельности С. В. Максимова. Назвав его лучшим представителем того направления русской литературы, которое получило название общественно-этнографического, рецензент пишет, что цель его прежних литературных опытов мало-помалу переходила в серьезную этнографическую и общественную цель и вылилась в изучение целых краев и слоев общества.

Перед возвращением с Амура Сергей Васильевич получил задание морского министерства обследовать быт тюрем, каторги и ссыльных поселений в Сибири.

С. В. Максимов приступил к обследованию тюрем как писатель-этнограф, для которого главными вопросами были причины, приводящие людей на каторгу, условия жизни в тюрьмах, на каторге и на поселении, влияние этих условий на человеческие судьбы. И снова нельзя не удивляться исключительному трудолюбию писателя, его энергии, широте охвата жизненного материала и способности вникать в самую суть новых для него явлений. Он проникал во все закоулки и тайны тюремной и каторжной жизни, изучал тюремные архивы, спускался в рудники, обследовал условия работы на каторжных заводах, везде, где представлялась возможность, вступал в прямые контакты с заключенными, к которым он относился не как к преступникам, а как к несчастным, вызывающим его горячее сочувствие. Именно такое отношение к арестантам видел он в простом русском человеке и, полностью разделяя его, объяснил «недоверием к правосудию судебной власти, во многом несогласной с юридическими понятиями и обычаями самого народа», и чувством человеколюбия к обездоленным, «которых незлопамятный русский народ перестает считать преступниками, коль скоро преступление искуплено карою и очищено возмездием, хоть и заслуженным, но все-таки обращающим преступника в жертву,

возбуждающую сострадание». «Несчастные» — так называл народ ссыльных, не приняв казенных слов «арестант» и «преступник». В далекой забайкальской деревне впервые наблюдал Максимов выражение сострадания простых людей к ссыльным, там услышал и никогда уже не смог забыть песню арестантов «Милосердная», которую они пели в пути, собирая милостыню. Ее тоскливый напев показался писателю знакомым и напомнил щемящие душу свадебные и похоронные плачи, песни волжских бурлаков. Арестанты пели:

Милосердные наши батюшки,
Не забудьте нас, невольников...
Мы сидим во неволюшке —
Во неволюшке: в тюрьмах каменных,
За решетками за железными,
За дверями за дубовыми,
За замками за висячими,
Распростились мы с отцом, с матерью,
Со всем родом своим — племенем, —

и так и веяло от песни сыростью рудничных подземелий, мраком тюремных стен, свинцовою тяжестью каторги. И видел Сергей Васильевич, как, заслышав этот стон, посильное подаяние нес каждый: и бедная старушка последние гроши, сберегаемые на похороны, и разоренный переселением на Амур казак, и купец, казалось бы давно зачерствевший душою на мертвящем деле «наживания капитала». Руководствуясь этим чувством сострадания к обездоленным, вступал с ними в разговоры Сергей Васильевич, и заключенные, чувствуя полное участия отношение к себе, платили писателю откровенностью, со всеми подробностями рассказывая о своей жизни, о сторонах ее, тщательно скрываемых от глаз начальства и постороннего человека.

Обследовав тюрьмы и каторгу Сибири, С. В. Максимов пришел к выводу, что система уголовных наказаний и строгие карательные меры в применении к преступникам не способствуют их исправлению, а служат одной цели — моральному и физическому уничтожению людей. В тюрьме вырабатывалось презрение к труду, которое по выходе из нее (после определенного судом срока) ссыльные выносили на поселение. Отвыкшие от необходимости содержать себя честным трудом, они ничего не могли прибавить к «цвету сибирской колонизации»; за 35 лет в Сибирь было сослано к 1860 году 214 580 человек, но они не заселили Сибири и не принесли ей никакой пользы. И писатель делает вывод о необходимости реформы тюрем и изменения всей системы уголовных наказаний.

Возвратившись в Петербург, Сергей Васильевич приступает к работе над книгой: систематизирует привезенный из Сибири обширный материал, изучает историю русской тюрьмы и системы наказаний, знакомится с состоянием европейских тюрем и мест ссылки. Результатом огромного труда была книга «Тюрьма и ссыльные», отразившая демократические тенденции периода общественного подъема в России. Книга была признана цензурой опасной и издана тиражом всего в 500 экземпляров, под грифом «секретно».

Лишь в конце 1860-х годов, в период оживления политической и общественной жизни в стране, стала возможна публикация статей Максимова о Сибири.

Значительно переработав и дополнив очерки, в 1871 году писатель издал капитальный труд в трех томах под названием «Сибирь и каторга».

* * *

Третью поездку по заданию морского министерства С. В. Максимов совершил в 1862—1863 годах к побережью Каспийского моря, на Кавказ и Урал. Очерки, написанные на материалах этого и предыдущих путешествий и посвященные разным видам раскола, печатались в «Отечественных записках» и других журналах.

В это же время Максимов пишет и редактирует «книги для народа». В популярной форме, прекрасным языком, во многом основываясь на собственных наблюдениях, он рассказал о природе и народах России.

К 1868 году относится последнее в жизни Максимова большое путешествие — в белорусские и малороссийские губернии. Собранные им материалы вошли в книгу «Бродячая Русь Христа ради» (1877 г.). «Бродячая Русь» — энциклопедия нищенства. На страницах книги столь обычное для повседневной жизни России нищенство предстало как явление социальное, сложное, имевшее разные корни, формы и цели. В характерной для него манере художественно-этнографических очерков С. В. Максимов дает описание всевозможных типов нищих: деревенских побирушек, слепых старцев, привлекавших внимание пением старин, прошаков, собиравших на нужды церкви, и погорельцев. Однако и здесь зоркий взгляд писателя проник в скрытую от поверхностного наблюдателя социальную суть явления, порожденного внутренней политикой царизма, и одновременно сумел отличить подлинных нищих, которых горькая нужда заставила бродить с протянутой для милостыни рукой, от мошенников, превративших нищенство в выгодный промысел.

В 1880-е годы начали появляться статьи С. В. Максимова, посвященные толкованию отдельных речений народа, смысл которых со временем затемнился или совсем забылся. В старинных рукописях и книгах, а чаще в повседневной жизни, народных обычаях, ремеслах находил он истоки поговорок, присловий, крылатых слов.

«Крылатые слова» — так он и назвал свою прекрасную книгу, изданную в 1890 году. Это — труд всей жизни писателя. Бывая в разных краях, общаясь со множеством людей, он внимательно прислушивался к речи собеседников, на лету ловил выпорхнувшее из уст крылатое выражение, имеющее общеизвестную форму, над смыслом которого редко кто задумывался. И в самом деле, что это за просак, куда попасть так нежелательно; где улица, на которой, кроме места для прохода и проезда, бывает праздник; что такое лясы, которые любят точить люди болтливые и хвастливые, и отчего правда непременно в ногах хоронится? Объясняя смысл этих выражений читателю, Сергей Васильевич не просто рассказывает, а показывает, изображает обстоятельства, действия, при которых они могли возникнуть. И каждый раз он увлекает читателя то на княжеский пир средневековой Руси, то на городскую площадь XVII века, в крестьянскую избу или дремучий лес. И перед глазами возникает живая картинка русского быта, красочная и динамичная, написанная мастером добрым, склонным к юмору и незлобивой

шутке. «Крылатые слова» — не справочник, не толковый словарь, это сборник художественных произведений, прозаических миниатюр, изящных по форме и композиционно совершенных. В этой книге автор полностью проявил не только всестороннее знание разных сторон русской жизни, но и умение просто и доходчиво немногими словами объяснить сложные подчас явления читателю. С какой-то радостной щедростью делится он своими знаниями, научными догадками, впечатлениями, наблюдениями.

Свою книгу С. В. Максимов считал лишь началом работы в области русского образного языка, который он прекрасно знал, любил и которым гордился. Он писал: «Углубляясь в дремучий и роскошный лес родного языка, богатого, сильного и свежего, краткого и ясного, на этот раз, конечно, довелось пробраться лишь по опушке». Эта прогулка с мудрым и талантливым проводником — автором книги доставляет огромное эстетическое наслаждение. И не случайно, хотя книга переиздавалась три раза (четвертое издание ее было осуществлено в советское время), она давно стала библиографической редкостью.

В 1880—1890-е годы были опубликованы воспоминания С. В. Максимова, имеющие большое литературное и общественное значение. Эти статьи посвящены А. Н. Островскому, Л. А. Мею, А. Ф. Писемскому, И. Ф. Горбунову, декабристу Д. И. Завалишину и др. Изображая с большой теплотой и симпатией людей, с которыми он много лет находился в дружеских отношениях и которые любили и ценили его, Сергей Васильевич и здесь с присущей ему скромностью, по его выражению, «привитой воспитанием в строгие и суровые времена», каким-то образом умудряется затушевать, сделать незаметной собственную личность. К этому же периоду относится очерк «Н. А. Бестужев», написанный по материалам неизданной переписки декабриста, и статья «Литературная экспедиция», посвященная знаменательному событию его молодости.

В последние годы своей жизни С. В. Максимов принял деятельное участие в работе созданного В. Н. Тенишевым «Этнографического бюро». Сотрудниками «Бюро» была разработана и разослана в разные концы России обширная программа собирания разнообразных сведений о быте народа, его миросозерцании, народной медицине, педагогике, этике, национальной культуре. Вскоре начали поступать ответы на вопросы программы от местных корреспондентов, и постепенно в «Бюро» сосредоточились огромные этнографические материалы. Издание их всецело отвечало интересам Сергея Васильевича, соответствовало его давним стремлениям, однако на основе этих материалов и собственных наблюдений он сумел подготовить и издать лишь одну книгу — «Неведомая, нечистая и крестная сила», содержащую очерки о народных суевериях, сведения о реликтовых верованиях в магическую силу природы и обзор праздников и обрядов христианского календаря.

В 1900 году Сергей Васильевич Максимов по представлению А. П. Чехова был избран почетным академиком по отделению русского языка и литературы Российской Академии наук, что означало широкое признание его заслуг перед русской литературой. В это время писатель полон новых творческих замыслов, мечтает о новых интересных трудах. Но замыслам этим не суждено было осуществиться. Тяжелая болезнь легких, много лет подтачивавшая его здоровье, явилась причиной его кончины

3 июня 1901 года. Некрологи о его смерти поместили все крупные журналы страны. Сергей Васильевич Максимов был похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища в Петербурге.

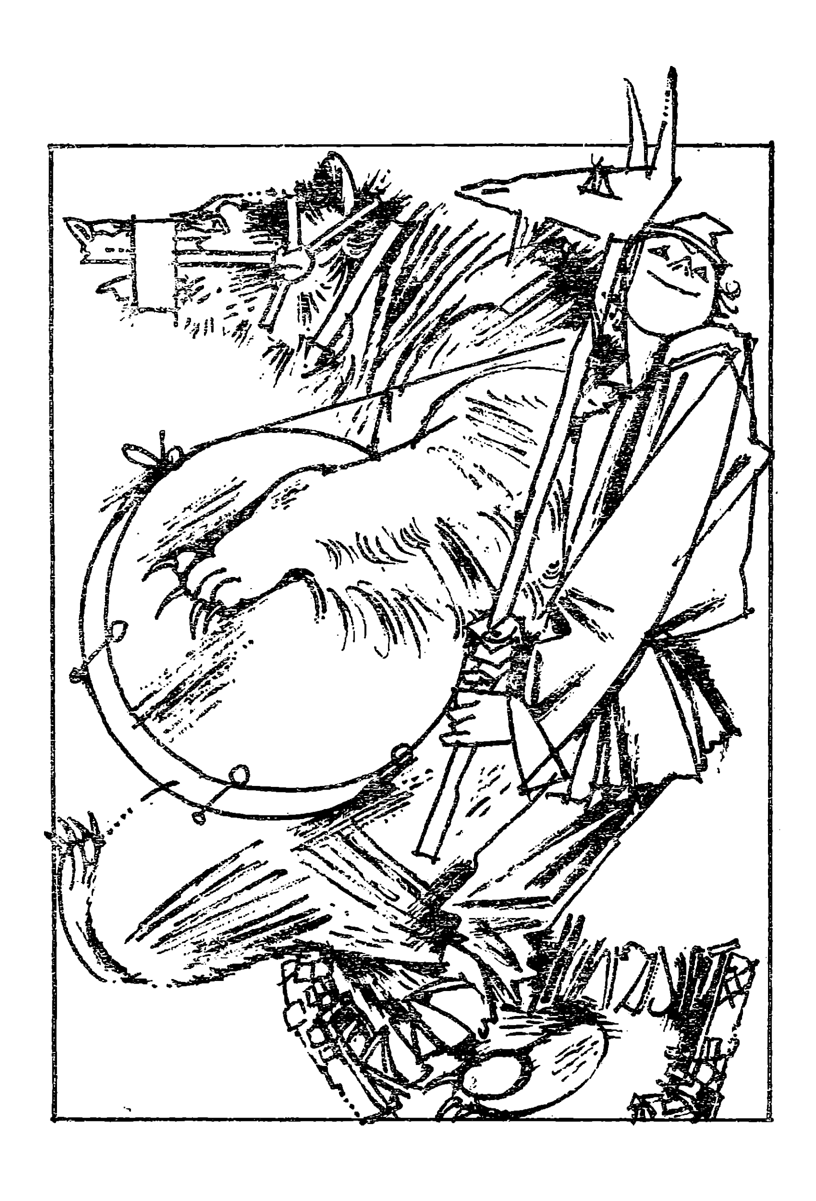
Современник и биограф С. В. Максимова П. В. Быков писал в 1900 году о нем: «Это удивительно скромный человек и далеко не оцененный на своей родине, где имя его очень популярно, но не гремит, как гремело бы за границей, если бы Сергей Васильевич Максимов, только очень недавно избранный в почетные академики Императорской академии наук, был писателем иностранным... Но такова уж судьба русского писателя, за очень немногими исключениями».

Книги С. В. Максимова никогда не предавались забвению. Пожелание М. Е. Салтыкова-Щедрина, выраженное в 1871 году, — чтоб произведения С. В. Максимова стали настольной книгой для всех изучающих русскую словесность, — в полной мере осуществилось. Более столетия они являются настольной книгой для этнографов, фольклористов, литературоведов, историков, внимательно изучающих каждое произведение прекрасного знатока русского народа и замечательного писателя.

Современная писателю критика не раз задавала вопрос: долговечны ли произведения писателя? Сейчас можно с полной определенностью ответить: книги С. В. Максимова долговечны, и ценность их со временем возрастает не только потому, что они содержат разнообразные сведения о многих сторонах русской жизни, давно ставших прошлым, но и потому, что отмечены талантом демократическим, ярким и самобытным. Творчество С. В. Максимова, подобно светлому и чистому ручью, бьющему из недр родной земли, естественно вливается в могучую реку русской литературы.

А. Мартынова

Из книги „ЛЕСНАЯ ГЛУШЬ“



КРЕСТЬЯНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ В КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ

Лишь только кончится в овинах молотьба хлеба и время подойдет к так называемым кузьминкам, простой народ уже начинает, по заведенному порядку, приготовлять зимние развлечения. Во всех деревнях затеваются ссыпки. За четыре дня до Козьмы и Демьяна девушки известной деревни ходят по избам и собирают складчину; хозяева побогаче и зажиточнее дают говядины, поросят, кур, крупы, муки, солоду, масла, победнее — яиц, молока, хмелю. Собравши складчину, выбирают и отпрашивают просторную избу и начинают приготовления к празднеству: варят пиво и сусло, пекут пироги, приготовляют лапшу и в самый день праздника открывают пир сытным, жирным обедом. Главными гостями на этом пиру, разумеется, являются деревенские парни в красных рубашках, обязанные принести вина для себя и хозяина избы, орехов и пряников для хозяек и заводчиц пиршества. После обеда бывает первая вечеринка, как бы репетиция будущих святочных посиделок. Какой-нибудь ухарь-парень, засучив по локоть рукава, затрынкает на балалайке, и начинаются пляски и песни, продолжающиеся всегда до третьих петухов.

После этого вечера начинаются так называемые су́прядки, и именно следующим образом: какая-нибудь хозяйка-баба, накопившая много льну и превратившая его в мочки, идет по домам и приглашает девушек помочь перепрясть ей накопившийся лен. Девушки, одетые запросто, являются с копылами и гребнями к самому обеду, после которого принимаются за работу, и таким образом открывается первый вечер супрядок, при тусклом свете лучины в каганце. Чтобы спорилась работа и не клонило ко сну шипенье веретена, нередко запевается заунывная песня, к которой пристают и праздные деревенские ребята. В промежутках между песнями рассказываются сказки и бывальщины, в которых часто принимает участие и сам хозяин, где-нибудь в углу тачающий свой лапоть или зашивающий конскую сбрую. Та-

кая беседа продолжается иногда часов до двенадцати вечера, смотря по работе или, лучше, по количеству собравшихся ребят-сказочников.

Так однообразно тянутся эти супрядки, переходя из избы в избу, вплоть до рождественского сочельника. Не бывает их, конечно, в праздники, и не поется песен по субботам. Нередко такого рода посиделки, смотря по обстоятельствам, затеваются и в промежуток времени между святками и масленицей; иногда являются даже и на первых неделях великого поста. В исходе этих супрядок перед святками беседы несколько оживляются приездом гостей-питерщиков: песни поются тогда веселее, сказки сменяются интересными рассказами о Питере, из соседних деревень являются гостьи-невесты. Местные девушки, в свою очередь, уходят в гости, и самая цель вечеринок принимает более серьезный характер: питерщики выбирают себе невест, с кем вместе жизнь коротать, вместе горе мыкать, с кем жить да поживать — по пословице только, потому что женившийся в конце великого поста оставляет свою молодуху и снова идет в Питер на работы.

С приезда питерщиков самая картина супрядок значительно изменяется: работа тянется как-то вяло, девушки чаще начинают вставать со своих мест и выходить в сенцы, да и проказники-питерщики не сидят в сторонке, а норовят подсесть поближе к девушкам и следом за ними выбегать на двор.

Накануне 24 декабря копылы и гребни покидаются надолго, вплоть до 8 января, и не берутся в руки в предчувствии святочных удовольствий. Цель супрядок достигнута: питерщики выбрали себе невест. Остается на святках замысловатыми, комическими ряженьями окончательно расположить в свою пользу сердце выбранной суженой. Недаром же иной навез из Питера целую связку масок, самых смешных, самых уродливых, целую дюжину расписных платков и несколько пачек цветных, самых ярких лент.

На другой день рождества начинаются святки, или, лучше сказать, *посиделки,* вечеринки, называемые просто *поседками,* иногда *беседами* и даже *беседками.* Выговаривается у какого-нибудь хозяина самая просторная изба из деревни на все время до 4 января, когда бывает последняя поседка. Редко бывает, чтоб она переносилась в другую избу, разве случится в доме несчастие — умрет кто-нибудь из хозяев. В больших селах и деревнях таких вечеринок бывает вместо одной — две,

иногда даже и три в один вечер, смотря по богатству деревни, ее народонаселению и по числу наехавших гостей. Не бывает поседок накануне праздников, зато в праздники они бывают и многочисленнее и веселее, особенно если деревни лежат по соседству с уездным городом, посадом, усадьбою богатого помещика. Из уездного города и посада приходят гости — канцеляристы, писаря станового, почтальоны, привозят с собой вино, чтоб расположить в собственную пользу местных ребят, всегда враждебно смотрящих на гостей не своего прихода и иногда затевающих с ними на улице страшную свалку. Из соседних усадеб приходят лакеи, улучившие свободную минуту, когда господа лягут спать или уедут в гости. Эти приносят с собою скрипку, почему всегда живут в ладу с ребятами и нравятся девушкам. Иногда — и весьма нередко — сами помещики со всеми гостями на нескольких тройках, в кибитках, приезжают смотреть, как веселится простонародье, и даже принять некоторое участие в их удовольствиях. Исключительная же привилегия веселиться предоставляется девушкам: ребята обязаны их развлекать и оборонять от незваных и дерзких гостей. Иногда, впрочем, и молодухи, и то разве по просьбе приехавших господ, вмешиваются в толпу веселящихся, потому что, по общественному обыкновению, замужние женщины должны быть равнодушны к пляскам молодежи и только разве могут, и то тихонько, подтягивать в песнях.

Поседки эти резко отличаются от супрядок, не говоря уже об однообразии последних и веселом разнообразии первых. Даже в освещении, в нарядах девушек и самых удовольствиях существует между поседками и супрядками большая противоположность. Первые освещаются всегда и непременно свечами, доставляемыми ребятами, последние — непременно лучиной; наряд девушек на супрядках простой, домашний, на поседках — лучший, праздничный сарафан и цветные ленты в косах. На супрядках редко или почти никогда не услышишь ни балалайки, ни даже гармонии, тогда как без них и поседка — не поседка, и потому на прямой обязанности парней лежит кроме доставки свечей и доставка музыки. Наконец, прямое и резкое отличие поседок от супрядок то, что на последних невест *выбирают*, на первых окончательно их *побеждают*.

Считаем излишним упоминать, что накануне Нового года, на васильев вечер, все девушки ходят завораживаться в баню, овины, на перекрестки дорог, что при

этом происходит много комических сцен, производимых шутниками-ребятами, что подобные завораживания совершаются, хотя уже и реже, и в следующие за тем четыре вечера.

И вот, в заключение, по возможности верная картина деревенских святочных вечеринок, конечно ежедневно от различных обстоятельств изменяющаяся, в общем весьма похожая на описанную здесь, одним словом, всегда верная самой себе, иногда даже и в частностях.

Представьте себе большую крестьянскую избу с черными, закоптелыми от дыму стенами и потолком. Тотчас по входе туда трудно разглядеть собравшееся здесь общество: духота и мрак невыносимы. От жару свечи, стоящие по полкам, надстроенным в параллель скамьям, обтаяли и бросают на все собрание какой-то тусклый и тяжелый полусвет. Изба битком набита народом, так что с трудом можно продраться до средины главного места действия, где на лавках чинно уселись деревенские девушки. Прямо против них на полатях взгромоздились ребятишки, по пояс свесившиеся вниз. Впереди их детских лиц виднеется густая рыжая борода, опершаяся на оба локтя рук и принадлежащая хозяину избы и полатей. Прямо под ними поместилась огромная ватага взрослых ребят. Из их толпы время от времени раздается настраивание балалайки. Налево от них огромная печь, с которой слышны невнятные звуки храпенья кого-либо из тех домашних, которые свое отгуляли. Далее, впереди печки, перегородка, из дверей и через верх которой торчит несколько лиц в кичках или платках, принадлежащих уже отплясавшей молодежи — замужним женщинам.

Вечеринка только что началась. Затрынкала впервые балалайка веселого голубца; ей нескладно, но смело подыгрывает гармония. С одной лавки важно поднялись две девушки и, обдернувши сзади свои платья, начинают одна против другой прохаживаться, обмахиваясь платками. Но вот уже одна из них подперлась рукою в бок и притопывает ногами; затем, громко шеберстя башмаками, пускается прямо к своей *поруке,* взяла назад, еще раза два в сторону и остановилась. Другая делает то же самое точно с такими же приемами, и ей уже время остановиться, как первая, подпершись в оба бока руками, летит ей навстречу и заставляет ее делать то же самое. Сделавши таким образом два-три круга и порознь и вместе, обнявшись, они кланяются на все стороны и садятся на свои места. Пляска, кажись бы, и

кончилась, но музыканты все еще назойливо продолжают веселые трели. С лавок поднимается, с теми же обдергиваньями платья, другая пара, которая пляшет, или, лучше, шаркает, точно так же, как и первая.

Музыканты замолчали. Девушки начинают обмахиваться платками, парни о чем-то переговариваются. Вскоре в избе наступило затишье, нарушаемое изредка щелканьем съемцев по нагоревшим свечкам. Видно, что дело еще не спорится, как будто чего-то недостает для общего удовольствия.

— Что же вы, орженушечки, замолчали?— раздается голос с полатей.— Не заставьте меня, старика, взбаламутиться. А вы, дураки, что глазеете-то?— продолжал старик, опустивши вниз голову и обращаясь к ребятам.

Как будто пристыженный замечанием, робкий, свеженький голосок, приятно дребезжа, запел песню «Как за реченькой слободушка стоит», смело и громко сопровождаемый всем хором девушек.

— Вот так! Давно бы так, Аннушка!— сказал удовлетворенный старик, разглаживая самодовольно бороду и приятно улыбаясь.

Недолго тянулась песня, скоро смененная другою: «Я вечор, млада, во пиру была», а вслед за нею и третья: «Ты скажи-ко мне, воробушек», сопровождаемая пляскою двух девушек, или, лучше, мимикою, представлением, телодвижениями всего того, что пелось в песне.

Между тем число зрителей значительно увеличилось, к прежним инструментам присоединились новые, между которыми нетрудно различить даже скрипку и гитару, принесенную из соседней усадьбы помещичьими лакеями. Пляски стали живее и непринужденнее, и вдруг в самом разгаре их из дверей и с полатей раздались радостные, громкие крики: «Нишкните-ко, ребята, ряженые идут! Ряженые идут!»

И в самом деле — отворилась дверь, толпа ребят расступилась, и из густого пару, вдруг обхватившего всю избу, явились посреди избы три фигуры в выороченных наизнанку шубах, представляющие медведя, козу и вожатого. Они встречены взрывом хохота с полатей и несколькими замечаниями, относящимися к костюму козы.

Началось представление, столь нередкое в деревнях, селах и на площадях наших отдаленных уездных городков, сопровождаемое невозмутимой тишиной. Заметно было, что оно не произвело особого впечатления на зри-

телей, и только по уходе актеров раздалось колкое замечание из толпы взрослых ребят:

— Мало, знать, Михея-то зимусь собаки порвали, так он, слышь, сам-от теперь хозяином, а сергачом-то нарядил Степку Горелова.

Только что скрылся медведь, как снова из заднего угла раздались голоса:

— Пойдемте-ка, ребята: что-то больно шибко шаландуются на лестнице, знать, питерщики сейчас нахряют.

Вслед за этими словами из дверей послышался торжественный голос:

— Полно, Офимья, артачиться-то, пойдем; аль не знаешь, что хозяйка добрых людей пущат и всяким словом угощат. Эй! Развернися, хозяюшкам в пояс поклонися. Любите и жалуйте, добрые люди!

Последние слова, уже посреди избы, говорило высокое чучело со страшным животом и горбом, в длинном сером армяке, в кудельном парике, с такою же бородою. За поясом его торчал кнут, а возле — длинная, тонкая фигура, одетая в изодранный сарафан, едва доходивший до колен, и с какими-то грязными тряпками на голове. Эта последняя фигура, поклонившись девушкам, садится на пол.

— Что это она у тя севодни больно примахрилась (нарядилась), аль поминки по бабушке Акулине справлять?— заметил какой-то остряк из толпы ребят.

— Глупый ты человек! Аль не смекаешь: пондравиться, вишь, вам, молодцам, хочет, знает, что невест выбирать пришли,— отвечало чучело.

— А колькой ей годок?— продолжал неотвязчивый остряк.— Коли больно молода, так я и не возьму, чай, деда мово махоньким помнит.

— Что еще, братец, баба, вишь, шустрая, здоровенная. Да вот нишкни,— посмотрим.— И брюхан с плетью начинает при общем смехе ребят глядеть старухе в зубы.

— И впрямь, брат, цыган!— заметила какая-то обидевшаяся баба из-за перегородки.

По освидетельствовании оказалось, что ей два ста без десятка.

— Плясать-де еще может,— заметил цыган.

Но Офимья что-то не в духе и не слушается мужа. Тогда последний прибегает к более действенному средству — кнуту. Старуха быстро вскочила и начала делать, сколько умела, карикатурные прыжки: то упадет на пол, то снова вскочит и немилосердно стучит своими сапога-

ми в каданс скачкам мужа, распорядившегося уже насчет музыки. Наконец умаялась, упала в последний раз, и брюхан прочел тут же над усопшей приличную торжеству речь, что «баба-де уважительная была, работящая, а вишь, и померла желанная моя, косатка моя, раскрасавица ты эфдакая», и что́ в груди его сил и духу начинает, при общем взрыве хохота зрителей, реветь во всю избу. Потом берет с полки свечу и осматривает усопшую: развернул ее головной убор, из-под которого мгновенно выставляется клинообразная черная бородка — причина страшного взрыва смеха, преимущественно с полатей и лавок. Но верх восторга публики произвело то мгновение, когда старуха, как бы нечаянно, подожгла кудельную бороду мужа и этим фейерверком возбудила истинный фурор: у многих девушек от смеху появились на глазах слезы, старику на полатях поперхнулось и он сильно закашлял, во всех углах слышались восклицания, оканчиваемые новым взрывом:

— О, чтоб вас разорвало!.. Уморили со смеху, балясники!.. Колика взяла!..

Долго еще после представления чихало, сморкалось и кашляло общество, пока наконец не успокоилось и одна, побойчее прочих, девушка не загорланила во все горло песню: «Выйду ль я на реченьку, посмотрю на быструю!» Пляски пошли живее, среди избы толкается уже множество пар, между ними показались даже и парни. Много пропели песен, участники почти уже все переплясались, и вот, будто снова на подкрепление, явилась новая, самая большая орава ряженых, которая потешает неприхотливых зрителей разными шутками и прибаутками.

Между этими шутками наибольшим уважением пользуется следующий диалог вроде театрального представления, разыгрываемого обыкновенно барскими лакеями. Разговаривают двое; один одет барином, другой — рваным лакеем. Разговор этот везде почти один и тот же.

Барин. Афонька Новой!

Афонька. Чего, Барин Голой?

Б. Много ли вас у нас?

А. Один только я, сударь.

Б. Стой, не расходись; я буду поверять — всякого в ремесло какое назначать, в Питер на выучку посылать. Отчего ты, мошенник, бежал?

А. Вашу милость за волосы подержал.

Б. Я бы тебя простил, а может, и наградил: в острог бы тебя посадил.

А. Я, сударь, не знал, а то бы еще дальше забежал.
Б. Где ж ты это время проживал?
А. Да все в вашей новокупленной деревне — в сарае пролежал.
Б. А, так ты и новокупленную деревню мою знаешь? Скажи-ко, брат, каково крестьяне мои живут?
А. Хорошо живут, барин: у семи дворов один топор.
Б. Как же они, мошенник, дрова-то рубят?
А. Один рубит, а семеро в трубы трубят. А вот хлеб у них, барин, хорош уродился.
Б. А каков в самом деле?
А. Колос от колосу — не слыхать девичья голосу, копна от копны — на день езды, а как тише поедешь, так и два дни проедешь,
Б. Что они с ним сделали?
А. А взяли собрали, истолкли да и поставили под печной столб просушить. Да несчастьицо, сударь, повстречалось.
Б. Какое?
А. Были у них две кошки блудливы, пролили лоханку, хлеб-то и подмочили.
Б. Что же они с ним сделали? Неужто так и бросили?
А. Нет, барин! Они сварили пиво, да такое чудесное, что если вам его стакан поднести да сзади четвертинным поленом оплести, так будет плести.

Вот и театр доморощенный, но монолог этот смешил девок до хохоту, а на почтенных лицах вызывал лишь легкую улыбку, да и то в деревнях, что называлось прежде, вольных, то есть у крестьян государственных.

Затем, по данному знаку, заиграла музыка, ряженые пустились в пляс. Кто побойчее выделывал ногами такие антраша и так высоко, что судья с полатей вынужденным нашелся заметить следующее:

— Ты, сударь, ваше благородье, не оченно больно ногам-то дрягай, а то, слышь, запутаешься в бороде да меня вниз стащишь, тогда берегись: осрамлю, как пойду сам плясать. А чьи это ребята? — спросил он тихо, наклонивши вниз голову под полати.

— Говорят, вожеровские,— отвечал один голос из толпы ребят,— Андрюха-повар и Матвей-кучер; господа-то, знать, в Безине на менинах (именинах).

Но вот и эти актеры убрались восвояси. Было два часа за полночь. Девушки немедленно составили круг, в котором приняли участие все бывшие в избе, даже старик слез с полатей и пристал к хороводу. Начали хоро-

нить золото, заплетать плетень и завершили сеянием проса. После того изба мало-помалу начала пустеть, ребятишки давно уже убрались с полатей.

Наконец в избе все смолкло, кроме грудного ребенка, но и тот вскоре угомонился, и только изредка раздавался скрип его люльки, качаемой ногой сонной матери, да чириканье сверчка за печкой.

ИЗВОЗЧИКИ

Издавна извоз составляет самый любимый промысел русского человека. Извоз можно даже назвать по преимуществу *русским* промыслом: в какую бы среду ни был поставлен православный переселенец и поселенец, он везде первым долгом поспешит обзавестись лошадью и сделаться извозчиком. Лошадка вывозила на первых порах изо всех бед и напастей всю русскую колонизацию, и колонизаторы наши редко умели освоиваться с местом без помощи извозного промысла. Так спасли себя (и разбогатели теперь) те наши сектанты (например, молокане и духоборцы), которые выселены были за Кавказ, в среду недружественного мусульманского населения. Так, между разнообразными выселенцами в Воронежской губернии извозом занимаются только русские. В Сибири, на Барабе, русские извозчики (возчики) успели даже выхолить из туземных пород особую породу обозных лошадей,— и т. д. в бесконечность. Промысел извоза чрезвычайно прост и удобен, особенно для того, кому нет желания жить по чужим людям, далеко от родной семьи, и даже выгоден, преимущественно, конечно, там, где много езды между торговыми городами и где торговая деятельность во всей своей силе. Когда не было еще ни железной дороги, ни почтовых и частных дилижансов, класс извозчиков был чрезвычайно многочислен. Теперь же, при быстром улучшении путей сообщения, заметно уменьшился он: опустели огромные ямы, которыми усеян был путь между двумя столицами, много извозчичьих домов, существовавших лет по сту и более, покинули свое ремесло и сделались хозяевами легковых извозчиков. Но в тех из наших губерний, где еще нет шоссе, или если и есть, то недавно устроенные, извозчичий класс сохранился во всей своей простоте, со всеми своими оригинальными особенностями.

В Сибири, например, по большому торговому тракту от Казани вплоть до Кяхты промысел этот сохраняется

до сих пор во всей чистоте и неприкосновенности; особенно же сумел он уберечь патриархальное добродушие и невинные нравы и сохранил первобытными людьми тех, которые занимаются извозом в местах Сибири, где тракт разошелся с почтовым и потянулся по травяной степи — Барабе. Там простодушно-чистых людей, занятых извозом, иначе и не зовут, как *дружками*, а дружки они и потому также, что живут между собой в самой тесной приязни, не подъедая друг друга, и такою дружною артелью, которую никто не плотил, но которая, однако, ощутительно для всех существует и до сих пор никакими кабинетными правилами еще не изломана и не испорчена. Правда, что и эти извозчики китайских чаев и московской мануфактуры, с падением кяхтинской торговли и с заведением на сибирских реках пароходов, стали упадать силами и количеством, но качество их все то же. В недавнюю старину, в начале прошлого столетия, из этого почтенного сословия сумел выделиться и такой замечательный человек, как Анфилатов. Записавшись в купцы города Слободского (Вятской губернии), он на долговременном промысле доставки товаров самолично в Сибирь, а потом при помощи приказчиков по многим местам России, умел дойти своим собственным разумением до необходимости основания банка. Банк его, учрежденный в городе Слободском, был первым частным банком в России, сумевшим долгое время поддерживать заграничную торговлю слободских, вятских и орловских купцов чрез Архангельск и выразившим свою плодотворную деятельность, с другой стороны, в процветании ремесел, которые приходят в большее и большее развитие.

В таких глухих местах, где еще не пылят шоссе, не свищут ни локомотивы, ни пароходы, извозчичий класс до сих еще пор делится на два совершенно отличные один от другого типа, не говоря уже в общем, но даже и в частностях: на *троечников*, ездящих постоянно на тройке, редко на паре и решительно никогда на одной лошади, и на *одиночников*, наоборот, ездящих всегда на одной, на двух, редко на трех лошадях, но всегда *вразнопряжку*: на одной, двух и трех телегах, смотря по числу домашних лошадей. Одиночник никогда не запрягает тройку в одну телегу и весьма редко пару; со своей стороны, троечник считает за стыд ехать на одной. Первый занят ремеслом по нужде, второй, или троечник,— чисто из любви и привязанности к нему, если только он сам хозяин, а не нанятой работник. Троечник всего ча-

ще возит седоков побогаче: купечество и дворянство, и если доставляет товары, то всего чаще те, которые идут на дворянскую же руку,— красные товары, бакалею и т. п. Одиночник из живой клади доставляет крайнюю бедность: семинаристов на родину, солдат на побывку, а из товаров — те, которые громоздки, посерей и подешевле: горшки, деревянную посуду, соль (для которой в южных местах России существует, также отживая свой век, особый промысел чумачества, отправляемый вместо лошадей на волах) и так далее. Но скажем о каждом особо, и сначала об аристократах.

I. ТРОЕЧНИК

У ворот постоялых дворов, в дальних губернских городах, где-нибудь в Ямской или Московской, до сих пор еще толпятся несколько мужиков, легко одетых, по-домашнему: летом просто в рубашках, подпоясанных красным кушаком, зимою в полушубках, слегка накинутых на плечи. Это извозчики-троечники, поджидающие седоков и от нечего делать прибегнувшие к различным развлечениям: один, уместившись на облучке собственного или чужого экипажа и обхватив обеими руками увесистый ситник, удовлетворяет и аппетиту, готовому явиться по собственной воле хозяина во всякое время, и искреннему желанию приятно провести время. Другой, выпросив у дворника балалайку, сел на скамейке у самых ворот и потешает не столько соседа, сидящего рядом, сколько себя самого, охотника отколоть ущипкой какую-нибудь новую штуку в давно известной всем песне и на привычном ему инструменте. Двое поодаль, дружно ухнув, подняли громаду тарантасище на толстой палке и, подставив дугу, начинают смазывать колеса. В другой стороне собрались охотники до видов и любуются проходящею семьею свиньи; другие заняты дракой уличных мальчишек, вполне сочувствуя ловкому удару одного, советуя взять побежденному противника под силки и доказать ему, что знай-де наших.

Но вот подходит какой-то господин. Извозчики разом смекнули, что это седок, и окружили подошедшего.

Объявляется место поездки и неимение собственного экипажа.

— Так, стало, у вашей милости нет своей кибитки?— переспросят ребята.— Что ж, ничаво, могим и свою снарядить.— И почешутся.

— Знамо уж, свою надыть, коли нетути ихней,—

заметит другой и в размышлении продолжает рассуждать:— Вестимо, без кибитки плохое дело: дождичек пойдет — мочить будет и все такое... Так, выходит, и телега наша, все как есть наше, а вашей милости, значит, только сесть да и ехать.

— Все как следует примерно,— увлеченные размышлением соседа, говорят его товарищи.

Наступает глубокое молчание, которое нарушает седок вопросом о цене.

— Как цена? Шашейныя-то вы, что ли, платите?— спрашивает один.

— Разумеется, уж ты все бери на себя, а мне чтоб никаких беспокойств не было.

— Вестимо, вам надыть спокойствие... А вас сколько примерно поедет?

— Двое.

— Стало, клáди у вас немного, не отяготит: чемоданчик, подушки...

— Одеяло,— подскажет один.

— А скоро ты меня повезешь?

— Да уж это как вашей милости будет угодно: лошади у нас хорошие, мешкать не станем. Как прикажете, так и поедем.

Снова наступает молчание, прерываемое обыкновенно опять вопросом о цене. Немного подумавши и переглянувшись с товарищами, торговавшийся решительно говорит свою цену.

— Да что, барин, без лишнего: двадцать рубликов с вашей милости взять надыть.

Нанимающий страшно озадачен запросом и не соглашается на предложение.

— Эй, барин, не дорого! Пора-то, вишь ты, рабочая; никто меньше не возьмет... будьте уж не в сумлении.

Один новичок берет восемнадцать; ему обещают двенадцать.

— Нет, барин, эдак уж совсем несподручно. Что скупиться-то: говорите делом. Вон молодец-то, пожалуй, берет и восемнадцать, да вы с ним и жизни-то не рады будете, измучит вашу милость, как есть измучит... двои суток проваландает; ведь у него вся тройка с сапом и хромает; а мы бы вашу милость и в одне сутки приставили.

— Хочешь тринадцать, и ни гроша больше?

— Нет, барин, видно, тебе ехать не надо, коли так упираешься!— заключают как бы обиженные извозчики

и отойдут несколько в сторону от вышедшего из терпения седока.

— Ну, слышь, сударь, ладно!.. Будем толковать настоящее дело,— говорит опять *рядчик* вслед уходящего седока.— Девятнадцать берем, коли хошь, а то как знаешь...

Седок, однако ж, упорен в своей цене.

— Эй, право, какой ты барин несговорчивый, ну... восемнадцать с полтиной.

— Тринадцать и ни копейки!— говорит уже выведенный за границу терпения нанимающий и вполне убежденный в том, что, набавивши рубль, придется прибавить и другой и до конца сделки выдержать роль набавлятеля. Тогда, в свою очередь, с тем же упорством не будут поддаваться извозчики и заставят-таки дать требуемую ими цену. И потому, обсудив, что барин-де кремень, как есть, значит, кремень, его не сломаешь — сразу видать, что не впервые едет, благо хоть дает-то не десять рублев, несходную цену, извозчики непременно вернут седока.

— Слышь, почтенный... ну, вот уж и осерчал. Ведь мы не сердились же, слушали и твою цену: запрос — не обидное дело. Какое ваше последнее слово, да и по рукам.

— Сказано вам — тринадцать.

— Ну ладно, ладно... берем, хоша и неповадно маненько, да уж, видно, барин-то хороший. На чаек-то уж пожалуйте, ваше благородье! — заговорит сторговавшийся вкрадчиво-льстивым голосом, снявши свою шапку; его примеру следуют и товарищи, низко кланяясь победителю.

И будь седок хоть и в самом деле кремень, но на водку даст-таки, хоть даже и из чувства самодовольства, не говоря уже — от радости.

По уходе пассажира начинается обоюдная сделка: если сторговался хозяин постоялого двора, то он посылает очередного своего работника, или, если выгодно ему передать за меньшую цену другим, он начинает с ними торговаться. По большей же части дело кончается проще — метанием жеребья: извозчики или вытаскивают из мозолистой руки собрата узелочек пояса, или перебирают рукою на тут же валявшейся палке, или же, наконец, вынимают условную вещь из шапки: будет ли это с известной отметкой щепочка, камешек, ломаный грош с оттиском зуба и тому подобное.

Большею частью при всех подобного рода сделках

извозчики, с общего согласия, выбирают *рядчика* — человека привычного, опытного в этом деле и, конечно, честного. Избранный облекается полною доверенностью остальных, вполне убежденных в том, что он несходно не сторгуется и никогда не допустит выскочку-новичка, не участвующего в сотовариществе, *отбить седока.* Новичок поедет с седоком разве в таком только случае, когда возьмет чрезвычайно дешевую цену, которую никогда бы не взял опытный извозчик и которой ему самому хватит только на прокорм себя и лошадей,— а о барыше, при всей бережливости, нет и помину. Поэтому троечники составляют из себя род некоторого общества, основанного на общем интересе — возить седоков не дешевле заранее положенной, по общему уговору, платы.

Сторговавшийся троечник обыкновенно везет седока *до места* с кормежкой и тогда, конечно, в полном распоряжении своего пассажира, от которого вполне зависит и срок времени, которое придется быть на станции, и, наконец, самая езда. Троечник, подрядившийся до места, беспрекословен к понуканьям и требованиям остановиться. Но по большей части все троечники возят на *сдаточных,* и в таком случае всегда целую компанию пассажиров. Нанявши троечника, дают ему полное право приискать *попутчиков,* не претендуя уже на то, если придется выехать позднее обыкновенного срока и в компании человек шести и более, потому что извозчик, везущий на *сдаточных,* мало обращает внимания на то, тяжело ли будет его тройке, зная, что на следующей станции его сменит новый ямщик на *свежих* лошадях. Собравши своих седоков, извозчик дает им клочок бумажки, где расчислены деньги, следующие к выдаче на каждой станции, и предлагает кому-нибудь из пассажиров быть чем-то вроде кассира, или, по их выражению, *плательщиком,* и вручает ему деньги, сторгованные за проезд, с вычетом барыша и денег за первую станцию. Барыш, конечно, и остается в пользу рядчика или того, кто первый повезет седоков. В огромном, крытом со всех сторон тарантасе, получившем в последнее время на языке извозчиков громкое название *дорожного вагона,* отправляется поезд. Каждый пассажир здесь уже в полной власти извозчика,— он не может претендовать ни на тихую езду, ни на неловкость сиденья и при первой попытке высказать свое неудовольствие озадачивается резонным ответом:

— Уж мы не впервые ездим,— знаем все заподлинно и нас не учить стать: видали, примерно, всяких. Ведь

вон сидят же другие господа — ничего не говорят... А коли неловко — сядь половчее; сказано, всяк о себе старается, а ведь и те такие же деньги платили...

Последнее замечание не всегда бывает справедливо: весьма часто седок, к полной своей досаде, узнает от соседа, что передал лишних два рубля, тогда как очень часто другой сосед заплатил вдвое дешевле обоих, потому что уж не впервые в дороге и знает обыкновения извозчиков. И, успокаиваемые собственными промахами, седоки дают зарок не давать другой раз лишку и не беспокоить уже извозчика понуканьями, вперед уверенные в том, что легче взять с него этот лишек, чем заставить изменить привычке — ехать по собственному усмотрению, а не по желанию и прихоти пассажиров. Во всяком случае, извозчики помнят обещание и верны в данном слове — предоставить на место в условленный срок, и разве часами двумя позднее (но не более) седоки увидят цель своего путешествия.

Место родины хозяина-троечника — какое-нибудь торговое село, где отец его содержит постоялый двор, а следственно, и занимается извозом. Еще с малолетства отец приучает ребенка к будущему его ремеслу. Поедет ли в поле *треножить* лошадей или просто привести их на двор для впряганья, он сажает своего парнишку на лошадь впереди себя и дает ему в руки поводья; нужно ли съездить в соседнюю деревню за овсом или сеном, он смело вверяет это поручение своему восьмилетнему сыну. Ребенок до того привык к лошади, что ему нипочем проскакать галопом по целому селу на речку, чтобы там напоить или выкупать лошадей; даже в детские игры ввел он езду на тройке сверстников, делая замечания коренной бежать рысью и как можно больше подымать ногами пыль, а пристяжным бежать вскок и держать голову как только возможно больше набок,— а сам, развалясь в санках или тележке, вполне наслаждается плодами своей опытности.

Мальчику исполняется двенадцать, тринадцать лет — возраст, когда отец считает его способным управлять тройкой и достойным того, чтоб доверить ему седока.

— Ты, смотри, вызволи меня, постреленок!— говорит последний, боясь ввериться неопытности мальчика.

— Да небось, барин, не вывалим, нешто не знаю: вот Сивко маненько рысист, так мы его посдержим, а уж коренной Воронко хоть и с норовом, да меня теперь не надует,— отвечает новый извозчик, судорожно сжимая кучу вожжей, в первый раз в жизни, к несказанной

его радости, очутившихся в его руках. Отец, низко кланяясь, упрашивает «вашу милость» не сомневаться и дает приличные наставления сыну.

— Смотри ты у меня, лошадей не задергивай, под гору спущай, на гору — во все лопатки; уважь их милость! А то коли что неладно, смотри ты у меня, сыч, дам такую таску, что до новых волосьев не захочешь. Телегу-то помазать попроси там кого-нибудь. Без подмазки не езди: оси горят. Да, слышь, не забудь! Там долго-то не балуй, не вертись,— покормишь, да и с богом назад. Эй, легонько, дурак, пристяжных не задергивай!.. Коренника-то осади... под гору легонько. Эй, не хлещи! Говорят те, не хлещи!— кричит отец вслед отъезжающей кибитке.

Но первое доверие оправдалось: телега цела и, как видно, смазана, лошади не в мыле, да и мальчишка прибыл своевременно.

— Поди,— говорит обрадованный и довольный отец,— поди в избу, там тебе матка пряженцов напекла, да уж оставь, оставь шлею-то... без тебя сделаю. На вот, возьми вожжи, снеси в избу, а уж здесь и без тебя сделают.

Обучение кончилось. Мальчишка с этих пор уже частенько получает подобного рода поручения, теперь уже ловко подбирает правую полу и засучивает ее за новый красный кушак, подаренный отцом за способности. Крепко наметавшийся в своем деле и сделавшись к нему привычным, теперь, пожалуй, он и посмеется недоверчивости седока, лаконически ответив: «Нешто впервые? Не с эдакими-де езжали».

Отец только посмеивается бахвальству парнишки, и ни за что не согласится отказать сыну в удовольствии, и только скажет, когда уже все готово: «Ну, с богом! Благослови, господи! Прощай, барин, счастливого пути!»

Лет через пять или шесть отец совершенно перестает ездить, предоставивши это дело сыну. Сам только и делает, что рассчитывает извозчиков за обед и сено да изредка чинит порвавшуюся сбрую.

Но вот приблизилась пора заменить и старуху. «Пора женить парня»,— думает отец, рассчитывая взять молодицу у такого соседа, который занимается также извозом. Когда дело слаживается, все хозяйство передается на руки молодых. Теперь у отца только и дела, что копошиться в углу.

— Пускай-ка де теперь молодые сами поломаются, а наше дело со старухой — киселя поесть да лежать на

печи аль на полатях. Теперь, благодаря бога, все сделали, что могли, немного надо: саван сошьет сын, так и тем будем довольны,— рассуждают старики, радуясь на новых хозяев.

Молодой начал с того, что перекрыл двор новой соломой, давно уже лежавшей в запасе, приделал новые березовые колоды кругом двора. Самый двор усыпал свежей соломой, переклал печи и украсил горницу, назначенную для почетных проезжающих, картинами, купленными им у проезжего офени-владимирца. Извозчики по старой привычке все еще въезжали к нему и — не раскаивались: молодая хозяйка кормила их славной лапшой и кашей, которые как-то и покрутее сделались, чем у старой, да и наливает-то она как-то побольше и пощедрее. Завела она пироги, чего у стариков не было,— одним словом, ведет и она свое дело не хуже, коли еще не лучше, мужа. И вот вследствие таких-то обстоятельств, а еще главнее, вследствие того, что новый хозяин охотно дает и обед и корм лошадям в кредит,— обстоятельство весьма важное для извозчика, особенно если он подрядился до места не брать с седока денег,— малопосещаемый прежде постоялый двор по целой дороге сделался известным за самый лучший и выгодный.

Всякий извозчик и своему брату, и барскому кучеру, впервые едущему с господами на своих, посоветует остановиться у свояка. И вот, глядишь, у нового хозяина и изба выстроилась новая и вместо одной горницы для господ приезжающих у него явились две, и обе вдвое просторнее прежней. И зажил он себе припеваючи: в доме у него *теплынь,* а в хозяйстве тишь, да крышь, да благодать божья, нет ни в чем недостачи. Зачем бы, кажется, ему подвергать себя и зимней вьюге, в которой ничего нет хорошего — сечет она ему немилосердно лицо,— и летнему зною, который безжалостно производит загар на его лице и мускулистой широкой шее? Но страсть, привычка вечно быть на козлах не дает ему покоя и влечет на новые предприятия. «Так отец мой делал,— думает он,— не след и мне покидать ремесла; мастерства я никакого не знаю, а плотники питерские не лучше меня живут: знать уж, и умереть доведется извозчиком, да и парнишке передать мою волю — не покидать извоза. Только немного неповадно ездить одному, без товарищей, и лошадям тяжело, да и сам ину пору по неделе не бываешь дома, ладно, кабы взяли на пай возить на сдаточных: оно все бы лучше было, а то все у ворот стоять как-то неладно стало».

И вот однажды за чашкой чаю в городском трактире сам извозчичий хозяин предложил честному мужичку идти в долю и возить на сдаточных — обстоятельство весьма важное в жизни извозчика! Если парнишка еще малолеток и нет в доле брата, извозчик нанимает батрака и на лишние деньги покупает новую тройку: теперь ему гону много будет, успевай только пошевеливаться. И будь он немного изворотлив и бережлив, дела пойдут ходко: явятся новые планы, при деньгах весьма легко исполнимые, только умей заслужить доверие собратов. При удаче он делается необыкновенно смел и предприимчив.

Раз как-то стороной он услыхал, что в городе передается постоялый двор и старый хозяин ищет покупщика, который вел бы его хозяйство и был ему известен; у смельчака мгновенно родится в голове новое предприятие — купить этот двор, покинуть родную деревню и выписаться в мещане,— предприимчивость влечет его туда неудержимо. Никому не сказавши о своем намерении, он поехал в город, сторговался со свояком, отдал половину денег,— остальную же ему, как мужику честному, поверили,— и, возвратясь в деревню, объявил он жене неожиданную весть.

— Где уж нам в городе жить: жили в деревне — хорошо было, а там бог весть, что будет,— может, и помрем.

— Полно, баба! Помереть — помрешь и здесь. А и в городе люди не лыком шиты. Что тебе деревня-то, а там и человек другой... Да что тут с тобой растабарывать? Сказано: волос длинен, да ум короток; нечего мешкать: дело сделано — собирайся!

Нагрузив несколько возов, он отправил их в город, потом сам перевез семейство. На первых порах в нем будто проснулась как бы на время затаившаяся страсть к извозничанью: он года два еще ездит с охотой, и все так же, как и прежде, т. е. на сдаточных. Но скоро сделалась в нем непонятная перемена: извоз, с которым он свыкся с измалетства, ему опостылел, ничто не заставит его выйти на улицу — выжидать седоков. Нужна особая рекомендация, чтоб он взялся вас прокатить, и уж если запросил какую цену — ни копейки не уступит, лучше и не торгуйтесь, скорее не поедет, чем возьмет меньше запрошенного. Видно, что уже не нужда заставляет его ехать с вами, а эта страсть — поездить-покататься. Здесь он прежде всего делает удовольствие себе самому и потому на обратный путь, для шутки, возь-

мет иногда чрезвычайно дешево, так что вам самим смешно и странно покажется, и повезет вас так, как никто не возит и как сам никогда не езжал прежде: на сотне верст у него одна упряжка, и то на короткое время, бог весть, когда успевают наедаться и отдыхать его лошади. И что за чудо его лошади! Ни один извозчик не проедет мимо, чтоб не мызгнуть губами и не сказать вслух: «Славные рысачки, говорят, на Вятку сам ездил, по пятисот рублев дал за каждого живота».

В начале путешествия он невыносимо молчалив и как будто важничает. Вот зарябили по сторонам и на пути деревеньки. От нечего делать седок желал бы знать их названия, в надежде разговориться с ямщиком; но отрывистые слова: «Починок», «Задний Двор», «Средний Двор», «Передний Двор» — решительно отбивают последнюю надежду разговориться с ним. Видно, что ямщик еще как-то не разошелся.

Седок начинает дремать, утомленный однообразием полей, засеянных овсом и рожью, рожью и ячменем, изредка прерываемых густым перелеском еще с более скучным однообразием стволов, или можжевельника, или березы и сосны. Кибитка незаметно въехала в большую деревню, при самом въезде в которую торчит маленькая избенка с крылечком посередине. На фронтоне крылечка виден приманчивый знак — пучок засохшей порыжелой елки — признак питейного. Извозчик поехал мелкой рысцой немного подальше вперед, осадил тройку и, повернувшись вполоборота к седоку, просит позволения *промочить горло*. Промачивание продолжается недолго, но в сытость, после чего извозчик успокоит седока приличным замечанием.

— Небось, барин, наверстаем! — говорит он, покрякивая и поглаживая бороду.— Маненько позамешкались, да ничего, держись только! Так-то махнем, что старикам на печи икнется, а старому свату живот подведет. Эй вы, распрекрасные, дети любимые, уважьте... Ой, ударю!— И, громко взвизгнув, он только махнет вожжами, и обрадованная тройка вихрем мчит вас вперед.

Тогда не попадайся навстречу развеселившемуся троечнику ни один одиночник: он сразу осмеет его с ног до головы и ввернет обидное замечание.

— Эй ты, ворона,— вишь как развалился, словно знать никого не хочет! Гляди, гужеед: ведь ось-то в колесо попала!.. Коней надорвешь — по миру пойдешь, глянь-ко: всех ведь в мыло загнал. Эх ты, сипа-сипа: ешь ты сыто, мякину да горох, что дедко стерег.

Не утерпит остряк, чтоб не отпустить приличного комплимента и деревенским девушкам, толпою идущим за грибами, и резкого, бранного замечания деревенским ребятам — вечным спутникам последних в их прогулках и занятиях.

Вот минута, когда седок смело может положиться на словоохотливость ямщика и узнать у него не только подробные биографии всех владетелей мелькнувших в стороне и на дороге усадеб, но даже душевные склонности и привычки помещиков. Про деревни и спрашивать нечего: хозяина каждой избы он знает по имени и вообще обнаружит в себе человека бывалого, который из семи печей хлеб едал, не морщился. Если пассажир не соскучится слушать его болтовни и крепко понравится извозчику, последний готов его *поважить* песенкой, сначала любимой, потом, пожалуй, и по заказу седока, какой он захочет и сам пожелает. Коренные песенники, кажется, теперь только в среде этого сословия и удерживаются.

Одним словом, нет услужливее, словоохотливее троечника, подрядившегося до места. Исполняя всякое требование седока, он сам, со своей стороны, чрезвычайно уступчив и невзыскателен. Требования троечника ограничены: зимой — дозволение погреться в питейном, а чтоб дать вздохнуть лошадям — веселая беседа с седоком, достаточно вознаграждаемая живым участием и вниманием к разговору. Летом, когда по деревням на дороге начнутся праздники и веселые хороводы девушек, окруженных густой стеной любезников-ребят, наполнят деревенские площадки около часовни, а толпы подгулявших гостей-мужиков переходят из избы в избу попить-пображничать,— тогда извозчику-троечнику достаточно, *если милость ваша будет,* забежать к свояку поздравить его с праздником. Не пройдет и десяти минут, как извозчик в сопровождении хозяина и хозяйки той избы, около которой остановилась его тройка, выйдет к снисходительному седоку, пропустив вперед свояков, с низкими поклонами будет потчевать крепкой брагой и праздничными пирогами.

— Да не погнушайтесь, ваша милость, взойдите в избу нашей хлеба-соли отведать: чем богаты, тем и рады!— скажут, низко кланяясь, хозяева.

Русское радушие и гостеприимство не замедлят вознаградить за потерянное в угощениях время, а еще более разгулявшийся извозчик *наверстает* и привезет в обещанный срок к назначенному месту.

Таков троечник больших почтовых трактов, где много езды, а следственно, и проезжающих. Добрый, разговорчивый, *привычный* к своему седоку, охотник побалагурить и поразговориться, услужливый и беспрекословный на большом тракте, он делается совсем иным человеком, как будто перерождается там, где меньше езды и где он как будто лишен сообщества людей и товарищества, и делается человеком, прямо и безотносительно занятым собственным интересом *поживиться,* и поживиться не только на счет седока, но даже и своего брата-извозчика.

Есть чрезвычайно много в огромной России таких трактов, где не пролегает торговой дороги, но где также изредка бывают проезжающие, имеющие нужду в извозчиках. Здесь обыкновенно в какой-нибудь деревне, верстах пяти-шести от города, найдется мужичок, имеющий пару лошадок (третью он выпросит у соседа, если потребуется надобность непременно в тройке) и даже в рабочую пору, ненадолго, готовый ради лишнего рубля прокатить проезжающего. Отысканный непременно по знакомству и особой рекомендации, он запрашивает огромную плату, вполне уверенный, что он нужен, крайне нужен, что без него дело не обойдется. Проезжающий, употребив всевозможные средства в отыскании других, снова обратится к нему, согласный на запрошенную цену. Не проедет извозчик десяти верст, как уже передает седока другому, при седоке же торгуясь с новым извозчиком, при нем же уступая его за треть условленной платы. При этом, конечно, сопряжено бесчисленное множество неприятностей: часто везут седока, противно условию, на паре и не так скоро, как бы желал он, потому что впряженные лошади совсем не дорожные, а простые, изможденные — рабочие. Наконец, случается и то, что несчастного пассажира часов пять возят из одной избы в другую, из деревни в соседнее село, чтоб сбыть его посходнее и прибыльнее. С ужасом недоумевает несчастный, отдавая по прибытии на место не менее его несчастному последнему извозчику — жертве корыстолюбия его собратов — ничтожную сумму, доходящую иногда до полтинника и менее.

Напротив, троечник больших торговых дорог только летом, когда он вместо себя для домашних работ должен нанимать работника, и выгоден зимой, когда кормы бывают дешевле и езды больше, потому что и питерщики едут домой, да и у *школьников* бывают каникулы,

В заключение очерка должно сказать, что редко, почти даже никогда не случается так, чтобы сын троечника покинул ремесло отца. Оно, можно сказать, делается наследственным в роде, переходя от отца к сыну, и нередки случаи, что попавшийся современному путешественнику извозчик уже десятый в роде занимается извозом. Редкий также случай, чтоб троечник сделался одиночником, разве сгорит все его имущество, кроме его любимой тройки, или другое какое горе сделает его бедняком, но не отобьет у него охоты и привязанности к прежнему ремеслу, с которым он свыкся от колыбели и пристрастился по обстоятельствам.

Напротив, множество бывает случаев обратных, т. е. одиночник делается троечником, с охотою и искренним желанием заниматься ремеслом и выгодным и прибыльным, но только, впрочем, в таком случае, когда ему, что называется, сильно повезет. Большею же частью одиночник, достигнувши своей цели, т. е. подновив или переделав избу и поправив хозяйство, снова берется за старое свое ремесло — пахаря, без всякого сожаления к покидаемому временному. Избалованный же своим ремеслом троечник ни за что в мире не согласится сделаться одиночником и скорее пойдет на почтовую станцию ямщиком или легковым извозчиком в столицу, чем покажется всем знакомым своим не лихим троечником-запевалой, а гужеедом-одиночником.

Прямое, резкое отличие троечника от одиночника, конечно, кроме тройки,— это сапоги валяные зимой и кожаные летом, синий кафтан внакидку на красную рубашку и плисовые шаровары — летом; теплая непотертая шуба баранья, высокая шапка — зимой, заменяемая в жары низенькой пуховой шляпой, в которой вечно торчит павлинье перо, иногда даже два или три вместе. В шапке и шляпе всегда найдется у троечника красный платок — подарок жены или полюбившей его девушки; в сапоге уж всегда и непременно маленькая коротенькая трубочка, а в широких шароварах — кисет с *самбраталическим,* имеющим свойство всякого курящего заставить раз сто плюнуть и крякнуть, прежде чем выкурится крохотка-наперсток трубочка. Вот все, что только любит брать с собою в дорогу троечник, да разве путь лежит мимо родной деревни, куда забежит он повидаться, и старая мать или молодая жена сунет ему за пазуху тряпку с пирогом. Таковой он немедленно же и истребляет, зная, что по дороге много к услугам его и постоялых дворов с дешевым обедом, и потому-де

запас тут лишняя вещь, ни к чему путному она не ведет.

Тихо и незаметно умирает троечник, завещая сыну любимое свое ремесло и последнюю главную волю — похоронить на родном погосте, где лежат все родные под покривившимися деревянными крестами, немного поодаль от каменной церкви соседнего села, в котором он был когда-то прихожанином и молельщиком.

II. ОДИНОЧНИК

Отец одиночника, простой мужик-пахарь, вовсе не занимается воспитанием сына, предоставляя это дело жене — хлопотливой крикунье-бабе или, лучше, самой природе. Мальчишка, который два года поползает на грязном полу отцовской избы между овцами и телятами, столько же времени поваляется в грязи и пыли деревенской улицы, с раскрытым ртом удивляясь невиданным диковинкам: от простой крестьянской телеги до затейливых старинных дрожек проезжей старушки помещицы; потом несколько лет походит с ребятишками-сверстниками за грибами и ягодами, раз по десяти в день купаясь в соседней реке-луже. Лет шестнадцати он уже принимается за серп и косу, вовсе не думая о своем будущем ремесле. Наступит зима со своими холодами и бездействием; мужику осталось завалиться на печь или сесть в угол и тачать свой неуклюжий лапоть, но во дворе у него пара лошаденок и двое саней — тут уж как-то не хочется быть в бездействии, особенно если за мужичком состоит недоимка. И вот по совету соседа мужичок подновит свои сани, починит сбрую и отправится в соседний город за товаром; здесь земляк найдет ему доверителей свезти пеньку, шерсть, муку в губернский город и обои сани нагрузит этим добром до самого верху. В огромном обозе, длиною с версту, потянулась и пара лошадок новобранца-извозчика вслед за другими. Сложивши в городе кладь и получивши расчет, ему остается или опять искать *оказий*, или просто ехать порожняком. Приятель-земляк и тут его не оставит и выручит из беды: найдет ему целую кучу седоков на обои сани, так что доехать до деревни ему придется не только даром, но еще и с излишком, а расчет за кладь весь почти останется целым в его кошельке.

Подобного рода оборот чрезвычайно полюбился мужику по очень простой и естественной причине: у него нашелся и лишний грош в хозяйстве, и случай коротать

полезно и выгодно зимние ночи. Мало-помалу одиночник заводится знакомством и начинает возить исключительно одних седоков, и только разве за неимением последних возьмется за кладь. Глядишь, каждую зиму он является в городе и где-нибудь за углом выжидает своих седоков, каких-нибудь семинаристов или гимназистов, пользующихся вакацией. Пройдет зимы три-четыре, и у одиночника завелись седоки постоянные, знакомые, которые избавляют его от необходимости стоять за углом и уже сами отыщут его где-нибудь на печи или полатях постоялого двора. Торговля с ним короткая, цена за проезд известная, незначительная. Всякий из седоков знает и своего извозчика и то̀, какое число пассажиров любит он сажать в свои широкие пошевни, называемые им *креслами;* а потому никто и не претендует, если он посадил лишнего и выедет позднее, чем обещал, да и повезет мучительно тихо, потому что всякий знает, что ни один одиночник не любит делать больше шестидесяти верст в сутки и меньше четырех станций на стоверстном пути. Даже эти станции, или *привалы,* самый постоялый двор, где остановятся, известны каждому седоку как нельзя лучше, наконец, имя и хозяина и хозяйки его и число часов, которые доведется просидеть в душной избе или рассматривать затейливо пестрые и занимательные суздальские картинки, которыми увешаны стены пассажирской горницы. Досужий гимназист найдет достаточно времени, чтобы разобрать все надписи, которыми унизаны и потолок и стены, наконец, и сам найдется, чтоб и по себе оставить приличное воспоминание в стихах следующего содержания:

Здесь мы были,
Чай пили,
Яичницу ели
И трубку курили.

Пока седоки пьют чай или едят яичницу, изготовленную услужливой хозяйкой, извозчики распрягли лошадей и задали им сена. Один за другим входят они в избу и, предварительно помолившись и поздоровавшись с хозяевами, начинают *разболокаться.* Снявши полушубки, одиночники являются в рубашках, подпоясанных тесемкой с болтающимся на ней медным гребешком, которым тотчас же и приводят в порядок растрепавшиеся волосы.

— А что, хозяюшка, не покормишь ли ты нас?— заговорит один, покрякивая и почесываясь.

— Да вы все ли тут пришли, нет ли кого на дворе?— спросит хозяйка и, получив в ответ лаконическое «кажись бы, все», начинает накрывать на стол: положит коротенькую скатерть, поставит солоницу — четырехугольный деревянный ящик с такой же крышечкой, открывающейся кверху, каравай хлеба; сбегает в погреб и в ендове принесет квас; наконец начнет копаться около печи. Извозчики залезают за стол, крайний берет нож и *рушает* хлеб, остальные в глубоком молчании ожидают *варева*. Приходит хозяйка и на деревянной тарелочке приносит говядину, половину которой тем же порядком и крошит сидящий с краю. Является огромная деревянная чашка со щами, сюда складывается приготовленное *крошево;* сидящий в переднем углу под образами начинает есть, его примеру чинно, не торопясь, следуют остальные.

Щи съедены, только на дне чашки осталась непочатою говядина; застучат ложки по столу, и хозяйка снова — в другой, третий, четвертый раз — подливает щей. Едят-едят, да вдруг все и перекрестятся: чему обрадовались?

— Куски пошли! (Настало время за крошево приниматься.)

За щами является лапша и съедается с тою же невозмутимою тишиною, нарушаемою только стуком ложек или просьбою подбавить еще немного лапшицы и передать сукрой хлебца.

Когда съедается лапша, разговор начинает как будто навязываться. Какой-нибудь из сидящих вызовется уже и лошадок проведать и уйдет из избы, за ним другой и третий. А между тем хлебосольная хозяйка приносит кашу и глиняную плошку с топленым маслом. Каша как-то особенно вкусно приготовлена и понравилась извозчикам: трех чашек как не бывало, и странное свойство — она развязала языки. Начинаются толки. Откуда ни возьмется красноречивый, опытный рассказчик в лице проезжего офени или господского лакея.

— Эй, слышь-ко, хозяйка! Есть, что ли, еще что-нибудь?

— Молоко с творогом, коли хотите!— отвечает голос из-за перегородки.

— Давай, поедим и молока твоего!

И две чашки молока с творогом разместились в желудках разгулявшихся потребителей.

— Пироги подавать, что ли, ребята?— снова спросит хозяйка.

— Да они с чем у тебя?— скажет какой-нибудь шутник.

— Вдругорядь будут с кашей, а теперь с аминем,— ответит хозяйка. И действительно, пирог с аминем, т. е. пустой, без начинки.

— Ну баста, ребята, вылезай, пора и коней попоить. Сами поели, и им пора дать вольготу...

Напоивши лошадей и задавши им овса, извозчики ложатся спать. Пройдет часа два или три, и снова воз за возом отправляется из задних ворот дорожный поезд.

Здесь не лишним будет заметить, что одиночник никогда не едет один, а всегда в компании с другими, держась поверья, что задним лошадям легче плестись за другими. Потому редкий когда-либо согласится ехать впереди, всегда стараясь немножко позамешкаться, чтобы после догнать товарищей и примкнуть сзади. Но если уже выпала ему такая несчастная доля — предводительствовать обозом и у него двое саней *вразнорядку*, то никогда не пустит вперед ту свою лошадь, которая получше другой и *пошагистее*, а норовит поместить не так рысистую лошадь и всегда правит ею своеручно. Он ни разу во всю дорогу не употребит плети, которой очень часто даже и нет у него, как вещи совершенно ненужной при такой тихой езде, как езда одиночников. Вообще одиночник чрезвычайно любит своих *животов* и бережлив к ним даже до мелочности: ни за что не посадит балуна-школьника на свое место, на облучок, не даст ему ни вожжей, ни плети.

Ничем столько не угождают ему седоки, как слезши с воза пойдут сторонкой,— мера единственная, даже полезная зимой, потому что, сидевши неподвижно на одном месте, можно отморозить себе ноги, да, наконец, нужно же разнообразие в такой тихой езде, тянущейся мучительно медленно. В благодарность за одолжение одиночник любит *поважить* своих седоков, а в свою очередь, когда дело дойдет до горы, он соберет их на воза, громко крикнув: «Садись, ребята, гора!» — и легонькой рысцой спустит их вниз. Затем опять продолжается та же история: согревание себя и своих ног собственным же средством — взбираньем пешком на гору.

Во время таких обоюдных дружеских одолжений с обеих сторон незаметно наступят сумерки, а за ними и темная, глухая ночь. Седоки на своих местах; извозчики тоже на облучках; передний зачмокал, задергал вожжами, и лошаденьки мелкой рысцой потащились вперед,— разительный признак близкого ночлега.

За столько же сытным, как и обед, ужином разговоры бывают обыкновенно обильнее и интереснее. Ночной ли сумрак и темнота только что проеханного леса, страсть ли русского человека к чудесному, имеющая много пищи в тихой езде, когда от нечего делать и в лесу сильно воспламеняется воображение, но только за ужином у одиночников всегда затеваются рассказы о разбойниках.

— А слышали, ребята,— начнет какой-нибудь краснобай,— намнясь в Вожерове како дело случилось?

— Нет... А что? Нешто неладно?— отзовутся собеседники.

— Да, чай, знаете Михея-то Терпуга, ну вот что с товаром ездит, еще такой коренастой, с черной бородой, да он завсегда тут все разносчиком ездит: никак годов больше двадцати будет.

— Будет-то будет!— отзовется хозяин, охотник послушать разговор своих гостей и принять в них деятельное участие.— Знаем Терпуга...

— Ну!— в нетерпении отзовутся в один голос все извозчики.

— В осеннюю Казанскую в Вожерове ярмарка бывает, что ли, аль базар какой, заподлинно не могу сказать.

— У них на введеньев день бывает ярмарка!— заметит хозяин, присевший на лавку, поближе к гостям.

— Терпуг приехал с товарами, лавочку открыл, посбыл товару сколько мог, да, говорят, и больно много. К вечеру собрался, связал воз, все как следовает, да на перепутье и забеги в питейной. Хватил косулю, другую, третью — разобрало... Он и давай бахвалить про деньги, на столько-то товару всякого продал; спросил еще косулю — выпил. Случись тут трое молодцов из тутошних, перемигнулись, примерно, и вышли. Михей выпил косуху и тоже вышел. Да вам, чай, в примету, братцы, на десятой версте отселева мост-от?

— Коло Починка-то, что ли?— спросил хозяин...

— Ну!— подхватили слушатели.

— Вот эдак, примерно, около первых петухов едет Михей один, работника с ним не было; только на мост въехал, как хватит его кто-то по затылку, да так больно, что он и свалился. Как опомнился, пришел в чувствие — видит, дело плохо: один молодец держит под уздцы лошадь, а двое лезут с дубиной... «Давай,— говорят,— деньги, а не то под мостом будешь, не успеешь-де родным и поклону справить». Михей изловчился, выта-

щил кистень, да как рванет того, что первый полез на него: у того только искры из глаз посыпались... Упал! Тот, что лошадь держал, драло под мост, а за ним и третий. Съехал Михей с моста, а они ему вдогонку: «Счастлив-де, проклятый, догадался — кистень достал, а то бы хлебал уху в омуте...»

— То-то я гляжу,— намнясь за маслом ездил в Вожерово,— Спирька-Сыч что-то сгорбился, с овина, бает, упал,— перебил хозяин.— Да вот вечор ваши же ребята рассказывали, что Терентий Павлов вез на тройке купцов с ярмарки и тоже, примерно, в питейное вожеровское зашли и выпили на порядках — знатно. Тут на задах-то у нас перелесок будет; они, что въехали туда, слышат, свистнуло в стороне, а там — в другой. Купцы хоть и на кураже были, а струсили... Терентью и горя мало, едет да попевает, еще шажком и тройку-то пустил. А в корни-то у него была вятка сивая, бает, триста рублев в Котельниче дал... Видят купцы, около дороги человек верхом показался, выехал на дорогу. За ним другой, тоже на лошади, поравнялись, да и давай растабарывать. Терентий с ними: «Куды-де едете, не по пути ли, да что больно лошаденьки-то у вас плохи?» Купцы было кричать, чтоб шибче ехать, а Терентий как бы и не слышит, знай толкует. «Да вы,— говорит,— ребята, не хотите ли поменяться лошадями-то? Я бы коренника-то,— бает,— уступил дешево, взял бы, пожалуй, обеих, да коли и третий бы был, и того бы взял». Те только посмеиваются да переглядываются; один пустил немножко вперед, да только было хотел ухватиться за поводья, как гикнет Терентий, индо купцы носы в лисьи шубы попрятали. Кони взвились, только пар валит; те было версты две поехали, да видят — дело дрянь, не догонишь. «Ладно,— говорят,— в другой раз поедешь — нас не минуешь». А Терентий только посмеивается да покрикивает,— так и удрал...

— Да нешто они давно, хозяин, так-то занимаются?— спросил один из извозчиков.

— Ну, теперича маленько посмирнее стали, зря-то не нападают, разве ночью на одного.

— Вестимо, в обозе-то что они сделают? Так только лишь... Бока наломаем, знают они, на кого нападать. Да никак пора, ребята, лошадок попоить да и спать завалиться!— заключил первый рассказчик, вставая из-за стола и поблагодарив хозяина за хлеб и соль.

Через полчаса в избе все стихает. Извозчики забрались на печь, на полати, на лавки и, подложив полу-

шубки под голову, наполнили всю избу сытым и тяжелым храпом. Хозяин притащил из сеней огромную связку щиты или плетенный из соломы ковер и бросил его в углу на пол, наконец, погасив лучину в светце, вскоре и сам захрапел за перегородкой. Около полуночи между спящими начинается некоторого рода суматоха; лежавшие на печи и полатях перебираются на пол, будучи не в состоянии выдержать той страшной духоты, которая едва терпима в самой избе — на полу и лавках, но становится удушливою на печи и полатях. И хотя по пословице «пар костей не ломит», все же этот жар в течение пяти часов редкий в состоянии вытерпеть и готов даже отдать должное удивление и полную дань справедливости тому, кто всю ночь вылежится там и долго потом, проснувшись, протирает глаза и не может очнуться.

— Эк его разжарило! Обрадовался теплыни, словно и невесть чему, как это хватило мяса, что хоть глаза-то привел бог протереть,— не весь сжарился!.. Пройдись маленько, свояк, а то, чай, всего разломало,— заметит лежавший на лавке.

— Благо хоть свет-то божий привелось увидеть, а то и не чаял; вишь, какой зуд пронял, словно блохи накусали,— подхватит какой-нибудь остряк-швец, сшивающий хозяйские овчины для тулупа.— Попробуй, сват, кваску, авось не прогонит ли тоску.— И, подавая кружку все еще не очнувшемуся и протирающему глаза свату, добавит:— Славный квас, землячок; один пьет, а у семерых животы рвет; выпьешь глоток — со смеху покатишься, а выпьешь другой, сведет тя дугой — небось еще не попросишь.

— Что, небось ладен — глаз изо лба воротит?— спрашивает разговорившийся остряк, когда ошеломленный наконец крякнул, выпивши полкружки и свесив свои ноги на лесенку.

— Теперь пройдись маленько, да смотри не забудь онучки-то, а то тебя тут и не дождешься; вишь ведь, словно дома развалился!— продолжают острить одиночники, увлеченные примером бойкого парня-швеца, давно уже поджавшего ноги где-нибудь подле светца на лавке и ловко вскидывающего руку с иголкой, так что глазам больно следить за его работой.

Снова смолкнет все в избе, хотя уже и проснулись все ее временные и постоянные обитатели и, обвивши свои ноги онучами и оборами, подвязывают лапти. Изредка в разных углах раздается протяжный зевок в ви-

де завывания: «Ох-хо-хо — ау... чих; ехала деревня поперек мужика»... Вскоре начнется плесканье водой из глиняного рукомойника с тремя горлышками, висящего на веревочках около печи, под полатями, рядом с рушником или полотенцем. Этот рукомойник имеет весьма дурное свойство — всякому непривычному вовсе некстати налить воды за шиворот, если он слишком сильно раскачает его на веревках и не догадается придержать рукой, прежде чем наклонит свою голову.

За хозяйской перегородкой начинается однообразное щелканье счетами при отрывистом высчитывании потребленного овса и сена. Зазвенят медные деньги, захлопает дверь из избы в сени, иногда раздастся голос нетерпеливого седока, понукающего своего извозчика поскорее закладывать и всегда озадачиваемого следующим ответом:

— Ишь какой прыткой! Дай разделаться с хозяином-то, гляди, еще и не закладывали. Без других я не поеду... Спешить некуда, к вечеру будем в городе, небось не замешкаем. Мы свое время знаем, барин; поди-ка лучше буди своих-то — рано поднялся больно, еще только третьи петухи пропели...

Иногда после такой речи раздается голос растерявшегося извозчика, отыскивающего какой-нибудь синий или красный кушак и рукавицы, и через полчаса изба пустеет. И снова воз за возом медленно, мучительным шагом, при всеобщем молчании еще не разгулявшихся путешественников, потянется длинный обоз одиночников по избитой ухабами зимней дороге.

ШВЕЦЫ

К числу необходимых промышленников, составляющих насущную потребность в крестьянской жизни, принадлежат едва ли не более всех *швецы,* которых можно также обозначить именем деревенских или, даже лучше, русских портных.

В большей части Костромской губернии обязанность швецов исполняют жители одного из самых промышленных и многолюдных ее уездов — Галицкого, который сотнями высылает плотников, пильщиков, каменщиков и печников в Петербург и Москву и столько же разбрасывает промышленников по своей губернии в лице мехобщиков, извозчиков, ездящих с мерзлою и сушеною рыбою, со свежими огурцами и прочим. Из этого уезда

в конце осени небольшие кучки швецов плетутся по проселкам и большим почтовым дорогам иногда чрезвычайно отдаленных уездов, каковы, например, северный край Кологривского, по рекам Меже и Унже, Ветлужский, Макарьевский, иногда Солигаличский, Буйский и Чухломский. По быту этих-то швецов и обрисовываются картины промысла, представляемые в настоящем очерке. <...>

Не вдаваясь слишком далеко в объяснение причин, по которым бы можно было узнать всю степень важности и значения швецовского ремесла, мы хотим представить простую и нехитрую картину его проявления.

Прямым и неизбежным следствием появления швецов бывают следующие обстоятельства.

Редкий мужичок не имеет на дворе у себя пары две и даже три баранов и овец, составляющих предмет предпочтительной любви и благорасположения хозяек-баб, которые называют этих животных многими ласкательными именами, каковы, например, *бяшка* и даже *яшка*. В продолжение долгого лета эти бяшки до того *закужлявятся*, что к осени потребуют новой стрижки, как бы взамену первой, которая производится в великом посту.

В любой крестьянской избе в начале ноября или в конце октября непременно уже открывается следующая семейная картина: все бабы, начиная с *большухи* и оканчивая десятилетней *девонькой*, сидят в *куту*, или заднем углу избы, под полатями, и держат на коленях мохнатого барана или овцу-*яловку*. Бяшка поминутно вздрагивает и жалобно кричит под большими особого устройства ножницами и как бы ждет не дождется, когда кончится эта невыносимая пытка, хотя и приправляемая ласкательствами мучительниц. А между тем огромный *грохот* постепенно наполняется густою волною, которая наконец кладется и в лукошки, за неимением другой подобной посуды. Одновременно с окончанием подобной операции являются в деревнях местные *шерстобиты*, или *волнотепы*. Эти промышленники сортируют шерсть на два отдела: та, которая подлиннее и помягче, назначается для кафтанов и струною *волнотепа* превращается в мочки. Остальная шерсть — густая и жесткая, преимущественно со спины и боков животного,— пойдет в продажу и в руках макарьевского и кологривского *валяльщика* превратится в сапоги, которые иной бережли-

вый хозяин четыре зимы носит и не износит, особенно если догадается подсоюзить их кожей. Первый, лучший сорт шерсти, превращенной в мочки, тотчас по уходе шерстобитов прядется бабами, и приготовленные нитки употребляются для бабьих чулок или для варежек, или же, наконец, на ткацком станке является сукном-сермягой для *понев* и кафтанов. Может быть, в то же самое время, как бабы исполняют свои обязанности, мужик-большак с сыновьями творит распорядок в подполице или где-нибудь и режет нестриженых яловиц и баранов для того, чтобы после, снявши с них шкуру, иметь овчины для полушубка или даже, пожалуй, и для тулупа. Устроивши таким образом дело, мужичку остается поджидать прихода швецов, которые не замедлят явиться в деревне в средине или конце ноября, но всегда после Кузьмы-Демьяна.

* * *

Нетрудно узнать догадливому то ремесло, которым занимаются эти мужички-путники, только что сейчас вышедшие с проселка на большую дорогу и потянувшиеся к виднеющейся вдали черной массе деревни. Почти что новенькие овчинные шубы туго-натуго подпоясаны красными или синими кушаками и надеты на коротенький полушубок. На спине каждого из них крепко привязан небольшой кожаный мешок, укрепленный на груди крест-накрест наложенными ремнями. Внизу ремней, из-за кушака, торчат огромные ножницы. По ним-то и по мешку назади ясно видно, что путники идут совсем не в Соловки богу молиться или в Питер работой бока протирать: иначе мешок был бы побольше и не кожаный, да и внизу его непременно были бы привязаны пары две или три новых лаптей и, по крайней мере, хоть одна пара сапог. У этих, напротив, даже вместо толстой и суковатой можжевеловой палки видны в руках палочки дубовые, коротенькие, по нарезкам и четырехугольной форме которых нетрудно различить самодельные аршины. Почти все путники немного сутулы и ступают неровным шагом, а не с перевалом, как делают это плотники. Из-под теплой шапки, опушенной у иных барашком, а у других и просто кошачьим мехом, смотрят насмешливые глаза и открытая физиономия: не сонная, как у каменщика и печника, а такая же смелая, как и у иного ярославца — петербургского лавочника. Впереди этой толпы идет парнишка-ученик, который от скуки гоняет носком лаптишек валяющиеся на дороге комки.

В полуверсте от путников показались черные клетухи-бани — предвозвестницы начинающегося жилья. Все они, по обыкновению, обсыпаны большими кучами льняных *отрепьев* — следов недавней бабьей работы. Утро только что началось, в деревне все тихо, и только скрип колодца да дальнее мычанье коровы попеременно нарушают тишину. Из деревянных труб показался черный дым и прямым столбом потянулся к далекому небу.

— Вот он — Починок-то!.. Давно уж мы тут рыщем, а все тебя, молодца, ищем; принимай добрых людей да давай им работу — во льготу!— заговорил один из швецов, слегка улыбнувшись и переглянувшись с товарищами.

— Тереха не утерпел, спозаранку начал белендрясы подводить. Что-то будет, как на работу-то нарвется,— заметил другой швец остряку, всегда неизбежному лицу во всякой швецовской компании.— Говорил бы ты дело-то, путное что-нибудь: как дела поведем — вот теперь в чем главная причина.

— Как поведем? Вестимо, как поведем; нечего тут и разум моторить, коли в деревне весь народ, почитай, на знати. И то молвить, не одни, чай, лаптишки, ходючи сюда кажинную зиму, поизмызгали. Вот дядя Степан седины понабрался, а все, смотри, сюда же лезет. Так ли, дядя Степан, я баю?

— Так, так, Тереха; неча греха таить: скоро двадцать зим минет, как в Починке работу беру.

— Да что тут толковать: толкнемся к соцкому Миките и дело в шляпе. Поди, он всех баранов перерезал да и овец-то уж, чай, давно пообстриг.

— Эй вы, люди добрые, нет ли *шитва?* Выходи сюда, кто там жив остался,— говорил Тереха уже под волоковым окном избы сотского, раза три постучав своим деревянным аршином в доску-подоконницу.

Через четверть часа высунулось бабье лицо, запачканное мукою, и, всмотревшись в путников, улыбнулось.

— Ай, родимые, Тереха, Степан, Петруха, Ванюшка!.. Войдите, ребята, в избу, на дворе студено что-то стало. Как живете-можете?— спросила хозяйка, когда швецы, помолившись образам, сели на лавку.

— Твоими молитвами, ничего... живем помаленьку: ни шатко, ни валко, ни на сторону. Где ж у тебя большак-то?

— Да еще третьеводни уехал к барину в город, о сю пору еще не бывал, баял, что долго не будет мешкать. А молодицы-то в баню пошли, лен треплют. Большаков-

ребят в Питер отпустили: Гришу — в плотники, а Иван, знамо, в печники снарядился.

— Нешто ты, Матрена, Ванюху-то оженила? Кажись, у тебя только одна невестка и была — Аграфена.

— Как же, кормилец, и Иванушку женили, около масленой женили. Хорошая девка попалась: и к работе приобычна, и дела исполняет куды *баско*. Да и то молвить, из хорошего дому ведь пошла: потрусовского старосты Дементья дочка.

— А припасла ты нам работы, тетка Матрена? Ведь вот, поди, теперь и молодицам полушубки надо снарядить. А мы, признаться, на вас только и надежду полагали.

Пока тетка Матрена ходила в голбец[1], швецы успели *разболочься* и развязать свои мешки. Вскоре постепенно, одно за другим, показалось из этих мешков: утюги, наперстки, кусочки синего воску, обглоданный мел, наконец, суконный цилиндрик самодельной работы, назначенный для булавок, и игольник с большими и маленькими иглами. Остались в мешке, может быть, только нижнее белье, праздничный чистый платок на шею да новые шерстяные синие перчатки. Хозяйка принесла сырые овчины, извиняясь, что не успела просушить их за отсутствием большака.

— Чего ж у тебя молодуха-то смотрит? Знамо, где твоим старым костям с этим делом вожжаться: поди уж, лодыжки щелкают. Ну да ладно,— печь топлена, а дело это нехитрое — снарядим сами...

И Тереха с учеником-парнишкой занялся просушкою овчин: он развесил их на шесте перед печкой, несколько раз снимал, чтобы вытягивать руками, а в некоторых местах для сровнения морщин ухватывался даже зубами; потом опять вешал и пробовал иголкой в тех местах, которые казались ему просохнувшими. Кончивши это дело, он наметал намеленной ниткой *прошивы* и начал кроить, уверенный, что просушенная овчина уже свободно будет пропускать толстую иглу и самые руки его не будут потеть, а следовательно, и затруднять ра-

---

[1] Голбцом называют в избе небольшой чулан с земляным полом, строящийся обыкновенно около печи, под полатями, сейчас налево при входе. Отсюда ведет ход и в подполицу. В голбце ставится домашняя провизия, принесенная из погреба и назначенная на завтрашнее потребление, и кладутся такие вещи, которые должны быть всегда под рукой: топор, лапти, косарь, светец, тяпки и прочее и прочее. *(Здесь и далее постраничные примечания принадлежат С. В. Максимову.)*

боту. В то же самое время и остальные швецы — Степан и Петруха — кроили сермягу, принесенную хозяйкою с подволоки, где висела она для *проветриванья*. Обрезки от овчин и армяка мальчишка-ученик подбирал в то время с полу и клал в хозяйские сумы. Это поступало уже, по общепринятому обычаю, в собственность швецов, хотя между этими обрезками попадались и такие куски, из которых шутя можно составить целую спинку, а чего доброго, и приделать рукава на руки любого верзилы.

Пришедшие молодицы принесли все, какие припасены были ими, нитки. Оставалось только начинать шить; но дело это не состоялось, потому что подоспела пора обеда. Швецы подобрали все, что было на столе, на котором вскоре очутилась огромная чашка со щами. Старшая невестка посолила их, но ушла за хлебом за *переборку*. Молодуха, не заметив этого, посолила в другой раз. Шутник Тереха, следивший за ними, не утерпел и тут, чтобы не отпустить свою заветную штуку: пусть-де посмеются ребята. Он взял из *солоницы* целую ложку соли и размешал ее в чашке уже в то время, когда все уселись за стол.

— Чтой-то, молодец, нешто ты не видал, что я посолила?— заметила молодуха.

— А я, признаться, думал, что уж такой обычай завелся в новом хозяйстве, чтобы все солили,— ответил Тереха и самодовольно улыбнулся, заметив, что обе молодые хозяйки переглянулись.

— Все-то вы, кажись, ребята такие сорванцы, прости меня господи! Вон хоть бы зимусь и в нашей деревне: ваши же галицкие ребята были, и Калиной еще и парня-то звали. Шил он у дяди Егора тулуп, да и заставил его раздеться всего. Ишь без того-то, бает, и мерку неловко снимать. Тот и лег на стол: больно, вишь, он прост у нас, куды прост, Матвей-от. И не в догадку ему, что Калина шутки шутит. Этот и мурызни его вдоль спины-то, да так индо больно, что Матвеевы ребята *по шеям* Калину да и вон из избы.

— И не то бывает, кормилка, коли знать хочешь; ведь недаром и поговорка про нашего брата ходит: швецы-портные...

— Ну-ну, Тереха, видно, мели, Емеля,— твоя неделя. Ты уж, братец ты мой, не всяко слово в строку мети, нужно и разум знать,— перебил остряка Степан, все время соблюдавший молчание: он давно уже оставил шутки и ведет свое дело серьезно.

— И, дядя Петр! Смалкивай знай, невестка,— сарафан куплю! Вишь ведь, молодица не знает всех свычаев-то наших. Вот хоть бы, примером, тепереча, слыхала про Власа да Протаса? А нет — так никшните. Жили, вишь ты, кормилка моя, два брата подгородные, тоже швецы, как бы и мы со Степаном; да и звали-то их попростецки: сивой Влас да гнедой Протас. Наклевалось им делишко, куды хорошо: у мужика богатого, что деньги помелом метет и лопатой в кузовья загребает. И все бы хорошо, да недоимочка махонькая состояла — голова-то, вишь, была словно жбан пивной: звон большой, а браги нету,— тоже, как бы вот и ты порассказала, тоже сметка-та к закаблучью, знать, пришита была. Принял он этих молодцев шубу шить себе, а овчин-то дал чуть ли не на две. Влас и Протас, надо вам молвить, знали хорошо, на какую он ногу хромает, и всю его придурь словно по писаному читали. Сговорились они промеж себя, да и задумали,— в добрый час сказать, в худой промолчать,— непутное дело. Э, думают про себя, куда кривая не вывезет, сегодня ухну, хоть утре и будут бока пухнуть.

«Слушай, хозяин,— молвил Протас,— как ты смекаешь, догонит Влас, коли завернусь в эту шубу да вбежки побегу, аль не догонит?»

«Нет, догонит!» — бает тот. А сам ухмыляется, любо, вишь, на потеху на такую.

«Ан не догонит, хозяин. На что хошь на спор пойду, не догонит».

«Попробуй!» — брякнул тот сдуру, что с дубу.

Завернулся Протас да деру задал такого, что любо да два — индо пятки засверкали. А мужик-то стоит разиня рот да любуется.

«Гляди-ко, гляди, ребята, чуть-чуть не догонит; вон как за лес забежит — поравняются... и поймает, беспременно поймает».

— Ишь тебе любо, Тереха,— заметила большуха,— нешто христианское дело затеяли.

— Да и то молвить, тетушка Матрена, быль молодцу — не укора, а мало ли непутных-то делов на белом свете,— ответил Степан.

— У наших ребят руки не болят!..

— Спасибо хозяюшкам за хлеб, за соль да за щи с квасом, а за кашу-то песенку спою,— говорил Тереха, молясь образам.

Когда убрано было все со стола, швецы снова сели за работу. Бабы тоже поразобрали с полок свои копы-

лы, и слышно было в избе, как зашумели на полу веретена, обвиваясь новыми нитками.

— Ты из какой деревни, молодец?— начала молодуха.

— Да ты у кого спрашиваешь-то?— сказал Степан.

— Вестимо, кто пошустрей да и позубастей всех,— объяснила тетка Матрена.

— Я-то откуда? Да все оттуда ж. Больно молода — много будешь знать, мало станешь спать. Скажи-ко мне лучше, зачем мужа-то в Питер пустила? Неладное дело в вашей стороне ведется, дурак ваш мужик, не тем будь помянут. Женится да и лезет в Питер, словно угорелый, как будто мало народу там и без нашего брата-шалопая; сидел бы дома, да точил веретена, да жену журил.

— Ишь ты, какой сыч, прости меня господи,— заметила молодуха, видимо сочувствуя шутнику Терехе.— Я бы тебе космы-то повытрепала, коли б была женой-то твоей. Стал бы ты у меня по жердочке ходить... Да молвишь ли ты, как зовут-то тебя?

— Меня-то? Терешкой, Терешкой, голубка востроглазая, и парень-то я галицкой ерш. Вон и Петруха ерш, да и мы все тут, почитай, ерши, и все галицкие.

— А родня вы промеж собой?

— Да как родня? Когда моя бабушка родилась, вон Петрухин дедушко онучки сушил. Кто у нас не родня? Коли в поезжанах был, так и свой, вот как в нашей стороне ведется, да, поди, и в вашей так же?

— А ты нешто женат?— продолжала неотвязчивая допросчица.

— Нет еще. Вот уж коли домик путем заведу, а ведь в нашем ремесле из-за хлеба на квас не заработаешь. Теперь все и хозяйство, что вот есть на себе; во дворе скотины — таракан да жуковица, а и медной-то посуды — всего одна пуговица.

В таких-то беседах пролетело время до сумерек. Швецы оставили работу. Двое из них, Степан и Петруха, легли на лавке, подложив полушубки под голову. Старшая невестка занялась головою свекрови, которая сначала, словно кот против солнышка, щурила глаза, а вскоре и совсем их закрыла. Тереха в это время подсел к младшей невестке, которая вытирала горшок, и стал балагурить.

Изба приняла тот тихий и спокойный вид, который бывает в самую золотую пору крестьянской жизни и который обозначается русским названием — *сумерничанья.* Тишина в избе дошла до такой степени, что не

только слышно мурлыканье кота в печурке[1], но даже как баран и овца жевали жвачку в подполице. Это затишье нисколько не нарушалось ни храпеньем большака (который был в отсутствии), ни визгом *меньшака* — неугомонного ребенка, которого еще не было в доме.

Когда уже довольно смерклось, опомнился от забытья Степан. Растолкал Петруху, толкнул в бок ученика и попросил *свету*. Старшая невестка принесла из голбца треногий *светец*, значительно почерневший от частого употребления и близости искр, и поставила его подле лавки, из-под которой тотчас же вытащила лохань, налитую до половины водою. Ученик-парнишка исщепал целое полено для лучины и высек огня.

Снова началась работа, приправляемая рассказами Терехи. Начал он с шуток и долго болтал молодухе сказку *про белого быка* да о том, что вот *жили да были баран да овца; поставили они стог сенца,— не начать ли де сказку опять с конца*. Но, видно, не найдя сочувствия к подобным рассказам, он начал загадывать бабам загадки.

— Ну, Марья Семеновна, отгани загадку, и не хитрую,— сказал Тереха, обратившись к младшей невестке.— Слушай! Никто не таков, как Иван Ермаков: сел да поехал, слышь, прямо в огонь.

Задумались бабы все до одной; молодуха было сунулась с «ухватом», да не туда попала. Тереха улыбнулся и покачал головой; что ни говорили бабы, всё не то, даже Степан предложил было «пожар», да и он не потрафил. Перебрали наконец все, что попадалось на глаза, но, к несчастию, забыли «горшок» и испортили все дело.

На один горшок — бабий струмент и любимое детище — у Терехи нашлось тридцать загадок, всего больше. А пошел он по избе глядеть, так загадывал загадку про все, что на глаза попадалось: и про сучок, и про матицу, про тябло — божницу и про ставец — шкапчик. Зарябили в глазах знакомые образы и звания, да так затуманены, что голова разболелась. Но ловкий шутник приемы знал: повел вон из избы и довел до самой двери.

---

[1] Нелишне припомнить то, что на печь ведет с полу лесенка, называемая общим именем приступков; между этими-то приступками и находятся печурки, небольшие, в виде окошек, углубления, куда кладутся варежки для просушки, онучки и прочее. Здесь же обыкновенно спят и кошки. Верхняя доска приступков, за которую нужно держаться руками, чтобы забраться на печь, называется причалинка.

— Ну еще,— продолжал разговорившийся загадчик.— Два стоят, два лежат, один ходит, другой водит.

— Дверь!— с радостью закричали все бабы.

Выведя за дверь и задав задачу для бабьей сметки на вольном воздухе, шутник-швец попал чуть ли не в самое богатое место, где для вдохновения загадчиков, дедов и учителей Терехи, не было пределов: выучились они допрашиваться сметки и про такие мудреные задачи, как ветер в поле, гроза в небе, мороз и роса на земле и вся красота поднебесная; надоумили прикрывать иносказанием и все то, что растет в лесу и любезно сердцу,— от гриба до ягоды, и все то, что вызревает на огородах: и лук (баба на грядках, вся в заплатках), и редька (пуп в луже, борода наруже), и морковь (девица в темной темнице, коса на улице), и капуста, и хмель — милый друг, и горох, и репа — чего слаще нет. А на соху, на борону, на овин и косу стариковским загадкам, кажется, и счету не подведешь.

Замотал Тереха короткую бабью память и ленивую сметку до того, что самому стало скучно. Уважил он их напоследок и перестал ходить по задам, когда повел свинью из Питера, всю истыкану.

Хозяйки в один голос закричали: «Наперсток!» И даже дошло до того, что старшая невестка вынула из кармана, который привязан был у нее на поясе подле левого боку, это орудие и показала его Терехе.

Неугомонный шутник рассказывал потом настоящие сказки, предварив, что это бывальщина и случилось от него по соседству. Рассказанная сказка воодушевила не только баб, но даже и остальных швецов, из которых каждый рассказал также по бывальщине. Невестки только слушали, дивились диковинкам и искренно верили рассказываемому. Одна только свекровь заметила, что песня — быль, а сказка — ложь; но тотчас же рассказала про лешую, которую сама видела, когда, еще бывши молодухой, мыла белье на реке.

— Сидит водяница на колоде, и такая-то большущая да рыжая, а волосищи, почитай, что не до пят стелются, а вода-то, кормилицы вы мои, так и льет, так и льет с волосищ-то. Взглянула я, родители вы мои,— и обомлела, и поджилки затряслись. Слышу, вот как хоть я вас теперь слышу: захлопала водяница в ладоши да совой и заухала. Как добежала до дому, кормилицы мои, уж и не помню: словно кто пришиб мне память-то. Опосля мне, как опомнилась, рассказывали, что свя-

щенника-де призывали отчитывать, так индо перепужалась я водяницы-то...

— Бывает, Матрена Селифонтьевна, бывает. Вот ведь недалеко ходить: бродишь ину пору по лесу за грибами, алибо что... Ходишь, ходишь, а все к одной березе придешь. Придешь, ну вот так вот и видишь: и береза та, и муравейник тут, около... вон и палку еще бросил на муравейник-то, ну и та... тово... тут,— поддержал старуху Степан.— Да чево, бабушка, вот у меня пара *животов* на дворе стоит. Пришел я раз, коло покрова: сивко стоит, хоть бы што... а саврасая кобыла, что у благочинного купил, в мыле. В мыле, слышь, Матрена Селифонтьевна, словно кто на ней целую ночь ездил. Что ни говори, а *домовик* это ездит, лесовик это в лесу тебя обходит...

— Ох, что и баять, кормилец, кому, как не ему, домовику этому... Я уж как из старого дому перебиралась, кирпичик из чела в печи выломила да в *коник* [1] и положила; вот тебе грех молвить, а не хочу и таить,— положила. Ну... и ничего, коровушки, благодаря бога, живут, овечки тоже. Вот и гнедку, почитай, что кажинную ночь гриву заплетает. Подберет эдак, знаешь, косички и репейником поизукрасит, таково-то индо любо да красиво.

Между тем время незаметно подходит к ужину, и молодая хозяйка, накрывши на стол, приглашает швецов:

— Садись и ты, Терентий Иваныч, поужинай чем бог послал, чай уж, поди, попроголодался маненько.

— Да у нас, Марья Семеновна, коли признаться сказать, не ужинают,— отвечал Тереха потягиваясь, а насмешливая улыбка так и прыгает по его рябому лицу.

— Что ты баешь, не ужинают: да как же ложатся-то?

— Как? А поедят маленько, да *так* и ложатся!..

Поработали швецы и после ужина, вплоть до того времени, как запели вторые петухи. Один только Тереха, кончив незаметно полушубок и наметавши еще рукава на кафтан, завалился вместе с прочими на полати.

---

[1] Коником называется род ящика, устраиваемого под лавкой, в левом заднем углу. Ящик этот закрывается задвижкой, свободно двигающейся в обе стороны. В коник обыкновенно запирают кур зимою; летом сидят они на дворе на наседале, устраиваемом из жердей где-нибудь в углу. В коник кладут также лапти, топоры, но только в другое отделение, отгороженное от куриного доскою.

На другой день приехал и сам хозяин — сотский, в то время когда швецы сшили два полушубка, два армяка, теплую шапку хозяину и целую овчинную шубу хозяйке. Хозяин примерил свое, прошелся раза два по избе, заставив баб посмотреть: ладно ли сшито, не мал ли воротник и не жмет ли ему под мышками. Оставшись довольным, он рассчитал швецов по заведенным ценам: отсчитал два рубля за два полушубка, рубль двадцать копеек за два армяка; семьдесят копеек за шубу и пятьдесят копеек за новую теплую шапку [1].

— Слушай-ко, Степан Михеич,— заговорил сотский, доставши из ставца [2] бутыль водки и угощая швецов.— Давно меня задор пробирал спросить тебя: куда подевался шоринский Матюха,— еще такой песни гораздый был петь, что твой ину пору Терентий?

— Эх, загубил он свою душу, как есть загубил ни за денежку. И не то чтобы запивать, что ли, *хрушко* стал: еще это куды бы ни шло, а то, как бы тебе молвить... задурил...

— Да чего, задурил?— перебил Терентий.— Бахвальство, вишь, в нем завелось, хозяин. Форс-от этот проклятый его и подгогулил. На руку нечист больно стал: вот оно что! Так мы его и не берем по этой причине. И то про нас худая слава. Чего не скажут: и «нет воров супротив портных мастеров», и словно бы нам «только мерку снять да задаток взять», будто бы мы чего получше и не стоим. Не нашей иглой каменные дома выстегивают, и строчка-то наша по тому полотну, какое дают, а кроим — сам видал, чай,— к старой одеже новую прилаживаем, иначе и не примеряешь. Вишь, он какую *однова* штуку удрал у Игнатовских. Надыть тебе молвить, он шубенкой тогда поизносился, ну и армячишко, признаться, с плеч уж полез; а все чихирем-то вот этим не в меру занимался. Пошел он, вишь, к Игнатовским; думает: наши ребята туда мало ходят, коли

---

[1] Разумеется, ассигнациями. За починку платят по 50 копеек, за вставку двух новых рукавов — 10 копеек, за шаровары — 10 копеек, за шубу маленькому — 10 копеек. С кучеров, за бахвальство, берут за шаровары рубль.

[2] Ставец, или посудный шкаф, небольшой, с двумя полочками, существует только у зажиточных, которые держат и водку постоянно, и самовар, и другую необходимую для чая принадлежность: чайник и чашки. Тут же лежат и ключи от амбаров и погреба. У бедных крестьян ставец этот заменяется простым залавком, устраиваемым за переборкою, около печи. Тогда здесь уже ставится какой-нибудь кисель, колобушки, сулой (ячменная жидкость для приправы к овсяному киселю) и прочее.

что и сделаю — не узнают. Понаведался. Дали ему, примерно, работу; свалял себе шубу ночью да и след показал. Сам еще нам и делом-то этим похвалялся; и сошло было с рук. А вот на другом, так словно на льду, обломился. И случилось-то это дело непутное тоже коло нашей деревни: купил, вишь, лошковский мельник Дементий ячменю хорошего, а Матюха на ту пору работал у него, да и заночевал, примерно. Встает Дементий мельник поутру, да и спохватись ячменю-то; совался мужик туда и сюда: все закоулки поисшарил. Нет ячменю, словно помелом кто вымел; пропал ячмень со всем — и с мешком, и с веревочкой.

«Не видал,— бает,— Матюха, куда ячмень подевался?»

А тот, словно правый, за работой сидит и нитку еще в ту пору вдергивал.

«Нет, Дементий Андреич, не видал; слышал, признаться, впросонках, словно твой жучко на кого лаял, а не видал. И греха на душу брать не хочу, не видал».

Ну, заперся, слышь, заперся, словно и невесть что! Да уж по весне узнали, кто греху был причастен: сам же Матюха и привез к Дементию. А ячмень-от был не нашинской, а заморской, еще и у барина-то у безинского купил. Пошла про Саву худая слава, мы его не берем, одному ходить — неповадно, да все уж и знают; а нет, так и мы подкузьмим. Посовался Матюха туды да сюды, видит — дело дрянь, не выгорает; так он по весне и сгинул, словно топор ко дну. Бают ребята, что в Рыбное потянулся в бурлачину. Ну уж там, знамо, уховерт-народ, не клади пальца в рот, зараз тяпнут.

Только что вышли швецы от сотского и показались в полушубках нараспашку середи улицы, почти изо всех окон послышались приглашения. Между громкими бабьими криками особенно резче всех раздавался одной.

— Нишкните-ко, ребята, чтой-то солдатка-то больно зазывает?— спросил Степан.— Нешто много работы у тебя?

— Понька[1] есть, полушубок, кормильцы.

— Ишь ведь горлодериха эдакая: бабью работу зазывает — поньку шить; нешто у самой-то руки отвалились? Поди-ко, Терентий, учи ее, глупую, уму-разуму, да втемяшь ей хорошенько, чтоб вдругорядь не навязывала чего не следует. Сшей ей полушубок-то да и при-

---

[1] Женское верхнее платье в виде полуармяка, без рукавов, которое шьется самими бабами, потому что работа чрезвычайно простая.

ходи к нам,— распорядился старик Степан, видимо обиженный и принявший предложение шить поньку за насмешку.

Компания швецов разделилась. Все они разбрелись по разным избам и в одиночку; один Степан вдвоем с учеником. Тереха, между тем, явился к солдатке.

— Кошку бьют, невестке намеки дают; поньку-то ты шей сама: ваше это дело, бабье, а вот коли полушубок есть, так стачаем. Давай, где он у тебя тут?

— Ишь ведь, как ты расчуфырился, словно и невесть что обидное молвила. Я и сама, коли хошь, так сдачи дам.

— Сдачи мне твоей не надо, береги про себя: а мы не то что с бабой, и с волком справлялись!— говорил Терентий уже не тем шутливым голосом, а таким, какой был бы даже впору и самому старику Степану.— Знаешь ли, тетка, как я волка надул?— продолжал он, садясь за работу.— Шел, вишь, я по полю, отседа не видать, бежит серый по лесу да ухмыляется.

«Здравствуй, швец-молодец, дай я тебя съем!»

«Дай,— говорю,— запреж хвост тебе аршином смеряю».

Взял я его хвостище кужлявый, намотал крепко на руку, да и лудил я его аршином по спине, инда самому больно стало.

«А все мне тебя, швец-молодец, съесть хочется. Целый день,— бает,— рыщу, живот подвело!»

«Нет,— говорю,— мои кости неломки, зубы не возьмут. Поди, вон баран ходит по горам, авось, может, послаще будет».

Прост ведь серый-то, хоть бы вот и ты, тетка Лукерья. Так, что ли, тебя величают? Да ты смотри не обидься!

— Меня-то? Офросинья меня зовут.

— Ну вот, тетка Офросинья, у меня тоже бабушку звали Офросиньей, и сестра была Офросинья. Так о чем бишь я тебе молвил?

— Баран там, что ли, по горам...

— Так вот, вишь, пришел он к барану и тоже есть попросил, серый шут. «Вставай,— бает баран,— под гору, а я как раз тебе в глотку вскочу». Распялил серый пасть, а баран как мурызнет его в лоб рогами, так что мой волк *вперемековшки*[1]. Все, слышь, зубы во рту по-

[1] Местное выражение, означающее «кувырком»: мурызнуть — ударить больно.

вышиб, и есть уж нечем стало. Опомнился серый, да позапоздал маленько: швец-то, поджавши ноги, строчку строчил, а баран сено жевал в подполице. А вдругорядь ты понек не сули!.. Эдак и сарафаны нашему брату шить доведется,— заключил свою речь Терентий у новой хозяйки.

* * *

Таким образом, переходя из избы в избу, из деревни в деревню, сообща, в компании и в одиночку, особняком, смотря по количеству наличной работы, швецы проходили на чужой стороне далеко за зимнего Николу. Осталась всего неделя до рождества Христова; ясное дело, нужно провести этот праздник в кругу домашних, по обычаю и по заветной мысли.

И вот швецы уговорились сойтись в первом питейном ближайшего села, чтобы разделить сообща и поровну свои заработанные деньги и опять вместе держать путь на родину. Степан, как предводитель и самый старший между товарищами, производил дележ. Досталось каждому, вместе с заработанными им самим деньгами, около пятнадцати рублей серебром; Степану немного побольше, потому что он ходил с учеником.

Немедленно совершены были слитки, или так называемый запой; товарищи поздравили друг друга с прибылью. Ученику-парнишке куплены были две бутылки меду и пряники. Тем бы дело и кончилось, если б Тереха не увлекся легким похмельем и не спросил себе коечего покрепче да и в посудине побольше. Петруха не отставал и тоже за спасибо угостил товарища. Через полчаса Тереха уже стлался вприсядку по уродливому полу кабака и визжал пьяные и нескладные песни. Собралось народу много, желая посмотреть, как-де швецы запой творят, пляшут и песни галицкие поют. Петруха достал у целовальника балалайку и тренькал на ней для большего задору Терехи. Дело кончилось тем, что мужики-зрители прельстились удальством галицкого ерша и начали его потчевать. Бог весть, что бы дальше было, если б не стояла на стороне братская дружба и опытная старость в лице старика Степана. Он кое-как уговорил товарищей идти, после многих ругательств Терехи и упирательств и руками и ногами Петрухи. Степан хладнокровно перенес все обиды, держась пословиц: «Пьяному море по колена»; «Не сам говорит, а хмель за него распорядок творит».

— Что ж ты не пил, дядя Степан, а ведь знатную штуку удрали: инда мужики тутошные потчевать начали,— говорил очнувшийся на другой день Тереха.

— Куда уж мне со своею старостью да с немоготою тягаться за вами! Бывало, брат, время, тягивал я куды хлестко. Не только тебя, а вот и Петруху бы завидки[1] взяли: штоф ошарашишь — словно ни в чем не бывал: еще косуху в придачу попросишь... только ухмыляешься да и песенки попеваешь. Ноне не то стало: хватишь стакашка три для куражу да от холоду, ну и удовлетворен с почтением. Вам, ребята, хорошо, пока вот молодух-то не завели; тогды, вестимо, другую песню затянешь.

Так совершает швец свою нехитрую работу, перемежая ее прибаутками и присказками. Мужик любит его за такие одолжения и не прочь в длинный и скучный зимний вечер послушать его веселых рассказов: на то и сказка придумана, чтоб добрых людей потешать. Иной раз и страшно сделается, и чуется привычному уху, как

По селам ткут,
По деревням ткут.
Одна баба-яга,
Костяная нога,
Помелом метет
Вдоль по улице.
Захотелось ей
Все б по Ваниным
Да по Машиным,
Все б по косточкам
По ребяческим
Покататися,
Повалятися.

И вспомнит, может быть, мужичок то благодатное время, когда бабушка напевала ему своим дрожащим, старушечьим голосом ту же присказку. И головой она качает, и голос ее как-то страшен стал. Страшно сделалось и ребенку: завернулся он в бабушкину плахту, только видна его головенка; крепко боится ребенок буки. Смотрят его испуганные глазки на старуху, слезинки так и прыгают по разгоревшимся щечкам. Долго глядел он на морщинистое лицо рассказчицы и вдруг заплакал, да так громко заплакал, что самой бабушке страшно стало.

Изо всех сказок швецов про швецов — вот одна, самая характерная и любопытная.

---

[1] Существительное имя от глагола «завидовать», — местное выражение.

Когда-то жил-был царь на царстве, на ровном месте, как сыр в масле. Этот царь охотник был сказок слушать. И послал он по царству указ, чтоб сказали ему сказку, которой еще никто не слыхал.

— За того, кто лучше скажет, отдам полцарства и дочку свою, царевну.

Этой сказки сказать никто не находится.

Приходит из кабака швец, говорит царю:

— Ваше царское величество! Извольте меня напоить-накормить: я вам буду сказки сказывать.

И напоили, и накормили, и на стул посадили.

И стал швец сказки сказывать.

— Как доселева был у меня батюшка, богатого живота человек! И он построил себе дом; голуби по шелому ходили — с неба звезды клевали. У этого дома был двор: от ворот до ворот летом целый день голубь не мог перелетывать. Слыхали ль такую сказку вы, господа бояре, и ты, надежа-царь великий?

Те говорят:

— Не слыхали.

— Ну так это не сказка, а присказка, сказка будет завтра вечером. Теперь прощайте!

И ушел.

И приходит опять на другой день и говорит:

— Ваше царское величество! Извольте напоить-накормить: я вам буду сказки сказывать.

И напоили, и накормили, и на стул посадили.

И стал швец сказки сказывать.

— И как доселева был у меня батюшка, богатейшего живота человек! И он сострoил себе дом, голуби по шелому ходили — с неба звезды клевали. У этого дома был двор — от ворот до ворот летом в целый день голубь не мог перелетывать. И на этом дворе был выращен бык: на одном рогу сидел пастух, на другом — другой; во трубы трубят и в рога играют, а друг у друга лица не видят и голосов не слышат. Слыхали ли такую сказку вы, господа бояре, и ты, надежа-царь великий?

— Нет, не слыхали.

Шапку взял да и ушел.

Царь видит, что это человек непутной; жаль стало царевну отдать, говорит боярам:

— Что, господа бояре? Скажем ему, что слыхали такую сказку, и подпишемтесь.

Бояре согласились, что слыхали-де такую сказку, и подписались.

На третий день приходит этот портной и говорит:

— Ваше царское величество! Извольте меня напоить-накормить: я вам стану сказки сказывать.

И напоили, и накормили, и на стул посадили.

И стал швец сказки сказывать.

— Как доселева жил-был у меня батюшка, пребогатого-богатого живота человек! И состроил он себе дом: голуби по шелому ходили — с неба звезды клевали. У этого дома был двор: от ворот до ворот летом в целый день голубь не мог перелетывать. И на этом дворе был выращен бык: на одном рогу сидел пастух, на другом — другой; во трубы трубят и в рога играют, а друг у друга лицá не видят и голосов не слышат. И на дворе была выращена кобыла — по трое жеребят в сутки носила, и все третьяков. И он в ту пору жил гораздо богато! И ты, надежа-царь, занял у него сорок тысяч. Слыхали ль такую сказку вы, господа-бояре, и ты, надежа-царь великий?

Господа видят, что нечего делать: говорят все, что слыхали.

— Ты, великий царь, занял у моего батюшки сорок тысяч денег; вот, вишь, все господа слыхали. А ты мне денег до сих пор не отдаешь.

И видит царь, что дело нехорошее: надо отдать царевну и полцарства либо сорок тысяч денег.

Отдал ему сорок тысяч денег.

И пошел этот портной опять в кабак с песнями.

Вот и сказка вся.

Мало этих рассказов — швец, за отсутствием большака, наколет, пожалуй, и дров и воды натаскает в избу; сам и лучины нащиплет. Хоть и поведет он на будущую зиму те же обычные прибаутки, какими тешил и за прошлый год, но ведь, и то сказать, иную пору и старое годится, коли хорошо да потешно. Так рассуждая, мужичок любит своих швецов-прибауточников и всегда принимает их радушно и для угощенья их ничем не скупится. В свою очередь и деревенские ребята любят швецов и ни в чем не отстанут от старших: поят их вином, уступают первое место на *супрядках*[1], подводи лишь только белендрясы, чтобы и им было любо, да и девкам потешно.

Вот почему швец, хотя и шабашит в субботу и ничего не работает в праздник, но зато всегда найдет в праздник теплый угол и горячие щи в любой деревенской

---

[1] Собрание девушек осенью, с 1 ноября до 23 декабря, для приготовления пряжи.

избе. Впрочем, это и не так необходимо, потому что холостые ребята утром побывают в селе, а вечером уже непременно до вторых петухов сидят на поседках. У женатого швеца своя компания: он или в избе на полатях, или на крыльце кабака *судачит* со словоохотливыми мужичками о хозяйственных делах: каково-то бог даст на будущий год лето, будет ли урожай, да мало что-то снегу выпало: не померзла бы озимь.

Праздник рождества швец уже непременно встречает за заутреней в сельской церкви своего прихода. И если нет после праздников работ по соседству, он, смотришь, копается около дому: новые дранки на крышу положит; двор вновь выстелет, если есть запасная солома; лаптишки тачает, веревки вьет; себя и своих обшивает, баб уму-разуму учит,— одним словом, исполняет все, что требуется по хозяйству. Там, посмотришь, весной — он подновляет телегу, снаряжает соху или косулю, *клеплет* косы, закупает серпы и незаметно входит в сферу жизни семьянина-пахаря. Чиркает его лопатка по косе где-нибудь на лугах; изогнул он свою спину на пашне и подрезает серпом высокую рожь и пшеницу. Наступит осень — и повез швец-прибауточник целый ворох снопов на своем скрипучем *андреце* [1] в овин. <...>

Одним словом, весною, летом и в начале осени швец ни в чем не отстает от любого своего соседа-мужика — нешвеца. Но лишь только пооблетит весь лист с черемухи, что растет под самыми окнами его избы, и опустеет скворечник, что приделали балуны-ребятишки на длинном шесте, подле амбара,— он уже чует близость любимой работы. Кончится в хозяйстве *капустница* [2], перемелется собранный хлеб, смотришь, на двор подоспела уже и осенняя Казанская, заволокло снежком всю улицу; валит пар в избу, лишь только отворит баба дверь или волоковое окно; а грачи и вороны так и гоношат, чтобы сесть поближе к трубам на крыше. При-

[1] Андрецом в некоторых местах Костромской губернии называется такая телега, которая устраивается, во-первых, отлого назад, так что боковые палки, правая и левая, лежат на земле, а во-вторых, она бывает двухколесная, часто, впрочем, и четырехколесная, но тогда она совершенно похожа на телегу. Все различие в том, что напереди и назади андреца ставится род лесенок, для удобного и большего помещения снопов; а потому и бока андреца гораздо выше тележных.

[2] Капустницею называется, как всякому известно, время рубки капусты, бывающее обыкновенно не позже 1 октября, — веселое время девичьих потех и лакомств кочнями.

шло время ребятам обновы шить к празднику, шубенку какую или армячишко,— чтоб и на зиму заручка была. И вот дня три или четыре ходит швец по соседям до самой Казанской. А там, смотришь, недели через две или три он начал приготовляться и к дальней дороге.

Дня за два хозяин подговорит прежних товарищей и назначит им время зайти за ним. С вечера накануне велит хозяйке приготовлять путину: одежонку, какая понаберется по скорости, лепешку какую-нибудь с творогом, яиц вкрутую. Сделает на другой день запой с ребятами-спутниками, и снова поплелись швецы по ухабистой дороге в знакомые селения — шутки творить, работу спорить.

Вот вся нехитрая жизнь и работа галицких швецов! Но прежде чем он сделается независимым хозяином, ему предстоит еще много испытаний, начиная с той поры, как он, парнишкой, расстается с родной избой, до той, когда кончит ученье, т. е. сделается работником — подмастерьем.

Вот как обыкновенно делается это дело: не в силах отцу прокормить большую семью, или проще — зашалился у галицкого мужичка парнишко, ладу с ним не стало, а ведь надо сделать из него путное дело. Вырастет балбесом — ни семье впрок, да и себе только маета. Думает, думает отец и ума не приберет — как бы извернуться с блажным детищем. Ляжет на полати — сон не берет, то и дело перевертывается с боку на бок, только полати скрипят. На лавку ли сядет — закусил клочок бороды и голову повесил, а сам искоса поглядывает и на жену-большуху, и на баловника-парнишку, который вот только что сейчас всех кур бураком с бабками перешугал из коника. Выбежали куры посередь избы и закудахтали, так что насилу сама уняла. Сели за ужин; ничего большак не ест и словно не глядел бы ни на что. Лег он спать: опять та же дума лезет в голову: в Питер, Нижний, в Москву пустить — баловаться еще пуще станет без родительского смотренья. Наконец кое-как решил поместить балуна около своей деревни, держась пословицы: дальше моря — меньше горя.

Встал большак поутру — ухмыляется, так что и бабе-жене любо стало. Ломало, ломало вчера, думает она, словно и невесть что приключилось. Бурей такой смотрит, инда и словечка боялась промолвить: залепит туза, другой раз не сунешься. А сама крепко следит за распорядком мужа: надел он полушубок, платком и кушаком туго-натуго подвязался; надел на ухо шапку-

треух, а сам улыбается и хоть бы словечко промолвил. Берет нетерпеж бабу, и только бы спросить, куда-де собрал, а боязно: ляпнет старый, ни за что ляпнет. Пошел большак к двери и только за скобку...

— Обедать ждите!— таково-то громко промолвил, инда душа в пятки залезла, и повернул на зады. Обогнул вон и бурмистрин овин, и земского клеть назади оставил, и свою баню прошел. «Ну, знамо, куда, как не в Демино»,— решила большуха, следившая за путешествием мужа.

И действительно, вот что случилось: пришел большак прямо в швецову избу, что хозяином всегда ходит и учеников берет на выучку.

— А я к тебе, дядя Степан.

— Милости просим! Что тебе надыть, дядя Митяй?

— Не возьмешь ли парнишку на выучку? Я б Ванюшку свово во бы как рад отпустить.— И дядя Митяй показал рукою на сердце.

— Да ты как его хочешь пустить? Работника, сам знаешь, я не держу; один за всем смотрю; а в ученье я уж взял, признательно, одного молодца. Сам и упросил, сам и выбрал изо всей деревни — что есть смирёну. Вишь, ноне я не пойду далеко-то,— хочу около своих походить.

— Яви милость, дядя Степан, не откажи, уважь просьбу-то! Заставь со старухой вечно бога молить. А уж в другом чем мы не постоим: что хошь возьми, только научи парнишку уму-разуму. Вестимо, как у вас там ведется, потом и дадим.

— Да как у нас ведется: на сколько зим-то ты хочешь отдать?

— Твое дело, дядя Степан, твое дело; на сколько хошь отдадим, во как!!— говорил обрадованный отец, а сам ухмыляется. Подсел к Степану и кота гладит, что у того под боком мурлыкал, и шапку с места на место перекладывает.— Об одном только и толк весь: возьми парнишку, а о зимах не толкуем.

— Берем занятного на три зимы,— заговорил Степан,— а коли туп молодняк да не скоро толку-то набирается, ну и пять зим живет. Дольше и не держим, да и в заводе нету этого. Одевать-то его сам, что ли, станешь?

— Где самому,— ты уж одень!

— Ну а заручку дашь, что ли, какую?

— Знамо дело, дядя Степан, масла дам, яиц... коли надыть, сушеной черники. Всего, чего хошь, дадим.

— Яиц мне не надобе, своих много. А вот кабы медку прислал, важно бы было!

— Ладно, ладно, меду большущий бурак... ниток... Холста, поди, хочешь?

— Не мешает и это. Ну а как науку кончит, мне зиму должен служить, без платежа, на *спасибо.* Одежонку всю сошью, а ученье кончит — тулуп бараний, шапку тоже от себя дадим. Ладно ли? А ладно — так приводи утре Ванюшку и дело шито!

На том и порешили.

Пришел Митяй домой на радостях, словно сейчас оженился: и весело таково смотрит, и за обедом с лихвой наверстал вчерашний ужин. Потом немного повозился на дворе; разболокся, лег на полати, свесил с *бруса* голову и повел такие речи:

— Спишь, Офимья, аль нету? Да где Ванюшка-то?

— Нет, не сплю, пахтанье пахтаю!

— *Шляки*[1] считаю! Вон вечор Гришка Базихин всего облупил: два десятка гнезд[2] выиграл,— отвечали два голоса на хозяйский позыв.

— Утре в ученье идешь!— решительным голосом продолжал отец.— С деминским Степаном сговорился на три либо на пять зим. Обещал шубу сшить. Только меду бурак попросил, да холста, да ниток пять пасм. Шабаш, Ванюшка, баловствам твоим непутным, садись за иглу, авось толку-то побольше будет. Приготовь ему, матка, полушубок, портянки. Лаптишки-то сам пособери, какие там есть у тебя, да еще что придется... Шляков, мотри, не бери, пучеглазый, некогда будет баловством заниматься, слышь?..

На другой день мальчишка, со всеми прибавлениями, был уже в швецовой избе, хоть и не дальше пяти-семи верст от своей деревни. Вечером, при огне, он уже получил работу — *задачу:* наложить заплатку на старый хозяйский армяк. Учитель усадил его на лавку, научил класть ноги по-швецовски — калачиком, держать иглу и вощить нитку. Долго возился парнишка с непривычной работой, наконец одолел и отдал хозяину.

— Ишь ты, каких косуль накропал!— сказал тот с ободрительным видом и насмешливою улыбкою, рассматривая куда как плохо заштукованную прореху.— Ну да ладно — на первых порах и то ничево, как есть

---

[1] Местное название б а б о к, у которых есть и другое имя — к о з о н к и.

[2] Так называются три бабки вместе; из трех гнезд составляется к о н; цена гнезду $1/2$ копейки ассигнациями.

ничево. Опосля смекнешь, коли в толк будешь брать да слушаться. Бают ведь старики: тупо сковано — не наточишь, глупо рождено — не научишь, а коли сметка есть, пойдет дело в кон[1]. Наша работа нехитрая, мало-мало всякая баба не умеет. Главная причина — не балуйся да не повесничай, запреж говорю. Денную работу сполняй безупречно, как по писаному; а на шабаш что хошь делай, только чтоб мне не было тошно. Вот как по-нашему! Уж я человек вот каков уродился, имей ко мне лишь обычай да потрафляй, в чем тебе потрафлять мне надыть,— и жить в миру будем, не обижу тебя и отцу твоему угодим. А коли супротивность какая выдет да дело волком в лес глядеть станет,— ну, знамо, пеняй на себя да на свою спину; я тебе толком запреж говорю. Есть у меня про вашего брата штука, не одного тебя в люди вывела,— заключил наставник и показал ременную плетку.

Плетка эта составляет также необходимую принадлежность всякого швеца, который имеет учеников. Он и носит ее всегда с собою, в заветной кожаной суме. Устройство этого орудия чрезвычайно оригинально: это длинный, тоненький кожаный мешок, туго набитый куделью и залитый на конце довольно большим куском вару. Пользу ее швец признает по тому обстоятельству, что иногда приходится ему сидеть далеко за полночь при спешной работе. Ясно, что непривычный ученик задремлет или даже просто прикурнет под тяблом. Иглою в бок или кулаком не достанешь иной раз, а плеткой этой как раз пробудишь: плеть-де не мука, вперед наука.

Сначала трудно бывает привыкать парнишке к новому житью в чужом доме, да еще и в ученье. Это не то, что дома! Здесь встанешь утром спозаранку, в такую пору, что дома и бабушка-то только-только встает. Умоешься — поди дров наколи, натаскай их в избу, если не успел сделать это с вечера. Там, немного погодя, за водой ступай на колодец, что посеред улицы, да такой крутой, насилу раскачаешь. Воду-то принеси в избу. Глядишь, баба заломается и избу велит выместь, печку выгресть, овец загнать в *изгородь*[2], чтобы не бегали

---

[1] Или в ход; местное обыкновение уподоблять удачу ставке бабок в кон.

[2] Изгородью называют ту часть двора, которую отделяют деревянной решеткой, а иногда и перегородкой из досок. Сюда застают, т. е. запирают овец, коров, телят. Свинья иной раз вылезет, потому что двери не сплошные, а решетчатые.

по двору; а сам-от коней велит напоить, успевай знай пошевеливаться. Трудно парнишке на первых порах, если нет заручного, и рад он, крепко рад, когда подойдет суббота, и побежит он в свою деревню, чтоб за всю прошлую неделю выспаться, в бабки наиграться, да и колобушки домашние как-то повкуснее и посдобнее Степановых. «А кажись, из такой бы и муки-то сделаны, и опара на дрожжах, и масла нашего клали!»

Разумеется, если у швеца учеников двое живут, им и работа не в работу. За водой пошлют — в снежки прежде поиграют; овец загнать велят — попробуют, не свезет ли какая; а лошадей поить — и ждут не дождутся. Прежде чем доведут они их до колоды, смотришь — скачут два баловника рядком на *выгон;* а сами смотрят, не увидал бы хозяин. Заметил он — на допрос позовет: кто делу зачинщик? Поклеплют ребята один на другого, а не удастся штука, вздерет хозяин обоих — и тут ничего, на людях и смерть красна. Пойдут в сенцы, посмеются оба, да еще и спор заведут о том, кого больнее высек, кому больше розог дал, а целый веник истрепал, что лежал в углу подле *приступков.*

Кончится зима, а с нею и швецовы работы — ученики уходят домой на целую весну и лето. Глядишь, а парнишко уже и *рубец*[1] накладывает прямо; так приладит заплату, что и баб зависть возьмет. Пошел парнишко в куче соседских ребят и девок за грибами и ягодами летом; играет в городки посеред деревенской улицы или в лапту где-нибудь на лугу. Осень придет — топит он отцовский овин и печет в *яме*[2] картофель; капусту рубят дома — ест не наестся сладких кочерыжек, живот даже вспучит. Да и то сказать, скоро опять в чужие люди придется идти, запас не худое дело.

Через три-четыре зимы ученик делается уже настоящим швецом-работником. Ничто уже не отобьется от его приобвыкших рук, никакая там хитрая выкройка, хоть бы даже придумал ее сам заказчик. Иной задает такую задачу, что и сам-от в толк не возьмет: хочется вот ему положить на карман красную кожу с зубчиками, да так, чтобы было красиво и всякая б девка заметила. Разом смекнет молодец-работник: и тюленьим ре-

---

[1] На языке швецов р у б е ц означает шов, равно как п р о ш и в ы значит заметки мелом, о т о р о ч и т ь — обшить, п о д к о д ы ч и т ь — подшить что-нибудь жесткое и плотное и пр.

[2] Я м о ю, как сказано, называется углубление, сделанное в нижней части овина и достаточно широкое для того, чтобы разложить т е п л и н к у и просушить снопы.

мешком обложит, и пуговки красивенькие подберет, и петельки ровненькие сделает — во всем угодит приятелю. Поневоле тот угостит догадливого мастера в питейном. Иному барскому кучеру захочется к новой красной рубахе сделать широкие шаровары из плису, да такие широкие, что вот шел бы он — словно барка по Волге на всех парусах. И тут швец не ударит в грязь лицом и подведет такую штуку, что целую неделю барский кучер будет ходить по двору да ухмыляться: пусть-де девки страдают по его удальству да *потяпкам*[1].

Первою мыслью молодого швеца по окончании условного срока ученья — установить свое мастерство и ходить особняком от хозяина, конечно в таком только случае, если он не обязан отслужить учителю на *спасибо*. Но ведь и этот же срок имеет конец. Как бы то ни было, задуманное предприятие на следующую же осень приводится в исполнение; но почти всегда кончается неудачно. Поговорка ли, какую сами же швецы про себя сочинили, да еще и хвастаются: что мы-де швецы-портные, воры клетные, день с иглой, а ночь с обротью[2] (ищем поймать лошадь о трех ногах), а может быть и такое рассуждение хозяев: что, поди-де, еще к новому-то молодцу привыкай, да на какого нарвешься, иной только взбудоражит все в доме: и невесток перессорит, коли добро это заведется в хозяйстве; а чего доброго, и штуку какую стянет; ведь есть же сорванцов-то на белом свете; в душу не влезешь, чужая душа — потемки, а грех да беда на ком не живет — огонь и попа жжет. Вследствие такого рассуждения мужичок как-то туг и неповадлив на прием незнакомого швеца и любит держаться, по знати, за старых.

Попробует новичок, да на том и порешит, чтоб искать на будущую зиму товарищей — не возьмут ли в артель. Куда ближе обратиться, как не к учителю: он познакомит, мужички поприглядятся, а уж там, коли бог поможет, можно и самому учеников понабрать и хозяйство по-путному обставить.

И нигде, можно положительно сказать, нет такого единодушия и товарищества, как в швецовских артелях. Нигде так не оправдывается и не приводится в испол-

---

[1] Простонародное название у х в а т к и, но такой, которая исключительно задумана с целью п о б а х в а л и т ь — покрасоваться.

[2] Или, лучше, у з д о й. Все их различие состоит в том, что узда — ременная, а о б р о т ь — конопляная или веревочная; по большей части она служит н е д о у з д к о м, т. е. уздой без удил.

нение заветная поговорка «Один и в доме бедует, а семеро и в поле воюют», как в этом небольшом классе промышленников. Ходят они вместе; деньги делят поровну, безобидно, так что в зиму достанется каждому иногда свыше пятидесяти рублей ассигнациями; никогда не пользуются заслуженною славою хороших людей и мастеров, чтобы отбить у другой компании работу: только вывеси в окно пары две свчинных ремешков — и пройдут ребята мимо этой деревни в свою, знакомую. Не спорят и о том, если перебьет иной швец работу по соседству и засядет там, где другой сидел в прошлую зиму: тут весь народ знает друг друга и сам виноват, если запоздал и прозевал урочное время или худая слава на твою честь легла. В этом обоюдном братстве могут спорить со швецами одни, может быть, земляки-плотники питерские в своих артелях.

СЕРГАЧ

Приступая к рассказу об одном из оригинальных промыслов, составляющем исключительную особенность русского нрава, спешим оговориться. Промысел, или способ прокормления себя посредством потехи досужих и любопытных зрителей шутками и пляскою ученых медведей, не так давно был довольно распространен. Теперь, при изменившихся взглядах, при усилиях общества покровительства животных, промысел сергачей значительно упал и близок к окончательному падению. От столиц сергачей положительно отогнали; теперь не видать ученых медведей, пляшущих на окраинах, на дачах наших столиц в летнее время. Кое-как держится еще этот промысел около мелких ярмарок в глухих и отдаленных местностях, всего больше в северных лесных и южных степных губерниях. <...>

В наших северных великороссийских губерниях обычай водить медведей усвоен жителями известных местностей; большею частью водят татары Сергачского уезда Нижегородской губернии. И вот происхождение названия сергача, которое переходит с хозяина-поводыря и на мохнатого плясуна; один проводник остается при своем неизменном названии — козы. Имя «сергач» сделалось в последнее время до того общим, что, будь поводырь из Мышкина (Ярославской губернии), владимирец, костромич, ему непременно дается имя нижегородского городка. Часто, однако, появление плясунов пове-

щается и еще более общим криком — говорят обыкновенно: «Медведи пришли!» Впрочем, мало-мальски знакомый с коренными, главными отличиями великороссийских наречий и говоров легко отличит сергача от мышкинца и владимирца: первый говорит своим мягким низовым — нижегородским — наречием, оба остальных — суздальским, грубо окающим. Цыгане с медведем решительно никогда не заходят на север, вероятно ограничиваясь своей благодатной Украиной. Однако нелишне заметить и то обстоятельство, что нет правил без исключений, нет закона, безусловно неизменного: попадаются и такие, которые так себе надумали приняться за медведя, без исконного обычая предков, и потому неудивительно, если при расспросах признается поводырь, что он не ближе, не дальше — сосед ваш, только бы жил он на бору да водились в этом лесу медведи. Но это бывает очень и очень редко.

Ученые медведи носят еще название сморгонцев, наш «сергацкий барин» переименовывался в «сморгонского студента», «сморгонского бурсака», но это медвежье прозвище было распространено лишь в западной половине России, да и там теперь исчезло. Исчезновение произошло вслед за тем, как прекратились, повымерли все те ученые медведи, которых воспитывал богач Радзивилл, знаменитый Пане Коханку, и на которых, по преданию, он ездил в Вильну и раз даже явился на сейм в Варшаве. По преданию этому (кое-как сохранившемуся на месте), Радзивиллу ловили медведей в густых первобытно диких лесах Полесья до Припяти около Давид-городка. Вели их 300 верст до знаменитой резиденции Радзивилла — Несвижа, в трех верстах от которого (в фольварке Альбе) существовал разнообразный зверинец. Здесь косолапый ставленник отдыхал короткое время и затем уводим был в другое имение Радзивилла — местечко Сморгоны, лежащее на почтовом тракте из Вильны в Минск, в тридцати верстах от г. Ошмян и более чем в двухстах от бывшей резиденции князя Радзивилла. Здесь, в Сморгонах, было особое каменное строение, медвежье училище, носившее шуточное прозвище Сморгонской Академии. Косолапые студенты здесь обучались особыми мастерами в двухэтажном здании, в котором каменный пол второго этажа накаливался громадною печью из нижнего этажа. Студенту надевали лапти (каверзни) на задние лапы, предоставляя передним становиться на горячий пол; но так как нежные медвежьи подошвы жару не выдерживали, то медведь и был

принужден держаться на задних лапах на дыбах. Достигая такой привычки или способности, медведь приучался затем к известным штукам, которые делали из него зверя ученого, но которые, однако, не вызывали таких остроумных приговоров, какими славятся нижегородские сергачи. Выученные медведи производили репетиции и жили потом в местечке Мире, другом радзивилловском имении, в сорока шести верстах от г. Новогрудка (в Минской губернии) и уже только в двадцати восьми верстах от радзивилловских дворцов в Несвиже. В Мире ученые медведи поступали к цыганам, которые, как известно, издавна были поселены здесь и имели, по преданию, даже собственного короля, пожалованного в это звание чудаком и самодуром Паном Коханком. Мирские цыгане водились со сморгонскими бурсаками, бывшими в саду в особом деревянном здании-зверинце, превратившемся теперь в уютный и теплый жилой дом современного владельца (гр[афа] Витгенштейна). Кроме экстренных случаев сеймовых поездок эксцентрического Пана Коханка и прогулок его на медведях по собственным местностям, цыганам предоставлено было право водить медведей на посторонние потехи и для собственных заработков. Отсюда и появление с учеными медведями — сморгонскими бурсаками и цыган вслед за нижегородскими татарами. В настоящее время (по личным нашим расспросам в тех местах) не только не существует в Сморгонах чего-либо похожего на этот промысел, но и в Мире не осталось даже следа цыган, переродившихся в коренных белорусов. Самые предания очень слабы, неточны, хотя и существуют указания на место бывших зверинцев. И только в склепе несвижского огромного костела среди других Радзивиллов сохраняется скелет и Пана Коханка, человека огромного роста, с высокою грудью, одетого в высокие кожаные ботфорты (хорошо сохранившиеся), в полуистлевший бархатный кунтуш, с вышитой на левой стороне высокой груди звездою и с тканным серебром широким шелковым поясом.

* * *

— Ну-ка, Михайло Потапыч, поворачивайся! Привстань, приподнимись, на цыпочках пройдись, поразломай-ка свои старые кости. Видишь, народ собрался подивиться да твоим заморским потяпкам поучиться.

Слова эти выкрикивал нараспев и тем низовым наречием, в котором слышится падение на мягкие буквы

с некоторой задержкой или как бы коротеньким, едва приметным заиканьем (каким говорят по всей правой стороне Волги), низенький мужичок в круглой изломанной шляпе с перехватом посередине, перевязанным ленточкой. Кругом поясницы его обходил широкий ремень с привязанною к нему толстою железною цепью; в правой руке у него была огромная палка — орясина, а левой держался он за середину длинной цепи.

В одну минуту на заманчивый выкрик сбежалась толпа со всех концов большого села Бушнева, справлявшего в этот день свой годовой праздник летней Казанской. Плотно обступила глашатая густая и разнообразная стена зрителей: тут были и подвязавшие пестрые передники под самые мышки — доморощенные орженушки, охотницы щелкать орехи, хихикать, закрываться рукавом и прятаться друг у дружки за спиной, когда какой-нибудь незнакомый любезник начнет отгибать колена и поведет медовые речи. Толкались и ребята в рубашках, без шапок, готовые при первом удобном случае прилично встретить и проводить захожего любезника, если он не сойдется с ними заранъше. Подобрался позевать и приезжий посадский парень, вырядившийся в свою праздничную синюю сибирку, страстный любитель пощелкать в бабки и для того всегда державший в заднем кармане несколько гнезд и свинцовую битку, за которую часто доставалось его бокам и микиткам. Подошел посмотреть и волостной писарь в халате, мастер выкуривать одним духом целую трубку самбраталического и не поперхнуться. Не было только одних стариков и солидных гостей, которые, забравшись в избы, поднимали страшный шум о какой-нибудь запущенной мельнице, да бабы-большухи, как угорелые, метались от шестка к столу и обратно, выставляя жирные пироги и поросят с кашей на потребу дорогих гостей, которые кучами валили из избы в избу от раннего полудня до позднего вечера.

Между тем на площадке раздалось звяканье цепи, и мохнатый медведь с необычайным ревом поднялся на дыбы и покачнулся в сторону. Затем, по приказу хозяина, немилосердно дергавшего за цепь, медведь кланялся на все четыре стороны, опускаясь на передние лапы и уткнув разбитую морду в пыльную землю.

— С праздником, добрые люди, поздравляем!— приговаривал хозяин при всяком новом поклоне зверя, а наконец и сам снял свою измятую шляпу и кланялся низко.

Приподнявшись с земли в последний раз, медведь пятится назад и переступает с ноги на ногу. Толпа немного осаживает, и поводатарь начинает припевать козлиным голосом и семенить своими измочаленными лаптишками, подергивая плечами и уморительно повертывая бородкой. Поется песенка, возбудившая задор во всех зрителях, начинавших снова подаваться вперед:

Ну-ка, Миша, попляши,
У тя ножки хороши!
Тили, тили, тили-бом,
Загорелся козий дом,
Коза выскочила,
Глаза выпучила,
Таракан дрова рубил,
В грязи ноги завязил.

Раздается мучительный, оглушительно-нескладный стук в лукошко, заменяющее барабан, и медведь с прежним ревом — ясным признаком недовольства — начинает приседать и, делая круг, загребает широкими лапами землю, с которой поднимается густая пыль. Другой проводник, молодой парень, стучавший в лукошко и до времени остававшийся простым зрителем, ставит барабан на землю и сбрасывает привязанную на спине котомку. Вытащив оттуда грязный мешок, он быстро просовывает в него голову и через минуту является в странном наряде, имеющем, как известно, название козы. Мешок этот оканчивается наверху деревянным снарядом козлиной морды, с бородой, составленной из рваных тряпиц; рога заменяют две рогатки, которые держит парень в обеих руках. Нарядившись таким образом, он начинает дергать за веревочку, отчего обе дощечки, из которых сооружена морда, щелкают в такт уродливым прыжкам парня, который, переплетая ногами, время от времени подскакивает к медведю и щекочет его своими вилами. Этот уже готов был опять принять прежнее, естественное положение, но дубина хозяина и щекотки козы продолжают держать его на дыбах и заставляют опять и опять делать круг под веселое продолжение хозяйской песни, которая к концу перешла уже в простое взвизгиванье и складные выкрики. С трудом можно различить только следующие слова:

Ах, коза, ах, коза,
Лубяные глаза!
Тили, тили, тили-бом,
Загорелся козий дом.

Медведь огрызается, отмахивает козу лапой, но все-таки приседает и подымает пыль.

Между тем внимание зрителей доходит до крайних пределов: девки хохочут и толкают друг дружку под бочок, ребята уговаривают девок быть поспокойней и в то же время сильно напирают вперед, отчего место пляски делается все у́же и у́же и Топтыгину собственною спиною и задом приходится очищать себе место.

Песенка кончилась; козы как не бывало. Хозяин бросил плясуну свою толстую палку, и тот, немного огрызнувшись, поймал в охапку и оперся на нее всею тяжестью своего неуклюжего тела.

— А как, Михайло Потапыч, бабы на барщину ходят?— выкрикнул хозяин и самодовольно улыбнулся.

Михайло Потапыч прихрамывает и, опираясь на палку, подвигается тихонько вперед, наконец оседлал ее и попятился назад, возбудив неистовый хохот, который отдался глухим эхом далеко за сельскими овинами.

— А как бабы в гости собираются, на лавку садятся да обуваются?

Мишу́к садится на корточки и хватается передними лапами за задние, в простоте сердца убежденный в исполнении воли поводатаря, начавшего между тем следующие приговоры:

— А вот молодицы — красные девицы студеной водой умываются: тоже, вишь, в гости собираются.

Медведь обтирает лапами морду и, по-видимому, доволен собой, потому что совершенно перестает реветь и только искоса поглядывает на неприятелей, тихонько напевая про себя какой-то лесной мотив. Хозяин между тем продолжает объяснять:

— А вот одна дева в гляделыцо поглядела, да и обомлела: нос крючком, голова тычком, а на рябом рыле горох молотили.

Мишка приставляет к носу лапу, заменяющую на этот случай зеркало, и страшно косится глазами, во всей красе выправляя белки.

— А как старые старухи в бане парятся, на поло́ке валяются? А веничком во как!.. Во как!..— приговаривает хозяин, когда Мишка опрокинулся навзничь и, лежа на спине, болтал ногами и махал передними лапами. Эта минута была верхом торжества медведя; смело можно было сказать ему: «Умри, медведь, лучше ничего не сделаешь!»

Ребята закатились со смеху, целой толпой присели на корточки и махали руками, болезненно о́хая и по-

минутно хватаясь за бока. Более хладнокровные и видавшие виды сделали несколько замечаний, хотя и довольно сторонних, но все-таки более или менее объяснивших дело.

— Одна, вишь, угорела,— продолжал мужик,— у ней головушка заболела! А покажи-ка, Миша, которо место?

Медведь продолжал валяться, видимо желая до конца напотешить зрителей, но хозяйская палка, имевшая глупое обыкновение падать как раз не на то место, где чешется, напомнила зверю, что нужно-де всему меру знать, а хозяйские уроки не запамятовать. Очнувшийся Мишка сел опять на корточки и приложил правую лапу сначала к правому виску, потом перенес ее к левому, но не угодил на хозяина. Этот, желая еще больше распотешить зрителей, сострил и, дернув порывисто за цепь и ударив медведя по заду, промолвил:

— Ишь ведь старый хрыч какой! Живот ему ломит, а он скулу подвязал! Покажи-ка ты нам, как малые ребята горох воруют, через тын перелезают.

Мишка переступает через подставленную палку, но вслед за тем ни с того ни с сего издает ужасный рев и скалит уже неопасные зубы. Видно, сообразил и вспомнил Мишка, что будет дальше, и крепко не по нутру ему эта штука. Но, знать, такова хозяйская воля, и боязно ей поперечить: медведь ложится на брюхо, слушаясь объяснений поводатаря:

— Где сухо — тут брюхом, а где мокро — там на коленочках.

Недаром Топтыгин неприязненным ревом встретил приказание: ему предстоит невыносимая пытка. Хозяин тащит его за цепь от одной стены ребят до другой, противоположной, как бы забыв о том, что зверь всегда после подобной штуки утирается лапой. С величайшею неохотою поднимает он брошенную палку и, схватив ее в охапку, кричит и не возвращает. Только сильные угрозы, на время замедлившие представление, да, может быть, воспоминание о печальных следствиях непослушания заставляют медведя повиноваться. Сильно швырнул он палку, которая, прокозырявши в воздухе, далеко перелетела за толпу зевак. Наказанный за непослушание, медведь начинает сердиться еще больше и яснее, он уже мстит за обиду, подмяв под себя вечно неприязненную козу-барабанщика, когда тот, в заключение представления, схватился с ним побороться. Прижал медведь парня лапой, разорвал ему армяк, и без того худой и заплатанный, и остановился, опустив победную

головушку. Только хозяйская памятка привела его в себя, громко напомнив и о плене, и о том, что пора-де оставить шутки, не место им здесь.

Осталось Мишке только пожалеть об этом и сойти со сцены, но неумолимая толпа трунит над побежденным и поджигает его схватиться снова с медведем. Однако этот последний совсем не расположен тягаться, достаточно уверенный в собственных силах. Он окончательно побеждает противника уже простою уступкою: Мишка валится навзничь, опрокидывая на себя и козу-барабанщика.

— Приободрись же, Михайло Потапыч,— снова затянул хозяин после борьбы противников.— Поклонись на все четыре ветра да благодари за почет, за гляденье,— может, и на твою сиротскую долю кроха какая выпадет.

Мишка хватает с хозяйской головы шляпу и, немилосердно комкая, надевает ее на себя, к немалому удовольствию зрителей, которые, однако же, начинают пятиться в то время, как мохнатый артист, снявши шляпу и ухватив ее лапами, пошел по приказу хозяина за сбором. Вскоре посыпались туда яйца, колобки, ватрушки с творогом, гроши, репа и другая посильная оплата за потеху. Кончивши сбор, медведь опустил голову и тяжело дышал, сильно умаявшись и достаточно поломавшись.

Между тем опять начались на время прекратившиеся хороводы, сопровождаемые писком гармоник и песнями горластых девок. В одном углу, у забора, щелкали свайкой, в другом играли в бабки, соображаясь с тем, жохом или ничкой ляжет битка. На одном крыльце показалась толпа подгулявших гостей и затянула песню, конченную уже в соседней избе на пороге. Чванились гости, кланялись хозяева, прося хоть пригубить чарку и не погнушаться пирогом с морковью, и буйно-весело разгорался деревенский праздник, которому и веку-то только три дня, и то потому, что покосы кончились, а рожь только лишь недавно начала наливаться.

— Что, земляк, поди, с Волги аль с Оки, что ли, какой?— спросил старик, подходя к вожаку, пробиравшемуся в питейный.

— Маленько разве что не оттеда!— отвечал тот и поплелся дальше.

— Давно, поди, возишься с суседушкой-то?— расспрашивал старик, указавши на Мишку, который понурив голову плелся за хозяином и искоса поглядывал на допросчика.

— Годов пять будет, коли не больше. Да не балуй, неповадной!— продолжал он, дернув за цепь медведя, который успел уже присесть на корточки и начал сосать лапу.

— От себя, что ли, ходишь али от хозяина?

— Мы от себя ходим. Нынче охотников-то и в нашей стороне куды-куды мало стало: всяк лезет в бурлачину, а зверь и гуляет себе на всем просторе.

— А, поди уж, чай, попривык к свояку-то?— продолжал расспрашивать любопытный старик и шепнул что-то парнишке, который, спустив рукава рубашонки и разинув рот, пристально разглядывал мохнатого плясуна.

— Вестимо, попривык, ко всему привыкнешь!— отвечал вожак как бы нехотя и как будто крепко надоели ему людские расспросы на каждом перекрестке. Но когда парнишка принес деревянный жбан хмельной деревенской браги и старик попотчевал провожатого, сергач стал заметно словоохотливее и, утерши бороду, удовлетворял любопытству тороватого старика.

— Да вот как привык: коли когда поколеет — ссохну с тоски, коли не того еще хуже. Известно, почти свой человек стал, без него хоть сгинь да пропади — вот как привык! На-ко, Миша, пивка, попей сколько сможешь, ты ведь у меня завсегда ко хмельному охочий был, годи вот маленько, а то и сердитей чего хватим. Пей-ка, брат, коли есть что, не чванься!..

И вожак, налив пива в шляпу, поднес своему кормильцу.

— Вот видишь, старина, сам что ешь или пьешь — ему завсегда уж уделишь. И совесть тебя мучает, коли не отломишь чего, да и он-то таково жалостно смотрит, что кусок не лезет в горло,— и все делишь пополам!— продолжал рассуждать поводырь в то время, как Мишка, утершись лапой и пощелкав зубами, выказал нетерпеливое желание идти дальше.

И видел старик расспросчик, как куцый зад Топтыгина скрылся за дверью питейного, и слышал он, как взвизгнула баба, нагибавшая коромысло колодца и обернувшаяся назад как раз в ту минуту, когда мохнатый философ проходил мимо, не дальше как пальца на три от ее сарафана. Бросилась она опрометью в избу, оставив ведра подле колоды, и долго ругала на всю деревню и зверя и провожатого.

Не уйти сергачу от любопытных расспросов и не отмолчаться ему, когда возьмет свое задорный хмель и начнет подмывать на похвальбу и задушевность.

— Маленьким, братцы, взял, вот эдаким маленьким, что еле от земли видать было,— говорил он любопытным *завсегдатаям,* обступившим пришельцев и всегда готовым слушать все, что ни предложит им досужество, будь это хоть в десятый, хоть даже в сотый раз.

— Было, вишь, их два брата, вестимо, двояшки: ни тот, ни другой старше. А жил-то я, братцы, у нашего благочинного в батраках — отцом Иваном звали,— продолжал сергач уже таким тоном, который ясно говорил, что вы-де народ темный, а мы люди бывалые, слушайте только да не мешайте, таких диковин наскажем, что вам и во сне не привидится.

Кое-кто из слушателей подперлись локотками, другие самодовольно обтерли руки о полы своих полушубков, а красноро́жий сиделец всею массою жирного тела перетянулся через стойку и вытаращил масленые глаза.

— Жена у меня померла; домишко весь ветром продуло, и солому всю снесло на соседский овинник, а вон Мишутка мой еще махонькой был. Эх, думаю, худая жизнь без хозяйки! А все лучше хлебушко путем доставать — не биться о холодный шесток, вот и нанялся я к отцу-то Ивану. Ну и живу, братцы, ничего... живу путем-толком, ни он меня, ни я его не обижаем, все идет по миру, по согласию. Да вот стали раз как-то недобрые слухи ходить: ниоткуда взялась медведица да и начала рвать скотину по соседству, досталось-таки на порядках и нашим сельским — которой вымя выест, которую всю изломает, а сычухинский мельник еще хуже рассказывал. Ухватил, слышь, медведь-от Базихину буренку за шиворот да и поволок к лесу. На первых порах все, слышь, задом пятился, да, знать, корова-то больно ревела или сам-от добре приустал, только взвалил он ее на закорки, стал на дыбы да и потащился к оврагу. Собрались наши сельские миром да и порешили идти сообща против зверя; кое у кого ружьишки понабрались, у Матвея Горшка достали рогатину. Хотели было ямы вырыть да и позавалить берестом, так старики да девки пристыдили. На́чало, братцы, и меня подмывать пойти на охоту. Берет такой задор, словно в лихоманке хожу,— и ружьецо было, на тридцать сажен хватало, и долото промыслил для заряду.

«Пусти,— говорю,— отец Иван, с ребятами на охоту! Рогатины,— говорю,— достали, и ружей никак с пяток было».

Тот — никак, и матушка тоже.

«Убьет!— говорят.— Что тебе в этом толку? Да и парнишка сиротой останется, некому и порадеть будет. Чем,— говорят,— на медведя-то ходить, в другом чем будешь пригоден. А там и без тебя народу много, сам говоришь — все село идет».

«Дело,— думаю,— толкуешь! Твои бы речи и слушать». Подумал я, братцы, подумал да и пошел клепать косы на повить. Пришли наши ребята с охоты и медведя приволокли с собою убитого: шкура вся взбита, словно решето какое, и брюхо распорото. Медведь бы куды ни шло: затем, стало быть, ходили, а то, вишь, с ним еще барского повара притащили, тоже побывшился (умер). А дело-то было вот как: сунулся он с ножом кухонным, что говядину режет, разогнал ребят, никого не подпущал к себе. «Сам,— говорит,— справлюсь, один на один, только,— говорит,— не мешайте». Пошел он по медвежьей тропе да и не приходил назад, слышали ребята, как ревел благим матом, а подступиться боялись, да уж потом целым миром и подошли к оврагу-то. Видят ребята, оба лежат не шелохнутся, подмял медведь Еремку, задрал, слышь, с затылка да и сосет мозги. Начали палить — не сдвинулся медведь, все лежит на одном месте. Подошли наши, а он уж и помер. Кабы, говорят, Еремка в сердце угораздил да подшиб его под ноги, может, и убил, говорят, и сам бы жив остался. А то как понажал тот его да изловчился ухватить за затылок — ну и помер.

— У нас так это не так бывает,— перебил один из слушателей.— Живем мы в лесах глухих, волока верст по сотне будут, едешь ты лесом — ни одной деревни, все дуб да береза, взглянуть, так шапка валится. На всем волоку и жилья-то только две либо три избенки, и то лесники строют.

— А ты из каких мест?— спросили бушневские.

— Вятские — из Яранска-города бывали.

— Не знал ты там Гришуху Копыла — торговал хомутами и пошел-то из нашей деревни?

— Где, братцы, знать, народу всякого есть, всех не спознаешь.

— Вестимо, где там всякого знать!— подтвердил тот же, который задал вопрос.

— Ну!— крикнули завсегдатаи, проводив это «ну!» тяжелым вздохом.

— Да вот теперь, он рассказывал, летом было, а у нас так по осеням за медведем-то ходят. Как, примерно, началась первозимица, набросало снежку, он, говорят,

и пойдет искать берлоги и все старую выбирает, а то выгребают и новые, так, на пол-аршина. А уж коли пошел он к берлоге, знамо, чернотроп после себя оставит. Охотники-то уж и знают это время, замечают тропу по деревам да по кустам, а ему дают улечься. У них только бы знать, в какую сторону пошел, а уж там найдут по чутью, на нос.

— Берлогу-то найти нехитрая штука. Сам, брат, хаживал, хоть и не рассказывай, все сам поизведал, коли хошь, так и тебе расскажу,— прихвастнул сергач.— Берлогу он завсегда вглубь на три четверти роет, только бы самому улечься. Как, стало быть, ляжет, так и навалит сверху хворосту всякого, лапок сосновых, валежнику, а дырочку для духу завсегда-таки оставит наверху. Вот и видишь, как завалит хворост-от снегом, из дырочки пойдет пар змейкой — ну, знать, засел тут дедко и сосет лапу. Тут его только сам не замай да не говори про него, не поминай его имени, чтобы не услышал он; не тронет, ни за что не тронет, да и такой-то увалень, что и не повернется. Один раз только и повертывается он во всю зиму, а то целых ползимы на одном боку лежит да ползимы на другом.

— Слыхать-то слыхали об этом,— поддакнули слушатели.— Ну а ловить-то как?

— Да так же, поди, как и у них. Главная причина из берлоги вытравить — поймают, вишь, зайца, да и начнут щипать, а сам-от больно этого писку не любит; а не то собак улюлюкают. Потапыч-то, вишь, осерчает, вылезет из берлоги да и встанет на дыбы, тут его в пять-шесть рогатин и начнут донимать. Из ружей мало стреляют, плохо берет его пуля-то — тепла, вишь, шуба, пальца в три будет, коли не того больше. А ноготки? Гляньте-ка, ноготки-то!— И хозяин полюбовался двухвершковыми когтями своего воспитанника.— Ведь вот бьешь его палкой — думаешь, больно, так нет тебе, словно деревянный, разве в щекотное место попадешь. Только и надежда одна, что на кольцо, а то всего бы, кажись, изломал. Бывали и такие случаи, что подымут облавой, собаками, тут бы и бить его, так иной раз косой шут деру задает с перепугу да спросонья, начнет кувыркать — на доброй лошади не догонишь, а коли он сам пустился в погоню — ни за что не уйдешь! Тут уж он всю зиму не лежит — и бродит все по соседству. Злей его тогда нет зверя на свете, хуже волка голодного. Человек тогда не попадайся ему, хоть в другой раз и не тронет, если молодой еще да не попробовал человечьего мяса.

— Мед, говорят, охотник он есть?— поджигали сергача его слушатели.

— Винцо, братцы, больше любит. Вот и теперь бы выпил, кабы было чего...

Догадались бушневские, куда наметил рассказчик, да только переступили с ноги на ногу и почесали затылки. Первый начал вятский.

— Нехорошо,— говорит,— братцы, обижать прохожего человека. Пойдет далеко, понесет худую славу: вотде был на бушневском празднике, да, знать, у них свои свычаи — сами пьют, а гостей не потчуют.

Сергач после угощения сделался еще разговорчивее. Мишка сладко облизывался, и, когда хозяин опять растабарывал с земляками, он свернулся на полу и крепко заснул, пустив страшный храп и сап на всю избу.

— А далеко ходишь?— спросил опять вятский.— Домой-то, чай, не скоро попадешь?

— Наше время известное: как вот начнет немного завертывать, станет эдак моросить первоснежье — мы и потянемся на наседало. Ходим-то, вишь, босиком, так зимой уж и щекотно станет: сам-то он не привык, так и делаешь во всем по его. А не то, так куда больно серчает!

И поводырь, защурив глаза, медленно покрутил головой.

— Ни за что ты его не приневолишь на ноги встать, коли зима застанет, знает, шут, это время: свои-то, вишь, в берлогу залягут да и сосут на досуге лапу, ну а ведь на него не лапти же надеть. Да коли правду сказать, так и сам лето понамаешься, рад-рад, как попадешь домой на печь поотогреться.

— Эх, земляк, куда ни шло! Расскажи уж заодно — как ты его залучил под свою стать? А трудновато, поди, было, долго не поддавался, да ведь чего человек-от не сделает? Вон один, говорят, блох выучил пляске, слыхал я в Питере, а за морем так еще облизьяну выдумали!— поджигал сергача один из бушневских и хитрою речью и хмельной водкой, которая до того развеселила поводыря, что он затянул песню, подхвативши щеку, и такую заунывную, что самому сделалось жалостно. Однако благодарность за угощение и чувство довольства самим собой, а еще больше воспоминание прошлого, которое чем страшнее, тем приятнее, заставили сергача рассказать всю подноготную, которую у него же у трезвого не вышибешь колом, не то что лукавым словом.

— Давно, братцы, было, и, признаться, не то чтобы

очень, а таки Мишутка мой еще и пушком не зашибался, а теперь, глядите-ка, и борода полезла. Да что, Мишук, нешто спать захотел, кажись, брат, рано? Ты на этого-то мохнача не гляди, зверь ведь он, как есть зверь, поел, да и потяготки взяли,— говорил отец, обращаясь к товарищу-сыну, который, сидя на лавке, поминутно закрывал громкие и широкие зевки не менее широким кулаком.

— Тоска, тятька, слушать-то все одно да одно. Который уж раз доводится! Вот вечор тоже рассказывал, а мне запрет сделал: ничего, говоришь, про медведя не рассказывай! А сам где ни спросят, всю подноготную скажешь!..

— Эх, Мишуха, брат ты, Мишуха! Правду старики молвят,— продолжал отец с тяжелым вздохом и с укором качая головой,— зелен горох невкусен, молод человек не искусен. И толк-от бы в тебе, Миша, есть, да, знать, не втолкан весь! Слушай-ка вот лучше, умная речь завсегда и напредки пригодна бывает. Жил я, братцы, у нашего отца Ивана в работниках и как раз вот на ту пору, как медведя-то ребята убили.

— Помним, земляк, помним, еще барского-то кучера больно помяли!— поддержали слушатели.

— Не то на другой, не то на третий день после охоты, не помню, братцы, вот хоть лоб взрежьте, не помню, поехала матушка с дочкой своих проведать. Жили-то они всего с поля на поле от нашего села, и церковь ихняя словно на ладонке стоит — все видно, только одна река и отделяла. С нашей стороны берег и ничего бы, покат и ровен-гладок, а вот оттуда — крутояр такой, что береги только скулы да ребра придерживай, а то как раз на макушку угораздишь. Прибежали, вишь, наши, волком воют, все село перепугали, думали — уж опять не медведь ли им встренулся. Так, вишь, нет, говорят, другое что. Пошел я на двор да и смекнул сразу, чему бабы взвыли. Пришла, вишь, буланая-то кобыла, что с ними отпустил, да без телеги, одну оглоблю цельную приволокла, другой только осколышек, а заверток так совсем не нашел, пополам порвались. Пришел я к оврагу, стоит телега вверх бардашкой, и на одном колесе шина лопнула и спицы повыпрыгали. Пришел я домой да и говорю батюшке:

«Так и так,— говорю,— отец Иван, телега на мосту лежит, надо бы домой привезти».

«Что ж,— говорит,— возьми саврасого мерина да и привези».

«Что,— говорю,— савраску возьми,— я и на себе приволоку, не этакую,— говорю,— тяжесть важивали».

«А что,— говорит,— Мартын, ведь колесо-то новое надо?»

«В кузницу,— говорю,— снести надо — обтянуть шиной, на себе,— говорю,— снесу, и коли хошь, так сегодня».

«И оглоблю-то,— говорит,— новую надо. Поди,— говорит,— выруби!»

«Ладно,— говорю,— отец Иван, вырублю!»

Взял я, братцы, топор да и пошел за гуменники. Тут у нас лес идет, да такой благодатный, что иное дерево с утра начнешь тяпать, а к обеду едва одолишь.

— Нешто уж больно толсты?— спросили бушневские.

— Сучков, видишь, много, да такие коренастые — насилу обрубишь; коли не прихватишь пилы — хоть матушку-репку пой. Выломил я ему оглоблю березовую — веку не будет — и для заверток зарубку наметил, да так, ради прохлаждения, и завернул в малинник. Он тут и пойдет вплоть до реки, пытают есть ребята, а все ягод много, и такие всё сладкие да крупные, что твоя морковь или репа. Ем я, братцы, малину и еще песни попеваю от радости. Слышу, сзади поурчит что-то да пощелкает, почавкает да опять заурчит. Забралась, думаю, корова чья, кому больше? Да нет, думаю, корове тут нечего взять, да не пойдет она в малинник — всю исколет. Взял меня, братцы, задор посмотреть. Только бы ступить, ан шмыг мне под ноги медвежатка. Взвизгнул я благим матом, да уж дома одумался,— коли, думаю, не изломали, так, стало быть, некому, а коли медведицу убили, так, знать, это сироты ее горемычные. Может, пестун остался при них? Да где, думаю, поди, того теперь и с собаками не сыщешь — далеко ухрял, ему до чужого добра дела мало. Вот и загорелось, братцы, ретивое, больно захотелось медвежат-то изловить. Прихватил про всякий случай и ружьишко и рогатину — думаю: коли пестун наскочит, поборемся, постоим за себя. А там задами, чтоб свои не знали, пробрался я в малинник и смотрю из-за сосны, куда медвежатка поделись. Слышу, опять поляскает да пощелкает, да опять,— я выдвинулся немножко вперед и рогатину наладил. Долго смотрел, больно долго: выбежали пострелята и начали на спине кататься, один ухватил лапами малину и сосет ягоду. Всё, братцы, стою да гляжу, как один другого лапой мазнет да и отскочит и спрячется за кустом. Нет-нет да опять подскочит и достает друго-

го лапой, да не достал — кувырнулся через голову, а братишку опять задевает. Один подпрыгнул ко мне. Стою, братцы, не трогаюсь, а сердце вот так ходуном и ходит, а все смотрю по сторонам, думаю: выскочит пестун, коли не мать сама,— приму на рогатину. Пострелёнок тем часом развязал мне оборку у лаптя, ухватил в рот и защелкал, а сам жужжит, словно шмель или оса какая. Немного погодя и другой подскочил и тоже лапоть дергает, а братишку нет-нет да и мазнет лапой. Смотрел я, смотрел, сгреб их в подол да и света в очах невзвидел. Домой прибежал — языка не доищусь, от одышки сердце ходуном ходит. Своим показать боюсь: велят выбросить, а больно жаль. Снес я их в овин да и запер до поры до времени. Сходил опять за оглоблей, прислушался — смирно везде, нет, думаю, далеко пестун,— коли матери брюхо вспорото, хоть и брат, а, видно, свои животы-то подороже.

— Знать, правду говорят, что пестун-то им братом доводится?— допытывал любопытный вятский.

— Да ведь вот как у них это дело-то ведется: родила мать двояшек, один медведь, а другой Матрена Ивановна. Вот и ходят они с матерью, говорят, до первого снега, медведица-то поскорей растет, так и мать поскорей ее от себя гонит: ступай-де на свои харчи, а мне тебя девать некуда — невмоготу уж стало. Братишка вот дело другое, его она всегда с собой берет и в берлоге холит, а как выведет новых, то и приставит к ним: блюди-де да посматривай за ними, чтоб не баловали, а коли в чем непослушны, сам расправы не делай, мне скажи! И уж тут, что не по ней, выволочку задаст такую, что, вон рассказывал Елистрат Кривой, долго валяется на земле да ревет что есть мочи. Поревет-поревет да и перестанет, а все, слышь, плетется за матерью: знать, в большом страхе держит, коли и колотухи не донимают.

— И злющая же эта медведица!— заметил вятский.— Коли человека, говорят, где изломает — все она. Сам не таков, толкует народ. Того как раз самого испугать можно, только, слышь, коли завидел, иди смело навстречу — не тронет. Сзади зашел, только ухни что ни есть мочи — забежит, слышь, и следа не отыщешь. Да если и начнет кувыркать он к тебе, только на землю ложись да не дыши. Придет, говорят, понюхает, попробует лапой, а лежачего ни за что не тронет, только лежи дольше, пока совсем не уйдет, а завидел, что ты встал да пошел, тут хоть и ложись опять — другой раз не надуешь. А за зад не дает хвататься, и уж если со-

баки впились туда — пропала медвежья сила. Так ли я говорю, дядя?

— Попытал, брат, я этой медвежьей силы — был под хмельком да и ударь раза два для смеху. Взревел Мишук и плясать перестал, как ни ломал — не хочет! Я его еще колонул, как он рявкнет, братцы, да вскинется, вот о сю пору памятка осталась.

И сергач, в удостоверение истины, показал на изрытое рубцами плечо, где еще ясно можно было разглядеть пять кругленьких ран — следы медвежьего гнева.

— Насилу, братцы, водой отлили!— закончил сергач.

Дивились слушатели и качали головами.

— Ведь вот, почтенные, толковать теперь будем: и зверь, глядишь, а сердце словно человечье!— заметил целовальник.

— Да и ухватки-то все человечьи!— поддержал его один из самых молчаливых слушателей.— И на лапах-то у него по пяти пальцев, и мычит-то он, словно говорить собирается, а сбоку попристальнее глянешь — словно видал где и человека-то такого.

— Уж и смышлен же, ребята, откуда разуму понабрался!— продолжал между тем сергач.— Вот как повозишься-то с ними, и поприглядишься ко всему, и все запомнишь, коли и рассказать — так слова не выкину. Все, бывало, в овине сижу да с ними и занимаюсь: и на задние-то лапы ставлю, и падог в руки дам, ну и побьешь в ину пору, коли не понимает. Уж пытал батюшка-священник уговоры делать.

«Чтой-то,— говорит,— Мартын, ты, братец, тот, да не тот, никак тебя теперь к дому не залучишь — уж не жениться ли собираешься? Вот овин бы,— говорит,— топить надо, да и снопов остатки нужно перевезти туда, а то погниют совсем».

Тут-то меня словно по лбу кто, а у самого догадки-то не хватило: сгреб я пострелят-то мохнатых да и поволок в свою избу, что пустой стояла: жила тут нищенка да и померла в осенях. Бегом бегу я домой и крепко полы придерживаю, да как раз на самого-то тут тебе и наткнулся. Начал стыдить — земля, братцы, подо мной загорелась.

«Ты-де не малый ребенок — нанялся бы в няньки, все лучше с человеком-то возиться. Повойник бы,— толкует,— надел, сарафан синий, взял бы копыл и нитки сучил».

Гвоздил, братцы, до того, что горю со стыда, деться

негде, а и выпустить медвежат — так в пору. Да нет! Удержался, хоть и народ обступил. «Ни за что,— говорю,— не брошу, хоть и стыдно больно, а не кину; привык,— говорю,— водой не разольете!» Как приду, бывало, к ним в избу — овсянки натолочь или щей налить, что у матушки выпросишь,— идут к тебе пострелята вперевалку. Станут на задние лапы и на руки к тебе просятся, а сами друг дружку толкают — приучил, вишь, так: кому первому, так и берут завидки и того и другого. Приласкаешь немножко, покормишь, играть начнут с тобой. Дашь им палец — сосут, а не кусают, пока зубов-то не было. Начали вот и зубы прорезаться, так с зуду, что ли, али потехи ради все лавки изгрызли. Корыто, вишь, было — так и то никуда стало не годно: все исщепали. Гляжу-погляжу: стали мои ребята промеж собой драки заводить, да так часто, что уйму не было. Слышу, бывало, из сенец, возню да рев подымут такой, что унеси ты мое горе. Прихожу как-то раз в осенях: лежит один косоглазенькой и еле дышит, глянул на меня да и опять нос под себя подвернул. Поставил я овсянки — так не ест и с места не встает; братишка его такой шустрый да веселенький — нет-нет да и щипнет лежачего-то. Ну, думаю, подрались ребята — помирятся. Пришел я по вечеру — лежит еще тот и на меня уж не глянул. Братишка возле сидит да нюхает, и лапой-то двинет, и на меня-то обернется. Э, думаю, худое дело! Зашла шутка не туда, где ей следно быть. Потрепал живого сорванца, да, видно, одно и осталось — стащил мертвого на зады да и закопал в ямку. А уж куды, братцы, жалостно было — ино место слеза прошибла. И остался я при одном, вот при этом, а ту, медведицу-то, так и поучить не удалось.

Возился-то я с ним до весны,— продолжал сергач, утерши слезинку, выжатую не то хмелем, не то и в самом деле воспоминанием об утрате одного кормильца.— Пришел я, братцы, в хозяйскую избу — сидит эдак батюшка за столом, под тяблом, и книгу толстущую с полицы снял да читает. А тут попадья сидит на конике и считает яйца. Положил я на полати шапку, рукавицы, распоясался и начал разболокаться. Слышу — крякнул отец Иван, поглядел на меня через очки да и стал выговаривать.

«Что ты,— говорит,— Мартын, не поприглядишь себе местишка какого, ведь вон весна наступает? Али с медвежатами,— говорит,— пойдешь, да ведь, поди, еще не пляшут?— А сам улыбнулся да и опять сердито смот-

рит.— Ищи,— говорит,— Мартын, места другого, а уж нам ты не нужен!»

Больно разобидел он меня этим словом, уж лучше бы инако как вымолвил. «Ну,— думаю,— ладно, служил я тебе без перекору, а коли медвежонок тебе не люб — прости, отец Иван, не поминай лихом!» Да на другой же день и перебрался я, братцы, к себе в избу. Кое-как перебился и лето и зиму — то лыки драл да плел лапотки, да березки молоденькие подрубал, то веники вязал да продавал в город. Больше, впрочем, ученика-то своего обучал. Прислушался у татар приговоров, кое-что от себя понабрал на досуге, да как поприсохло весной, я и поволок его в город: ходи-де, Миша, похаживай, говори да приговаривай. С тех пор вот и мыкаемся с ним по чужим людям и везде — спасибо — обиды не видим. Разве у иного ребят перепугаешь, так велят убираться. Зимой лежишь дома. Сам-от спит, а ты свое дело справляешь: лапти, что ли, тачаю... По три, братцы, пары в сутки делаю!— прихвастнул сергач и, разбудивши товарищей, поплелся вон на свежий воздух, сопровождаемый единодушным тяжелым вздохом всех своих слушателей.

Вышел вятский на крыльцо, и видит он, как поднялся сергач на гору и повернул направо к густому перелеску. Все меньше и меньше становятся путники, далеко бредут они по оголенному пару, чуть-чуть видна вдали деревенька, словно одна изба, и ничего кругом: одно только длинное поле, по которому босому пройти кромешная мука: торчат остатки ржаной соломы вперемежку с пестами, до которых охотники малые ребята да деревенские свиньи. Идет хозяин все впереди, опираясь на палку. Чуть-чуть передвигая ноги и низко опустив голову, плетется и его медведь, сзади идет с котомкой коза-щелкунья. Можно еще и цепь различить, и ноги пешеходов, но вот все это слилось в одну сплошную массу и чуть распознаешь их от черного перелеска. Скоро и совсем потонули они в куче деревьев. Вот завыли где-то далеко собаки, видно, почуяли незнакомого зверя и дикое мясо. Вздохнул вятский и вернулся в питейный, да прямо к сидельцу.

— Дай-ка,— говорит,— поскорее еще красовулю!

* * *

Недалеко ушли наши путники, где-нибудь под сосенкой или просто в дорожной канаве завалятся они на но-

чевку: тут медведь, рядом с ним и сам поводатарь. Ухватил Мишук хозяина лапой и дует ему в лицо и ухо целые столбы пару. Крутит головой сонный хозяин, а проснуться не хочется — крепко умаялся в запрошлый день, да и отяжелела голова от бушневского угощения. К утру только очнулся сергач и, изловчившись от тяжелых и удушливых объятий зверя, положил свою голову на его мягкую, мохнатую спину и поглядел на сына. Крепко спит тот, уткнувшись в котомку и накрыв лицо шапкой; ни с того ни с сего ухватился он за веревку на барабане-лукошке и тянет на доморощенном свистке нескладную песню. Но вот выкатилось солнышко из-за верхушек сосен, потянулось по небу и назойливо глянуло в защуренные глаза наших комедиантов; обдает их варом и ложится на лица загар новым слоем, а тут налетели комары да мошки; собака взвыла поблизости, лошадь бешено заржала, и коровы мычат как-то жалобно. Овцы брыкают по полю, и собрались свиньи в особую кучу, тесно сбившись спинами. Проснулись и наши путники и, умывшись в первой попавшейся речке, снова поплелись в дальний путь-дорогу.

Сегодня опять будет плясать и медведь, и коза, и поводырь. Может быть, опять попадут на праздник и угостят их густым пивом, крепко приправленным свежим хмелем. Будет хозяин читать опять те же приговоры, ничего не прибавит. Попробовал было раз, да плохо вышло, и почесал он под бородой, а на другой день встал, совесть мучает, и спрашивает вожак своего сына:

— А что, брат Мишутка, никак уж я вечор больно дурить начал? Вишь ведь эта хмель проклятая, прямо тебя на смех сует. Надо завсегда бояться того, чтобы такой приговор твой поперек сердца не пришелся становому, что ли, или какому начальнику. Захочется брякнуть — оглянись, а то все лучше привяжи язык свой на веревочку. Меня уже за это раз в городу отодрали и выгнали вон.

И зарекся он с тех пор прибавлять от себя и решил один раз навсегда: «Видно, как все говорят, так и мне приходится, а новое-то как-то и не под стать, да и ребятам не нравится, разве уж когда под хмельную руку и выскочит что не думавши, так тому стало этак и быть».

Может быть, попадет сергач в барскую усадьбу и начнет покрикивать перед балконом, поминутно путаясь от старания говорить не то, что прилично слушать своему брату, а господскому уху не стать и неприлично.

Станет расспрашивать его барин, пригласивший медведя для удовольствия детей:

— Что это у тебя — медведь или медведица?

Сняв шапку и низко кланяясь, сергач говорит своим низовым наречием, свысока и с выкриком:

— Вядмидь, батюшка, вядмядича-то ашшо махонькой померла.

— А как ты выучил его пляске?

Сергач, почесывая затылок и опять с поклоном, отвечает барину:

— Все, батюшка, палкой! Знать, на все-то она пригодна, кормилец. Палкой Мишку донял, палкой и науку втемяшил.

Усмехнулись все гости и дальше продолжают расспросы:

— Из выручки-то остается, поди, лишок?

— Какой, господа милостивые, лишок: еле конец с концом сведешь, да и то бы ладно.

Говорил поводырь сущую правду. Ремесло сергача не для наживы, а для прокорму: еще ни один из них не только каменного, но и деревянного дома не выстроил, а вернее, что и тот у него, который от отца достался, разметал ветер и прогноили дожди. Промысел этот — весь ради шатанья, и эти плясуны — бродяги настоящие (что и медведь в лесу), к тому же бродяги такие, которые и в народе не пользуются никаким уважением, как шуты гороховые и скоморохи. От последних они, впрочем, и происходят по прямой нисходящей линии, как законное и кровное потомство. Для медвежатников, как бы широко ни концентрировались круги, у всех один центр — кабак. Для вина и пьянства, кажется, сергачи и с места поднимаются и лет по десятку не возвращаются на родную сторону. Не только спаиваются сами хозяева, но спаивают и делают пьяницей и медведей, зверей лесных; пьют они с горя по утрате воли.

Но барин продолжает спрашивать:

— А не продашь ли ты медведя-то? Мне бы вот сани казанские обить хочется, знатная бы полость вышла из твоего зверя.

Увлеченный предположением барина, сергач погладил медведя, любуясь его густой жесткой шерстью.

— Нет, кормилец, ста рублев твоих не надо! — отвечал он решительно.— Пусть лучше сам поколеет, тогда разве не жаль будет и шкуру снять. А теперь нам продать не из чего. Нет уж, ваша милость, не утруждайтесь! Еще послужит он на мое убожество. А убить за

что? Худого не сделал, кроме добра одного,— продолжал рассуждать вожак, с любовью гладя медведя и кланяясь барину.

— Отчего он у тебя маленький — молод, что ли?— спросила востроглазая барышня.— К нам недавно большого приводили.

— Уж такой, стало быть, уродился маленький. Вот медведица, так та, вишь, завсегда покрупней бывает.

— А чем ты кормишь его?— продолжала востроглазая расспросчица.

— Высевками, кормилица, да мякиной. Сделаешь месиво на горячей водице да тем и кормишь. Мяса-то, вишь, боимся давать, хоть и охоч он до него, особо до сырого-то. Злится он больно, благует так, что из послушания выходит, и уйму нет никакого. А уж плясать, матушка, так ничем не приневолишь — урчит да огрызается и рыло под себя подбирает.

— Принесешь ты нам медвежоночков маленьких?— картавил баловник в плисовой курточке.— Папаша! Вели ему принести медвежоночков.

Кланялся сергач домочадцам, и утешал папенька баловня-сынишку.

— Не кусается он?— спросила опять любопытная барышня.

— Нет, матушка, не кусается.

— Да, я думаю, и нечем?— подтвердил барин.— И кольца в зубы продеты, да и самые-то зубы, чай, все повышиб с места. Если и оставил какие, так и те, я думаю, сильно качаются. Так, что ли?

— Как же, коли не так, ваша милость.

— Так ступайте же на кухню, там вас обедом накормят и вина поднесут. А это сын, что ли, твой?

— Сынок, кормилец, Мишуткой зовут.

* * *

Вот так, пробираясь по барским усадьбам, маленьким городкам и деревенским праздникам, бредет наш сергач и на родину, чтобы плесть дома из лыка лапти, тачать берестяные *ступанцы* или веревочные *шептуны* из отрепленных прядок, и вьет к ним оборы, а потом целым возом таскает их на ближний базар и кое-как пробивается до весны, в которой ему ровно нет никакого дела. Уж если обзавелся медведем, так одна дорога — мотаться по чужим людям, куда редко пойдет тот, у кого есть запашки и пожни, хотя даже и неболь-

шие. В свою очередь, ограничиваются и неприхотливые зрители одним и тем же представлением и от души смеются тем же прискаэкам и остротам, какие, может быть, только вчера рассыпáл перед ними другой вожак. Редкое, диковинное наслаждение, истинный на улице праздник, когда появятся в деревне в один день два зверя и четыре проводника: во-первых, и грому больше — в два лукошка грохочут, и борьбы больше — два парня снимаются. А во-вторых (и это едва ли не главное), стравливают медведей, которые, как звери незнакомые, рвут на себе шерсть до того, что клочья летят, ревут так, что у слушателей волос дыбом становится, и сильная медведица так быстро и далеко бросает менее сильного медведя, что человеческой силе и во сне не привидится. Это удовольствие хотя и просто делается — стоит только соединить обе цепи противников или столкнуть их задами да подальше прогнать толпу зевак,— но зато случается чрезвычайно редко. Не всякий хозяин решается жертвовать своим кормильцем, разве соблазнят его большие деньги, затаенная мысль о предстоящих выгодах и прибыли да крепкий задор похвастаться силою своего питомца. Тогда он даже готов согласиться с охотником-помещиком и на травлю собаками: снимет цепь да и отойдет, подгорюнясь, к сторонке.

Долговечно ремесло сергача, как и всякое другое, на какое попадает русский человек, который не любит метаться от одного к другому и крепко стоит за знакомое и привычное, только бы полюбилось ему ремесло это. А там не до жиру, быть бы живу, рассуждает он, и сыт и весел, как попался мосол, лишь бы только свой брат не попрекал негожим словом. И ходит он с медведем, пока таскают ноги, а свернулся зверь от лет или болезни и купит его шкуру наезжий кожевенник,— берет тоска хозяина: не ест, не пьет, все об одном думает. За дело хватится, да все прыгает вон из рук, отвык от всего, ни к чему способа нет приступиться. Подумает, подумает горемыка, да и пойдет, при первой вести о лютом звере, с рогатиной или другой какой хитрой уловкой, чтобы загубить медведицу и отнять у ней детищей. Потом опять набирается он терпением: учит медвежат стоять на задних лапах, передвигает им ноги для плясу и других потех, какие делал покойник, а там кое-как проденет кольца, попытает ученика перед своей деревенской публикой, и, смотришь, повел он зверя на людское позорище и опять выкрикивает свои старые приговоры.

Но вот стареет сергач, долго ходит он все с одной

потехой, приелась она ему, как иному старику сулой с овсяным киселем, и стыдно становится, да и укоры начались от других стариков свояков: «Что ребятской-де потехой занимаешься на старости лет? Зубы ведь крошатся, а ты песни поешь да пляшешь перед народом».

«Может, и дело говорят»,— подумает вожак да и сбудет выученика первому наклевавшемуся охотнику. Немного протоскует, конечно, да найдет утешение: просто-напросто делается из поводыря записным медвежатником — одно от другого недалеко, оба ремесла двор о двор, по соседству живут.

Первую песенку зардевшись спеть, говорит поговорка,— так-то и медвежатник начинает свою охоту хитрыми уловками, которые состоят в том, что он ловит медведя там, где этот невольно показывает свою слабую струнку. Известно, что нет ни одного зверя, который бы любил так мед и так бы часто посещал борты, как мохнатый Михайло Потапыч. Сколько смешных и вместе с тем остроумных шуток придумал враг-человек: повесит чурбан, который чем сильнее бьет медведя в лоб, тем больше злится зверь и качает чурбан лапами; соорудит навесец — лабаз, который отгораживает сласти от лакомки, и лишь только Мишка пропихнет свою лапу в единственную щель, оставленную ему хитрыми врагами, и иной раз даже вытащит соты, как десятки острых гвоздей готовы уже к его услугам, как ни бьется медведь, а приходится умереть самою глупою смертью: разобьют его зад толстыми палками и примут потом на рогатины. К таким штукам прибегает на порах охотник и не заводит собак, не покупает двухствольного ружья, предоставляя это дело настоящим охотникам; он без крику и шуму выберет в лесу березовую толстую палку, обточит ее поглаже, зайдет к соседу-кузнецу и просит сделать копье-наконечник, потом приделает под копье перекладинку из той же березы — и вот он, обладатель рогатины, идет подбивать кое-кого из охотников.

Втроем-вчетвером, все с рогатинами, один про запас ружьишко прихватил, идут смельчаки по протоптанной траве, прямо к берлоге. Разбудили зверя и криком и шорохом, подняли на дыбы, и зачинщику первое место. Наученный зараньше, как вести дело и остерегаться, чтоб зверь не вышиб или не переломил бы рогатины, смельчак, невзвидев света, рванулся на зверя и врубил половину оружия в медвежье мясо, прямо под ложечку. Дико заревел медведь, но напал не на олухов. Не успел он, может быть, осмотреться порядком, как охотник

упер рогатину в корень дерева, и чем больше бился зверь и хватался за рогатину, тем она дальше и дальше уходила внутрь. Осталось товарищам дорезать добычу ножом и разделить между собою.

Но вот, полонивши с десяток медведей сообща с товарищами, охотник задумал новую штуку: понабрал пузырей, сыромятной кожи и обтянул себе затылок, шею и плечи, засел на печь, и заскорузли снаряды толстой броней. Два дня принимался он точить широкий нож, заостренный с обоих концов, и никому не говорил о задуманном, как ни добивались ребята-товарищи. Они уж после смекнули, что надумал он идти один на один.

— Пускай попытает!— решили они, и ему ни полслова о своей догадке.

Пришли только раз да сказали, что вот-де верст с десяток оттуда проложил медведь тропу и ревет по зорям. Закипело сердце у охотника: и страх, и радость, и боязнь, и храбрость — все в один раз приступило. Привязал он нож туго-натуго ремешком к руке, надел полушубок и захватил одну только рогатину. Идет по тропе и прямо к тому месту, где медведь показался. Смотрит мохнач и заподозрил врага: встал на дыбы и прямо к нему навстречу..Минуты не прошло, как уже рогатина попала в зверя и крепко рассердила его. Пока он собирался с духом, охотник прислонился за толстым деревом и выжидал удобной минуты. Свирепствует зверь и хватает землю огромными глыбами; начал вырывать кусты и швырять их в сторону. Стоит охотник незамеченный, и взбрела ему мысль непрошеная: дать тягу, да куда-нибудь подальше. Но, видно, не совсем потерялся, вспомнил, что тут-то ему в бегстве и неминучая гибель. Загорелись его глаза каким-то страшным огнем, и губы дрожат, а мурашки так и сыплют по телу: бросился он вперед что было силы и, заслонив лицо левым локтем, лежал уж под зверем и порол ему брюхо острым ножом. Через минуту внутренности медведя, одни за другими, показались на свежий воздух. Угораздил смельчак, как истый знаток, в самое сердце и разодрал шкуру от самой лопатки до клочка хвоста. Льет с него пот крупным дождем и от трудной работы, и от огромной массы, которая тяжелым камнем легла ему на плечи. Облегчился он от нее, свалил мертвого медведя и ни с кем уже не делил его, никого не брал в складчину.

Было бы хорошо начало, а за другим чем уж дело не стало: понравилось молодцу ходить один на один, и

бьет он на то, чтобы дойти тридцатого, а там, говорят, сколько ни ходи, ни один уж медведь не уйдет и не тронет.

ДРУЖКА

I

— Уж куды это меня, свет батюшка, снарядил; снарядил-то ты меня, знать, во чужие люди, что за гостя ли то, за нежданного. Уж простите вы меня, мои родители, свет ты мой, матушка Арина Терентьевна; не давайте вы меня, братцы родные, ворогу вашему, что ни с ветра ли он пришел, с непогодушки. Повопите вы обо мне, сестрицы-голубушки, товарки-подруженьки, мово девичества соучастницы, вы не замайте моей русовой косы, не троньте волосиков моих русыих! Знать, идти уж мне во чужие люди, не видать мне порогу родительского; словно надоела я вам, напостылела; один-то ли был свет, что в окне видела, не видать-то мне и его из-за горючих слез; воздыханья-то мои грудку белую надрывают; вы не троньте меня, мои подруженьки-поперешницы, не замайте моей русой косы, ленточки аленькой...

Долго раздавался вопль на всю избу, долго еще причитывала невеста, обливаясь слезами и покачивая головой из стороны в сторону. Ломает она руки и не смотрит на своих подруг-поперешниц; не слышит даже, как расплели ей девичью косу и накрыли голову чистым рядном; и вопли матери невдомек ей. Выкрикивает невеста во всю избу: недолго уж ей пировать. Пойдет она в чужие люди, в чужие руки; будет ли так хорошо ей там, как хорошо было дома,— никто не скажет. Хоть на последних порах дайте ей волю натешить свою душеньку — наплакаться. И всего-то ей стало жалко: и кота белобрысого домовита, и стола, на котором обедывала, и лавки, на которой сиживала, и решета, и коромысла, и горшочка и плошечки. Плачет сговорена и соблазнила своих милых подруг: полна изба рева и причитанья, и в ум не возьмет сам большак, кто тут кого разобидел, от кого тут весь сыр-бор горит. Стоит отец середи избы словно громом пришибленный; крикнул бы, топнул ногой на бабью дурь, на грошовые слезы, да опомнился: вспомнил, что уж таково дело бабье: нехитро расплакаться, да трудно уняться. Видит большак, что и сам виноват.

С утра еще вчерашнего дня забрались к нему подсыльные сваты, почесали под бородами и начали закидывать похвальбы на какого-то молодца заезжего. Долго толковали, все как-то не толком да неладно: не шли их речи прямо к делу, и вертелся хозяин на месте и все кланялся да благодарил за честь. Стали обыкшие в деле своем сваты закидывать намеки поближе, прояснилось дело и хозяину. Видит, в чей огород камушки кидают, да не знает, кто зачинщик,— темна ему эта сторона. А сваты хитрят — ломаются.

— Может быть,— говорят,— и знаком тебе этот молодец, не горд, не хитер, сам напрашивается. И приметы, если хочешь, нехитрые: не комом спечен и облик не блином, лицо и кругло и румяно.

— И не хитры бы, сваты, речи ваши, а все-таки в толк не возьму. Может, и соседской какой, может, и заезжий честь делает, а все, поди, имечко крещено носит. Назовите как следует, по тому и чествовать станем.

— Зовут-то Степаном, да ребята Глыздой прозвали; а отец его в твоей же деревне соцким состоит. Коли будет твоя воля, так и быть ему зятем послушным, а тебе тестем тороватым. Так бы по-нашему. Да твое ведь слово дороже.

— Честь ваша перед вами, а мне что за след хорошему делу поперечить. Давай сюда парня да и с миром!

Парень уж тут стоит за дверью — ждет не дождется хорошей речи. Поиззяб он немного (дело было, как и у всех православных, в осенях), да, знать, затем и пришел. Вышли сваты на крылец, взяли жениха за руки и впихнули в избу.

— Кланяйся,— говорят,— отцу названому, да пониже. Вот,— говорят,— так... Вот этак!.. И еще вот так!.. Подойди поближе, попроси его родительского благословения да и беги за отцом. А наше дело сватье — мы свое кончили.

Приходит отец жениха, выводят невесту из-за переборки; кланяются друг другу и сватья и родители. Невеста передается жениху из рук в руки, из полы в полу; целуются. Сватья тащат из-за своих голениц жениховой водки и, прежде чем совершится *пропой,* затеяли рукобитье. Слово за словом, старшины подопьют напорядках, накричат на всю избу; нацелуются сговорены, и конец засватанью — доброму делу.

Поутру другого дня осталось только отца Ивана позвать, благословить сговоренных образом, а там неве-

сте вольная воля — надрывайся хоть так, что как бы с живой лыки драли.

Больше трех раз не удается такое блаженство, да и это-то счастье дается не всякому. А тут мать подстанет к причитываньям и от себя кое-что добавит. Пойте, бабы, во всю мочь, а отец уйдет куда-нибудь подальше к соседям или завалится на печь. Там уж вы его ничем не доймете.

Теперь за женихом одним и вся недоимка: нужно ему в город съездить за меледой-орехами — девичьей потехой, пряников купить на закуску и разных бус и медных колечек, ситцу, сукна-армячины прихватить, плису отцу Ивану на рясу, дьякону пояс, дьячкам по шапке и всем поезжанам по подарку, какой взбредет на разум или приведет доморощенная сметка на память. Нужно только помнить и на лбу зарубить (если скупиться надумает жених), что на девишнике покоры начнутся, и хоть так они... в шутку творятся, а все, гляди, на кого нападешь: иным покором прямо в глаз метнут, помутят иной раз и свет в очах. У невесты целая куча подруг защита, да и все за нее, а у жениха только и есть заручка дружка один, да и тот подчас словно вешний лед ненадежен.

Главное дело, по всем правам и обычаям, выбрать веселого дружку жениху; а за невестой пойдет либо брат, либо кто из холостых свояков; у этого и заботы немного, хоть и брякнет что невпопад — все с рук сойдет: либо не услышат, либо и совсем не обратят внимания. На женихова дружку вся надежда: им одним вся свадьба стоит, весь пир и веселье.

II

Кого чем бог поищет — так и станет; иному, например, грамота далась — нашел где бумажку, хоть бы волостной писарь из окошка выкинул,— развернет и читает: «Проба-де пера и чернила, какая в них сила, кто меня обманет — трех дней не живет»,— и пр.

Иному плотничья работа далась: с маху полено крошит и просто, без клинушка. Смотришь, выведет на чистом новом столе и петушка с курочкой и зарубочки на всех углах с выемками. Другому иное художество далось: подопьет, например, крепко подопьет, ну и спать бы,— так песни любит петь, и такие, что не слыхать по соседству.

Вот Фомка — сорвиголова: слова не даст никому сказать просто, сейчас подвернет свое щетинистое. Сказку ли смастерить на смех и горе, чтоб и страшная была и потешная, песню ли спеть, чтобы в слезы вогнать, и кончить сиповатым пеньем старого петуха и кудахтаньем курочки; овцой проблеять, козелком вскричать и запрыгать сорокой; собаку сотского передразнить и замычать соседской коровой; старой нищенкой попросить милостынки (сморщить при этом лицо и погрозить ухватом) — всюду хватало мастера Фомку, оттого и сорвиголова, что перещеголял всех деревенских своим досужеством.

— Ишь *одмен* какой уродился! — толковали ребята.— И чем бы тебя, братцы, чище? А вот поди ты тут! — Рукой махали товарищи и завидовали.— А ведь ни с чего пошел,— добавляли они, припоминая прежнее время,— так вот, пошел ему талант, что ни день, то внове. Шла мельничиха домой, а мы коров в хлева загоняли. Кто-то стегнул ее плетью, она и вскинулась; грызлась долго, а на Фомку отцу хотела пожаловаться. Только ушла, а он, сорвиголова, и глаза скосил, как у Матрены было, и рожу свернул по ее, на сторонку, нос на губу уложил да как свистнет на нас, и отцу хотел на себя пожаловаться, ну вот словно так, как ругалась мельничиха. А то купец проезжал, так ровно вчера было дело: и вперед выпятится, и волоса на затылке со лба пригладит, и руки оботрет, и крикнет Фомка: «Эй вы, мужики! Посторонитесь!»

Дивились молодцы своему товарищу еще смолоду и во всем ему отдавали почет.

В свайку затеют ребята играть — привычное бы дело, так никто чище Фомки не ввалит ее в середку колечка: свистнет она, завизжит, прискочит к головке и вопьется в землю так, словно *редька* или *репа* какая. Уговорится в краек попадать, так, посмотришь, и меряют сто шагов-*пирогов,* если еще и не того больше. А то обманет ловчак и взовьет кольцо кверху, ребятам бы мерять пироги, а уж колечко у Фомки в руках: подхватил он его на лету и расставил ноги, гордо подбоченившись.

В чехарду сговорились ребята — обочтет их Фомка, чтоб самому начинать, расставит ребят у стены горкой, головы на спины, а сам разбежится и как раз очутится у самой стены, на загривке переднего. В прятки играть, так и не снимайся лучше: заберется туда, что целый час ребята ищут, да так и бросят. На этот раз не жа-

лел молодец ни лица, ни спины, а царапины и не считал вовсе. Залезет в овин, и кто его знает, на чем стоит и держится; тут бы ему и шею сломить, так цел и невредим; только, говорит, левый бок ломит.

Так-то велось и во всем остальном: любили его ребята и нельзя сказать, чтоб боялись, а, бывало, *сорвиголовой* только в сердцах назовут, и то про себя, потихоньку. Беда, если услышит Фомка.

— И не хотел бы,— говорит,— бить, надоело, да руки чешутся: уж лучше не снимайся, коли кто меня не сумеет побить. Тут уж дело такое: кто кого тронул, тот и в ответе.

— Да ты бы, Фомка, Машке-то, Гришухиной сестре, спасибо сказал,— присоветовали ему раз ребята до супрядок, когда они уже имели право посещать их, но только молча, и стоять назади за старшими; дозволялось им залезать и на полати, но они сами стыдились водиться с малолетками.

— А за что же, братцы?— спросил Фомка совета.

— Да, вишь, она тебя полюбила больно. Мне, говорит, изо всех ты что ни на есть лучше. Больно, слышь, волоса шибко вьются, кудри-то кужлеваты очень.

— Бодай ее бык, коли нравлюсь: рассердился бы, кабы захотел,— прихвастнул молодец.— У меня не одни кудри, и глаза все девки хвалят. Дай-ко вот я отпущу себе бороду, так и жениться в нашей деревне не стану.

— А чем она хуже тебя? Дай-ко мне ее, так я и умирать не стану. Ее, брат, сама барыня хвалила, как летось ягоды ей продавала.

Впрочем, и у нашего Фомки сердце тоже не камень; хоть и не у себя в деревне, а все где-нибудь по соседству найдется и для него зазноба. Отчего иной раз не потешить себя, не покрасоваться, когда не пройдет ни одна девка без того, чтоб не взглянуть на него и не закрыть своего лица вплоть до глаз рукавом рубашки или ситцевым передником. Стал Фомка мудрить: спознался с писарями-бахвалами и сам незаметно сделался хватом. На первый грош зеркальцо купил и увидел, что уж порядочный пушок на обеих губах показался. Стал он и ус свой и бороду холить: на первый случай, когда пушок стал виться немного, обрил он его по совету приятелей, в той надежде, что волос скорее полезет. Скоро он и до настоящей бороды дожил. Бросил Фомка стричь волоса в скобку: спереди пустил на всю вольную волю, а сзади подстриг их казачком-лесенкой, и затылок ему писаря выбрили гладко-нагладко. Попались кой-какие

деньжонки; он купил гребешок медный и повесил его на гарусный пояс; что ни снимет шапку, то и причешется, что ни соберется куда — вымоется. Стал он молодцом, и увидели девки, что едва ли Фомка не пригоже всех в деревне: и лицо кругло и румяно, а кудри и курчавая кругленькая бородка — только бы, кажется, ему и годились и на девичью погибель выровнялись.

— Никак Фомка-то сорвиголова Лукерью полюбил,— толковала одна соседка-орженушка другой.

— Нет, дева, давно бросил, теперь с писарем Григорьем Аннушку сомущают. А все оттого, дева, что пригляден пострел.

— Чванлив только, кормилка, бахвалить стал. А попробуй что не по его сделать, откуда супротивности наберет.

— Уж и ребята-то наши хороши, только и живут Фомкиным разумом, словно нет своего. Что тот ни молвит, то и ладно.

— А будет он на поседках?

— Кто его знает? Вишь, в соседскую деревню повадился: свои, толкует, надоели. А что мы станем делать, коли не придет к нам, другие ребята и потех не сумеют придумать. Им одним, по правде сказать, и вечеринка-то наша стоит.

Так ли, не так, а девки говорили правду. Фомка с товарищами повытеснил передних — старших ребят совсем из избы. Иные оженились и бросили поседки, часть разбрелась в другие хорошие места, а и остался кто, так очень немного, да и тот присоседился под Фомкину власть и руку; только старичок чванился немного, а во всем слушал молодого и ему подчинялся. Без Фомки теперь не ладилось дело: ни песня не запевалась, ни пляска не подымала пыль от полу до полиц, и ряженые не плясали бы в избе, если б Фомка велел притворить двери и не пускать никого из посадских. Ссору ли затеет кто из захожих, Фомка сразу опешит его:

— Ты не очень гордобачься, не трогай девку, садись на свое место. Наша девка — не ветошка, а мы тебе укажем, где раки зимуют.

Беда, если гость скажет супротивное слово. Слово за слово, и чем он занозистее, тем и противники горячей.

— Убирайся вон!— кончает Фомка.— Нам либо ссориться, либо драться. Лучше уходи подобру-поздорову, да другой раз и глаз не кажи. А, упираться стал?.. Хватайте его, ребята, да в шею и спину! Там лестница коч-

ковата для его милости, так свету не давайте, а пусть приглядится пристальнее сам. Укажи ему носом, как хрен копать.

— Силен Фомка, силен в своем слове! Только приказ отдает — сам и рук не приложит; все ребята делают. А поди сунься поучить — век не забудет,— толковали гости и как-никак, а выводили одно — что нужно Фомку заручать заранъше, а то ни к чему придирается и словами колет, откуда берутся. И рукой крепок, да и ребята больно любят, горой стоят.

— Пойдем-ко, Фома Еремеич, выпьем крепительного. Да вот пряник вечор купил битой, так не хочешь ли побаловаться немного; и сладко, и горько, знаешь, все к одному.

— Эх, молодец ты, Фома Еремеич: тобой только и деревня наша стоит, право.

Тогда уж смело подступай тороватый гость,— все заодно, хоть бы и из чужой деревни был.

— Только Машутку мою не трогай, а то все в твоей власти!

— Гришку шокиринского не трогать, ребята: из наших будет, хотел вина принести и орехов,— отдавал такой приказ Фомка перед поседками.

— Заноза, сорвиголова! И парень не олух: в работе спешен и песнями умеет потешить, с ним и стог нагребешь шутя, и сноп завяжешь,— говорили старики семьяне.— Один грех — тороват шибко: не жалеет копейки, коли в бахвальство заберется, а то бы и хозяйство вел хорошо, а разум-то свой, не купленной, доморощенной, и мою бы Груню не обидел, коли б засватать.

— Сказки рассказывает лихо и поговорки плетет, словно сам набирает. Здоров затылок, нечего сказать, лихой малой! А уж выпить надумает, против него никто не возьмет; мало только, плут, с крючка сливает,— толковал целовальник.

— Больно зубаст да привередлив!— отзывались бабы замужние.— Сам, поди, и засватается, если надумает свадьбу играть. Мало учили парня, баловали его отец и мать, оттого и вышел щетинист. Со старыми, словно с малыми, заигрывает; а не по нем что — грублив; грублив плут, а уж до поры до времени сломит голову.

«Эх, кабы Фомка взял за себя!— думали девки.— Во всем бы его слушалась; купили бы саночки писаные и все бы катались. В Питер бы пошел: платочков наслал с городочками, душегрейку бы купил, что на подрядчицах наших. Уж и слушалась бы я его, все бы в глаза

глядела, и побил бы — не плакала. Да нет, не бывать тому — супротивница есть; полюбил не меня, а мою разлучницу».

Девки краснели при первой встрече с сорвиголовой и перекидывались словечками. Доходили и до того, что не только сами заговаривали с ним, но и сами первыми заигрывали, щипком или локотком. Фома только оглянется и редкой счастливице погрозит пальцем или язык высунет, а то всем одно:

— Не замайте меня, и без вас тошно. Хороши вы девки, да лучше вас есть.

Правду сказал Фомка: хороша была Аннушка — и голосом взяла и телом породиста; на первых порах Фомке и желать лучше нечего. Что ни встреча, то Аннушка и глаза потупит, а заговорит подбочася Фомка, у красавицы и сердечко запрыгает и в горлышке перехватит, голосок станет словно надтреснутый: говорит, словно боится, и все как-то не то, чего хочется. Заиграл Фомка на балалайке, ударил всей пятерней бойко и порывисто, у Аннушки не то чтобы озноб, а задрожит-таки улыбка на маленьких губках, и плечиком шевельнет она. Пригласит молодец плясать — не пойдет. Песню ли ухарь запоет про нее, за товарок Аннушка спрячется или убежит далеко.

— Про себя страдает девка. А вижу — любит. И богата же, братцы, Анютка, жили бы славно, всё бы пиво варил; бурмистром бы выбрали.

— Барышник ты, брат Фомка, и ничего больше! Послушай-ко, что она про тебя вечор говорила: мне, говорит, в воду с камнем — либо за Фомку замуж. Я, говорит, его люблю больше всех; братишки, говорит, так не милы.

— Да чего, коли хотите?— подвернул парень.— Раз за руку схватил ее, так не вырвала: стоит сговоренной да как захнычет. Я говорю: чему плачешь? Так, говорит, что-то неладно. А сама уперла глазами в землю и ни слова не молвила больше; вырвалась с маху да и убежала в избу. Ну ее...

— Нет, брат Фомка, не обижай ты девку, а коли за богатством гоняешься, возьми лучше мельничиху Агашку — рябую. Та на всё удала: и на песни горласта, и слово скажет — словно в кузов ударит.

— Ладно, ну, ребята, молчите до время!

Ребята молчали, и Фомка молчал. Раз пришел к своему закадычному приятелю, становому писарю, покурить картузного да побаловать на балалайке — отвести

душу (свою балалайку подарил кому-то); говорят ему приятели писаря:

— Молодец, братец ты, Фомка. И кто тебя знает, откуда у тебя речи берутся. Нехитро бы, кажется, сказать иное слово, а ты молвишь — что хочешь дай — не сумеем. И как-то это ты и рукой и языком прищелкнешь, кстати коленком вернешь, плечом шевельнешь, все это впопад у тебя.

— Знаешь, брат Фомка! Тебе бы хорошо дружкой быть, и Егору кузнецу за тобой бы совсем не угнаться. Пошли бы и мы, да нет того маху. А уж почет-то какой, одно слово — дружка!

Думал да думал Фомка и — надумал:

— И вправду, господа, дружке много почету; от дружки все идет. Да приступ страшен — одного боюсь.

— Приступу бояться нечего,— утешали его,— тебе бы и начинать. Ведь и все неучеными были, вот хоть бы и мы.

— Да ваше, господа, дело бумажное; у вас и разум с другим складом.

— И тебе его не занимать стать: девки хвалят, ребята любят. Окунись да и с миром. Умей только слово кстати ввернуть; прибаутки свои давай да чужих поприслушайся. Походил бы по свадьбам: кузнеца бы Егора послушал, все бы пригодилось.

— Ин вашими устами да мед пить! Попытка не шутка, спрос не беда; ведь наше авось не с дуба сорвалось. Идет битка в кон!

— Ну вот и пошло!— подхватили писаря и залились дружеским смехом.— Начинай дело, а мы придем да послушаем.

С той поры, где ни затеется свадьба — Фомка как вынет. Случилась она по соседству,— молодца все ребята знают, рады ему как баляснику, а не то он сам доймет хитростью и прибаутками; волей-неволей все поддается его желанью. А в своей деревне он сам-большой: молодые боятся, а не то он и сам накроет; и от девичника вплоть до конца свадьбы болтается он по весельям и руководит поезжанами. Иной богатый жених поскупится, бывало, ребят угостить. Фомка ведет переговоры, как бы до горшков добраться, что на брусьях лежат, и если не дадут ушата браги, все горшки буйная ватага пошвыряет на пол. Бывали случаи похуже того: ходил в дело и деготь с песком; зацепляли и поезд на выгоне. У Фомки одно на уме: как бы попристальнее присмотреться ко всем свадебным свычаям, как это там

люди женятся и что следует дружке делать, чтобы им одним весь пир стоял. А потехи разные — уже так спроста срывались.

Так ли, не так, а Фомка стоит на одном — выслеживает, что делает один дружка и в чем перехитрит его другой; с чего один начнет и чем другой кончит. Прямой его метой и задачей сделался кузнец Егор — старый воробей на мякине. Он уж двадцатую свадьбу говорил, так, стало, был на своем месте. К тому же он и Фомке крепко нравился; все это у него творилось как бы по-заученному: все кстати и на потеху. Запоет прибаутки, и глаза зажмет, и ногой притопывает, ко всякому речь обращает, и не то чтоб облает, а таки иному такое скажет, что того ударит в краску. Никого не пропустит кузнец, всем почет отдаст с прибауточкой: «Все, мол-де, вы гости, все равны — и вот вам всем по серьгам, только на молодых не пеняйте».

Вот к этому-то частобаю-кузнецу и поступил в науку, на первую пробу, наш Фомка в званье *поддружья,* и в первый же раз на потеху: что ни скажет кузнец, Фомка такое подвернет, что тот и замолчит, а этот подхватит и начнет строчить — зависть возьмет. В одном сбивался новичок, порядки не сразу понял: как-то много их и все разные.

— Научи, брат Кузьма, порядкам-то всем; вот я тебе и угощенье принес, не погнушайся!

— Коли дружкой быть хочешь, так первое тебе — смелость. Она тебя выведет, она тебя на путь поставит. Записал бы приговоры: да, вишь, оба мы грамоту-то забыли, а что схватишь сам по себе, так то и ладно.

— Нет, да не о том речь, дядя Кузьма, ты вот указал бы, как там стать и сесть или что там такое. Коечто уж я и запомнил, одного не пойму: хитер больно девишник. Как это там девки, поезжане... Ну и с отцами-то ладить надо.

— С отцами нехитрая штука: где какой, там и ты такой. Коли чванлив да гордость обуяла, ты ему спицу по сердцу пусти, только не коли его прямо в глаз, а то с девишника прогонит. А поезжане эти — такой уж народ, одно значит — на чужое добро добрались: их ты режь чем ни попало. Им бы попить да поесть, а твой покор да прибаутка, что вода в решете. Расскажу-ка я тебе кстати одно дело. Довелось оно мне, как я жил у шерстобита. Был он бедный мужик, пришла дурь да блажь в голову — идти к богатому подрядчику на свадьбу. «Куды,— говорит,— ни шло, поднесу каравай, ото

всего, стало быть, усердия: чем богат, тем и рад». А, правду сказать, каравай-то один и был в целом доме. «Авось,— думает,— позовет; буду сыт и ребятишкам кое-чего прихвачу». Сходил мужик, да на том и сел. «Что,— говорю,— рано?» — «Хоть бы ты,— говорит,— Кузьма, горбушку отрезал, а то хоть голодный ложись». Первое, Фомка, я тебе, брат, вот что скажу: смотри в оба и себя не обидь. Дружке после невесты первой подарок идет; да чтоб и невеста была торовата, да и другой, кто надумает дарить, так и он чтобы тебя не обошел. Подверни ему загвоздочку по душе, чтобы как-никак, а не отвертывался. А чтоб еще крепче дело стояло, так вот послезавтра в Овсянники звали: хочешь в поддружья опять?

— Спасибо, дядя Кузьма, на добром совете, а теперь мы и сами кое-как справимся.

— Как, брат, там знаешь, только меня не обидь. Я, вот видишь, и ребятишек повывел, а все бы побаловать и напредки не прочь. Начинай, Фомка, с миром!

Между тем давно пошла молва по деревне, что никак-де Фомка в дружки хочет идти: был уж в поддружьях и всех напотешил, да и дома все по избе из угла в угол ходенем ходит да прибаутки твердит. И такой бледный да сердитый. Все с кузнецом водится, что ни утро, то он и там, либо заручные пьют, либо о свадьбах толкуют. Фомка с ребятами уж и не водится и девок не трогает; осадила его совсем кузнецова дурь.

Попытался один приятель об Аннушке напомнить.

— Ты бы,— говорит,— хоть словечко ей молвил; шибко, вишь, она кручинится: песни не поет, на девок огрызается; совсем загубил девку.

Но Фомка всё приговоры твердит и ходит опять ходенем по избе, горит его сердце завистью, стало ему мастерство кузнеца поперек в горле. Бывали минуты — урывалось у Фомки и бранное слово на соперника, словно и не вместе пили, словно и не доброму делу учил его тот спроста, с охотки. Опять пошел слух по деревне, что Фомка совсем одурел: и сердится, и ругается, а все приговоры твердит и руками разводит. Случилось это дело как раз на ту пору, когда обыкшие в своем деле сваты засватали девку за Степана Глызду. Ходил Фомка в сердцах и в тот день, как совершилось рукобитье, твердил приговоры и тогда, как завопила девка и причитывали ей подруги. Вот уж Фомка и руками замахал, и ногами затопал, начал хитрые колена отгибать, и пяткой пристукнет, и плечами поведет.

Смотрит на него мать с печи и в толк не возьмет, с чего дурит сын, уж не белены ли объелся: вот рукой развел от печного столба прямо к столу и кланяется да ухмыляется, вон скрипнула дверь и отворилась, поднялся пар и завертелся под полатями, охватила старуху холодная струя и ударила в кут. Видит баба, как пронеслась хмара и прочистилось в избе: стоит у дверей Степанко Глызда и дивится вместе со старухой коленам Фомки.

— Ты за мной, что ли?— прямо начал тот и опять засмеялся.

— Не откажи, брат Фомка, уважь!.. Ведь уж сговорились!.. Завтра в город еду, да вот и зашел к тебе. Хотел было Кузьму попросить, да, слышь, ты берешься за это ремесло.

— Ремесло не коромысло, плеч не отдавит. Бери, брат Степка, бери меня! Постоим за себя, а того просто в прах загоним. С твоей легкой руки всех напотешим: и поезжанам скажем слово, и ребятишкам дадим приговор, всем дадим. Как там в избу зайдут, за стол усядутся!.. Нет, да постой, и прежде будет... Вот что будет.— И Фомка опять было повел рукой от стола к переборке, но его остановил жених:

— Да уж ладно, Фома, на тебя надеюсь, а после сам все услышу. Ты у нас завсегда был шустрой. Только меня-то, брат, не кори! Бери поддружку получше... кого из наших...

— Не нужно поддружья! Сам один справлюсь. Уж не Кузьму же брать! Я твой дружка, а за невестой пусть братишко пойдет. Если Кузьку позовут — не пойду за тобой и поезду помешаю. Слышь, Степка, лучше не ссорься; один буду всю свадьбу справлять; на то вот никуда и не хочу идти, как ни звали все.

— А что тебе, Фомка, из городу привезти? Кушак али гармонию?.. Может, балалайку хочешь?..

— Ничего не нужно, даром иду! Только вина давай больше, да чтоб никто в мое дело не мешался!.. Слышь, Степка, купи зеленые рукавицы. А когда девишник?..

— Сегодня и завтра в городе буду...

— Ну ладно, погодим. Зато уж удружу тебе на смех и радость. Не обходи только худым словом да не сказывай ребятам, что с Кузькой не хочу идти. Скажи только Анютке, чтоб она пришла,— пусть ее поплачет!

Фомка опять заходил и опять замахал руками. Долго еще носились по избе его причитыванья, одно друго-

го складней, давно уже и мать его заснула, давно уже и жених был в городе и закупал все, что нужно для свадьбы.

III

Фомка встал — не дождался желанного времени. Рано вставал, поздно ложился; и армяк его синий беспокоил, и плисовые шаровары, и сапоги с крепким подбоем, с гвоздем чуть не в кулак. Наконец удалось ему подобрать, принаряди́ться и учинить пробу в дружьем наряде; а вот ему поутру, в самый день девишника, принесли полотенце от невесты с кистями, изукрашенное красным подбоем. Перекинул его Фомка через левое плечо и подвязал под правым; взглянул в зеркальце: концы полотенца нахально болтаются, красная рубаха торчит на груди, а шаровары плисовые словно ветром раздуло, и сапоги дехтярные крепко постукивают... Борода расчесана, волоса крепко смазаны топленым коровьим маслом; топнул Фомка ногой, отхватил коленце, перегнулся с правого боку на левый и прошелся раз по избе.

— А что, ребята, будет Анютка в причитальщицах?— спросил он друзей, пришедших за приказами.

— Звали ее, да уперлась — не послушалась. «Может,— говорит,— приду, коли кто-де попросит».

— Ну ладно, братцы. Вечор хотел было в *заседчицы*[1] попросить, да знаю: не утерпела бы — заплакала, надоели мне ее слезы совсем. Поди-ко кто да проси ее от меня: «Фомка-де в дружки не пойдет, коли не придешь на девишник». Горшки, братцы, не бить, а набирайте к завтраму сковород да бубенцов; сходите на почту, может, ребята колокольцы дадут. Надо уважить Степку: впервые дружкой иду, так чтобы не ругался после.

Отдав приказания, Фомке осталось только выбрать двух молодцов к лошадям, чтоб они и впрягли их и сами изукрасили все как следует, а ему сесть только да и ехать в поезде, который, говорят ребята, большой будет: всех наших просили. Степка сам ездил с отцом и матерью, да опять же и сваху засылал; долго один бурмистр, слышь, ломался. «Я,— говорит,— лучше на свадьбу заверну, а на девишнике быть,— говорит,— мне, ста-

[1] Так обыкновенно называют сестру или подругу невесты, которая сидит рядом с ней и торгуется о косе сговорены. Иногда заменяется она братом, который в таком случае редко носит какое-либо другое название, кроме данного ему правом рождения.

рику, совсем не прилика». Степка, слышь, в ноги. «Не обидь,— говорит,— а мы,— говорит,— твоей милости всегда плательщики». Тут и отец закинул слово. Подался бурмистр. «Хорошо,— говорит,— как поразыграются, заверну на часок, погляжу».

— А ты, Фомка, с чего начнешь?— спросил в заключение любопытный рассказчик.

— Увидишь после! Да ступайте вот, скажите там, что сейчас-де идет: ждать не заставит!

Хоть и тотчас же ушли ребята по дружкину приказу, но ему самому словно жалко сделалось: хоть бы и назад их вернуть. Запрыгало сердце, словно перед бедой какой, словно вот сейчас ему окунуться в прорубь. Побледнел молодец, словно то полотенце, которое подвязал под плечо. Заговорил было опять свое, да защемило горло и звякнул голос, словно овечья струна на балалайке. Стало Фомке стыдно, стыдно не людей, а себя самого; рад уж он был, когда бы опять обиделась на него Аннушка и не пришла на девишник, да и остальные девки совсем будут лишние, да зачем и ребята придут.

«Лучше бы сделать дело по-домашнему, чтоб никто не видал,— думает он.— Беда, коли срамоты наберусь, тогда заодно выстрадаю — наймусь прямо в свинопасы или уйду из деревни, чтобы совсем и в глаза ее не видать».

— Нет, Фомка,— вскричал он вслух так, что заставил вздрогнуть свою мать на печи,— окунися смело, не дурачься! Коль взялся за гуж — не говори, что не дюж; на тебе б и стряслось, да и Анютка к тому же будет.

IV

Пока принаряжался дружка и поджидал его жених у себя на дому с ребятами, в невестиной избе уже с утра собрались ее подруги. Лишь только все чинно и тихо расселись по лавкам, невеста была выведена из-за переборки и посажена на видное место. Лицо ее было заплакано, и сдержанные, еще вчерашние, рыдания надрывали ее грудь. Тяжело ей было смотреть на свет божий, досадны казались и веселые лица подруг: пришла пора, по завету, проститься с родителями. Долго ей не хотелось приступить с прощаньями: желалось бы ей дольше продлить дорогое время, а все, глядишь, нужен же конец, ведь затем и вышла она, того только и ждут и подруги, и поезжане. Нечего медлить. Да вот

и дружка — старший брат ее пришел повестить, что-де «баня готова, милости просим нашего пару отведать, сестрица милая, попрощайся с родителями! Не век же в девках вековать, не век же и пару в бане стоять». Братьино слово сказано — пора приступить к новым причитаньям. Плачет невеста от всего сердца еще пуще, чем в самый день сговора: не утешат ее подруги. Вот и отец заплакал, и мать надрывается, и брату както неловко на месте: машет он веником, что держал в руках. Кое-какие еще соседки забрались в избу, и те, глядя на семью сговорены, заплакали. Тут хоть и за милого друга иди, а трудно женским делом не расплакаться, и кто знает, что дальше бы сталось с невестой, если б не увели наконец ее в баню в то время, когда Фомка пришел с ребятами в женихову избу.

Вымылась сговорена с подругами, стоит черед за женихом с приятелями, и слышала вскоре деревня, что и они повершили дело: забили во всю мочь в заслонки и сковороды. Один шутник колокольцем зазвенел, другие подхватили его шоркунцами. Впереди ватаги шел сам дружка жениха, молодец молодцом: знать, будет смел и на девишнике, особенно если в меру подопьет за жениховым обедом.

— Поди-ко,— говорит ему Степка-жених,— купи-ка мне невестину косу, а то, говорит, и на вечер не пойду, если не принесешь мне косы; стриженой девки совсем не люблю.

— Сколько дашь, по тому и надежду дадим; не скупись только, не срами меня, а то от себя прибавлю.

Фомка принял от жениха два двугривенных, лент клубочек, игольник костяной, пару башмаков, зеркальце с размалеванной картинкой и чрез полчаса сидел уже рядом с невестой и точил лясы; слушал, как она и ему причитывала, да видит как-никак:

— Расплети-ка, свахонька, косу, а то веры не даст жених, как придет на девишник.

Встал Фома, подбоченился и сам дивится своей первой удаче и находчивости. От его слова тут и сваха поднялась, и коса расплелась, и невеста опять стала причитывать. Начали ей вторить подруги, и видит Фомка, что Аннушка тут: все вперед выбирается, чтобы поголосить за невестой. Еще больше красуется дружка, и хотелось бы выкинуть штуку, да не знает, к чему придраться, а невпопад сказать, боится оборваться на первых порах, за ним все девки следят, да и ребята собрались: пришли звать его опять к жениху.

— Милости просим с вашим князем к нашей княгине в гости пожаловать!— говорят ему перед уходом подруги невесты.

— Примите, не погнушайтесь! Рады и мы вашему досужеству угодны быть,— подвернул Фомка и шапкой хлопнул по коленку и зелеными перчатками махнул над головой.

Вечером вышли оба на невестин девишник: один с прибауткой, другой со своим холостым горем. Жених гостинцев купил; дружка принес их и раздавал девушкам. Радовалась чему-то Аннушка и смеялась, как будто и не обижал ее Фомка, и, уж верно, тому, что не обделил он ее хоть чужим добром. Жених подсел к невесте, Фомка к девкам присоседился. Слово за словом, и пошло дело к тому, что хоть бы и пляску затеять, если бы мало-мальски было прилично невесте и позволяли обычаи-свычаи.

— Не пора ли нам, добрый молодец, к домам прибираться?— начал присмотревшийся к делу дружка.— Тут и ночь просидишь, а рассвету не увидишь. Нужно невесте отдых дать, и нам с утра будет ломки много. Ты, невестонька наша дорогая, не плачь, не кручинься! Завтра придем, напотешим; наш жених берет тебя и не кается, чтобы по любови жить, а не маяться. А пока мы до дому идем, поспрошай-ко кого поприличнее: как тебе во чужих людях жить, чтобы не наприниматься потом лишнего горя, не плакаться на лихую беду; вдвоем придется побраниться, вдвоем и помириться. Хозяйкой, помни, дом стоит, да и нет большака супротив хозяина,— проговорил дружка у порога, когда жених уже скрылся за дверью, чтоб, слушая его советы, не ввести невесту в соблазн и искушение.

Проводив жениха домой, Фомка не вытерпел: захотел вернуться на девишник, куда собрались в это время все поезжане. К вечерку завернул на пирушку и сам бурмистр, чтоб оказать почет соседям, пусть не жалуются: честь лучше бесчестья, а на доброе дело всегда можно удосужиться.

Пока расходились все гости, пообсиделись, пока невеста оканчивала свои обычные приговоры, которые что ни место, то внове и иначе читаются,— подруги девушки затеяли покоры. На то их воля, и вся эта вечеринка во всей их власти: это девичий праздник, они тут полные хозяйки. Сам жених не смел бы и глаз показать на девишник, если бы подруги невесты не захотели сделать ему такого почету. Дружка еще может приходить

вместо жениха покупать косу; может разговориться, заболтаться и незаметно засидеться до конца вечеринки, но и его хозяйки праздника могут смело выслать вон и притворить двери. Поезжане, в этом случае,— другое дело: им честь и место, собственная выгода девушек — держать их подольше на девишнике, а и самые покоры тоже в их власти, хоть и не составляют они общего обычая.

Развеселились гости от девичьего потчеванья; слышат поезжане, что и до них стали добираться, чтоб на чужие караваи рта не разевали. Но первый покор свату и свахе: запели девушки бойкую, но не слишком веселую песню; растянута она была и отзывалась даже чем-то неприветливым. Вот и весь ее склад, вся хитрость:

Ой ты, сваха, косые глаза!
Не гляди под стол: там нет мослов
На твои глаза, на бесстыжие.
Ой ты, сватушка, косые глаза!
Что у тебя, сватушко, шея синя?
Аль на тебе, сватушко, петля была?
Что у тебя, сватушко, рожа пестра?
Аль у тебя, сватушко, лягушка — сестра?

Песня эта была вызовом на подарки певицам со стороны жениховых сватов и свахи. А вот и Фомке-балясснику сережка в ухо:

Друженька пригожий на полатки взглянул,
На полатки взглянул.
Трои лапотки стянул.
Сыч-пострел, отдавай скорей!

Дошло дело до поезжан, и песня изменилась в бойкую, плясовую песню, начали корить посмелее, надеясь обильного количества подарков, тем более что и сам бурмистр стал раскошеливаться.

Пели смелые девушки такие покоры:

Как по тыну-тыну все воробьи,
У Степана в поезде все дураки!
Они лесом едут — лыки дерут,
Полем едут — лапти плетут,
Лапти плетут, оборы вьют,
А на двор въезжают — обуваются.

С окончанием одариванья невестиных подруг бусами, колечками, гребеночками настал конец девишнику. Затем, однако, и поезжане пришли, чтобы одарить, а за это взять невестину перину и отнести ее жениху.

Не дают девки перины даром, требуют новых подарков, ухватились поезжане за перину и тянут к себе, дружка и плечом и коленком стоял за жениха, но все-таки перина не давалась. Пух летел, пылью слепило глаза: стойки были коренастые подруги в своем слове. Делать нечего, жениховы деньги не останутся у дружки в кармане; не сумел он схитрить-догадаться, не умел и силой взять, со всеми своими подручными поезжанами. Отдал Фомка девушкам деньги, данные женихом на заручку, и поволок перину к своему названому князю: пусть его порадуется, что кончено дело, невеста наполовину его, а завтра уж и вся такова будет.

V

Не хвастался Фомка, что в день свадьбы всем им ломки много будет. Еще с утра, раннего утра, тотчас после третьих петухов, поднялись обе избы — и женихова, и невестина.

Утро началось одариваньями с обеих сторон. Фомка у жениха повел такие штуки, что ребята от него сроду не слыхивали, а как начали убирать жениха, помогать ему советами в том, что почище нужно сделать, чтоб вышло получше,— бахвал-дружка из себя выходил. Пуговку жениху застегнет и ту осмеет наповал, да и петелька не по нем; а попался кушак в руки, да не ладился на женихе,— Фомка такое сказал, что ухватились ребята за бока, хоть из избы вон. Хохотали чуть не до икоты, так что даже щеки заломило у самых скул. Один так прыскал со смеху, что осовел совсем: кинулся на улицу и начал по снегу кататься.

— Будет, ребята!— прикрикнул Фомка, а сам как ни в чем не бывал, словно и не его дело,— вот эти-то штуки и разбирали ребят еще пуще.

— Да не пора ли уж нам и по невесту?— спросил он в то время, как Степка был совсем готов.

Жених принял благословение и сел рядом с дружкой в свои казанские саночки. Фомка не забыл прихватить целую бутыль водки, и сани двинулись прямо к невестиной избе, где уже расплели невесте косу и натешились слезами и причитаньями.

— А зачем вы приехали?— закинула сваха приезжим гостям.

Начал Фомка свое дело бойко справлять:

Не по дрова, не по сучья,
Не по рожь, не по пшеницу,

А по вашу красную девицу.
Ваша девица в тереме сидела,
Тонко пряла, громко ткала,
Бердо ломала, за окно кидала...

Пошел Фомка набирать, что на язык навертывалось, да остановила сваха новым запросом:

— Да все ли вы, братцы, здоровы?

— Все у нас, свахоньки, здорово,— прикинул дружка.

— Все здорово: и быки, и коровы,
И телятки — гладки,
Привязаны хвостами к лавке:
Будет вам и тепло, и привольно.

— Ладно, братцы,— подхватила сваха,— вашими бы устами да мед пить. Коли жених молодец, так поскорей и под венец: с миром да с родительским благословением!— закончила она, чтоб уступить место новым слезам, едва ли не горшим прежних.

Эти слезы нельзя жениху слушать, а потому он уселся раньше в свои сани. Впереди их потянулась целая вереница саней поезжан: в одни села невеста со свахой и своим дружкой, еще подальше — отцы посаженые и подруги невестины, за жениховыми санями поплелись пешком и его приятели. Зазвенели колокольцы нескладно, еще безалабернее подтянули им шоркунцы-бубенцы, и грянула зычно ватага провожатых-ребят.

Только лишь повернул весь этот поезд за овины:

— Стой, братцы, у нас завертка оборвалась, пособите подвязать, голубчики!— крикнул Фомка и добился своего: угостил всех поезжан запасной водкой.

На полдороге Фомка опять со штукой:

— Стойте,— говорит,— братцы-кормильцы, взяла вот нас вьюга-вялица, зимняя метелица: вьет-метет, прямо в рот несет; дайте, братцы, время глаза протереть.

Попадались какие-то прохожие по дороге, совсем незнакомые люди.

— Милости просим,— приветствовал Фомка,— к нашему князю и нашей княгине хлеба-соли откушать, не погнушаться, авось пойдет любовь да совет от вашего прямого глаза.

— Спасибо на зазыве,— отвечали ему,— пусть их с миром повенчаются!

Но вот уже надели и венец — всем радостям конец. Заплели невесте две косы через руку, накинули бабий повойник, усадили с женихом в одни сани; тут же села

сваха. Поезд с тем же криком ребят, звоном колокольцев и стуком в чугунки и сковороды поехал в деревню, прямо в женихову избу.

А там уж и пир заготовлен: кругом всей избы протянулись столы, наставлены кушанья и покрыты все одним широким рядном — тонким холстом. Ждут дорогих гостей отцы и матери и обсыпали их при входе хмелем; подвели под каравай с солоницей, дали обоим из одной ложки меду: будьте-де богаты, пейте сладко, да чтоб и самая жизнь-то была не горька.

Усадили потом молодых за стол на переднее место, подложив на лавку пару овчинок — шерсткой мохнатой наверх. Тут же, откуда ни взялась, сваха и ввернула обоим молодым ребенка, посоветовав подержать его в руках.

— Хоть неподолгу, а подержите ребенка, первобрачные мои писаные, князь мой со княгинюшкой; пошли-ко вам господь милости божьей! Не печалься-ко ты, моя косатушка — невестонька ты наша, гляди-ко, каким молодцом твой голубок-от поглядывает. Поцалуйтесь-ко вы, мои писаные-расписаные, да передайте мне чужого-то ребенка, до вас еще не дошел черед,— закончила сваха шутливо-сердитым голосом.

— Ну-ко, дружка-разлучник!— крикнула баба на Фомку.

— Что тебе, сваха-косорожка?— ответил обычным ответом всех дружек наш Фомка, выпрямился, осанился, когда поезжане залезли за стол. В руках у него очутилась бутыль с вином, и подвернулась под бочок сваха с рюмкой и стаканом на подносе.

Бойко обвел дружка глазами всю беседу, выпрямил грудь, расправил плечи, крякнул во всю избу, отплюнулся и повел старинные, простоплетенные приговоры:

Стану я, добрый молодец,
От прибоинки кленовыя,
От столба перемычного,
Из-за скатерти браныя,
Из-за сгибня высокого.
Стану я вас величать,
Стану чествовать.

Фомка поклонился важно, и опять откашлялся во всю избу, и левую руку отвел. Сваха присела немного, прищурила левый глаз и замотала головой, одобряя начало и истовый выкрик своего подручника:

Не всякое слово укор,
А и стыд — не дым, глаза не выест.

Приговоры мои — не обида,
Не долго пек да и солил не круто.
Кому что не по сердцу придет —
Бери свой покор к себе на двор.
Благословите у молодых хлеба-соли отведать.
Гости званые и незваные,
Холостые и неженатые,
У ворот приворотники,
У дверей придверники.
Старые ли старики,
Суконные языки;
Старые ли старухи,
Косые заплатки;
Малые ребятки
Из кута с полатей,
Благословляйте у молодых хлеба-соли отведать!
Тетушки Федоры,
Широкие подолы;
Девицы-молодицы,
Молодецких наших сердец пагубницы.

А не пора ли нам, свахонька, вином угощать? Ну, господин бурмистр, Иван Спиридонович!

Изволь повыступить,
Молодых челобитья повыслушать:
Принимай подарок — выпей, утрись,
Богатством своим не скупись.
Ихное дело нанове, — надо много:
На шильцо, на мыльцо,
На санки, на салазки;
И тебе, может, пригодится
На масленой прокатиться.
А ну-ка, господа поезжаны,
Давайте молодой на румяны:
Надо нам коня купить,
Чтобы воду возить, —
Вода-то ведь не близко,
Да и ходить-то ноне склизко.

Кланяемся вашей чести подарочками!— заключил дружка, приглашая поезжан к чарке и подаркам, которые состояли из платков, кусков полотна, лент, ниток и прочего добра. Видно, что совсем не скупился Степан и не жалел денег для вековечной радости.

Кланяются молодые в землю и долго лежат на полу, пока ломается гость и пока не скажут им, пригубив чарку: «Горько что-то: не мешало бы подсластить, наши первобрачные!»

Молодые поднимаются с полу, подслащают водку: целуются, и снова в землю, и снова просят откушать — не погнушаться, принять подарочек — не почваниться.

Долго еще ломались гости, но все меньше и выше кланялись молодые; время и за стол сесть — отведать

хлеба-соли новобрачных: поросенка с хреном, поросенка в квасе и целых двенадцать сортов квасов, пока не доберутся гости до жареных гусей и баранов.

Но и тут дело не обошлось без Фомки, без него бы и сваха не тронулась угощать.

Прикрикнул и он, в свой черед, на нее:

Ну-ко, свахонька-стряпухонька!
Ноги с подходом,
Руки с подносом,
Язык с приговором,
Голова с поклоном,
Отходи-отступай
От печеньки кирпичныя,
От столба перемычного:
Порастрогай-поразломай свои косточки.
А что есть в печи —
Все на стол мечи!

Наконец началось угощение, сопровождаемое постоянными приглашениями отведать.

— Как у вас там хозяйство-то, молодые, идет?— закинул словечко бывалый свадебный гость, чтобы поддержать дружку и втравить ребят: «Пусть-де мелют, было бы только складно, на то и потехи эти придуманы испокон веку».

— Ноне в хлебе недорода,— поймал чего требовалось краснобай Фомка.

— На низких повымокло,
На высоких повызябло.
Да спасибо, хозяин догадался:
Нагреб ржицы в лукошко
Да и вышвырнул за окошко;
Стала пшеница всходить,
Да повадились свиньи ходить,
Стала пшеница колоситься,
Начали свиньи пороситься.
А пестрая корова совсем сдуровала,
Задние ворота поломала
Да и пшеницу-то всю помяла.

— Ну а хорошо ли сеяно было? Может, и не случилось бы такого горя, коли б лучше по полосам проходили,— опять подвернул подгулявший гость — любитель бывать на чужих свадьбах и мастер поддерживать беседу и веселье.

— Да вот как сеяно!— подхватил находчивый Фомка,

— Колос от колосу —
Не слыхать человечья голосу,
Копна от копны —
На день езды,

А коли тише поедешь,
Так и два дни проедешь.

Подобными доморощенными прибаутками забавлял Фомка поезжан-гостей до тех пор, пока новобрачных не проводила сваха в клеть, поставив на часы невестина дружку. Фомка далеко за пенье петухов пировал с оставшимися гостями и не остался в долгу: от души нарадовался и своему досужеству — краснобайству, и Степкиной радости — законному браку. Шумели страшно, били плошки, ломали ложки и кидали под стол и под лавки деревянную посуду.

На другой день, чуть брезжится, Фомка был опять на ногах, осталось еще за ним последнее дело: истопить в свой черед баню и пригласить туда новобрачных.

Эти, проснувшись, отправились на поклон к родителям; затем явились к ним самим с поздравлениями, а наконец и Фомка показался в дверях жениховой избы с веником в руках.

— Экой у вас, сват и сватушка, порог,— повел приговоры дружка от самых дверей,— насилу ноги переволок, хоть бы дали чем поправиться! Погляди-ко, молодая,— продолжал дружка, допив чарку и не обтирая губ,— какой у вас потолок — черным соболем меня оболок, хоть бы дала чем утереться! А привыкла ли ты, молодая, к хозяйству?— продолжал Фомка, получив полотенце в подарок.— Покажи-ко мне свою удаль!

У Фомки откуда ни взялся мешок с рубленой соломой, которую он тут же, в глазах, разбросал по полу. Новобрачная должна была выметать избу, показывая тем, что привыкает к новому хозяйству.

Но Фомка опять охорашивается и веничком помахивает, когда молодая наконец уселась рядом с молодым на лавке и потупилась.

— Князь и княгиня новобрачные!— начал дружка, показывая веник.— В баню иду пару попробовать — годится ли вам попариться? Опарил бы вашу баню, да вот беда прилучилась: веник развязался. Связать бы надо, да нечем; а княжья-то бы баня давно у меня готова!

Надо давать дружке новый подарок. Молодой связал ему веник новым красным кушаком и пошел со своей подругой, за дружкой следом, в баню, где поддают пар брагой и угощают ребят вином.

Ударили ребята по приказу Фомки в заслоны и сковороды, и кончил Фомка свое дружье дело на собственную похвалу и утеху приятелей.

Осталось молодым сходить на спознатки сначала к невестиным родным и родителям, а наконец ко всем остальным соседям, господам-поезжанам, которые сделали им честь: побывали на свадьбе.

Вскоре у невестиных отца и матери будет званый стол для прежних гостей, которые нашлют им предварительно всякого добра из живностей; молодые вином запасутся; придет на этот пир и Фомка. Может быть, будет он шутки сказывать, приговоры подбирать, хоть это уже и не обязанности его, а лежит на доброй воле.

А вам бы, молодым, любовь да совет! Может быть, и над вами сбудутся кое-какие из поговорок-пословиц, которых так много знает Фомка и которые он так любит твердить всем новобрачным:

Шубу шей — теплее, жену бей — милее.

Не прядет мужик, да без рубахи не ходит, а и прядет баба, да не по две носит.

Жене спускать, так в чужих людях ее искать; а жена не мать: не бить ей стать.

Нет большака супротив хозяина, а хоть и лыком он сшит, все же муж.

В девках сижено — горе мыкано; замуж выдано — вдвое прибыло.

— Живите же с миром, добрые люди, чтоб была у вас в доме тишь, да крышь, да благодать господня,— и не сбывалось бы с вами, про что говорят старые пословицы.

А что же Фомка?

Будут его теперь зазывать на свадьбу в дружки, будет твердить все одно и вперед, как заучено, может ухитриться при случае: придумает что новенькое. Не будет, может быть, часто ходить на поседки. А дальше что будет с Фомкой, если он останется при своем? Дальше надо вспомнить, что по Фомке тоскует еще Аннушка.

VI

— Потерпи, перемогись, Аннушка, ведь не над первой же тобой такая беда сбывается. Все эти ребята таковы, а твой ведь совсем в дружество втравился, вот и завтра в Кулагино, вишь, звали. Хоть не пьет, мать, и то ладно; погоди, вот пост наступит, на масленой можешь перемолвить. Ты ему, сычу, прямо в глаза говори, да не бойся, не тронет!— утешали Аннушку подруги, когда той уже невтерпеж стало и высказала она свое горе.

— Вот,— говорит,— все с писарями знается, а чего от них дождаться, от табашников-чихирников? Лягу, девоньки, спать — и все это во сне: Фомку режут. То он тебе согрубить хочет и ногами лягает тебя, то ластится: люблю, говорит, тебя, завтра свадьбу станем играть. И совсем бы к венцу снарядиться — ан!.. и проснешься.

— Да ты, дева, на левом ли боку-то спишь? Вот меня так что ни ночь — домовой давит!

Но не до ответа было Аннушке; одно наяву, одно и во сне. Фомке спола-горя: его любит девка, а он любит свадьбы да дружьи приговоры; подчас не прочь чокнуться с приятелями на последний грош, на последний кушак, что выгадает после сговоров и в самый день столованья после венца.

— Мне, братцы, одно,— хвастался он писарям,— что коли полюбил работу да не любит она сроку — изо всех жил потянусь. Само бы дело не годило меня, а я его дождусь, да уж коли и дорвусь до него, так не скоро отстану. Анютка особая статья — погодит, не помрет до той поры!..

— Да кручинится ведь, надрывается!..

— На свою же потеху. На то это ихнее, бабье, дело. Поскулит-поскулит да и отстанет, тогда опять можно с начатков пойти.

Писарям речь Фомки совсем по сердцу пришлась: смеялись они от души находчивости краснобая, и трепали его по плечу, и по спине хлопали, и трубочку закуренную подавали.

— Люблю тебя, Фомка, пуще брата двоюродного. С тобой и умереть, так на потеху. Парень урви да отдай!.. Сто рублей не деньги! Ну-ка, брат, выпьем да поцелуемся.

Между тем прошел пост; наступила святая до того теплая, что можно было даже хороводы водить на полянке.

«Вот,— думает Аннушка,— придет мой суженый в хороводы, угожу ему молвить. Как-никак, а все сердце изныло».

Но ошиблась девка в расчетах: Фомка словно назло ей затеял в городки играть, а в хороводы прогнал ребятишек. Оседлал Фомка какого-то парня-верзилу и едет от одного города к другому: и опять с одного маху и одной палкой гонит все чушки с кону, и опять поехала его сторона до другой — побежденной.

Видит Фомка, что больно изнывает девка, и любо ему, что, как он ни крут, девка не сдается другим ребятам.

— Побалую,— говорит,— немного: после крепче любить будет!

И решил он опять избегать встречи с Аннушкой, избрав для этой цели ближнее село, где свел еще теснейшую дружбу с писарями, научив некоторых из них своим шуткам. Не умели ученики перенять одной только сороки да как на бабу собаки лают, а петух задался чуть ли не чище Фомкиного.

Но вот стали по деревням кое-какие летние новости проглядывать: у одной глупой коровы, забравшейся в яровое, хвост отрубили. Заходили с задов кожевники и надули баб, скупили овечьи шкурки дешевле пареной репы — серчали мужья и перебранили всех баб одну за другой. Рекрутов провели, и песни рекрута́ пели и в бабки играли — поговаривали по деревне, что последняя-де партия провалила. Рожь на низких местах завязалась, и отцвела земляника: стала она в ягоду наливаться.

«Вот,— думает Аннушка,— ягоды пойдут, возьму чашку и пойду за земляникой. Попадется Фомка, скажу ему напрямки, что, коли-де не возьмешь меня замуж, и не люби лучше, а то вот писарям хвастался, что изо всей-де деревни я лучше всех».

Нехитро было Аннушке надумать это, недолго привелось и земляники дожидаться; взяла она чашку деревянную и встретила Фомку в лесу.

— Что, аль и ты за земляникой вышла?— начал Фомка говорить ей и посмотрел своим нахальным взглядом.

Забыла Аннушка, что хотела сказать ему и о чем целое утро продумала, не сумела даже и ответа прибрать. Присела она на лужочек, который весь был усыпан спелыми красными ягодками, словно платок набойчатый цветочками. Сел и Фомка рядом с ней; оторвет ягодку и бросит ей в чашечку, другую оторвет и опять швырнет туда же.

— Ты,— говорит,— не сердись на меня, я тебя никому не дам в обиду. Писаря говорят: побей, коли надоедать станет. Нет, говорю, братцы, не трону, во... не трону!

— А зачем ты все туда ходишь?— осилив наконец свою робость, проговорила девушка.

— Оттого, что мне лучше там; ведь и тебя же не прихвостнем таскать за собой.

Промолчала девушка, но видел Фомка, как подернулись ее губы легкой судорогой, пробежали две морщинки на щечках, сдвинулись ее ресницы и крупная слезинка капнула на ягоду. Ответил ей Фомка своим бойким смехом, встал на ноги и закачал головой.

— Кислая ты девка, Анютка, плакса бестолковая! Ишь полюбила!.. Больно, вишь, тоскует!.. Очень мне тебя нужно! Вон, скажут, Фомка с плаксой связался, и говорить, скажут, она не умеет. Убирайся ты от меня, и без тебя много!..— сказал и, плюнув, пошел Фомка на перекостки через поляну, в знакомое село, покурить картузного у приятелей.

С тех пор, что ни утро, Фомка торчит на скамейке у писарской избы; целые дни проводил в селе; случалось, что ночи заночевывал, а на Аннушку и глядеть не хотел. Говорили в деревне, что писаря совсем приворожили парня; вместе хмельным занимаются с ним и на балалайках вместе играют, Фомка петухом кричит, сороку передразнивает. Еще, говорят, новый молодец приехал вместо того, что прогнал становой; в какой-то куцей одежде по утрам ходит, а к вечеру халат надевает пестрый. Говорили еще, что у молодца и чубук длинный, и играет он на гитаре; хочет Фомку учить. Во всем, говорили, новый молодец лучше двоих: и с девками сельскими бойко играет, и деревенские песни как-то по-своему перекладывает.

Наконец и Аннушка увидела хваленого молодца, уже в то время, как после бойких дождей проглянуло солнышко и высунули масляники свои слизистые головки; показались и рыжички на зеленых полянах.

Шел новый писарь, как и говорили, в пестром халате, но только трубки не курил, а пел какую-то песню. Поравнявшись с Аннушкой, которая шла за грибами, краснощекий писарь переменил напев и запел другую песню, ловко прищелкнув над самым ухом девушки и откинув ногу.

— Должно быть, эту Фомка-то любил и про нее, знать, рассказывал. Да ведь дурова же голова, сорока проклятая! Не умел девки любить — и словно сельская Матрена лучше ее! Мужик-то мужик и есть, мужик — деревня, голова тетерья, ноги куричьи,— проговорил писарь и с тех пор каждый вечер приходил поблизости в Фомкину деревню, словно тот нарочно посылал его наместо себя.

Узнал пестрый халат, где живет Аннушка, и все ходит около ее избы и напевает громогласно: «Кончен,

кончен дальний путь!» или «Ударим во струны, ударим!»

Улыбалась Аннушка и при встрече с писарем била его по руке, когда начинал он заигрывать. Не приняла сначала его первого подарка, платка с картинками, но пестрый краснощекий писарь сам повязал ей на шею. Сбросить его постыдилась девушка, тем более что Фомка, кроме лишнего пряника на чужом девишнике, ничего не дарил ей. В другой раз писарь подъехал с орехами, и тут не дал маху: краснела Аннушка, увертывалась, а соблазнилась-таки на орехи, тем более что они были грецкие, хоть и наполовину с гнилью внутри, и не отказалась от фунта конфект крупитчатых, которыми разразился волокита в последнем подарке.

Между тем начали слухи носиться, что грузди пошли и уж два воза повез сельский грибовник на соседний бор. Пошла и Аннушка за груздями, да все набирала одни свинари; вот ей и груздочки стали попадаться, сначала большие, а вон и маленький проточил головку из-под кучки сосновых иголок; за ним другой, третий... успевай только брать,— откуда берутся грибы! Не успела она и дно лукошка завалить порядочно, как зашелестели листья и откуда ни взялся пестрый халат писаря и его длинная трубка.

Слово за словом, подсел писарь тут же и стал помогать девушке. Долго сидели они и о чем-то толковали, вовсе не подозревая, что подвигалась к ним буря, и сам Фомка как вылил тут.

— Ты это зачем в чужой-то огород залез?— крикнул он на писаря и в сердцах схватился за палку.— Бахваль, сколько хочешь, на гитаре своей, а наших не трогай; на меня вот целую неделю дуешься. Почище тебя ваши ребята, да и с теми в миру живем. Ишь, говорит, мы их чище; мы, говорит, не напиваемся допьяну и на балалайке не любишь играть; гармония, говорит, скверный струмент. Девки все скверные... А в нашу деревню для прогулки ходишь?— кричал Фомка, передразнивая писаря, и расставил ноги, ожидая нападения.— Я вот ввалю тебе свойских-то, штук со сто, так и будешь ты ходить по жердочке, чернила ты этакие, бумага проклятая!— выкрикивал Фомка, выжидая ответа, которым не замедлил писарь и высчитывал ему полновесными дулями.

Фомка как ни ловчился, но принужден был уступить сильному писарю и лечь на землю, может быть, и по своей воле, а вернее всего, по неволе.

Так как подобные оказии бывают не часто и притом же всегда занимательны, то и драка двух приятелей не прошла втихомолку, а огласилась на целый лес. Долго ли собраться грибовникам, долго ли смекнуть им, в чем тут дело и что Фомка повинен в начине, если лежит на земле.

— Встань,— ободряли его ребята,— да мазурни его! Али сердце отшиб? Изловчись, Фомка, полно валяться-то! Ты ведь у нас завсегда бахвалист был! Эх, укатал, брат, тебя писарь: вон и кровь потекла... Что, брат Фомка, кусаться начал? Дай ему еще, еще... Лихо... лихо!— травили Фомку ребята и заухали, когда избитый дружка наконец был оставлен писарем и, встряхнувшись, встал на ноги.

— Под силки взял, да угодил под ножку,— оправдывался Фомка,— а то бы и не свалил. Пойдемте, братцы, пора коров заставать!

После этого замечательного события Фомка совсем позабыл об Аннушке, стыдился даже встречи с нею, да раз толкнул ее ни с чего, когда встретился на задах, и обругал обидным словом.

— Пусть его ругается!— говорила Аннушка своим подругам.— Лишь бы только не дрался: а то толкнул так, что насилу духу набралась,— прямо против сердца угодил.

— Нешто ты совсем его разлюбила?— допытывались любопытные подруги, но Аннушка покраснела только и ничего не отвечала.

VII

Прошло наконец наше северное неустойчивое лето. Было сухо: долгое вёдро тянулось. Пошел раз дождик, припрыснул слегка, и заволокло широкое небо серыми тучами вплоть до самого покрова. Что ни утро, то и грянет назойливый ливень и мутит целые сутки.

Наконец пришлось мужичкам порадоваться: проглянуло солнышко, но узнать его нельзя: совсем стало не летнее. Да и на том спасибо, что хоть опять установилось вёдро и дало время поубраться, а то хоть зубы клади на полку: к ниве просто-напросто приступу не было; все залило водой, все отсырело.

Повелись опять работы обыденные: что ни день, то зарево, сначала словно свечка вдали, шире да гуще и размалюет половину неба кровяным цветом. Резко обо-

значался этот цвет при густой темноте осенних вечеров, и понеслись обычные слухи, что в одном месте овин сгорел со всем добром; оставили ребятишек сторожить, а сами завалились на полати. Ребятишки — глупый народец — вздумали в яме репу печь, да стрекнул уголек некстати и попал в недоброе место: прямо между колосницами. Затлелся уже высохший сноп, обхватил его огонек синей змейкой — и долго ли до греха: пошло крутить и по соседним снопам. Занялся овин и скоро запылил, запыхал; только успели ребятишки выбежать. Хорошо еще, что дело обошлось одним овином: растаскали его по бревнышку. По соседству же совсем лихая беда приключилась, пронесло огонь из конца в конец деревни: живого места не осталось; торчат одни обугленные вереи, а печей и места не знать. Один исход такой беде — целая вереница погорелых с замаранными лицами пошла по соседям. «Подайте,— говорят,— на погорелое место!»

Но вот и первоснежье наступило: пошла бездорожица, настали метели да вьюги и — обелилась земля, замерзла она вершка на два. Завалились старики на печь; сел большак за лапоть, большуха — за стрижку бяшек, а молодое племя ссыпки затеяло, и начались заветные супрядки. Коренной и неизменный их посетитель Фомка как будто и не жил в своей деревне, забыл об них вовсе и не ходил смотреть на ребяцкие игры. Где он и что,— никто не заботился. Знали только одно, что Анютка сговорена за писаря Егора Степаныча, который летом в пестром халате ходил, а к зиме надел синий овечий тулуп.

Ходит писарь каждый день в Фомкину деревню и все у невесты сидит, принесет гитару и бренчит на ней вплоть до третьих петухов. Веселее были супрядки эти, чем прошлогодние; где они ни затеются, везде сидит писарь с невестой: он на гитаре играет, она прядет и песни поет, да как-то совсем неохотно.

— Не то она, братцы, Фомку крепко любила, не то... что...

— А лихо его писарь поломал! Совсем, братцы, опешил наш парень; говорят, из батраков-то он на Волгу пробираться хочет,— толковали промеж собой ребята, но ошибались немного, потому что, лишь только прошли святки, Фомка как снег на голову.

— Здорово, ребята, чай, и в живых не чаяли? Далеко, братцы, был... куды далеко!— приветствовал он своих старых друзей.— Да не уладил ли кто из вас дела

полюбовного; так берите в дружки: не бойтесь,— уважим по-прежнему.

Одному только удивились ребята, что Фомка не спросил ничего об Аннушке, а у них уж и ответ готов был, и только заикнись тот — целый бы короб вывалили, что вот-де в будущее воскресенье свадьба у писаря, у невесты сарафан новый в подарок от жениха; сам становой посаженым отцом вызвался, и жена его приезжала на тройке рыжих вяток; Матюха кривой кучером был в новом армяке и в кушаке золотом; кузнец Кузьма дружкой от невесты; писарь Изоська — дружка с жениховой стороны; да у земского буренка поколела.

«Сам,— решили ребята,— проведает обо всем. А что-то будет? Пропустит ли это дело так, а не таковский бы парень».

Фомка же как ни в чем не бывал: с Анюткой ни слова, с Егором Степановичем и не поклонился. Прорвался было в самый день свадьбы (сказалось ретивое): подучал ребят горшки бить да запастись дехтярницами, но опомнился — догадался, что шкура на спине своя — не прокатная,— и махнул рукой.

Сыграна была наконец и свадьба писаря на славу и всеобщее удовольствие. Только, говорят, куды громко вопила невеста, набирала таких приговоров и так громко выкрикивала, что и Глыздиха молодая позавидовала бы в прошедшую зиму. Подруги говорили, что голосила по Фомке, но большаки решили правдивее:

— По своем девичестве сокрушалась. Молодец-от этот показистее Фомки будет: грамотку ли разобрать из Питера, другую ли смастерить туда «с родительским благословением, навеки нерушимым», по деревне ли пройтись осанисто — всем взял парень, и хмелем не зашибается, и становой крепко любит. А Фомка что?— шалопай, бахвал и ничего больше! Ему-то бы в мутной воде и рыбу ловить: девка любила, родители не косились, жил бы на тестевы деньги. Вон и теперь тесть пять возов отправил в Питер с грибами солеными и сушеными; да и в сундуке нет ли побольше тысячи залежалыми. А век дружкой ходить — приестся, да и хорошего мало. Может, и женится парень спроста, так того и гляди, что как на льду обломится, и себе на невзгоду да и жене на маету. Жил бы жил, дурак, в теплом месте, за пазухой у тестя богатого: и лапотки бы не плел, все бы в сапогах со скрипом щеголял. То-то ведь

дураково поле! А что тесть мужик умный и торовытый — так весь околодок присягу примет, не даст солгать. И богат, а не рогат.

ВСТРЕЧА

ГРИБОВНИК

В самой дальней глуши одной из отдаленных и глухих северных губерний наших, в двухстах верстах от губернского города, завалился бедный городок, разжалованный екатерининским учреждением о губерниях в посады,— посад Парфентьев.

Городком с надолбами, чесноком, рвами и палисадом начал он свое существование еще в те древние времена, когда славяно-русское племя пробиралось на север лесами и среди них и инородческого племени мери устраивало свою новую жизнь и начинало ее не совсем красно и привольно. До сих пор еще по горе, на которой стоит нынешний каменный собор, можно судить об удачном выборе твердыни, за которой отстаивали свое право на оседлое житье древние пришельцы с юго-запада, и отстояли столь удачно, что память о мери осталась только в названии реки, протекающей под горой. Зовется река Неей, принимает в себя невдалеке Сомбас, Вохтому, Кужбал, Монзу и т. п., но принимает также и Чернушку, оправдывающую свое название только по внешнему виду, но не по достоинству воды, чистота и вкус которой обратили на себя внимание путешествовавшего государя Александра Павловича. Кругом посада, еще в 30-х годах нынешнего столетия называвшегося «бывым городом», самое ничтожное число селений сохранило непонятные инородческие звания; громадное же большинство их свидетельствует о силе натиска и распространения русского племени. Кто первым выбрал место и застроился — имя того первого и сохраняется до сих пор в названиях деревень, обложивших посад в великом множестве. Вот с поля на поле Лошково и Свателово, вот Трифоново, Нечаево, Савино, Федюнино, да и Федюшино, Ефимово, Семеново, Павлово, Еремейцево, Сидоровское и т. д., в бесконечность — все по именам первых выселенцев. Только в верховьях реки, в самой глуши лесов, и удалось удержаться названиям по языку более древнего народа, аборигена тех мест, где новые пришельцы умели вы-

строить и удержать такие крепости, как Шемякин Галич, как Чухлома, Кологрив и Макарьев, и город Парфентьев, лежащий между ними как раз в середине, около 70-ти верст расстояния от каждого.

Не назвался наш городок Парфеновом, как назвался бы он в том случае, когда положил бы ему начало первой избой и хозяйством мужичок-колонизатор (Савва, Ефим, Семен, Еремей, Лошка, Нечай), но получил свое имя несомненно от монаха, выстроившего монастырь в честь рождества Христова. К монастырю под горой пристроилась впоследствии, как и везде на Руси, слобода (до сих пор сохраняющая свое имя), слобода из людей свободных, которые любили тянуть к монастырям, под их защиту и на монастырские льготы. Но о монахе только догадка, и даже о монастыре сохранились самые слабые и смутные предания. На том месте теперь кладбище с десятком необычайно древних сосен — остатком монастырской рощи, а за кладбищем опять клочок такой же рощи, принадлежавшей некогда к воеводскому дому. От последнего остались только гнилушки, да и те уже высушило солнце в пыль и развеял ветер, может быть, в ту сторону, где и до сих пор за одним урочищем, или лугом, сохраняется название «палачовки». Палачам земля эта принадлежала, на палачей посадские люди эту землю возделывали и тем их пропитывали. По другую сторону монастырской горы, где стоит старый собор внутри старой крепости, к соборной горе примыкает третья часть селения, расположенная по склону возвышенности и называемая собственно посадом, где жили посадские люди и ямщики, живут теперь сплошь мещане. В собственность ямщиков была отписана та земля, которая примыкает к Парфентьеву со стороны, противоположной реке Нее,— земля, которую удалось после долгих ссор и споров оттягать в недавнее время крестьянам соседней слободы Лошкова.

Дорога в Парфентьев от губернского города Костромы начинается сразу лесами, которые еще дают себя знать и чувствовать как серьезные лесонасаждения на целых двух сотнях верст почтового пути, набегающего сплошь и кряду на высокие и крутые глинистые горы. На первой полусотне верст попадается также древнейший город княжеской постройки и древнего славянского имени — Судиславль. Еще через 70 верст от него, также за лесами и горами, на низменности большого озера под крутой горой, сохраняющей остатки Шемяки-

на дворца и крепости,— древнейший город Галич. Кругом его лежат крутые каменистые горы, из которых за одной сохранилось древнее мерьское прозвище Чолсмы, за другой — древнерусское — Свиная Нога. От Свининских гор в 60, от древнего Галича в 70 расположился и тот Парфентьев, на котором остановилось наше внимание. Двадцать пять верст от Галича тянется уже густой лесной волок без всякого жилья. Лес вырос на мокрой и еще до сих пор сохраняющей свой дикий, первобытный вид местности — огромный холодильник, в котором берет свой исток река Нея, настолько обильная еще водяным запасом, что лишь в двухстах верстах от этого места река теряет свое имя, впадая в Унжу — один из солидных и главных притоков Волги.

Мрачный и мокрый лес кончается лишь для того, чтобы дать место большому селу Бушневу с приселками и множеством других сел опять-таки с коренными русскими именами (Арсеньева слобода, Никола Угол, Ивановское, Лермонтова, Никола Каликино и т. п.), а затем опять леса и селения в перемежутку. Селения Бородино, Зикеево, Задний двор, Передний двор, Середний двор, и между ними Погорелки, Починки, Потрусово — как свидетели тех неключимых бед и напастей от пожаров и болезненных «трусов» — моровых поветрий, которыми приветствовала дикая страна новых непривычных пришельцев с теплого юга. Но вот и деревня Трифонова, остается всего пять верст, но лес неотвязчив. Он еще продолжает тянуться перелесками, хотя борьба с ним пошла не на шутку: то и дело по сторонам тянутся возделанные поля, засеянные или гуляющие под паром. Вот за три версты мелькнул крест посадского собора внизу, под горой; надо еще ехать, чтобы увидеть купол, главы, крышу церковную, мы на возвышенности, и дорога наша отлого, но едва приметно спускается *тянигусом* по покатости. Остается верста — и посад виден весь под горой, как бы в яме, как Галич, как Судиславль, Ростов-Ярославский, Переяславль-Залесский и другие древнейшие города, когда у пришельцев не было еще настолько смелости и права, чтобы победоносно взбираться на горы, как забрались на Днепре — в Киеве, в Могилеве, в Смоленске.

Подъезжая к Парфентьеву, оглянитесь: много ли таких картинных местностей на Руси святой? Кругом обступили горы: посад действительно в ложбине. По горам стоят густые сухие леса, так называемые боры, кое-где перерезанные пустырями, означающими присут-

ствие пашен, лугов и селений; пять сел кажут через лесные гребни золотые кресты и белые каменные здания: вот прямо Успенье-Нейское, левее Дмитрий-Потрусово, Ефремье, Веденье и Никола-Ширь. Последний справедливо, с поразительной поэтической правдой, рисует свое место — действительно непроглядную ширь, действительно одну из красивейших, очаровательных местностей, перед которой может уступить даже и парфентьевская. Очень нетрудно найти такие пункты, с которых леса кажутся в таком изобилии, что будто разлилось лесное море, среди которого даже не видать и этих белеющих островов с лугами и селениями. Огромное, беспредельное море лесов, среди которого становится даже положительно страшно, представляет в этой местности именно то явление, каковое скоро сделается большой редкостью на всех пространствах северной России, прорезаемой Волгой и ее притоками. Парфентьевская местность обманчива в том лишь отношении, что, представляя посад под горой и как бы в яме, в самом деле сохраняет его место на горе довольно крутой и высокой. Низменность предшествует лишь реке и, занятая слободой посада, суха, широка и привольна по богатым травою лугам, которые с древних времен принадлежат первым хозяевам местности и называются поповскими, составляя собственность парфентьевского духовенства.

Насколько выигрывает посад от такого своего красивого лесного положения, можно судить из того, что воздух весь пропитан ароматом окрестных сосновых лесов, весь наполнен смолой, без малейших признаков присутствия болотных миазмов: леса в этом случае блестящим образом исполняют свое главное мировое назначение — быть естественными регуляторами ветров и сырости. Кроме того, за лесами еще служба, при способности принимать в себя различные газы и перерабатывать их в собственное вещество,— очищение воздуха, который портится дымом жилых строений, теплинами на полях и лесах, дыханием животных и людей и испарениями земли, которая к тому же здесь больше, чем где-либо, требует и получает удобрения. Насколько же сильно влияние лесных насаждений, буквально обступивших посад со всех четырех сторон, можно уже судить из того, что здесь ни разу не бывала холера, поглощавшая множество жертв в окрестностях не более десятка верст. Сверх того, долголетие обитателей резко бросается в глаза: лошковский старик, бывший посадский церковный староста Роман Абрамыч... умер 110

лет, его соседка по избам — 122, Тимофею Аникичу — 90, старик рождественский священник Иоанн Клириков умер 85 лет и т. д.

Насколько же выигрывает посад от своего положения в такой отдаленной глуши (даже по отношению к губернскому городу) при содействии отчаянных дорог, идущих по лесам, по крутым горам и по глиннику (который в сухую погоду делает костоломный колок, а в дождливую невылазен), читатель может судить по нижеследующему.

Бедность жителей поражает всякого при первом взгляде: нет ни одного каменного дома, а большая часть деревянных прогнили до слез, покривились и полуразрушились. На слободку подле кладбища, отделенную от посада глубоким оврагом (и потому названную Завражьем), и глядеть больно: как заселилась она в древности, по обычаю, самым бедным людом, не ужившимся в посаде, так и теперь на бóльшую половину застроена старыми срубами, которые только оттого и похожи на хижины, что прикрыты обрешетившеюся дранью и не покрыты соломой затем, что это запрещено в городах и преследуется. Наряд жителей до сих еще пор на большую часть шьется из домотканых материй, и домашние станы, про свой обиход, еще не так давно щелкали почти в каждом доме. Только в последнее время двух десятков лет ивановские ситцы и московские сукна стали подспорять этому горю, но довольно слабо и не совсем удовлетворительно: много заплат, много наставок, лоскутков и рвани довольно. Не носят посадские лаптей только потому, что совестно это господам-мещанам, но окрестные крестьяне все сплошь обуты в дешевый продукт березового и липового дерева: в шептуны и лапти. Словом сказать, посадская бедность сквозит отовсюду.

Мещанское право — по положению — отняло пахотную землю, оставив лишь при выгоне, но парфентьевцы с отчаянием ухватились за кое-какой клочок пахоты и отвоевали ее во время введения екатерининского городового положения. Чтобы спасти себя, стали кортомить земли у соседских крестьян, но не спаслись и этим: земля их холодна и климат суров. Овес, ячмень, рожь, лен да и всё тут (один затейник-барин в 4 верстах по соседству пробовал за лесом высеять гречку, да на другой год уж и не убытчился, не сеял). К тому же и то, что высевается, на шестой год, голодный, всегда не доходит, но и в счастливое время родится только сам-три,

сам-четыре, отбивая от земли всякую надежду. И удобренная щедро под самыми домами на огородах земля не поднимает даже такой благодатной овощи, как огурцы: их привозят из-за семидесяти верст, из Галича. Вот почему людны и крикливы посадские базары в четверги по зимам, когда окрестный крестьянский люд собирается поделиться с мещанством мешочками убереженного жита и обменять его на сушеного и страшно соленого судака, которого перекупают мещане на более отдаленных ярмарках, шумящих в стороне к Волге и вблизи этой реки — всероссийской кормилицы. В базарном шуме прорывается ясно вопль отчаяния голодовки окрестного люда, а посадских людей всех звончее и отчаяннее.

Что же посадским мещанам остается делать посреди самых невыгодных условий и гражданского положения, и климатических неудобств? Да то же самое, что и прочему мещанству иных городов, поставленных даже и среди более благоприятной и счастливой обстановки! Городская жизнь, при наибольшем развитии общежития и при сильнейшем подспорье нужды и бездолья, сделала из мещан людей бойких, смышленых, находчивых и при этом поместила их в среде деревенских жителей, сплетенных проще и более подслеповатых. Отсюда постоянные стремления и возможность поживиться от простоты деревенщины, маклачить на ее счет на всякую стать, какая только подвернется. Вот почему в Парфентьеве народились барышники на крестьянских лошадей такие, что знают их и боятся даже в очень далеком вятском городе Котельниче, где, как известно, раз в году бывает одна из самых крупных конных ярмарок. Человек десять парфентьевских мещан мечутся, как цыгане на торгу, на двух своих ярмарках — в девятую пятницу (по пасхе) и на макарьевской (25 июля) — с кнутом за поясом, с крупной, всегда готовой на устах бранью, с озорным криком, со лживой божбой и с тем плутовством, которое не щадит и отца родного. Вот почему посадские занимаются и таким последним делом, как битье кошек, и за то прозваны от соседних крестьян кошкодавами. Заводов кошачьих они, впрочем, не держат, а бродят по деревенским задворьям и воруют чужих. Воруют же и от бедности и по той причине, что под Галичем с древнейших времен приладилась большая промышленная слобода Шокша с кожевенными заводами, выделывающими меха и кожи. Кошка идет на опушку шапок, а за скотскими шкурами пять-шесть пар-

фентьевских мещан круглый год ездят по окрестным деревням. Шокша перерабатывает все это в ходовой товар, который и исчезает в ней, как капля в море, потому что шоковские ездят еще в архангельский город Пинегу, где и скупают все меха тундряного зверя: песцов, горностаев, оленей, волков. Наука воровать кошек не прошла для посадских совсем бесследно: хаживали они по ночам и за другими продуктами, угоняли лошадей и коров — то и дело ходили по базару мужики с шапкой на палке и с криком: «Не видал ли кто таких-то примет пропавшую скотину?» Бывали времена, что некоторые мещане выходили и на торговую дорогу встречать или провожать купеческие обозы с красным и дворянским товаром, а когда появился в тех местах разбойник Васька Торинский, трое парфентьевских мещан угодили в Сибирь. Впрочем, это — худшие, более забаловавшиеся и более голодные, у которых отчаяние бездолья растравлено пьянством и налажено кабаком. У хороших и лучших — другие пути и средства.

Парфентьев выстроился именно в такой местности, где все население давно и крепко убедилось в том, что житьем дома, на неблагодарной земле, не проживешь, надо уходить в хорошие места, искать заработков на стороне. Это тяготение вон, на отхожие промыслы,— явление не только очень давнего происхождения, но и поразительное по обилию уходящего люда и по разнообразию способов и форм самой промышленности. Парфентьев в этом отношении составляет даже такой замечательный пункт, на котором встречаются два пути для выхода на отхожие промыслы и оба переламываются, расходясь один от другого в совершенно противоположные стороны. Тотчас же за рекой Неей, омывающей посад с северной стороны, все лежащие волости высылают народ на восток, «в Сибирь», как привыкли там выражаться по древнему праву и обычаю, хотя в настоящее время эта «Сибирь» есть не что иное, как губернии Вятская, Пермская и Казань. Здесь нанимаются на заводские работы, но всего более любят коновалить, а подчас и колдовать. Затем все волости по сю сторону Неи, к Галичу и Чухломе, тянутся прямо на запад, и именно в Петербург, где в особенности много чухломского и галицкого люда: в десятниках и плотниках, в малярах и стекольщиках, в каменщиках, печниках и штукатурах, в сидельцах лавочных и торговцах-ношатых с разносным товаром. Насколько древен занейский уход в сибирские страны, настолько же стар теперь стал и

местный отхожий промысел в Питер, одновременный первым годам основания столицы, когда потребовались туда лучшие русские плотники, и между ними самые лучшие — жители лесных деревень Костромской губернии.

Мещанская гордость и городское тщеславие крепились очень долгое время среди окрестного соблазна, не поддаваясь тем двум тягам, которые равно были сильны; парфентьевские жили до́ма, рассчитывая на отсутствие мужчин и легкую добычу около баб. Но когда и баба выросла сметкой и толком до хорошего мужика, но когда и мужик стал являться развитым и умным, далеко свыше ума и развития торгового посадского, когда, наконец, попробовали двое-трое посадских, преодолев стыд и предрассудки, сходить в Питер и им посчастливило, с этими тремя отпустили мальчиков. Мальчики, сделавшись взрослыми мастерами и торговцами, потащили за собой и собственных детей и ближних родственников. И вот лет тридцать тому назад зазнали из них ремесленников и мастеров, но в торговом классе мелких торговцев и приказчиков стали приметны и они: довольно парфентьевских на рыбных садках, есть и на Апраксином дворе, но всего больше и очень много на Андреевском рынке, который они особенно полюбили. Но много их остается еще дома, удерживаемых или предрассудками стариков, или крайней, настоятельной нуждой быта при своем пепелище, или выгодами нахоженного и налаженного промысла в ближней окольности, или, наконец, крайней, безысходной бедностью, решительно не позволяющей подняться с места и обратиться в такой дальний путь. Однако домашнее дело плохо кормит, и на доморощенном коне далеко не уедешь. Судьба таковых поставлена невыгодно и подчинена замечательным случайностям. Так, например, благодаря обилию и сохранности окрестных лесов житейская судьба парфентьевских жителей на большую долю и крепко подчинена урожаям на лесные произведения: отчасти на ягоды, но всего больше и по преимуществу на грибы. Надо сказать правду: в урожае грибов все спасение и вся надежда посадских домоседов и старожилов. А так как не всякий год на них урожай, а надежды сосредотачиваются в этом пункте в большой массе, то и понятны та бедность и бездолье, которые резко и характерно бросаются в глаза. Как, по-видимому, ни странно, что жизнь сотен людей зависит от этих тайнобрачных растений, носящих название масленников, рыжиков, белых

грибов, или, по-торговому, черного и белого гриба, тем не менее вот целая и большая местность с древнейших времен приурочила себя к этому делу, связала с ним свою судьбу и обратила грибы в товар, а дело собирания и приготовления их — в особый промысел, способный прокармливать целые семьи, большой посад, великое множество деревень и т. д. Попутный посад Судиславль (также безуездный город Костромской губернии) за то, что принялся у парфентьевских скупать грибы и торговать ими, успел обстроиться гораздо лучше и выстроить даже несколько каменных домов, и всё положительно от грибной торговли. Оборот грибов у самого богатого судиславца (Папулина), по самым верным слухам и расчетам, простирается в год до полутораста тысяч. Посад Судиславль приобрел в России по этой торговле довольно громкую известность и успел затереть и затемнить совсем своего главного и первого поставщика — Парфентьев, и разделяет Судиславль свою славу и барыши только с Егорьевском (Рязанской губернии) и с Каргополем (Олонецкой губернии), откуда, впрочем, идут более рыжики, получившие очень давнюю и большую известность[1]. И тот и другой уверенно рассчитывают и твердо опираются (хотя и не с прежней силой) на обилие постных дней, число которых в годовом церковном кругу православной России простирается до 195, то есть более половины года.

Мы не сомневаемся в том, что грибной промысел бывшего города Парфентьева идет из древнейших времен, обладая всеми свойствами первобытного сколько по замыслу, столько и по исполнению. Нигде в окрестностях он не развит в такой мере, да и вся мелочь сборов в более отдаленных окрестностях все-таки свозится в Парфентьев или, собственно говоря, в село Успенье-Нейское, удаленное от посада только на четыре версты. Здесь также по дешевому приему и указаниям самой природы 15 августа бывает ярмарка специально грибная, которая и у места разыгрывается в одно утро, потому что производят грибную развязку каких-нибудь десяток молодцов, приезжающих из Судиславля, и между ними приказчики такого крупного купца-капиталиста, каков Папулин. Посадская макарьевская ярмарка

[1] В последнее время значительными массами на петербургские рынки стали доставлять грибы евреи из мокрых лесов северо-западного края, но эти грибы дурного качества и очень дурного приготовления — слабые соперники грибов севера России, т. е. костромских и рязанских.

(25 июля, с подторжьем 24-го числа) несколько ранняя для грибов, а потому шумит больше крестьянским товаром: изделиями деревянной посуды, лаптями, красным товаром и галицкими огурцами, за которыми приезжают чиновники даже из того города (Кологрива), к уезду которого приписан «бывший город Парфентьев».

Сбор грибов начинается в июле и к середине его не представляет еще такого множества продукта, которое обещало бы ему возможность сделаться предметом настоящей оптовой торговли. К августу собранные грибы приготовляются уже впрок, т. е. высушиваются в печах, и над посадом стоит уже смрад, и на дальнюю окольность несется характерный запах сушеных грибов. Мещанские избы пропитываются тем же запахом насквозь на долгое время; поневы и сарафаны, армяки и рубахи — все несомненно доказывает, что идет грибная сушка, требующая большого количества дров, которые, однако, не имеют почти никакой цены (березовые дрова, по заказу, толстые трехполенные, стоят 1 рубль 20 копеек, а сосновые и хворост со щепами рубятся без всякой пошлины, весь расход — взять топор и нарубить, запрячь лошадь и привезти). Сначала идут масленники и сушат их; в торговлю поступают они под именем черного гриба, потом появляются целики и белые грибы вместе с родичами своими — боровиками и березовиками. Одновременно, к концу июля, поспевают рыжики, которые особенно любят августовские росы по утренникам, и в августе же, к холодам, выходят грузди с родичами своими — свинарями. Три последних сорта грибов — останных — поступают в мочку и солку и, вылежавши под прессом, являются лучшим сортом соленых грибов, потому что необыкновенно тверды (ядрены), устойчивы для сохранения и потому пользуются наибольшим почетом и уважением в торговле. Соленые грибы продаются в кадочках и ведрах, сушеные — нанизанными на нитках связками, отборные — с одними шляпками, неотборные — и с корешками. Продают же на вес и те, и другие, и третьи.

Сбором грибов занимаются все от мала до велика, с раннего утра, можно сказать, с первым лучом восходящего солнца, отправляясь в соседние боры. Самые искусные сборщики, если грибы появились поблизости, сходят в день раз до пяти и возвращаются обыкновенно очень поздним вечером. «После парфентьевских уже в лес не ходи» — таково общее окрестное мнение. И действительно, оживают соседние леса от перекрестного и

беспрестанного ауканья, и нельзя представить себе в лесу такой глухой трущобы, где бы не привелось натолкнуться на кого-либо из посадских. Крестьяне мещанам завидуют и исподтишка побранивают, но древний обычай по отношению к грибам сохраняет леса в общинном нейтральном и неделенном владении. Рубить дрова нельзя, но ломать грибы не запрещается. Временные заявления со стороны крестьян на заповеди в своих лесах — замечательная редкость и не имеют особенной силы и значения. Парфентьевские грибовники и грибовницы ходят верст за десять — за пятнадцать, лишь бы были здоровы и выносливы ноги, но, по привычке, в такую даль за грибами ходят даже и старые старухи. За груздями же и свинарями ездят парфентьевские даже за двадцать — тридцать верст в огромный березник под Задорином, в сторону Кологрива, который, как известно, получил и свое имя оттого, что лежит коло грив, или около двух грив лесных, т. е. сплошных полос: одна идет в Вологодскую губернию и исчезает вместе с архангельскими лесами на тундре, другая соединена с лесами вятскими и пермскими, а стало быть, и с сибирскими, т. е. не имеет конца. За груздями ездят посадские уже с кузовьями на двух-трех телегах, опять целыми семьями, но уже с запасами дней на десять и на две недели.

Каждая хозяйка с детьми (преимущественно хозяйка, потому что мужчины охотятся на грибы только в крайних случаях нужды или обильного урожая), каждая хозяйка выхаживает летом грибов на 25—30 рублей, а считая семью в пять человек, получает в подспорье хозяйству ровно такую сумму: 150—200 рублей, которая кормит дом круглый год. В этом отношении парфентьевские мещанки представляют собой то отрадное явление, которое на Руси столь резко характерно, что женщина в домашнем и сельском хозяйстве с достоинством оспаривает у мужчин главную роль. При трезвости, при большей любви к семейству, при заметной честности и трудолюбии и на этот раз они являются ангелами-хранителями и в десятках семей положительными спасительницами в бездолье мещанского быта. Не забудем при этом, что в Парфентьеве двенадцать кабаков и до шести трактиров, где мещанские мужья просиживают время и деньги из собственных заработков с значительным прихватом жениных и детских денег, выношенных на грибах, выхоженных ногами, буквально добытых горбом. Мещанское пьянство равносильно ме-

щанскому безвыходному бездолью, и в Парфентьеве по праздничным дням с избытком довольно и круто посоленной брани, и кровопролитных драк, и неугомонного бесконечного буйства. Для парфентьевских же мещан, сверх того, к воскресным дням для драки и разгула прибавляются по зимам еще лишние праздники — базарные четверги. В этой бездонной пропасти, на засыпку которой тысячами умов еще не придумано никакого средства, исчезают и те малые деньги, которые платят непьющим мещанкам за неверный и ненадежный грибной продукт судиславские кулаки. И слишком жаркое лето без дождей, и лето с дождями, но очень ветреное и холодное в равной степени способны отнять и этот кусок хлеба, не слишком горький лишь по приятности целительных разнообразных и веселых (в компании) прогулок. К счастью, негрибовные лета бывают не часто. Правда, заработок значительно упадет, судиславцы не много оставят денег, но все-таки оставляют, когда пройдет негрибовное лето, но зато неизбежно наступит осень с росами. Росы грибы выгоняют, и рыжики после утренников бывают даже лучше (сочнее и тверже). Развитию грибов, как известно, наиболее способствует холодный и влажный климат, потому что две или три тысячи известных доселе нечужеядных пород являются преимущественно на севере и в середине России; Костромская губерния играет в этом отношении одну из главных ролей, а описанная местность виднее и характернее всех прочих.

Познакомившихся с местностью и промыслом просим теперь обратить внимание на отдельного представителя — нашего знакомца и грибного охотника и любителя.

* * *

Едва только успели отозваться третьи петухи и разноголосый чередовый выкрик их замер в отдалении, в воздухе наступила прежняя ничем не возмутимая тишина, как бы в ожидании появления солнца. Вскоре пронеслось едва ли не последнее кряканье коростеля, засевшего где-то во ржи, и топот шальных овец, напуганных обнюхиваньем проходившей коровы.

В чистом, здоровом воздухе несся издали нескладный звон почтового колокольчика: лениво-сонно болтал его язычок. Ехал ли там угомонившийся и заснувший проезжающий, а может быть, и почтовый ямщик воз-

вращался домой, растянувшись во всю длину своей тряской телеги. На улице сверкнула пролетавшая ласточка, успевшая уже набрать пищи; на дороге щебетала и прыгала сорока; далеко в поле заржал жеребенок, и звякнула колокольцем где-то вблизи стреноженная лошадь. Солнышко выглянуло сначала одним краем, но вскоре и совсем показалось, набрасывая на землю длинные и густые тени.

Все еще спало, но на дальнем конце улицы показалась маленькая фигура, при дальнейшем приближении которой нетрудно было узнать в ней Ивана Михеича — первого в околотке грибовника, испытанного знатока своего дела. Недаром же он поднялся так рано, прихватив с собой два больших лукошка, недаром и шаг его так порывист — старик хорошо знает, что ему нужно еще четыре раза сходить в лес, прежде чем придется улечься до другого утра. Не хуже многих из своих соседей знает он то, что грибы — единственное средство его к существованию и что этот год гораздо грибовнее прошлогоднего благодатного лета,— нужно же пользоваться этим себе на пользу, другим на зависть и удивление.

С вечера выпал довольно бойкий и крупный, но очень теплый и непродолжительный дождик, так способствующий росту грибов, и Иван Михеич идет в полной уверенности набрать оба лукошка доверху, в чем никто из соседей и усомниться не смеет. Хорошо было известно всем, что ни разу в жизни не возвращался он из лесу с пустыми лукошками, а в грибной год обтыка́л даже их еловыми лапками и клал сверху, для хвастовства и задору соседей, старый белый гриб величиной в мещанскую шапку.

Нельзя было не удивляться его приглядке к тем местам, которые любят его кормильцы, наконец, тому громадному количеству связок белых грибов и масленников, которые продавал он зимой на ближайшей ярмарке и на порядочную выручку существовал до следующего лета. Одни говорили, что он счастлив на этот продукт и сам его ищет, другие — что он знает тайные заговоры и вызывает грибы наружу, третьи говорили, что он ищет гриба по нюху, как собаки дичь, и по ветру ходит на лес и попадает на грибные кучки. Более благоразумные соседи стояли на одном, что лиха беда приглядеться к бору да заприметить попристальнее, какой гриб какое место любит, а там — смотри, да не зевай только.

В тридцать лет прогулок по соседним лесам трудно не узнать их, как свои пять пальцев, но все-таки завидная приноровка Ивана Михеича к грибному делу удивительна и непонятна. Были же в околотке старинные грибовники, но и те всегда отдавали почет нашему старику и являлись к нему на новую новинку, которая всегда сопровождалась некоторыми обрядами, имеющими смысл только там, где все летние занятия состоят исключительно в сборе грибов и продаже их.

Празднование появления новой новинки всегда случалось в избе Ивана Михеича вскоре после того, как проиграют овраги и выступит первая зелень. Он обыкновенно приглашал к себе на закуску трех-четырех человек коротких знакомых, сажал их за стол и отправлялся за переборку, дверь которой всегда плотно притворял за собой.

Гости обыкновенно молчали, самодовольно улыбаясь и поглядывая то на водку, то на заветную дверь, которая вскоре отворялась, и в ней являлся тоже весело улыбавшийся хозяин с огромной сковородой, налитой маслом и сметаной. Под этими-то снадобьями и скрывалась виновница сбора гостей — новая новинка, или, лучше, первые весенние грибы — сморчки, хорошо вываренные в квасу и поджаренные.

Сковорода торжественно становилась на стол, гости приглашались отведать, и всегда неизбежно начиналось переглядыванье и улыбки, пока сам хозяин не глотал гриба. При этом всегда кто-нибудь из гостей больно теребил хозяина за ухо, к несказанному удовольствию и утехе его, и приговаривал: «Новую новинку бог послал: пуще теребить, слаще скажется». То же самое повторялось и между остальными гостями, причем хозяин вечно рассказывал о том, что сморчок только и годен как снедь, пока не прогремит первый гром. После того в гриб этот, по его мнению, заползает змея и пускает яду, отчего сморчок начинает гнить и пропадает до новой весны. Только три раза в жизни услыхал он гром прежде, чем попробовал новой новинки, и вот с тех-то пор дал он себе зарок всегда праздновать его появление и созывать гостей и никогда не изменял себе.

Точно так же, как первый весенний гриб, Иван Михеич встречал появление и первых летних грибов: волнушек и сыроежек, отваривая их в квасу и обливая сметаной, но не поджаривая. Любил он при этом первым ухватиться за чье-нибудь ухо и весело ухмылялся. Рад был, несказанно рад старик, что наконец наступает по-

ра его деятельности — трудолюбивой, безупречной, невинной во всех отношениях.

Иван Михеич был старик приветливый, хлебосольный, вечно согласный со всяким, даже нелепым, мнением другого. Приветливо глядело его лицо, хорошо к нему шла и прическа седых волос с висков на темя, гладкое, как ладонь, светлое, как луна в зимнюю морозную ночь.

Но между многими добрыми качествами, снискавшими общее уважение соседей, разумеется, водились за Иваном Михеичем и слабости. Одна из них особенно достойна внимания, как слабость, свойственная столько же одному, сколько и всем записным грибовникам. Тайну *своего знания мест* Иван Михеич до самой смерти не высказывал никому. Трудно было от него добиться слова об этом, и решительно невозможно было уговорить его привести на свои заветные места, да, кажется, и сам он этого не в силах был сделать.

В минуты откровенности, когда у человека в полном смысле слова «душа на ладони и сердце за поясом», старик иногда соблазнялся — рассказывал, что рыжик синий — полевик — любит траву и некоторую влагу, настоящий рыжик — красненький боровик — требует уже не столь густой травы, не нуждается в особенной влаге и сидит в том месте, где луг сменяется кучами сосновых иголок. А здесь уже, по его мнению, изредка селится хитрый белый гриб в соседстве с красноголовым боровиком. Впрочем, оба гриба любят березняк и сосняк, тень и некоторую влагу и при этом попадаются не иначе, как в прошлогодней листве.

Впрочем, в этих сообщениях практической сущности было немного: рассказы показывали знание самого знатока, но слушателей знатоками не делали. Старик оставался верен завету хранить приметы и знание в тайне.

— Сыроежки,— прибавлял Иван Михеич в минуту решительной откровенности,— растут без разбору: где успел, тут и сел, только что не забираются сдуру в болото. А масленник такой уж гриб благодатный, что из всех грибов охочий расти. Припрысни только его дождичком легоньким да солнышка покажи — он тебе все поляны облепит. Выгоняет его и роса по осени,— пожалуй, ему и дождей не надо на этот раз. Не люблю за одно: больно марок! А первачки по лету хороши в отваре. Главная причина, если хочешь больше грибов набирать,— не спеши, не суйся,— прибавлял Иван Михеич как бы в назидание, но все-таки сохраняя все свое

достоинство и ни на волос не изменяя зароку.— Набирай грибы исподволь, не торопясь. Бери пока что есть под рукой, а передние и те, что по бокам растут, не уйдут от тебя. Иной гриб, пока сидишь подле кучки, при тебе только и на свет-то божий выползет, оттого оглядываться не мешает. Там уже, глядишь, новички народились, пока ты откапываешь передние — бери их, не чванься. Первачки-грибки — хорошие, хоть и марают руки, а ведь и без того дело не обходится, особенно с маслятами. Зато уж умен белый гриб: тот тебе сам-то по себе и на глаза не покажется — стыдливый гриб! Много-много, если даст повадку да крайком высунется, а то весь в земле и с шляпкой своей. На то и цветом к земле шибко подходит, не всегда отличишь. Жаль одного — червяк его точит, ни за что точит, и досада берет, если снаружи и хорош бы и свеж, а внутри — негодящая гниль! Красноголовые-то, дураки-боровики, те хвастуны: те ведь на весь лес сияние свое производят. Для них закон не писан, их и слепой на сто шагов приметит. Вылезет один боровик, и ребятишки маленькие подле стоят, только откапывать нужно, оттого что хороши в отваре. А вот ты свинарей ухитрись находить, да груздей соленье подавай!— продолжал Иван Михеич, видимо горячась и желая похвастаться.

Слова его похожи были не столько на наставления, сколько на укор и упреки.

Он продолжал:

— Листву они любят, в листве осиновой да березовой нарождаются!.. Знаем мы это, слыхали, что в листве и листвой-то этой они накрываются от стыда, от человечьего глазу... Не в игольниках же им расти, в трущобе этой. Знаем, что и расти-то они начинают к осени, когда дожди идут поназойливее и тень держится дольше,— всё знаем! А поди-ка покажи мне такую листву, так и поедешь, глядишь, к Задорину. А я так и здесь, поблизости, найду и посолю на зиму, целых две кадушки посолю, а в Задорино ваше, за двадцать верст, не поеду. Вон есть, пожалуй, поджарый опенок либо долговязый березовик, тех иную пору возами вози — не изведешь и умаешься. А я так не люблю таких, по мне — либо белый гриб, либо груздь, либо боровик маленький.

Каков был на словах Иван Михеич, таков и на деле. На подобные наставления подчас он был щедр, но ни разу не приводил на свои заветные места: доведет, бывало, до кучки масленников и посоветует обрезать корешки и класть только шляпки, а сам и скроется в

чащу бора. Тогда уже никакие ауканья не соблазнят его на отклик до тех пор, пока не кончит торжественно своего дела. Точно таким же образом поступил он однажды со мной.

Местом прогулки назначен был тот бор, который, по мнению Ивана Михеича, был менее прочих обобран, и те полянки, которые находились в самой чаще. Иван Михеич, по обыкновению, усадил меня подле кучек масленников и немедленно скрылся куда-то в сторону. Грибов после вчерашнего дождика высыпало до такой степени много, что приходилось давить их ногами, и одними мелкими можно было бы набрать полное лукошко, а не добирать ягодами, то есть не прибегать к невинной хитрости, общей всем не сведущим в деле грибовникам.

Переползая от одной кучки к другой, я постепенно подвигался вперед и незаметно очутился перед едва проходимой чащей, где все сучья готовы хлестать вас и в лицо и в шею. В надежде поймать в ней Ивана Михеича, сбиравшего грузди, я начал осторожно раздвигать сучья и пробираться на более безопасное место. Сухие прутья трещали под ногами, попадались такие чащи, в которые уже решительно не было никакой возможности проникнуть: нужно было обходить их. Таким образом, переходя от небольшой полянки в чащу и из этой в более густую или жиденькую, встречалась неодолимая трудность для ног, представляемая огромными гнившими колодами толстых дерев: кое-где валялись кучки моху и муравейники, пробегала по колоде ящерица, каркала ворона и чирикал воробей. Вскоре передняя чаща как будто осветилась, лес поредел, оставалось идти наудачу прямо вперед — иначе пришлось бы плутать и раз десять подходить к одному месту. Начался редкий осинник или, лучше, березняк, где догнивали прошлогодние листья и было совершенно тихо. Только векша прыгала по деревьям, цепляясь за тонкие прутья и покачиваясь на самой верхушке высокого дерева. За осинником начались сплошные колючие кусты можжевельника, и прямо перед глазами открылась большая поляна, окаймленная со всех сторон лесом, переход к которому составляли кусты маленьких елок и можжухи. Такой же точно кустарник вразброску пересекал середину поляны широкой лентой. Кое-где торчали обгорелые пни, а самая поляна представляла вид давнишней новины, которая, может быть, на будущий же год должна будет превратиться в пашню. В некоторых местах

даже приступлено было к этому делу, потому что кое-где валялись вывороченные с корнями пни и навален свежий дерн. Между пнями занялась трава, до которой не касалась в нынешнее лето коса, потому что трава, общипанная в некоторых местах, была довольно густа в тени. Вправе поляна выгнулась и, как казалось, опускалась вниз; даже можно было различить вдали желтую песчаную окрайну и, наконец, заподозрить существование оврага или русла протекавшей тут речки.

ПАСТУХ[1]

На поляне паслась скотина, в некоторых местах лежали коровы, подобрав под себя передние ноги, и, тупо вперив свой взор куда-то вдаль, пережевывали жвачку. Из-за куста прыгнул козел и погнался за трусихой-овцой, нырнувшей в ближний кустарник. Свинья хрюкала в луже, вымытой вчерашним дождем; стреноженная лошадь зазвенела бубенцом, привязанным к шее, и сделала несколько скачков вперед. Другая лошадь без

[1] В наших местах специальных пастухов не существует вовсе: скотина пасется на божьей воле и господнем просторе сама по себе. Лесов еще так изобильно-много, что сделать загороди решительно ничего не стоит, а потому загороди кругом пахоты и огородов тянутся на целые десятки верст и ежегодно ремонтируются. К тому же в угодьях такой простор, что вовсе не трудно отводить под выгоны места подальше от полей и лугов, а, выгоняя скотину на пар, все-таки помещают ее в огороженных пространствах. Если случается такой грех, что блудливая скотина проберется в ржаное или яровое поле, тогда оповещают хозяев и дешевым способом, палками и на лошадях, при помощи мальчишек выгоняют скотину, а на пробитое ею место тотчас же кладут заплату. Самых непокорных, блудливых животов сами хозяева знают и сами же спешат употребить против их злого нрава домашние первобытные средства на тот случай, чтобы злой человек или заведомый враг не «застал» скотины, т. е. не запер бы ее в свой хлев и не потребовал бы за это денежного выкупа или даже не отрубил бы хвоста. Во избежание этого лошадей обыкновенно треножат, т. е. связывают путами две передние или обе задние ноги, на шею свиней навязывают вилашки — треугольник, чтобы они не могли пролезать в промежутки между изгородью, на коровьи рога, которыми скотина ухитряется иногда поднимать задвижки в воротах, привязывают лукошки и т. п. Последующий случай, как исключение, как явление поразительное и редкостное, остался в воспоминаниях, почерпнутых во времена уже отжившего свой век крепостного права. Сдача в пастухи, на позорное до смерти в тех местах занятие, составляло тогда одно из часто практиковавшихся тяжких помещичьих наказаний. Собственно, пастухи в Костромской губернии появляются лишь там, где истреблены леса, сменившиеся обработанными землями, к тому же сильно перепутанными чересполосным и перекрестным владением. Заиграй пастух в Парфентьеве, весь посад сбежался бы — слушать, дразнить и хохотать.

видимой причины брыкнула задом и фыркнула. Из лесу слева вышла целая семья свиней, в которой на старших надеты были треугольные вилашки. Навстречу им пронеслось стадо баранов, вероятно напуганных прежним козлом. И над всей этой простой картиной пылало июльское солнце, способное наложить на лицо густой слой загара и выжать из тела последнюю мочь и силу.

Время подвигалось к полудню. Невыносимая жажда мучила меня. Оставалось спешить наудачу к оврагу, где действительно сочилась речонка, в это время шумевшая, но пересыхающая при продолжительном вёдре, доказательством чему служило множество бочагов, разбросанных поблизости. Некоторые из них осенялись кустами сплошной ветлы, иногда обгорелой, но большей частью красовавшейся своим темно-зеленым цветом. Перед речкой находилась довольно широкая полянка, на которой рассыпались и анютины глазки, и кашка, и кусты репейника, и стебельки отцветавшего зверобоя.

Тишина в овраге была невозмутимая. Лишь внимательно вслушавшись в нее, можно было различить дальнее ширканье косцов, точивших свои косы лопаткой с песком. Издали пронеслось протяжное звонкое «ау» каких-нибудь грибовников, отыскивающих друг друга. Это же «ау» повторилось в другом конце леса и замерло, и опять наступила прежняя тишина. Но при перемене места слышалось только журчание воды, стекавшей вниз и пробившейся между спопутными кучками камней, да с горы пронеслось неприятное и страшное в лесу мычанье коровы.

Напившись воды, я оглянулся кругом и тотчас же заметил подле края речки, у широкого бочага, под густым кустом ветлы распростертую фигуру в синей рубахе. Фигура эта, сколько я мог разглядеть при дальнейшем приближении к ней, принадлежала парню, широкому в плечах, обернувшемуся ко мне спиной и угрюмо смотревшему в небо. Подле него лежала длинная плеть и валялась мохнатая собачонка, вероятно покоившаяся глубоким сном, потому что не слыхала моего прихода. Не слыхал его и парень, который, опершись на руки, все смотрел в небо и тоже, может быть, спал или находился в полузабытьи и дремоте.

Невольно подчинившись его примеру, я совсем бессознательно взглянул также на небо и услышал дальний, едва слышный, крик журавлей, которые черной вереницей тянулись там. Пискливый крик пролетавшей птицы становился все слышнее и слышнее. Журавли,

как кажется, хотели спускаться, потому что уже можно было различить отдельные фигуры и их длинные носы. По всем приметам, это были журавли действительно, а не дикие гуси; они вразлад друг с другом продолжали гоготать и опускаться.

Парень, как казалось следивший за ними, мгновенно встрепенулся, отнял руку от головы и обернулся ко мне в то время, когда я уже стоял подле него.

— Жаль, ружья не прихватил с собой!— заговорил он как будто нехотя, но тем не менее смело и прямо обратившись ко мне.— А то бы ссадил одного, вот, ей-богу, одного бы ссадил!

— Разве ты так хорошо стреляешь?— спросил я бессознательно, поощряемый той словоохотливостью и доверием, которыми он поразил меня с первого раза.

— Да уж безинскому Петрухе за мной не угнаться. Для меня этих диких-то уток что ни есть проще сшибить — сразу заныряет, а то что *жираф*?— так только... долгоногая птица. А подстрелил ее, и начнет ковылять на кривых-то ходулях. Знаешь что?.. Да ты из каких?— спросил он, быстро изменив тон и пристально уставившись прямо на меня.

Я сказал.

— Так ты что же тут, грибы, что ли, сбираешь — может, заблудился, коли так далеко зашел? Ведь ваши-то места отсюдова, почитай...

Парень замолчал, как бы высчитывая версты, и немало поразил меня, сказав, что до нашего посаду от Вертиловки, до которой наберется гон тридцать, считается двенадцать верст.

— А ты сам из Вертилова, должно быть?

— Вестимо, из Вертилова, там наши господа живут, а я при скотном дворе у них, в пастухах. Вот они теперь стаей, стало быть, летят, да не сядут: вожак-от опять поднимается, знать, нас с тобой завидел,— рассуждал мой пастух, продолжая смотреть вверх и следя взором за журавлями, которые, картинно развернувши дугой свою вереницу, потянулись дальше и выше.

Журавлиный крик делался едва слышен, а вскоре и совсем заглох в этом душном воздухе, который тяжелым, свинцовым гнетом навис надо всем окружающим. Вдруг, откуда ни взялся, новый подобный же крик — и перед глазами зачернела новая птица, но уже одна только, жалобно и скоро кричавшая вслед за стаей.

Пастух мой продолжал смотреть в небо и рассуждать вслух, следя за полетом последнего журавля:

— От стаи отстал!.. Не применился! Должно быть, выводок весенний. Этих лихо стрелять: сейчас закружатся. Попрыгает, попрыгает да и ляжет. Тут его ты и бери. Только берегись: притворяются часто, и как раз носом глаз выхватит. Раз эдак-то и меня было, как господским детям хотел на потеху в гостинец живым поймать... Постой-ка, постой, никак сядет!..

Пастух вскочил на ноги, схватил свою плеть, толкнул при этом ногой своего мохнатого жучку и опять присел, когда собака залилась звонким лаем и кинулась в гору.

— Напужали!— проговорил он с сожалением, усаживаясь на старом месте.— Отдыхают они опасливо, словно бы и люди,— заговорил он снова после непродолжительного молчания.— У них в артеле завсегда есть сторож чередной. Коли все прикурнут, стоит он на одной ноге и другую переменяет и не спит, а зачуял что да завопил по-своему, так все и переполошутся. Разбегутся эдак на ходулях-то своих по лугам, да и кверху. Тут в них стреляй знай — не промахнешься...

Он опять замолчал, а я, утомленный донельзя, расположился тут же, рядом с ним, в надежде отдохнуть после долгой ходьбы и вполне уверенный, что мой товарищ давно набрал оба лукошка грибов и, бесполезно проискав меня по лесу, сидит себе дома.

Мне оставалось еще одно: отплатить за внимание вниманием, поддержать разговор, и потому я спросил парня о тех удобствах, которые представляет ленивая жизнь и спокойная обязанность пастуха.

— Ничего,— говорил он мне,— ничего, коли сноровку знаешь да поприменился. Корова во всем стаде всех спокойнее. Ей куда велишь — туда и пошла, а то лежит в тени, никого не замает и всегда, помни, на старое место ложится. Напиться захотела — к реке пошла. Ну и овца... тоже смирна, только не пужай, не наскакивай с плетью. Вон и к жучке попривыкли. Только два козла блудливы очень, у, как блудливы!— Парень при этом прищурил глаза и помотал головой. (Один-то козел и мне памятен.) — А всё кучера́ избаловали да ребятенки господские, особо вот того, черного-то. Зато свинья что ни на есть хуже всех: это, как сказано, свинья, так она и есть свинья полосатая.

На выраженные сомнения я получил такой ответ:

— Теперь начать с того, что свинья во всякую воду без разбору лезет, и лежит она в этой воде — только покрякивает. А подыми ее попробуй: да хоть сто палок

обломай — ни за что не поворотишь. Того гляди, еще злость ее возьмет, проклятую, так уноси бог ноги. Слыхал, чай, как они с волком дерутся?

Получив ответ отрицательный, говорун мой продолжал разговор, растянувшись на спине и по-прежнему посматривая в небо:

— Я это сам видал, да и от других слыхивал, что коли волк напал на свиное стадо, так ни одной не поживится — не дадут. Вот как бывает и дело это самое...

При этом рассказчик повернулся на бок и оперся на оба локтя. Волосы его свесились на лицо, и вся фигура, при занимательности предстоящего рассказа, представляла что-то особенно серьезное и привлекательное. Свежее, хотя и загорелое, лицо, черные волосы, на висках вьющиеся колечками, красивая коротенькая, но круглая бородка, наконец, серьезный вид и какое-то сознание важности рассказа возбудили во мне и интерес, и полное внимание. Я уже окончательно забыл и грибы свои, и Ивана Михеича; мне хотелось слушать и расспрашивать своего нового знакомца, говорить и сидеть с ним даже до тех пор, когда возьмет верх истома и я наклонюсь к траве и засну.

— Вот как бывает и дело это самое,— говорил он.— Ухватил когда волк поросенка, что ли, какого в стаде, да завизжал этот поросенок, то будь свиньи хоть за двои гон — прибегут к волку. Они ни на реки, ни на озера попутные не посмотрят. Отобьют своего детища да и встанут кучей: поросят собьют в середку, задами да спинами своими вместе сотрутся, и попробуй, волк, вырви поросенка! Уж и ходит же он, сердешный, долго ходит, и сбоку-то, слышь, забежит, и прямо кинется, а все, глядишь, назад бежит да хвостом виляет. Артель все вплотную стоит и на него напирает, поросята визжат посередке, матери свою музыку ведут. Волк только скалит зубы да щелкает, прыгает да щелкает, а в артель не посмеет ударить. До того мучат его свиньи эти, что так и кинет и пойдет к домам. Вот тут-то я одного и свалил пулей. А крепко же и он рассерчал: больно дрягался, как я его домой хотел стащить.

— И всегда отстоят себя свиньи, не дадутся ему?

— Да чего не дадутся!— говорил он мне.— Иные боровья до того свирепеют, что из ватаги ино выскакивают. Клык наострит, слышь, да и метнется за волком вдогонку, отбежит, знаешь, немного, а себя-таки помнит: сейчас и назад и опять задом в артель вотрется. А те все напирают да визготню ведут, все, знаешь, подви-

гаются. Зато уж и ушел хоть волк, не скоро свиньи разойдутся из кучи. Тут им человек не попадайся — всего изорвут. Значит, и тебя принимают за волка. Лягут они после того в озеро, так ты в трубы труби — не подымешь, пар так и валит, хоть на ночь оставляй, ровно, слышь, в бане были... Хрюкотня такая пойдет, что коров и овец переполошат, во как!..— заключил рассказчик.

— А овца так, я думаю, совсем беззащитна?

— Оно, пожалуй, кому, как не овце, трусливее быть: напужал ты одну, так, глядишь, и все переполошились. Что овца?— продолжал он, как бы рассуждая с собой.— У той и защита против волка одна, что на стену кидаться, словно угорелой. Вон у нас была такая притча в подызбице, лет тому пяток назад. Туда мы на зиму овец застаем, так вошли с братом. Глядим: двух ярок загубил серый... зарезал, словно языком слизнул. Выходило, видишь, окно на улицу, а изба-то наша с краю как раз, подле бань приходилась. Заколотить мы его забыли али бо что? Только волк пролез, знать, туда да и зарезал... Вдругорядь, думаем, не надуешь: взяли мы с братом да и заколотили окошко-то планками и двери плотно приперли. С братом порешил я так, чтобы мне сесть в подполицу с ружьем да и дожидаться волка. Раз, смекаем, приходил, вдругорядь захочет. Вот я сижу, это, в подполице, да только вздумал, что, мол, придет понаведаться, а он как тут и легок на помине. Взвыл, слышь, за оврагом, да опять, да и еще опять взвыл. Может, думаю, товарищей подобрал. Коли не втроем идет, так вдвоем, может быть, как и водится у них завсегда, когда на грабеж подымаются. Может, думаю, и один позарился. Сижу вот я в подызбице и ничего не боюсь. Ружье подле, овцы в кучу сбились, а ночь — хоть глаз коли. Дело это в осенях было. Взвыл мой волк за оврагом да и замолчал: идет, думаю. Только, слышу, он уж и тут: просунул в окошко лапу, да видит — планками загорожено, пролезть нельзя, грызть нужно, он и грызет... Планки-то не подаются же, однако, на зуб-от даже, сколь ни востер: из дубового полена сделаны были и вколочены плотно-наплотно. Я стал прислушиваться: так стал визжать, пострел, больно шибко принялся за работу. Вон и щепки полетели чуть не в глаза мне, а все он визжит да огрызается. Перестал, слышу. Что-то дальше будет? Гляжу на окно, а он хвост запустил в окно-то, ко мне, значит, да и начал болтать из стороны в сторону. Хитрит, думаю,

серый, напужать хочет: пусть-де овцы со страху в двери кинутся, на двор выбегут, а я, мол, на дворе и перережу их. Только что овцы-то на стену бросились, я его и угодил за хвост-то да и лажу к себе притянуть. Взвопил брата, что здесь-де, мол, сам в руки дался. И притрухнул же мой волк, куды напугался — совсем понатужился, так, братец, всего меня и окатил. Мы его после и добили вдвоем, брат ему всю голову расколотил топором... А то повадились после другие волки собак сманивать со дворов. Так уж мы тут просто всей деревней этих из ружей били. Придут они, слышь, вдвоем, и завсегда, помни, вдвоем: один встанет за углом, а другой идет к подворотне. Тоже запустит хвост да и выманивает. Собака-то побежит за ним, он от нее, а другой волк из-за угла выйдет да и накроют спереди и сзади: один возьмет за шиворот, другой — за хвост, либо ноги в рот захватит и унесет в поле. Там сначала играть с ней начнут, и до того, сказывают, играют, что совсем заморят. Поколелую уж и поедают напоследях, и так обчистят, что только одна голова останется да шкура. И шкуру-то начисто обточат, что словно мясник по заказу: сам видал, врать не из чего...

— Медведи, кажется, в нашу сторону не заходят?— спросил я, заинтересованный рассказами, хотя и не хуже его знал, что в наших лесах медведю негде водиться, разве притащится он по пути да и уйдет обратно в свое место. В дальней окрестности хотя и были леса, но большей частью боры, со всех сторон окруженные жильем и притом же не представлявшие таких чащей, какие любит этот зверь. Пчел у нас также разводят мало, а ставить ульи в лесу — обыкновения нет.

— Приходил один года три тому назад, коли еще и не больше того, и много натворил беды: одних коров надавил до десятка, мужика изломал из Соснины,— продолжал пастух, отвечая на мой вопрос.— Этот, сказывают, коли заберется в стадо, всех переломает. Чего бы, кажись, лошадь и на ходу бы легка, а не уйдет от него, коли влепит он ей заднюю лапу в спину да правой уноровит за дерево ухватить. Визжит, ино, слышишь, бедная, а уж он ей и брюхо тем временем вспорет...

— Этот, я думаю, и со свиньей справляется?

Рассказчик улыбнулся, быстро улыбнулся на мой вопрос и продолжал:

— Много свинье нужно, коли тот захочет,— ухватил за щетину, вскинул кверху да и разбил вдребезги об-

земь. С дедом этим расправа плохая: с корнями деревья рвет, не то что...

И рассказчик опять усмехнулся в то время, как на горе послышался шум и показалось облако пыли, несущееся прямо к косогору. Какая-то дрожь пробежала по членам, пастух бессознательно ухватился за плеть, и мы уже готовы были видеть перед собой медведя или волка.

Ожидания наши были обмануты: в облаке пыли показались фигуры овец, выбивавших ногами частую дробь, которая глухо отзывалась, отбиваемая сухою землею. За овцами, тоже в пыли, неслась пастухова собака, высоко вздернув мохнатый хвост. Овцы вдруг остановились и столпились в кучу, навострив уши и как бы ожидая, что сейчас раздастся новый крик или лай и они опять стремглав понесутся на свое место.

Пастух отправился наверх произвесть должный распорядок.

Я остался внизу и слышал, как тот щелкнул несколько раз плетью, как снова пронеслись овцы, облаками вздымая пыль, и как опять сделалось тихо, так тихо, что у меня смежились глаза и я заснул. Долго ли спал — не помню, но проснулся, разбуженный глупой коровой, которая рассудила фыркнуть мне в лицо на пути своем к водопою.

Пастух мой шел от реки прямо ко мне. Волосы его были мокры, с бороды капала вода; видно было, что и сам он сейчас из воды.

— Не хошь ли и ты искупаться? Вот мой бочажок приговоренный — лихо можно. А и не глубок — только по шею, на дне чисто. Сучья повытаскал сам, одни камни остались. Тут, коли хошь, и поглубже есть один, да вода не проточная: волосатиков, поди, много. Вопьется, сказывают, в ногу, никоими силами не выживешь, разве отрывать начнешь. А кости, слышь, скулят от него — и места не найдешь. Всё от конского волосу, говорили, нарождается. А шевелится, словно бы и пьявица какая!

Таким рассуждением сопровождал он меня на пути к бочагу, над которым нависли целые кусты ветлы и откуда неслась особенно заманчивая прохлада.

Поместившись через час под тем же кустом, под которым и прежде сидели, мы молчали некоторое время, пока пастух мой ласкал свою собачонку.

В это время на противоположном краю оврага из желтевшейся ржи выставилась белая фигура девушки лет пятнадцати, у которой в руках было что-то тяже-

лое, завернутое в тряпицу и завязанное. Девушка подходила уже к нам, но, завидев незнакомое лицо, остановилась на минуту и потупилась. Пастух махнул рукой и, обращаясь ко мне, проговорил:

— Племянница!.. Старшего брата дочка, сиротой осталась. Ульяной зовут... Иди сюда скорее, не тронут. Обед, что ли, принесла?— спросил он девушку, когда та, все еще не поднимая глаз, остановилась перед нами. На ней надета была длинная рубаха, коса заплетена и висела вдоль спины. Видно было, что она была все утро на покосе; загорелое лицо подсказывало о том же.

Робко зазвучал ее голосок; девушка говорила:

— Сегодня, дяденька, только одни щи варили, да вот молока прислала баушка. Крынку велела назад принести, когда опростаешь...

— А на-ка вот тебе гостинку, Уля: даве смастерил на безделье, на вот!.. Годится ходить по ягоды.

Дядя отдал девушке красивенькую плетенку, свитую из ивяных прутьев, с крышечкой, плотно приделанной с одного боку.

— Крышку-то я сниму, дядя!— проговорила девушка.— А то мешать только будет.

— Как знаешь сама, твое дело. Да вон прихвати и братенку своему, Матюшке, дудку. Только бы рукой не хватался за дырочку эту да языком прихватывал — во как!..

Пастух громко высвистывал свою известную всем песню, посадил девушку подле себя и погладил по голове.

— Изо всей семьи что ни на есть лучше,— продолжал он, обращаясь ко мне.— И куды ласкова! Сам, почитай, один вынянчил, зато и люблю пуще всех ее вот да Матюшку — младшего ее братишку. Я ей и жениха стану отыскивать... сам. Хошь жениха, Уля?

— Рано еще, дядя! Баушка говорит: еще два года нужно погодить. Тогда уж, говорит.

Девушка взглянула на меня, покраснела и еще больше потупилась. Это, как казалось, понравилось дяде, потому что он, погладив ее по голове, крепко поцеловал в темя и принялся за обед, пригласив и меня не погнушаться, отведать хлеба-соли.

— Сам-то ты разве не женат? А ведь пора бы, кажется!— спросил я его по уходе девушки.

Парень крепко задумался и заговорил про себя, тяжело вздохнув и как бы желая умерить свою болтливость и излишнюю откровенность:

— Бабы говорят: скоро третий год на второй десяток пойдет, как бы, кажись, не пора? Уж и так семья серчает. Ты, говорят, в тягле лишной. Вон, говорят, у брата уже дети большие, а ты совсем бобыль, как перст одинокой. Вестимо, бобыль, сами знаем, хоть и отец и мать живы, и брат родной... Ну да что брат? Один брат был, да и тот сплыл, хоть и двоюродным он мне доводился. Ну что ж, что не женат? Хотел было, сами знаете, да, вишь, пень словно какой подвернулся, и не сталось по-моему. Одну девку три брата разом полюбили и не сказывали. А у ней только к Петрухе одному и лежало сердце. Меня, вишь, она за брата почитала, сама сказывала. И померла... ну и господь с ней... ладно она это сделала.

Всю эту речь пастух говорил едва слышно, опустивши голову и перевивая плеть на коротеньком кнутовище. Как будто ему совестно было поднять голову и своим бойким, умным взглядом окинуть любопытного расспросчика. Долго он сидел в таком положении, по временам покачивая головой и передергивая плечами.

— Да ты, поди, знаешь Петруху-то нашего?— спросил он, быстро приподняв голову и взглянув на меня.— Он у нас тут частенько бывал в посаде с проезжающими: отец мой лет пяток тому назад держал извоз, а Петрован-от и ездил ямщиной. Три лошади держали... Красивый такой парень был, лицо краснощекое еще такое — чай, знаешь?

Получив отрицательный ответ, пастух опять спустил голову и задумался.

— Что же он — брат тебе был?

— Брат-то брат был, да не родной. После покойного дяди отец в нашу семью привел, с тех вот пор и стал он словно родной, особо мне-то... Брат Васюха невзлюбил его и сомустил у нас всех, только один я не послушал...

— За что же?

— Да, вишь, девка у нас Матрена была, и славная девка, голосистая, гладкая, смиренница такая, что слова даром не промолвит. И полюбились они с Петрованом-то: любятся и никому не сказывают. Только меня одного и ласкает девка, братом называет, а всё, должно быть, Петруха нахвалил. Ласкает, это, она меня и гостинцев носит: то черники сушеной, то каленых орехов, не сказывай только, говорит, брату своему Василию. «Что мне сказывать?— говорю.— Ведь и Петруха тоже брат!»

Так вот и любились они целое лето и осень. Слышу — наши бабы об этом проведали, стали толковать, что никак-де Петр Матрену за себя засватать хочет, ожениться надумал. Я к ним. «Да!— говорят.— Только, слышь, филипповки пройдут да святки, и пойдем к дяде с поклоном». Как услышал я это, так у меня у сердца словно оторвалось что — так и ошибло. И не то чтоб я любил ее, что ли, а все же, думаю, гостинцами кормит, братом зовет, целуемся ину пору... Промолчал я, однако, никому про то не сказал: ни отцу, ни невестке, ни брату — никому в семье. Подошли у нас на ту пору супрядки осенние, стали свадьбы налаживаться. Слышу, брат Василий ребят сомущает: «Побьем да побьем Петруху, я за все отвечаю, не бойтесь. Пусть-де, слышь, к моей суженой не суется!..» Я опять промолчал. Да слышу, Васюха все одно да одно гвоздит ребятам нашим. Те уже и сговорились с ним, и место в банях наметили. Я и скажи Петрухе-то. «Ладно,— говорит,— нишкни до время!» А там возьми да и подошли ко мне Матрену с пряниками да поцелуями. «Приходи,— говорит,— тогда за бани да и дожидайся меня за нашим овином!» Пришел я туды, а ему на ту пору из Соснина привелось идти, пошевни у земского ходил просить. Вижу: выскочил брат Василий да и сгреб его, откуда ни возьмись и наши ребята. Не олух же был и Петруха: за ним чуть ли не все соснинские пришли. Начали драться. Слышу: вопит брат Васюха. «Не стану,— говорит,— другу-недругу закажу, не трону твоей Матрешки... любитесь вволю!.. Отстань только, не души!» Стою я так за овином, к углу припал ни жив ни мертв. Слышу Петруха меня кличет. Да я не пошел — побоялся... или так что-то...

А соснинские ребята наших лихо вздули! Да и брату Василию досталось: синяки по всему лицу были. Отцу сказал, что на супрядках с полатей упал. Так и прошло!..

Рассказчик улыбнулся и, как казалось, припоминал всю смешную обстановку давнишней свалки. По всему было видно, что радовался он за своего двоюродного брата-победителя, держал его сторону.

— Что же дальше было?— спросил я его.

— А уж дальше-то больно плохо было...— И он глубоко вздохнул.— Васюха-брат стал баб подмывать, а те сдуру отца сомустили, а как пришел Петрован-от к отцу, начал говорить, что вот-де невесту нашел, благослови!.. «Чем,— говорит,— благословлю, откуда деньги?

Брат вот только шубенку оставил да буренку яловую. Эта девка и Василию либо Ванюшке годится. Мне,— говорит отец-от наш,— хозяйка к дому нужна, а ты сегодня здесь, а утре и с собаками тебя не сыщешь. Любись с другой какой, а эта не по твоему рылу. Слышишь,— говорит,— завтра в город ступай, седоков присматривай, да и в дорогу. О себе оставь думать, сам завтра сватать иду, а тебе не видать ее, как своего уха». Тем было и порешил отец, да уперлась сама девка. Больно, вишь, любила Петруху, ни за меня, ни за брата не хотела идти. Господь, думаю, с ней! Ничем я ее не обидел! Пускай гнушается!.. Пришел я только к отцу да сказал ему, что я, мол, чужому счастью не завистник, не нужно мне Матрены, не стану заедать ее век девичий. И не сватай, говорю, лучше. Отец посмотрел эдак на меня, обругал да из избы выгнал. После не говорил он со мной неделю, словом не приголубил...

— Что же сталось с Матреной?— спросил я опять призамолкшего рассказчика.

— Что с Матреной? Знамо, неповадная была девка — как уперлась на свое, так с тем и отъехали все. Нейду, говорит, да и все! Либо Петруху, слышь, либо никого. Тут, как назло, лихоманка за ней увязалась и начала ее ломать да сушить. «Ступай,— говорят,— в баню, скорей пройдет!..» — «Нет, и так, слышь, пройдет!» И на улицу вышла. Тут с Петрухой встренулась, и тот ее стал уговаривать. Плачет только Матрена, а никого не слушает и в баню нейдет. Кореньев каких-то напарили ей в горшке, и тех в рот не брала. «С души,— говорит,— тянет! Горько больно, лучше так перемогусь!» Перемогусь, перемогусь, да на том и села: свалило ее на печь да и начало гнуть. Кричит, бывало, на всю избу и никого не допускает. «Укушу!— говорит.— Не замайте... Укусила бы,— говорит,— Василия Корепина!» И брата Петруху вспомянет, меня закричит да и заревет. Начнет это причитывать, словно по покойнике. Эдак-то ровно трое суток мы впеременку с Петрухой просидели у ней. А на четвертые отец Петруху услал в город, а меня засадил в избу. «Полно,— говорит,— с бабами вожжаться, шалопай ты эдакой! Твое ли это дело! Посмотри ты на себя!..»

Слышу поутру: пришла наша невестка да и говорит, что Матрена-то после третьих петухов побывшилась — поминала Петруху да меня, опять на брата Василия грозилась. Отец пожалел. «Первая, слышь, девка так помирала, никто себе ворогом,— говорил,— не бывает!»

Сам оболокся, мне велел и брату и повел нас за собой. Смотрим: обмыта лежит, лица и не знать стало — все искалечено. На другой день Петрован вернулся из дороги да и взвыл, как узнал о Матрене, больно же взвыл!..

У рассказчика навернулись слезы. Вероятно желая поправиться, он толкнул своего жучку ногой, поднялся с земли и отвернулся на ветер, который начало наносить прямо на нас.

Неловко было просить его продолжать интересный разговор, и я счел за лучшее, дав ему успокоиться, привести к тому окольным путем. Лучше всего, подумал я, спросить его о том, каким образом попал он в пастухи. Мне казалось, что и это обстоятельство имело некоторую связь с предыдущим.

Как бы не вслушавшись в мой вопрос и увлеченный своим рассказом, он продолжал его каким-то вялым, несколько дрожащим голосом, из чего, однако, можно было заключить, что он все-таки рассказывал охотно, без всякого принуждения со своей стороны.

— В осенях это было, о чем рассказывать стану, только что заморозки пошли у нас. После Матрениной-то смерти ровнехонько бы через год. Сидим мы эдак в избе, отец с бабами на овине рожь домолачивал. Васюха шлею конопатил, а Петра не было дома, опять в извоз услали. Я у светца с Матюшкой-племянником самострелы из лучины делал. Вот и сидим мы эдак одни-одинехоньки. Бабушка на печи храпит. Васюха-брат, как теперь знать да помнить, песню на ту пору мурлыкал, а Матюшка махонькой нет-нет да и загогочет: любо, вишь, что лучинка-то из рук прыгает. Я ему, знаешь, опять самострел в руки дал и опять лучинку вложил, да и поджег с правого-то конца. Только бы лучине-то этой загореться, а Васюха перестал песни петь да и окликнул: «Никак, знать, тот-от... одмен-от наш вернулся, слышь, воротами заскрипел!..» И опять замурлыкал песню и дратву зубом ухватил.

Что ж, думаю, пусть его! Да и опять новый самострел Матюшке сделал. Заливается мой парнишка так, что и мне ино любо стало. Тем временем и Петруха в двери. Гляжу, лица на нем нет, весь бледный, совсем пьян — шатается. «Где,— говорит,— дядя?» И глазами своими маслеными вскинул на меня. «На овине,— говорю,— рожь домолачивает...» — «То-то, слышь, рожь домолачивает, чтоб опосля,— говорит,— мне куском своим оржаным в глаза корить... знаю»,— говорит.

Снял эдак Петруха шубу и сел за стол, схватил шапку с головы да и кинул супротив себя.

«Вот теперича,— говорит,— есть хочу, больно есть хочу, груздей бы соленых поел с квасом. Да нет, слышь, не хочу я есть, ни за что не стану... Чебоксарский купец десять рублев сулил помесячно... и одежа его, и с одного с ним стола харчи идут...»

Петруха, смотрю, и голову опустил на грудь, так что и бороды его курчавой не стало знать. Упер он эдак руки-то в колена и голову опять вздынул. Встряхнул волосами да и замолчал... Пусть, думаю, покуражится маленько...

«Вот,— говорит,— братьев у меня двое... то бишь один,— говорит,— брат — Ванюха.— И рукой на меня показал. Что, думаю, дальше скажет?— Вместе,— говорит,— пьем, вместе по соседкам ходим... Люблю,— говорит,— Ванюху... А тут тебя, слышь, корят ни зря ни походя день-то деньской... И бабы мусолят, да и дядя: «Ляд,— говорит,— с тобой, коли пьешь!» А нешто на твои пью? Господа приезжающие дают на водку — так и пью... Попросил на армяк — у тебя старый, слышь, хорош; кушак дай — Васюхе годится. Вот жисть-то она!.. Вот!.. „Не давайте, слышь, бабы, новых рубах ему, в старых нащеголяется, а эти и Василию годятся"».

Петруха, помню, опять головой тряхнул и прошел по избе.

«Дай, говорит, Ваня, обух!.. Дай топор!.. Дядю, слышь, подай!»

Тут уж я подошел к нему прямо да и ухватился за руки, вижу — совсем его дурость какая-то одолела.

«Отстань,— говорю,— не ругайся!»

«Ваня, слышь, не бранись, не сердись на меня!.. Хоть ты-то!..»

Да так, помню, болезненно молвил он это, что у меня и руки опустились и кровь на сердце кинулась. Матюшка-племянник ревет и самострел кинул.

«Тебя,— говорит,— что ни на есть люблю пуще всех. Не замай меня!..»

Я опять ухватился за руки.

«Ваня, мол, оставь дурости! Не ругайся!..» — «Где, слышь, дядя?— гудет мой парень, словно вон бык на пастве.— Дядю,— говорит,— позови! Уйду да и не приду больше, а дядю позови! Отдам ему вот эти десять рублев, да и всё тут, пусть не корит!..»

Десять рублев, помню, из-за голенища вытащил Петруха да и кинул на стол.

Взял я эти деньги, засунул за тябло и опять уцепился за Петруху. Уйму, думаю, его пока до время, а отец придет на ту притчу, ничего не выйдет путного.

«Не ломайся,— говорю.— Оставь эти дурости свои. Коли зла хочешь, на вот: бей меня!.. бей!..»

На ту пору и рожу ему подставил и руки навел.

«Нет, слышь, не трону тебя, Ваня!.. А оттого, что люблю, пуще всех люблю... во как!..»

И обнял он меня, шибко обнял, нали крякнул. Да опять за свое.

«Дядя,— говорит,— где, где он?»

«В овине,— говорю,— последние суслоны обмолачивают, что от вечерних остались».

«Туды,— кричит,— пойду, туды!..»

А сам ногами брыкает, словно баран шальной. Брат Василий сидит в углу по-давнишнему и все ухмыляется да бороду обгрызает... Все ухмыляется...

Я ухватился за Петруху, оттолкнул его от дверей; на пол свалил да и сел на грудь.

«Оставь!— кричит.— Тебя не трону!.. Васюху, слышь, только дай, да дядю, да невесток дай!..»

А на эту-то притчу, как назло, и отец в двери, да прямо к Петрухе и лезет в глаза.

«Что,— говорит,— опять нализался? Опять, поди, на водку дали?»

Петруха мой вскинулся с полу да и встал эдак к печке — руки заложил назад, потупился.

Отец смотрит на него во все глаза и ровно бы шибко сердится.

«Нализался?— кричит.— На водку дали? Обрадовался даровщине и все пропил, с горя, поди,— дядя обирает?..»

«Да!— говорит Петруха и качается.— Пропил!.. Все пропил!.. Вон только десять рублев осталось, а двенадцать дали — все, все пропил!..»

И глаза прищурил и опять головой встряхнул. Гляжу — облизнулся, руками замахал. «Эх,— думаю,— пьян ты, Петруха. Лучше бы было, кабы не грубил отцу». А он тут тебе опять, словно назло, рожон вострый в горло.

«Купец проезжающий в работники нанял, десять рублев задатку дал. Песни, вишь, ему мои да приговоры пондравились. Что ж? Я пойду. Сам свой разум теперь имею, никого не хочу знать. Сам себе голова!.. Только,— говорит,— одного Ваню жаль, а то ничего!..»

И опять на меня рукой показал. Я на ту пору на отца глаза вскинул, вижу — покраснел старик, словно мак рдяный, да как крикнет да топнет.

«Вон,— кричит,— на печь!.. На полати!.. Под лавку!.. Спать!— кричит.— Пьяный, чихирник! У братьев невест отбивать надумал, дармоед эдакой!.. Деньги прогонные все лето прогуливал, с целовальниками подорожными спознался. Матрешку заморил! Ванюшку сомущаешь! Меня обижать стал!..»

И начал эдак усчитывать, и вины насчитывал много, и, помню, рекрутчиной пригрозил.

«Как пьян, так и атаман, а проспится — свиньи боится. Вяжи его, дуры-бабы, да и спать укладывай, крепче вяжи, вот так. Бери, Васька, веревку да крути руки назад, крепче,— кричит,— крепче!.. А ты, болван, что рот разинул, что не подсобляешь? Держи ему ноги! Что он дрягается!.. Ты!.. Ванюшка!..»

Да как ляпнет меня ни с того ни с сего. Тут уж и совсем опустились у меня руки и света божьего не видал я. Лежу и землю не чую. Помню только — в избе темно, зыбка скрипит, отец на печи храпит... Петруха на полатях храпит, бабы за переборкой... Так я и не спал до утра.

Рассказчик мой замолчал и с трудом перевел дух, как бы утомленный наплывом тяжелых воспоминаний и текучестью оживленных подробностей события. Солнце клонилось к закату. От реки понеслась продолжительная прохлада, столь редкая и, следовательно, драгоценная в жаркие июльские дни. Мимо нас проплелась на водопой корова и проскакала стреноженная лошадь с жеребенком. Окрестность была по-прежнему тиха, но эта тишина сделалась еще приятнее и привлекательнее. В это же время молчал мой собеседник.

Едва-едва собрался он с духом и только на мой вызов решился рассказать остальное.

— Так-то вот сталось,— заговорил он с тяжелым вздохом,— что Петруха от нас ушел к купцу в Чебоксары, да в два лета хоть бы одну грамотку прислал о себе. Только мне раза никак два наказывал поклон с ходебщиками. Сказывали те, что Петруха там у купца товары возит по ярмаркам, три, слышь, лошади на руках имеет. Звал было меня к себе, да отец не пустил.

«Я тебе,— говорит,— последние звенья в костях вышибу! С чихирником непутным спознался — сам таким стал... Собирайся!» — говорит.

Оболокся я. Из избы вышли. Гляжу: прямо на барский двор ведет меня тятька. Помню: выходит барин в халате. Старый уж у нас барин был. Вышел и табаку из серебряной табакерки понюхал,— мы ему оба в пояс, и еще, и еще. Поклонились.

«Что,— говорит,— вам нужно?»

«К твоей милости,— говорит отец,— не обидь, яви милость! Парень совсем от рук отбился, работать на семью не хочет, за Казань просится».

«Хорошо,— говорит,— что ж тебе нужно?»

«Не возьмешь ли,— говорит отец,— на скотный двор скотину пасти?» — да и чебурахнулся в ноги. Я тоже пал. Взглянул на меня барин. А добрый он был, всех уважал, какая бы ни была твоя просьба.

«Я,— говорит отец,— и оброчное, и государево за него платить буду, яви милость!»

«Хорошо,— говорит.— Я прикажу управляющему».

Мы опять ему в ноги, да вот с этих самых пор как лето, так и иду к скотнице принимать животы. Да шесть десятков голов на руках у меня. Я, стало быть, отвечаю за них. Вот третьеводни корова поколела, так пытал меня управляющий мылить. «Ты,— говорит,— чего смотришь? Разве не твое это, слышь, дело?» Мое-то мое, вестимо, мое, да поди ты, вот тут свалило корову в канаву, да так и затянулась, замоталась. Это не то что свинья — ту коли не заколешь, сама не свалится скоро.

Овцы тоже маленько привередливы, нападает на них мокрец, что ли, такой, совсем из сил выбиваются, крутит их из стороны в сторону, просто-напросто вьюном вьют. Так и замотается, а там, глядишь, и другая почала. Да раз этак-то позапрошлым летом никак десятка два ярок поколело. Навязали было мне тогда гусей стеречи, ну и ничего, смирная птица — сядут этак на озеро и сторожа посередь себя посадят. Этот не спит, гусенят стережет, на заре просыпаются и кричат всей артелью. Теперь за ними скотница Паранька приставлена. А мне за всем не в усмотр было — сам отказался.

— Что же ты по зимам делаешь?— спросил я его.

— Вестимо, по дому работаю. Что дадут, то и делаю, ни от чего не отказываюсь. Теперь и отец словно бы не серчает. Иной раз кушак новый купит, рукава новые к полушубку прошлой зимой сделал, про невест толковал, да я не хочу...

— Отчего же? Давно пора!

— Нет, так не хочу!.. Без меня много. А то опять, глядишь, чужой век заедать станешь, не хочу! После

Матрешки боюсь, ну их!.. Да пора никак и скотину отгонять в кучу, напоить, да и в хлев придут заставать,— проговорил пастух, взглянув на небо, которое как будто заволокло туманом; солнце скрылось за оврагом, и только виден был его красноватый отблеск на верхушках дерев знакомого уже мне бора.

Я поднялся с ним на гору. Пастух начал сгонять коров, оставляя лошадей и овец на ночлег, вероятно и сам предполагая остаться здесь же, чему неопровергаемым доказательством служил шалаш, сделанный из осиновых и березовых сучьев и примкнутый к оврагу.

Вскоре явилась сама скотница и угнала коров. Я стал прощаться с пастухом и расспросил о дороге.

— Иди на Печениково,— говорил он мне,— а там по болоту ступай на Свателово, да, смотри, легонько. Гать-то у них положена, только стара больно, вертячих песков много по сторонам, чертовы воронки попадаются, совсем засосет. А не то, коли не хочешь, бери на кирпичные заводы, вот все прямо на свателовские горошища. Тут тебе и посад свой, знать, приведется, как пройдешь мимо оврагу вашего. Ступай вот пока перелеском направо,— говорил он мне, указывая на то место, в которое мне нужно было углубиться.

На полпути к нему он остановил меня криком:

— Слышь-ко!.. В ильин день у нас в Вертиловке праздник, заходи пивка напиться — лихо будет, хороводы заводят. Угощение не хуже вашего посадского идет. Отпрошусь — отпустят. Приходи, право, упоштую во как!..

БУЛЫНЯ

Булыня — представитель тех эксплуататоров крестьянской мелкой собственности, которая таким тяжелым трудом наживается и с такою бессовестною беззастенчивостью выманивается различными способами. Тип этот разнообразен и многочислен и появляется в виде торгаша-плута, почти всюду с одинаковыми приемами, хотя и под различными названиями. Сюда относятся и мелкие *офени* — торговцы (владимирские картавые проходимцы), меняющие на свой залежалый и прогнивший товар домашние изделия деревенского досужества, и разного рода *закупни, перекупни,* известные под именем *маклаков*. У хлебного дела стоят такие выжиги-посредники между базарным продавцом и портовым негоциантом — приказчики какого-нибудь крупного хлеб-

ного торговца с Волги, так характерно называемые *кулаки;* у крестьянских лошадей — *барышники* — произрастение бойких конных торжков и ярмарок,— умеющие организоваться в шайки артелями и, по подобию офеней и столичных мошенников, для больших успехов в надуванье придумавшие свои языки, целые словари темных условных плутовских слов и выражений. На инородцев русских (в особенности северных) и преимущественно на сибирских налетают целые стаи торговцев водкой и скупщиков у промышляющих в лесах пушных и ценных зверей и птицу — торговцы, которые в одно и то же время спаивают водкой диких людей до вырождения породы и обменом на соль, хлеб, свинец и порох дорогих шкурок доводят дикарей до кабалы, до неоплатных долгов. При долгах и скудном вымене хлеба инородцы доходят до отчаяния голодовок и повальной смертности. Таким домашним благодетелям имя — легион, прозвание наиболее точное и характерное — *мироеды,* а деятельности и беспредельно вредному влиянию еще до сих пор не установлено никаких преград и не положено никаких препятствий. Кое-какие узаконения выводили лишь уменье обходить их, закупать и подкупать блюстителей закона. Язва задатков, кабальных денег, выдаваемых вперед и притом в самые тяжелые времена крестьянской нужды и инородческих голодовок, продолжает утеснять бедный люд и господствовать во всей силе на всем пространстве русской земли. Замечательно при этом, что приемы всех таких мироедов значительно между собою схожи и не представляют особого труда и затруднений для борьбы с ними. Не двойной, а, можно сказать, шестерной мелок, которым записываются отдаваемые в долг товары, если отчасти и пишет успешно и бойко на слепых глазах безграмотного люда, то, с другой стороны, и приставленные законом и властью, вместо того чтобы быть исполнителями должности и долга, позволяют ослеплять себя избытками от успехов плутовства да сплошь и рядом сами превращаются в тех же кулаков, перекупней, мироедов.

К сожалению, для зла обширное поле в среде долготерпеливого люда, умеющего лишь рассказывать про таких кровопийц подспудные анекдоты, вроде того, что одному из них за крестьянские слезы прислали из Питера железную шляпу в полпуда и велели надевать всякий раз, когда надо ему идти в какое-нибудь казенное место или по начальству; другому дали железную медаль в пуд весом и не велели уже снимать во всякое

время. Но по этим рассказам можно узнавать только про тех единиц, которые уж очень насолили; те же, которые не успели еще истощить меру долготерпения, продолжают быть для своего околотка *благодетелями*: в одно время и кулаками, и ростовщиками. И нет того пятка-десятка деревень, для которых не существовало бы такого мироеда! Не надо и ходить далеко, и как бы далеко ни зашли вы — везде найдется сих дел мастер, который лишь на старости лет, когда уже очень зазрит совесть, отольет большой колокол для сельской церкви, вычинит иконостас, построит новую каменную матушку-церковь, но опять-таки за себя, а не за грехи людские.

Но не об этих больших кораблях рассказ наш: в тесных пределах деревенских околиц, около которых держатся настоящие наблюдения наши, действует и суетится мелкий плут, более других нам известный и знакомый. Вспоминаем о нем по деяниям и заслугам его художества и досужества.

* * *

С весны уже начинают бабы-хозяйки думать о будущем лете и по приметам, приобретенным навыком или по преданию, судят о нем: стояло на Евдокеи погоже, будет и лето пригоже, по их мнению.

«Дал бы бог на сороки холодных утренничков,— думают они,— в хлеба недороду не будет; а на Фофана (Феофана, 12 марта) да на человека божья (17 марта) станут расстилаться по земле густые туманы и на лен устоит урожай. Не лежали бы только замерзи дольше благовещенья дня и выпал бы на этот праздник дождичек теплый». Опытная и бывалая хозяйка в этот день старается всячески избегать взглядов на пряжу, особенно суровую, не стоит под дымом, а на другой день, на архангела, не станет прясть (работа впрок не пойдет). Другие еще на первый сочельник гадают — вытаскивая из-под скатерти соломинку, кладут в кутью: какова длинна былинка, таков и лен будет. На Онисима (15 февраля) зарнят пряжу, выставляя моток на утренчик, чтобы была пряжа белая.

И вот Марьи (1 марта) — зажглись снега, заиграли овражки; прилетели сверчки и жаворонки; вскоре ворон выкупал в новой воде своих детенышей; там подошли рассадницы и «разрой берега» и Алексей — «с гор потоки»; на Ирину — «урви берега» засеяли морковь и свеклу; мужик вывернул оглобли и бросил сани на по-

вить. Прошло окликанье родителей, пришла пора скотину в поле выгонять и весну окликать. Береза сок дала; по подоконьям пастухи пошли для обдариванья; Еремей — «запрягальник», на Власа выпала роса; а вот на дворе и подымай мужик сетево: сей рожь в золу да в пору, топчи овес в грязь — будет князь, прорастет сквозь лапоть. Бабам пора рассаживать по грядам рассаду, сеять горох и засевать льнища льном-плауном так, чтобы успел волокон сделаться длинным, пока прилетят комары, минуют сиверы и явится на двор Елена — «длинные льны». Первый засев — на Сидора (14 мая). У хороших хозяев на этот день так и бывает: лены Олене.

С этой поры лен начинает нежиться и крепнуть в корне, чему способствуют большие росы по июньским утренникам; особенно хвалят и верят в росы Федора (8 июня), но боятся рос на Марию Магдалину (22 июля); от сильных рос льны бывают серы и косы, а с первого спаса всякая роса хороша. На третьего спаса старозаветные бабы по жниве катаются и приговаривают: «Жнивка-жнивка, отдай мою силку: на пест, на колотило, на молотило, на кривое веретено». Наконец лен зацветает и две недели держится в цвете, после чего семя пойдет в налив, и лен в течение четырех недель станет поспевать в ту пору, когда хлеб начнут зорнить зарницы. На св[ятого] Прокопия озими доходят в наливах, на этот же день и лен урастает, пока бабы польют огороды и дожидаются ильина дня. Но тогда, говорят, и камень прозябает.

И вот на нерукотворенного спаса защипали горох и запахали озими; на успеньщине обмотали серпы в солому; на Ивана-Предтечу поспела брусника, овес созрел, а с ним вместе и лен доходит, как известно: недаром на Лупа (23 августа) льны лупит, а на Ивана постного последнее стлище на льны. Лопаются сами собой льняные головки, и полетело семя. Пора идти бабам в поле, теребить лен и уставлять его в бабках[1], чтобы расщепились головки от солнечного жара и не разлеталось бы по ветру семя. Там, смотришь, полакомились бабы свежим толокном на овсяницах, пирогом с новой капустой в зазимки на воздвиженьев день и опять идут на льнище развязывать бабки, обивать семя вальками на рогожку и расстилать лен по полю или озими, которая с этих пор называется *стлищем*. Из се-

[1] Бабки — льняные снопики, низенькие и тоненькие.

мени выжмется масло постное, а выжимки — избоина — пойдут на пищу коровам в дуранде.

Отлеживается лен на своем стлище до тех пор, пока не увидит баба, что пробный снопик — опуток — хорошо обивается на мяльне и мало в нем или нет совсем негодной прозелени.

Тогда остается одно: поднимать лен со стлища, топить баню и тащить туда же с повита мялки[1], трепалы[2] и мочила[3]. После покрова (с половины грязников) настает пора топтать лен, очищать его после просушки и мочки. Отрепье, или охлопки, пойдет на завалины около изб, чтобы сберегалось в них тепло в зимнюю пору и не задерживалась сырость весною. У иных этим отрепьем выстелют хлев или двор, у других они и так сгниют около бань в кучах и размоет их весенними дождями и сыростью. Отоптанный лен бабы начинают расчесывать гребнями и прибирают очески на продажу канатникам и веревочникам. Расчесанный лен называется мыканым и изгребным. Чтобы получить нитку тоньше, перечесывают его в третий раз и называют пачесным; остатки от этого чесанья — изгребье — пойдут мужику в теплую шапку или на стеганье к зиме бабьих понев.

Между тем незаметно в этих работах проходит для баб и Фекла-заревница, а с ней вместе и овин отпраздновал свои именины, в которые хозяину достался хлеба ворошок, а молотильщикам — каши горшок. На покров было последнее гулянье и первое зазимье; свадьбы коегде затевались и разыгрывались к Казанской, с которой осенняя грязь, говорят, отстоит от зимы только на три седьмины. Вот уже на дворе и Парасковья-льняница (14 октября). А когда сомнет лен, то на параскевин день постарается первинки принести в церковь для приклада. Толковая хозяйка не сядет в этот день за пряслицу, боясь ногтоеда и заусеницы, от которых, чего доброго, сведет ей и руки. Лен к льняницам приготовлен совсем в отделке; у доброго хозяина выжато из семян и масло

---

[1] Этот деревянный меч-кладенец, длинный и тяжелый, вкладывается в довольно широкий и глубокий желоб. Желоб укрепляется на ножках, а самая мялка одним концом утверждена бывает на деревянной кобылке.

[2] Трепало — род деревянного меча или тесака, с рукояткой, около которой наделаны зубчики; на другом конце дощечка эта островатая.

[3] Какой-нибудь большой ушат или глубокое и широкое корыто, наливаемое теплой водой при совершении операции.

свежее; стоит только садиться за стол, есть кисель овсяный или пшенную кашу с новой начинкой. Молодой на этот обед зовет к себе тестя и тещу и задает им пирушку с вином.

На 29 ноября справляют Абрама-овчаря: в третий раз, после весенней, начинается осенняя стрижка овец. Затем пройдут шерстобиты, обобьют бабам шерсть — *волну* — мужикам на сермягу; а тут, смотришь, нагрянут и швецы-портные. В деревнях наступают кузьминки, затеваются ссыпки, на михайлов день первый мороз нагрянет: запирается простой человек со всей семьей в избу; бабам настала пора затевать супрядки, которые кончаются у них поздним вечером. Настала прибируха — зимняя пора и для мужика и для бабы. В избах зашумели веретена, затянулась песня; у доброй хозяйки что ни день, то новые тальки выходят из рук гостей-попрядушек; намычки [1] то и дело вытягиваются в нитки. На пряслице делаются нитки погрубее, на гребне прядут только мастерицы, и не выпрядают всей кудели — намычки, а оставляют изгребье — охлопки, которые идут, вместо ваты, на подкладку под поневы и в шапку.

Богатая баба-хозяйка к концу супрядков уже и не прядет сама: ее дело принимать с веретен на простни, или клубки, а оттуда на мотовило готовые нитки, отсчитывать по четыре, чтоб составить чисменку и, перевязав веревочкой-пасменником сорок чисменок, составить пасму. Двадцать таких пасм, свитых на воробе [2] в двухаршинную петлю, составят тальку.

И вот в эту-то пору, когда уставит баба в избе станок, натянет с вороба на вертлявый турик все пасмы

---

[1] Намычки — лен, расчесанный предварительно на гребне, когда уже он годен для пряжи на пряслице или на том же гребне.

[2] Вороб состоит из двух брусочков, сложенных в замок крест-накрест; в обоих верхних концах — дырочки, куда вбиты деревянные гвозди. Оба бруска вертятся на железной палочке, укрепленной в столбик, называемый бабой. С вороба пряжа перематывается на деревянные цилиндрики-турики, которые вертятся на своей оси; с турика снуют основу, или основной навой, натягиваемый на станок и продернутый сквозь бердо и ниченки (бердо — длинный гребень вроде рамы с поперечными тоненькими пластинками, и ниченки — нитяные петли, при ударе ногой поднимающиеся и опускающиеся. Между ними продевают нити основы). С вороба свивают пряжу на тростниковые или берестяные трубочки, шпульки-цевки, с них пряжа идет уже на уток; они для этого вставляются в середину челнока. Уточные нити — поперечные нити основ; их-то прибивают бердом одну к другой, чтобы составить полотно, холст и прочее.

для основы, приготовит в челнок цевку[1] для утока, когда навесит бердо и начнет им прищелкивать уток к основе, является в избе булыня[2] — старый знакомый покупщик-барышник.

Он молится иконам, кланяется, желает: «Бог на помочь! Челночек — в основку!»

— Где же у тебя большак-то, что это его не видать в избе?— спрашивает булыня вовсе некстати, потому что сам же выглядел то время, когда хозяин сошел со двора.

— Да со швецами пошел в кабак раздел делать, Михей Спиридоныч,— отвечает, однако ж, хозяйка, зная, зачем пришел этот плут с беглыми рысьими глазами, которые так и носятся с полатей в кут и под лавки и не поглядят совестливо, не остановятся на месте даже на минуту. Хозяйка спешит сама предупредить булыню, который подошел к стану и рассматривает нитки, навитые на цевках, и готовое уже полотно, намотанное на щеколду[3].

— Тебе, поди, пряжи нужно?— спрашивает она.

Булыня спохватился, чуть было не изменил себе, но оправляется.

— Нет, не нужно пряжи: много и так накупил! Зашел, признаться, погреться только да проведать хозяина: целую, почесть, зиму не видал. Живем-то далеконько, в ваших местах только по надобности бываем,— отвечает наш булыня; но хитрит, как записной плут, которых не очень-то жалуют богатые хозяева, не нужда-

[1] Цевки — береста, свитая в плотную трубочку; они надеваются на один конец железного прута скальни и обматываются нитками, назначенными для утока. Скальня — два столбика, утвержденные в доску, в верхних концах которых сделаны дырочки и сквозь них продет валик. Один конец валика имеет тяжесть — деревянный кружок, а другой — железную спицу для цевки. Со скальни на цевки навивается уточная пряжа; валик скальни вертят ладонью.

[2] Булыни ведутся только в тех губерниях России, которые смежны или близки к портам: Рижскому, Петербургскому, Одесскому и прочим; часто попадаются они и около тех мест, где сильно развито фабричное производство. Например, богатый фабриками Шуйский уезд (Владимирской губернии) обратил к этому роду промышленности всех мещан и ближних крестьян города Нерехты (Костромской губернии). Издавна уже они прозваны от своих земляков, в насмешку за этот род промышленности, бегунами и до сих еще пор бегают из одного селения в другое с своим безменом для покупки пряжи. Булыня в некоторых других местах России называется закупень.

[3] Щеколда — тот вал на ткацком станке, на котором наматывается вновь вытканное полотно или холст; она вертится на оси.

ясь в их деньгах и при первом же посещении указывая им, где бог и где двери.

Хозяйка опять начинает прищелкивать челноком; булыня бессознательно вертит пустой валик на скальне и опять пробует цевку. Оба молчат; но время дорого для булыни: может вернуться хозяин, хотя и пошел на такое дело, которое не скоро кончают. Булыня первым нарушает молчание:

— Вот коли льну у тебя осталось немыканого, пожалуй, возьмем! Да и то уж так... из повадки хорошему человеку; а у нас, признательно, много накуплено, пожалуй, и не увезешь на одной-то лошади...

— Немыканого нет, а есть изгребной! — отвечает хозяйка.

— Такова не надо! — врет булыня. — Нынеча он совсем не имеет ходу: не берут!.. Хозяин нынешний год в биржах снял подряд на сырье, а ниток и совсем не велел покупать. Ладно, одначе, коли залишний есть, да не много, возьмем и изгребного! — решает булыня, вполне уверенный, что убедил тупоголовую бабу, которая, пожалуй, сразу-то и не сообразит, что изгребной лен и лучше (т. е. мягче, чище сырья, особенно если пройдешься по нем гребнем раза три-четыре), и дороже.

Но изгребной лен не понравился булыне.

— Нехорошо, — говорит, — трепан; кострики [1] много осталось, не вся обита трепалом, да и волоть [2] коротка и не так крепка, да и черна что-то... не выбелилась!..

Одним словом, забраковал булыня лен, как никуда не годный; другая баба и не вынесла бы, пожалуй, такой срамоты на хозяйстве — вырвала бы лен, закричала б, затопала на барышника, алтынником бы, кулашником нечесаным обозвала, но большая часть поступает иначе.

Пока рассматривал и браковал лен покупщик, хозяйка успела надумать многое, от чего ей сделалось даже жутко.

«Вот, — думалось ей, — купил бы он у меня этот залишек да дал бы. Муж-то не знает, сколько всего льну осталось, совсем не мешается в наше бабье дело; а я бы купила себе бусы (старенькие-то почернели больно) либо позументику на штофную-то душегрейку, там с одного краю не хватило; а самому боюсь молвить...»

---

[1] Кострика — кора, верхние наружные покровы льняного стебля.

[2] Волоть — внутренняя выстилка льняного стебля, самая сердцевина, из которой собственно и выпрядаются нити.

Булыня между тем успел вытащить из-за кушака безмен и прикинуть лен на фунты, мысленно посулив бабе дать полтора рубля — свою цену, если только упрется она, зная цены ходячие. Между тем для большего успеха он все еще продолжает встряхивать лен и даже швырнул его опять в голбец.

— Надо-быть, матерня-лен, что больно в ствол пошел; а не то долгунец либо ростун какой, таких не берем!.. Прощенья просим!— говорил он, взявшись за шапку, но не двигаясь с места.

Булыня угодил как нельзя больше вовремя: в воображении бабы только что начала рисоваться заманчивая картина: как она в новой душегрейке пойдет на село, как эта душегрейка будет топыриться сзади и отливать и беленьким заячьим мехом, и новым золотым позументом... Она остановила торговца, начала торговаться с двух гривен и еле-еле добралась до заветной полтины. Булыня смекнул, что бабе и еще-таки нужны деньги, но ошибся, потому что она была удовлетворена в своих планах и к тому же не имела залишнего льну.

— Может, нитки продашь?— подсказал неотступный булыня.

— Да вот еще не знаю, батько, сколько на кросна пойдет! Коли дашь гривенничек за тальку, бери, Христос с тобой!..

Но булыня уже не браковал ниток; цена, запрошенная бабой, была ему с руки, но чтобы не уйти с такою ничтожною покупкою, он явился соблазнять бабу пряниками, которые выдавал за вяземские, хотя и пек их сам на досуге.

* * *

Таким образом ходит торгаш с своим безменом и сладкой приманкой из избы в избу только от безделья в глухую пору зимы, после святок. Настоящее же время его деятельности обыкновенно бывает по лету, когда у баб начнет наливаться лен, заколосится рожь, заиграют по полям зарницы и время подойдет к покосам.

Обыкновенно эти торгаши — доверенные какого-нибудь богатого купца в уездном городе, который приобрел кредит на соседних биржах и буянах. По весне он собирает своих доверителей, оделяет каждого из них достаточным количеством денег, судя по способностям каждого; наконец, тут же выдает свидетельства, выправляемые на свое имя, делает приличное угощение с нужными наставлениями и прощается с ними до поздней

зимы. Булыни расходятся по разным сторонам и стараются вести дело особенно от своих товарищей, сходясь в своих интересах только тогда, когда являются на рынках или замечают пройдошество какого-нибудь новичка-перебойщика. С этим у них обыкновенно дело кончается слитками в спопутном питейном, а на рынках сообща подводят любого мужика-перекупня *под обух*, т. е. или заставляют его уехать в свою деревню, не продавши товару, или дадут ему цену свою, меньшую даже той, которую дают они по деревням на домах. Вот почему редкий мужик вывозит свой лен и нитки на базар, а дожидается прихода булыней к себе на дом по лету.

И вот со дня Петра Афонского солнце стало укорачивать свой ход: месяц пошел на прибыль. По гумнам забегали вереницы мышей, по полям зарыскали голодные волки, вороны застлали свет божий, застонала земля. На скотину напала мошка, по лесам полетел паутинник, засвистали перепелы, пчелы полетели из ульев, стала поспевать земляника, по полям показались кашка и чернобыльник; трава в кое-каких местах пригорела от солнца: скоро наступит петров день, красное лето, зеленый покос, когда и солнышко играет и зарница зорит хлеб на полях — одним словом, подходит пора сенокосная. Знает об этом мужичок, но еще лучше знает об этом наш булыня.

Он нагрузил целый воз косами и серпами, стал на ту пору косником и идет в знакомую деревню, прямо ко двору старосты. Отыскав его, кланяется ему парой кос и разукрашенным серпом, просит не оставить в дружбе напредки и скрепить теперь запойным полуштофиком, который на тот грех и тащит уж из-за пазухи.

— Вот,— говорит,— к Демиду теперь пойду, да к Матвею, да к Ильюшке, да к Егору косолапому, не оставь нашу милость!..

— Хорошо, хорошо! — говорит ему староста или бурмистр чванливый, но податливый. — Коли не устоит кто,— смекай к юрьеву дню...

— Я тебе,— говорит булыня,— и грамотку принесу; все пропишу, что кому дам и на сколько заторгую из сырца. По осени опять понаведаюсь с поклоном.

— Ну ладно, ладно!— отвечает бурмистр.— Приноси там какую смастеришь грамотку-то. Ты ведь грамотный, а мне и земской скажет, что ты там настрочишь; да смотри же, не больно шибко... строчи-то!..

— Рад служить твоей милости без обиды,— говорит заручившийся торгаш и спешит к какому-нибудь Демиду

или Егору косолапому. Отыскивает того и другого где-нибудь на повите; там они либо старые косы клеплют, либо точилки натирают песком со смолой.

Булыня для них старый знакомый, по-старому и входит с масленым рылом, с уснащенной разным доморощенным краснобайством речью. Начинает кланяться, словно кто его сзади за жилы дергает: и плечами перебирает, и ногами заплетает, и шапкой помахивает, как цыган-плясун с диковинными коленами в пляске:

— Как-де ты, дядя Демид, живешь-можешь?

— Твоими молитвами! — отвечает дядя Демид и загремит опять молотком по заклепкам.

— Давай-то бог доброго здоровья хорошему человеку! — улещает булыня. Но дядя Демид не внимает гласу, стучит себе словно кузнец какой по заказу.

— Не утруждайся: спина заболит! — спешит перебить досадный стук торгаш-булыня. — Нешто у тебя на запасе-то нету новых?..

И дух у булыни замер: вот, думает, скажет, что есть.

— То-то грех, что нет: были летось, да разбились! Вот теперь мастерю клепки, авось, может, выдержат; а в город идти не удосужишься...

— Да на что тебе в город идти? Купи у меня!

— Нешто ты ноне не с ложками ездишь?

— Было, дядя Демид, и на это время; сем-ко, смекаю, в другом попытаюсь! Я и серпов привез, коли хошь, и лопатки есть готовые...

— Купилы-то, знакомый человек, притупели: весь измаялся, одежонка с плеч лезет, ребятишки голы-голехоньки, собаки в избе ложки моют, козы в огороде капусту полют... — отвечает дядя Демид.

— С тебя, дядя Демид, не дорого возьму! — подхватил булыня. — Коли надо: две косы так — деньги по осени, ну и серп идет в придачу; а за останное сколотись как-нибудь хоть на половинной пай. Ладно ли я говорю, толковый ты человек? Угостил бы я тебя, право, да, гляди, нониче хозяин-то словно кобыла норовистая: закупай, говорит, на свои, коли надо; а я-де тебя не обижу на скличке... Вот оно, дела-то ноне какие стали!

И долго ли разжалобить простоплетенного мужика базарному человеку-пройдохе; трудно ли навязать мужику вещи, очевидно нужные ему для хозяйства?

В других случаях булыня поступает иначе: ему известна вся подноготная в знакомых деревнях. Знает он,

в каком доме мужик большаком, в каком сама баба на дыбках ходит, а где и семейная разладица стоит. Булыня умеет в мутной воде ловить рыбу...

«Выведем все,— думает он,— на свою поверхность, на то вот мы у этого дела и приставлены. Вот иванов день подойдет — на село поедем!..»

И сдержит слово: в иванов день или в ближнее воскресенье до сенокосной поры стоит он на видном месте в ту пору, когда мужики выходят из церкви помолившись богу и одни тянутся за своими бабами на погост, а оттуда домой, другие, позадорнее, спешат, по привычке, проведать Ивана Елкина, чтобы не так же проходил праздник, как будень. Булыня наш таких знает, выглядит их в толпе и проследит в путешествии до старой избенки со сгнившим крылечком и разбитыми стеклами, именуемой кабаком, или иногда, для нежного слова, и питейным.

Булыня здесь совсем другой человек, чем на деревенском повите: он, подкрепившись немного, начинает шутить, как бы и записной завсегдатай, и скоро собирает около себя целую кучу, но не упускает из виду заранее им намеченных. Мужички тем временем выпьют на последние, хотя и всегда незалишние; времени до обеда остается у них еще много, отчего же часок не потолкаться, не побалагурить с досужим человеком. На то в кабаке и лавочки поделаны и разные инструменты держат: балалайку, гармонию; целовальник на торбане поигрывает, и заходят заклятые верезги, которые и песню, пожалуй, залихватскую вытянут. Одним словом, мужики замешкаются, а булыня и рад тому: к тому да к другому прицепится со словом, начинает шутить.

— Вот,— говорит,— почтенные! Болит у меня бок девятый год, да не знаю в каком месте — снадобился было у старух, да, слышь, надо голову обрить догола, ошпарить да молотком приударить...

В заведение входит новый гость, знакомый, но не нужный булыне, хотя и отвесивший ему поклон. Булыня, к немалому смеху, почтил его приветом:

— Будь здоров, дядя Мирон, со всех четырех сторон!..

Вошедший не обиделся; а булыня успел уже прицепиться к другому, вырядившемуся в красную рубаху. Он потрепал его по плечу и промолвил:

— Эх ты, щеголь Яшка: что ни год, то рубашка; а портам да сапогам и смены нет!..

Но этот молодец оказался покрутее нравом:

— Да ты что же богачеством своим расчванился? Мы, брат, и в лаптях не спотыкаемся...

Но булыня нашелся и тут:

— Будь же здоров и ты с четырех сторон. Мы, брат, и сами коли дома живем, так едим, пока не упадем, а и на ноги поставят, опять есть станем. — И прочее, тому подобное по доморощенному складу, уменью и досужеству.

Мужикам почему-то весело становится от этих шуток. Булыня смекает свое, берет балалайку и пляшет; бросает балалайку, дергает на гармонии и своей веселостью увлекает всех, но опоминается вовремя. Вскакивает с полу, на котором стлался вприсядку, и задает громкогласный вопрос:

— Эх-ма-хма! Денег-то тьма: кого бы, братцы, угостить из вас?

Желающих, разумеется, много; но избранный, лучше — намеченный,— один какой-нибудь Егор косолапый, которого и хватает булыня в охапку и тащит к стойке, зная, что этот мужик побогаче прочих: не одни гоны засевает льном и яровым и, не довольствуясь своею, кортомит чужие земли. Мужик этот, что называется, идет в гору и торговлю смекает, да и не прочь в сделку втянуться. А и втолковать ему что за стаканчиком водки — нехитрое дело для привычного человека.

— Сколько ты ноне гонов-то засеял? — спрашивает прямо булыня мужичка, уже порядочно подрумянив его.

Мужичок отвечает.

— А почем продавать думаешь?

— Да каков уродится! — отвечает мужичок. — А ты каким манером покупать норовишь?

— Много засеял, так и сырым возьмем... на пуды! Пожалуй, и с посконью купим, нам все едино на брак — в биржевое дело пойдет, сам ты, умная голова, знаешь!..

— Обчесать-то бабам велишь али сам будешь?

— Да коли ранним делом зададутся — отрепли только, расчешут и на хозяйских шофах!..

Мужичок соглашается и на это, потому что он рад продать, а в рабочих руках у него на дому нет недостатка. Наконец доходит дело и до цен. Булыня, как знаток своего дела, спешит уверить мужичка, что по ономнящным ценам покупать не сходно, хоть сам-де на базарах справься, да еще кто знает, каков будет урожай и каков задастся лен в учесе: перед хозяином-де отвечает мошна и спина его, булыни, а не продавцова. Покупа-

ем-де на веру, и то потому только, что знаешь хорошего человека да хочешь от сердца помочь ему, когда нужда приспеет, на том-де стоим.

Долго они, по обыкновению, не сходятся в цене; но хмель не свой брат, улещанья булыни сахаром обсыпаны. Краснобай этот так мягко выстилает и уснащивает, что мужику уже стыдно даже и за угощенье, полученное им на чужой счет. Он соглашается и берет задаток. Задаток пригодится ему на подушной оклад, на оброчную статью, глядишь — лошадь замоталась, зачахла от волчьего зубу или закаталась от чемеру, а время подойдет к тому, что снопы придется свозить с поля. Залишняя деньга мужичку и тут подмога. Он бьет по рукам с булыней, запивает с ним слитки и идет повестить домашних о продаже.

Едва только бабы успеют к осени выщипать лен, булыня идет опять наведываться: сначала, по обещанию, к бурмистру или старосте, а потом и к задаточным.

— Веди его, бабы, в поле: покажи, что за лен задался!

Здесь сметливый и привычный булыня уже по корню судит о достоинстве закупленного товара: гол корень — волоть плоха и лен плох задастся в учесе, даст много в оческе негодных пачесей. Если корень мохнат и с усиками — лен будет и мягок и ловко потянется в нитку, не будет сечься. Эти сведения необходимы для торговца при производстве будущей расплаты, равно как и то, чтоб не израстался он выше десяти вершков в стебле, не текло бы семя само по себе еще на корню да не выбили бы его бабы прежде урочного срока отдачи в хозяйские руки. Булыню не обманешь: он знает, насколько с пуда кудели выходит фунтов семян, и даже смекнет, пожалуй, насколько обивается в то же время кострики. Одним словом, не надуют бабы булыню, не надул бы он их при расплате, когда он не прочь толковать и о том, что лен весок оттого, что не той чистотой трепан, много мочен, плохо сушен, кострика мало бита. В этом торгаш — настоящий алтынник, крохобор, кулак-надувало, который к тому же имеет еще и заручку с самой главной стороны. Расплата никогда не обходится без ссоры, но ее умеет русский человек заливать легко и дешево и забывает скоро.

«Не я первый, не я и последний! — думает мужичок. — А все оттого, что к бабьему делу свой мужичий разум приспособил; вон в кузовьях либо в яровых меня не надуешь!.. На том, стало, и стоим!.. Поди, бабам еще

хуже достается. С моего гроша не разбогатеет, да и я не обеднею. Господь с ним и с бурмистром-то!» — утешает себя мужик и опять не прочь сойтись в сделке с булыней, который, забравши на воза весь товар, свозит его к хозяину-доверителю.

Здесь, в доме доверителя, делается в урочное время общая сходка, или склик, всех его булыней-приказчиков. Свезенный с разных концов уезда лен в сырье и часто в нитках передается *воротиле* — главному приказчику, который к весне и свозит его на ближние биржи или продает оптом на фабрики скупщикам. Из валовой цены делается расчет — *в руку* — за все убытки, получаемые им при покупке и перевозке к хозяину, который довольствуется небольшими процентами на выданную сумму для купли. Эти проценты при большом хозяйстве, конечно, бывают весьма значительны и дают возможность главному булыне заводить у себя на дому ткацкие станы и мало-помалу фабрику для выделки посконных полосушок, понитков [1], портнин [2], равендуков, новин [3], холстов, пестряди [4] и прочего. Была бы только охота по этому делу да знакомство и уменье держать в руках закупней.

Мелкий булыня продолжает скупать холст домотканый, изделье самих деревенских хозяек. С восьми лет каждая девушка уже посвящается во все тайны хозяйства домашнего; с пяти приучается к прялке; с семи она уже умеет вышивать полотенца (рушники, утиральники), вязать чулки, шить домашнее платье, и затем, после двенадцати лет, она уже мастерица ткать холсты и полотна.

Холсты и полотна — лакомый кус для торговца-булыни; за суровый холст платит подешевле; за бученый, т. е. беленый, и сами хозяйки просят вдвое дороже.

Ткут они холст пасм девять, десять и двенадцать (широкий и узкий). Белят его на солнечном припеке на траве и для этого поливают холодной водой, чтобы не просыхал. Через четыре дня снимают суровье и бучат в небольшой кадке или бадье, куда складывают суровье. Сверху кладут толстую холстину, на нее насыпают

---

[1] Поиток — ткань, основа которой, т. е. нитки основные, выпрядены из льняных вычесей, а не из изгребья.

[2] Портнина — где и основа и уток посконные.

[3] Новина — холст в девять вершков ширины, но если бердо плотнее и в нем более 200 зубцов, то это не новина, а уже холст.

[4] Пестрядь — грубая ткань, в которой основа красная, синяя, а уток белый или наоборот.

золу; весь бук наполняют водою, в которую с раннего утра и до вечера спускают раскаленные уголья и переменяют их, лишь только они перестают кипятить воду. На ночь бук оставляется с холстом, утром рано разбирается. Вынутый холст снова расстилают по траве и поливают. После трех солнечных дней холст полощется в воде, сушится и снова бучится тем же порядком. После четырех буков холст выходит отличной белизны.

Из холста делают полотенца — непременная принадлежность приданого всякой девушки-невесты. Вышивают полотенца узорами. Узор с древнейших времен нашей истории бывает везде одинаков: древо, лев, орел, звезда, утка и другие. Полотенца эти любят покупать прохожие богомольцы для приношения к святым мощам и для подвесок к честным и чудотворным иконам, и в таком случае полотенца непременно должны быть с узорами. Они же поступают у невест дружкам через плечо, по образцу кавалерских орденских лент. Этими же полотенцами одаривает кума ку́ма на крестинах.

Закупень-булыня поступает к хозяину или за порукой от доверенного человека, или на основании испытанной честности. От хозяина идут деньги небольшие, доверие маленькое: он уже сам должен извертываться и изворачиваться, чтобы и на свой пай зашибить копейку. Толковый обыкновенно вкрадывается сначала в доверие хозяина и начинает вести свои дела не шибко: ходит с безменом и скупает немного, что только можно ухватить под мышку, но чем дальше — тем больше. Бабы к нему приглядятся, освоятся с ним, а там — долго ли русскому человеку побрататься со своим свояком. Молодцу доверяют, с молодцом ведут дела. У него завелась залишняя копейка на то, чтоб угостить старинного опытного булыню. За штоф выпытывает молодой от него все тайны будущего ремесла.

— Вот-де ты,— говорят ему,— не покупай льну мокрого да непросушенного; не ходи в тот дом, где большак сам торговец, улучай поймать бабу: с бабами сходнее дела иметь... Мочки встряхивай хорошенько, чтоб чище были от охлопков; коли попадется под руку трепало, так и сам обей мочки, коли купить тут хочешь. Это опять хорошо и прибыльно, не то сбесятся с жиру; а ты с худобы сблагуешь. Сначала приглядись к нитяному делу: оно проще, толковитее, а потом, пожалуй, приступай и к льняному, да слушайся, смотри, не перечь артели своей: тут рука руку моет; все заодно — хоть сам пройдись по базарам, посмотри, как стоим за себя, словно за бра-

тьев-свойственников. Опять же не дремли, пронюхивай... В деревнях-то со всеми ведись да всех знай.

Новый булыня мотает на ус все наставления стариков; без них он бы пропал и с руками и ногами. В следующую же зиму он является в тех деревнях, где снискал доверие, и меряет пряжу смело, оставаясь в полной надежде утянуть в свою пользу две-три тальки пряжи, моток или два кудели, которые при окончательной перевеске у хозяина на весах рассчитываются обыкновенно в его пользу и увеличивают его мошну лишними гривнами и даже рублями. Ловкость булыни в этом случае удивительна. Он, при дальнейшей приглядке к делу, часто поступает напропалую, рискует платиться потерей доверия и собственными боками, но всегда выйдет чист из воды. Его выкупают те же закадычные приятели, от которых он выучивается сноровке. Они готовы уступить ему свои деревни и потом в тех, где прогорел их товарищ, пожалуй, посудачат о нем, поругают за глаза, но с ним же посмеются на сходке в кабаке и еще ловчее подведут свою штуку под доверившихся, да еще и похвастаются ею, как бы делом обыкновенным и законным.

Булыню или вконец загубят неудачи и он навсегда бросает свое ремесло, принимаясь за другое, или поступает на хозяйские шофы и фабрику. А повезет булыне одноглазое счастье — он сам глядит попасть в хозяева. Начинает пореже заглядывать в кабак, наливаясь до последнего нельзя чаем в городских харчевнях, побранивая здесь и главного хозяина, и приказчика-воротилу. Если женат он — жена уже ходит в шугаях; сарафаны на ней ситцевые да кумачные, на крашеные она и глядеть теперь не станет, хозяйство правит из-за наемной работницы, а сама подчас ничего в нем не видит. Наведаются к нему старые побратимы, он к ним словно всем сердцем поворотился: не знает, где посадить, чем угостить; для них — и другого нужного человека — у него и самовар завелся, и чашечки с воробья и с надписями приличных пожеланий. Угощая чаем, нет-нет, да и ругнет он хозяина и резко и зло, но как будто к слову, без умысла.

— Он,— говорит,— пузыри на глазах насыпает, лежит на печи, словно тесто на опаре киснет; а у тебя Андроны едут — Миронов везут, спина свербит, словно перед баней, не ведаешь — куды сунуться, во что кинуться... Кормит калачом, да по спине норовит кирпичом...

— Добрый он, братец ты мой, человек! — заметит иной раз кто-нибудь из гостей.

— Воды не выжмешь, сам, поди, помнишь! С тобой же и было на скличке-то, когда вперед на подушное денег попросил. Я бы, брат, последнюю рубаху дал, по мне это дело святое, вот как теперича вижу этот сахар... все едино!

Булыня обыкновенно не договаривает, а спешит глубоко вздохнуть, как бы давая намек, что вот-де у меня какая душа широкая и сердце теплое: если хочешь, с ногами полезай, будет место.

Иной гость заикнется про смиренство хозяина и его добрые обычаи, но рассерженный булыня и их отвергает:

— Смиренство его знамое смиренство: когда спит — без палки проходи смело; а про добрые-то обычаи — натощак не выговоришь. Да и упрям опять же: ты ему хоть кол на голове теши, а он два ставит. На пусто-то николи не плюнет, а все, глядишь, норовит в горшок либо в чашку. Стóит хозяина-то вашего подарить черту, да незнакомому разве, чтобы назад не принес...

И вот когда наступила вторая весенная скличка, на которой хозяин-булыня раздает воловые деньги и свидетельства, ругавший его булыня не явился. Хозяин наводит справки. Отвечают:

— Сам хочет хозяйствовать.

— От себя по миру ходить. Что же, со всей дурости-то али только с полудурья? — шутит хозяин.

— Чего,— говорят,— с полудурья: выправил, слышь, и свидетельство на третью гильдию. Да это, говорит, так только, а то бы на вторую, мол, надо. Вот, мол, в город скоро перееду, жить там стану, новый сарай на сто трепален выстрою: назову шофом и работников скличу побольше хозяйского десятка...

— Да что это вы, ребята, в глум ли говорите али и взаправду?

— Тебя, хозяин, пытал ругать, расшумелся, слышь, словно голик по полу,— подвернул работник себе на уме. — У — костоват! — И работник покрутил головой.

— Ум-то у парня не с шило был, что говорить! — решил хозяин, но не верил слухам до тех пор, пока не почувствовал сам, что под боком у него засел опасный сосед, который сгоряча-то и нанове повел дела так бойко, что многих старых булыней сманил к себе и забрал почти всю окольность. Зачем-то, сказывали, уезжал недель на шесть и вернулся домой в лисьей шубе.

— Стало быть, нашел доверителей! — решил прежний хозяин булыни. — Давай ему бог!.. А збойливая, братцы, собака все-таки исподтишка ест. Оказал мне смирение — ну и поддался я, старый дурак, на соблазн. Правда сказана — съешь с человеком пуд соли, тогда только узнаешь его. Клал он, стало быть, как вытный приказчик, грош в ящик да пятак за сапог. Не оставьте, братцы, не покиньте! За порукой я не стою!..

Приказчики дадут слово и сдержат, пожалуй, то есть на первом же базаре начнут перебивать на залишние хозяйские деньги пряжу и лен, иной раз и сумеют это сделать как нельзя лучше и удачнее. Новый хозяин даже может увидеть беду на вороту, но не поддастся ей, выдержит напор со славой.

— Это ли беда? — спрашивает он. — Беда из бед бедней всех бед, когда денег нет; а коли денег столько, что и большой черт не унесет на себе, так нечего надрываться и кручиниться. Бейте, братцы, наперебой в мою голову! — говорит он своим приказчикам и, во всяком случае, или выгорит, подымется в гору, если первым поддастся соперник, или, при неровной, но усиленной борьбе, что называется, надорвется — прогорит вместе с ним и закроет хозяйство. Тогда, ясное дело, из этого перебоя выходят чистыми одни перебойщики, от изворотливости которых зависит самим сделаться хозяевами, начиная с мелкого крохоборничества до большого дела на трепальнях и ткацких станках в шофах.

Задорный, хотя и прогоревший булыня-хозяин (если здоровье еще прыщет в нем и гомозится риск) не скоро угомонится, не скоро поддастся неудачам. Испытав их в булынном промысле, он поспешит приняться за другое, более надежное и не шаткое.

Упорно сидит он в избе, пилит, строгает, почти никуда не выходит; вот он выстрогал саженный шест-лучок, толщиной вершка в полтора. На обоих концах его приделал две кобылки: одну большую, другую поменьше. В большой наружную сторону сделал потолще, прорезал в ней желобок и накрыл его кожаным ремнем, объяснив ребятенкам, что этот ремешок называется наволочкой. Прикрепив эту наволочку крепкими бечевками к большому шесту-лучку, он натянул струну, за которой нарочно сходил в город. Настрогал тоненьких лучинок и связал их веревочками в возможно мелкую решетку длиной в полтора аршина. Затем обточил он из березового полена тоненький брусочек — катеринку. С одного конца выдолбил в нем дыру, чтоб можно было

ухватиться большим пальцем, с другого наделал зарубочек вроде пилы; потом выстрогал другую деревянную палочку, которую сносил в кузницу и там приделал к ней железный наконечник.

Палочку эту, или пику, он приладил к решетке. Потом, смотрят домашние, мастер упер эту пику одним концом в стену, другим в решетку, отчего та скрипнула и выгнулась в полукружье; тут же привязал он к низу решетки холстинную сетку и весело улыбнулся. Велел бабам нести скорее из голбца остатки шерсти, класть ее на решетку и смотреть на его мастерства шерстобитню. Новый шерстобит приладил узенький ремешок — подкладок, забил его под наволочку, кобылка приподнялась, натянула струну, мастер дернул по струне зубцами катеринки, но струна подалась плохо, как-то задребезжала, нужно было опять поправить подкладок...

Струна ударила сильно и густо и пошла гудеть на всю избу; ребятенки запрыгали на одной ноге, бабы усмехнулись в рукавок и обступили торжествующего мастера. Он двинет по струне катеринкой — струна застонет; ударит по шерсти — взобьет ее, выровняет. За решетку летит уже на пол негодная пыль, или сор — подрешетка; на решетке остается шерсть пушеная, кудрями... Бабы снимают ее в кузовья, мастер смотрит гордо и торжественно. Бабам уже не до смеху, только одни ребятенки продолжают прыгать на одной ноге; а струна все гудит да стонет, а кузов — полней да полней.

Мастер с радости забежал в питейный, поздравил себя и целовальника с новым ремеслом и после кузьминок, на овчаря, взвалил шерстобитню на плечи, обмотав струну тряпицей, и пошел мерять версты от деревни до деревни, где надобно шерсть взбивать и пушить. Здесь станет он снимать подряд по полтине с лукошка; здесь удивятся ему и, пожалуй, обрадуются, как человеку, давно знакомому, давно не виданному, хотя уж и не булыне, а горемычному волнотепу.

Раз пройдется он весной, когда сбивают шерсть-однострижку — старичну. Если есть у него досуг — пройдет и в другой раз по лету, когда готова двустрижка, и непременно бродит в кузьминки, когда разбивают руно двухгодовалых овец или пушат поярок — молодых первачков-ягнят. Походит он волнотепом много два года, на третий увидит, что ремесло это не сытно кормит, благо поправило немного беду, хотя и не избыло ее совсем в тартарары, да и с его ли задором щелкать струной и стоять у полтинного подряда с дому?

Толковая сметка подмывает его пуще прежнего, а недавно покинутое ремесло булыни стоит перед глазами как живое, только в новом свете и при иной обстановке: привычка берет верх, кропотливое досужество приходит на выручку, и старый булыня из волнотепов незаметно превращается в скупщика, но только не льну, а залишней шерсти. Он порывается открыть новое хозяйство и кое-как, в долг да впоколоть, достигает цели.

Сначала он заводит прялки и сам и жену заставляет выпрядать на них шерсть. Шерсть эту продает он или на базарах, или по домам, или на фабрики в нитках, а часто и в чулках, в варежках и в прочем. Он уже знает, что ту шерсть, которая пойдет на уток, сначала расчесывают гребнем, а потом натирают маслом, а ту, которая годна для основы, моют только мылом. Мало-помалу знакомится старый булыня с валяльным делом, приспособляется различать доброту шерсти как той, которая снята со спины, так и той, которая обстригается с горла и подбрюшины. Он давно уже знает, что осенняя шерсть — руно — и мягче, и тоньше, и гуще, курчавее весенней; что пуша, снятая с молодых овец — ярок, самая мягкая, самая нежная шерсть.

Остается ему завестись небольшим хозяйством: смастерить каток, на который будет наматывать шерсть, купить стальной гребень, который перед расчисткой шерсти он будет накаливать в печи докрасна, и обзавестись скребачом — железными граблями. Скребачом валяльщик вспушит сначала шерсть, потом навернет ее на каток и будет повертывать до тех пор, пока слой шерсти не превратится в сплошной, плотный войлок. Войлок этот он будет сращивать — загибать края вместе, чтоб образовать сапог, и потом начинает катать, пла́тя сапог, то есть накладывая новые клочки шерсти на тонины (где мало шерсти). Затем делает состку, или шов, и начинает стирку. В железном котле кипятится вода до ключевого боя, и жамкается вывернутый наизнанку сапог с головы, закатываемый взад и вперед до половины голенища. Если делается подъем не ниже трех вершков, а носок вытянется в полтора — валяный сапог готов. Он идет купцам на продажу. Белый натирается мелом и стоит дороже, черный для прочности обсоюзивается кожей и носится бережливым хозяином зимы три или четыре...

В новом ремесле старого булыни нет перебоя, хозяйство его идет ровным гладнем. Тут работа не базарная, а домашняя, и большей частью по заказу от состоятель-

ных купцов и барышников. Валяльщик ремесло свое чуть только в могилу не уносит с собою. Недруг его не укусит, как ни точи зубы, была бы только у него устойка в деле, вскакивал бы он горошком на дело свое. Встань эта мужика кормит, лень только портит. Недоброму, завистливому человеку долго приходится ждать: у людей голова кру́гом, а у него еще и не болела.

КОЛДУН

Колдуны — не всегда ловкие плуты, обманывающие темный и суеверный народ при помощи своей сметки, которая дальше других видит и выше стоит, но также *знахари,* как остаток древних волхвов и кудесников, вызванные народною потребностию в качестве врачей и значении целителей от действия всякой вражьей силы. Не всякая болезнь, по народным понятиям, зависит от себя самого, но большая часть из них, почти все болезни, происходят от злого духа; болезни — его шалости, *самого* рук дело. Какие-нибудь *поносы* (понос, кашель, насморк) — от поветрия, от простуд (да и то под большим сомнением), а стрелы, притчи, ветряной нос, даже нарывы, чирьи, другое многое — непременно от злого духа и злых людей: по наговору или сглазу, по ветру или по следу. Эти-то причины и должен разбирать достойный человек — знахарь. Настоящий колдун, колдун в собственном смысле, такие болезни умеет насылать, но он же знает и *замок* отпирать. Отпирают замок и простые знающие люди. Оттого-то ни одна болезнь и не лечится без наговоров, и ни один наговор без *замка* не бывает. Оттого-то нет более или менее живых околотков, где бы не ходил слух о каком-нибудь колдуне, которые не всегда старики, но сплошь и рядом молодые люди и люди средних лет. В Великороссии только колдуны поубавились; колдунов еще очень много.

Чем глуше место, темнее народ, чем погуще леса и подальше большие города и торговые центры, тем вернее встреча с колдуном. В настоящей глуши они, впрочем, и сами не затрудняются объявлять себя и хвастаться (в чем, однако, ради барышей и корыстей, их существенный и главный интерес личный). Взглянет в лицо да и скажет: «Счастья у тебя нет, а коли злых дней не запомнишь, значит, чужим счастьем живешь», а разговорится, то и начнет хвастать: «Мужа с женой поссорить грех, для того что союз-от богом благословенный, а пос-

сорить парня с подругой не грех, то я и могу сделать, а как — про то не сказывается». Вот таким-то доточникам и на свадьбах первое место впереди, чтобы прочищать дорогу к венцу, таким и на пиру первое место, первая чарка и особый почет. Это — одиночки.

Колдуны водятся, по архангельским слухам, в Кореле (между корелами), по уральским заводским известиям, колдуны целыми деревнями живут в отдаленных и глухих местах Чердынского уезда (Пермской губернии), оттого и существует поверие и присловье, что чердаки-колдуны, чертовы знахари, там на Ивана-лествичника (30 марта), когда домовой бесится, и они, один раз только в году, замирают. Но там же, на Урале, те самые невинные коновалы, у которых и инструменты все на виду, коновалы, которые толпами выходят на восток (в Сибирь) из Кологривского уезда (Костромской губернии), делаются на время колдунами и слывут таковыми вовсе не по заслугам и без всякого права.

Не про этих промышленников, но про двух из настоящих и присяжных колдунов рассказ наш, основанный на недавней были, к сожалению окончившейся так неожиданно. Придумали на колдуна лекарство, но не из той аптеки взяли, вопреки указаниям и советам здравого смысла, а где слепой слепого водит.

* * *

Черным, полусгнившим и надломившимся в середине домишком глядит кабак Заверняйко в глаза всякому проезжему по тому дальнему и глухому проселку, где поставили кабак этот насущная потребность окрестного люда и личный произвол туземного откупа. Судьба поставила его, по обыкновению, на тычке — бойком месте, и хотя кругом пошли пустыри да лес, да поля и ближайшие селения далеко ушли в сторону, тем не менее сюда забежит и соседний мужик праздничным делом пропить накопившуюся за неделю бешеную копейку, и извозчик, везущий ближним путем купеческий товар, и ямщик туземной власти, осчастливленный милостивым снисхождением своего седока, выбежит оттуда, обтираясь рукавом, покрякивая и похлопывая себя рукавицами по бедрам, как и всегда.

В кабаке Заверняйко народная сходка. Бестолковый крик, покоры и перебранка мешаются с песнями, бойко и голосисто затянутыми, не вовремя и глухо кончаемыми. Громкий гул этот, вырываясь в отворенную

дверь и открытые окна, возбуждает со стороны проходящих некоторые замечания:

— Путиловские землю разделили, мироедов поят...

— Больно уж распоясались-то. Ну да ведь и то, парень, молвить — удельные.

— Пущай гуляют: ихнее дело дворянское, как есть господа, а мироеды-то наши, народ теплый, на повадке... к бражничанью-то!

— Да уж это святое твое слово, чай, ведь и Еремка тута!

— Где ему, ледащему, не свои полати: на всех перепутьях первая кочка, завсегда!..

— Зайдем, паря, взглянем!..

— И то дело! Может, еще и попоштуют! Чай, уж все в загуле!

— С утра еще забрались, как, чай, не в загуле. Пойдем взглянем...

Перед глазами входивших — старые, давно знакомые виды, с которыми не расстаться русскому человеку вовек ни в одном из питейных: прямо — полки со стеклянной четвероугольной посудой различных величин и цветов и по ним печатные надписания. Стойка потертая, просаленная; напротив — мрачный и грубый целовальник в сторонке, недалеко от него парнишка-подносчик — пропащий навек человек; дверь сбоку, ведущая в квартиру целовальника, кругом лавки, на этот раз пропасть народу пьяного и потому говорливого. Все в шапках, картузах или шляпах, все до единого заняты разговором. Только двое вошедших составляли исключение, и то ненадолго: они были замечены тотчас же, как показал голос, вылетевший из середины толпившегося подле стойки народа:

— Первачки пришли, пропустите! Эй, ребята, полезай вперед, вы... соснинские!

— Пошто вперед? Нам и здесь ладно!

— Подходи, ребята, к стойке, пей за путиловских. Путиловские целую полку откупили, станет на вас!

— Нету, не надо, пошто? Мы ведь так зашли по себе, не надо, не просите!

— Пей знай — не ваше дело, после сочтемся.

— Нет, да нельзя ли уволить, пошто пить? Не надо!

— Помни знай, да берись за свое, не то и без вас выпьем!

— Не просите лучше, не надо, благодарим покорно!

— Сказывай спасибо, когда выпьешь, а теперь знай пей за путиловских, дело-то мы их порешили. Любовное дело вышло, знай пей, не заставляй кланяться.

— Не так ли лучше, полно? Мы... по себе зашли. Ну да, знать, ладно, быть по-вашему, давай за путиловских выпьем.

И опять все смешалось и перепуталось в общем гуле и сумятице, только целовальнику, может быть не всегда, впрочем, любознательному, да, наверное, двум соснинским мужикам могли броситься в глаза несколько мужиков, составляющих цель предпочтительного, общего потчеванья. Между ними один был веселее и бойчее других. Он то поиграет на балалайке, то врежет бойкое замечание в толпу мужиков и поворотит весь разговор в другую, желаемую им сторону, то подойдет к стойке и потребует новую, свежую посудину на потребление, то взвоет песню, то опять идет к стойке. Глядит решительным хозяином-распорядителем настоящей попойки. Соснинские мужики подошли к нему и заговорили:

— Что, брат Еремушка, как?

— Что — как?

— Ты... тово, здеся?

— А то нет, что ли, не видишь?

— Что, дело-то порешил, значит?

— Какое дело?

— А путиловское-то?

— Ну?

— То-то порешил, мол?

— А вам-то что?

— А ничего, Еремушка, как есть ничего...

— Видели вы, братцы, воров-то соснинских? — кричал Еремушка уже вслух всей компании, вытащивши пришедших мужиков в середину. — Вот божье рождение, все как следно, с руками и с ногами, и голова есть, а не то, потому, значит, господский народ. Спроси ты его по суду, например,— не ответит, не сумеет, потому подневольный, выходит, человек, речи своей он не имеет.

Еремушка кончил, толпа молчала. Соснинские мужики стояли понурив головы, словно громом пришибленные, а может быть, и потребленная на чужой счет водка отняла у них право говорить свое. Может даже быть, что они не смекнули сразу, к чему повел речь затронутый ими знакомец. Еремушка явился перед ними с водкой и продолжал свое:

— Вот они теперича выпить должны, потому водка речь дает, а опять-таки у них мирского суда нету — под-

невольный народ. Дай ты ему, выходит, землю: на, мол, твоя она, он и возьмет, хоть по всей-то по ей камни прошли, возьмет и камни зубами повытаскивает, потому самому, что господскому человеку не велят рассуждение иметь. Сказали — и делай! Так ли я говорю, святые человеки? Не вру ведь...

— Да ты пошто это про нас-то, Еремей Калистратыч, теперича-то? Наше дело известно, в барской воле состоим, ему повинны, все от него — и суд от него...

— Не на мое ли же опять вышло, так ли я начал-то? Так, стало быть, и будет! А вы пошто у барина-то управляющего нового не просили?

— Большаки отказали: старики не пошли.

— А пошто стариков слушали? Пошто не пошли сами? Сказывал ведь я вам, как надо-то? Так видишь: сами, мол, с усами, а дураки, дураки несусветные.

— На совете твоем спасибо, потому тебе и угощение тогда предоставили, а сталось вот так, что не пошли...

— Вот и выходит опять, стало быть, по-моему: подневольный вы народ, речи у вас своей нету, воли нету... пропащий вы народ — вот что.

— Да ты пошто это говорить-то зачал? В другую бы пору когда... а то, вишь, народ всякой...

— Народ этот — свой. Народ этот такой теперича, что вот три года землей-то не помирили промеж себя, а пришли ко мне: приставь, слышь, голову к плечам, научи! И давно бы так. А мне что? Я таков человек уж от рождения, что для свово брата православного жену куплю да на кобылу выменяю, только что вот светлых-то пуговиц не ношу,— сделал дело как следно. Вот потому и пьем, целой кабак для меня откупить рады!..

Без меня бы, слышь, ребята, ни Матвей, ни дядя Евлампий, ни Тит, ни Гришутка ничего бы не поделали, а со мной и каша уварилась! — говорил он уже шепотом на ухо разгулявшимся мужикам. — Вот теперича мы песни станем петь, а утре я опять к вам зайду — и опять потолкуем!..

В ответ на это соснинские мужики тяжело вздохнули и, махнув руками, отошли в сторонку. Еремушка уже расстилался вприсядку и весело взвизгивал, как человек, у которого в эту минуту не было никакой заботы, кроме насущного потребления водки. Соснинские мужики вполголоса перемолвились:

— Не дело он, парень, затеял, не так бы ему, парень, говорить-то надо!

— При чужих-то, вестимо, не ладно!

— Не ровен черт, управляющему-то молвит, опять загнет...

— Загнет, паря, беспременно загнет.

— Не надо бы эдак-то, вслух-от!..

— Вот то-то не надо бы, больно не надо бы!

— Сам зачинщик — сам и ответчик, пущай так и станется.

— Эх, паря, не заходить бы нам сюда-то!..

— То-то не надо бы — по себе бы лучше!

— Уж это известное дело!

— Ну да ладно, нишкни пока. Смотри вон, Еремушка-то пляску задал, каково, нали смехота берет! Вот как!.. Что в ступу!.. Колесом пошел, на все парень руки! Огонь!

Кабацкая толпа представляла в эту минуту решительный хаос: крепко трезвый человек не нашел бы тут ничего общего и толкового; все перемешалось и перепуталось, как и бывает это всегда на всякой пирушке, где православный люд живет прямо по себе, своим доморощенным толком и на своей редкой, но дорогой воле. Только одни кабаки видят эти бесконечно веселые картины, всегда, впрочем, поучительные и глубоко знаменательные.

Наступили сумерки; внутренность Заверняйко, по обыкновению мрачная и грязная, сделалась еще мрачнее, но зато стала представлять более оживленную картину. Весело было всему собравшемуся здесь люду под задорную песню гуляки, подхватившего ухо и встряхивавшего хохлатой головой, и другого, выбивающего всей пятерней веселые трели на балалайке. Вся ватага представляла на этот раз дружную, согласную артель, из среды которой выделялись только две фигуры, по-видимому не принимавшие живого участия в общей попойке, где всякий встречный — по обыкновению русского человека — гость и побратим, святая душа. Этим двум как-то и дела нет до того, что творится вокруг, и как будто дивились они и непонятным казалось им, отчего и из чего бесятся и пляшут в задорном загуле все остальные посетители веселого Заверняйко. Собираются ли они здесь на ночевку или выжидают конца общей свалки — решить пока трудно, тем более что гульба принимает еще более оживленный и шумный вид. Слышались поощрения, подзадориванья, ободрительный крик и хохот.

— Ну-ка, Иванушка, прорежь еще задорненького-то, да, знаешь, эту-то... разухабистую.

— С ломом-то, что ли, которая?

— Айда!

Рябой худощавый парень распоясывался, откашливался, прорезал стаканчик задорненького, становился фертом, бил дробь ногами, с гиком приседал, выкидывая из-под себя то правую, то левую ногу далеко вверх; бешено вскрикивал, выгибая плечи, и летел в таком виде от двери к стойке и от стойки обратно к двери. Общее внимание исключительно было устремлено на него.

По окончании пляски снова выковыривалась пробка крючком целовальника, снова наполнялись и опорожнялись стаканчики, снова гудела песня, снова визжал и трещал пол от задорной пляски, и снова оглушительный крик и хохот еще сильнее, еще чаще выносился из дверей кабака Заверняйко в лес и на опустелый, глухой проселок. Но по-прежнему молча сидели оба мрачных гостя, словно выделенные, словно попавшие не на свое место: черный, словно цыган, старший мужик и худощавый, но с плутовскими глазами приспешник его — парень-подросток. Старший покойно и незлобиво созерцал все, что происходило перед его глазами, младший показывал больше нетерпения и озабоченности. Наконец не выдержал после того, как много перепелось песен, много выпилось вина другими гостями:

— Дядя Кузьма, дядя Кузьма! Не пора ли?

— Чего пора?

— К ночи, вишь, пошло, негоже!

— Что больно?

— Пора, дядя Кузьма, ей-богу!

— Погоди маленько, дай уходиться: ишь гульба какая ходит. Разговоры еще у нас будут, не про всех!.. Чего тебе?

— Боязно больно!

— Чего такого? Черт ты, право, черт, вот и все!

— Знобит, дядя Кузьма! К ночи, вишь...

— Ну да ладно — поставь поди, и мы шорканем поихнему. Ставь ступай косушку на первую пору!

Парень, видимо, рад был разрешению, и он, и черная борода дяди Кузьмы виднелись уже у стойки. Последний между тем разговаривал с целовальником.

— Что больно сердит ноне, Кузя? — спрашивал целовальник.

— Всегда ведь такой, как от матери вышел,— сухо и отрывисто отвечал тот.

— Чей это молодяк-от с тобой?

— Дальной.

— А чей такой?
— Не здешной.
— Сердит ты, Кузя, право слово, сердит, не видал тебя эким, а и давно мы дружбу ведем.
— Всегда такой, всегда такой — и вчера, и завтра,— так же неприветливо и неохотно отвечал дядя Кузя, но целовальник стоял на своем:
— Не учить ли парня-то думаешь, али просто погадать он к тебе пришел?
Но дядя Кузьма был уже опять на старом месте и опять молча созерцал играющую перед ним картину до той поры, пока целовальник не положил ей конец повелительным криком:
— Будет благовать-то, ребята, надо и честь знать, запираюсь, спать ложусь!
— Дай, последнюю споем!
— Будет, наслушался! Допевай на поле — там привольнее.
— Давай еще выпьем на тебя!
— Нету вина у меня: час не показанной!
— Экой ты какой лешой — ходить к тебе не станем.
— Не пугай — придешь.
— Идем, братцы, наплюем ему, рыжему черту, в бороду. Забирай ребят-то, кто из вас пободрее!
Вскоре вся ватага вывалила вон. Дядя Кузьма и его приспешник видимо ожили; первый стоял уже у стойки и, засучивая рукава и покрякивая, говорил целовальнику:
— Вот теперь и мы с тобой поведем разговоры, давай-ка покрепнее-то которой, да вспень его, мошенника, пусти искру.
Явился штоф и три стакана. Выпили. Целовальник начал первым:
— Смекнул ведь я даве-то: чужой, мол, народ есть, оттого, мол, и дядя Кузя сердитой такой.
— Ну как тебе не смекнуть? Плут ведь ты, недаром рыжой-от со сковороды соскочил.
— Что, мол, парня-то на выучку, что ли, взял? — спрашивал целовальник вкрадчивым, льстиво-добродушным голосом.
— Тебе, дядя Калистрат, что бабе: все сказывай, до всего охоч. Задорен больно!
— Уж и ты, лихой черт, что глухая старуха — все про себя да на себя.
— Гадает! — отрывисто ответил дядя Кузьма и указал бородой на приспешника.

— Аль зазнобило? — спрашивал Калистрат.

Парень молчал.

— Его знобит только с холоду, а от этого, чтобы от девок там... не бывает, не такой! — ответил за парня дядя Кузьма.

Сам молодец только ухмыльнулся и почесал затылок.

— Что это не видать тебя, Кузя, с неделю никак не бывал у меня? — спрашивал целовальник.

— Наше дело известное: все со своим ремеслом. В Митюхино — поля звали опахивать — ходил.

— А что у них неладного-то?

— Скотина, вишь, падала; пришли да и взмолились. Поучи, говорят, нету-де таких-то, чтобы указали, как надо. Три рубля на серебро выговорил — показал на девок. И уж девки же там, паря, что репа! Вырезали, слышь, этой бороной полосы вершка на два вглубь, что лошади! Ядрень-девки такие, что не привидывал.

— Ну да тебе, цыгану-то, и на руку.

Слушатели засмеялись, и даже на сухом каменном лице самого дяди Кузьмы прыгнула улыбка, выказавшаяся легонькой дрожью губ и левого глаза.

— Будет, Калистрат, ты нас не держи, нам пора!

— Постой: поговори, посмеши!

— Вдругорядь приду, а теперь не до смеху, нечего и распоясываться по-пустому. Спозаранку ничего не ел, да, знать, и до утра так-то. Ты нам водки с собой отпусти, утре занесем посудину-то, да ведерко дай, да кочергу...

— Ну, Кузя, что ни говори, а парня учить ведешь.

— Не будь ты Калистрат, сказал бы я тебе такое слово, чтобы ты у меня до утра не прочихался. До завтра небось не хватило б тебя подождать-то. Экой народ! Давай кочергу-то, да золы, да соли!

— Не сердись, будет по-твоему.

— Сказано: смалкивай, невестка, — сарафан куплю: ну и цыц, пострел, коли кашу съел. Идем, Матюха, Калистрат не переслушает всего-то, на него хоть намордник накидывай: по неделям, разиня рот, охочий слушать...

С тем и вышли.

Черная осенняя ночь, не возмущенная ни одним порывом ветра, ни одним людским криком или говором, была уже на дворе. Еще чернее стоял вдали лес, без просвету, без звука, словно творилась в нем великая тайна и выжидалось оттуда страшное чудо.

Смело шел по его направлению дядя Кузьма, робко плелся за ним его приспешник-парень. Прошли поляну, прошли перелесок не проронив ни единого слова. Вступили в лес; дядя Кузьма начал первый таким сиплым голосом, как будто не выходил он из кабака несколько суток и не спал он эти сутки в бешеном загуле:

— Помнишь ли зачуранья, как я тебе даве сказывал?

— Помню, дядюшка! — отвечал Матюха таким робким голосом, как будто смолоду били его и забили в нем всякое смелое, самобытное слово.

— Сказывай! — резко выговорил дядя Кузьма.

Парень молчал.

— Сказывай про китов, на которых земля держится, сказывай поскорее: скоро, гляди, кочетье взопят.

— Это не страшно: отпусти душу — скажу. На тех китах земля стоит,— начал Матюха более смелым, хотя еще и дрожащим голосом. — Один кит потронется — земля всколыхнется, а все-то вместе — в тартарары пойдем; один помрет — все туда же пойдем.

— Что китов держит?

— Огненная река.

— Что реку держит?

— Дуб железный.

— Куда солнце на ночь уходит?

— В златотканые чертоги на востоке; там стоит Буян-остров, и живет в нем змия Македоница, всем змиям старшая, на зеленой осоке сидит птица, всем птицам старшая, и ворон, всем воронам старший брат, и стоят там реки-кладези студеные...

— Сказывай дальше про Афонскую гору!..

— На горе Афонской дуб стоит ни наг, ни одет, а под дубом тем живут семь старцев, семь ставцов, ни скованных, ни связанных. И приходит один старец и приносит семь муриев черных и велит их взять и колоть. И клюет тех муриев птица Гагана. И лежит там белгорюч камень Алатырь, и излизывают тот камень лютые змии весь и ядовиты летом и через всю зиму оттого сыты бывают.

— Ладно, побратиме! Обернись назад, снимай крест да и клади под пяту в лапоть и — не оборачивайся.

— Теперь, Кузьма Семеныч, что хошь сделаю все по твоему по велению — мне-ко што: не ругались бы над тобой опосля, а то все сделаю,— говорил Матюха задыхающимся голосом и как будто сквозь слезы.

— Лишнего говорить не надо. Становись и сказывай: «Отдаю себя в руки дьяволам»,— перебил его дядя Кузьма.

Матюха сделал все, как указал ему тот: выворотил рубаху наизнанку, левый лапоть надел на правую ногу и обратно, два раза перевернулся через голову, опять сказал после всего старое заклятие и обернулся лицом на запад, по приказанию и при словах учителя: «Пройдет день на вечер, вынь ты тот крест на ветер, на стену повесь, и придут к тебе дьяволы. Для того ты спать ложись не молясь, не крестясь. Придут — не придут; сказывай им, что я учил; примут и учить тебя станут по-всякому. А вот тебе соль и кусочек; соль наговорена, кусочек — страшное дело: потеряешь — дня не проживешь».

Видит Матюха, что соль как соль, и кусочек поменьше горошины, и кусочек этот не то сосновая сера, не то воск или вар, липкий такой.

— Зачем соль-то, дядюшка? Пущай вар, терять его, значит, не надо.

— На соль шептать надо то, что хочешь супротивнику твоему сделать: сохни, мол, тот человек, как эта соль сохнуть станет; отступите, мол, дьяволы, от меня и приступите к тому человеку, а мне-ко, мол, благо. И ступай на дорогу или в избу ступай, где тому человеку идти надо будет, и зарой ту соль, и не вдолге опять сходи, и вырой, и скажи: «Подите, дьявольщина, прочь от меня». И крест надень. А супротивнику твоему будет скорбь и сухота. И вот тебе слово мое крепко. Чурайся, как учил с утра; говори за мной!

— Стать мне на месте, быть ведуном, знали бы меня люди и боялися — добрые и злые, неведомые и знакомые, и всякая душа человечья, и зверья, и птичья. И будь то чистое место, на котором стою, нечисто, и будь тот ветер, на котором дышу, поганым. Слово мое крепко, запечатано, заказано, замок, замок!.. Аминь, аминь, аминь!..

— Ложись и не вставай, пока не взоплю!

Матюха лег навзничь и долго лежал, пока дядя Кузьма говорил над ним много всякого вздору, какой только лез в его голову, и руками махал, и кричал совой, и глухо лаял собакой, мяукал кошкой, как и всякий другой искусник, которых так много ходит по белому свету на смех и забаву доброго православного люда. Другой раз тот же бы Матюха поджал живот от смеха, махал бы руками и надрывался бы до слез и кашля; теперь он

лежал на земле не шелохнувшись, и, когда поднялся по приказанию хозяина, по щекам его текли обильные слезы. Учитель понял их по-своему.

— Плачь, Матюха, пока слезы текут; тут не токмо человек, и кремень возрыдает. Знай же раз навсегда, что теперь ты колдун стал и будет тебе все по желанию по твоему. С тем и пойдем опять к Калистрату.

Сосредоточенно, молчаливо шли они перелеском, полем, проселком и выгоном; молча вошли и в кабак, где дядя Калистрат только что проснулся и, опершись руками на стойку, по временам зевал с выкриками и глубокими вздохами, вперив свой масленый взор в потрескавшуюся невыбеленную огромную кабацкую печь. Дядя Кузьма подвел к нему Матюху с самодовольным и смелым видом, промолвив:

— А вот тебе, дядя Калистрат, и новоставленный! Давай ты нам теперь водки побольше, да не казенной. А там знай указывай всякому и на него, как и на меня. Знает-де, мол, и трясцу напускать, и домовых окуривать, и с лешими знается от мала до велика, что с братьями, и от дьявольских напущений слособит. А смекнул ты вечор да признанья спрашивал, больше матери знать хотел. Это не след, чтобы нашему брату все о себе сказывать, на то и голова у нас в кости скована.

«Откуда Кузя парня достал? — думал Калистрат-целовальник, проводивши гостей и оставшись один на один с собою. — Знаю я всякого народу много, затем и на тычке живу: ходят в мое жилье и господа проезжие, а из соседних баб все на примете, не токмо мужики. А нет, такого молодца не видал и не знаю. Надо быть, и впрямь из дальних»,— решил целовальник и на том крепко задумался.

Раз запавшая с этой минуты мысль, не находя прямого исхода, не давала ему потом покоя. Много рассказывалось с той поры в Заверняйко разных историй, веселых и плачевных, проезжими мужиками, всегда откровенно-простосердечными и добродушными, а тем более еще под пьяную руку; но любопытный, приучивший себя прислушиваться к чужим толкам проезжего люда целовальник не мог поймать даже намека на интересовавшую его тайну. Всегда нетерпеливый и в этом отношении даже беспокоящийся, Калистрат пробовал и сам задирать кое-кого из более толковых соседей кабака Заверняйко.

— Не знаете ли вы, ребята, парня такого, с Кузей хаживал, хохлатенький, что сам Кузя? Не то чтобы он

рыжий, а эдак сивенькой и косой такой, что заяц; говорить не охочий и на вино такой крепкий, что тебе соцкий любой алибо и сам становой.

— Это какой же такой, ребята? — спрашивали обыкновенно мужики и друг друга и самого Калистрата. — Да у тебя-то часто бывает?

— Раз видел и наказ получил, чтоб сказывать, что и он такой же колдун.

— Ну а звать-то как?

— Матюха никак.

— Матюха, вишь... да, может, кузнец!

— Ишь тоже, того-то знаем доподлинно, еще солью закусывает и в кармане ее на тот конец носит.

— Ну так дьячок.

— Про дьячков и не сказывай: весь причет знаю, заходят и они посидеть.

— Других не приберем.

— У извозчиков поспрошай, те доточней; нищую братию опять — те только, кажись, пегого черта не знают, а черного видывали.

Попробовал Калистрат спросить у нищей братии — нашлась такая дряблая старушонка, тихая, как агнец, на паперти церковной, бойкая щебетунья в кабаке придорожном, межидворница-сплетница во всяком селении, куда вводят ее страсть к бродяжничеству и попрошайству и сердоболье ко всякой бабе деревенской, плаксивой и вечно недовольной своим настоящим.

Калистрат только заикнулся: «Не знаешь ли, мол, того-то и такого-то, с тем-то, мол, ходит»,— нищенка и досказать не дала:

— Мне чего не знать, Калистратушка, так нали просто, выходит, в землю ложись и гробовой доской накрывайся. Матюхой звать, Иванов сын, в Питер ходил — не поладил, назад пришел, полюбовница за солдатами в поход ушла, косой...

— Да ты постой, постой, сказывай по порядку,— перебил защебетавшую побируху целовальник.

— На ухо тебе молвить, да не при всех, Калистратушко, неладное дело с ним сталось: душеньку-то свою он в недоброе место продал,— шептала побируха.

— Знаю; сказывай по порядку.

— Косушечку от себя поставишь — всю подноготную поведаю, без утайки.

— Не стоим о том, а потому — нам знать любопытно.

Побируха подхватилась локотком, целовальник оперся локтями на стойку, и начался рассказ:

— Паренька-то этого я еще оттого помню, как с покойничком сынишечком со своим, с Михайлушком, миром побиралась, за Христовым то есть подаяньицем ходила. Завсегда был сбойлив, завсегда шустрый такой, что опосля того и не привидывала. Не пропустит это он ни единой старушечки, ни единой Христовой сестры, чтобы не наскочил он на тебя. И либо тебе шлык сшибет, либо котомочку-дароносицу оборвет алибо костыль вырвет да и учнет на нем, что на лошадке, ездить. Бегаешь за ним, бегаешь, лаешь его, лаешь; уморишься ину пору до ручья кровавого. Пойдешь к батьке, нажалуешься, натреплет он его, нащиплет так, слышь, зайдется даже, в пене по полу валяется. «Я не бил,— говорит,—не вырывал костыля, не наскакивал,—говорит,— не дрался». Померли у него старики — зашибать стал, крепко зашибал: на базарах на этих, в обедни пьян, а и в свалках то и дело он первый задирает, опять же о святках девушкам проходу не дает — где он, там знай, слышь: поседка до первых петухов разойдется от его от окаянного от озорства. На становых писарей нападать стал, чего бы тебе, кажись? Постегали крепко-накрепко, и тут уйму не дался.

— Головорез, выходит! Бил, стало быть, на то, что прямо бы головой-то хохлатой своей да в петлю,— заметил от себя целовальник.

— Да уж это вестимо дело! В рекрута, Калистратушко, возили — вернулся ведь! Сказывали, и кос, мол, и левое-де плечо выше правого. Ни под какую стать и не подошел. Вот он каков угорелый человек есть!.. И жила у них тут в деревне девонька такая, Лукешкой звать, потаскуха. Из себя она такая бы видная и не рябая, да худую по себе славу по миру пустила. Становой ли, слышь, наедет, да хоть и в другой деревне встанет, соцкой под вечер у ней под окном завсегда падогом стучит. Одно тебе это слово; опять же другое: ни один человек ее в избу к себе не пускал — за своих за девок опасались, значит. И у Лукешки у этой по праздникам бы, что ли, а то и в будни не в редкую гульбу такую ребята наши пускают, что дым коромыслом идет. И стегали ее, и в волостное звали, срамили всяким делом — все прошло с нее прахом, что с гуся вода. Все в глум взяла; пошла еще пуще того, что саврас без узды. Старики взялись за свое: стали ребятам наказывать, чтоб взяли бы ее да и бросили. Рекрутством пристращали. Так только и угодили тем: перестали ходить к Лукешке, и вою из ее избы не слыхать стало. И она стала что

своя не своя, уходилась. И на то пошло: выйдет ли за ворота — ребята стали глум на нее напущать, позорили, ворота дегтем мазали. Выходить перестала. Идешь, бывало, за своим за мирским подаяньем — сидит себе под оконцем да песенки про себя поет-потешается, и ни тебе у ней прялка в руках, мотовильце бы какое: сидит себе барынькой коптеевской и знать не знает. Худеть, глядим, начала: со скуки, мол, плакать стала, у оконца-то глядючи на бел на свет. Со кручины, мол. А сама хоть бы те ногой к кому за советом, со тоской со своей. Все одна. Стали замечать, что Матюха, этот озорной, допрежь надругался над ней, а тут ни с чего сблаговал: стал под окошко к ней ходить, разговорами ублажал, а там поглядят: не думаючи, не гадаючи, и в избу к ней залез, да с той поры, почесть, и не выходит, и долго бы и по времени-то. А поваженой, вестимо, уж, мол, что наряженной: отбою не бывает.

Обворожила, это, его девка, обложила, это, его красотами своими, что ни входу, ни выходу ни ему, ни другому кому. Стали по деревне слухи такие ходить опосля, что, мол, они уж и согласие друг другу сказали, на женитьбу то ись, и на улице показывалися рука об руку. У Матюшки и блажь эта озорная прошла, думчивой такой стал, смирный: не лается, не дерется, за одним делом ходит. Все бы это так и было, да поставили на ту пору в деревню ихнюю солдатов. Уж известно это, Калистратушко, в деревне солдаты на постое встали — завивай горе веревочкой: держись, мужики, крепче зубами за женкины поневы и ворота припирай плотнее.

— Солдат не дает маху: известно, целыми деревнями бабы на проводы выть выходят,— примолвил Калистратыч. — Сказывай дальше! — И Калистратыч махнул рукой и повесил голову.

— Пришли эти солдаты, родной человек, расставили их, это, по избам. В Лукешкину не поставили. Наша сестра, известно, сейчас на огляд: который лучше, да у которого усы черные, да круче вьются, который опять краше фертом стоит у ворот. Всё берут на примету и бабы и девки. Матюшка ровно того и ждал, что и Лукешка от других не отстанет. Она первая. Торчат солдатские усы в ее оконце что ни день все те же, хоть ты что хошь. Матюшка опять в озор! Побился с солдатом-то до крови, по начальству ходили. И Матюшку в управе постегали, и солдата тоже. Да Матюшке не впрок пошло — девонька его другого приучила, и с тем подрался, а ушел полк-от из деревни, и Лукешка за солдатом увя-

залась. И с той самой поры что в воду канула. О сю пору ни привету ни ответу. Матюшка только, слышь, догнал ее где-то на дороге да поколотил шибко, тем-де душеньку-то свою и отвел.

И еще пуще опоследях закручинился Матвеюшко, а отошел, стал присватываться — ин нейдет никто. Тому не гож, этому не ладен, той бы и под стать, так, вишь, за дурности-то за его поопасовались. Тут вот он и стал толковать неладное такое. «Хорошо ж,— говорит,— коли не было мне талану ни в чем, стану я искать в другом каком месте, а к вам,— говорит,— приду не такой, по мне, мол, либо полон двор, либо корень вон, а уж к лихому человеку понаведаюсь». И пропал из деревни-то, что Лукешка же его. Да вот в наших местах и нашел человека-то экого, Михея-то Иваныча. Я согрешила, окаянная,— и жилье-то его указала. У земского у Терентья, в Матюшкиной деревне-то, в Раздерихе-то, на то время, сказывали, денег тридцать рублев бумажками пропало, и на вора указать не смогли, а Матюшка-де Михею, слышь, може, опять тридцать рублев за науку-то дал и через двенадцать ножей кувыркался: такой-де колдун стал! Да не наше это дело-то: поклеплешь, сказывают, на чужую душу — своей худо будет. У тебя в кабаке и деньги-то эти, слышь, отдавал Матюшка Михею-то, а я ведь не то чтобы... не для худа. Что сказывают, по тому и смекаем. А ты не бей, убогая ведь я, и зашла-то попрощаться — в Соловецки пробираюсь, кормилец! Порадей на убогое место копеечку во имя Христово! — выпела побирушка своим заученным плаксивым голосом в заключение рассказа и — получила-таки вспоможение.

Вернулся Матюха в свою деревню почти через месяц, стал показываться на улице веселым таким и далеко не сумрачным, как все предполагали. Вскоре стал являться и в избах, как добрый земляк и сосед, и на образа крестится не старым крестом, а все тем же — прежним. И хозяев приветствует по обычаю и здравствуется добрым пожеланием: «Все ли добро поживаете, подавай вам, господи, добрым советом и согласием на века вечные».

Стали его спрашивать:

— Где это ты пропадал, Матвеюшко?

Молчит, как будто вчера только не был тут.

— Сказывают, стращал ты нас чем-то недобрым на отходе?

Улыбается Матюха и на этот вопрос и рукой машет,

как будто отмахивает от себя все злые наветы и наговоры соседей.

Более любопытные и сомневающиеся уходили дальше и между разговорами, как будто невзначай, упоминали имя колдуна Кузьки. И на это Матюха отвечал решительным вопросом:

— Кто с такими негожими людьми знается?

— А в кабаке Заверняйко бываешь?

— Да коли на путь попадался да выпить хотелось — заходил погреться.

— А целовальника Калистрата знаешь?

— Рыжий такой да толстый? Видал.

— Он ведь Кузьке-то, колдуну, сердечный друг, все, слышь, краденые вещи от него принимает, за одно-де с ним.

— А кто их знает! — отвечал обыкновенно сердито Матюха всем одно и то же.

А сам между тем и в сельский кабак стал заходить после обедни и не буянил там, не запойничал. Сказки прежде охотник был рассказывать — теперь и красные девки не допросятся, не только ребятишки.

Лечить попросили его — на то-де знахари да знахарки живут на белом свете. Нанялся под конец в батраки на полевые работы, так никто против него не был ретивее в этих работах.

Стал, одним словом, Матюха совсем иным человеком.

— И лезет же вам, бабы, в шабалы ваши такое все несхожее да негожее,— толковали потом большаки,— ну-ка место какое: Матюха-де колдуном стал! Да видано ли где, что колдуны в батраки нанимаются да от лечьбы отнекиваются. Охоч парень был до сказок да пригрозил в сердцах — вы и на толки нищей братии развесили уши. Было бы слушать кого! А то ишь что выдумали, непутные, право, непутные!..

Но и этим дело не завершилось — бабы творили свое.

На другой день Ивана-летнего вот что рассказывали они шепотом сначала друг другу по принадлежности, а потом и самим большакам:

— Агафья — барский подпасок — перед зарей на реку вышла и видела-де мужика на раменьях, в рубахе без пояса и без лапоток, на босу ногу, ходит-де да траву какую-то щиплет. А как стала заря заниматься, мужик-то завернул траву эту в тряпицу, подпоясался и лапотки обул, а Агафья-де стала ни жива ни мертва: мужик-

от Матюха был, нечесаный такой, словно битый. Сказывают нищенки, что-де адамову голову собирал, трава-де такая есть, что нечистых духов показывает, нарядными-де такими кукшинцами кажет, и при себе носить надо... И другое разное такое те нищенки сказывали...

— Нет, бабы, что-нибудь и так, да не так. Матюха сказывает, что на повете-де спал, а по ночам боится ходить, не токмо на иванов день, когда и лешие бродят, и мертвые из гробов встают и плачутся,— решили мужики. И продолжали-таки горой стоять за Матюху и не опрашивали его потом ни одного раза, боясь рассердить и озлобить.

Когда, таким образом, мужики, всегда туго поддающиеся на всякую бабью сплетню, примирительно смотрели на все, что говорилось про Матюху, сами вестовщицы не остановились на одном.

Еще спустя немного времени они опять перешептались между собою и опять окликали мужей новейшими новинками:

— Слышал ли, Кудиныч?

— Опять, чай, про Матюху да про колдунов?

— Нету, не про него, про Прасковьюшку.

— Чего с ней такого недоброго?

— Выкрикать стала.

— На кого?

— Не сказывает пока, а знобит-де ее болесть, начнется-то, мол, в горле перхотой попервоначалу и стоит там у сердца-то недолго — вниз скатывается, да и ухватит у сердца-то и нажмет его так, что и себя-де невзвидит и не вспомнит ничего, ругается-де затем таково неладно! От лукавого, мол, это, от напуску: душу-то де лукавый не замает, а все за сердце-то у ней щемит и таково туго, что сердце икать-де начинает, глаза под лоб подпирает; по полу валяется — мужики не сдерживают, откуда сила берется. Все ведь это от нечистого, все от него!

Немного спустя опять новые вести:

— На Федосьюшку икоту наложили, и она вопит; говела на успенье, к причастию хотела идти — не пустила болесть. Степанидушка за обедней выкрикала, когда «Иже херувимы» запевали, вывели — перестала. Просил у ней Матвей-от кушака, слышь, каламянкового запрежь того — не дала: за то-де...

Но и этим вестям мужики не давали веры; наконец сами видели всё и слышали — и все-таки стояли на сво-

ем, пока не втолковали бабы, что берет-де немочь все больше молодух, да и из молодух именно тех, к которым присватывался когда-то Матюха.

— И зачем Матюха,— прибавляли они,— им свой солод навязывал, когда станового на мертвое тело выжидали и потому пива варили? Сказывал им Матюха, что мой-де солод сделан так, как на Волге делают, а потому-де и крепче. Чем же наш-от худ, впервые, что ли, земских-то поим, и не нахвалятся?..

Задумались мужики, навели справки — вышло на бабье: Матюха продавал солод. Спрашивали его — не отнекивается.

— Зачем же? — выпытывают.

— Да залеживался.

— Много ли его у тебя было?

— Пуда полтора.

— Ты, Матвеюшко, дурни с нами не делай! Мы ведь люди крещеные.

— А я-то какой? А с чего мне с вами дурню-то делать? Не обижали ведь вы меня, а слово — не укор.

— Ну а бабы что тебе сделали?

— Бабы-то сделали? И бабы ничего не сделали.

— Ты, Матвеюшко, не обидься, коли мы тебя в становую квартиру с Кузькой сведем.

— Пошто обижусь? Сведите!.. А не то подождали бы малое время — мы бы... я бы позапасся.

— Да не надо, Матвеюшко, твое дело правое — не спросят, зачем запасаться?

— Обождите!.. Али уж коли на правду пошло — пойдем и теперь, пожалуй! — выговорил Матюха тем резким, решительным тоном и голосом, который заставил мужиков немного попятиться и с недоумением посмотреть друг на друга.

Пришли к становому. Спрашивает и этот:

— Опаивал, оговаривал?

— Нету.

— А сибирскую дорогу знаешь?

— Какую такую?

— По которой звон-от на ногах носят?

— Ну!

— А вот тебе и ну! Покажите-ка ему!

Зазвенели кандалы, Матюха попятился.

— В полчаса готов будешь; стриженая девка косы не успеет заплесть — зазвенят на ногах. Кузьму Кропивина знаешь?

— Не слыхал, а может, и знаю, ваше благородие.

— Пишите! В кабаке Заверняйко бывал?

— Там бывал, бывал не однова.

— Один?

— Не один, с Кузьмой бывал и с другими бывал.

— Пишите! На первый раз будет и с меня и с него.

С этого дня Матюха уже не был свободен.

Через пять уже лет, когда видели его и на большом прогонном пути и на дороге в суд, сказывалось на площади во всеуслышание такое решение:

«Кузьму Кропивина наказать плетьми, дав, по крепкому в корпусе сложению, тридцать пять ударов, и по наказании отдать церковному публичному покаянию, что и предоставить духовному начальству; касательно до Матвея Жеребцова, то как Кропивин уличить его не мог ничем, а верить ему, Кропивину, одному не можно и за справедливое признавать нельзя и упоминаемый Жеребцов ни с допросов, ему учиненных, ниже на очной ставке, данной ему с Кропивиным, при священническом увещании, признания не учинил, то в рассуждении сего, яко невинного учинить от суда свободным и по настоящему теперь нужному делу посева хлеба времени и домашних крестьянских работ препроводить его в свое селение, а Кропивина содержать под караулом».

— На мир Матюхе клепать нечего — выручил мир, хоть и по самое горлышко в воде сидел. А Кузьке поделом — зашалился больно и меня ни за что ни про что подвел — перепутался. Ну пущай посидел я немного в негожем месте, да у меня хозяева есть, хорошие хозяева, можно за них бога молить — откупили... то бишь оправили и опять в кабак сидеть отослали! — хвастался Калистрат-целовальник спустя уже многое время после того, как провели столбовой колдуна Кузьму.

— А примешь, Калистратушко, сибирку синюю купецкую? Неможется — выпил бы,— перебил его робкий голос одного из гостей-слушателей.

— Спроси хозяйку мою, сам не принимаю ноне...

— Что так, Калистрат Иваныч? — в один голос выговорили посетители.

— Да чтоб с живого лык не драли: теперь, брат, и я старого лесу кочерга и меня на кривых-то оглоблях не объедешь тоже — первая голова на плечах и шкура невороченая. Всякую штуку к бабе теперь неси, а мнека — деньги. Да и то, смотри, братцы, по-кабацки: что слышал здесь — не сказывай там. Прощайте-ко-с, запираюсь!

СОТСКИЙ

В квартиру станового пристава между многими просителями и другими мужичками, имеющими до него дело, или, как говорят они, касательство, пришел один, приземистый, коренастый, в синем праздничном армяке и в личных сапогах, от которых сильно отшибало дегтем. Опросивши по очереди каждого, становой и к нему обратился с обычным вопросом:

— А тебе что надо?

— Да так как теперича, значит... дело мирское, мир, выходит...

Проситель при этом дергал урывисто плечами, переступал с ноги на ногу, разводил руками: видимо, не приготовился и тяготился ответом. Становой понял это по-своему:

— Что же, обидел тебя мир?

— Это бы, к примеру, ничего: мир вправе обидеть человека, потому как всякой там свое слово имеет, и я...

— Ты, пожалуйста, без рассуждений, говори прямо!

Становой, видимо, начал досадовать и выходить из терпения.

— Вот потому-то я и пришел к твоему благородию, что так как у нас сходка вечор была и сегодня слитки были по этому по самому по делу...

— Это я вижу... Не серди же меня, приступай! Вас много — я один: толковать с вами мне некогда — всех и всего не переговоришь.

— А вот я сказываю тебе, что я, к примеру, в сотские приговорен. Положили, выходит, сходить к тебе: что-де скажешь?

При последних словах становой поспешил осмотреть нового сотского с головы до ног раз, другой и третий.

— Ты такой коренастый — драться, стало быть, любишь?

— Пошто драться, кто это любит. Драться, по мне,— надо бы тебе так говорить — дело худое...

— Я тебя, дурака, рассуждать об этом не просил. Рассуждать у меня никогда не смей. Не на то ты сотским выбран, чтобы рассуждать. Твое дело исполнять, что я рассужу. Ты и думать об этом не смей.

— Ладно, слышу. Сказывай-ко, сказывай дальше. Я ведь темной, не знаю... Поучи!

— Если не любишь драться, так, по крайней мере, умеешь?

— Ну, этого как не уметь, этому, уж известно, с измалетства учишься...

— Водку пьешь?

— Да тебе как велишь сказывать, бранить-то не станешь?

— Говори прямо, как попу на духу.

— Водку пью ли, спрашиваешь? Занимаюсь.

— А запоем?

— Загулами больше, и то, когда денег много, жена...

— Об этом ты и думать не смей. Выпить ты немного можешь, хоть каждый день, потому что водка и храбрости, и силы придает. Это я по себе знаю. На полштоф разрешаю!

— Это... Покорнейше благодарим, ваше благородье, так и знать будем. Сказывай-ко: еще что надо?

— Палку надо иметь, держать ее всегда при себе, но действовать ею отнюдь не смей.

— Это знаем, что-де именины без пирога, то сотский без падога. Пойду вот от тебя к дому — вырежу. Еще что надо?

— Значок нашéй на груди подле левого плеча; на базарах будь, в кабаках будут драки — разнимай; вызнай всех мужиков... Ну ступай! Принеси дров на кухню ко мне! Марш!

Становой при последних словах повернул сотского и толкнул в двери. Сотский обернулся и счел за благо поклониться.

Таким образом утверждение кончилось. Умершего (и почти всегда умершего) сотского сменил новый, которому тоже износу не будет, как говорят обыкновенно в этих случаях люди присяжные, коротко знакомые с делом.

— Ну что, как ты, Артемий, со своим со становым, привыкаешь ли?— спрашивали его вскоре потом добрые соседи и ближние благоприятели.

— Ничего, жить можно!— отвечает им новый сотский, почесываясь и весело улыбаясь.

— Чай, бранится, поди, да и часто?

— Бранится больно часто!.. Да это что... Горяч уж очень.

— А за што больше ругает: за твою вину али свою на тебе вымещает?

— Да всяко. Ину пору сутки трои прибираешь в уме, за что он побранил, никак не придумаешь. Так уж

и сказываешь себе: стало быть, так, мол, надо, на то, мол, начальник — становой.

И слушатели, и рассказчик весело хохочут.

— Ну а как, охотно ли привыкаешь-то?

— Известно, была бы воля — охота будет. По хозяйству-то по его правлю должность. Угождаю, довольны все!.. Одно, братцы, уж оченно больно тяжело!

— Грамоте, что ли, учит?

— Этого не надо, говорит. С неграмотным-де в нашем ремесле легче справляться. А вот уж очень тяжело, как он тебе стегать виноватого которого велит, тут... и отказаться — так впору.

— Нешто уж тебе привелось?

— Кого стегали-то?— спрашивали мужики.

— Не из наших. Тут уж больно тяжело с непривычки-то было. Мужичоночко этот, слышь, оброк доносил к управителю. Принес. Высчитали, дали сдачи, рад, значит, в кабак зашел. Выпил и крепко-накрепко. В ночевку попросился. Отказали: «Нет-де, слышь, знаем мы таких, что, коли-де в ночевку попросился, пить затем много станешь — облопаешься. Ступай-де туда, откуда пришел». Ну и не выдержал он тут: пьяное-то, выходит, зелье силу свою возымело как следует; ругаться стал, его унимать — он за бороду того, да другого, да третьего. Полено ухватил, резнул за стойку — с двух полок посуду как языком слизнул. Тут, известно, платить бы надо. Стали в карманах шарить, а у него и всего-то там заблудящий полтинник. Исколотили его порядком, к нам привели. Поверенный, слышь, к барину ездил, жаловался. Он у нас сидел над погребом три дня. На четвертой и сошел барский приказ: дать-де ему с солью — и вывели. Мне велели розог принести. Принес. Раздевать велели — стал. Да как глянул я ему в лицо-то, а лицо-то такое болезное, словно бы его к смерти приговорили... слеза проступает — и, господи! Так меня всего и продернуло дрожью! Опустил я руки и кушачишка не успел распутать. А он стоит и не двигается. Мне спустили откуда-то, я опомнился, распутал кушак и армяк снял, и в лицо не глядел — боялся. Только бы мне дальше... Как взвоет сердобольной-от человек этот да как закричит. «Батюшки,— говорит,— не троньте! Лучше,— говорит,— мне всю бороду, всю голову по волоску вытреплите, не замайте вы тела-то моего: отец ведь я, свои ребятенки про то узнают, вся вотчина!!» Как услышал я это самое — махнул что было мочи-то обеими руками от самых от плеч от своих да и отошел в

сторону. Становой — на меня. «Нет,— говорю,— не стану, не обижайте меня!» Получил я за то опять раз, другой... С той поры я и пришел в послушание.

— Смекаешь, мол, теперь-то?

— Да что станешь делать, коли на то призван? Своя-то спина одним ведь рублем дороже...

И опять все смеются, хотя далеко и не тем искренним, честным и простодушным смехом.

Через несколько времени наш сотский рассказывал уже вот что:

— В одном, братцы, на его благородье хитро потрафлять: сердится часто. А уж сердится он на которого на бурмистра, с тем ты человеком и на улице не смей разговоров разговаривать, и в избу к нему не входи. Эдак-то вон намедни соснинской, досадил, что ли, нашему-то, и поймай меня у себя на селе. «Зайди,— говорит,— Артюша, ко мне, угощенье-де хорошее будет, да и поговорить, мол, надо». Отчего, думаю, не зайти к куму, коли зазыв он тебе такой ласковый сказывал? «Спасибо, мол, на почестях на твоих». И зашел. Выпили. Груздей поставил. Гуся, пирогов поели. Полтинник давал на дорогу — отказался. Барским сказывал — взял. Пошел, это, домой, шапочку на ухо, песенки запел: весело мне таково на ту пору было. Прохожий человек как-то встренулся — шапку ему снять велел: «Сотский, мол, идет, почтение давай-де и всякое уважение!» Шутил, значит. Да с веселого-то ума своего пройди в становую квартиру: со становенками, мол, поиграю! Дух, мол, такой веселый нашел: заодно уж; все же и напредки, мол, пригодится ласка эта. Зашел. Сказали самому, что пришел-де Артемий-от. Вышел он ко мне в сердцах, подбоченился. Плохо, думаю, дело: знаю, мол, я ухватку твою. Я молчу; он и начал:

«Где,— говорит,— это ты шуры-то разводишь? Подруги,— говорит,— сутки ищут тебя, не найдут. Что,— говорит,— не жаль тебе образа-то своего, не купленной, что ли? Знаешь манеру мою: люблю чистить».

«Как, мол, не знать порядка твоего, чего другого?» — думаю себе.

«Сказывай, где налимонился».

«А так, мол, и так...»

Все и поведал. Так он и досказать мне слов моих не дал, так и заревел... Я оправился, стряхнул волосья и ни слова не говорю противу этого. Потому, как уж не в первый раз, и знаю: отвечать станешь — опять заревет. Такой уж обычай имеет. Стал он опять сказывать:

«Вот,— говорит,— владыка на попов выезжает, подводы ему сбивать надо. Двенадцать лошадей под него, шесть под певчую братию, тройку протодьякону, шесть архимандриту, шесть-де под ризницу, три под исправника, три под меня и под все другое».

Где соберешь? А пора летняя, рабочая, все лошадки в поле, работают...

«Загуляевской, мол, вотчине черед, ваше благородие, знаю, мол!»

И угодил, думаю, сказом этим. Так нет, вишь, опять зарычал еще пуще...

«Ты,— говорит,— рассуждать не смей, когда начальство говорит. А ступай-де в Соснинскую вотчину, да там и сбивай, а загуляевского бурмистра ко мне пришли. Да так, слышь, и сделай по-моему».

Послал я загуляевского да и к соснинскому-то зашел. Старое угощение помню и сказываю: «Становой, мол, противу тебя сердце имеет, не в черед вотчину выгонять велел, да я до времени-де не стану; шел бы ты к нему да поклонился».

Он так и сделал. Так становой-от его и на глаза к себе не пустил, а велел позвать меня да и спрашивает:

«Ты,— говорит,— зачем опять своим умом жить стал и рассуждение имеешь?»

Молчу.

«Не надо,— говорит,— не надо».

И говорит-то это мирно таково! И ничего не делает.

Молчу.

«Ступай,— говорит,— на кухню, обожди».

Пошел я по его приказу, куда велел. Сижу я там долго, ничего это такова худова не думаю. Вижу, кучер его Гаранька приволок из сарая розог да и положил в воду. Посмотрел на меня, усмехается да и опрашивает:

«Знаешь,— говорит,— к чему это все клонит?»

«Как, мол, не знать, Гарасим Стефеич?»

«Смекай,— говорит,— про тебя ведь все это. Так-де приказано, и за сотскими послали-де на село».

У меня так и захватило сердечушко-то мое, защемило его, и в глазах помутилось. Вспомнил, как это в мальчиках было это дело, и еще того горше от думы от этой стало! Сижу, сам себя не ведая; на розги на те, что мокли, и не взглядывал. И пошли мне тут разные такие мысли: и про мужичоночка-то про того про сердобольного вспомнил, и барского холуя... Разных я тут вспомнил: как один молитвы вслух зачитал, как другой

удрал было из сарая-то. Вспомнил бабушкину молитву, что читать наказывала, коли сердится на тебя кто! «Помяни, мол, господи, царя Давида и всю кротость его». Что коли-де припомнишь ее, отойдет человек тот. Так и решил.

Пришли на тот час и наши сотские: Василий да Микита. Взглянули на розги, спрашивают:

«Али-де стегать кого хотят?» У меня опять ухватило сердечушко-то поперек. Смолчал.

«Не тебя ли де, Артюха?» — они-то.

Смолчал.

«За что?— говорят.— Какая такая провинность вышла? Али-де пьян был да подрался с кем? Красть-де ты не крадешь, кабаков не бьешь и господам грубостей не говоришь никаких».

Проняли.

«Сам, мол,— говорю,— братцы, не знаю, за что».

Ребята головушками покачали, тронули пуще. Сказываю все, как было. Молчат оба и опять головушками покачали. Хотел было я им тут просьбу свою сказать, чтобы полегче накладывали, да удержался. Совесть не поднялась. Сидим опять и молчим все. У меня опять сердечушко-то мое нет-нет да и обдаст всего его варом. Пытку я тут выдержал, братцы, такую, что никому не дай господи! И затем было... уж порядочно-таки было. Сердечушко так и опустилось все на ту пору — на самое, надо быть, на донушко. Оправился это я — сердце в злобе большой, сокрушения накопилось много. Поднес становой рюмочку, другую, ласково потрепал, сказывал много хорошего — простил я ему, забыл злобу. И с той поры и я к нему, и он ко мне — как будто и разладу никакого не было — друзьями стали. И правлю я ему, братцы, должность как следует: боюсь уж.

И действительно, что было у Артемья на словах, в мирских беседах, то было и на деле — в мирских собраниях. Разведет ли где православный народ базар, ярмарку и, по обычаю, подопьет и зашумит в ночи, пропивая без оглядки, без сожаления трудовой грош, не всегда лишний и всегда честный,— сотский мирит пьяных. Велит ему становой запереть в сарай вышедших из возможных границ буйства и пропойства — Артемий прежде приложит руку, потешит себя и потом уже поспешит буквально исполнить приказание. Понадобится ли сбить народ на мирскую сходку для толков о подушном, о дорогах — Артемий действует спешно и послушно, не забывая ни значка своего, ни кулаков, на кото-

рые уполномочил его становой пристав своею властию, своим правом и приказом.

И спросят его, бывало: «Что блажишь, Артюха? Смирной такой прежде был, а теперь словно белены объелся».— «А то,— скажет,— брат, что выбрал меня мир на такую на должность на собачью — стало быть, не уважил. А не уважил мир Артемия, и Артемий угождать ему не станет».

В этом был весь его ответ и все объяснение дальнейших поступков. Через полгода его узнать нельзя было: из мужика он сделался решительным сотским.

Прошла между тем ненастная осень со слякотью, заметелями, падью и другими ненавистными проявлениями непогодей.

Наступила зима. По большим торговым селам начались очередные еженедельные базары: в одном — по воскресеньям, в другом — по четвергам, в третьем — по вторникам. Кое-кто из домовитых, толковых мужиков-трудников считал уж в мошне залишнюю копейку, полученную за проданный избыток из предметов домашнего хозяйства, и, лежа на полатях в теплой избе, толковал с доброхотным соседом дружелюбно и миролюбиво:

— Все-то пошло у нас, кум, хорошохонько...

— Зима встала такая кроткая; снежку накидал господь вдосталь, и на базары выезжать спорко, и лошаденки не затягиваются,— добавлял от себя кум и сосед.

— И мир-то промеж себя зажил таково ладно: хоть бы те же базары взять. Наклевался на товар твой купец — не бойсь, не перебьют: тебе ему и отдать свое и почин получить. Хорошо, кум. Матерь божья, хорошо пошло!

— Со становым в ладах. Опять же исправник проезжал — не обидел. К мирским толкам поприслушаешься — тоже опять всем довольны. Одним мир скучает: сотской Артюха благует.

— С каких прибытков-то, чего ему мало?

— Поди вот ты тут... озорничает.

— Обидел его, что ли, кто али лешой на лесу обошел?

— Дело-то это, сказывают, вот как было. Пришел он в посадской кабак, в котором Андрюха сидит. Пришел-де и, слышь, и «здоровье» не сказывал. Мужичонко тут на ту пору такой немудрой сидел; посмотрел, слышь, на него впристаль да и крякнул. Опять же и ему ни словечка не молвил. Снял рукавицы, рукава засучил.

«Дай,— говорит,— мне, Андрюха, балалайку».

Известно, какой же кабак без балалайки живет, и Андрюха держал ее. Дал он ему балалайку, супротивного слова не молвил. Побаловал, это, он на балалайке-то, выбил нам трепака, что ли, какого, назад отдал. Опять взглянул на мужичонка-то на того впристаль, не спросил его... Ничего. Слушай. Перекинулся этак, слышь, через стойку-то, голову-то на стойку положил да и спрашивает Андрюху-то:

«А что,— говорит,— угощение мне от тебя будет сегодня?»

«Какое,— говорит,— тебе угощение? Давно ли, парень, полштоф-от раздавил, от меня ведь он тебе шел».

«За то тебе и «спасибо» сказывали тогда. Теперь за новым кланяемся».

«Мне,— говорит Андрюха-то,— давать тебе не из чего да и часто так. Мы,— говорит,— на отчете, с нас всякую каплю спрашивают. А ты что больно разлакомился-то? Проси, коли хочешь, у поверенного, вот на днях поедет выручку обирать. Даст он тебе, так и я слова не скажу».

«Ладно,— говорит,— коли у поверенного, так у поверенного!.. А ты не дашь?»

«Не дам,— говорит,— и не проси!»

«Ну, коли по закону,— говорит,— не поступаешь, ладно»,— говорит.

И изобиделся Артюха, крепко изобиделся; в глаза целовальнику в упор посмотрел, перегнулся назад, взял руки в боки, ноги расставил, глядит на мужичонка-то на того да и спрашивает его:

«Ты,— говорит,— какой такой?»

«А не здешний,— мол».

Артюха-то к нему, и рукава засучил опять.

«Ты,— говорит,— если с кем говорить хочешь, так должен узнать сперва человека того. Я,— говорит,— могу вон этот кабак разорить. Вот оно что».

Мужичонко только замигал на слова на его, а целовальник не вытерпел:

«Да ты,— говорит,— с того свету пришел али со здешнего?»

Ничего Артюха ему не молвил; опять пристал, слышь, к мужичонку-то:

«Я,— говорит,— таков человек, что вот поставлю промеж себя и тебя палку свою — и ты со мной говорить не можешь, потому я начальник!»

«Кто же набольшой-то у вас,— спрашивает Андрюха,— ты али становой?» И смеется. Мужичонко опять замигал.

«А кто,— говорит,— набольшой? Так вот я, слышь, станового-то и благородьем не зову, по мне он Иван Семеныч, так Иван Семеныч и есть. А ты понапрасну меня, Андрюха, не попотчевал даве на первой мой прос. Теперь уж я сам не стану пить».

И опять, слышь, к мужичоночку пристал. Много-де он ему тут всякой обиды сказывал, корил его всякими покорами. Мужичоночко на все молчал да и выговорил:

«Мы-де не здешние. У нас свои сотские, а ваших-де мы не больно боимся».

«А где,— говорит,— у тебя пачпорт?»

«Дома,— говорит,— оставил».

«Ну так пойдем-де, слышь, к становому. А тебе, Андрюха, не закон беглых людей принимать да паспортов у всякого у прохожего не спрашивать; об этом, брат, нигде не писано!..»

Мужичоночко нейдет с ним — он его в ухо раз... и другой... и третий.

Сталась, таким манером, драка у них. И что затем было!!... Артюха, слышь, в снегу очнулся за околицей, в крови весь и в левом боку боль учуял, крепкую такую боль, что словно-де туда пика попала. И пилила она его бесперечь, сказывали, недели две, насилу-де баней оправил, выпарил ее вениками, выхлестал, и то не всю. На левой бок свихнулся маленько да вот с той поры и ходит кривобоким. И прозвали его ребятенки селезнем.

Так с того ли самого али с покору целовальникова, когда тот за битого-то мужичоночка вступился да выговорил Артюхе, что «коли-де драться стал, так знай, мол, и моя отмашь не об одном суставе. Вчиню-де и я тебе нашинского!..» — испортился наш Артемий. К становому пришел. Тот заступился за своего за приспешника, и пошел благовать Артемий. Да вот и озорничает. Пришел, слышь, в кабак (да не в тот уж) и сказывает:

«Люблю я Ивана Семеныча за то, что он мне во всяком моем слове послушание оказывает и почитает меня. Придешь к нему на дом по его по вызову, станешь отказ ему делать, что вот-де, слава богу, кругом все хорошо, никаких таких происшествий не было, а что-де Матрена одночасно померла, так, от угару, мол. Возьмет он, это, меня за бороду, потреплет за нее, под-

лецом приласкает да накажет: «Ты-де в Митино пойдешь, так от меня поклон сказывай!» — «Слушаю, мол!» И стриженая девка косы не успеет заплесть, Лукешка у меня в становом огородке за банями снег уминает... И что там дальше — не наше дело! Я тем часом завсегда уж у становихи детям сказки сказываю, петухом пою, опять же по-телячьи... Соловьем свищу. Барыня сама выходит — слушает, смеется, чаем, вином поит. Наше дело такое — умей всякому угодить, а затем уж тебя никто не смей обижать. Вон обидел меня Андрюха посадской, взял я у него мужика небеглого. Мужика этого отпустили, а посадской кабак три дня заперт стоял. Тридцать, слышь, рублев у откупщика из мошны и вон. А мне с той поры ихний ревизор во всяком кабаке по полуштофу в неделе велел отпускать без отказу. Так и знаю!..»

Так объясняли себе мужики-соседи перемену в Артемье, так рассказывал и он сам о себе. Новые вести приносили немного хорошего. Артемий на все спросы говорил мало или совсем не отвечал; к соседям завертывал только за делом и не бражничал ни с кем из них и почти нигде, ограничиваясь исключительным правом получать от откупа выговоренное угощение. В избах у соседей являлся он только по должности с словесным извещением, и то не всегда входил в дверь, а удовлетворялся обыкновенно только тем, что стучал своей палкой в подоконницу. К стуку этому, всегда урывистому и громкому, давно уже применились бабы и при первых ударах умели отличить его от стука, например, нищей братии, которая стучит своими падогами обыкновенно слегка и учащенно и немедленно затем вытягивает свой оклик, небогатый словами, но глубокий смыслом. Заколотит Артемий громко-громко, изо всей силы, задребезжит стекло, и взвоет в люльке разбуженный ребенок, бабы перемолвятся:

— Надо-быть, опять горлодер Артемий — чего надо?

— Дома ли большак-от?

— А на полатях спит. С мельницы вернулся, умаялся, слышь.

— Буди его поскорее да гони к окну.

— Сказывай, чего надо, перескажем ему, когда очнется; вишь, недавно захрапел только... жаль!

Сотский в ответ на это еще немилосерднее застучал в подоконницу. Бабы опять разругали его промеж себя и опять окликнули через волоковое, всегда готовое к услуге, окошко:

— Да ты бы в избу вошел, отдохнул бы, молока бы, что ли, похлебал.

— Некогда... У нас дела... Мы на полатях не спим, нам некогда. Буди, слышь, а то окно разобью.

— Ну, вишь ведь, ты озорной какой, пошто окно-то бить станешь? Стекол-то здесь, чай, нетути — все из города возят, куплены ведь. Вошел бы...

Но сотский неумолим: он обстукивает оконницу со всех четырех сторон и заставляет-таки баб будить большака. Долго тот не слышит ничего, не может понять, наконец открывает глаза, щурится, опять закрывает и, повернувшись на другой бок, опять готовится заснуть. Но новый стук, и сильная брань под окном, и новые навязчивые толчки будильниц подымают его с полатей. Чешется, зевает, еле шевелит ногами, чмокает и опять зевает и потягивается, разбуженный не вовремя и не в добрый час. Подходит к столу, выпивает целый жбан кислого квасу, кряхтит, крутит головой и, только теперь приходя в сознание, с открытым воротом рубахи садится к открытому окну слушать начальнические требования неугомонного сотского.

— Партия солдатиков пришла,— слышится голос сотского,— троих поставить некуда, слышь! В твою избу велели, слышь! Приварок давай, слышь. Завтра уйдут в поход. Принимай-ко, слышь!

— Давно ли, парень, ставил? Шел бы к Воробьихе, ей надо!

— Начальство на тебя указало, слышь!

— А ты-то чего забываешь очереди-то?

— Чего указываешь-то, делай, что велят, слышь.

Сотский опять застучал в подоконницу.

— Бога ты не боишься. Если крест-от на тебе, что стучишь-то? Слышу ведь.

— Делай, что велено. Не ругайся!

К ругательствам сотского присоединяются новые ругательства. Бабы в избе тоже сетуют и перебраниваются промеж себя.

— Шли бы вы-то, крещеные люди, не по сотскому указу, а по своему по разуму.

— Наш разум таков: куда указывают, туда и идем,— отвечают солдаты.— А нам не на улице же спать.

— И то дело, братцы! А то гляди, сотской-от наш какой озорник, богоотметчик. Ладно, идите!

Солдаты входят, бранят сотского и вскоре успевают по старому долгому навыку умиротворить хозяев, всегда страдающих, по свойству русской природы, и всегда го-

товых умилиться духом, полюбить всякого сострадающего их горю, хотя и не всегда искренно, большею частию голословно.

Хозяева беззаветно и готовно напоят-накормят временных постояльцев всем, что найдется у них горячего и хорошего, всем, чего ни попросят солдаты, отпустят и с ними на дорогу и забудут вчерашнюю неприятность, хотя подчас и выговорят при случае и при встрече сотскому:

— Благуешь, брат Артюха, право слово, благуешь! На кого зол без пути, без причины, на том и ездишь, тому и кол ставишь, прости твою душеньку безгрешную господь многомилостивый.

Молчит Артемий на эти покоры, не вздохнет, не оправдается и опять так же назойливо, часто и громко стучит своей палкой в подоконницу: надо ли выгнать вотчину на поправку выбоин на почтовой дороге перед проездом по губернии губернатора, архиерея, вельможи-ревизора из Петербурга, надо ли мирскую сходку собрать, всегда крикливую и не всегда толковую, надо ли подводы сбивать под рекрутов, под заболевших колодников или чего другого. Повелительно, сухо высказывает он начальственные требования.

— И словно сердцем-то своим окаменел, сердечный?!— толкуют промеж себя мужики.— Ни он тебе расскажет: вот так-де надо, затем, мол, и оттого; ни он тебя лаской потешит, умирит. Все словно с дубу, будь ему слово это в покор, а не в почесть. Избаловался Артюха, совсем обозлился, словно на нем и не мужичья шкура, словно миру-то такого разбойника, такого мироеда и надо было. И вином ты его по-христиански не удовлетворишь, и ни на какую ласку не подается. Нуко, братцы, дурь какую задумал, ну-ко на какой грех душу свою запропастил. Эко не рожоно, эко не крещено дитятко!

— А что-то еще выдумал?

— Да выдумал-то он по десяти копеек со двора сбирать.

— За какие же за такие корысти? Мало нешто и тех поборов, что есть. Эка пора, не рожоные и есть, не крещеные дитятки!

— Становому-то, слышь, деньги понадобились: мало, вишь, у него их.

— Рассказывай-ко, рассказывай, слушаем!

— Значит, святки на дворе, надо свечей много, водки тоже, потому как пляски плясать барышеньки да

барыньки наши ряженые приедут, без угощения нельзя. На другой раз, пожалуй, не приедут. Ну вот он по самому по этому делу и позови Артюху-то. (Лукьян сотской в кабаке рассказывал.) Позвал Артюху-то. «Ты,— говорит,— мне придумай такое дело, чтобы у меня рублей десять на серебро было, потому как я тебе верю и знаю, что у тебя голова не брюква, а из золота кована, жемчугом низана». Ну вот она, жемчужная-то голова, от большой трезвости от своей и поразгадала, попридумала.

«Вишь,— говорит,— ваше благородие Иван Семеныч, не на всякой, слышь, избе доски с обозначением, кому и с чем на пожар бежать: с ведром ли, с лестницей ли, с лопатой али с кобылой. Вели оправить, а кто не может, пущай деньги дает».

Тот ему за эти слова в темя целование, на руки благословение и крепкий наказ:

«Губернатор-де велел это дело сделать и отставкой-де пристрожил меня, коли ты-де, Артюха, не сделаешь».

Вот и пошел наш Афанас по бедных нас. Собрали-то, надо быть, много. Иван Кузьмич соснинской сказывал, слышь, на Артемьев-то сказ такое: «Нате-де вам вместо гривенника три рубля на серебро, а уж-де дощечку-то я сам нарисую, вы-де и не беспокойтесь о том. А коли-де кто по бедности такого дела не сможет, ко мне опять приходи — еще дам!» И нашлась-де Агафья-нищенка (и к той-де Артюха-то спьяну зенки-то свои бесстыжие принес), сама-де сказывала: «У меня душа за собой, да и та болезная, а мне уж,— говорила,— за доской за вашей и от смерти от моей не ухорониться». Пришел ведь, слышь, Артюха к Ивану Кузьмичу, по его наказу.

— Ну,— перебили слушатели.

— Отдал Иван Кузьмич за старуху десять копеек.

— Что же Артемий-то?

— Взял — известно.

— Экой черт, экой лешой, рука-то не отвалилась на ту пору?

— Нету, сказывают.

— Экой черт, экой лешой!

— Да уж это самое слово ваше верно; накопил-таки на душе чертовщинки-то, позапасся.

— Сказывают, напредки грозится. Выговаривал-де Артюха-то девкам: «Вы-де, слышь, ссыпчины-то не делайте; зима-де ноне крутая стоит, поседков, по книгам, значится, на тот год делать грех, так-де его благородье

и наказывал мне. Оставьте думать!» Орженухи-то наши, слышь, в слезы. «Так, слышь, поправить-де это дело в нашей силе». Со словами-де этими и отошел от них.

— Ну, знать, ответ держать ребятам придется, да и ответ-от денежный...

— Уж это не без того...

— Возьмут, други, возьмут и с них поручного. Быть делу этому.

— За ребят боюсь: и побьют Артюху...

— Да это и дело: на то и бьют, затем, знать, и пошел по непоказанной дороге...

Так толковали мужички перед святками, толковали после святок, когда поседки затевают уже без ряженых, хоть и с песнями до масленицы.

— А ведь ребята-то наши взяли свое...

— О чем это ты?

— Артюхе-то за побор его за поседки бороду выщипали.

— Поколотили, что ли?

— И поколотили, и полбороды выкосили: две недели подвязанный ходил, а снял повязку — борода что мочалка — одно только звание! Ходит и не стыдится...

— Ну!

— Обозлился теперь до зела! Как подвыпил, так и лезет изобидеть кого да облаять... Уж и бьют же — верно слово!

— Больно?

— В клочья треплют. Кажись, с тем и в гроб уложат. Да уж больно жаль!..

— Чего такого?

— Человек-от был допреж оченно больно хороший, а стал вот сотским, с того и пошло.

— Да уж это точно, что так: брось хлеб в лес — пойдешь, найдешь. Пошли же ему, господи, мир безмятежный да покой! А жаль, коли тем износится, право жаль. Христова ведь в нем душа-то, Христова. Вон, слышь, ономнясь у Прохора рекрута окликал: те, выходит, вестимо позамешкали. Жаль было: один ведь у них сын-от и всей радости. Пришел к ним Артюха в другой раз со строгим наказом. Пришел и взлаял по-своему, сердито: «При мне-де и лошадей впрягайте, мне-де велено и за околицу вас проводить». Ну, известно, начальный указ принес, слушать надо. Стали иконам молиться. Артюха стоит, ждет, свою, значит, должность

правит, приговаривает: «Торопитесь, мол, торопитесь, тугой-де поля не изъездишь, нудой моря не переплывешь». Его, известно, слушают, будто слушают, а сами ревут да прощаются. Артюха стоит с падогом со своим, словно на свадьбе, череда своего в угощении дожидает: не его-де дело! Глазом, сказывали, не сморгнул. Стали тем часом парня образом благословлять — воет парень. Артюха падожком своим постучал, слышь, об пол да и опять-де свое слово сказывает: «Скорей-де, братцы, скорей, ждать некогда». Перекрестили парня образом, старик Прохор все молчал, что и Артюха же. Стал свою речь сказывать: «Сердешной-де ты мой, единое око, последняя-де надежда на спасение!..» И все такое.

«Рубашку-то ты, слышь, любимую-то свою, красную-то надень, армячишко синий мой, штаны-то плисовые, сапоги-то де новые! Погуляй, покрасуйся на последний час свой, отведи свою душеньку-то, жемчуг ты мой самокатный, ангел ты наш хранитель-поитель. Вот двадцать рублев, слышь, уберег от своих от трудов грешных, не одну-де неделю копил... последние!..» Сказывает это Прохор-от, а сам дрожит и голосом переливает плачевно так.

«Возьми ты,— говорит,— деньги эти: гармонию себе купи, потешься, сколько сможешь, на трудовые наши деньги. Ведь наши оне, и никто-де их от нас отнять не может. Пропей-де ты их, слышь, прогуляй. Пущай пойдут оне прахом, лишь бы де на твое на последнее ликованье во своей вольной волюшке, в дому отеческом». Как сказал эти слова-то все старик Прохор, да как заревет, слышь, что молодое дитя, во всю свою силу, да как кинется на шею к парню-то... Сказывают, у Артюхи слеза на ту пору проступила, и он заревел, затем-де, слышь, из избы вышел. Вернулся, сказывают, на другой день трепаный такой, скучный. Говорит — голосом дрожит, и смирно таково и ласково. «Я-де,— говорит,— становому сказывал, что прихворнул парень-от твой, в два-де дня не оправится».— «Нет уж,— говорит,— спасибо, Артемьишко, дальше откладывать — тяготы больше. Бери,— говорит,— да и вези, коли велено!» Так, слышь, Артемий-от ни слова на это, опять прослезился. «Везите,— говорит,— сами, а я не пойду; я,— говорит,— и на облучок не сяду: невмоготу, мол, мне». Так и не сел, так и не выпроваживал за околицу. И ровно бы на две недели, замечали, посмирнее стал: озорства от него большого не видать. Все либо, слышь, дома, либо у ста-

нового сидит, а чтобы эти крючки свои, нет, не закидывал, не задевал никого!

— Ну а теперь-то, мол, как?

— Да уж известное дело: поваженой, что наряженной — отбою не бывает; опять дурит по-старому...

— Экой не уладистой какой, экой не угребистой — мироед.

— Мироед и впрямь! К колдуну бы, что ли, сводить его, тот не поможет ли?

— Не поможет.

— Так к знахарке, что ли?

— Не пойдет.

— Ну и считай, знать, опять дело пропащим.

— Так, знать, и будем считать до другого сотского или до нового станового.

— А Артюха как есть пропащий человек, так и будет.

— Так, брат, сосед дорогой, и будет, так и будет: Артюха — пропащий человек. Это как перед богом.

ПОВИТУХА-ЗНАХАРКА

Лежит мужичок на полатях — сумерничает: уповод на дворе еще непоздний, и в избах не зажигали лучины. Лежит мужичок и нежится, сон не берет его, а лезут в голову разные мысли: вот хотелось бы ему пройтись по деревне нáбольшим, чтоб всякий давал почет и ему, и хозяйке-сожительнице. А то — он и в выборных бы миру не прочь послужить, лишь бы не в сотских только.

«Замотаешься!— думает он, да опять же и про набольшего надумал.— Не рука и набольшим быть — не выберут... Всякому, знать, зерну своя борозда, а давай нам тюрю да квасу, было бы за что ухватиться и зубами помолоть... вот оно что! А что и бога гневить: хозяйство веду не хуже кого, всего вдоволь — и скота, и птицы, и землицей мир не обидел; вон и ребятенков возвел. Не морю их, не пускаю по подоконьям...»

Мужик повернулся, скрипнул полатями, обхватил голову руками и опять призадумался:

«Одного не пойму, что хозяйка совсем захилела: вон лежит на печи, словно пень алибо колода какая, а работящая баба, не во грех сказать, на печи-то ее не удержишь в другую пору. Совсем захилела баба, совсем; сел даве за стол, глядь: и щи не дошли, да и каша пе-

репрела. Стал говорить — ответу не дает толком. Все на подложечку жалуется; не то дурит, не то обошел ее какой недобрый человек. Взял бы плеть... так время-то, кажись, не такое: по лицу веснухи пошли, да опять же и тяжелина...»

— А которая тебе, Мироновна, пошла неделя?— окликнул мужик сожительницу.

— Да вот, считай, с заговенья-то на петровки: которая будет?

— То-то, смекаю, Мироновна, не пора ли?

— Ой, коли б не пора, кормилец,— всю-то меня, разумник мой, переломало: и питье-то долит, и ноженьки-то подламывает, вот к еде-то и призору нет... Ни на что бы я, сердце мое, не глядела. Даве от печи словно шугнул кто: еле за переборку удержалась; в головушке словно толчея ходенем ходит; утрось пытало моторить...

Мироновна не вынесла и заплакала; мужичок опять заскрипел полатями.

— Да ты бы, Мироновна, поспособилась чем!— заговорил он после продолжительного молчания.

— Напилась даве квасу, ну словно бы и полегчело. А вот теперь опять знобит. Душа-то ничего не принимает, разумник, позыв-то не на то, что следно брать: глины бы вон я от печки поела, пирога бы калинника пожевала...

— Нишкни-ко, нишкни, Мироновна, никак у тебя к концу ведет? Давай-ко бог этой благодати на наше бездолье. Да смотри же ты у меня, опять рожай парня, а я вот тем часом пойду да баню тебе истоплю. Пораспаришь косточки-то — полегчает. Вот я ужо...

Мужичок слез с полатей, захватил топор, сходил истопить баню, вернулся назад, подошел к печи и опять окликнул Мироновну:

— Что, спишь ли, Лукерьюшка, спишь ли, кормилка? Али уж тошно больно стало? Нишкни же, нишкни, дока!.. Вот я позову повитуху, добегу хоть до тетки Матрены!.. Уж и мне-то, глядя на тебя, такового тошно стало!..

Мужичок махнул рукой, повертелся по избе туда да сюда и опять ушел вон.

Вот он уже у тетки Матрены — деревенской повитухи-бабки. Кланяется ей в пояс и просит:

— А я опять со своей докукой, тетушка Матрена. Большуха-то у меня калины попросила; опять никак на сносе, подсоби.

— Как же не на сносе, Михеич! По-моему, ей еще вечор надо бы... на тридцатую-то неделю шестая пошла...

— Не откажи!— просит Михеич.— Ты вот и Петрованка повивала, и Степанко, и Лукешка от тебя шли; прими — куды ни шло, еще какое ни на есть детище. Рука у тебя легкая — так по знати тебе и веру даешь: к другим нашим бабам и не лезу...

— Ладно, ну ладно, Михеич!..

— Полтину-то я уж от себя сколочу, ну там, поди, с кумовьев пособерешь, будет тебе за повит-от. Овчины я сейчас припасу, бери только бабу да и веди в баню...

И Михеич опять поклонился в пояс; думает, задурит баба, заломается, хоть и за своим же добром пойдет; сказано: женский норов и на свинье не объедешь — ни с чего иную пору чванятся. А поклониться ей, не надломить спины, не волчья же у мужика шея, не глотал мужик швецова аршина.

— Ладно, ну ладно!— говорит повитуха.— А сколько ты посулил за повит-от?..

— Грешным делом полтину медью отвалю тебе, тетка Матрена, не стану врать — дам пятьдесят копеек, не ругайся только!..

— Ну а припасы-то какие будут?

— Да уж на этом стоять не станем — приходи да и хозяйничай. Я тебе и поросенка зарежу, и барана зарежу, куды ни шло! Сама и сметаны напахтаешь!..

— В кумовья-то кого позовешь?

— Да брат Семен будет и Степанида, Базиха Степанида...

— Что ж ты бурмистра-то не попросил, аль заломался?

— Не то, тетка Матрена, заломался! Да нужно ведь и честь знать. Вон Лукешку принимал, говорит: в последние принимаю, ни к тебе, ни к кому не тронусь; изъяну, слышь, много, а крестники-то разве кулич принесут на пасхе, а о рождестве, глядишь, самим денег давай. И так уж их у меня больше десятка... Пускай, говорит, Евлампий-земской крестит, тому это дело совсем нанове. Благо ведь приохотиться, говорит, к этому делу, а там — подавай только...

— Так ты бы лучше земского попросил, Михеич, все же и тебе лучше. Вон он, толкуют, гужей накупил, дуги гнет — так лавку, слышь, открывает; кузницу, поговаривают, у Демки скупает...

— Лучше по родству, тетка Матрена, водиться; и Евлампий чванлив больно, богат — так и занозист... Мы ведь с тобой и в лаптях ходим, да не спотыкаемся, а и брат — мужик хороший: три коровы на дворе, опять и жена тяжела... Сама знаешь: тебе же на руку...

Еще раз поклонился Михеич в пояс, но повитуха Матрена не ломалась больше. Вдвоем стащили они роженицу в баню, и увидел здесь Михеич свою радость, хотя и не в первый уж раз. Видел, как повитуха дала роженице сначала воробьиное семя, а потом стакан вина и на закуску — кусок круто посоленного черного хлеба. Видел, как поили потом его жену пивом с толокном, и знал, что и впредь ей не будет запрета ни на какую пищу.

Вечером собрались у колодца две бабы-соседки — воды накачать и повели пересуды.

— Смотри-кось,— говорила одна,— новый месяц никак народился, гляни-ка, мать, какой лупоглазый вылез; знать, наутре-то сиверком завернет...

— А видела, дева, как даве Михеич-то из бани выскочил?

— Нешто, родная, запарился?

— Чего, мать, запарился; сама-то, слышь, родила, ведь она на последях ходила...

— Кого же бог дал — бычка или телочку?

— Опять, дева, парнем прорвало. Выбежал, слышь, даве из бани, словно сблаговал. Ухватил меня за пониток да как крикнет чуть не на всю-то деревню: «Радуйся, слышь, Агафьюшка, третьего парня рожаю!» А мне-то что? По мне бы, девоньку-то лучше!

— И по мне-то, дева, кажись, девонька-то лучше. Ну давай ему бог, над его бы семьей и сбывалось — мужик-то ведь он больно хороший. Чего ни попросишь, всего дает, коли б не перечила ему большуха-то...

— Зелье-баба, и говорить нечего; попроси горшочка — задавится,— говорила другая баба и расписала бы Михеича хозяйку хуже всего, если б не перебила ее первая баба:

— Кого же они, мать, повивать-то взяли?

— Опять, дева, те же завидущие, бесстыжие глаза, опять Матрена криворотая!.. Уж такая-то прорва, такая-то волчья снедь, ненасытиха! Все бы тебе она поперечила. Вон пришла я летось к Скворцу на повит, и дело было сладили за полтину. Она тут и подвернись, ненасытиха-то эта и подвернись: да у Агафьи, гово-

рит, рука тяжела, кость широка, да у ней, говорит, глаз недобрый, обыку, говорит, не имеет; у Базихи ребенка, слышь, заморила... У, прорва эдакая! Волчья снедь! Уж я ж ее допеку!.. Вон на месте мне тут провалиться!..

И ничего больше не узнала любопытная допросчица — первая баба, как ни пробовала, как ни пыталась разговорить соседку, но добилась только одного, что та и глаза Матрене песком заслепит, и на задах поймает — в косы вцепится, со свету сгонит Матрену: пусть-де она не перечит другим, не супротивничает. От других уже кое-как допыталась расспросчица, что сам-де Матрене полтину посулил за повит, брат самого идет отцом крестным, Базиха рубаху начала кроить — стало быть, в матери крестные назвалась; послезавтра, может, будут крестины, а может, и нет... А сам-де куды шибко радуется — то в баню забежит, то опять вернется в избу, поиграет здесь со старшенькими ребятенками да и опять лезет в баню. И зачем его носит туда — студит только.

Но вот словно и угомонился отец: разделся, прилег на полати, свесил вниз голову, ласкает ребятишек, улыбается, подушки в одного парнишку бросил и — спать бы. Нет, Михеич опять зашевелился, раз пять перекинулся с боку на бок и опять-таки спрыгнул с полатей, и опять стал суетливо оболокаться. Потом подбежал к зыбке, покачал ее за кромку, да вспомнил, что пустая была еще эта зыбка, потрепал старшего мальчика за волосы в виде ласки, но не поняли буки-ребята этой ласки — разревелись. Отец того да другого погладил по голове, тому да другому посулил купить пряников да орехов. Вот опять вышел в сени и опять вернулся назад в избу: шапку забыл на полице, да и вместо лаптей были на ногах у него туфли — берестяные ступанцы. Отец поправил оплошность, бессознательно перебрал на столе обглоданные, замусоленные кусочки ржаного хлеба, забытые ребятишками,— и не прибрал. Порылся в ставце — и ничего не вынял. Заглянул зачем-то за переборку, толкнул ногой в голбец — и не притворил двери. Наконец опять вышел на крылец, спустился на улицу, но не пошел в баню, а прямо-таки в свое приходское село.

— С требой уехал!.. Помирают!— говорила ему отца Ивана работница.

— Я подожду; ведь, поди, скоро приедет?

— Чего скоро — почитай, только что, только уехал!

— Я подожду, подожду, а скоро обещали?

— Кто ж его знает? Срок-от с ним! Дьячком-то Изосим поехал,— добавила от себя работница.

— Ну вот, поди ты!— бессознательно вымолвил Михеич.— А я,— как тебя звать-то?— я... подожду лучше...

— Чего тебе надо сказать — я, пожалуй, молвлю батюшке-то.

— Паренек, кормилица моя, родился, паренек... И такой-то, мать моя, гладкий да тяжелый, уж такой-то резвунко, девонька, родился! В меня, бают бабы!.. Да и на матку похож, славный будет, во... славный! Завтра в избу перетащу и зыбку уж навязал на ту притчину...

— Да ты из какой деревни?— перебила работница каким-то плачевным голосом и, подхватившись локотком, пригорюнилась.

— Из ваших, мать, из соседских... вон, с поля на поле! Сказывают, гоны трои будет, а по мне, так и двух не наберется...

— Там моя сестра зимусь на супрядках гостила,— сказала с глубоким вздохом работница и еще больше пригорюнилась.

— Нешто померла сестра-то?— спросил Михеич, готовый в эту минуту сострадать всем и всему. Стало ему жалко, крепко жалко сироты-работницы.

— И — что ты, батько, с чего б помереть? Так только гостила!..— сердито вскрикнула работница и отняла ладонь от подбородка.

— А скоро ли сам-от приедет?— опять за свое ухватился отец.

— Сказала: с ним срок! Ну и проваливай.

— Нет, уж я подожду лучше!— закончил докучный допросчик и сдержал свое слово.

На третий день отец привез новорожденного парня в село, здесь отдал его на руки кумовьям, чтобы те отнесли его в церковь, а сам опять зашел к священнику просить его дать парню имя.

— Как же ты сам возжелаешь нарещи его?— спросил священник.

— Твое дело, батюшко — отец Иван: какое хочешь, то и ладно, по мне... Сам знаешь, все на тебя полагаю, на то ведь уж ты и приставлен.

— В сей день Анемподисту празднуем!— отвечал отец Иван и слышал, как Михеич перевертывал имя на

разные лады, словно балалайку настраивал, и наконец-то поймал:

— Енподист, вишь, Енподист... Хитро больно имя-то, батюшко. Дал бы ты какое ни на есть попроще, а то переврут дуры-бабы!

— Еще память Герасима.

— Как ты, батюшко, молвил? Ровно не вслушался. Никак опять...

— Герасима!— перебил священник.

— Ну вот и ладно, батюшко! Никак и выйдет-то Гаранька, коли по скорости надо. Благослови, отец Иван, кумовья-то в церкви!..

И стал Михеич с Гаранькой — свежим детищем, новой утехой и радостью, будущим кормильцем и помощником!

Пока он был на селе, в избе его повитуха подняла пыль коромыслом: *напекла-нажарила, наварила-напарила,* приготовила все, что припас хозяин, уложила роженицу за переборкой, накрыла на стол и поджидала дорогую роденьку хозяев, батюшку-священника с матушкой-попадьей и дьячка со старухой просвирней. Гости уселись за стол: священник с женой в переднее место под тябло, рядом с ними кум с кумой, ближе к краю дьячок с просвирней, против них — родня хозяев, а с самого краю и большак в семье, сам Михеич, потому что с него и начнется сейчас угощенье.

Бабка-повитуха засуетилась, забегала, схватила со стола принесенный родными подарок — горшок *порушки,* приготовленной из сушеной малины с медом, и отнесла его за переборку, откуда, накормивши роженицу, явилась с другой порушкой, которую приготовила сама из пшенной каши с перцем и хреном, страшно заправленной солью и только для прилики обсыпанной изюмом. Отец новорожденного попробовал, поморщился, да хоть бы и назад отдать, до того нехороша была эта поруша, но таков уж обычай, нужно было доесть стряпню бабки, которая к тому же и объяснила отцу, что вот-де, как твоя хозяйка третьеводни мучилась, так и ты поломайся теперь. Не нами-де сказано, что муж да жена — одна сатана, обоим и гуж заодно тянуть.

Но этим только не окончилось дело; Михеич должен был съесть еще ложку соли в то время, когда кум с кумой подняли пирог над головами с заветным желанием, чтоб «крестник их был так же высок, как приподнят пирог». Затем шло угощение кашей, за которую бабка получила от кумовьев деньги, а за вино, которое она

первому поднесла отцу, получила обещанные за повит пятьдесят копеек медью.

Остальной порядок и угощение шли своим обыкновенным чередом: первая чарка и первый кусок священнику, последняя — отцу и бабке. Гости церемонились, заставляя себя долго упрашивать, пока не подвеселились и не повели обыденные разговоры, в которых, по обыкновению, главная роль принадлежала священнику и самая последняя, незначительная — хозяину.

Священник говорил, что у них скоро благочинный будет новый, владыка по епархии ездит, так дьякона не мешало бы попросить. Мужички потолковали о том, что давно уж подумывал об этом и барин, да бурмистр не ручается за достаточность вотчины, говорит, что и одним-де можно удовольствоваться. Тут же кстати потолковали гости и о том, что в Онтушевской волости мужики землю оттягали и была у них свалка с деминскими такая горячая, что только и удалось залить в онтушевском кабаке. Гости говорили все громче и громче, так что разговор их перешел в какой-то шум, из которого только и можно было понять одно, что всякий как бы по заказу старался перекричать остальных. Затевались к концу и песни, но, по обыкновению, не ладились. Целую ночь, да и половину другого дня Михеичев сивко развозил гостей по домам, а самого большака только на другой день к обеду едва доискались в углу на повите.

Роженица недолго пролежит в постели: завтра же она будет возиться у печи, отрываясь только для того, чтобы покормить ребенка. Она и теперь не лежала бы за переборкой, если б не был на свете обычай класть на зубок новорожденного и непременно под подушку матери и если б не послаблял Мироновне муж-баловник.

Не задумалась бы она родить, как и многие деревенские бабы, на том же месте, где час приспеет,— будет ли это подле печи, среди чистого поля на пожне и покосе, во время самой спешной и трудной работы.

На другой день после крестин в Михеичеву избу то и дело приходили соседки на навиды, приносили посильный подарок: иная пирог, другая пасмы две ниток, иная успела сшить рубаху, другие просили простить, что ничем не могут порадеть — или по недостатку или по беспамятью. Одним словом, все было так же, как обыкновенно бывает на любых крестьянских крестинах.

Ребенок покрикивал сначала тихо, но с прибавлением числа дней и недель все громче и громче, так что подчас получал порядочные шлепки и громкую брань от матери, на попечении которой он и оставался до тех пор, пока не начинал сам ползать медведкой или стоять дыб-дыб, опираясь ручонками на лавки. Отцово дело тут сторона, разве иногда возьмет он сынишку на руки и, поднимая к потолку, начнет стращать букой или попугает его своей бородой, выигрывая на губах какую-нибудь дребедень. Дальше, когда парнишка начнет подрастать, он предоставляется вполне самому себе, а когда войдет в разум, то сам и радеть о себе должен; «вырастет с мать, сам будет знать, как из песку веревочки вить».

В наших деревнях, где едва ли не всякая баба исполняет обязанности повитухи, всегда уж найдется такая, которая исключительно посвящает себя этому занятию и, следственно, пользуется у рожениц особенным предпочтением перед всеми другими. Она вместе с тем и лекарка, и знахарка, и наговорщица — одним словом, такое лицо, без которого трудно, кажется, обойтись русскому человеку. К таким-то исключительным личностям принадлежала и тетка Матрена.

Происхождение ее очень просто: она почти всегда дочь тоже повитухи и редко принимается за свое заветное ремесло по собственному желанию. Это последнее обстоятельство совсем от нее не зависит. Оно устраивается как-то уже само собой, как у всякого другого русского простолюдина.

Смолоду у Матрены, разумеется, общее горе и радость, как и у всякой другой деревенской девчонки. На руках у ней вечно ребенок — сестренка или братишка, к которому она приставлена на правах няньки. С ним она обязана носиться целый день, пока не кликнет мать на насесто. Позовут ли ее играть в прятки те из товарок, которых судьба избавила от этой неприятности быть сестрой,— Матренка вскинет парнишку на закорки и идет к овинам. Здесь посадит брата к уголку и бегает с другими — резвится, забывает свою докучную службу, а там, смотришь, опять идет она по деревне, босоногая, растрепанная, и опять у ней торчит за спиной черномазый братишка, ухватившийся обеими ручонками за голую шею сестры.

Пригласят ли Матрену хороводы водить, и опять, смотришь, прыгает она, резвится по-старому, и опять по-старому сидит ее братишка в пыли и грязи, насупив-

шись, и кричит благим матом, когда обнюхает его проходившая свинья или собака. Но вот беда: заметила это нерадение Матренки проходившая мать и еще больше встрепала ее лохматую голову и вперед наказала не покидать братишку. Этот грех куда бы ни шел, сама назвалась на него, а бывает и так, что сам парнишка затевает беду себе на голову, да еще и на глазах матери, как случилось это в то время, как играл он с котенком. Баловливый котенок, оцарапав парня, напугал его, что перекинул навзничь и свалил плашмя с лавки, но и тут не прошла беда мимо няньки: зачем-де не смотрела, ты уж не маленькая! И это бы ничего: горе пополам с братом, да и мать дала наческу — не кто другой, а то бывает и такой грех, что и сам-то он, братишка, всей пятерней врезывался в сестрино лицо и оставлял на нем царапины на целую неделю. Конечно, и тут извернуться можно, стоит только затащить его подальше на зады, нахлопать там досыта да подождать, пока отойдет, а там сунула корку хлеба — и гора с плеч долой. Но вот уже беда неисправимая: когда девчонки затеют хороводы, а братишка спит, мать не пускает на улицу:

— Подожди ходить, вон братенко проснется, и его с собой прихватишь...

— Да, мамонька, хороводы-то на ту пору разобьют, не поспеешь...

— Подрастешь, дура,— наиграешься...

Ничего не остается делать, как надрываться — плакать, пока не рассердится мать и не исполнит обещания.

Но вот уж подрос братишка, сам по себе стал ходить и бегать, нянька на радостях.

— На-ко,— говорит мать,— сестренку тебе, похоль и ее, да смотри не по-летошнему, а то опять дубцом отстегаю, целый веник истреплю!..

Делать нечего, опять нужно покориться горькой участи и ожидать той поры, когда или мать рожать перестанет, или сама Матренка сделается подростком и ее скучная обязанность перейдет на другую сестру.

Но эта пора недалеко, время летит своим чередом скоро и незаметно: вот уж на Матрену начали ночами зариться большие ребята. Один что ни пройдет мимо, то и заденет — либо щипнет, либо просто начнет по плечу трепать, либо над ухом что есть силы языком щелкнет.

А надумает парень в хороводе пройтись с платочком, опять за Матрену:

— Выходи-ка, Матреха, воробушком!

В горелки ли врежется парень — опять-таки ловит ее, а не другую девку.

На камушке ли горит Матрена — никто ее не выкупит прежде того же парня, никто из ребят не поцелует прежде выбранного-суженого.

Матрена и сама не прочь отвечать на ласки парня, не пустит она колечка дальше своей руки, если довелось ей играть в веревочку, и ищет это колечко ее молодец. Никого не бьет она жгутом так больно, как того же парня, не слушает и усиленных криков его: «Чур меня!» У ней и «ох болит!» по том же парне, а и *рубль пойдет* — у Матрены в руках застрянет. Одним словом, девка во всем становится покорной парню.

— Слышь, Матреха, выходи-ка на супрядки к бурмистру, я там буду!— скажет волокита-парень.

И Матрена идет на супрядки, не противится, хотя и у самой в избе супрядки идут и много еще девке пряжи прясть и мотать без бурмистрова добра, на которого хватит работниц и кроме нее. Придет девка к бурмистру, непременно придет и найдет там своего молодца, который подсядет к ней и наговорит с три короба всякого вздора.

Запоет ли от скуки Матрена песню — парень первый подхватит ее. Захочет ли девка уйти из избы, опять-таки тот же молодец провожает ее; надумают ли девки пошалить, подурачиться, погасить лучину в избе — первый бросается к светцу Матренин парень, а Матрена и лучину запрячет на повит, как только можно дальше, в самый угол на сеновале.

Пойдут ли ворожить девки в баню о суженом — первый засядет туда тот же парень и велит Матрене завораживаться прежде других. Пойдут ли невесты слушать на поле звон или пение — Матренин парень уже стоит за овином, дожидается суженой, ее колокольцем пристращает, а для других пропоет погребальную. Начнут ли подходить к шапке за жеребьем, кому с кем в этот вечер женихаться — Матрену как будто надоумит кто вынуть ломаный грош, словно ее Матюшка и не мог бы положить неломаный. Девки молчат, как будто не замечают ничего, а ребятам и подавно нет никакого дела: всякий думает о себе и о своей — таков уж исконный обычай. Не любят только они захожих гостей и не дают своих девок в обиду. Не думают о Матрене

ни парни, ни девки, думает о ней только одна мать и выговаривает:

— Ты что это, нечеса, со старостиным-то Матюшкой женихаешься, нешто не нашла попроще?

— Да он сам пристал, не я выбирала!—отвечает Матрена и хоть в слезы пуститься.

— Не женится он на тебе, дура, помяни мое слово. Ведь ты сирота, да и без достатку, а у Матюшкина батьки мошна-то потуже бурмистриной, бают...

Но девка не верит матери, не может перечить сердцу: она и во сне с Матюшкой по ягоды ходит, грибы собирает.

— Не обманет!—говорит она в свою защиту матери.— Сам обещал ожениться, не станет врать. Вот намнясь пряников купил, платок обещал подарить. Какой только, слышь, любишь — желтый или красный,— тот, мол, и принесу...

Мать все-таки стоит на своем:

— Брось, девка, Матюшку, выбери кого другого. Этот бычок не по нашему стаду. Вон,— говорит,— сестрина Паранька взяла себе Кузьку Кузнецова и идет дело по-любовному: перед масленицей, слышь, и свадьба будет...

— Нет!— стоит на своем девка.— Не отстану от Матюшки, хоть живую режь. Иной и выводное даст — да плачется, а другой и даром возьмет — да любуется. Пусть же, коли богат Матюшка — не моя вина. Недаром он пряники носит, за меня же безинского лакея отколошматил...

Мать пригрозила было к бурмистру свести, собиралась и — не собралась.

Девка продолжала любиться с парнем, пока не приехала в деревню барская горничная, которой сам барин велел выбрать лучшего парня по всей деревне.

Как назло — словно предчувствовала Матрена,— горничная выбрала старостина Матюшку и пошла вместе с ним на поклон к барину с полотенцем и куском деревенского полотна. Барин поцеловал молодую в щеку, дал ей на крестины пятьдесят рублей и велел быть ключницей, а молодому мужу приказал выдать синий армяк и послал привыкать к кучерскому делу, да не подстригать бороды...

Долго ли после такого горя девке поплакать, проплакаться и, опомнившись, с ужасом увидеть, что все подруги-сверстницы вышли замуж, каждая за своего суженого, не несет этой доли одна только Матрена, не

будет она петь на прощанье родителям, хоть и кстати была бы эта песня:

Я еще у вас, родители,
Я просить буду, кланяться,
Не оставьте, родители,
Моего да прошеньица:
Не возил бы меня чуж-чуженин
На чужую сторонушку,
К чужому сыну отецкому,
Не пасся бы он, не готовился,
На меня бы не надеялся.
У меня ль, у молодешеньки
Еще есть три разны болести:
Я головонькой угарчива,
Ретивым сердцем прихватчива,
Своим свойством неуступчива.

В деревне нет для Матрены женихов: остались одни подростки, а из других деревень не едут по девью красоту, потому что все знают Матрену, знают и ее матюшку, но еще больше того знают, что злее обойденной невесты и зла мало на свете.

Если вообще всякая деревенская баба не прочь на чужой двор закинуть камушек, посудачить-посплетничать, то тем более те из них, у которых не уладилось дело на семейное житье, тихое-беспечальное. Матрене — все соперницы: всякий парень женихом считался. Она одна осталась теперь, как былинка в поле, как *сосенка-сиротинка* при дороженьке. Обойденная невеста — что дом зачурованный, к нему крещеный неопытный человек и подойти побоится: черти в нем поселились, змеиным ядом дышут на всякого, а и житье в нем — ад кромешный.

Девка на первых порах покручинилась, разливалась горькими слезами, размывалась громкими рыданьями, не пила в меру, не ела в сытость, от тяготы сердечной была сама не своя, а когда и пришла в себя, то не много радостей вызнала, не много отрадного выпытала.

— Агашку за вихряевского питерщика Михея сговорили — в воскресенье в полудень и свадьба, слышь,— сообщали одни соседки.

— Лукешку побратали вечор, да у сестры-то ее, Степаниды, тоже на мази дело,— сообщали другие.

— Гаранька в Михееве, сказывают, подыскал. Ванюшка тоже свах засылает, Степка, Иван Кондратьев,— высказывали третьи, на горькую кручину и слезы Матрены.

А на ее дворе ни свата говорливого, ни щебетуньи-свахоньки, словно Мамай войной прошел по деревне, ниоткуда нет засыла и подговоров.

Раз сорвалось с сердца Матрены супротивное, неладное слово на подруг-соперниц и на ребят-обидчиков — пошло у ней с той поры что дальше, то горше. Никому не стало пощады, на всякого нашлось у ней с три короба всяких обид. Про кого ни скажут доброе слово соседки — все не по ней.

— Вот Степанида-то питерщикова сговорена, складная девка, что стеклышко чистенькая, во всех порядках, и смирная, и к родительской воле прислушливая,— выговаривает, бывало, соседка.

— Голыми-то руками за нее не берись — она только по глухой поре за овины-то к ребятам ходит, днем ее там не увидишь,— ответит Матрена, да и ни слова больше.

— А Лукерьюшка-то? Эта и в церкви завсегда напереди стоит да в землю молится, а и на посидках-то не больно чтобы уж очень шустрая...

— У этой-то и матка за солдатами в поход ходила, да и отец-от, как ушел в Питер, в деревню не заглядывал...

— Ну да уж про Агафьюшку-то не скажешь же худо?

— Про десятникову-то?

— Смирена девка, не тайщица, не привередница, ни она тебя облает, ни сделает по-своему. На супрядки попросишь — первая придет, на помочь позовешь — первая с серпом на пожне, подарок посулишь — отказывается, на дом его принесешь — назад отдает...

— У ней только что рожа-то пряслицей, да коса — что голик, а пальца-то тоже не клади ей в рот!— крикнет, бывало, Матрена во всю избу да и решит тем, что говорить перестанет, заключив вопросы коротким ответом:

— Хороша наша деревня — только улица грязна,
Хороши наши ребята — только славушка худа.
Хорошо нашими девками тын городить.

А между тем одно зло выручает другое; Матрена скажет у себя в избе, а гул разойдется после и по всей деревне. Брось калач на лес, пойдешь — найдешь,— говорит пословица, а на брань слово купится,— утверждает другая.

— Матрена — что ворон: на чьей избе сел, на той и накаркал!— говорили промеж себя девки-соперницы и

решали на том, что черного кобеля не домоешься добела, а на чужой роток не накинешь платок.

Женихи-ребята и думали и поступали иначе: на личную брань огрызались, на злую сплетню отвечали тем, что ворота мазали дегтем, в окно снегом бросали, на трубе горшки били, на улице не давали проходу и пошли еще и дальше того на том основании, что озорная корова до той поры и бодлива, пока рога у ней есть.

Случай смирил Матрену, заставив и ребят смотреть на ее бездолье иными глазами, глазами участия и снисхождения.

У Матрены умерла мать-старуха. Пошла сирота на кладбище и взвыла о своем сиротстве и бездолье, осталась одна на белом свете, как перст, как былинка в поле. Горьким, раздирающим душу голосом причитала она по родителям, добралась до родимой — помянула добрым словом, вспомнила тут же кстати, что любила покойная, вычитала истово и то, что родимая носить любила. Долго каталась Матрена по свежей могиле и выла, верная исконному обычаю отцов и дедов, пока не подобрала ее с места дряблая, сердобольная старушка нищенка, верный друг всех надрывающихся от слез и кручины.

Плакала Матрена такой заветной старинной *заплачкой:*

Ты послушай-ко, родитель — моя матушка,
И сердечное желаньицо,
Ты, денная моя заступушка
И ночная богомольщица!
Уж мы как-то будем жить
Без тебя, родитель — моя матушка!
Кто-то нас поутрушку ранешенько
Будет бдить со мягкой со постелюшки?
Кто-то станет разряжать нам
Крестьянския работушки?
Как встанем поутрушку ранешенько
Со пуховой со мягкой со постелюшки,
Мы не водушкой ключевой будем омываться,
Омываться горячими слезами,
Отираться злодейской-великой кручиной,
Зазнобушкой великой будем покла́няться.
Как нонечку-теперечку волос к волосу не ладится,
Моя младая головушка не гладится,
Моя вольная волюшка на головушке не ладится,
Не уплетается моя русая косынька милешенько,
Все без своей-то без родители — без матушки,
Без слова сердечного желаньица.
Как нонечку-теперечку веют ветры полуденные,
Говорят-то многи добры людишки посторонние.

И все круг меня-то, кручинной головушки.
Веют ветрушки с западками,
И говорят-то многи добрые людишки с прибавками;
И не видала я-то после своего родителя-матушки
Благословеньица-блаженьица,
Со Исусовой молитовкой буженьица,
Как нонечку-теперечку мне-ка
Как будет кручинной головушке
Без своей-то без родителя — без матушки,
Без свово-то сердечного желаньица?
Вы придайте-тко ума-разума
Во младую во головушку,
Мои сродцы — мои сроднички,
Вы, спорядные соседушки,
Вы, пристаршие головушки,
Мне, душе да красной девушке,
Провожать свое прекрасное девичество
И ходить-то по тихим-смирным беседушкам,
По гульбищам — по прокладищам,
По обедныим — по свадебкам,
И по господниим — владычныим по праздничкам!
Я все буду бояться, кручинная головушка, теперюшко,
Чтобы ветрушки меня не обвеяли,
Чтобы людишки не облаяли.

С нищенкой коротала первые скучные дни одиночества сирота наша, но не нашла полной утехи в горести, все напоминало ей мать и все вызывало на слезы: и пучки калины, соком которой натирала мать лишаи, и полынные листья от лихорадки, и пережженные квасцы от озноба и дикого мяса.

Возьмется ли за кремень и огниво — огня высечь, и тут вспоминается ей мать, присекавшая и обметанные губы, и все другие летучие сыпи этими же самыми кремнем и огнивом.

Осядет ли в жбане гуща квасная — и тут перед глазами Матрены мать-лекарка, круто солившая эту гущу, чтоб наложить потом на ногтоеду и заусеницы.

Попадутся ли ей на глаза два горшка рядом, и тут вспоминается ей, как покойница смачивала эти горшки и терла один о другой, чтоб стертой черной грязью натирать лишаи и ветреные сыпи всякого приходившего к ней за пособием.

Ремесло старухи, как живое, перед глазами Матрены, а нужда как на вороту виснет, хоть сама в сырую землю ложись и гробовой доской прикрывайся, а брюхо — злодей, старого добра не помнит.

Задумалась Матрена над своим бездольем, но ненадолго. С первой же вешней водой полезли в ее избу все больные по привычке:

— Поспособь, Матренушка, чай, тебе матка-то натолковала. Нам ведь к другим-то, почесть, и идти не к кому. Голова болит...

— Обложи глиной алибо кислой капустой — полегчает, завтра приходи — понаведайся...

Но больной не приходил в другой раз, а поутру прихвалил Матрену при всех своих бабах и сторонних людях. И знали через день в деревне, что Матрена-де по матери пошла, способит как нельзя чище: от кашля печеным луком кормит, от лихорадки дегтем с молоком поит и посылает на реку в самую полночь искупаться, да так, чтобы никто не видал и не слыхал, и рубаху велит там оставить, как бы и мать ее прежде наказывала.

Стала Матрена и над кровью нашептывать, и зубы заговаривать с немалой удачей и навыком; и опять пошла молва по деревне, что и Матрена задавила крота между пальцами и не умывалась после того целые сутки, как и мать-покойница.

Пришел кузнецов сын с бородавками, так только нитку взяла, навязала на ней столько узелков, сколько бородавок было, да и бросила нитку в навозную кучу, примолвив: «Сгниет нитка, и бородавки пропадут»,— и словом-то этим что рублем подарила — прошли бородавки.

Другой парень пожелтел совсем и кашлять начал; так только живую щуку дала подержать, и желтизна прошла, как заснула и пожелтела сама щука.

За одним лихоманка увязалась на покосе, да случилась Матрена и только лягушку за пазуху кинула и холодной водой облила — отвязалась болесть и забыла о парне.

У мужика ноги отнялись на пожне, так что и ступить нельзя было,— Матрена только в муравьиную кучу посадила ногами и тут же получила гривну медью, потому что опять пошел больной подбирать серпом ржаные колосья.

С грудным парнишком солдатки собачья старость приключилась — стало парня сушить в щепку, в соломинку; Матрена пришла, когда печи топились, и только посадила парня на лопатку да три раза всунула в чело, и не успела мать третьего раза взвизгнуть, парень был готов и вскоре пошел на поправку.

У старостина брата зубы не давали спать ночей и лицо уже вздуло горой, а пришла Матрена да только рябиновый сук расколола начетверо, пошептала над ним

да положила на зубы и три года не велела есть рябины — и как рукой сняло.

И действительно, в светленькую, чисто выметенную избу сироты-лекарки часто стали наведываться немощные и страждущие.

— Вот,— говорила ей одна, поклонившись куском крашенины,— мой-то опять сблаговал. Ушел на село кросны продавать да и глаз не казал почесть что трои сутки...

— Опять, поди, запил.

— Нешто, Матренушка! На глазах-то, мать, и все бы по мне делает, а вот эдак провалится куды и пошел своим разумом... Вернулся домой-то да и лег на полу... Лей, мол, я на него воду, а то, слышь, боязко ему на глаза мне пьяным казаться. Ладила я с ним и так и сяк, и водой-то облила, и ноги велел к лавке привязать — и ноги привязала; и за волосья трепать наказал — натрепала, да уж и не выдержала, вскипело сердце — ухватила голик, весь истрепала, невтерпеж же, мать, стало экое посрамление! Как на село — так и водись! И не дерется бы, мать, урчит только да плачет. Да поди удержись.

— Поспособила бы я тебе его, кабы не такое хитрое дело — дорого стоит...

— Да уж не стою, Матренушка, не стою...

— Самой все надо и без меня, да и без чужого зазорного глаза. Купи ты вина ведро да двух щук достань, да живых только, и замори ты этих щук в вине-то, замори так, чтоб заснули. Подогрей это вино в печке, покрепче подогрей, да и напой этим на ночь, потом вся дурость-то и выйдет из него, и призору не будет. Да и помяни ты меня, не от худа...

— Твои плательщики, Матренушка, спасибо за совет, не сердись, родная!

И опоит баба пьяного мужика по совету Матрены и еще раз поклонится за совет, прежде чем муж снова добьется до села и разрешит общее недоумение буйным запоем. И приругает Матрену хлопотунья-жена за неудачное пользование, но не повредит ее уже установившейся славе, разве даст только свободу языкам и пищу сплетне, но не помешает мужику-богателю поприверedничать, зайти к Матрене раза два в неделю в свободный часок поплакаться:

— Попробуй-ка, Матренушка, опять нешто в боку-то заломило, не то в правом, не то в левом...

И знает Матрена, что врет богатель, на небывалую хворость жалуется, но осматривает его и выговаривает полтину медью.

— О том не стоим! Что нам полтина? Хворость бы отвязалась. Вот-вот, ровно бы тут защемило, словно бы иглами колет. Вечор с голбца на полати перелезал и ухватило поперек-то — еле отдышался!

И мнимый больной напьется по совету Матрены ромашки на ночь, и велит себя вытереть солью с вином, и опять придет к ней от нечего делать, и опять принесет полтину и на глаз ей укажет:

— Посмотри-ка, Матренушка, не песьяк ли вскочить хочет?

— А вели-ка ты, Еремей Кузьмич, старшенькому-то парнишке ячменек проколоть да и показать ему кукиш: «Ячмень, ячмень! Вот, мол, тебе кукиш, что хочешь, то и купишь, купи себе топорок, пересекися, мол, поперек»,— да и проведи по ячменю-то пальцем.

С бедным, со слабеньким значением в деревне привередником Матрена поступает иначе. Пожаловался мужичонка на боль в пояснице, да сказывает про болезнь не то, что надо,— Матрена отворит избу. Выберет баб да ребят молодых, велит им шибче смеяться, чтоб было веселей боли выходить из тела, и положит привередника поперек порога. Накладет ему на спину из голика прутьев и начнет тяпать по прутьям косарем да приговаривать, а привереднику велит петь песню, какая только на ум попадет, и сама смеется.

Встает привередник и гладит спину:

— А никак, Матренушка, и впрямь легче стало!— и похвалит ее пятому и десятому: сам при своем, и лекарка не внакладе.

На серьезных больных Матрена и теплые хлебы накладывает на поясницу, и горшками накидывает, и бьют освирепелые больные от невыносимой тяготы горшки эти о первый попавшийся угол, и бранят Матрену, словно виноватую, но при первом же случае кланяются ей и маслом и яйцами и других посылают к ее же досужеству. И какая бы болезнь ни была, у Матрены всегда найдется снадобье. Но ни один больной не разделается с болезнью без того, чтобы не пропарила она его до самого нельзя в бане, не напоила бы его круто посоленным, не натерла бы перцем, хреном или редечным соком.

У одного шибко голова болит, и упорно держится в ней целый содом всяких дрязгов — болезнь всегда не-

приятная; Матрена и над ней не задумается: поставит на стол горшок с киноварью и угольями, посадит больного, накроет его теплым и велит разинуть рот и дышать тем паром, который лезет из горшка. Иной раз и удавалось. А случалось когда несчастье, задыхался мужик — знать, сел в час недобрый, знать, присмотрел за ним недобрый глаз, а за ней самой вины совсем никакой нет.

Не всегда с делом и за делом собирались в избу Матрены мужички, но просто и посудить-покалякать. Матрена и тут не терялась в ответах.

— Вот, красавица ты наша,— заговорили соседи,— корчи теперь эти в человеке живут, ведут они тебя всего, как есть всего выворачивают, отчего бы это такая притча состоялась?

— Это от нечистого духа,— ответит Матрена,— да от другого недоброго человека, который умеет след человечий с земли поднимать. Поднимет след — начнутся корчи. На такое дело надо взять ковш да накласть туда угольев горячих да на щепотку соли. Тут сказывай над ковшом этим наговор такой, какой надо, и с тех твоих слов вся эта корча и судорога на тебя идет; с больного-то, значит, на себя переводишь. Затем в этот ковш-от воды наливаем и прыщем на больного раз либо два. Позевнул — полегчело.

Вообще Матрена всегда охотно сообщала все то, что знала про секреты колдунов, на том основании, что колдун и знахарь не одно и то же. Если колдун продал душу свою и знает черта, то знахарка боится черта, и черт ее не любит, как и всякого другого крещеного человека. Если кликуш, у которых сто бесов животы гложут, не возьмется вылечить колдун, то ей, знахарке-доке, тут и рук прикладывать не к чему. Дознаемой, впрочем, молитвой да умелым наговором бегут и от знахарки разные людские житейские напасти. Оттого-то и идет к ней за советом и помощью весь православный люд и просит научить опахать на голых девках деревню, чтобы не падал скот как муха и у них, так же как и в соседних сельбищах.

На васильев вечер придут боязливые бабы к нашей же Матрене просить смыть у них в избе лихоманку, слепую и безрукую старуху, что залезает в избы и ищет виноватых. Матрена придет на раннюю зорю, чтобы не видал только никто из мужчин деревенских, прихвативши с собой четверговой соли, золы из семи печей и земляной уголь. Встречают Матрену с хлебом-солью и ла-

сковым приветом хозяйки. Матрена не входит в избу и обмывает сначала косяки дверей, а потом потолок снадобьем и вытирает чистым рушником, чтобы не было где уцепиться проклятой старухе.

На день Трех Святителей Матрена смиряет домовых в своей деревне: режет в глухую полночь черного петуха, выпускает кровь его на голик и выметает этим голиком все углы на дворах, где любит жить этот мохнатый старик капризник, обратившись всегда лицом к стене и никогда, впрочем, никому не видимый. Смирят домового — перестанет он и скот мучить, и хозяев давить за горло, и творить другие свои неладные шутки.

На Василия-капельника ребята часто от овечьей одышки в брюхо растут, и тут нужда в Матрениных оговорах и помощи. На Марью египетскую Матрена строго-настрого велит угощать водяного — бросать в глубокий мельничный омут яшные пироги — сгибни, за два дня до Егорья-вешнего она учит окликать на могилках родителей, со сретеньева дня наказывает она не спать по вечерним зорям, чтобы не приставала кумаха-трясовица.

На Ивана-купальника в жаркое лето она траву купальницу собирает против того же нечистого духа, который любит пугать по зорям несладным криком своим косцов на покосах и жнецов на пожнях; на Прокофья-жатвенника в синюю склянку она собирает росу по зорям для излечений очных призоров и стрелы в виски; на Илью-пророка собирает дождь для той же цели и против всякой другой вражьей силы. А когда на первого спаса замрут до ранней весны ведьмы, Матрена учит мужиков поить лошадей с серебряной монеты из шапки, чтобы не приставал к ним во всю зиму ни мокрец, ни столбняк, ни сап изнурительный. На усекновение главы Предтечи наказывает щей не варить из кочанной капусты затем, что кочень капустный, что голова, круглый.

На Андрея первозванного Матрена прислушивается к воде и сказывает по стону ее, какое будет лето, будут ли метели зимой, бури, морозы крепкие и иные разные беды. За два дня до Нового года гадает она о земле на свиной селезенке и сказывает, долго ли, коротко ли затянется весна-красна и будущее жаркое лето.

Короче, ни одна из житейских примет, выжитых вековыми опытами, не прошла мимо Матрены-знахарки без заметки и внимания. Некоторую часть из них со-

общила ей мать-знахарка, прожившая, потолкавшаяся между людьми не один десяток лет; большая часть пришла к ней с ветру частью от баб-соседок, частью от старух нищенок, которых она любила прикармливать и которые бог весть где не побывают на своем сиротском веку, бог весть где и чего не вызнают, не выслушают. Раз выслушанное и поверенное личным опытом становилось для Матрены навсегда законом, не имеющим никаких сомнений и исключений. Если на чем и случалось ей споткнуться впоследствии, она и тут не задумывалась.

— Никто, как бог,— говорила она,— все в божьей власти, а чему быть — тому не миновать. Все божье дело, к всякому делу человечьему разуму нельзя приступаться. Не сталось сегодня — станется завтра, и наш бабий век не клином же сошелся. Терпи и надейся!

И все-таки Матрена не оставалась внакладке — круглый год у ней прибыль. Большего почета никому нет в деревне. Она и на именинах не на последнем месте и не с остаточным куском, а крестины где — она первая в пиру и почете. К ней о всякой болезни с советом, о всякой невзгоде мирской с поклоном и приносом.

— Не житье Матрене — масленица!— толковали соседи.

— В шугаях штофных ходить начала по праздникам, платок — не платок, лента — не лента, даром что обойденная, немужняя жена!— говорили соседки.

— На всякое, мать, счастье в сорочке надо родиться. С дуру-то начнешь — дуростью кончишь, талант, стало быть, от бога вышел за ее долготерпенье да обиды!— решали облагодетельствованные ею нищенки-старушонки.

— Пущай и злиться перестала теперь — не ругается так, как в ономяняшную пору!

— Взыскана теперь — зачем станет ругаться? Кузнец Гаранька, слышь, позарился, свахоньку засылал, да Матрена и след той навсегда заказала. «Мне, слышь, теперь хомута-то мужнина надевать не приходится. Сама, мол, стала в вольной воле. А ты ему, косому черту, и на лбу запиши и всем накажи: ко мне-де теперь дорога заказанная, всякими-де она крепкими наговорами зачурована».

— Так вот она ноне баба-то какая стала!— решили соседи и мало-помалу забывали о прежних несчастиях и

неудачах Матрены, начиная видеть в ней нужного, а потому и дорогого человека.

— Сватьюшка! Матренушка-то знахарка баню новую приговорила рубить...

— Богоданная! У Матрены-то криворотой навес на дворе настилают новый, подкаты под избу-то новые ладит!

— Дьякона Арсения от запоя вылечила, у матвеевского плотника — Лукой звать — ногу вправила: опять работает, здоров.

— К управляющему на усадьбу возили, кровь отворила не хуже, слышь, коновала доброго!

— Эка баба, экая лихая баба: и к сиротам податливая, и к нищим прозорливая, и к церкви усердная — не колдунья какая. На ворожбу ни на какую не подается, не гадает на картах, цыганское, сказывает, это дело, не мое, сиротское!

Вот уже что говорили в одно слово соседи и соседки года два спустя после того, как обзывали ее недобрым словом.

Деревенский люд незлопамятен, а обзыв да покор не считают грехом, причастные и сами этой слабости, по пословице: «Брань на вороту не виснет, на нее слово купится, да так прахом и минуется».

Сделавшись знахаркой, Матрена не отказывается и от повита и с прежней заботливостью старается не разглашать по соседям, что вот та-то баба мучится родами, чтобы легче разрешилась роженица.

По-прежнему советует родителям давать новорожденному имя первого встречного человека, чтобы не было ему тяготы и невзгоды в предстоящей жизни; ко всем приветливая, всякому готовая на услугу, Матрена вызывалась из дальней деревни съездить к попу за именной молитвой с шапкой. Поп читал ей молитву эту в шапку, произносил имя первого встречного в пути Матрене человека. Привозила Матрена эту шапку в избу роженице, вытряхивала имя и молитву из шапки и вполне убеждена была, что тем спасала всех, присутствующих при обряде и дотрагивавшихся до поганой роженицы руками, от осквернения. В последнее только время стала она отказываться от подобных поручений и прежде всех обряжала подводу, чтобы везти новорожденного прямо на село. Говорили соседи потом промеж себя, что Матрену выстегали за то на становой квартире больно шибко, что тут были благочинный и старик

поп, который давал молитвы, что наказывали Матрене напредки не делать эдак.

— И пригрозили кандалы надеть и между солдатами по столбовой прогуляться в непутное место, что острогом зовут да каторгой прозывают. А деньги, что нажила про себя, все отобрали да еще наказали через год принести столько же!— подтвердил сотский говор и молву народную.

Соседи покручинились и про себя и с Матреной вкупе, Матрена повыла-поплакала горько, но устояла-таки на своем и жила опять своим ремеслом — не кручинилась.

И крута гора, да сбывчива, и лиха беда, да забывчива,— говорит пословица. У Матрены пошло дело опять своим чередом — дорогой торной, прямым путем.

Матрена любила между делом и посудачить — не идти же ей наперекор со своим делом бабьим.

— Вот,— говорила ей вестовщица, та же побирушка-нищенка, которая подняла ее на погосте,— за Осеновом Митюхино выгорело: ребятенки репу пекли, да и набаловали в овине.

— А не обрубай они соседским коровам хвосты, не мешай они соседским поездам, не кори девок горшками на свадьбах, не пачкай ворот дегтем...

— Все-то, мать, избы испепелило, десять животов сгорело, махонького парнишку еле вытащили живехоньким. И жара-то какая, кормилка, была — словно из печи парило... Думали все, что светопреставление... Сам становой наезжал!

— Чай, пойдут на погорелое место просить?

— Вестимо, родимая, народ-то ведь все господской был, на овчинах стояли, да все, слышь, красавица ты моя, погорело... И первохристосные яйца бросали — не помогло, и молоко лили — не лучше стало. Старушонка тут у них жила, Ориной звать, так и ту в избеночке-то ее захватило. Кинулся народ-то: «Батюшки, мол, Оринушка-то сгорит!» Ан из избы-то, мать моя, ни словечка не слышно, хоть бы те что... Знать, мол, задохнулась, захватило дыханьице-то. Да швецы на ту притчу случились в деревне — народ-то, знаешь, боевой, один и выискался — Мартыном молодца звать — и кинулся к избушке-то. «Простите, мол, православные, мою душеньку! Не погибай-де, слышь, душа человечья на моих глазах; либо-де сгорю, а душеньку,— говорит,— спасу». Да и вломился в огонь, то индо, мать моя, зашипело что, и вытащил старушоночку, Оринушку-то эту, и

вытащил сердобольную... Живехонька!.. Народ-то весь, моя мать, и шапки снял, стал креститься да кидать молодцу гроши да пятаки. Сам становой серебряный гривенник дал да по начальству, сказывали, отписать хотел. «Дадут, мол, тебе и больше супротив того». Да обгорел Мартын-то, всю-то рожу опалило, пузырей наскакало и невесть какая сила!.. Куды шибко обгорел...

И нищенка медленно покрутила головой и прослезилась.

— Пришел бы ко мне — поспособила!.. А не то ведь и самому не какая хитрость лапушнику-то нарвать да и обложить рожу-то с маслом...

— То-то, желанная ты моя, тебя-то я тут и вспомянула: вот как бы, мол, божья раба Матренушка-то наша была здесь — отдохнул бы молодец, желенная-то, мол, моя не поспесивилась бы — помогла. А пойду-ка, мол, к ней да поклонюсь, не изломала ли де кручина-то ее, да и ниточек-то, мол, попрошу: армячишко запла́тить. Знаю, смекаю себе, не откажет душа ее добродетельная сироте бесприютной!.. Наградит ее Тифинская пречистая!.. Сама... сирота...

Последние слова нищенка выпевала громко уже посреди судорожных всхлипываний, но, конечно, не оставалась внакладе — старый кафтанишко в заплатах заменился хотя и подержанным, но еще крепким, а ниток получила целую пасму.

Матрена знала, что старуха, бродя из деревни в деревню, разнесет об ней молву как об лучшей лекарке и сторицею заплатит ей за подарок.

Дело повитухи справит, пожалуй, легко и удобно всякая баба. Матрена повитом не много бы взяла, ухватила бы ее нужда поперек живота, если б не помогли ей первые удачи в знахарстве и сердобольные нищенки, в беседах с которыми она находила и отраду и заручку. При помощи их рассказов в самых дальних деревнях стали знать о Матрене. Правда, что нечасто берет недуг неладно скроенного, но крепко шитого русского человека. Правда, что сильны и тяжелы исходом и последствиями те недуги, какие ложатся на могучие плечи простого человека и, старея со дня на день, делаются по большей части неизлечимы до гробовой доски. Правда, что надежда больного не покидает до последней минуты жизни и он продолжает искать искусного человека, который бы мог дать такого снадобьица, чтобы болезнь заморило. Правда, наконец, что твердо

знает всякий мужичок о том, что нет того города, где бы не жил такой присяжный искусник, который лечит от всех недугов и за то носит пуговицы светлые, чиновником зовется и в уезд наезжает все на мертвые тела.

«Да как ты к нему приступишься?— думает мужичок.— С медяками-то ржавыми к нему не пойдешь, а серебро-то по карману не черт же сеял, бумажных денег и по полугоду не доискиваешься. Да и на какого человека попадешь — иной тебе и говорить-то по-нашему не умеет; ни он тебя расспросит, ни то место больное нащупает. Снадобей-то всегда забывает прихватить с собой и отсылает за ними в город. И не диво бы в город съездить про свой живот, кабы пора не рабочая, да коли б и снадобья-то эти сподручнее были, а то жгут, больно жгут и карман и спину. Кладут там нашего брата в больницу такую, где только за выписку берут деньги да за харчи, какие ты там поешь, а попробуй-ка полежи там подольше да расплатись с ними на чести — в избу-то свою и не заглядывай — волком взвоешь, все там быльем порастет, собаки ложки моют, козы в огороде капусту полют. А давай-ка нам знахаря поближе, да такого, чтобы его руками-то ухватить было можно, чтобы за приход-от либо пасмой ниток, либо пахтаньем, либо новиной какой, а не то — коли и денег выпросит — так полтиной медью и себе бы и ему удовольствие можно было сделать. Это вот по-нашему, по-крещеному. А то светлых пуговиц до смерти боюсь, ну их!.. Эти же к тому немчи — нехристями такими смотрят, что нашему брату, православному человеку, и подступиться боязно. А гляди — как ты тут ни судачь, ни ворочай — по знати-то да по старой памяти, что по грамоте — и полезно и никому не обидно. Сказывали бабы: в которой деревне Матрена, что божьи-то люди хвалили, живет?»

Идут к Матрене и мужики и бабы больные, и последним подчас легче, потому что Матрена и ласковым, обнадеживающим словом найти и приголубить умеет всякого и потому еще, что тех больных, которые подошли крепко и немогутны стали, она не поскупится у себя в избе оставить и станет ходить за ним, что за своим роженым детищем. Да и Матрена не внакладе от своих больных и советчиков. Запасы свои она продает на чистые деньги офеням-ходебщикам да прасолам-булыням, ест она не свое, а дареное, житье ее что сыр в масле: кроме прибыли, ничего не видать ни с какой стороны.

Раз порастрепал ее, сказывали, становой по наговору городского лекаря и пригрозил ее в острог запереть, так только с год у Матрены изба новая некрытой стояла, да жалобилась девка недель пять кряду своим соседям, что нонче-де житье сиротское еще горше стало, чем было прежде, что и народ-то беднее стал, деньгами-то ей за знахарство и носить перестали и только. Через год — не дальше — изба ее все-таки стояла такою приглядною, новою, чистота в ней соблюдалась такая, что и у иного помещика не отыщешь: на рождество Матрена все стены мылом мыла, в великий четверток к пасхе весь пол ножом выскребала. Дивились мужики толковости и находчивости Матрены и упрекали ею своих баб:

— Смотри, нечесы, в избе-то у нее словно рай цветет. Просто так посидеть, так в удовольствие тебе и в веселье. Про снадобья-то у ней шкапчик эдакой зелененький, а и там, что в лавке городской, таково приглядно... Все хорошо, все благовидно, одно слово сказать, чай начала пить купецким делом, и разговоров не надо...

Позднее, гораздо позднее, когда уже Матрена приобрела значительный навык в лечении болезней, привелось ей попечалиться на тот общий недуг, которым давно уже, хотя и излечимо, болит простой русский люд. Матрена была неграмотна и, не имея случая подумать об этом, жила себе, горя не ведая, до той поры, пока местный грамотей-доточник не принес ей писаной книги, значительно засаленной и измызганной. Прочел он ей заглавие. У Матрены и глаза разгорелись: «О травах различных вкратце, на каком месте которая трава растет и какова ростом и цветом и к чему которая трава угодна, и о болезнях вкратце». Понеслись мимо ушей Матрены лакомые, соблазнительные заголовки: вот средства от зубов, от угрей, от лишаев, у кого ум или мозг порушится, буде кто не спит, у кого очи свербят, о сверчке — у кого в ухо зайдет, аще кто храплет, у кого волосы в гортани растут, у которого человека, битого кровью, займет у сердца.

— Прочитай-ка, прочитай, кормилец, экое место,— перебила Матрена.

— «Добудь десять раков,— читал грамотей, заручившись полуштофом угощения,— истолки и процеди и того отвесь три золотника да крови козлячьей семь золотников, смешай все с пивом и пей по разу. А как жена

долго не разродится...» — продолжал грамотей на соблазн повитухе.

— Выпей-ка еще на здоровье да читай, что пониже этого значится,— приговаривала та, жадно следя за глазами читающего и вся превратившаяся в слух и внимание.

— «Напиши на бумаге ирмос «От земнородных», кто слышал таковая, весь до конца и привяжи на голову или под пазуху — скоро бог дает.

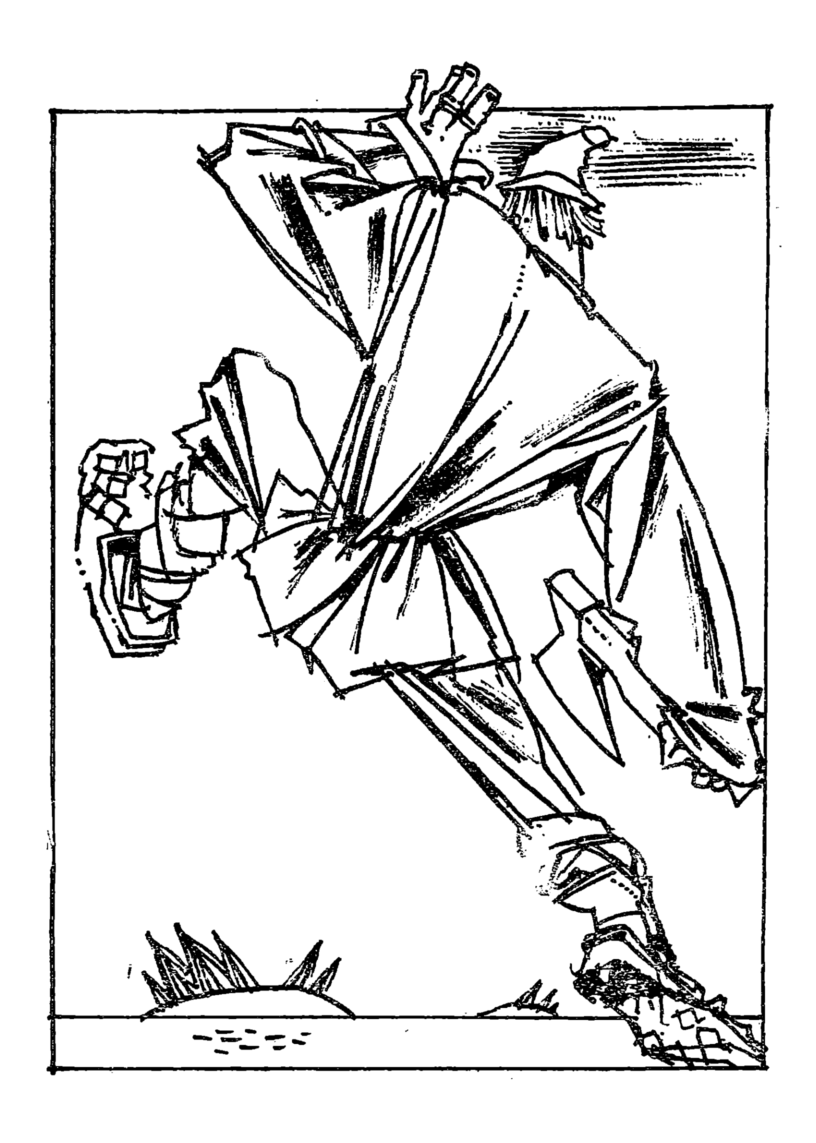
От зубов,— читал грамотей,— поймай воробья живого и выколи у него зеницу и положи на зубы и зубы тем мажь. От икоты — грызи капусникова коренья; сердце икать перестанет. Огнь в очах — излови во исходную пятницу зайца живого и вынь из головы мозг и тем мажь очи. Сие сотворил лекарство Адам, праотец наш. От уразу и от побоев — емли траву чабру и парь в вине, и пей на дщее сердце (натощак).

Есть трава именем архангел, собою мала, на сторонах по девяти листов, тонка в стрелку, четыре цвета: червлен, зелен, багров, синь. Та трава вельми добра: кто ее рвет на иван-день сквозь златую или серебряную гривну и та трава носит, и тот человек не боится дьявола, ни в ночь злого человека; аще на суд пойдет — одолеет супротивного, и цари и князи любят его и всякие люди. А корень ее добр: у которой жены детей нет, то истолки в молоке и дай пить, то, конечно, будут дети, или порча за тридцать лет здрава сотворит, исцелит. *О купальнице:* до солнечного восхода встань и будь чист, а копать руками без дерева, а взять тремя персты правой руки, да левой один большой, и поцелуй траву трижды, а корень ее пятью и обвей златом или атласом или камчатным лоскутком, и держи в дому твоем, на путь ее с собой емли, и на войну, и на суд, и в пир, и от ведунов не будеши испорчен. Есть трава именем глава адамова, растет возле сильных раменных болот кустиками по пяти, и по шести, и по десяти листов вместе, высотою в пядь, цвет багров, иной рудо-желт, а как расцветет — ино вельми хорош кукшинцами, всяким видом, и ту траву рвать с крестом Христовым и говори: «Отче наш» псалом восьмой, а кто не имеет грамоты, да сотворит триста молитв Иисусовых, и принеси ту траву в дом свой и который человек порчен да пьет — здрав будет, а кто хочет дьявола видеть или еретика, то ту траву пей и корень освяти водою и положь в церковь на престол, и как минет сорок дней, и ты носи при себе и узришь воздушных и водяных демонов, а

кто хочет мельницу ставить — держи при себе,— вода стоит, где хочешь, или церковь ставить — положь на землю ту, а как ранят человека, и приложи, и та трава именуется во многих травах царь-трава».

Вот те три великие, заповедные, зачурованные от непосвященного глаза тайны, без которых не смеет умереть ни один доточник, ни одна знахарка, не передавши ее при приближении смертного часа кому-нибудь из приспешников, и притом при смертной клятве на родных и знаемых, на кровных родителей, на свою утробу богодатную, на свои кости от ребра Адамова. В противном случае затаивший или не успевший передать при жизни эту тайну другому надежному человеку и по смерти не найдет покоя: станет подниматься в глухую полночь из гроба, выходить из могилы и плакаться человеческим плачем и голосом и изнывать на всех тех местах, где сотворил какой-либо из семи смертных грехов. Будет пугать тот мертвец всякого живого человека до той поры и времени, когда найдется смелый и умелый, чтобы переложить мертвеца в гробу навзничь, подрезать мертвому пятки и вбить ему в спину между лопатками осиновый кол.

Из книги „ГОД НА СЕВЕРЕ“



Часть первая

БЕЛОЕ МОРЕ И ЕГО ПРИБРЕЖЬЯ

I. БЕРЕГА ЗИМНИЙ И МЕЗЕНСКИЙ

Общий физический вид этих берегов. — Город Мезень и его история. — Икотник. — Первые впечатления города. — Беседы с туземцами об обычаях домашней и общественной жизни. — Народные присловья. — Гаврило Васильич. — Моя поездка в село Долгощелье и в деревушку Семжу. — Ездовые олени. — Подробности промыслов за морскими зверями. — Крупная порода тюленей. — Нерпы, лысуны, морской заяц, тевяк. — Способы их ловли. — Промысел вызолочный. — Ужна. — Приметы. — Морская цинга. — Уродливость тюленьего рода

Северо-восточный берег Двинского залива и юго-восточный берег Горла до устья Мезенского залива Белого моря издавна носят название Зимнего берега и по картам, и на языке туземцев...

Жители этого берега — потомки первых поселенцев северных мест России, новгородцев — издавна приобретают средства к своему существованию преимущественно в промысле морского зверя. Средоточием этих промыслов можно считать прибрежья Мезенского залива, и именно город Мезень и соседние с ним селения, в особенности село Долгощелье и деревню Сёмжу. Так говорят факты, к тому же приводят и результаты личных внимательных наблюдений. Обращаюсь к последним.

Городок Мезень нашел я в середине ноября месяца 1856 года уже закиданным глубокими снегами, давшими мне возможность при крепких постоянных морозах проехать по тундре из Пинеги на Кулой прямо, не делая огромного крюка по так называемой Нижней Тайболе. Хуже плохого села наших великорусских губерний глядел этот дальний городок, случайно превратившийся из бедной слободы Окладниковой в уездный город Архангельской губернии. До сих еще пор, правда, город этот известен в народе под именем Слободы Большой (в отличие от Малой Слободы — печорской Усть-Цильмы). До сих еще пор велик тот пустырь, не застроенный домами, который отделяет ближайшую к Окладниковой слободу Кузнецову, долженствующую входить в черту города Мезени, названного так по реке, проте-

кающей возле. До сих пор свежо в народе историческое предание о первоначальном заселении места, занимаемого теперь городом. Два новгородца — Окладников и Филатов — явились первыми к устью реки Мезени и первые положили здесь начало заселениям: один там, где теперь город Мезень, другой выселился ближе к морю, туда, где теперь раскинулась деревушка Сёмжа. Оба новгородца явились с семьями и с доброю волей противостоять негостеприимному климату и всевозможным лишениям и — оба устояли. Тот и другой заручились грамотами Грозного царя и правами «копити на великого государя слободы и с песков и рыбных ловищ и с сокольих и кречатьих садбищ давати с году на год великому князю оброки». Окладников явился на новое место своего жительства с пятью сыновьями и с иконою Нерукотворного Спаса. Икона эта долгое время переходила от одного лица к другому, пока не сбереглась в руках какого-то безвестного отшельника, жившего в пустыньке на морском берегу, при устье реки Хорговки, и пока не была перенесена отсюда (в 1663 году) в Спасскую церковь Кузнецовой слободки. Копились между тем годы и десятки лет на столетия, копились и обе слободки на государей, вблизи *Студеного моря-окияна*. При царе Михаиле в Окладникову слободу наезжал уже кевролький воевода для сбора подати с туземцев и ясака с самоедов. Самоеды в определенное время приходили сюда и издавна уже имели поблизости (в 20 верстах, по дороге в Канинскую тундру, на месте, носящем название Кузьмина перелеска) главное свое мольбище. В нем в 1825 году сожжено было миссионерами более ста идолов и разрушено обширное требище. В 1703 году строилась в слободе церковь Богоявления; в 1718-м — другая церковь, Рождества Богородицы; вскоре затем поставлены были в разных местах девять крестов (свято хранимых в настоящее время) в память о жестокой зиме, стоявшей до 24 мая, когда едва не вымерзло все живущее в городе. В 1736 году привезена была в Окладникову слободу отдельная от кевролькой воеводская канцелярия капитаном Степаном Немецким; в 1780 году обе слободы (Кузнецова и Окладникова) по реке названы городом Мезенью и получили в герб красную лисицу в серебряном поле. В 1808 году жители вновь нареченного города потерпели новое бедствие от сильного разлития реки и разбрелись бы по соседним селениям, если бы правительство не выдало им пособия. Беглыми из Си-

бири и острогов, преступниками и московскими и другими раскольниками населились ближайшие к Мезени леса и селения. Стоит теперь уездный город Мезень, обложившись множеством больших и малых деревень и неудобною к обитанию тундрою, со своим уездом, больше которого по пространству и меньше по населенности нет уже другого на всем громадном протяжении Великой России.

Вот, таким образом, все бедное событиями прошедшее города Мезени, который мрачно глядит теперь своими полуразрушенными домами, своими полусгнившими, непочиненными церквами. Ряды домов, брошенных без всякой симметрии и порядка, наводят тоску. Все почти дома пошатнулись на сторону и в некоторых местах даже надломились посередине и покосились в противоположные стороны. Съезды, выходящие, по обыкновению всех русских деревень, на улицу, здесь обломились и погнили; ворота, которые давно когда-то, может быть, выпускали на эти съезды бойкую лошадку из уничтожившейся уже в настоящее время породы мезенок, как-то глупо, бесцельно торчат высоко под крышей и наглухо заколочены. Навесы над длинными задворьями обломились, и самые стены этих дворов рухнули, сгнили, а может быть, и истреблены в топливе. Мостки подле домов также погнили и, не поправленные, провалились; мосты по улицам тоже не менее тоскливого вида и бесцельного существования. Банями глядят дома бедняков, остатками мамаева разгрома — дома более достаточных; но — три кабака новеньких; но казначейство, на этот раз выстроенное за городом, непременно каменное, и два-три дома, вероятно туземных монополистов, с расписанными ставнями, с тесовой обшивкой, с длинным и крытым двором позади. По улицам бродят с саночками самоедки с детьми в рваных малицах, вышедшие от крайней скудости на едому. Из туземцев не видать ни души: может быть, холод, закрутивший 28 градусами, тому причиной; может быть, нет никого дома и все на промыслах...

Говорунья старушка хозяйка, явившаяся в дырявом крашенинном сарафане и доставшая мне самовар у соседей, говорит, что промыслам теперь быть не время: еще-де Никола не пришел.

— Где же большаки ваши, мещане мезенские?

— Да, вишь, у нас теперь ярмарка...

— Где же она? Не видать ни народу, не слыхать ни шуму, ни крику. Это, что ли, бабушка, торговцы-то?

В окно видны бегущие по улице целые аргиши: множество оленьих санок, одни за другими, нагруженные обледенелыми бочками.

— Это не торговцы, это пустозера,— отвечает хозяйка,— на никольску на Волок (в Пинегу) ладятся... с рыбой и со всячиной. Эти у нас и возов не развязывают.

— Где же ваша-то ярмарка?

— А нашей не видать. По домам торгуют: коё свои же, кто с достатком, коё с Волока наезжают. Человек с пяток есть полно ли всех-то торговых?

— А народ-от где, бабушка? Никого не видать.

— Повремени: может, кто и пройдет.

— Нет, бабушка, скучен ваш город, беден...

— Да уж и захотел ты от нашей слободы!

— Хуже, хозяюшка, я и городов не видывал, а проехал на веку своем больше сотни.

— Задвённая сторона наша, задвённая, желанный! К морю сели близко, хлебушко не родится. Что в море упромыслим, то и наше: времена-то, вишь, ноне крепкотугие. Эдаких, кажись, никогда не бывало.

— Отчего же так, бабушка?

— Да, вишь, аглечкой в летошный год приходил — баловал шибко. Много он на нас напустил напастей всяких...

— А ведь он к Мезени вашей не подходил...

— Не подходить-то не подходил: это слово твое верно. В губе, вишь, он стоял: река, знать, его наша не подпустила. Мелководна ведь она у нас, пройти-то ему, знать, не под силу было. А все же таки, родимый мой...

Старуха замолчала и подперлась локотком.

— Чего, бабушка? — подстрекнул я.

— Не пускал он, родимый, в море-то не пускал: промысла-то и затянулись, да года на два промысла-то наши затянулись! Стоит он — рожон ему вострый! — а прибыли нам оттого никакой нету: ну и исхудали, измаялись временем тем.

— Чем же жили-то вы, бабушка, во все это время, питались чем?

— Да семужку в реке ловили, навагу опять: тем и питались. Рыбинка-то аглечкова тоже не слушалась: ее-то ему не пропустить нельзя было. Против божьего соизволенья не пойдешь. Рыбинку-то *он* и пропустил к нам, *стрелье* бы ему в бока его басурманские,— право, окаянному!..

— Не хочешь ли вот лучше чайку, бабушка? Что браниться-то: прошлого ведь — сказано — не воротишь.

— Правда твоя, батюшка, правда! А на чайку на твоем благодарствую.

— Что же так, хозяюшка?

— Да я ведь из мирских-то чашек не пью. Велишь, по свою сбегаю вниз?

— Сделай милость. Посидим — потолкуем!

И эта хозяйка, как и много других на летнем пути моем, оказалась раскольницей.

— Не пью я с мирскими-то,— говорила она мне, вернувшись.— Не пью по родительскому по завету, как вот себя ни помню. Так и малолеткой учили. Я ведь и все остальное — правдой тебе говорить надо — по старине правлю.

— Что же еще-то такое ты по старине правишь?

— А вот старым крестом крещусь... эким.

И старуха сложила на перстах аввакумовский, дониконовский крест.

— Ну, а еще-то что же, бабушка?

— А еще-то? Да что тебе еще-то! Ну, по старым книгам молитвы творю, по утрам и по вечерам ста по три начал кладу...

— Ну, а дальше?

— Чего тебе еще дальше-то? Все тут! Дальше тебе и сказывать нечего — по старой вере, на старом кресте живу — вот тебе и все тут. Только мы живем-то уж очень нужно: наготы да босоты изувешены шесты...

— Аглечкой-то нас уж очень обидел: старуха тебе правду сказывает,— перебил ее явившийся к нашему чаю хозяин, с поразительно болезненным лицом, худой и словно убитый тяжелым горем.

— Отчего ты такой бледный, хозяин?

— А все не могу: икота долит.

— И у вас она водится, как и в Пинеге?

— В каком месте злого человека нету? Сам рассуди! Нагонит он на тебе по злости скорбь какую, и ведайся с ней, и долит она тебя, мучает. Вот подойдет и у меня к сердечушку-то и начнет глодать его, что и свет-от в очах помутится. Начнешь разговаривать — удержу тебе нет. Спросят тебя — не слышишь, а болтаешь знай свое, что на ум взбредет,— это еще не велико горе,— это «говоруха».

— Ругаешься на ту пору самыми такими неладными словами, что въяве-то и на ум не взойдет,— перебила хозяйка.— Начнешь ты: «ох-ох!» да «ой-ой!» — и

всякими такими звериными голосами заговорит в тебе нечистый. От него ведь это сердечушко-то больно-надрывно! За душу-то, одначе, не трогает, не смеет, стало...

— У меня так и за душу берет, берет окаянный! — перебил речь старухи, в свою очередь, хозяин.

— У тебя ведь с ветру, сынок! Это ты не сумлевайся, я уж тебе давно так-то сказывала.

— Да вот так и гляди по ветру! А по мне, по следу — по следу оно и есть, — ответил хозяин на замечание матери.

Но эта не слушала его и продолжала свое:

— У сынка уж то, что говоруха отстала, а началась «немуха», нет у него молвы, как у людей, а только рык да крик подобно лесному зверю, — волку бы, что ли, сказать. Худо у таких-то одно: из «немухи» сама «смертна» нарождается. Бьется-бьется ин человек, — почнет его ломать справа налево всякими судорогами, а в них и сама смерть приключается. Ведь сто бесов животы-то гложут.

— У иных так, слышь, и на человека-то на того по молитве указывает, который порчу-то напустил по науке али по злобе. По имени и человека того называет и деревню его сказывает. Редко же, однако, эдак; больше все втай, потому как дело оно от лукавого — нечисто и есть оно отныне и до века!

— Аминь, матушка! — закончил хозяин. — Гостю ведь и отдохнуть надо после дороги. Поизморился же, чай, поизмялся: дороги-то ведь наши тот же нечистый прокладывал. Пойдем-ко!

Вот памятные, самые первые впечатления мои по приезде в Мезень, тоскливее которой действительно я не встречал во всех своих шестилетних долгих и дальних странствиях по Великороссии. Жалка своим видом давно покинутая Онега, но Мезень несравненно жальче и печальнее, хотя и имеет много сходного в частностях с другими уездными городами: согласное, живущее дружно и угощающее друг друга сытно и много общество чиновников. Среди них, по обыкновению, принадлежит первое место разбитным усатым господам, с размашистыми, лошадиными манерами, и последнее место — жалким, загнанным, робким учителям уездного училища, находящим все свое развлечение и наслаждение в танцах, если где таковые затеваются. В Мезени танцев нет: карты и еще карты поглотили там все свободное от службы время. Женское население из чиновного класса, по обыкновению, так же застенчиво, так же

дико смотрит и боязливо и неохотно говорит со всяким новым лицом, и так же имеет (все поголовно) полное и неотъемлемое право на название хороших, добросовестно знающих свое дело хозяек... Впрочем, не до них наше дело.

Хозяйка снова и охотно толковала мне:

— На всяку болесть óберег есть и таки люди — берещики — живут, что знают, как слово говорить «в усупор» боли. Вот взять озёву — зевнешь да не перекрестишь рот, а черт и побывает — против нее свой оберег. Алибо коровушка бодается, как ее усмирить? А ты, мол, пестравушка, с места не шевелись: «Не дай, господи, ни ножнова ляганья, ни хвостова маханья, ни роговова боданья; стой горой, а дой рекой, озеро сметаны, река молока».

Бывает прикос, а кто и призором зовет — сохнет тебе ребенок, отбивается от еды. Это — взглянул нехорошим взглядом недобрый человек,— ни от чего больше и взял «урок», а иные знающие отчитывают. Приключается так-то всего чаще, и никак не ухоронишься,— вот взять бы «баенную нечисть»: всего осыплет, все тело покроет коростами. И ведомо всякому, что прилучилась в бане и, знамо, нежить баенная вспрыснула по вражьему указанию,— и ничто поделаешь тут, как веред перстом не очертишь, на ветер не бросишь.

Притчи идут на тех, что рожают неладно,— такой притычется грех, что стонут да охают, и никто не догадается, откуда така трясовица. Когда повенчаются впервые да повалятся спать, кладем на всю перву ночь под постель кочергу и ухват: это противу той самой болести, чтоб не прилучалась впредь до веку. Иной привык чертиться да лешакаться,— что у него ни слово, то либо черт, либо леший,— вот таких одолевает болесть эка. И грыжа к таким-то пристает: сам звал нечистого, сам он и добрался до тебя и посетил. Пупыши (вереда) пойдут,— иди на болото, ищи траву — так она и зовется «грыжная трава», столь длинна, как наши женские волосы.

Бывает знобея, что всего знобит: не согреешься ничем и все на печь лезешь; бывает оглухица: завалит тебе оба уха,— ничем не промоешь; желтея бывает: весь ты цветом таким оцветешь, что горит на привозных ситцах. Бывает неядея — сам знаешь, какая притча. Сказывать ли? Да всего и не перескажешь, где уж... Много же их по нашим местам, всяких притчей, живет: ино на лице прикинутся, ино из-под земли выходят, по

ветру налетают тоже: всего не пересчитаешь потому,— иное и еретик напуск делает — стрелье бы под сердцем взять.

А между тем дальнейшее знакомство мое с Мезенью приносит с собой не много утешительных фактов. Говорят про мезенцев (да, кстати, и о пинежанах), что это — самые обездоленные люди, и при этом указывают на село Суру (говоря присловьем «Сура — дура») и на соседнюю с ней деревню Беричевскую, где икотная болезнь и невзгоды постоянных голодовок довели жителей до идиотизма и крайних суеверий. В погосте Немнюге — «опарники» не за то, что они едят скороспелый и недопеченный хлеб, а будто бы даже предпочитают сырую опару, почитая ее лакомством. Самих горожан в Пинеге назвали мне «водохлебами», за обычай брать деньги за воду с приезжих торговцев на тамошние обе ярмарки: никольскую и благовещенскую. Досужий мещанин пробьет пешней прорубь, встанет подле и сбирает за водопой грошики, а считать их, по великому неумению и непривычке, не умеет. «Покупала по цетыре денежки, продавала по два гросыка, барыса куца куцей, а денег ни копиецки»,— так насмехаются над пинежанками, неумелыми в базарных оборотах и денежном счете, да, кстати, задевают обычную привычку в их говоре — прицокивать. «Пинега — Мезень — толста селезень»,— прибавляют другие. Это значит, что и женщины этих мест отличаются от двинянок неуклюжестью. Она выражается в толстых, как обрубки деревьев, нижних конечностях, в большой ступне, в неуклюжем, опухшем малокровном теле. По суеверному понятию и заблуждению, все это уродство (уверяют) зависит от болезненного чрезмерного развития брюшного черева, лежащего, как известно, в левом подвздошке, насупротив печени, и называемого селезенкой. Говорят, что давно уже начались из самого города Мезени частые и довольно значительные переселения мещан на берега моря, особенно в сторону Канина, что таким образом образовались уже там многие селения, как, например, Мгла, Несь и другие. Говорят, что город отсюда переводится в Усть-Важку или в Печорскую Ижму. Рассказывают, что не дальше как сегодняшнею ночью у пустозера, проезжавшего за городом под хмельком в аргише, отвязали от санок трех оленей; что здесь, если хочешь жить домовито, запирайся покрепче и замки держи непорченые, нержавые и ненаружные, что на такое нечистое дело и здесь найдутся топоры и до-

лото. Говорят, что свадьбы здесь справлялись когда-то, в давние времена, широко и гульливо, что прежде обдаривали всех гостей, а теперь и из родных-то не всякого.

— Да и свадеб-то вон что-то не слыхать совсем,— рассказывала мне хозяйка.— Допрежь, в досельные годы, все правили по отцовским заветам. И зарученье правили с подарками: кто платком, а кто деньгами. И деньги-то эти жених невесте клал в долитую рюмку вина — большие. За зарученьем, дня через три, *почестной* стол бывал у жениха в дому: за почестным столом невестина мать *хлебинами* — обедом своим — потчевала и хорошими подарками всякого гостя одаривала. Ноне и сватанье-то не такое стало: ноне с вечера *заручились* сами молодые промеж себя, а наутро и под венец пошли. Съедят в этот день обед — да и дело в конец. Прежде лучше было, не в пример лучше.

— А чем же, бабушка, лучше было?

— Да в старые годы вот как было: идет сваха в невестин дом со своим сказом, придет — не садится и дальше матицы полатей не заходит. Сгребется она руками за матицу и из рук ее не выпускает: сказывай ей либо да, либо нет. И отказы бывали. А ноне рады-рады, коли женишок на девку наклевался: бери ее вовсе, да поскорее, нам-де с ней, по своей скудости, нечего делать...

— Что же дальше-то, хозяюшка?

— Ну, вот сговорили. Девку к венцу обряжать станут; придут девушки — отпевать начнут. Сидит невеста, платком накрыта, и плачь она — не плачь, а слезы на глазах оказывай. Попоют девушки — кончат. Невеста встанет с места, низким поклоном свою благодарность отдаст. А песни поют такие печальные, что и со стороны жалость берет, слеза пробивается, вчуже сплачешь — такие *жалости* попадаются. Верь ты мне! Ноне, батюшка,— продолжала старуха с преглубоким вздохом,— ноне, родитель ты мой, у нас и поседок не сбирается, и на масленице с горок не катаются. Все кинули, все бросили. Ии-хи-хи, тошнехонько!

Все ведь это, кормилец ты мой, от нужды от великия. Вон, сказывают, вниз-то туды, по Мезени по реке, кое-где, слышь, правят все же это. А у нас ты и песни никакой не услышишь, какая она такая есть... Тяжелые времена пали на нашу сторонушку задвённую: это перед твоей милостью, как перед богом!

Все-таки последние слова старухи были справедли-

вы в одном, хотя и подлежали еще большому сомнению приводимые ею причины. В этом случае выручил меня, как и во всех других, толковый старожил, человек грамотный, бывалый, зажиточный, прочитавший на своем веку много книг и не духовного содержания. Таких посылала мне, впрочем, судьба почти в каждом большом селении.

На этот раз случай выпал такого рода. Был какой-то праздник, кажется, воскресенье. На углу церковной площадки, подле кабака, стояла куча праздного и праздничного народа. Лица у всех были такие плотные, здоровые: попадались решительные красавцы с правильно обрисованными профилями, с крепким румянцем, с густыми пушистыми бородами. Все одетые чучелами в свои некрасивые, неуклюжие совики и малицы. Последние покрыты были, по обыкновению, прихотливо-пестрыми ситцевыми рубашками. Толпе этой было, видимо, очень весело: проедет ли самоед на оленях — они осмеют его, обругают; пробежит ли собака, по обыкновению большая, желтая, хохлатая,— они и на ее счет пустят свой смех и замечания. Никого и ничто не пропускали эти мезенцы без того, чтобы не поглумиться своими доморощенными остротами, не посмеяться своим веселым, простосердечным смехом.

— Весело же вам живется, Гаврило Васильич,— заметил я моему гостю, явившемуся ко мне по приглашению.

— Это вы насчет чего же изволите говорить?

Гаврило Васильич долго живал в Архангельске на купеческих конторах и сам хвалился умением говорить со всяким: кого хочешь присылай.

— Да вот, видишь, как распоясались земляки-то твои, что стоят у питейного дома. Выпили, что ли?

— На что им выпить-то? На выпивку в нашем городу найдешь ли и пять человек имущих. Эти не выпили: они так смеются.

— Так, стало быть, живется вам весело?

— И этим не похвастаемся. Спросите хоть их же самих: многого хорошего не скажут. Гляди, другой и щи-то лаптями хлебает. А смеются они оттого, что глупый народ, дураки.

Гаврило Васильич как будто сердится.

— Нашему народу,— продолжал он,— плеть надо, да хорошую, чтобы горохом вскакивал. Наш народ (я буду говорить вам сущую правду) — лентяй, такой лентяй, что вот, если заработал на год одним промыс-

лом, за другим не потянет руки и с места не подымется. А вот встанет на перепутье-то да и начнет гоготать: ведь это дело легче, споркое это дело, особенно с голодухи! И добро бы, ребята малые али молодые, а то ведь у иного борода в лопату и вся седая — и он туда же. Вот и вспомнишь пословицу: «Борода-то, мол, выросла, а ума с накопыльник не вынесла». К нашему народу пословица эта как лучше нельзя подходит, и вот почему. Приходили к нам английские корабли, пугали, на промысла не выпускали из дому; ушли — мы два года прожили, с голоду не померли, на то время и к печи-то своей поприглядelись, полюбили ее, что мать родную. Стало замиренье, думаем: коли в два года черт не съел — и этот третий как-нибудь проваландаем, не лыком же шиты. Сдумали мы это дело великое, да и на Мурман не пошли, и советом положили вовеки не ходить туда: далеко будто бы. Да уж очень много рыбы туда приходит, всю не выловишь. Пущай там кемские поморы свое дело правят, пущай их. Когда-когда мы и на промысла-то ближние за зверем морским соберемся — нам ведь и это в труд большой, хоть добрым уловом сутки в трои заручаемся на целый год. Об этом мы не рассуждаем. Позови ты нашего мезенца в покрут — ни за что не пойдет, оттого и крутим больше снизу, речных. А отчего наш нейдет? Оттого нейдет, что у него не столько наготы, сколько гордости всякой да чванства: я-де и сам с усам. А того не знает словно, что держи, по пословице, голову уклонну, а сердце покорно. Вот потому у других нужда такая, что собаки ложки моют, спят на кулаке, а ихние ты щи хоть кнутом хлещи: пузыря не вскочит. Вот что! И не с сердцов все это говорю вам или злобою какой пылаю. Я ведь и сам здешний, и сам в нужде живал, и сам достаток свой не с неба получил! А жаль народ, жаль брата своего, ближнего. Наш народ — здоровый народ, работной, из него можно выделать такое дело, что весь край наш ухнет да диву дастся.

— Какое же, Гаврило Васильич?

— Да всякое, какое хочешь: от нас первое судно и на Новую Землю шло; мы и пол-Мурмана обчищали; у нас и суда сами строили, в кемское Поморье не кланялись; у нас и лошади хорошие вырастали и на весь край славу пустили; у нас все свое — и хорошее свое — было. А теперь — ничем-ничего. Все пропало, все погибло от лености да от гордости,— матерь божья!

Гаврило Васильич перекрестился три раза.

— Вы вот о морских промыслах слышать желаете,— поезжайте отсюда в Сёмжу да в Долгую Щель: здесь вам ничего сказать не сумеют. Поезжайте, поезжайте! Там дело ведут по-старому. Там народ честный, народ там богу работает. За одного тамошнего я вам всю нашу Мезень, со всеми мозгами, отдам.

Я послушал Гаврило Васильича, нанял четверку оленей, завернулся в теплые, хотя и тяжелые, совик и малицу и по пустынным снежным полянам, через пни и кочки, прямиком, по рыхлому, глубокому снегу съездил на легоньких, но валких саночках сначала в Сёмжу, а потом за реку Мезень и за сосновые леса — в село Долгощелье. В два с половиной часа промчали меня легкие на ходу олени через первое сорокаверстное пространство до Сёмжи, давши возможность увидеть, что это — деревушка дворов в пятнадцать, сбитых в кучу без особенного порядка, но ближе к широкому устью реки Мезени, уже с соленой водой и не замерзающему во всю зиму. На этот раз морская вода сполнялась (начался прилив) и ветер дул с моря, а потому все устье было наполнено льдом синим, весенним. Через 6 часов убылая вода унесла этот лед назад и снова оголила черную воду широкого устья. В деревушке деревянная церковь, но выкрытая тесом и покрашенная в зеленую краску. Она, по обыкновению всех поморских церквей, освящена также во имя святителя Николы, как бы в большее подкрепление народной поговорки, которая давно уже и справедливо гласит, что от Холмогор до Колы — тридцать три Николы. Здесь же, между прочим, слышал я, что при крепких северных ветрах море нередко выгоняет воду из реки на берега, топит и уносит стога, подступая к деревушке под самые избные стены. Это обстоятельство оправдывается тем, что течение прилива и отлива здесь продолжается дольше, чем во всех других местах Белого моря (исключая только Св. Носа), а потому и возвышение прилива здесь наибольшее (до 20—22 футов). Причину этого явления легко объясняют сильным напором приливной волны от севера и стеснением ее в Горле моря.

Село Долгая Щель, расположенное на берегу реки Кулоя, в 51 версте от Мезени (прямиком через болота и труднопроезжие перелески на $4^1/_2$ часа не слишком быстрой езды на оленях), оказалось селением более людным (83 дома), чаще и красивее застроенным двухэтажными избами, не разрушившимися, как в г. Мезени, к уезду которого принадлежит это село. В старину

оно приписано было к Сийскому монастырю; теперь населено государственными крестьянами, которые, как видно на первых же порах, живут достаточно: для наезжего гостя нашлась у них и рыба всякая, и чай, и сахар, и купленные в Архангельске лакомства, вроде кедровых орешков, пшеничных баранок и окаменелых пшеничных же пряников. Щеляне сеют ячмень (хотя и весьма незначительное число), ловят рыбу и в Кулое, и в р. Сойне, которая издавна дарована здешним *крестьянам* и *соенским* бобылям. Последние, выселившись из Долгощелья, образовали новое селение — Сóену. Рыба, вылавливаемая в этих реках, и общая всему Мезенскому и дальнему Канинскому берегу нельма не попадается уже нигде на других беломорских прибрежьях. В Печорском краю она тоже не редкость и везде составляет лакомую, вкусную и здоровую пищу; мясо ее нежное, и посоленное так же приятно, как и свежее. Заходя с моря в реки, она вылавливается здесь в семужьи невода и весит иногда до пуда. Эта рыба лучшая из всех так называемых белорыбиц и достоинством своим далеко превосходит, например, волжскую или уральскую белорыбицу, хотя и у ней такое же белое мясо.

Как и в Сёмже, так и в Долгощелье нашлось несколько словоохотливых, бывалых и знающих дело хозяев, которые радушно рассказали мне о многих подробностях ловли морского зверя. Рассказы их пополнил мне и во многом объяснил мой мезенский собеседник Гаврило Васильич. Результатами этих рассказов, в общей их сводке, спешу поделиться с читателями.

Вот что сообщили мне:

С первыми крутыми осенними ветрами: по востоку (O), полуношнику (NO) и северу (N) — у берегов Белого моря, покрытого уже большими ледяными припаями, начинают показываться стада, *юрова лысей,* морского зверя из породы тюленей, каковы: *нерпа,* или тюлень обыкновенный, *лысун,* или тюлень гренландский, *морской заяц* и, реже других, *тевяк* — тюлень с конской головой. Плотно сбившимися в кучи, в отдельные семьи, состоящие иногда из нескольких тысяч зверей, гребут эти *кожи,* эти *юрова* из стран приполюсных или к Мурманскому берегу, или в Чешскую и Обскую губы океана. Значительное количество семей этих угребает через Горло и в Белое море в прямом направлении к островам Соловецким. Частью искание пищи (рыба по осенним ветрам также спешит выплыть из океана в море и его реки), частью наступающий период соития и дето-

рождения (чему способствуют огромные тороса верст по десяти протяжения, отрываемые от береговых припаев и носимые по морю), частью, наконец, жажда покоя на безлюдье и вдали от океанского шума и треска влекут сюда все эти стада дальнего, сального, барышного зверя. Изредка только высовывая свои черные головы на поверхность моря, и то для одного дыхания легкими, звери эти бо́льшую часть времени проводят в воде, где, как говорят, и совершают они свой акт соития, *парятся* — говоря поморским выражением, в течение октября, ноября и первых недель декабря. Тощие с виду, они в это время на беломорской рыбе успевают откормиться и разжиреть до того, что каждый зверь дает иногда до 10 пудов сала. От Соловецких островов, по окончании случки, все звери на сувое[1], идущем по направлению Воронова мыса от Сосновца, и, выждавши попутные, благоприятные ветры, гребут в январе к Зимнему берегу на Кеды (имя деревни). Здесь издавна места тихие, малонаселенные, стало быть, удобные к деторождению. Звери выбирают здесь самую большую и самую дальнюю от берега льдину или самый дальний конец припая и при помощи передних ласт выползают на них из воды. Тут самки, называемые *утельгами,* мечут по одному, редко по два детеныша, называемых *белька́ми,* по причине белой шерсти, которою они в то время бывают покрыты. Через месяц белая шерсть выпадает, местами показывается черными пятнами тело; белек превращается в *плеханка* и в *келка,* когда шерсть его начинает делаться серою. «На стретеньев день,— говорят поморы,— льды *опятнает,* и зверя на них — что пня в лесу». После деторождения все юрово ложится обыкновенно на продолжительный отдых, на залежку, и употребляет при этом весь инстинкт, все помыслы на то, чтобы защитить новое поколение своей породы от нападений врага. Для этого юрово обыкновенно размещается по льдине таким образом, что в середине держатся бельки и утельги, а по сторонам, кругом их, как бы стена или стража, ложатся самцы — лысуны. С другой стороны, звери, расположившись на залежке и уткнувшись мордой в льдину, начинают оттаивать ее своим дыханием и теплотой тела до того, что продувают ее четверти на полторы, вплоть до воды. В некоторых случаях отдушины эти звери оттаи-

---

[1] Сувоем называется то место в воде, где она крутится и клубит от двух встречных течений, когда полая вода пойдет на малую или когда обе воды встретятся: полая с убылой.

вают и снизу и потом уже через них выползают на льдины. Процесс этого продувания многие промышленники слышали сами (как уверяли). Таким образом, звери имеют готовую и всегда под боком прорубь, через которую легко и удобно могут спасаться в воде при первом приближении злого и беспощадного врага — человека...

Соображаясь со всеми обстоятельствами, мезенцы, то есть койдяне, щеляне, сёмецкие (из Сёмжи) и некоторые слобожане (из Мезени), три раза в год выходят артелями на эти промыслы, которые у них, смотря по времени и по способу ловли, носят следующие названия: 1) *выволочный,* или *устинский,* или *загребной,* и 2) *на Кедах.*

Отправляясь на Кеды, в место недальнее (там, где мыс Воронов и где начинается заворот Мезенского залива), промышленники обыкновенно берут запас на месяц. Обязанность эта главным образом лежит на хозяине покрута, или, по-здешнему, *ужны,* который и сам всегда отправляется на место промысла вместе с работниками. Запасаются обыкновенно провизией на 7 человек, котлом, ружьями, печкой (железным листом), баграми, лямками и дровами. На каждого человека полагается: по три пуда печеного хлеба, по пуду *харчи,* т. е. масла, рыбы соленой, муки, кроме *буйна* (полотна и рогож), которым закрываются от погоды. Все это складывается в лодку, которую обыкновенно тащат на лямках работники, или уженники[1]. Уженники, идущие на своем содержании, то есть без бахил (высоких кожаных сапог), совика и ружья хозяйского, получают полную часть, то есть восьмую из всего промысла, и напротив, покрученники, называемые обыкновенно половинщиками,— шестнадцатую; треть шестнадцатой достается на долю мальчишек-недоростков. Хозяин берет за снаряд себе все остальное: меньше, если все пошли с ним уженниками, и — гораздо больше, если пошли все половинщиками...

— Вот сказывали наши флюгарки, долгое время полуношником (NO ветром) от Сосновца (остров в горле Белого моря), подходило дело это к стретьеву дню, прошел этот праздник, мы долго не думаем на ту пору, сейчас на Кеды с ружьями! — рассказывали мне промышленники мезенские.— Тысячи до полуторы народу

---

[1] Называются они так оттого, что вся провизия, взятая для них, носит обыкновенно название у ж н ы.

на это время сбирается. Знаем уж мы это доточно, что наметали утельги бельков своих беленьких, словно серебряных, черноглазеньких таких, чистеньких, гладеньких. С берега мы прямо на льдины идем и все свое богатство тащим: и лодку, и ружья, и котелки, и пищу — все до последней крохи, потому что уж нам на то время нет нужды в промысловых избах. На льдинах мы и огонек раскладываем, и кашицу тут себе варим, и спать тут ложимся; разве который уже боярской кости, так тот под лодку прячется. И ничего, благодаря богу живы бываем: в море-то ведь потеплей на ту пору живет; на горе (то есть на берегу) забористей. Так вот ладно же: постой! Выйдем на льдину, смекаем: ко́ли зверь этот на свой глаз чуток и на нос тоже, что, коли, мол, он духу человечьего не терпит и на вид ему человек противен, мы его облукавим: на что и царь в голове сидит? Ладно!

«Надевай, мол, ребята, белые совики, а у кого нет, так на малицы белые рубахи напяливай. С тем, мол, подобием снегу и дело делать будем».

«Что же, мол, лукавый хозяин, ползти к ним на коленках придется?»

«Да уж это, мол, так, как и быть тому следно, по-молитвенному».

«Ладно,— сказывают,— поползем. Дай-де только крестом осениться!»

«Валяй, мол!»

И поползем под зверя, по душу его по морскую. Кто ледяную доску против рожи-то своей на ту пору держит, кто черную свою шапку за спиной прячет, кто за ро́паками да стамухами (намерзшими стойком льдинами) прячется. У всех в руках палки, у всех по ружью, у всех и коленки болят и спину ломит. На это не гневаемся. Ползем, значит, ни единым словом не щелкнем, не перекинемся промежду себя, ползем — знай все дальше, да ближе: и зверя видим, на носу висит... подле ног лежит и отдушинку под собой продувает... И дух они дают от себя такой нехороший: под себя, значит... Тут его по шаболе-то резнешь да к другому идешь; первый готов, и этот тоже. Большая залежка — других решаешь; ребята твои там тоже смертоубийства творят. Хорошо это, и сердцу весело! Одно не ладно, что большого тут зверя мало живет; весь, почитай, он на то время в воду уходит, а лежит больше мелкота, белечки. Этого зверя мы и не облукавили и *хохлуш* не обманываем, потому этот зверь от тебя никуда не уйдет. Плавать

малый не умеет; другая матка и спихнет которого в воду, а он все опять на льдину лезет. Старики в прорубь мечутся, а белек от нее дальше; ему на лед бы да на матерое место! И лежит он перед тобой в полном лике, не трогается, и словно бы что-то глупое, неподходящее думает! То ли он матку выжидает тут, чтобы пришла да покормила, то ли он человечий-то образ любит, не спознал еще нашего брата за барышного человека,— господь его ведает! Только мы этих бельков на Кедах много наколачиваем. А вот, как устанет рука, а зверя много, мы из ружей их бьем. А коли дошли до того, что зверь лежит весь поленьями, а который наутек пошел,— мы и баста! Сейчас вынем ножи из-за поясов — свежуем. Строгаем сало в лодку, шкурки, почесть, и не берем с собой. Этот ведь промысел сальный, сказывать надо, не харавинный [1]. Такой-то промысел у нас на устье бывает до Конюшина мыса,— *устинским* его зовем. Этот промысел большой, трудный. На этом промысле не один человек и головушкой своей решал. Тут не зевай. Тут ты будь навеки умный человек, коли вернулся домой живым, непомятым. На этом промыслу хорошо, когда сильные ветры сопрут льдины к берегу. Зверю тут выхода не бывает: бежать ему некуда, воды кругом нету. Тут уж мы за ружья не беремся, *хвóстяги* в дело пускаем. А хвостяга — это палка черемховая, длиной сажень с локтем, и один конец у ней толстый с шишкой, а на другом багор с крючком да шилом. Когда набежим мы на юрово да увидим первого зверя на глазах — хвостягой этой в морду усноровляем. Если не попадешь — руки береги: зубы у них превострые, да и щетинятся шибко, пугают, хоть и редки случаи такие, чтобы укусили кого. Попадешь ты палкой зверю в морду, то и ладно — смерти он под твоей же рукой не минует. Хлипок же зверь этот, до того, слышь, хлипок, что один выстанет и полезет к тебе, так только по щеке ладонью дай раза пошибче — приляжет и морду воткнет в снег — приколи его только. Другой, пожалуй, и тут лукавит, притворяется мертвым, а потом и побежит, да не шибко. Этакого мы в зад прикалываем. С тем и конец.

Бывают дела на этом устинском промыслу, хитрые

---

[1] Т. е. не ради кожи: кожа не составляет цели промысла. Харавина — шкура убитых зверей — идет в продажу за границу и в Россию для ранцев, для обивки дорожных погребчиков. Здесь ее стелют нередко на оленьих санках: в просвещенных городах видим на ученических ранцах.

дела бывают, такие хитрые, что только вот слушай. Зверя-то мы этак окружим со всех сторон, льды морские пособят нам, сопрет их ветрами,— юрово видит: дело пропащее, сейчас на хитрость. Один взревет чисто, тонко, звонко; другой пристанет, третий — все заголосят. Этим ревом они словно вот что сказывают: «Собирайся-де, други милые, в одну кучу, сообща поведем защиту; полезай ты на меня, ты на меня; навалим большую кучу да и понатужимся,— может, и проломим лед-то». Ну и лезут друг на дружку, большие груды делают и пыхтят на ту пору, крепко пыхтят; слышим, силу-то свою останную собирают. Тут не зевай: коли, руби их,— в куче сподручнее! Не усноровишься — звери проломят лед: бывало эдак-то! И бей ты их прямо в голову, а сделал которому *шавуй* (шавуйный удар — в шею, значит), замечется зверь и всех прочь разгонит. И тут ты никоими силами не остановишь их: начнут забирать передом да подхватывать задними ластами, что угорелые, и прямо к морю, в воду. А ластами своими они круто забирают: человеку, хоть скороходом он будь, не догнать. На этих, на устинских, промыслах, когда много народу, совсем война идет: кричим, ругаемся, деремся, и все норовят как бы вперед попасть поскорей да подальше. Большое тут дело бывает, самое спешное: однажды в сутки едим, да и полуфунта хлеба не съедаем, не хочется. Едим слегка, значит, понемногу. Тяжелее этого загребного нет; недели по три, по четыре земли не видишь, какая такая есть она! Боевой промысел, смертельный, трудный промысел — верь ты богу!..

Набьем мы этак-то их, наколотим: на месте же тут и свежуем. Шкуры свертываем трубкой (края закидываем и прижимаем ремнем), к одному концу юрки (длинные ремни сажен в 20) привязываем, а другой конец юрки в лодке прицепляем, да так и спускаем в воду. Конченое, значит, это дело. Счастлив человек, коли жив на берег вышел. Много денег тому архангельские купцы и за харавину, и за сало дадут. Только ты им сало на дому вытопи: без того не берут...

Опасен этот устинский, или выволочный, промысел (выволочный потому, что лед в это время по большей части *выволакивается* ветрами из Белого моря в океан). Не проходит года, чтобы не погибало два-три человека из смелых, действующих сломя голову и на свое русское авось мезенских промышленников: то льдины рушатся от столкновения с другими, то окажется, что

нет пищи ни на льдине, ни за пазухой; ламбы (водяные лыжи) на полой (открытой ото льду) воде не помогают; присутствие духа не сберешь в течение двух-трех дней бесцельного плавания. Смерть, во всяком случае, неизбежная посетительница. И счастлив (как никогда в жизни другой раз!) тот охотник, которого судьба примкнет с роковой его льдиной на берег, особенно же вблизи жилья, хотя бы даже и близ лопарских погостов. Этих спасенных от смерти ловцов (некоторых) можно видеть несколько лет после того (смотря по личному их обету) в Соловецком монастыре исполняющими самые трудные, ломовые монастырские работы. У мезенцев есть обычай, и даже, можно сказать, страсть, ходить в одиночку на тот же опасный промысел выволочный. Страсть эта тем опаснее, что тут уже помочь некому, и притом некому в трудную минуту выплакать свое горе.

Ко всем этим рассказам промышленников можно еще прибавить то, что первые звери, явившиеся в море из океана, считаются нечистыми и бывают с запахом.

II. БЕРЕГ КАНИНСКИЙ

Физический вид его. — Морской зверь этого берега: заяц, тевяк, нерпа. — Способы их ловли: стрельня. — Подробности этого рода промысла по рассказам туземцев. — Остров Моржовец. — Разволочные избушки: их услуга и значение. — Голодовка и зимовка на Груманте (Шпицбергене). — Изобретательность и находчивость

Если по Зимнему берегу разбросано только шесть селений и по Мезенскому пять, то Канинский окончательно уже пуст и безлюден. Составляя как бы продолжение Мезенского берега (от Мезенского залива до мыса Канина на полуострове того же имени), который весь покрыт лесом, переходящим в кустарник, Канинский берег безлесен. На нем редка даже приземистая сланка, не доходящая высотою от земли свыше аршина...

При мне весь берег Канинский, как и Мезенский, засыпанный снегами, окончательно запустел. Он брошен был на всю зиму и самоедами, которые по летам подходят к нему со своими оленьими стадами (и то, впрочем, редко), и самыми предприимчивыми, самыми смелыми из мезенских промышленников, которые иногда бродят сюда на так называемую *стрельну* (стрелецкий промысел) за нерпой, морским зайцем и тевя-

ками. Звери эти, говоря словами туземцев, *не загребные, не юрсвые, не кожные,* то есть такие, которые не ходят в стадах, или юровах, семьями, не загребают одновременно, но плавают в одиночку, без соблюдения условных периодов времени, хотя также гребут из океана и с тою же целью — искания пищи. Все три породы зверей этих иногда проводят в водах Белого моря целые года, если не попадутся под пулю самоеда или мезенца...

Промысел этого рода безгранично утомителен: только освоившиеся со своей скудной родиной самоеды способны и привычны переносить все его невзгоды и сопряженные с ними житейские лишения. Самоеды, прикочевывающие со своими оленьими стадами в летнюю пору на Канинский полуостров, иногда по целым суткам флегматически-сосредоточенно лежат в своих карбасах, спущенных на якорь дальше от берега, и терпеливо выжидают, когда-когда покажется на поверхности воды черная головка нерпы, тевяк или морской заяц.

Покажется один из этих зверей,— самоед не замедлит выстрелить в него из заряженного уже ружья, прямо в морду, и не промахнется ни в каком случае, если только зверь не успеет, высмотрев своего врага прежде его самого, нырнуть от всегда меткого выстрела в воду (самоеды, как и русские поморы, меткие стрелки). Но такое терпение — выжидать целыми сутками зверя на поверхности воды — может доставаться только на долю полуидиотов из самоедского племени. Русские к тому положительно непривычны: да и в таких случаях они приучились лучше предпочитать верный отдых в семейном кругу, чем на утлом, поталкиваемом с боку на бок карбасе, и притом в такой дали, каков тот же Канинский берег. В этом случае они поступают иначе.

Мезенцы с незапамятных времен пребывания своего на берегах Белого моря знают (и никогда не ошибаются в подобных случаях), что, когда на Канинском и Тиманском берегу много *корму,* то есть когда у берегов этих появляется в значительном количестве мелкая рыба *сайка* — род наваги, видом похожая на налима, с синим и жидким телом и потому негодная к употреблению в пищу,— наверно в тех местах должны быть все три породы этого тюленьего рода, которые любят гоняться за рыбой сайкой и употреблять ее в пищу. Только этими обстоятельствами и положительными видимостями соблазняются мезенцы на дальний стрелецкий канинский промысел, и то самые беднейшие из

них, в которых нужда породила и храбрость, и страсть действовать на авось, буквально очертя голову.

Зная, что рыбка сайка преимущественно является в тех местах в конце ноября и живет там весь декабрь, что особенно любят жрать эту рыбку барышные нерпы и что потому они являются туда в огромном количестве (продувая льдину, назначенную себе для залежки, нерпы выползают через эту прорубь на поверхность льдины; они лежат тут сторожко, имея всегда эту прорубь как прибежище, как ближайшее и легчайшее средство к спасению в случае опасности), зная все это, бедняк из мезенцев долго не задумывается.

«Одна голова не бедна, а и бедна, так одна: семь бед — один ответ, а умирают люди один только раз на веку»,— думает какой-нибудь бобыль-одиночка или крутой смельчак и дела не кладет в долгий ящик.

Не обидела его судьба и самопроизвольная лень возможностью запастись крутоиспеченным с солью хлебом, горстями десятью соли и крупы (в малице, бахилах, шапке, камусах или рукавицах и под одеялом он всю зиму бедует: без этого только самые плохие и пьющие хозяева живут на свете), смельчак не думает долго и собирается. Ходячая, разменная монета у него перед глазами — живее, чем давно приглядевшийся Канинский берег, и нерпа, и тевяк, и заяц морской. Между тем нужда бьет по боку назойливо и ежедневно. Осенится он аввакумовским крестом (если старой веры держится) и никоновским (если не соблазнен в раскол), чмокнет в уста того да другую (если найдутся у него в семье таковые) и, вскинув котомку со съестными припасами за плечи, взяв в руки ружье да дубину (пешню или носок с железным оконечником), ламбы[1] под мышку, лыжи на ноги, вскинет крестное знамение на лоб, обовьется длинным ремнем и побежит искать счастья и удачи вдали, верст за 300 от родного крова.

---

[1] Все нехитрое устройство ламб основывается на том, что редкие из торосов не сопровождаются измельченным льдом, называемым шугою. Если от давления ноги мелкие льдинки, плавающие по воде, тонут, то достаточно размеренная быстрота передвижения ламб, широких и плоских, задерживает скорость погружения. Конечно, при этом необходимы крайняя опытность, главное — смелость, а еще более огромное присутствие духа. Часто слегка нарушенный баланс при самом первом скачке на шагу, часто ламбы задевают за льдину, и тогда смерть неизбежна: несчастный смельчак прямо падает в воду и затирается ближайшим льдом на века вечные.

— Да тяжело ведь это для вас; скучно, думаю, так, как нигде и никогда,— замечал я тем поморам, которые ежегодно бегали на Канин.

— Скучно,— говорят,— ваша милость, у чертей в котле сидеть на том свете, да вот твоему благородью в стороне нашей задвённой. А нам ничего, ничем-ничего, хоть лопни глаза мои!

— Ведь, чай, всё в карбасе качаетесь да на воду смотрите, зверя выслеживая?

— И в карбасе покачаемся, и всухомятку поедим, и вместо ручья из снегу воды добудем,— нам это все, что табашнику трубку табаку выкурить. Да нет: мы ведь в карбасе на нашей на заветной стрельне не качаемся. Тогда выстает зверя много — незачем в карбасе лежать: с берега очень в примету. Твою милость, кажись, охота-то наша крепко, вижу, забирает?

— Любопытна, должно быть, если не прямо стреляете.

— Нет, не прямо стреляем, а лукавим. Вот слушай теперь: надо тебе прежде сказать, что нерпа лукавый зверь, особо та, которая около жила шатается. С этой-то по-христиански, по-православному не сладишь. Не чутка она на нос, зато далеко берет глазом; это не морж. Заприметит человечье тело версты за две — сейчас в воду; а там лови ты ее, когда семи пядей во лбу. Бродит эта нерпа около припаев ледяных, и места-то мы эти знаем уж по своей по старой вере, по старым приметам. И то мы знаем, что человека она к себе близко не допускает. Вот тут и хитрит человек — божье рожденье, и хитрит-то он вот так... Да постой!..

Лежит зверь на гладухе (по зимам), на коргах, лудах (по летам)... больше всего на гладухах — тороса такие ледяные по зимам живут — лежат эти нерпы. Тут мы их больше и берем. Вот нерпа лежит — вижу, оком своим вижу и себе верю, что богу,— и лежит она не одна, а много. Из-за одной и рук марать нечего. Я сейчас на раздумье и сейчас к делу. На плечи напялю черный совик, на голову — белую шапку беспременно, за спину вскину ружье, против себя доску держу, и водой я эту доску оболью и заморожу, и по доске по этой *петничек* (деревянных гвоздочков) насажаю пропасть, чтобы снег держался, и поползу на коленках на льдину. Нерпа видит доску мою, ропаком, льдиной-стамухой почитает; лежит и глядит на доску на эту зорко, во все глаза. Надул, думаю; стой теперь: я еще тебе штуку подпущу, знай ты меня! И сейчас кричать,

сейчас стучать, как смогу и сумею, и опять одним глазком своим накинусь на зверя. Вижу, мечется он, по сторонам бросается, в прорубь сунется, опять выскочит, ухо прилаживает, прислушивается к проруби-то: не там ли, мол, шумит кто. Опять у проруби мечется, долго, круто мечется. Думаю: забрало! Пошла битка в кон!.. Гуляй молодец — твоя неделя. Он-то мечется,— а я ему: «ого-го» свое. Он-то пляшет да скачет,— а я свое дело правлю: ружье налаживаю да пулей-то ему прямо в морду! Так он и уткнется, так и продернет его всего крепкой судорогой. Ей-богу, это дело — ладное дело. На берег выйдешь — не прохохочешься. Эко, мол, ты человек — какой дикий да глупый, хуже, мол, ты самоеда нашего, право, недогадливый... Эдак-то мы по веснам больше... Тогда же и заячей ловим...

А есть у нас, твое благородье, и такие смельчаки (про себя только боюсь тебе сказывать), что облукавливают зверя всякого: и нерпу, и тевяка, и заячей. И облукавливают они его вот как, и это труднее того, что рассказано. Доски на этот раз не берут: тут человек сам за себя отвечай, за свой ум, за все свое. Человек этот выходит на льдину весь белый, ворочается, нерпу раздразнит, расшевелит. Она свое делает, и он по ее: она в одну сторону дернет и головушкой тряхнет — и он так же: она ухом к проруби своей приложится — и он свое ухо на лед. Так и надует, так и облукавит! Зверь помечется, побесится; видит, человек, что нерпа, свой брат: возьмет да и ляжет, успокоится и отворотится. Тут ей и пуля горячая!..

Мы ведь, ваша милость, из своих из плохих винтовок на 50 сажен хватаем, и прямо в морду. И до того глупа на тот час нерпа бывает, что щелкаешь ты выстрелами одних — другие не шелохнутся! Выстрелы-то эти, надо быть, за треск торосьев почитают. Облукавленный зверь — пропащий зверь, как перед богом!..

По берегу-то по Канинскому теперь избы настроили, хоть и не больно часто. У иной и часовня есть, и образ есть — да ведь в наледном-то промыслу, что́ в этих избах? Тут вон со зверем ломаешься, хитришь, бьешь его: ум теряешь и сметку всякую, а на ту пору, глядишь, ветер оторвал твою льдину от припая да и понес в голомя. Сгоряча-то это тебе не в примету, а очнешься — руками махнешь, крестное знамение на лоб положишь, родителей, коли есть, вспомянешь, знакомые какие на ум взбредут; сердцем опять надорвешься, глаза зажмуришь и поплывешь наудачу, куда ветер

несет. На этот случай нам остров Моржовец[1] подспорье хорошее: все больше на него попадаем. Так вот и со мной раз было дело. А то уносит в океан, так там и погибают.

— Вот оттого-то безрассуднее, бесчеловечнее наших тюленьих промыслов других больше и на свете нет...

— Это ты там как хочешь... а и на дому-то потом не больно же много напастей после смерти своей бывает.

— Да правда ли, полно, все то, что ты сказал теперь?

— Истинная, сущая. Бобыль ты человек — по тебе зато и собака не взвоет. Семья у тебя есть — ну, известно, заревут бабы, шибко заревут. Опять-таки и они: поревут, поревут — перестанут. Это уж дело такое! Нет того на свете горя, в котором бы человек утешения себе не мог получить...

— Нет! Как, брат, ты хочешь, как ты тут ни вертись, а уж если народ о человеке плачет, стало быть, человек дорог, стало быть, в человеке этом мир лишился товарища, а семья — кормильца. Как ты себе ни ворочай дальше, а промыслы ваши глупо ведутся: попусту народ теряется из-за лишнего пуда сала. У вас семга есть, навага, зверь на Кедах, на припаях лежит, добывать его в это время безопасно...

— Да ведь зверь-от лежит мелкота больше. А что ты больно смерть-то охаял? Где она тебе, сказано в писании, написана, то место ты и на кривых оглоблях не объедешь: верно так!

---

[1] Скажем несколько слов о Моржовце — самом ближнем к Мезенскому берегу острове. Весь он гранитного строения, с толстым пластом тундры, покрытым ягелем (оленьим мохом). Остров этот лежит к северу от Воронова Носа, при выходе из Белого моря в Ледовитый океан, в 28 верстах от берега; форма его овальная, окружность около 40 верст. На нем текут две речки с пресной водой, Золотуха и Рыбная, и стоят два озера также с пресной водой. Лес не растет здесь; жилья нет, кроме смотрителя и прислуги при маяке, выстроенном между 1838 и 1841 годами. В середине прошлого столетия, когда Мезень вела заграничный торг лесом, жили на южном краю острова лоцмана по найму лесной компании. Лед показывается у берегов Моржовца обыкновенно в начале октября, бродячие же торосы — в начале ноября, и тогда прекращается всякое сообщение острова с материком. В мае сообщение это опять начинается и производится обыкновенно через посредство казенных судов, имеющихся при маяке. Не принося никакой прямо положительной пользы, за бесплодьем и безлюдьем, остров Моржовец весною служит спасительным пристанищем для *весновальщиков*, которых ежегодно, и не один раз, приносит сюда на льдинах.

Почти так же рассуждают и все другие поморы, которые, как и все простые русские люди, соберутся миром на улице, в кабаке. Услышат нерадостную весть о погибели товарища, покачают головами, покрутят плечами, перекрестятся, потолкуют:

— Вишь ты, братцы, грех какой, божеское наказанье!

— Жаль, парня-то, крепко жаль. Ну-ко поди! Хороший парень-от был, хороший!

— Хороший был, хороший,— это что говорить. Жаль парня, жаль!

— И что его, братцы, угодило так-то?

— Да вот поди ты — угодило!

— Пошли ж ему, господи, царство небесное!

Опять весь мир деревенский перекрестится, опять все закачают головами, начнут толковать о бездолье погибшего парня, о тяжелом житье у моря и на морских промыслах и обо всем другом многом, да тут же и опросят друг друга:

— А кто из вас, братцы, на стрельню-то ноне собирается?

— Да вот я да дядя Никифор, дядя Михей, Кузька, Селифантей!..

— А когда, братцы, налаживаться станете?

— Да завтра, чай: что волочить дело по-пустому! — ответят в одно слово и дядя Никифор, и дядя Михей, и Кузька, и Селифантей.

Кто попал в беду и кому приходится отсиживаться ввиду неизбежной смерти от голодовки, всех тех выручают промысловые избушки, неизбежно торчащие почти на всех островах Белого моря и во множестве разбросанные в удобных и необходимых пунктах по берегам. Кроме сторожевой службы эти утлые строеньица служат другую, более существенную и знаменательную.

Стоят эти избушки на курьих ножках, лажены они из прахового лесу, что пожалели и в печь бросить; углы избушек обглоданы и расшатаны; венцы сплошь и рядом околочены заплатами, да и те оторвались: вместо печи — каменка, пазы погрело солнышко и вытрусил ветер,— пожалуй, в такой избенке и не выпаришься, и тепло они держат кое-какое. Нехороши избушки складом и видом — хороши обычаем: не у всякой хозяин есть; не надо стучаться и спрашиваться. Их и не запирают. В тамошних пустынных и безлюдных стра-

нах это издавна так и делается. Оставят там лодку и при ней шест: значит, чужая и нужная — никто ее не уведет.

Строят эти избушки соседние крестьяне про себя, да отсиделись недель десять сами, закалились еще больше во всякой нужде и терпении, съехали домой — владей избушкой, кто хочет. Дай господи, чтобы повладел ею тот, кому приведется отсиживаться от морских непогод, гибели и голодной смерти. Вот почему не видал я таких промысловых изб, где бы про бездомного случайного человека не оставлено было запасов: кадочки соленой трески, ведерка с солеными сельдями, соли на деревянном кружочке и сетки с поплавками половить свежей рыбки. Хранятся тут же всегда деревянный ножик, выдолбленная чурочка вместо стакана. Вот и низенькие лавки, на которых посидеть можно, и нары — выспаться; вот и тябло — богу помолиться. На одном я видел самодельную рамочку с медным створчатым образом.

На Колгуеве, на Новой Земле, Шпицбергене такие убежища тоже построены давно, но кто их строил и из какого леса (привозного с берегу или выброшенного морем плавника) — никому не известно. Плавник здесь выручает не меньше привозных бревен из прибрежных лесов. Рубят избы в венец, как и быть надо. Рядом с тоненьким березовым бревешком, которое умела подрезать в половодье льдина, ложится и лиственный брус, обтесанный для благородных кораблей: честь всем одинакова. Стены мшат: мох под руками, и к тому же так много, что кроме него почти нет других трав и цветов. Устанут щипать мох в пазы, кладут все, что попадется под руки: и морскую траву, и крапиву. Я видывал и пеньку, и клочки рогожки. В стенах прорубают окна: одно маленькое — дыру, в которую тянет из избы дым, другое с задвижною доскою на манер волокового, третье — красное, со стеклами. Переплетов не делают, а выходит так, что вся рама из осколков: один от разбитой бутылки, другой от стакана; одно белое, другое зеленое, и все эти осколки скреплены берестяными лентами (березка растет там, извиваясь по земле змейкой и кутаясь во мху). А так как на такие рамы большой злодей ветер, то кое-где стеклянные верешки закрепляют гвоздевыми костыльками. Крыши не кладут; много и той чести, если насыплют на потолок земли да набросают камушков. Из камней же и печь складывают, то есть, вернее сказать, не печь, а каменку. Если оста-

нется лесу, то сделают лавочки, но прежде всего тябло для божьего милосердия.

Избушка готова: вставши во весь рост, я о потолок запачкал голову. На большие хоромы избушка не похожа, а на деревенскую баньку очень смахивает.

— Приладились мы зимовать,— подсказывал мне один помор,— и когда огляделись, ан в самом-то главном у нас недостача. Все бы есть, а того нету. Забыли — согрешили, а взять негде теперь. Был с нами бывалый человек,— он смекнул, утешил всех, да и позабавил мало-мальски. Вытесал он дощечку такую, гладенькую и чистенькую, взял нож и выцарапал им на той малой дощечке святой крест на все восемь концов. Помолился на него, поцеловал, поставил на тябло в угол избы, опять помолился и обсказал:

— Вот вам, товарищи, и икона спасу молиться. На таком-то честном кресте бог терпел и нам, грешным, велел.

— Без бога ни до порога! — ответили ему мы на эти его слова все за один вздох и все сразу.

В расчете на подобную избушку, как на защитницу и на покров, плыло на океанский остров Шпицберген русское промысловое судно, отправленное мезенским богачом Окладниковым. Пловцы, по глухим слухам, давно знали, что такая-то избушка свезена на остров и поставлена там. Поэтому не потеряли надежды и не пришли в отчаяние, когда судно их на ходу к острову было затерто льдом. Пристать было невозможно, но лед делал мост, хотя опасный и ненадежный. По такой густой, но мелко-ледяной каше, какова шуга, надо было умелым бежать на ламбах (в лыжах к ногам привязываются доски вроде полозьев; в ламбах эти доски загибаются с краев в виде лодочек или корытцев).

Вызвались идти на остров самые искусные и смелые: впереди всех сам голова и воротило-кормщик, Алексей Хилков, а за ним три товарища: крестник его Иван Хилков, Степан Шарапов и Федор Вершин. Взяли они ружье, рог с двенадцатью патронами, пороху, пули, топор, маленький котелок, 20 фунтов муки, огниво, трут, ножик. До берегу добежали все четверо целыми и невредимыми. От него в четырех часах пути нашли внутри острова промысловую избушку. Смерили ее, оказалось в длину шесть сажен, в ширину три, в углу стоит битая глиняная печка. Потолок успел прогнить, но его легко было починить — и сойдет избушка за гостиницу. Понравилась она так, что тут они и переночевали. На-

утро пошли к морю повестить товарищей о радости и счастии, сказать, что нашли то, чего искали. Выбежали на берег, посмотрели на море: ни льду, ни судна; гадай как хочешь, раздавил ли лед судно или уволок его, куда ему ни хотелось, а беда все-таки висит на вороту. Спаслись на ламбах на глубоком море, пришлось погибать на своих ногах на сухом берегу. Хуже беды не могло стрястись: и стыдно, и обидно! Оставалось сделать одно — они и сделали. Вернулись в избушку, вычинили стены, промшили мхом заново, да и прожили в ней 6 лет и 3 месяца. Умер только один, самый сырой и тучный. Трое ели мерзлую рыбу, отыскивали подо льдом ложечную траву, жевали ее сырую — и спаслись от цинги. От голоду спасались мясом диких оленей, птицы и рыбы. Птица, прилетающая сюда линять, обыкновенно так слабеет, что ее били палками; рыбы было так много, что про свой обиход ловили простым мешком. Заряды жалели и берегли на оленей, на мясо (потребляя в течение 6 лет одно только мясо, они потом не могли есть хлеба). Раз нашли они на берегу доски с гвоздями и большой железный крюк — осколок какого-то разбитого судна. Товарищи-отшельники устроили кузницу, выковав сперва камнем гранитным — голышом — на голыше же из крюка молоток, потом молотком на том же голыше из гвоздей сделали копья, насадили их ремнями на ратовище из наносного лесу: стала рогатина. С ней и воевали. Воевать приходилось с белыми медведями, то есть, вернее сказать, обороняться, так как зверь этот их сильно обижал. Варили пищу, разводя огонь из того же плавнику, который собирали на берегу. Огонь вырубали огнивом на трут, а в трут истлевало их платье. Когда истлела и измызгалась привезенная с берегу обувь, стали присноравливать, выделывать меха и кожу от убитых зверей. Вымачивали да оскабливали, сушили да вырезывали. Нужда выучила и платье шить, и сапоги тачать: один стал портным, другому присоветовали быть сапожником. Тянули да высушивали оленьи жилы, как делают самоеды,— выходили нитки, выбирали рыбьи кости — вот и иголки. Надоело есть вареное и жареное мясо — стали коптить и есть копченое без хлеба, который весь вышел, но с солью, которую выпаривали из соленой морской воды на железном листе. Пили ключевую воду, которой много бьет повсюду между скалами и стекает в море маленькими ручейками. Когда стало прибегать много песцов и лисиц — выдумали сделать самострелы: нашли

доску, нашли крепкие и гибкие еловые сучья, приладили к ним доморощенный, но опытный глаз. С самострелом, с железным крюком и несколькими гвоздями они не только защищались от зверей, но и охотились на них. Охота была немудреная: выложат мясо на крышу — прибегут либо песец, либо лисичка. Вместо часов, для счету времени и для счету дней в темные ночи, смастерили глиняную плошку. Стало протекать сало, плошку обожгли и облепили тестом. В шесть лет так наловчились ходить и бегать, что сделались столь быстрыми на бегу, что могли состязаться со скороходами.

Раз пустынники выбежали на берег дрова собирать, взглянули в родимую сторону, а там парусок забелел, словно заблудший небесный посланец, не иначе. Сложили дрова в кучу — зажгли; на длинный шест повязали оленью шкуру. По огню и по флагу поняли с корабля, что на острову живые люди. То было иностранное судно. Корабельщики спустили лодку, приняли отшельников, за 80 рублей с брата доставили в Архангельск, до которого от Груманта при попутном ветре 10—12 дней ходу. Весь длинный город ходил смотреть на грумантских схимников толпами, как на диковинку и великое чудо. На одном диковинкой была шуба вроде мешка, вся из черно-бурых лисиц, по петербургским ценам тысячи на три; на другом — мешок из белых лисиц, также редкостных. Рассматривали вывезенные ими драгоценности: 50 пудов оленьего жиру, 200 оленьих кож, 10 шкур белых медведей и очень много белых и синих лисиц. За шесть лет рассказов на полгода, да радостей в семье, что и на сотне возов не свезешь. В то время как они, одетые дикими, на лодке входили в реку Двину и в город Архангельск, жена кормщика Алексея Хилкова шла по мосту. Увидав и узнавши отпетого и оплаканного мужа, она на радостях потеряла голову, заметалась и в нетерпении свидеться с ним поскорее и обнять его покрепче забыла про мостовые перила и бросилась с мосту прямо в воду. Ее, однако, успели спасти и приняли на подоспевшую лодку.

Из их рассказов оказалось, что самая великая беда заключалась в морозе: вода замерзала даже в избушках, а глотание снегу не только не утоляло жажды, но даже доводило ее до адской муки. Когда не было возможности, по скудости топлива, растопить лед, предпочитали обходиться вовсе без питья. Ледяные куски делались твердыми, как стекло. Льдом покрывалось все,

что находилось в избе, до последней веревочки. Стоило приотворить дверь, чтобы в избе образовалось целое облако удушливого пара, и пар этот, от щелей в избе, всегда наполнял ее полумраком. В особенности докучны были метели, которые длились дней по десяти и засыпали избушку так, что во все это время из нее, через двери, не было ни ходу, ни лазу. Когда стихали пурги, единственный выход из избушки — в потолочное отверстие, через которое выходит дым. Дым в таком заточении — неумолимый враг, потому что не всегда свободно выходит. Чем морознее становилось на дворе, тем непрогляднее в избе; каменка при этом испускала пурпурово-красные пары, дыхание человека походило на выстрелы из маленького пистолета. Припасы все леденели. Кислая капуста замерзала на манер слюды, слоями; можно было разрубать ее только ломом. Одно масло да сало твердели слабее; их раскалывали крепким долотом. Мясо и солонина застывали крепким камнем — и топору они не давались. Дышать было очень приятно, но высовывать язык далеко нельзя, и притом чем меньше приходилось говорить, тем было лучше. Мигнуть один раз стоило большого труда, голые руки как бы обваривало кипятком, и ножик в кармане жегся, как тлеющий трут...

III. БЕРЕГА ЛЕТНИЙ И ОНЕЖСКИЙ

Прощанье с Архангельском и выезд оттуда. — Первые впечатления моря. — Заблудившаяся стерлядь. — Солза. — Посад Ненокса; соляные варницы; беломорская соль и способы ее добывания. — Уна и Унские Рога с Пертоминским монастырем и преданиями о Петре Великом. — Селения по Летнему и Онежскому берегам. — Лов мелкой морской рыбы: наваги, камбалы, корюхи, ревяк-юнды. — Продольники. — Остров Жожгин. — Белуха и промысел этого зверя, по наблюдениям и рассказам. — Салотопенные заводы и способы выварки звериного сала. — Город Онега; его история и первые мои впечатления по приезде туда. — Онсонский лесной торг. — Истребительная компания. — Народное прозвище онежан. — Беспутные. — Ссыльный Лев Юрлов. — Князья Долгорукие. — Суда-романовки. — Крестный монастырь и Кий-остров

Архангельский май 1856 года против ожидания оказался совершенно весенним месяцем, хотя, конечно, в своем роде: быстро зеленела трава, промытая вешней водой, быстро пробирались ручьи с гор в овраги и низменности. Скоро затем посинел речной лед, образовались полыньи, желтые окраины; расплылась всюду мягкая, глубокая грязь. Ветер наносил весеннюю све-

жесть, чаще хмурилось небо дождевыми тучами. Утренники приходили к концу, постепенно утрачивая силу своего холода: все, одним словом, обещало скорый ледоплав и возможность пуститься в море. Вот два дня беспрерывно лил дождь, мелкий и частый, столько же времени крепились сильные, порывистые ветры, и широкая, глубокая Северная Двина, надтреснувшись во многих местах и густо почерневшая на всем своем видимом Архангельску пространстве, наполнилась почти до краев — и начала вскрываться. Огромными кусками, иногда захватывающими больше половины реки, понеслась масса льду по направлению к морю. Раз остановилась она, спертая своим множеством, в узком Березовском рукаве реки и залила водою Соломбальское портовое селение до нижних этажей его лачужек. Сутки стояла вода в селении, потешая добродушных обитателей карнавальскими играми в карбасах и лодках. Сутки же держался спершийся в устье лед, противясь напору новых кусков, наносимых горными ветрами. Наконец лед прорвало и вся его масса прошла в Белое море, где придется ему или быть растертым в мелкие куски (шугу) морскими торосами, или растаять в массе морской воды и не дойти, таким образом, даже до Горла моря. Для города наступило время *мутницы* — той грязной, желтой, густой воды, которая, по крайней негодности к употреблению, запасливыми хозяевами заменяется водою, заготовленной раньше ледоплава.

Кончилась и мутница. Выжидалось появление грязно-черного льда из реки Пинеги. Провалил и этот лед, сопровождаемый густою грязною пеной, успевши, по несчастью, разломать несколько барок с зерновым хлебом (по-туземному — *с сыпью*). Наступил июнь: городские деревья усыпались свежим, мягким листом; повсюдная зелень била в глаза, солнце светило весело, грело своей благодетельной теплотою и заметно обсушало весеннюю грязь. Двина уже успела войти в свои берега и кое-где просвечивала даже песком у берегов. Стали ходить положительные слухи, что и море очистилось. Местное население высыпало в городской сад, приучаясь отдыхать под обаянием обновленной и просветлевшей природы... И город Архангельск красовался уже позади меня, весь сбившийся ближе к реке, по которой колыхался почтовый карбас, обязанный доставить меня на первую станцию по онежскому тракту, откуда, как говорили, повезут уже в телеге и на лошадях и дадут наглазный случай убедиться в истине при-

словья, что «во всей Онеге нет телеги», и достаточной вероятности факта, что там в былые времена «летом воеводу на санях по городу возили, на рогах онучи сушили».

Вправо передо мною, из-за зелени побережной ветлы, красиво серебрился шпиц и отливал золотом крест, венчавший деревянную церковь Кег-острова. Прямо тянулась река со своей непроглядной далью, в которой хранилось для меня на тот раз все неизвестное, все, что так сильно волнует и неудержимо влечет к себе. Влево тянулся обрывистый черный берег тундры, за ней выглядывал лес, а из-за него еще какое-то село, еще какая-то деревушка, и опять та же Двина, ушедшая также в непроглядную даль. Ветерок веял прохладой: гребцы мои наладили парус, убрали весла, запели песню и разводили ее беззаботно-весело, разносисто-громко. Я обернулся на Архангельск, не с тем, чтобы, глубоко вздохнув, пожалеть о разлуке с ним на четыре месяца, но чтобы просто посмотреть, так ли же хорош и он на своей реке, как, например, все города приволжские. При поверке и дальнейших соображениях оказалось тоже, что и ландшафт Архангельска может увлечь художника своей оригинальностью и картинным местоположением. Правда, что и здесь нашлось много черт общих со всеми другими городами: так же церкви занимали переднюю и бо́льшую часть плана; так же церкви эти разнообразны были по своей архитектуре; так же белый цвет, сменяясь желтым, резче оттенял зелень садов и палисадников; так же, наконец, низенький новенький деревянный домик стоял рядом с большим, двухэтажным каменным. На этот раз разница состоит в том, что вся эта группа городских строений тянется на трехверстном пространстве, замкнутом с правой стороны монастырем Архангельским, слева — собором Соломбалы. В середине красиво разнообразят весь ландшафт развалины так называемого немецкого двора, не разломанного до сих пор за невозможностью пробить скипевшуюся известь, связующую крепкие окаменелые до гранитного свойства кирпичи новгородского дела. Но все это уходит постепенно вдаль и заволакивается туманом. Архангельск скрылся за Кег-островским мысом с одной стороны и тундристым, печального вида берегом — с другой. Потянулись берега справа и слева, кое-где лесистые, кое-где пустынные. Повсюдное безлюдье: ни человека, ни лошади не видать нигде. Выглянет из-за противоположного мыса еще село, раскинется дерев-

ня, но и там почти то же безлюдье и та же тишина, которая для нас нарушается только шумом воды на носу карбаса да раз только людским говором и криком с попутной соловецкой лодьи, обронившей паруса. Ветер стих; плыли греблей: шумела вода под веслами... Вот и все. Немного и дальше: в станционной избе, называемой Рикосихой, слепили глаза и не давали покоя мириады комаров, которые обсыпают в течение всего лета все прибрежья рек, озер и архангельского моря. То же самое ожидало (и действительно встретило) и на следующей станции — в То́борах. Невыносимо била в грудь и в спину избитая колеями и выломанная временем и употреблением гать, служащая дорогой: постукивали по ней колеса, привскакивали на своих местах и седок, и ямщик, с трудом собирая дыхание, заматывались, по обыкновению, лошади хохлатые, разбитые ногами, сытно не накормленные, порядочно не выезженные. Те же удовольствия предстояли и на следующей станции и так далее — может быть, вплоть до самого города Онеги. К тому же ничто не развлекало внимания; пустынность и неприветливость видов поразительно сильно развивали тоску и апатию. Казалось, и нет конца этим мучениям: казалось, и не выдержать всех их...

— Ну вот, твоя милость, все ты пытал спрашивать: где море, где море? На, вон тебе и море!

Ямщик показал кнутовищем в дальнюю сторону расстилавшегося впереди нас небосклона. Первый раз в жизни приводилось мне видеть море, быть подле него. Я спешил посмотреть по направлению руки ямщика, но на первый раз увидел немногое: тускло и неприветливо глядело, по обыкновению, серенькое архангельское небо, и хотя на нем на этот раз во всей своей яркости сияло летнее солнце, то солнце, которое в описываемую пору скрывалось под горизонтом на какие-нибудь два-три часа, тем не менее близость моря почти была несомненна. В воздухе чувствовалась та свежая, заметно крепкая, но приятная прохлада, которая несколько (но довольно слабо) может напоминать ощущения человека, вдруг вышедшего из густого смолистого леса в жаркую летнюю пору на берег большого болотистого озера.

Резкий, довольно свежий ветерок, *морянка,* время от времени (*духа́ми,* как говорят здесь) начинал веять в лицо и даже заметно разгонял мириады комаров, охотно кучившихся в лесной духоте. Но моря я еще не видал. Белесоватая широкая полоса, плотно слившаяся с небосклоном, могла, впрочем, казаться дальним кра-

ем морской воды, и это не подлежало уже ни малейшему сомнению с той поры, как на этой белесоватой полосе далеко впереди показался беленький парусок, словно вонзенный в небо. Ближняя часть моря еще закрыта была от нас соседним перелеском: виднелся только парусок, полоса на горизонте, и только. Ближе к нам все-таки продолжали еще тянуться длинные, густые ряды невысоких, плотно стоявших одна от другой сосен и елей вперемежку с необъятно-густыми, приземистыми и широкими кустами можжевельника. Ниже по земле, у самой окраины дороги, начиналось и тянулось в лесную даль, через кочки и мшины, бесчисленное множество красных кустов желтой морошки, находившейся на этот раз в полном цвету, и зеленели кусты цепкой вороницы, всегда разбрасывающей свои длинные ветви по голым и сухим местам, каковы здешние камни и надводные луды. Влево от нас неоглядно вдаль краснело топкое болото, вплотную почти усыпанное той же морошкой и той же вороницей, кое-где со сверкающими на солнце лужами (радами, сурадками, подрядьем — по-здешнему, пугами — по-мезенски); кое-где по ним успели уже уцепиться мшины и даже объявилась чахлая лесная поросль.

Между тем мы спускались под гору; лес прекратился, и море во всей своей неоглядной ширине лежало перед нами, сверкающее от солнца, пустынное, безбрежное, на этот раз гладкое как стекло. Сливаясь вдали с горизонтом, оно обозначилось в этом месте густо-черной, но узкой полосой, как бы свидетельствовавшей о том, что дальше ее глаз человеческий проникнуть уже не может. Невозмутимая тишина по всей этой светлой поверхности, не осмысленная ни единым знакомым признаком жизни, производила какое-то неисходное, тяжелое впечатление, еще более усилившееся криком чаек. Они то поднимались, то опускались на огромный камень, красневший далеко от берега. Страшил на ту пору и этот лес, который мрачно потянулся вперед и назад по берегу, и эта пустынность и одиночество вдали от селений, вдали от людей, обок с громадною массой воды и дикою, девственной природою. Сосредоточенное молчание ямщика еще более усиливало безвыходность положения. Визг чаек начинал становиться едва выносимым.

Спустившись под гору, мы подъехали почти к самой воде, направляясь по гладко обмытому, как бы укатанному и еще мокрому песку. Чуть не на колеса телеги

начали плескаться волны, которые с шумом отпрядывали назад, подсекаясь на возвратном пути другими, новыми. Я заговорил с ямщиком:

— Что же, у вас дорога-то тут и идет подле самой воды?

— Дорога *горой* пошла. Да, вишь, теперь *куйпога,* а по ней ехать завсегда выгодней: и кони не заматываются, и твоей милости не обидно. *Горой-то,* мотри, всего бы обломало.

Своеобразная речь ямщика не казалась мне уже непонятною. Видимо, ехали мы подле морской воды в тот период ее состояния, когда отлив унес ее вдаль от берега (в голо́мя), и продолжалось еще то время, когда полая (прибылая) вода не неслась еще приливом к берегу. Через 6, может быть даже через 5—4 часа, то место, по которому мы едем, на аршин покроется водой. Давно также известно мне было, что для приморского жителя все виды местностей делятся только на два рода: *море* и *гору,* и горой называет он высокий морской берег и все, что дальше от моря, хотя бы тут не было не только горы, но даже и какого-либо признака холма, пригорка.

Вероятно поощренный моим вопросом, ямщик обратился ко мне со своим замечанием. Растопыривши свою пятерню против ветра, к стороне моря, он говорил:

— Ведь оно у нас так-то никогда не живет, чтобы покойно стояло, как в ведре бы, примерно, али в кадке: все зыбит, все шевелится, все этот *колышень* в нем ходит, как вот и теперь бы взять. Нет ему так-то ни днем ни ночью покою: из веков уж знать такое, с той самой поры, как господь его бог в нашей сторонушке пролиял... А вот по осени у нас падут ветра,— ай, как оно разгуляется! Взводнишшо (волнение) такой распустит, что без нужды-то большой и не суются. И вот гляди, твоя милость! — продолжал он все тем же поучительным тоном, каким начал, указывая своей пятерней на расстилавшееся под нашими ногами море,— никакую дрянь эту наше море в себе не держит, все выкидывает вон из себя: все эти бревна, щепы там, что ли,— все на берег мечет. Чистоту блюдет!

Он показал при этом на ряды сухих сучьев, досок и тому подобного, рядами сбитых на прибрежный песок, по которому мы продолжали ехать все дальше влево.

В море белел новый парус: солнце осветило большое судно.

— Лодья идет,— заметил я,— должно быть, из Архангельска?

Ямщик быстро оглянулся, удивленным взглядом посмотрел на меня и спрашивает:

— А ты почем это смекаешь?

— Да ветер дует оттуда, а лодья бежит парусом...

— Так, воистину так: знаешь, стало быть; а то возим и таких, что и не смекают. Не спуста же ты с Волги-то сказывался.

Архангельские поморы до того любопытны и подозрительны, что во всякой деревне являются толпами и в одиночку опрашивать всякого, куда, зачем и откуда едет, и всякою подробностию жизни нового лица интересуются едва ли не больше собственной. В этом поморские мужики похожи на великорусских баб и нисколько на мужиков, почти всегда сосредоточенных на личных интересах и более молчаливых, чем любознательных.

— А коли смекнул ты умом своим дело это,— продолжал мой ямщик,— так я тебе и больше скажу. Лодья-то эта, надо быть, первосолку рыбу-тресочку с Мурмана привозила: опять, знать, туды побежала за новой! Едал ли, твоя милость, свежую-то?

Получивши утвердительный ответ, ямщик продолжал:

— Больно ведь хороша она, свежая-то: сахарина, братец ты мой, словом сказать! Нам так и мяса твоего не надо, коли тресочка есть,— верно слово! У вас там, в Расее-то, какая больше рыба живет, на Волге-то на твоей?

— Стерлядь, осетрина, белужина, судаки...

— Нет, мы про этих и слыхом не слыхали, не ведутся у нас. Стерлядь вон, сказывают, годов с пять показалась на Двине: так едят господа, да не хвалят же. Треска, слышь, да семга наша лучше! Нет, у нас вашей рыбы нет: у нас своя. Вон видишь колышки?

Ямщик при этом указал в море. Там торчали в несметном множестве над водою колья, подле которых качался карбас, стоящий на якоре; из-за бортов суденка торчала человеческая голова, накрытая теплой шапкой. Ямщик продолжал:

— К колышкам к этим мы сети такие привязываем: камбала заходит туда, навага опять, кумжа; кое-где в редкую и сельдь попадает, семужка — мать родная, барышная рыба! Да вон гляди: карбасок качается, и го-

лова торчит — это сторож. Как вот он заприметит, что заплыла рыба, толкнула сеть, закачала *кибасы* (верхние берестяные трубочки, поплавки сети), он и взвопит. В избушке-то в этой, что у горы, бабы спят. Услышат они крик, придут, пособят вытащить сеть, какая там рыбина попадет — вынут.

А места-то вот эти, где мы камбалу ловим, *ка́легой* зовут,— продолжал мой ямщик, видимо разговорившийся и желавший высказать все по этому делу.— У нас ведь, надо тебе говорить, на всякое слово свой ответ есть. Вот как бы это, по-твоему? — Он показал на прибрежье.

— Грязь, по-моему, ил...

— По-нашему — *няша:* по-нашему, коли няша эта ноги человечьей не поднимет,— *зыбун* будет. По чему даве ехали — *кечкар:* песок-от. Коли камней много наворочено по кечкару, что и невдогад проехать по нему,— это *костливой* берег. Так вот и у нас. В Онеге будешь — там это увидишь вчастую. Там больно море не ладно, костливо!

Вот это,— продолжал он опять,— что осталась вода от полой воды, лужи — *залёщины*. Так и знай! Ну да ладно же, постой!

Он замолчал, пристально всматриваясь в море. Долго смотрел он туда, потом обернулся ко мне с замечанием:

— А ведь про лодью-то про эту я тебе даве соврал: лодья-то ведь соловецкая! Не треску, а, знать, богомольцев повезла.

— Почему же ты так думаешь?

— Да гляди: на передней мачте у ней словно звездочка горит. У них завсегда на передней мачте крест живет медный; поближе бы стала, и надпись бы на корме распознал. Они ведь у них... лодьи-то расписные такие бывают. Поэтому и вызнаем их. И лодье ихней всякой имя живет, как бы человеку примерно: Зосима бы тебе, Савватий, Александр Невский.

Между тем волны начали плескать на песок заметно чаще и шумливее; в лицо понес значительно свежий ветер (NO), называемый здесь полуношником. Лодья обронила паруса. Небо, впрочем, по-прежнему оставалось чисто и ясно. Поверхность моря уже заметно рябило волнами. Ямщик мой не выдержал:

— Вот ведь правду я тебе даве сказал: нет в нашем море спокою. Завсегда падет какой ни есть ветер, вон и теперь на голомянной (морской) сменился.

При этих словах он повернул голову на сторону ветра и, не медля ни минуты, опять заметил:

— Межник от полуношника ко встоку (ONO); ко встоку-то ближе, вот какой теперь ветер заводится. Пойдет теперь взводень гулять от этого от ветра, всегда уж такой, из веков!

Едва понятная, по множеству провинциализмов, речь моего собеседника была для меня еще не так темна и запутанна, как темна, например, речь дальних поморов. На наречие ямщика, видимо, влияли еще близость губернского города и некоторое общение с проезжающими. В дальнем же Поморье, особенно в местах, удаленных от городов, мне не раз приходилось становиться в тупик, слыша на родном языке, от русского же человека непонятные речи. Прислушиваясь впоследствии к языку поморов, наряду с карельскими и древними славянскими, я попадал и на такие слова, которые изумительны были по своему метко верному сочинению. Таково, например, слово *нежить,* заключающее собирательное понятие о всяком духе народного суеверия: водяном, домовом, лешем, русалке, обо всем, как бы *не живущем* человеческою жизнью. Много находил я слов, которые, кажется, удобно могли бы заменить вкоренившиеся у нас иноземные; например: *махáвка* — флюгер, *перéшва* — бимс, брус для палубной настилки, *возка* — транспорт, *голомя́* — морская даль, *дрог* — фал для подъема реи, *красная беть* — полный бейдевинд, *бéтать* — лавировать, *приказенье* — люк, *упруга* — шпангоут. Правда, что в то же время попадаются и такие слова, каковы, например: *лемéха* — подводная отмель, *пáдера* — бурная погода с дождем, *алáж* — место на судне, усыпанное песком и заменяющее печь, *гуйна* — будка на холмогорском карбасе... Но об этом в своем месте.

— Что это тебя охмарило, твоя милость? — снова заговорил мой ямщик.

— Что ты говоришь? — спросил я.

— Да, вишь, тебя словно схитил кто, осерчал, что ли?

— Задумáлся.

— То-то. А я думал, не от меня ли, мол?

— А что, земляк? — начал я, чтобы поддержать снова завязавшийся разговор между нами.

— Чего твоей милости надо: спрашивай!

— Неужели у вас только на море и промысел?

— У нас-то?

— Да.

— Не все у моря; в город ходят, на конторах там живут; суда опять чинят...

— Да ведь вы и хлеб, кажется, сеете?

— Как же! Треть ржи высеваем, две трети жита (ячменя). Да что ты захотел от нашего хлеба? Только ведь слава-то, что сеем, себя надуваем, а, гляди, все казенной едим: своего не хватает. Вон лета-то наши, видишь, какие у нас: всё холода стоят. Где ему тут, хлебушку, уродиться? Не уродиться ему, коли и хорошее лето задастся. Вот и посеем, и надежду на это большую положим, и ждем, и в радость приходим: взойдет наше жито и семя нальется. А там, гляди, из каждой мшины и пошел словно пар туманом: все и прохватит, и позябнет твой хлеб — твои труды. Из чего тут биться, к какому концу приведешь себя? Ни к какому. Верь ты слову! Вон, коли хочешь, поле-то наше, все оно тут налицо! — продолжал ямщик, опять указывая на море.— Это поле и пахать не надо: само, без тебя рожает. Вон откуда мы хлебушко-то свое добываем, и не обижает, ей-богу! Поведешь с ним дело, без лихвы не выйдешь из него, ей-богу!..

Мы повернули в гору. Вода значительно прибывала, чем дальше, тем больше. Волны морские становились круче и отдавали глухим шумом, который так увлекателен был во всем этом безлюдье. Есть где было разгуляться и этому морю, и этому шуму, из-за которого не слыхать уже было ни чаек, не видать уже было ни лодьи, ни сторожевых карбасов. Мы ехали недолго и, стало быть, немного, когда под нашими ногами, под горой, раскинулась неширокая река Сóлза, а по другую сторону — небольшое селение того же имени, с деревянною церковью. Надо было переезжать на карбасе и тащить свои вещи пешком с полверсты для того, чтобы взять новых лошадей и поверить личными расспросами ту поговорку, которая ходит про сóлзян, и по смыслу которой, будто они, выходя на морской берег, к устью реки своей, и видя идущую морем лодью, говорят на ветер: «Разбей, бог, лодью — накорми, бог, Солзу». Настоящий же смысл этого присловья оказался таков, что Солза, находясь в довольно значительном удалении от моря, на реке, в которую только осенью (и то в небольшом количестве) заходит семга, живет бедно, живет почти исключительно, можно сказать, случайностями: или тою же починкой разбившейся о ближайший, богатый частыми и значительными по величине песча-

ными мелями, морской берег, или ловлею морского зверя — *белухи,* которая только годами заходит сюда. Хлебопашество в Солзе также незначительно по бесплодию почвы и суровости полярного климата, и вообще деревушка эта при наглазном осмотре гораздо беднее многих других.

Также незначительно хлебопашество и в следующем поморском селении Нёноксе, но посад этот несравненно богаче и многолюднее Солзы. Не говоря уже о том, что Нёнокский посад, вследствие какой-то случайности, разбит на правильные участки с широкими прямыми улицами, самые дома его глядят как-то весело своими двумя этажами. В нем две церкви, из-за которых синеет узкая полоса моря, удаленного от посада прямым путем на шесть верст. По улицам бродит пропасть коров, овец, лошадей, попадается, против ожидания, много мужиков и не в рваных лохмотьях, как в Солзе. Видимо, живут они зажиточно и живут большею частию дома, не имея нужды отходить от него. Множество каких-то длинных, мрачных с виду изб, попадавшихся мне на дальнейшем пути по берегу из Нёноксы в Сюзьму и оказавшихся соляными варницами, принадлежит посадским. В этом исключительном занятии вываркою из морской воды соли нёнокшане находят средства к замечательно безбедному существованию. Всех солеваренных заводов по прибрежьям Белого моря насчитывали до десяти. Кроме того, двенадцать соляных колодцев принадлежали к варницам посада Нёноксы. Соль, вывариваемая здесь, называется *ключевкой,* тогда как соль, добываемая на дальних варницах Летнего берега, например в Красном селе, называется *морянкой.* Дело выварки соли производится таким образом: к *црену* — огромному железному ящику, утвержденному на железных же полосах снизу и на четырех столбах по сторонам,— прокапывают от моря канаву или проводят трубы. Канавой этой или трубами протекает морская вода (рассол) и наполняет чан доверху. Снизу подкладывают огонь, и нагревают рассол этот до состояния кипения и испарения; затем накипевшую грязь снимают сверху лопаткой, а оставшуюся на дне црена массу (по прекращении водяных испарений) выгребают и сушат на воздухе...

В осенней ловле семги и другой мелкой морской рыбы нёнокшане ищут только простого средства прокормить самих себя и семьи свои некупленной пищей. Правда, что дело выварки соли ведется — во имя рус-

ского авось, небось да как-нибудь — небрежно. Рассол, проходя через грязные, никогда не вычищаемые трубы, дает соль какого-то грязного, черного вида, с известковым отложением и другими негодными к употреблению примесями. Правда, что эта соль даже и вкусом своим, отдающим какой-то горечью, не выполняет главного своего назначения и не заключает необходимого характеристического свойства — солености и, во всяком случае, неизмеримо отошла достоинством от норвежской и французской соли, вывозимой поморами из-за границы (через Норвегию) беспошлинно. Этим обстоятельством можно объяснить себе то, что по берегу Белого моря много уже солеварен прекратили свои работы и что поморы решительно не пускают в дело при солении рыбы свою соль, ограничивая ее употребление только за домашнею трапезой в приварке и в других пресных блюдах. Между тем рассол морской воды по всему Летнему берегу до того основателен, что дает возможность к существованию до настоящего времени в следующем за Нёноксой небольшом селении Сюзьме морских купален. Они давно и положительно облегчают страдания многим архангелогородцам, выезжающим сюда по летам на дачи. Точно так же мелькнули и мимо меня городские шляпки, зонтики, пастушеские шляпы с широкими полями и трости в мой проезд через это селение, как мелькали они и в 1831 году, когда начались сюда из Архангельска первые выезды больных для морских купаний.

Те же задымленные, старые саловаренные сараи, пропитанные копотью, смрадом и сыростью, попадаются за Сюзьмой: в Красной Горе и в Унском посаде. Те же слышатся рассказы о том, что и здесь ловят по осеням в переметы семгу; что в невода охотно попадает и навага, и кумжа; что так же у берега выстают белухи, но что не ловят их за неимением неводов, которые дорого стоят. Невода эти архангельские барышники и готовы бы уступать напрокат, но только за невероятно дорогую процентную сумму, от которой-де легче в петлю лезть, чем класть обузой на свои доморощенные, некупленные плечи. Во всех этих местах по осеням идет и сельдь, но в весьма незначительном количестве сравнительно с кемским Поморьем. Те же двухэтажные дома, те же деревянные церкви или, вместо них, такие же часовни мелькают в каждом селении; тем же безлюдьем поражают прибрежья моря; те же, наконец, колышки торчат в воде у берега, и качается на волне карбас со

сторожем. Разницы в способах ведения промыслов между всеми этими селениями нет никакой, кроме, может быть, того только, что в Уне (посаде) обыватели ходят также и в лес за лесной птицей по примеру следующих деревень к городу Онеге, на значительное уже расстояние удаленных от моря, каковы: Нижмозеро, Кянда, Та́мица, Покровское и другие. На 20, на 30 верст удалены селения одно от другого, и только по две, много по три часто пустые промысловые избушки напоминают на всех этих перегонах между приморскими деревнями о близости жизни, труда и разумных существ. Чем-то необычайно приятным, как будто какою-то наградой за долгие мучения кажется после каждого переезда любое из селений, в которое ввезут наконец с великим трудом передвигающие ноги почтовые лошаденки. То же испытывается и в следующих за Сюзьмой селениях — в деревне Красной Горе и в посаде Унском.

Не доезжая нескольких верст до Уны, с крайней и последней к морю горы, можно (с трудом, впрочем) усмотреть небольшой край дальней губы, носящей имя соседнего посада. Губа эта памятна русской истории тем, что судьба указала ей завидную долю принять на свои тихие воды, защищенные узким проходом *(рогами)* от морского ветра, ту лодью, которая в 1694 году едва не разбилась в страшную бурю 2 июня о подводные мели и едва не поглотила вместе с собой надежду России — Великого Петра. Западный мыс, или рог, называемый *яренгским* (ниже соседнего красногорского), покрыт березняком и держит перед собою песчаную осыпь, которая в ковше губы, на низменном прибрежье, покрыта лугами, и дальше по горе — лесом и пашнями. Красногорский рог, покрытый сосняком и возвышающийся над водою на 11 с лишком сажен, закрывает со стороны моря небольшой, бедный иноками и средствами к жизни заштатный монастырь Пертоминский и две деревушки с саловарнями.

В Пертоминском монастыре расскажут, что основание ему положено при царе Грозном (1599 года) сергиевским старцем Мамантом в часовне, выстроенной над телами утонувших в море соловецких монахов Вассиана и Ионы и выкинутых здесь на берег; что в 1604 году иеромонах Ефрем выстроил церковь Преображения, ходил в Вологду за антиминсом, на пути был ограблен и убит литовскими людьми; и что, наконец, только в 1637 году удалось кончить дело строения монастыря понойскому иеромонаху Иакову, построившему

вторую церковь Успения и собравшему людное братство. Расскажут, что Петр I с бывшим при нем архиереем Афанасием свидетельствовал мощи основателей, а найдя кости одного праведного, сам их запечатал, однако ж велел преподобным составить и издать службу. Покажут также, что время основания церкви каменной относится к 1685 году, и прибавят ко всему этому то, что немногочисленность братии в настоящее время зависит от крайнего удаления монастыря в сторону от большой дороги. Питаются они промыслом рыбы и подаянием от богомольцев, изредка заходивших сюда по пути в монастырь Соловецкий, но с тех пор, как завелись пароходы, весь народ проезжает мимо. Впрочем, и в счастливое время этот монастырек, со скотным двором и другими хозяйственными пристройками, более походил на большую ферму, чем на иноческую обитель, будучи даже огорожен одним палисадом. Благодаря спасению своему Петр I приказал построить каменные кельи и эту ограду с угловой башнею, от которых теперь и следа не осталось. Рассказывают, что и монахи ленивы были молиться, говоря приходящим богомольцам: «Мы только так позвонили, а за нас ангелы молятся на небесах».

В голодный 1837 год монастырь помогал поморам, которые приходили сюда (даже из-за 35 верст, как из Сюзьмы), чтобы принять ломоть хлеба и отнести его к страдающей семье. Монахи с нанятыми рабочими сеют ячмень и рожь (урожай сам-4) и садят овощи (даже огурцы в парниках). В монахах все больше люди дряхлые, ни к какой работе не способные, и в бесплатных рабочих — обетные. Один был человеком достаточным: накупил рябчиков, повез в Петербург, и на дороге загнил товар. Вскоре судно его потонуло в Мсте, а затем обанкротился в 7 тыс. руб. кредитор его в Норвегии. Бедняк удалился в эту пустынь и сделался в ней послушником.

Следующие по Летнему берегу селения — Яренга и Ла́пшенга — выстроены на песчаном берегу и оба имеют по одной церкви, около 50 домов и по сту обывателей. Яренгская церковь выстроена над телами св. Иоанна и Логина, также утонувших в море вблизи Яренги во времена царствования Федора Ивановича, около 7102 (1594) года. С севера от Лапшенги берег к деревне Дураковой значительно возвышается. Выступают из-за прибрежьев лесистые холмы, известные под названием *Летних гор,* поднявшихся над морем от 30 до 50 сажен.

Однако общий вид берега безотраден: тускло горят во всегдашней мрачности воздуха беломорских прибрежьев сельские кресты и главы, хотя солнце и благоприятствует лучшему явлению. Серенькими кучками кажутся из морской дали дома деревень этих. За ними мрачно чернеет лес, раскинутый по горам, и страшно глядят зубья и щели прибрежного гранита, за который цепляется весь этот сосняк и ельник. За маленькой бедной деревней Дураковой к Ухт-Наволоку берег становится до того *костлив,* или каменист, что кажется целой стеной, огромной поленницей набросанных один на другой кругляков. К тем из них, которые подмываются водой, прицепилось несметное множество маленьких белого цвета раковинок, в которых, от действия солнечных лучей и приливов воды, развиваются морские улитки. Видится тура, или морская капуста. Обхвативши листьями своими, бледно-зеленого цвета, прибрежный камень, тура плавает на поверхности воды, не отходя далеко от места своего прикрепления, и поддерживается в этом плавучем положении теми шариками, которые заменяли здесь, вероятно, и цвет, и плод и которые сильно щелкали и под ногами и в руках от нажиманья.

Лов мелкой рыбы по всему Летнему берегу производится в следующих родах этих рыб и по следующим способам. Первое место здесь по более значительному улову принадлежит *наваге,* величиною не превосходящей двух четвертей. Наружным видом, по отсутствию чешуи или клёска, навага похожа на налима и треску. С последнею она имеет еще то поразительное сходство, что так же кровожадна, если не больше, и так же питается рыбою, меньшею ее по величине. В конце октября или в начале ноября навага бывает самая крупная по величине по той причине, что в это время в устьях приморских рек мечет свою мелкозернистую икру, годную в употребление только в свежепросольном виде. Привозимая в Архангельск мороженою, она доставляет дешевую и вкусную пищу для тамошнего бедного простого народа.

Способ ловли рыбы прямо основывается на исключительном свойстве ее — кровожадности. Он состоит в том, что к леске уды привязывается кусочек свинцу, длиною в четверть, а к нему, на ниточках, уже и самая наживка. Это иногда куски той же наваги. Алчная рыба, не замечая того, хватается за наживку тотчас, как только заметит ее в воде, и так плотно присасывается

своим круглым, огромным ртом все дальше и больше, что потом приходится отбивать ее об лед или отдирать руками с значительно сильным напряжением. Нередко вытаскивали на наживке нескольких наваг, ухватившихся зубами одна за хвост другой. Так ловят навагу по осеням в Мезени в прорубях и замечают притом, что рыба не хватает наживки в то время, когда мечет икру, и потом с весны присасывается так же алчно, как и осенью...

Кóрюха, также в значительном количестве идущая к Летнему берегу Белого моря, доставляет туземцам значительный продукт для сбыта на архангельском рынке. Рыба эта одной и той же породы с корюшкой, котора́я ловится в Неве и в Ладожском озере, с тою только разницею, что из моря заходит в реки не на значительные пространства и что вкусом своим она мягче, хотя и меньше телом, и не обладает тем неприятным запахом, который поразителен в петербургской корюшке. Продается она простому народу в «Городе» по зимам мороженою, а по летам или сушеною в печах, или вяленою на солнце.

Ка̀мбала — менее жирная, чем рижская, но той же палтусинной породы, только значительно меньшая ростом (палтус бывает весом от 7 фунтов до 10 пудов; камбала самая крупная $^1/_2$ аршина длины и самая мелкая 3 и 4 вершка). Крутое и белое мясо ее бывает лучше вкусом весною и летом, когда рыба эта любит зарываться в тинистые, иловатые места при устьях приморских рек. Отлив несет ее всегда в море, прилив приносит ее за собою иногда в несметном количестве...

Особенно много этой рыбы в реке Онеге и в более значительных реках Летнего берега и в р[еках] Тамице и Ухте — Онежского. Идет она большею частию на местное потребление, но в незначительном числе и в вяленом виде отпускается на продажу. Камбал ловят на так называемые *прóдольники* — тоненькие веревки (сажен 15—20 длиной), к которым на каждом почти полуаршине привязаны на нитках крючочки. Нитки эти носят название *подлески:* крючки их железные. Продольники укрепляются на дне двумя якорями (камнями); крючки наживляются мелкими морскими червями, которых выкапывают из морского песку.

Менее прочих распространенная в беломорских водах рыба *кумжа...* В продажу эта рыба не идет, по неудобству солить ее мягкое, нежное мясо, которое скоро горкнет; и даже в мороженом виде сохраняется она

недолго. В Архангельск обыкновенно привозят ее сонную, хотя еще и достаточно свежею, годною для употребления.

Все эти три последние породы рыб беломорских (кумжа, корюха и камбала) попадают часто уже в готовые сети, хотя бы даже и семужьи; но чаще всего ловят их в так называемые *юнды* (сети), которые употребляют без поплавков и, прикрепленными на кольях, ставят поперек реки. В мелких местах моря, около устий, бабы-поморки бродят те же сорта рыб сетями, называемыми переметами, и которые бывают уже с верхними поплавками. В ячеях этих переметов (тех же волжских неводов) рыба вязнет.

В Унской губе часто попадается на уды так называемая *рявца,* или *ревяк,* испускающая изо рта род слабого рева после того, как бывает вынута из воды. Рыба эта величиною с окуня, чрезвычайно прожорлива и обладает способностью плавать необыкновенно быстро; для того у ней широкие и длинные перья. Шероховатая кожа испещрена черными и изжелта-красноватыми пятнами. Почитая эту рыбу ядовитою, поморы не употребляют ее в пищу; к тому же она чрезвычайно костливая. На этой последней особенности рявца поморы предположили в ней способность излечивать от колотья и потому сушат ее и кладут под постель страждущего.

В реке Онеге, около каменистых ее берегов, в верстах 25 от ее устья, вылавливаются *миноги,* принадлежащие к породе амфибий и долгое время у тамошнего простого народа известные под именем водяных змеек (с семью жабрами по бокам). Рыба эта, если только можно называть ее рыбой — скорее переход от рыбы к ракам,— заходит сюда также из моря. Выловленная, слегка поджаренная на больших сковородах или просто на железных листах и потом маринованная в уксусе с горошчатым перцем и лавровым листом, пускается в продажу. Местное употребление ее до сих пор весьма незначительно. Ловят ее в деревянные мережи, сделанные наподобие лукошек.

Из остальных пород рыб вылавливаются по Летнему берегу только уже речные рыбы: щуки, окуни, лещи, и притом исключительно в озерах, и так редко, и в таком сравнительно незначительном количестве, что не идут в продажу, но даже редко составляют предмет местного потребления. Мурманские треска и палтусина и собственные морские рыбы совершенно удовлетворяют неприхотливому вкусу трудолюбивых, честных,

добродушных поморов прибрежьев Летнего и Онежского.

Вот почти все, что удалось мне вызнать из наглазного знакомства с Летним берегом, который кончается в Ухт-Наволоке и заворачивается здесь, по прямому направлению к SW, уже под именем Онежского берега. С каменистого мыса Ухт-Наволока виднелся в дали моря, по направлению к северо-востоку, остров *Жожгин,* или *Жегжизня,* как будто весь затянутый в туман, остров, обитаемый только служителями при маяке, освещаемом с 1842 года...

На том же карбасе, заменяющем здесь тряскую телегу и пару обывательских лошадей, объехал я и Онежский берег до села Нижмозера, откуда через Кянду, Тамицу и Покровское шла уже почтовая дорога и везли на той же паре почтовых лошадей. Помнятся на всем берегу гранитные ущелья, кое-где высокие горы (до 30 и 40 сажен высотою), крупный сосняк по ним; изредка низенький, тоненький, какой-то убогий березняк; по низменностям — луга, по некоторым горным отклонам — пашни с ячменем. Помнится ласковость и приветливость всех жителей в деревнях Летней Золотице и Пушлахте, разгромленной бомбами во время Крымской войны, и в селе Лямице. Помнится, привезли меня в следующее село Пурьему, с двумя церквами, более других людное и приглядное. Как теперь вижу перед собой хозяина отводной квартиры, явившегося с следующим интересным известием и запросом:

— Белуха подошла — рыбку обижает; невод наладили, к утру едем: не желаешь ли?

— Боюсь, не покусал бы зверь!

Хозяин на эти слова чуть не расхохотался.

— Нашел ты зверя злого! На-ко, поди: да смирнее зверя этого и в поднебесной нету; даром, что с корову ростом, а разумом-то да смирнотой своей и теленка не осилит. Поедем, знай! Посмотри, каково тебе смешно и любопытно будет! Я ведь к тебе не врать пришел, а дело сказывать. Собирайся!

Через час он опять явился ко мне и принес орудия с таким оговором:

— Я вот принес к тебе, чем ты и заняться можешь, чтобы и тебе пай был. Едем мы двумя деревнями: наши с лямицкими один невод держат, поровну и дележ делают.

Орудия, принесенные им, оказались *пешней* и *кутилом.* Пешня была не что иное, как лом, которым раска-

лывают по зимам лед на всем пространстве России: тот же железный, с краю заостренный наконечник, деревянная рукоять длиною около сажени, плотно прикрепленная гвоздями к самой пешне (наконечнику). Кутило отличалось от пешни только тем, что железный наконечник (собственно *кутило*) на конце имел загиб, наподобие крюка, и палка не прикреплялась к нему гвоздями, а свертывалась и в деле служила только рычагом для усиления удара. К кутилу взамен рукоятки прикреплена была длинная (сажен восьми) веревка.

— Теперь, вишь, у нас время такое стоит, что трава не дошла: страду затевать еще рано, о жниве и думать не моги; только вот и можно белуху ловить. Она на этот раз словно угорелая, только, кажись, на наши берега и лезет: удержу нет. Известно, тут только подавай, боже. Мы четыреста рублев на серебро за свой невод потратили да вот рублей по пятидесяти ежегод на починку изводим. Потому этот невод наш собственный.

— На каких же условиях берут напрокат от архангельских?

Хозяин на слова эти рукой махнул и потом примолвил:

— Там ведь это — неволя, по Летнему взять или по Зимнему берегу. Там, слышь, возьмут этот невод-от, да и думают: «Пошли-ко, мол, господи, зверя-то, что ни на есть больше; было бы что за невод заплатить, да из остатков и себя бы не обделить, не обидеть». Много ли, мало ли зверя придет, а половину выручки отдай неводному хозяину, хоть лопни: а другой раз закинет невод — опять половину отдай; да хоть все лето мечи его — все половину отдавай. Так уж тот злодей-от и стоит над тобой, блюдет за каждым за твоим выездом. Там и выметывают, стало быть, чаще. Там уж и избушек сторожевых по берегу-то насыпано больше нашего. Там и сторожей сидит много; оттуда и на Мурман мало ходят. Там уж, коли начала выставать белуха, много не зевают; как заприметят, сейчас кричат на берег: «Бог-де в помощь!» — и выезжают.

А как у нас вот неводок-от свой завелся, мы и благодарим бога. Раз в год починишь его, да уж и не горюешь: знаешь, что невод этот тебе лет восемь, а не то и все десять, прослужит; только имей ты за ним глаз да блюдение. Мы уж и упромыслим что на этих белухах: на сорок человек своих разделим, да другого уж и не знаем никого. И части мы эти делим поровну, потому как все равные деньги на невод клали, всякий на

промысел идет на своих харчах, со своим достатком. Вот эдак-то вот мы и ловим белуху по летам: три недели в петровом посту (с Прокофья косить начинаем), за три недели перед ильиным днем. Дело-то и идет у нас ровно, и плеч-то наших не давит, не тяготит. А видал ли ты невод белужий? — спросил он меня.

— Нет, еще не случалось...

— Сами плетем, а которые и соловецким монахам заказывают (да берут они дорого). Сети мы эти плетем из бечевок голанских, сколько можно толстых. Ячеи в этой сети по шести *верхов* (вершков) в поперечнике затем, что на рыбу тут не надеешься; рыба тут самая большая проскочит; а белуха — зверь такой, что ты хоть в сажень ячею-то делай, не проскочит. Невод этот на саду сидит сажен с тысячу, да веревок одних у него целая верста. Так вот, смотри, какой большой невод этот. А затем и белуха — сальный зверь, а не кожный, как бы лысун али нерпа, заяч. И тех к нам много проходит. Да ладно! С тем и прощай!.. Ложись отдыхать, и я тоже, потому карбас-от уж налажен и про твою милость...

Рано утром разбудил он меня еще в сумерки, или в тот полусвет, который держался в это время с час между вечерней зарей и утренней, так что ночи в собственном смысле решительно не было. На карбас свой он поставил кадушку с просоленной треской, бросил мешочек со ржаным хлебом и житником — небольшим караваем ячменного хлеба, который можно употреблять в пищу только в тот день, когда он испечен, и который за ночь, до следующего дня, так черствеет и портится, что положительно становится негоден к еде, окаменелым. Три пешни и три кутила лежали тут же подле нас в карбасе. Мы отправились.

Доро́гой хозяин успел сообщить мне, что белуха любит чаще приходить к их берегу, чем в другие места, и как главная цель ее появления в Белом море — отыскивать пищу в виде семги, сельдей и другой рыбы, то поэтому и рыбы этой на Онежском берегу меньше, чем в других местах. Сказывал также и то, что и самый берег этот сподручнее для ловли белухи, по значительному количеству мелей, на которые удобно загонять зверя, и что по этому случаю на Онежском берегу белух вылавливается больше, чем где-либо.

— Главная причина,— говорил он,— не стоял бы шалоник до́лго; шалоник отдирает зверя. А на этого зверя

пуще, чем на другого какого, ветер свою силу имеет. Вот, рассказывали, выставала было налыс белуха-то у Летнего берега, да зазнала: к устьям (двинским) пошла. А там пàли ветра — угребла, знать, в Кандалуху (Кандалакшскую губу). Может, которая половина и на нашу долю достанется...

Ишь времечко-то теперь какое красивое стоит — любо да два! — говорил потом хозяин мой, не один раз любуясь погодой. Действительно, во всей своей необъятной красе, как огненный шар без лучей, выплывало из-за дальнего края моря летнее солнце. Пронизавши воду своим пурпуровым отцветом, солнце выглянуло из-за воды сначала краем, который постепенно и заметно увеличивался и золотил воду. Вот наконец и все солнце, весь этот огненный шар на наших глазах. Кругом его заклубился словно пар, отливавший потом как будто дальними, свивавшимися клубом облаками. Ближние к солнцу края облаков этих желтели, дальние еще отливали пепельным цветом; но солнечных лучей не видать было час, не видать другой. Солнце заметно, почти на наших глазах, отмеряло пространство и скоро взбиралось по небу. Кажется, если бы не обманывающий ход лодки все вперед и вперед, можно было бы решительно заметить этот скорый подъем, почти бег солнца к зениту. Свет значительно усиливался; на море было тихо; слегка поталкивала борты нашего карбаса легкая, сдержанная волна. Тумана не видать было ни на дальних лудах, ни на ближнем берегу; но лучи солнца еще часть времени боролись с эфиром, не могли пронизать его и осветить наше море. Оно как будто только и выжидало, как будто только затем и присмирело теперь, чтобы мгновенно осветиться ярким, животворным солнечным блеском.

Долго мы ехали греблей; долго впивал я дыханием своим бесконечно чистый, несколько свежий морской воздух; долго любовался и на безграничный, глубокий-глубокий свод неба, нависший над нами, с его солнцем, со светлой, нежной лазурью. Наслаждением подобного рода можно упиваться, но трудно передавать после всего того, что уже давно было не один раз сказано и поэтами, и живописцами. Солнце успело уже озолотить берег и тотчас же, скорее чем в мгновение ока, осветить и нас, и наше море на всю его бесконечную даль — от севера к югу и от востока к западу.

Мы были уже почти подле цели.

С десяток карбасов плыло в дальних от нас местах Онежской губы; некоторые из них перед нашими же глазами повернули от соседней к ним луды и, как видно, гребли усиленно в нашу сторону. Быстро отделялись эти карбасы от туманной луды, быстро перебирали лодочники руками; в свежем воздухе моря доносились до нас резкие, дальние крики. На крики эти хозяин мой заметил только одно:

— Чуть не запоздали: обметывают уж!

Он тотчас же повернул руль влево, и наш карбас направился прямо к берегу, в сторону от тех карбасов, с которых, по-видимому, раздавались крики. У берега чернелось еще несколько карбасов, и, как видно, без всякого дела. Вероятно, и наше место было там же. Впереди, прямо против берега, к стороне затянутой в туманную хмару луды, белелись, словно большие клочья морской пены, спины белух. В нескольких десятках мест повторялось это явление: лёщились себе белухи, выставляя изжелта-серебристые спины на морской поверхности, и потом быстро опрокидывались головами в морскую глубь, хватая в ней спопутную рыбу. Одна зашипела почти подле самого нашего карбаса и успела обнаружить и горбатую спину, и какую-то дыру на ней, откуда вылетели фонтаном невысокие, но быстро вымеченные брызги воды, серебрившейся на лучах солнца.

— Пошла оттыкать пробку, свинья морская! Постой, будет тебе ужо на орехи. Чуть не спихнула, проклятая! — быстро заметил хозяин.

— А разве бывает этак? — спросил я.

— Нет, не бывает, никогда не бывает! Разве сами спихнем ее, а ей, проклятой, нас не опружить,— отвечал он мне неохотно и каким-то сердитым голосом. И сильно прикрикнул мой хозяин на работников, чтобы те гребли сильнее и круче налегали бы на весла.

Послышались со стороны хозяина ругательства, и во всем составе его начались судорожные, нетерпеливые движения. Видно было, что теперь-то наступала для него самая горячая, самая важная пора. К тому же, как я заметил, все карбасы, ближние к берегу, отвалили и плыли по направлению к тем карбасам, которые от луды ладились к берегу и по-прежнему продолжали выбрасывать сеть, беспрестанно путаясь в веревках, и по-прежнему неслись оттуда сильные, громкие ругательства. Их даже можно уже было расслышать

целиком, когда мы вдруг круто повернули к тому же месту, дальше от берега. Мгновенно схвачена была с ближнего карбаса и на наш длинная веревка, которую мы спешили выбирать в то время, когда другие передавали ее на следующий карбас. Долго, до обильного пота, тащили мы конец толстой веревки и перебрасывали ее соседям до той поры, пока не выбросали всю, пока не почувствовали в руках ячеи невода, круто и сильно опускавшегося тяжестью своею ко дну, пока наконец и мы не очутились, в свою очередь, крайними. Видно, поспели вовремя! Быстро гребли мы веслами и бежали за веревкой; быстро закручивалась эта веревка уже прямо против нас. Думаю, час целый выжидали мы, когда наконец попадет эта веревка в наши руки, после того как обойдет сеть меньший круг. Белухи между тем продолжали лещиться и кувыркаться, разгребая ластами воду на две струи, но уже не вразброску одна от другой, а почти все около одного места, ближе к середине того круга, который описывал выметанный невод. Зверь выстает заметно чаще и как будто сердится. У него захватывает с натуги и от гнева дыхание, и он спешит вздохнуть свежим воздухом и, если уже возможно это, так в последний раз перед смертью, которая висит над головой.

Между тем крики со всех карбасов, съехавшихся теперь на близкое друг от друга расстояние, превратились в громкий, базарный гул: все невероятно спешили, все как будто обижены были тем, что не по их желанию начали, не по их воле продолжают и, стало быть, неудачно окончат. Вдруг раздался сильный плеск по воде веревки, сопровождаемый сильным, громовым эхом в горах. Раздалась опять крутая, громкая брань, и в мгновение ока несколько карбасов, в том числе и наш, юркнули через эту веревку в середину того заветного круга, который описал невод. Здесь на этот раз уже реже выставали белухи, вероятно утомленные. Быстро хватал хозяин мой кутило и бросал его выстававшему зверю и, сколько можно было заметить это при скорости удара, прямо в *дыхало* (в дыру, пускавшую фонтан). С быстротою молнии выхватывал он из кутила палку, бросая ее прочь, в лодку, и в то же время с поразительною ловкостью выбрасывал в воду и всю веревку, привязанную к кутилу. Другой конец этой веревки он задёживал за карбас и опять-таки, ни минуты не медля, хватался за новое кутило. Некоторое время спешливо, внимательно высматривал он на воде выста-

вавшего зверя, держа настороженным орудие смерти. Веревку, сколько я мог заметить, крепко держал он у ратовища (палки) с тою целью, чтобы не спрыгнуло с него кутило, и быстро выхватывал ратовище и ослаблял и кидал всю веревку до дальнего конца в то время, когда замечал сначала спину, а потом и дыхало зверя, как черное пятно, зиявшее мгновенно, тотчас же.

Таким образом выметал он все свои три кутила (в карбасе лежали только пешни) в то время, когда, опомнившись — он от тяжелых трудов, а я от внимательного выслеживания за его движениями и движениями людей соседних карбасов,— мы заметили себя у самого берега, на который первые, выскочившие из лодок с уханием и той же бранью, тащили сеть. То же сделали и мы. Впрочем, несколько карбасов еще ездили кругом сети, болтавшейся в воде, и с них время от времени еще выметывали кутила, но, вероятно, уже последние. Некоторое время слышалась эта буркотня, но и она вскоре смолкла. Чайки, все время кружившиеся над белужьим юровом и спешно выхватывавшие изо рта зверя рыбу, в несметном количестве кружились теперь над нами и густой, темной тучей над неводом. Визгливый, разноголосый крик их возмущал душу, но всем было не до них. Начиналась самая трудная, самая спешная пора работы, хотя и со всех нас пот лил градом, хотя весьма многие с трудом переводили дыхание. Крики и брань прекратились. Стадо пойманных, застигнутых врасплох белух на прибрежных кошках обмелело; некоторые из них выставили напоказ всю свою огромную тушу, богатую салом. Видна была гладкая, без шерсти, кожа, изжелта-белая, у некоторых с мертвою просинью; на одном конце туловища виднелась голова, в зашейке которой чернело дыхало, величиною около полувершка в диаметре, на другом конце — хвост длиною с пол-аршина, толщиною пальца в три, обтянутый белою кожицею, отливавшею по краям пепельным цветом. На плечах ясны были ласты — *крылья* (как называли промышленники), имеющие некоторое сходство с небольшими свиными окороками, четвероугольной, продолговатой фигуры. Задние ласты, лафтаки, не были больше сажени, и весь зверь, длиною аршин семь, растянувшийся по земле, со своей горбатою спиною, головой, небольшою сравнительно с остальным туловищем, глядел решительным подобием небольшого кита, к породе которых, вероятно, и принадлежит белуха эта.

Пока я занимался рассматриванием фигуры невиданного мною безобразного зверя, промышленники *кротили,* то есть пришибали пешней в дыхало, этих зверей, которые шевелились еще и грозили, при малейших невнимании и оплошности, опрокинуться в воду и уйти от нас в руки других счастливцев, на берег к которым их может выкинуть морская волна. Промышленники наши перекротили всех зверей поочередно, немного отдохнули и, заправившись пищей, начали свежить добычу. Для этого они сначала отрубали голову, хвост и четыре ласта, затем сдирали шкуру вместе с салом и не буксировали его на карбасы только потому, что были на берегу. Мясо бросали тут же, предоставляя его на съедение собакам, которые стадами бегут сюда даже из дальних деревень.

— Куда же пойдет кожа звериная, если сало в продажу? — спросил я хозяина, не отстававшего от других и молчавшего во все время работы.

В ответ на это он только приподнял ногу, показал подошву и пощелкал по ней пальцем.

— На это идет да на другую кою мелочь,— отвечал мне за него уже другой соседний мужик.— Кожа белужья — не кой клад. Это — не нерпичья кожа: та лучше, та барышнее.

Затем опять следовало молчание. Видимо, все с сосредоточенным вниманием занялись своей работой. С трудом, после долгого ожидания с моей стороны, нашелся еще один словоохотливый, который говорил мне:

— Вот все, что ты теперь видел, начальник, дело хорошее. Промысел наш, на твой счастливый приезд, задался ловкий.

— А как приблизительно?

— Да коли ста два зверей попало, рублев на большую тысячу будет. Ста по два рублев на ассигнации придется на брата. На это и сети поправим; порвала же, чай, зверина, не без того: бесится и она, как, вишь, ни смирна теперь. Мечется, живот-от свой горемышный жалеючи.

— Этакий промысел мы на редкость делаем! — подхватил рассказчика уже третий, вероятно желавший тоже отдохнуть и тоже доказать мне свою бывалость и знание.— Больше всего мечем сети на мелях у Ягро́в, у Кумбыша́, у Омфа́лы, у Гольца́ (острова это такие живут). Там-то вот мы эти сети и спущаем на кибасах (поплавках деревянных). Зверь-от в них сам заходит

и путается; мы его только на мель тащим да кротим пешней. А там свежуем, спустим в воду, привяжем на веревку к карбасу да и везем в деревню. Зверя по три, по четыре и здесь попадает. Дележ на каждую *ромшу* после бывает...

— Что же это такое ро́мша ваша?

— А ромша — вот все мы, все обчество наше — артель бы, к примеру. Вот нас теперь двенадцать карбасов. На каждом карбасе по четыре человека и малолетки ребята тут же: их дело промысловую избу чистить, ложки мыть, зверя караулить, когда мы спим. Это ромша. А жир-от, что с кожи режем, *шелегой* зовем; а согреется он да закиснет — *сыротоком* слывет. Вот тебе и все!

— Нет, не все! коли сказывать начал,— перебил его третий голос.— Ты ему расскажи про петровское-то дело. Слушай-ко, твоя милость! Поехали наши ребята за белухой на вздогадь,— авось, мол, встренется. А зверь — дурак известный, про то не знает, чего человек-от хочет: не встренулся. Искали они этак-то, долго искали — не нашли. Ухватили, слышь, рожу-то в горсть, чтобы не больно стыдно было добрых людей, поехали в деревню ни с чем. Там-де, думают, грязью закидают; года с три и опослях вспоминать да корить будут соседи. Едут они, едут: известно, надрываются сердцем, боятся мирского суда. А было их человек с десять на трех карбасах, и невод был при них, и невод-от они этот так и не замочили: как был засмоленный, так и остался — ничем-ничего. Едут они, это, в деревню свою, едут, «да и видим,— говорят,— впереди-то, мол, нас словно пена морская! Да какая, мол, тут пена будет: корг нет, воде мырить не из чего, не из чего и пены пускать. Надо-де быть, братцы, белухи!» Стали присматриваться: белухи и есть! «Молись-де, ребята, да заезжай, который удалее!» Так и сделали. Выметали сеть — заехали. Вытащили сеть на мель: сто штук белух предстали пред ними как на блюдечке. Ну — опростили. Известно, барышу много: плохая белуха меньше двенадцати пудов сала носит на себе...

А то рассказывали сорочана (из деревни Сороки на Кемском берегу), что к ним в сельдяную сеть белуха-то зашла. Стали, слышь, осматривать ее, потащили: да что, мол, туго подается, али, мол, рыбы поленницу навалило. «Думаем-де,— говорят,— мы эдак-то, тащим знай. Вытащили, глядим: дураково поле — белуха зверь. Разрезали — двадцать пудов сала вынули». Рыбу-то она

в сети всю, слышь, пожрала, а себя самое в руки врага таки выдала. Худо вот, начальник, когда на заметке замотает тебе зверь один ряд сети, особо при самом начале: тогда всех товарищев до единого выпустит. Оттого вот мы при поворотах-то давеча и орали крепко себя не помня, потому знаем, что выпустил ты зверей в море — вдогонку за ними ни на каком ты карбасе не поспеешь, хоть будь тебе самая красивая беть (полный бейдевинд). Это уж мы знаем доподлинно: лют зверь на воде, круто берет!..

Так вот, твоя милость, какие дела бывают,— говорил он как бы в заключение и снова принялся за работу...

В тот же день вечером я оставил своих промышленников за счастливой добычей, а сам отправился дальше, по направлению к городу Онеге. Целые сутки ехал я до той поры, когда мне опять удалось ступить на твердую землю и сесть хоть и в тряскую, но в привычную, сыздетства знакомую телегу. Заснул я в ней крепко и сладко и проснулся, разбуженный ямщиком, который, слышу, рапортует, что приехали-де.

— Куда?

— В село Тàмицу; тридцать пять верст до Онеги осталось. А у меня, ваше благородье, дорóгой-то лошадки было побесились. Ты не слыхал, чай?

— Отчего же?

— А бог их ведает: коров, может, повидали. Вишь, с моря-то туману навалило: темно стало, ничего не видать. А и море-то верст, надо быть, двенадцать отседова...

Ямщик замолчал. Слышался взрывистый звон почтового колокольчика, который, вероятно, раскачала отряхнувшаяся лошадь, и шум порогов, несущийся прямо с реки. Ямщик опять подошел к телеге с писарем, явившимся за подорожной.

— Чай, в реку-то семга заходит; хорошо ей тут: она любит пороги.

— Где семге!..

Ямщик расхохотался. Даже писарь не мог удержаться от улыбки.

— Думаешь ты, река-то и невесть какая? — вопросительно объяснил ямщик.— Мелкая ведь река-то, курице по холку, и всё тут. Кумжа вот разве зайдет.

Ямщик обратился к писарю.

— Заходит! — отвечал он грубо заспанным голосом и взял подорожную для прописки в избу.

Ямщик не отвечал.

— Здешний народ все больше в Питер ходит на лесные дворы. Так вот и пойдет тебе со всей Онеги, знай это!..

Слышу, опять раздается приятный на этот раз звон нового колокольчика; выезжает новая телега, набитая доверху сеном, с новым ямщиком на козлах и в шапке с медным гербом на лбу. Валюсь я в это сено и на нем также приятно и сладко засыпаю и просыпаюсь на другой день в виду Онеги, освещенной ярким солнцем, пробившим и испарившим весь ночной туман прибрежьев.

Едва ли особенно лучше было в том, что солнце осветило Онегу: плачевно глядела она из-за ярового поля черными, гнилыми домами. Правда, что белелась на горе каменная церковь, но церковь эта оказалась недостроенною; правда, что белелось еще каменное здание, но и оно оказалось неизменным казенным казначейством, с неизбежными сильно захватанными дверями, с грубыми, заспанными, полупьяными сторожами-солдатами. Единственная улица города, по которой можно еще ездить на лошадях (все другие, три или четыре, заросли травой и затянулись кочками, представляя вид недавно высушенного болота), была когда-то выстлана досками, но теперь представляла ужасный вид гнили, с трудом преодолимый путь к цели, которою на этот раз служила отводная квартира. Но и к ней можно, не обинуясь, отнести слова поговорки: «На безрыбье и рак рыба, на безлюдье и Фома дворянин». Бедна Онега и печально глядит в глаза каждому проезжему. Бедностью своей (как оказалось после) она может соперничать только с одной Мезенью. Правда, что есть в ней опрятных домиков два-три, но это дома богачей и лесной конторы, которая нашла себе приют в этом городе.

Сколько беспривoтен вид города, столько же печально смотрит и протекающая подле, хотя и значительно широкая, богатая семгой и миногами река Онега. Всю ее, словно нарочно, какие-то богатыри закидали бесчисленным множеством крупных камней, перебор которых иногда сплошным рядом чуть не доходит от одного берега до другого, противоположного. Четыре раза в сутки все эти уродливо-каменные переборы, производящие на глаз неприятное, тяжелое впечатление, высоко покрываются прибылою с моря водою, и потом опять, почти те же двенадцать часов, мечутся на глаза обывателям обнаженные, серые камни, в иных местах со-

провождаемые длинными, желтыми запесками. Вид на город с реки, и притом издали, недурен; но мрачно глядят из города берега реки, поросшие густым, черным лесом, из которого, в одном только месте прямо против города, белеют доски и строения поньгамского лесопильного завода. На меня смотрит оттуда дальняя дорога на Поморье, со всеми ужасами неизвестности, которой, кажется, на этот раз и конца нет за всеми болотами, реками, морем и океаном, озерами и гранитными берегами и лудами...

Вот вся нехитрая, несложная и небогатая приметными событиями история этого города. Не дальше как восемьдесят лет тому назад он был просто Усть-Янскою волостью, состоящею из нескольких слобод, до сих пор еще сохранивших древние свои имена: *Верхи* (верхний конец города), *Низы* (средний) и *Погост* (остальная часть ко взморью, самая лучшая и самая главная часть города). Все эти слободы по указу императрицы Екатерины II в 1780 году вошли в черту нового уездного города Архангельской губернии. Первоначальное заселение его относится к первым временам появления новгородцев на берегах Белого моря для рыбных и морских промыслов еще во время княжения на Руси Василия Темного. При набеге литовских людей и русских изменников на северные страны России, около 1613 года, Усть-Янская волость была почти совершенно выжжена и истреблена; однако в 1621 году была уже в ней церковь и до 20 домов. С 1657 до 1764 года волость по указу царя Алексея Михайловича принадлежала со всеми рыбными тонями, сенокосами, пажитями ведению соседнего с нею монастыря Крестного, тогда еще нового и не имевшего никаких угодий. Принадлежа затем к Беломорской провинции Новгородского наместничества, Усть-Янская волость в 1774 году отчислена к Архангельской воеводской канцелярии и вверена управлению экономического казначея и его помощников. С 1761 года в Онеге существовала лесная контора англичанина Гома, оживившая торговлю тамошнего края, значительно усилившая население Усть-Янской волости и, вероятно, немало способствовавшая к тому, что волость эта, предпочтительно перед другими соседними, названа была городом. Девятнадцать лет производил здесь Гом свою лесную торговлю по контракту, заключенному им с графом Шуваловым — тогдашним северным монополистом. В это время Гом успел отпустить за море более 18 коммерческих судов, больше 9 гальясов и 20 реч-

ных судов, выстроенных на двух тамошних верфях и нагруженных петрозаводским железом, волжским хлебом и онежскими досками и канатами. В то же время начали приходить сюда иностранные корабли (ежегодно от 20 до 70) за теми же досками и канатами. Но около того времени, когда Усть-Янская волость названа была городом, дела Гома начали упадать, закрылся канатный завод, а вскоре прекращено и судостроение. С 1769 года, по случаю худого состояния и слабого кредита купца Гома, за неплатеж по обязательству казенных денег лесной торг вверен был заведованию Гаумана. В 1781 году он передан был Вологодской казенной палате, и в 1783 году лесной торг окончательно взят был в казну и отдается теперь торговым компаниям только на арендное содержание. В 1783 году за рекою Онегою выстроена была, вместо обветшалой, новая верфь о 4 эллингах, на которой и был построен в том же году корабль. Двумя годами раньше этого времени (1781) при новом городе учрежден открытый порт по следующему указу Екатерины II: «Учредив при самом устроении Вологодского наместничества город Онег для доставления жителям его пропитания и в распространение торговли, всемилостивейше позволяем от пристани сего нового города выпускать российские продукты и товары, коих вывоз не запрещен особыми указами, с пошлиною, до будущего нашего соизволения, каковая собирается в городе Архангельском; равным образом ввозить туда все незаповедные товары с таковою же пошлиною, которая при архангельском порте установлена для оных; чего ради для досмотра и сбора настоящую определить таможню, с потребным числом служителей, под ведением казенной палаты Вологодской губернии». Таможня в настоящее время находится на острове Кие, около которого, за крайним мелководьем реки Онеги, и останавливаются иностранные корабли. Они являются сюда ежегодно за досками и брусьями, распиливаемыми на двух заводах компании — поньгамском (на другом берегу реки Онеги, прямо против города) и андском (по направлению вверх по реке Онеге, в 8 верстах от города)...

Все обыватели города Онеги заняты работами на этих заводах, живя там пять суток в неделю; на шестые приходят они в контору, получают расчет, и в воскресенье, почти с самого утра, на улицах слышатся песни, бродят подгулявшие горожане. Песни эти не смолкают на ночь, тянутся потом и во весь следующий

день — понедельник, который известен и там под именем *маленького воскресенья*. По общим слухам и по наглядным приметам, трудно найти в другом каком-либо городе такого долгого, бестолкового загула, как в Онеге. Вот почему дома безобразно покривились набок, деревянные мостки погнили и обвалились, улицы заросли травой, три городских кабака новенькие, каменная церковь недостроена, деревянная, кладбищенская, полуразрушилась. Весь заработок онежане успевают пропить в эти два загульных дня (иные, более ретивые, начинают еще с вечера субботы), если толковая, храбрая и сильная жена не успеет отобрать у расходившегося мужа небольшие остатки, которые пойдут потом на недельное пропитание голодной, полунагой семьи. Можно положительно сказать, что только в женском населении, отличающемся крепким, здоровым и красивым телосложением, сохранился новгородский тип. Ему, даже до сих пор, не изменяет и внешний наряд женщин, особенно праздничный.

До сих еще пор одевались они если не нарядно, то пестро и пышно, хотя по большей части в платье, переходящее из поколения в поколение по наследству. Штофные сарафаны из алой, голубой или зеленой материи, а часто из золотной (или золотой) парчи топырятся и шуршат. На головах у девушек надеты шелковые платки, у женщин — низенькие шапочки с золотым начельником или широким позументом. У богатых девушек по праздникам кокошники, называемые *повязками* и имеющие форму усеченного конуса или павловского кивера, украшены огромным начельником, широким позументом, пронизанным жемчугом ряда в три-четыре. Сзади по косе пускалась алая лента ниже пояса. У всех блюдется старый обычай: при всякой встрече кланяться и приветствовать друг друга добрым пожеланием и приветом вроде следующего:

— Почти праздник-от!

— Твои гости!

Каждую субботу и накануне всех больших праздников моют полы, подоконницы, лестницы и даже самые стены изб. Изба, по-старинному еще, делится на три части: *шолнуш*, или кухню, заменяющую также спальню, собственно избу — столовую комнату и *горенку*, которая ставится за *поветью*, или сараем, пристраиваемым прямо к избе, и которая, по обыкновению, строится без печи и украшается картинами, зеркалами, чашками, самоваром, завозимыми сюда *торгова́нами*, вре-

менно приезжающими из Каргополя, и *офенями* — бродячими вязниковцами. Точно так же до сих еще пор чаще, чем где-либо в других местах, слышится здесь старина, древнее сказание и новгородская песня, которую можно услышать у тех же девушек — по зимам на посёдках. Последние также исстари свято блюдутся здесь, хотя в то же время и значительно ослабели или совершенно прекратились во всех других местах архангельского края.

Если, с одной стороны, лесопильные заводы отвлекли все внимание горожан от родного крова, устремив деятельность их на трудные ломовые работы, то, с другой стороны, город Онега замечателен тем, что в нем нет ни кузнецов, ни столяров, ни слесарей; есть только плотники (да и то в чужих руках). По той же самой причине здесь и рыбная ловля незначительна и вся легко справляется женским населением города. Девушки и женщины осматривают и обирают и миноговые мережи, и камбальи уды, и запускают семужьи неводы и поплавни. Потому же и собственно городской торговли решительно не существует: вся она находится в руках онежской лесной компании. По ее милости (отчасти), по причине враждебных природных сил страны (вообще), все приречные онежские жители уходят на дальние промыслы, до Петербурга включительно. Всех этих «прохорят», всех этих «прохоровых детей» (по народному прозвищу онежан) можно во многом числе найти в столице на лесных дворах и биржах. Сюда-то из Онеги мифический «Прохор письмо прислал, а лободырному (самому ледащему и глупому изо всех) велел оброк собирать»,— как давно уже дразнят и сердят этих простодушных выходцев с реки Онеги. Там у них есть село Усть-Межа, про которое говорят, что в ней «хлебно» (много засевают хлеба), и которое в самом деле представляет конец, или географический предел, тех местностей, откуда жители уходят на дальние заработки, и между прочим на петербургские кирпичные заводы. К югу от села все Прионежье сидит дома и питается от земледелия. «Не бывать вороне далее Усть-Межи»,— иносказательно выражаются про это экономическое явление в жизни прионежского люда (дальше к северу вороне и всякой птице нечего клевать, нечем питаться). Хозяйничанье монопольной компании иностранцев, без милосердия истребившей леса, довело здесь дела до того, что все бы Прионежье обезлюдело, если бы еще не поддерживала черноземная и хлебородная Каргополь-

щина. Притом народ отличается глубоким суеверием до такой степени, что когда появились здесь первые проповедники нового раскольничьего толка — странников, или бегунов, многие здешние (особенно женщины) покинули дома и убежали жить уединенно в лесных трущобах и в землянках. Здесь же указывают на село Шелексу (слывущее так по реке) и называют жителей его «беспутными». В оправдание их крайней бедности сохранилось особое предание даже исторического характера. Рассказывают, что к шелеховцам явился некоторый святой муж и просил места для постройки кельи и часовни. Они не только отказали, но и плот, на котором прибыл преподобный, оттолкнули от берега. Отрясая прах от ног своих, святой муж предрек: «Жить вам ни серо, ни бело; ни голо, ни богато». Нашел себе удобное пристанище этот праведник святой Антоний, записанный в святцах с прозванием Сийский, в 1520 году на прекрасном острове, окруженном глубокими озерами и опоясанном рекою Сиею на ее пути в реку Двину. С той поры имя шелеховца применяют к беспутным и безнравственным людям как ругательное. Эти, по крайней мере, живут в избах, обещающих довольство, хотя и хуже соседей, но зато большая часть прионежан — непокрытая бедность, народ безлапотный: «семерых в один кафтан согнали». Близ самого города (всего в 10 верстах), на озере Андозере, лежит деревушка, про жителей которой прямо говорят: «Андозера — хайдуки: нет ни хлеба, ни муки». Этим еще тем хорошо в печальной жизни, что озеро дает рыбу и с нею привыкли они обходиться без хлеба, который и не сеют. Менее счастливые осуждены просто побираться Христовым именем, а по этой причине там и подслушано руководящее убеждение того смысла, что бедному всегда подаст бог, или, как говорят они по-своему: «Андел дал бы в цяшку, Микола — на ложку». Как бы то ни было, во всех этих крайних проявлениях беспомощной бедности немалая доля ответственности легла на Онежскую компанию лесного торга.

Доски и брусья с заводов компании доставляются к кораблям, стоящим на Кийском рейде, при помощи особого рода плоскодонных судов, называемых *романовками*. Романовки эти не иное что, как те же лодьи, только с некоторыми незначительными особенностями. Так, например, при противном ветре они по крайней плоскодонности своей ходить не могут и потому в этом случае буксируются компанейским пароходом. На них

ставятся две мачты, к ним прикрепляются косые паруса... Суда эти дальше Кийского рейда не ходят, хотя и был один раз такой случай, что одна из этих романовок сходила и, к счастью, благополучно вернулась из Архангельска, на диво и крайнее удивление самих же строителей и хозяев. Прежде в Подпорожье строили лодьи, но теперь, как говорят, и не думают. Редкий из порожских не умеет строить романовок по аляповатым, бестолковым чертежам.

В этих же деревнях Подпорожской волости построен огромный забор для семги, пользующейся во всей России заслуженною славою как одной из лучших и известной под именем *порога.*

Второго июля поморская шкуна «Николай Старков», нагрузившись досками и брусьями, ладилась пуститься в море, через Кемь в Норвегию, где хозяин этой шкуны предполагал продать свой лесной товар. Брат его предложил мне отправиться вместе с ним, обещая доставить в Кемь прямо морем и не дальше как через двое, много через трое суток. Над предложением этим я долго не задумывался: близкая неизвестность, не изведанный еще мною морской путь, надежное судно, способное лавировать (по-здешнему — *бетаться),* ласковый хозяин, говорун и остряк, прямо из корня всего поморского края, каково Кемское Поморье и деревня Сорока,— все это, взятое вместе, соблазнило меня.

Я предпочел шкуну и дальнее морское раздолье езде верхом на девяносто с лишним верст и потом скучному прибрежному плаванию около всего Кемского берега с лишком на двести верст еще и по тому важному обстоятельству, что на возвратном пути с Мурмана и Терского берега мне не пришлось бы уже миновать этих интересных мест.

На другой же день со всеми своими пожитками я был уже на шкуне — и город Онега потянулся взад, выказывая крайние ко взморью строения свои, между которыми рисовались высокие дома лесной компании. Из-за них белела соборная церковь; мрачно и неприветливо чернела темная роща, рассыпанная по крутой загородной горе. Чахлый лес сопровождал оба берега реки. Вдали белел уже маяк, и все-таки не пропадал из глаз, не закрывался ни берегом, ни лесом бедный, хотя и длинный, городок Онега. Ровно сутки лавировали мы между отмелями и подводными коргами и кошками ка-

менистой реки Онеги на полном, докучливом безветрии. Два раза на всем этом десятиверстном пути бросали мы якорь, выжидая ветра, и один раз так неудачно, что шкуну нашу убылая вода едва совсем не положила набок. Изловчившись кое-как, с криками и ругательствами хозяина и его двух работников, мы на прибылой воде, поднявшей наше судно, медленно выбрались вперед на Онежский рейд, пристали к острову Кию. Здесь вышли на берег его, с тем чтобы записаться в таможне и дождаться потом на берегу нового прилива, обещавшего нам надежду ехать дальше в глубь моря, помимо несчетного множества шхер и луд Онежского залива, с бо́льшим удобством и легкостью. Ровно полторы сутки потом, на полном, всегда обидном и докучливом безветрии, виделся нам остров Кий с обгорелым Крестным монастырем, казенною таможнею, реденькой сосновой рощею и красновато-грязным гранитным берегом. Тот же гранит бил в глаза и на всех остальных спопутных лудах: Пурлуде, Шаглоне, Ко́нд-острове и других мелких лудах, не имеющих часто никакого названия.

Остров Кий — сплошная гранитная скала, возвышающаяся на 40 футов над уровнем малой воды, прекрутая к юго-востоку и западу, несколько отлогая во все другие стороны. Гранит покрыт тонким, разрывным слоем земли, на которой, особенно в щелях и ложбинах, прицепились высокие сосновые деревья, образующие реденькие, сильно просвечивающие рощи. Вот весь наружный вид острова, дополняющийся на юго-восточной стороне сараями лесной компании, домами таможни, выстроенной вновь после английского разгрома. Только они и составляют единственные жилые места острова. На зиму эти здания пустеют, при них остаются только сторожа; но летом они заселены значительнее и гуще. Жизнь и деятельность кипят в это время на всем острове и около него, на рейде, в значительных размерах. Исключительная цель этой жизни и деятельности — доставка досок на романовках из складных сараев острова на иностранные корабли, стоящие верстах в полутора, на рейде. Остальное жилье острова — Крестный монастырь, возвышающийся на северо-восточной стороне, состоит менее чем из десяти человек монахов. В мой приезд монастырь представлял обгорелую, далеко еще не поправленную массу зданий. За несколько дней до прихода англичан на Онежский рейд Крестный монастырь сгорел от неосторожности монахов.

...Бедный в настоящее время, по незначительности рыбной ловли и бесплодности островного гранита, существующий весьма незначительными и редкими вкладами соловецких богомольцев, Крестный монастырь, как известно, основан в 1657 году патриархом Никоном. Он, бывши еще соловецким иеромонахом и отправлявшийся с церковными требами, потерпел крушение в устье реки Онеги, спасся на этом острове и, по исконному обычаю того края, поставил на том месте, где вступил на берег, деревянный крест. Это было в 1635 году. В 1652 году Никон, будучи уже новгородским митрополитом, ездил в Соловецкий монастырь вместе с князем Хованским за мощами митрополита Филиппа, видел на Кий-острове крест свой, видел веру к нему в ближних жителях и тогда же решился основать здесь монастырь. Обет свой он привел в исполнение тогда уже, когда сделался московским патриархом. В 1656 году Никон, по жалованной грамоте от царя Алексея Михайловича, начал строить монастырь на счет своей келейной казны и на те шесть тысяч рублей, которые пожалованы были ему царем Алексеем. В 1692 году царь Петр Алексеевич указал производить монастырю государского жалованья на церковные потребы и на монашеские одежды каждогодно по 292 рубля 90 копеек, что и производилось по 1707 год...

Монастырь нельзя покинуть, не вспомнив, что здесь около 12 лет прожил в ссылке лишенный сана воронежский епископ Лев (Юрлов), известный своими приключениями. Голиков в «Истории Петра» рассказывает между прочим следующее: однажды Петр пригласил невестку свою Марфу Матвеевну (супругу царя Федора) на ассамблею в Немецкую слободу к голландскому купцу Гоппу. С царицей был ее паж Юрлов. После ужина во время танцев царь попросил меду, но его не оказалось. Когда потребовал анисовки, то не оказалось того кубка, серебряного с крышкой весьма изящной работы, из которого обычно пил государь настойку. Он приказал запереть ворота и никого не выпускать не только на улицу, но и из покоев на двор. По расспросам у прислуги узнали, что выходил к царицыной карете один только ее паж. Спрятанный кубок отыскали, а невестке своей царь приказал на другой день утром прислать к нему Юрлова. Этот бросился к ногам царицы и повинился.

— Что ты сделал, проклятый! Ведь государь засечет тебя и вечно напишет в матросы или, по крайней мере, в солдаты.

Вручивши ему несколько червонцев, царица велела ему спасаться как знает. Она получила от Петра выговор, а Юрлов стал промышлять о своем животе. Все поиски остались тщетными потому, что виновный забежал далеко и в одном из вологодских монастырей успел постричься в монахи с именем Льва. В 1727 году он был уже в Переяславле-Залесском архимандритом Горицкого монастыря, так как в этом году (1 марта) его хиротонисали во епископа и послали на епархию в Воронеж. Живя здесь, он завел ссору с губернатором, которая разгорелась сильно как раз к тому времени, когда на престол вступила Анна. Губернатор, получив указ сената, пригласил архиерея служить соборный молебен и приводить граждан и чиновников к присяге на подданство. Архиерей отказался неимением указа из синода. Губернатор поспешил воспользоваться случаем отомстить врагу и тотчас же отправил в сенат курьера с доносом на Льва. Сенат решил взять епископа в Москву, предать суду, лишить сана, переименовав Лаврентием. Суд приговорил наказать его кнутом и сослать в этот никоновский монастырь. Решение приведено в исполнение 3 декабря 1730 года. Императрица Елизавета, прощавшая всех обвиненных при Анне, вспомнила обо Льве и приказала освободить его от ссылки и возвратить ему архиерейский сан. Прощенный отказался от управления епархией и кончил жизнь в Москве на покое в Знаменском монастыре.

Таким образом, и маленький Крестный монастырь не избег той же участи, какая предназначена была всем отдаленным монастырям, и в особенности такому большому и богатому, каков ставропигиальный и знаменитый Соловецкий. Тамошняя монастырская тюрьма сделалась специальным местом для заключения не только преступников против веры, но и для ссылаемых за оскорбление Величества. В таковых между прочим зачтены были два князя Долгоруких — Василий Владимирович и родственник его Василий Лукич, желавшие ограничить самодержавные права императрицы Анны (первый прожил два года, а второй девять лет до освобождения Елизаветою). Когда разыгралась ссора Бирона с Артемием Волынским, сюда же в Соловки сослан был и здесь же умер друг бывшего кабинет-министра граф Платон Иванович Мусин-Пушкин, наказанный будто бы за дерзкие речи против правительства, а собственно за связи и дружбу с Волынским.

IV. НА ШКУНЕ

Переезд из Онеги в Кемь. — Впечатления морского пути. — Луды. — Старик работник. — Егор Старков. — Шижмуи. — Взводень. — Характеристика морских ветров. — Морские приметы. — Морские воды, прилив и отлив. — Куйпога. — Подводные опасности. — Предания о спопутных островах: Никодимском, Полтам-Корге, Немецкой Вараке, Осинке. — Голодная смерть. — Предание о Колгуеве и Жожгине и богатырях Колге и Жожге. — Кончак. — На берегу

С востока потянуло крепкой проницающей сыростью. Показались густо-плотные клочки облаков, превратившихся вскоре в сплошную массу, затянувшую ту часть горизонта, откуда появилось впервые густое дымчатое облачко — первый предвозвестник тумана. Солнце, до этой поры яркое и жгучее, со всеми характерными признаками летнего июльского солнца, стало каким-то матово-фольговым кругом, на который даже смотреть было можно безнаказанно, а там и совсем его затянуло туманом: ни один луч, ни одна искра света не могли пронизать тумана, чтобы осветить и нашу серую шкуну, нахмурившееся море, начинавшее усиленно плескать в борта ее. *Заводился* ветер, но *противняк*. Вся надежда полагалась на *полую воду*, которая, следуя законам отлива, пошла с берегов и понесла вслед за нами клочья изжелта-зеленой *туры* (морского горошка), мелкие щепки, где-то выхваченное бревно, еловые ветки, лениво колыхавшиеся в густой пене, смытой с берегов соседнего гранитного островка, а отчасти пущенной и нашим утлым судном. Шли медленно, сколько это можно было понять из того, что у бортов не визжала и не шумела вода, разрезываемая носом, а медленно, монотонно плескалась на судно, и след шкуны был так короток, что конец его легко можно было уследить глазом. Вот пробежал легонький ветерок и прорябил стихавшую поверхность хмурого моря: след судна стал заметно удлиняться и совсем пропадать из глаз, подхватываемый набегавшими волнами.

— Перекинь кливер!.. Тяни шкот! — раздались громкие, урывистые слова, в которых было так много успокоительно-приятного, тем более что преследовавшее нас безветрие от самого города Онеги и его мелкой и порожистой реки бесило даже привычных мореходов — работников судна. Не один уже раз замечал хозяин:

— Надо быть, старая баба помирала на ту пору, как заводилось нам вечор поветерье...

— А то что же? — спрашивал я.

— Дело-то вот какое несхожее: у нас вера (примета) такая, что каким ветром пошел из становища, таким и на место придешь. Обидит тебя вот этак-то противняком на выходе, так на противняках тебе и весь путь идти. Больно уж горько ладиться этак-то, словно тебя кто за корму-то сгреб и не пущает.

Обиженный безветрием хозяин уходил с палубы и крепко засыпал, уложивши свое богатырски развитое тело во всю длину узенькой, душной каюты. У руля оставлял он работника с приказаньем ладиться на восток к Онежскому берегу и на Орлов-Наволок, откуда, по его мнению, течение моря идет прямо на Кузовские острова. От них уже рукой подать и до вожделенной Кеми. Старик дремал у руля, не считая нужным слишком налегать на него или поворачивать по требованиям прихотливого ветра. Другой работник (на шкуне их было всего трое), хотя и не ладно кроенный богатырь, пользуясь тем завидным преимуществом, что он был братом хозяину, тоже большею частью спал и, только когда уже не было никакой возможности смежить очей, от излишнего пресыщения в этом невинном удовольствии расходовать скучное время, щипал паклю или выливал помпой воду прямо на палубу...

По-прежнему безотрадно и тихо море, по-прежнему ощущается та чарующая чистота воздуха, от которой как-то и в груди широко и привольно, и дышится так легко, и ничто, кажется, не увлечет с палубы в каюту. Здесь уже окончательно сонное царство, и ведут бессвязные, бестолковые разговоры в бреду оба брата. Один проснулся, вышел на палубу и также заметно поражен увлекающей прелестью теплой погоды.

— Эка благодать! Эка благодать-матушка! Эко привольное раздолье, жисть благодатная!.. мирозданье божеское!.. А все бы, гляди, лучше, кабы поветерье-то пало. Ну да ладно!.. Море — это горе, а без него, кажись, вдвое. Что у вас там... в Расее-то; есть экое-то? — прихвастнул хозяин и, получивши отрицательный ответ, еще больше приударил на свое: — То-то, ведь нет!.. Ину пору, правда, и тоска берет этак в непогодь алибо на берегу сидя, а попал вот в этакую благодать, так слезными рыданиями не прочь удовольствие себе получить: не сошел бы с палубы!.. А что, паря, готов ли обед-от? Наставляй скореича!.. — завершит, бывало, свою речь хозяин. Знаешь уже, что уйдет он с братом в каюту и станет есть там сначала жидкость на треть с морской водой, называемой ими рассолом, и на две

трети с пресной, сильно потеплевшей и значительно выстоявшейся в нечистом бочонке. Горячую жидкость эту зовут они ухой, хотя оттуда вынута и потребляется особо обожаемая всем архангельским краем треска, со своим одуряющим аммиакальным запахом, который не пропадает в ней и по выварке. Наверное знаешь, бывало, что съедят товарищи всю уху — один непременно примолвит, постукивая ложкой в пустую чашку: «Дождя не будет!» Твердо знаешь и то, что за треской последует пшенная каша, причем непременно потужит хозяин, что забыл прихватить с собой с берега масла, и заменит его той же соленой ухой. Твердо знаешь, что при первом появлении в каюту к обеду обзовет он тебя приглашением:

— Поешь трещочки-то, хорошо ведь!

— Не хочу; спасибо!

— Непривышное, вишь, дело-то тебе, непривышное. Мы так вот и о пасхе ей разговляемся: на сковородке яйцами обливаем да со скоромным маслом и едим всласть: знатно кушанье!.. Что же своей-то не поешь?

— Ветчины-то? Не хочешь ли попробовать?

— На оба конца не соблаговолила бы... А с молитвою и все всласть: давай за твое здоровье! Вареную-то вот, чай, благонадежно можно есть.

Попробовал — не нравится: нашел, что она в пироге лучше, а так-де боязно есть.

— Женщины-то едят ли ее?

— Едят.

— А любят ли?

— Да уж едят, так, стало быть, любят...

— То-то!

Надоели в безветрии и эти докучные, невяжущиеся разговоры. И рады, и истинный на улице праздник для всех нас, когда, бывало, повстречаемся на морском безлюдье с другим судном, которое везет также живых существ. И все в этом судне интересует нас: и какой оно краской покрашено,— и потому сумское ли оно или кемское,— и что везут: треску или мелкую рыбу морскую, и сколько рабочих. Спит кто — разбудят, бывало: «Ступай, лодья идет, полно дрыхать-то». И приветствуем, бывало, встречных заветным прадедовским приветом, и нам отвечают тем же:

— Путем-дорогой здравствуйте, молодцы!

— Здорово ваше здоровье на все четыре ветра!

— Откуда бог несет?

— С Мурмана — *в Город.*

— Чьих вы?

— Кемские.

— Что это у вас лодья-то без мачты?

— На голомяни сломало: несхожие ветры пали.

— У нас так вольненькая морянка все тянет, так... легонькая. Третьи вот сутки от Онеги шляндаем...

— Там, на Терском — аи-какие бури стояли! Со дна воротило, и все межонные ветра были!..

С тем мы и разошлись. Не удивили и не озадачили уже прислушавшееся к местному говору ухо новые слова, вставленные в короткие речи приветствия. Знал я уже давно, что Мурманом зовется тот берег океана, который потянулся от Белого моря на запад мимо Колы к норвежской границе и на который съезжаются все поморы для ловли трески — спасительного продукта для пищи, заменяющего легко и благодетельно всякого рода хлеб, который в северных краях не родится. Знал я, что городом зовется исключительно один только Архангельск, куда свозится и где продается вся выловленная на океане треска; что морянка — легонький, благодатный, по выражению поморов, ветерок с моря; голомянь — даль морская, все, что пошло от берега, который, в свою очередь, носит общее название горы, и что, наконец, с понятием о межонных ветрах соединяется понятие о непостоянстве ветров, дующих летом, когда случается, что ветры обойдут кругом по всем румбам компаса, тогда как осенью морские ветры — северный, северо-восточный и восточный — часто дуют беспрестанно не только по целым дням, но даже и по целым неделям.

На море по-прежнему тишь и гладь; но на дальнем краю, там, где начинается синева горизонта, промелькнуло что-то белое, как будто волны; вот ближе и в какой замечательной непоследовательности одна за другой, то в одном месте, то заметно далеко в другом!

— Что это такое, старик?

— А белухи лёщатся: знать, ветер чуют! Спину показывают, целым юровом (стадом) выплыли.

Юрово это так близко, что можно различать все их проделки. Старик работник не выдержал:

— Белух-то как есть спихнем: на дороге стали! Любят они дух человечий — идут на него.

Белухи, высовывая голову, заметно вдыхают в себя воздух, издавая при этом неприятные для уха звуки, наподобие свиного хрюканья, и прячут голову в воду.

выгибая при этом свою горбатую, серебристую, как вешний снег, спину.

— Совсем свинья бы,— присказал снова старик,— только ног нету, а хрюкает.

Над белушьим стадом мгновенно закружились — откуда взялись — огромные стаи чаек, подхватывая изо рту зверя пойманных им маленьких рыбок. Старик и здесь не выдержал:

— Чайки эти завсегда живут мирским подаянием, что богомолки соловецкие!.. Ишь норовит!.. Ишь сторожит, проклятая!..

Действительно, зоркая чайка, заметив зверя у поверхности воды, тотчас опускалась ниже и распускала свои крылья настороже. Зверь, разгребая воду ластами на две струи, высовывал свою небольшую голову и терял часть добычи: чайки уже тут как тут.

Старик продолжал раскачивать головой и хлопать себя по бедрам и как будто горевал белушьему горю:

— Эка, гляжу, ненасыть, эки проклятые! Всего им мало, обжорам!..

Белухи по-прежнему продолжали шуметь водой и по-прежнему судорожно вскрикивали, и немедленно тяжело отлетали прочь чайки с рыбой во рту...

Таков вид на море. На палубе виднелись прежние, давно знакомые картины: хозяин для разнообразия сел к рулю, отпустил горемычного старика работника отдохнуть, соснуть, а сам замурлыкал себе под нос ту заунывную песню, от которой еще тяжелее становится на душе. Старик, воспользовавшись свободой, бросил на веревочке *плицу* (деревянное корытце, которым на мелких судах беломорских вычерпывают воду), достал морской воды и вымыл ею руки — занятие, к которому он ежедневно прибегал раз по пяти — по шести на день. Он завалился спать на палубе, сильно пропекаемой жгучим солнцем. Брат хозяина лениво щиплет по-прежнему паклю, как будто серьезное дело делает: ни песен не поет, ни с кем не заговаривает. Раз только подошел он к борту и бессознательно-тупо поглядел в темно-зеленую чернеть воды и засвистал тем дребезжащим свистом, каким приохочивает ямщик на питье свою уходившуюся и взмыленную тройку.

— Чего, черт, рассвистался-то?— обозвал его брат, все еще наваливавшийся на руль и мурлыкавший свою горемычную русскую песню.

— Да, вишь, нерпа!..

— Выстаёт, что ли?

— Знамо.

На гладкой поверхности моря время от времени показывалась между тем черненькая, маленькая живая головка с плоским утиным носом, судорожно вертевшаяся из стороны в сторону, как бы прислушиваясь к диким звукам человеческого свиста. Вот показалась серебристая, лоснящаяся, сизая шейка зверька, и вот часть беленького брюшка. Зверек бойко поматывает головкой, ныряет в воду и опять выстаёт, чтобы снова подхватить долетающие до него звуки свиста. Опять он крутит головкой, подплывая почти к самому судну, и опять прячется, и опять выстаёт, но уже в другом месте, далеко в голоме: такой он юркий скороход!

— Надо быть, осенний выводок,— заметил хозяин,— да, вишь, заблудился, отстал от стада. Летом не следно им жить здесь: есть нечего, уходят за сельдями за Грумант (Шпицберген). И любопытный зверек: охочь на свист-от. Тем вот и донимаем, берем на стрельну. Больше за ними и уходу нет: нет этих там сетей, крючьев, что ли. А салом лаком, мягкое сало дает и кожу дает хорошую. Вон соловецкие монахи сапоги-бахилы делают, поясами чресла перепоясывают. Сходный, барышной зверек, что говорить: одно — мал!..

Хозяин утомлен и озадачен безысходностью положения: вяло как-то и по палубе он ходит, и спит уж чересчур часто и долго, и песни все поет заунывные, да и ест лениво и много. Не таков был он в первый день знакомства с ним, когда пробирались мелководной и порожистой рекой Онегой, ежеминутно почти меряясь шестом, чтобы, не ровен час, не сесть на мель и не положить судна совсем набок. Раз я поймал его на такой штуке: долго, долго смотрел он против ветра и крутил головой, как будто сердился; затем снял шапку, похлопал себя по лбу и стал зачесывать вихор на правый висок. Опять похлопал себя по лбу и засвистал.

— Что это ты делаешь?

— Ветер хочу раздразнить: вишь ведь, чтоб его!..

— Как будто он тебя послушается?

Хозяин задумался было, но вскоре спохватился:

— Бывало, и слушивался; а коли и не так, так все как-то на сердце легче, как будто и сделал свое дело-то... Совсем напротивел,— свищи, старик!

Старик, также охотно и сохраняя ту же важность выражения в лице, хлопал себя по лбу, присвистывал и дразнил ветер.

— Что, старик, и тебе легче?— спросил я его.

— Знамо, легче!..

Одним словом, всем надоело постоянное безветрие в течение целых двух суток. Даже и старик работник, который хвастался тем, что «вот-де пятый десяток живу, а почесть не сходил с судна», недоволен своим положением. Время от времени он охает и отрывисто поддакивает сетованиям на безветрие или постоянный противняк. По целым часам приходилось, бывало, просиживать у борта, бессознательно созерцая гладкую, безбрежную поверхность моря и синюю массу дальнего берега, на котором нельзя уже различить ни черных кучек — избенок селения, ни яркой золотой точки, горящей в кресте над церковью, ни оврага со сверкающей змейкой-речонкой: все ушло вдаль и отливало туманной синевой. Теперь и того не видно: все заволокло туманом, до того густым, что в нем нельзя уже различить с кормы даже старика, рочившего кливер, и брата хозяина, вскарабкавшегося на бизань по оборванной, грозящей ежеминутно смертью веревочной лестнице (ва́нтам), где и самые приступки (выбленки) чрез два в третий измочалены, висят клочьями.

Наступила минута всеобщего торжественного молчания: все стояли настороже в ожидании того, в какую сторону примет направление ветер, до того времени игравший кливером то с одной стороны его, то с другой. Наступил и этот момент, сопровождаемый невыносимым скрипом бизани и всеми резкими, бранными словами, на какие только может хватить умения и привычки русского человека, в сердцах и безмерно обиженного. У брата хозяина сильным порывом ветра вырвало из рук кливер, шкот. Его поймали багром, но виноватый получил пять-шесть ударов в спину — и отдохнуть бы, но хозяин, весь уже превратившийся в суетливого, почувствовавшего и сознавшего трудную минуту в своем положении посреди враждебных стихий, требовал его к бизани, крепко бранил. Бранил и за то, что спутал все веревки на мачте, хотя, скорее, спутал их ветер, и за то, что медленно рочил бечеву, и за то, что медленно отходил к другому борту для закрепы шкота. Не ушел и смирный старик от зоркого глаза и заметок хозяина: и ему послано с бизани приказание, с сильной закрепкой и памяткой, налечь на руль крепче и держать круче, наперерез волны. Любо было видеть его в эту минуту полного разгара хлопотливости: он то взберется на лестницу вверх, то опять, почти в мгновение ока, очутится внизу у кливера. Наконец, торжествующий,

посреди прежнего всеобщего молчания, он сел к рулю сам, прогнавши старика следить за кливером.

— Что, хозяин, теперь весело?

— Ну да как не весело? Благодать! И на сердце складно. Этак-то вот иную пору там, в океане, сутки у руля-то просидишь легко и передать жаль. Таково-то любо!..

На палубе сделалось так холодно, как холодно бывает в крещенский мороз: холод леденит руки и бьет в виски; только постоянным движением можно противодействовать его влиянию. Ходить по палубе непривычному человеку уже невозможно, и смешно видеть, как прыгнувший работник ухватился было за бочонок, но при новом повороте судна на противоположный конец отброшен был к печке. В каюте свалило со стола бумаги, книги, чернильницу; в шкапу хлопали дверцы и звенели две-три чашки. Хозяин плавал с некоторым комфортом: у него имелся и медный чайничек для чаю. Чай прислащал он сдобными колобками, хотя и значительно высохшими и одеревеневшими; после обеда услаждал себя часто, сверх сыта, щелканьем кедровых орешков — меледы, называя их *гнидами*. Вина не держал вовсе, считая вино на судне совершенно лишним продуктом.

— Вино на судне — гибель, и без него тошно! На берегу еще отчего не побаловаться в добрый час? Там с вином весело; здесь — маета. От холодов и под полушубком согреемся. Иные, пожалуй, и любят брать с собой, да тоже в море, почитай, не пьют. Аглечкие, что в город на кораблях ходят, те, пожалуй, вон с утра до вечера пьяны. За них ведь другие дело-то правят, им с пола-горя пить-то. А у нас вся надежда в тебе: работать за тебя некому, сам все...

Затем еще несколько ругательств и плюх со стороны хозяина, еще несколько сдавленных криков из уст брата его в ответ за науку, и нас погнало в сторону от прямого, принятого нами пути. Еще несколько криков и бранных слов да визг каната и всплеск свалившегося в воду якоря — и мы на безопасном месте, под островом Шижмуем, наполовину лесистым, наполовину голым, как вообще гол беломорский гранит.

— Экой взводнишшо разворотило: сюды нали досягнул!

— Поди-ко там теперь какой ад девствует! Больно пылко...

— Пыль, пыль, братец ты мой! — прибавил от себя старик, стараясь поддержать разговор, завязавшийся

тотчас после того, как *обронены* были паруса и повернулось судно. Один только хозяйский брат, видимо, был недоволен, стоял насупившись и сохраняя прежнее упорное молчание. Но и он был замечен хозяином:

— Слышь, черт, Петруха! Сердишься, что ли, аль нету?

Петруха молчит.

— Ишь ведь, словно Грумант, и разгневался! Пошто старик-от не сердится?

Петруха все еще стоит на своем: лицо его мрачнее неба и воды окольной.

— Больно, что ли, коли молчишь?

— Знамо, больно, против сердца бьешь: с разу-то ведь и духу тяжело!..

— Любя ведь, леший!

Петруха на замечание это издал какой-то глухой грудной звук, который братом его был принят по-своему.

— Сгоряча-то ведь, дурак, не разберешь. По шее бы, вишь, надо.

— Ну как те не по шее?.. Себя бы бил по шее-то.

— Ладно, ну ладно, поцалуемся!.. Да вари-ко паужин. Делать-то, видно, некого: спать ляжем...

Прямо против судна потянулся длинный Шижмуй, слева лесистый и зеленый, справа каменистый и черный; далеко у края торчит что-то густо-черное: кажется, изба, а может быть, и просто огромный камень. Там и сям прорезаются в ночном полумраке деревянные кресты, которыми уставлены чуть не вплотную все берега и острова Белого моря, все перекрестки и выгоны городов и селений Архангельской губернии. Кресты эти ставятся по обету или местными жителями, или богомольцами, идущими в Соловецкий. Кресты на Шижмуе могли иметь иное начало: может быть, тем же крутым ветром, каким загнало сюда и нас, загнало в это становище утлые суденки промышленников и надолго затянул один и тот же ветер, запирая все пути к выходу не на один день мрачно-скучного гореванья. Ловцы сошли на остров и долго поджидали вожделенной поры, когда уляжется ветер или переменится в попутный. Проходит не один день скучного житья на голой луде, а между тем флюгарка на мачте по-прежнему реет в ту же враждебную сторону, по-прежнему несется страшный гул от дальнего взводня со стороны моря и попрежнему черно и сумрачно это море, до половины покрытое густой, серебристо-белой пеной. Ту же тоску и

безвыходность положения испытывают промышленники, какая впору только тем несчастным, которые брошены на голый, безлюдный камень, окруженный громадною массою воды и сверху покрытый беспредельным голубым небом. Там с криком пролетит орел, тяжело размахивая своими сильными крыльями, и находит себе место, приют и довольство на первой же спопутной луде. Далеко не таково безвестное положение покорившихся прихотливым капризам моря, когда наконец самый запас провизии подходит к концу, а налепившиеся по луде ягоды: сочная морошка и кислая, водянистая вороница,— набили оскомину. Даже забившаяся в овражек между камнями лужа дождевой воды, пощаженная палящими летними лучами солнца, грозит скоро истощиться окончательно и обещает рано или поздно возможность горькой смерти столько же от жажды, сколько и от голоду. Промышленникам остается одно: быть верными завету своих праотцев и в сооружении деревянного креста полагать всю надежду на лучшую долю... За материалами ходить недалеко: лес под руками, и плохой тот мореход, который не только в дальнее морское плавание, но даже и в ближайшее — на соседнюю луду за грибами или ягодами — не прихватит с собой топора и пилы. Целой артелью, меньше чем в сутки, сооружается крест и вырезывается на нем приличная надпись с именем Страдавшего и годом сооружения.

— Всегда, после того как вкапывали крест в землю, переставал ветер. Если он не становился попутным, то зато до конца плавания противняк не мешал плыть ровно и спорко и бетаться (т. е. реить, лавировать),— говорили мне в один голос и прежде, и после бóльшая часть ходоков по беломорским пучинам.

Между подобного рода крестами много, и едва ли, впрочем, не большая часть, таких, которые сооружались спасшимися. Из них два креста сделались историческими: один Петра Великого, сооруженный собственными его руками на берегу Унской губы в 1684 году и хранящийся теперь в Архангельском соборе, и другой Никона, послуживший началом основания на Кий-острове Крестного монастыря.

Если утомительны эти колыханья между голыми островами при полном безветрии, то едва ли не втрое мучительнее гнетет наболевшее сердце пяти-шестичасовая стоянка на якоре: приглядятся окольные однообразные виды, с каждой мелочной подробностью кото-

рых делаешься как будто знакомым сыздетства. Глаз болит от беспредельной поверхности моря, взволнованной, возмущенной на всем своем пространстве непокойными, спорящими волнами: одна подсекает другую, разбиваясь в мелкие дребезги об острые корги, голыши и луды. Мельничным воплем отдает шум волн, набегающих на каменистый перебор между соседними голышами, оголенными убылой водой...

— Гагара кричит — на море беспременно падет сильный ветер. По старым временам, на пятницу ветер сменяется, как бы ни играл круто...

— Да верно ли это, хозяин?

— С тем, возьми!..

Полая вода продолжает подвигать нас, хотя и медленно, вперед. Потаились Шижмуи. Вместо них выплыли новые луды, из которых одним знатоки дали название Медвежьих Голов, другие обозвали именем Сеннухи. Далеко впереди выяснились высокие Кузова́, цель настоящих наших помыслов и желаний. Каким-то матовым отблеском покрыты эти острова от вершин до мест прибоя волн и рисуются тускло: нельзя еще отделить гранита от того мелкого кустарника, которым, говорят, он вплотную усыпан.

— Гляди правее Седловатой луды, видишь?

— Ничего не вижу; но Седловатую луду узнаю и дивлюсь ее меткому прозвищу: лучше назвать ее едва ли можно...

— То-то! Совсем ведь седло... А направо-то видишь еще кое-что? — продолжал добиваться своего хозяин, когда вопрос возбудил всеобщее любопытство.

Двое работников смотрели туда же и тоже не понимали: отчего мне не видно того, на что указывает хозяин. Один из них даже не выдержал и дополнил:

— Вишь, белеть нали стало! Совсем видно...

Но я по-прежнему ничего не видал. За поморами, хотя бы даже и в очках, не угоняешься: они очень зорки и далекое видят ясно благодаря безграничному горизонту моря, на котором с малых лет развивается их зрение. Только тогда, как нас значительно подвело еще дальше вперед, на северо-востоке выплыло как бы облачко, сначала незначительной величины, потом постепенно округлявшееся, резко обозначая свою подошву на месте прибоя волн. На этом облаке действительно забелела небольшая, но круглая точка. Над точкой прорезалась и загорелась золотая звездочка, одна, вот другая... третья, и еще, и еще...

Невольно дрогнуло сердце, и не надо было сомнений и расспросов: само собой разумеется, что золотые звездочки эти принадлежали дальней изо всех русских обителей, монастырю Соловецкому, с которым связано столько живых впечатлений, обильный наплыв которых мешал найти в них единое целое.

Некоторое время виделась только серая масса с серебристо-снежным пробелом, который начинал постепенно увеличиваться и выделил из себя две церкви, еще что-то похожее на длинную стену, и вдруг все снова пропало.

— Темень подняло: дождя, знать, будет. А не надо бы нама-ка! — послышался голос хозяина.

— Зорок же, брат, ты и догадлив!

— Нам нельзя без того. Слепым-то у нас и на печи места много. Близорук в море будешь, так и нос расшибешь. Наше море не такое, чтобы корг этих, кошек, голышей не было, не такое!..

Предсказание хозяина сбылось: из теменцы — дальнего облачка — явилась вскоре над нашими головами целая и густая туча, обсыпавшая нас бойким, но скоро переставшим дождем, вызвавшим новое замечание Егора:

— В море встанет темень — жди дождя: в горах (в береговой стороне) завязалась она и кажет словно молочная, да зачернело оттуда море синей полосой, — быть ветру, и крепкому ветру. Так и завсегда, вот как и теперь!

Это предсказание сбылось как нельзя вернее и лучше: дождь загнал меня в каюту, куда послышались вскоре с палубы новые крики, и опять начались возня и брань.

Слышится задыхающийся голос Егора:

— К снастям, ребятушки, к снастям, други милые, человеки земнородные! Постарайся, други, золотом озолочу и по всему свету пущу славу! Вот так, упрись! Вот этак, серебряные, золотые!.. А чтоб тебе, старому черту, ежа против шерсти родить, что кливер-то опустил, анафема?.. Не задорься, крепись на руле-то, лупоглазый! Рочи живей, одер необычный!.. Начну вот кроить шестом-то, скажешь, которое место чешется!.. Окаянные!.. Держи ветер-от так, желанные мои, так, верно, так! Спасибо на доброй подмоге! Ишь как знатно пошло прописывать. Молодцы, ребята, тысячи рублей за вас не деньги! Рочи-ко скоренько, рочи, бетайся, други, бетайся!.. Вот лихо!.. Вот лихо!.. Знатно! Ше-

велись, старик, шевелись, перекидывайся, шевелись покрепче — погуще поешь: ладно! Вот тебе раз! Вот тебе раз!

За последними словами в каюту донеслись новые звуки хозяйского свиста. Я вышел на палубу: стоит он, расставив ноги и разводя руками, лицом к ветру, и опять снял шапку, опять машет ею против ветра.

— Что, Егор?

— Да; вишь, окаянный какой!..

— Что же, обидел?

— Попугал только, проклятый: на то и шалоник — разбойник, чтоб ему пусто было!.. Рони паруса, братцы, да крути якорь: надо опять *поло́й*[1] дожидаться!.. Вот и горюй тут!..

— И тебе-то, гляжу, Егор, обидно!

— Зареву, вот по-коровьи зареву, и знай! Совсем обида: вино бы под рукой было, кажись, облопался бы, чтобы не видать экого посрамления на головушке. Сказано: как, знать, пошли, так и придем непутно! А Кузова́-то далеко ушли: к Кильяка́м, знать, ладиться надо!..

— Что же так?

— Теченье-то, вишь, тяга-то тебе к берегу, без ветра одним бетаньем не одолишь...

— А ведь это, брат, совсем уж не по-морскому. Это уж, выходит, на авось идти.

Егор ничего не ответил. Видимо совсем ошеломленный от постоянных неудач, швырнул он без видимой нужды шест с одного борта на другой, две огромные, тяжелые щепки бросил в море, лег было на досках на

---

[1] Считаю нелишним объяснить здесь значение поморских слов, употребляемых для выражения известного состояния воды в приливах и отливах. Вот весь порядок этих замечательных проявлений жизни Белого моря и на поморском наречии, всегда метком и оригинальном. Начало прилива, и именно тот короткий момент, когда вода как бы з а д у м ы в а е т с я и стоит неподвижно, не подаваясь ни вперед, ни назад, поморы зовут к у й п о г о й и к у й п а к о й (значение этого слова в некоторых случаях переносится и на обсыхающий после отлива берег морской). За куйпогой вода з а ж и в е т, т. е. начнет прибывать, с п о л н я т ь с я, и все остальное время прилива носит уже название п о л о й, п р и б ы л о й в о д ы. Прилив кончается: вода к р о т е е т, течение ее делается тише, она вскоре сполнится и через шесть часов от начала прилива будет п о л н а я в о д а; затем она д р о г н е т и начнет з а п а д а т ь (убывать) — и все следующее после того время отлива имеет одно общее название с у х а я, м а л а я в о д а. Таким образом, опять через шесть часов будет куйпога и немедленно следующее за нею начало полой воды.

палубе, и не улежал, пошел в каюту. На пути сильно толкнул попавшегося брата, без видимой причины, и только в каюте смог улечься окончательно и ровно восемь часов проспал непробудным богатырским сном.

Кончались уже пятые сутки нашего морского плавания, и немного принесло оно с собой радостей. На все гляделось как-то смутно, во всем составе чуялась какая-то истома, и на всех виделось то же самое: хозяин перестал шутить и петь песни; брат его глядит еще сумрачнее и молчит еще упорнее; старик работник, словно развинченный, еще чаще стал доставать морской воды и умывать руки. Все истомились и неохотно заговаривают друг с другом. Дальний поморский берег синеет по-прежнему бестолково, неясно, каким-то длинным, бесконечно длинным облаком, обрамленным снизу яркой синевой неба, что водой морской дальний остров. Таковы и Кильяки, заменившие для нас значение вожделенных Кузовов, такова и Белогузиха, таковы и Медвежьи Головы, бьющие теперь в глаза своим красновато-грязным гранитом и вечною зеленью сосен и елок. Раз только потешил нас бойкий ветер, но и тот выпал настолько боек, насколько и бесполезно опасен, да другой *попугал,* говоря метким выражением Егора, сумрачно созерцающего теперь давно знакомые и сильно напротивевшие ему виды.

— Вот,— рассказывал он,— выглядывает круглой шапкой, что повыше всех из Кузовов, Никодимский остров, и жил на нем старец в посте и молитве, и помер, уложивши головушку на псалтырь старопечатную. Так и нашли ягодницы — девки кемские — лет тому десять, а не то и пятнадцать. С тех пор и зовут по Никодиму-то старцу и остров Никодимским. Стали было ходить с молитвой туда, да исправник не велел...

Трудно было отличить этот остров в целой массе других, более или менее высоких островов, целой стеной заступивших весь горизонт впереди. Самое море чрез то потеряло всю свою прелесть безбрежного, почти бесследно сливающегося с дальним горизонтом. Виднелись только острова и с боков, и прямо, и сзади шкуны.

Еще на один из них указывает хозяин и, называя его Полтам-Коргой, ведет новую повесть:

— Девушка — этак в поре: полной девкой заводилась, плыла по ягоды с прялкой, да божественные старины пела: «Сон богородицы», «Мучение Христово», «Плач Иосифа Прекрасного, егда продаша братия его

во Египет» и прочее такое из стихов, что калики перехожие по ярмаркам поют. А как допела она до стиха в плаче-то Иосифа, что

Внуши-де, мати, плач горькии
И жалостныи глас тонкии,
Виждь плачевный образ мой, —
Приими, мати, скоро во гроб твой.
Не могу аз больше плакати,
Хотят врази мя заклати,
Отверзи гроб, моя мати!
Прими к себе свое чадо... —

и пал, слышь, шалоник бойкий и опружил девушку-то: потопил, значит!.. А сирота была, и ни одного мужика не знала, и все горем горевали по ней... Погоревали, сказывают, немного-немало, да так и забыли, и забыли бы совсем. Да выходит: в сонных видениях являться стала то к одному, то к другому, и все с прялкой своей, и все, слышь, просила, чтобы часовню на ее косточках ставили. Взялись мужики, отыскали тело, зарыли, часовню сделали на берегу, где тело-то ее волной выбросило. Исцеления и чудеса были, молебны пели, да приехал раз исправник с понятыми и сжег часовню и крепко-накрепко наказал не ходить к тому месту. Да народ-от не будь глуп: откопал девушку и перенес ее тело на другое место. Утонула девушка лет пятнадцать, а съу́дили ее всего года четыре назад...

— Там вон за Кильяками-то, в Кузовах, есть луда такая, ва́рака, а зовут ту вараку *Немецкой*, так тут, вишь, немчи кашу варили и, стало быть, шли они на Соловки, чтобы монастырь ограбить. Варят это, значит, немчи кашу да и похваляются: кто, выходит, больше ограбил, у кого денег больше. Один этак влез на вараку-то, увидал монастырь вдали, что картину писаную, да и пригрозил. Завидно, вишь, стало, что хорош больно монастырь-от, да и казны его счесть нельзя. Пригрозил немец: «Завтра, мол, красоты твоей не видать станет, всю по камушку разнесем». Да, видно, вражьим было это попущеньем — божьим-то изволеньем: немец, как сказал слова те свои, так и стал камнем, и товарищи-то все до одного в камни оборотились. Знать их теперь всех по той вараке: в сумерек проедешь — так ровно бы люди: вся, почесть, гора уставлена ими понизу. Так, выходит, все немчи и стали камнями!.. — А слыхал ли, твоя милость, про Анику? — завершил свой рассказ хозяин.

— Нет, не слыхал.

— Разбойник, вишь, был: по пятницам молоко хлебал, сырое мясо ел в велик день. Жил он около промыслов на Мурмане и позорил всякого, так что кто что выловил — и неси к нему его часть; без того проходу не даст: либо все отнимет, а не то и шею накостыляет, пожалуй, и на тот свет отправит. Не было тому Анике ни суда, ни расправы. И позорил он этак-то православный люд, почитай, что лет много. Да стрясся же над ним такой грех, что увязался с народом на промысел паренек молодой: из Корелы пришел и никто его до той поры не знавал. Пришел да и поканался коршику: «Возьми да возьми»! И крест на себя наложил: православный, мол, я. Приехали. Паренек-то вачеги — рукавицы, значит, суконные — просил вымыть. Вымыли ему рукавицы, да выжали плохо,— осердился. «Дай-ко сам!» — говорит. Взял, это, он в руки рукавицы-то, да как хлопнет, что аглечкий из пушки: разорвал! Народ-от диву дался: паренек-то коли, мол, не богатырь, так полбогатыря наверняк будет. А тут и Аника пришел свое дело править: проголодался, знать, по зимето. «Давайте,— говорит,— братцы, мое; за тем-де пришел и давно-де я вас поджидаю». А парень-то, что приехал впервые, и идет к нему наустречу. «Ну уж это,— говорит,— нонеча оставь ты думать: не видать-де тебе промыслов наших, как ушей; не бывать плешивому кудрявым, курице петухом, а бабе мужиком». Да как свистнет, сказывают, он его, Анику-то, в ухо: у народа и дух захватило! Смотрят, как опомнились: богатыри-то бороться снялись и пошли козырять по берегу. То на головы станут, то опять угодят на ноги, и всё колесом, и всё колесом... У народа и в глазах зарябило. Ни крику, ни голосу, только отдуваются да суставы хрустят. Кувыркают они этак-то, все дальше да дальше, и из глаз пропали, словно бы де в океан ушли. Стоит, это, народ-от да богу молится, а паренек как тут и был: пришел словно ни в чем не бывал, да и вымолвил: «Молись-де, мол, братцы, крепче; ворога-то вашего совсем не стало: убил»,— говорит. Да и пропал паренек-от. С тем только его и видели. Аника-то тоже пропал...

— Ты этому веришь, Егор?

— В становище Корабельная Губа, подле Колы, островок экой махонький есть: зовут его Аникиным и кучу камней на нем показывают...

— Что же это такое?

— А, стало быть, Аники-то, мол, этого могила. Так и в народе слывет.

— Вот что, твоя милость! — примолвил мой рассказчик после некоторого раздумья.— В стихах старинных поется вот какое: «Что, мол, старина, то и деянье». Да коли уж не веришь этому, что рассказал тебе про старинное, так вон тебе остров Осинка. На нашей памяти было и дело это.

Рассказчик при последних словах тяжело вздохнул и был справедлив как нельзя больше.

Островок этот, Осинка, не отличаясь ничем особенным от других соседних (такой же серенький, гранитный, только несколько пошире и пониже), замечателен по грустному, тяжелому воспоминанию, какое сопряжено с его именем у поморов.

Здесь не так давно умерли с голоду два мужика: Осип Каншиев и Яков Елисеев. Последний торговал хлебом и, вернувшись домой к осени на лодье с значительным барышом, прихвастнул в семье, сказывают, раз как-то, «что теперь-де, слава богу, не умрем с голоду». Сталось иначе. Когда завязалась уже глухая осень, так схожая в том краю с зимой, когда на море у берегов образовались уже ледяные припаи, торосья (огромные льдины) бродили по голомяни. С одним из этих торосов оторвало крутыми морскими ветрами рыболовные сети, привязанные к этим припаям. Сети были мирские. Все мужское население этой деревни отправилось на карбасах для поимки сетей, составлявших надежду не одной семьи и, может быть, даже не одного дня. Рыба, как известно, под шумок осенью идет охотно, и подчас в огромном количестве. Сети были, однако, пойманы, хотя и значительно потертыми; но искатели недосчитались двух товарищей, отправившихся вместе на одном карбасе. Беда, при некотором соображении, оказалась избывною. «Мало ли,— думали мужички,— пропадало народу, не только около дому, но и на Груманте, и на Новой Земле, и на Колгуеве, а миловал бог — ворочались, бывало, через полгода, через год: авось и эти...» Пришел между тем март — весенний месяц: море попрочистило, льды отнесло дальше в голомянь. Поехали искать пропавших — не нашли; попытались другой раз и вышли на Осинку. Здесь изба промысловая: черная, закоптелая, догнивающая свой век под бойкими осенними дождями и раскачиваемая в своем дряблом составе крепкими морскими ветрами. Все по-старому. Вошли в избу: лежат на полу два почернелых уже человека, обхватившись руками и плотно прижавшись друг к другу. Сверх рогожка лежит: рогожкой накры-

лись. В одном узнали Якова Елисеева, а в другом — Осипа Каншиева; у одного полон рот набит собственным же калом, у другого — мохом. Совсем голодной, не русской смертью умерли несчастные и всего только в десяти верстах от родной деревни! Тут же в избе нашли три дощечки и с надписанием. (Яков Елисеев был грамотный). Вот какие горькие строки выстрадал он и написал жене своей Прасковье Евдокимовой:

(1-я дощечка) «Пашенька! Как унесло нас — четвертое воскресенье и понедельник; ты не пришла; тепло было. Ходили по Осинке, дожидали вас, вы не приехали; бог с вами! Панюшка, тощи стали! Карбас отлучился (оторвало ветром) 15 верст ниже льды; по тонколедице пришли».

(2-я дощечка) «Панюшка! Я воскресенье ходил по Осинке; вперед не знаем: долго ли живем или коротко. У Канбалина якорь возьми и долг Рынину заплати. Ты, Пашенька, не забудь моей души грешной. Мы здесь друг другу клялись, и скажи отцу: всеми грехами грешны и согрешили, и ты поставь псалтырь (закажи читать). Панюшка! Вели Андриевной, чтоб бога ради принялась и пусть простит. Мы один белый мох едим, и силы не стало. Простите, други и недруги, меня, грешного, Якова Елисеева».

(3-я дощечка) «20 числа ходил по Осинке и домой смотрел; лед тонкий: если бы можно, еще бы ушел домой. Пашенька, прости! И всем скажи, и все меня простите. Братец Андрей, не обидь Парасковьи и другим не давай; если станут брать, прокляты будьте. Прости, Пашенька, и меня, и меня, грешника, простите, Якова. И еще проходили осьмого числа, да не могли. Яков Елисеев». Стало быть, страдальцы жили на острову более *пяти недель.*

— Так вот, вишь ты, жизнь-то наша приморская,— перебил хозяин,— где потеряешь — не чаешь, а где и найдешь — не знаешь. Вон и теперь под нами-то, надо быть, сажен пятьдесят печатных глуби есть. Ладно еще, что вольненькая-то морянка тянет, да бог милует!.. Ну, слушай же, твоя милость, расскажу я тебе еще старину. Знаешь про Ко́лгу да Жо́жгу?

— Слыхал, что есть острова в море — Колгуев да Жожгин...

— Супротив последнего острова есть мысок экой небольшой — Кончаковым Наволоком зовется,— неподаль от деревни Дураково. Вот на всех местах этих жили три брата: меньшого-то Кончаком звали, так по

именам-то их и острова теперь слывут. Вот, стало быть, и живут эти три брата родные, одного, выходит, отца-матери дети; живут в дружбе-согласии; у всех топор один: одному надо — швырнул через море к брату: тот подхватил, справил свое дело, топор ему передал. Так и швырялись они — это верно! С котлом опять, чтоб уху варить,— самое то же: и котел у всех один был. Живут-то они этак год, другой, третий, да живут недобрым делом: что сорвут с кого, тем и сыты. Ни стиглому, ни сбеглому проходу нет, ни удалому молодцу проезду нет, как в старинах-то поется. Шалят ребята кажинный день, словно по сту голов в плечи-то каждому ввинчено. Стало проходящее христианство поопасываться. В Соловецкий которые богомольцы идут, так и тех уж стали грабить: уж и что бы, кажись, баловства пуще. А вот пришел раз старичок с клюкой: седенький экой, дрябленький, да и поехал в Соловки с богомольцами-то. И пристали они к Жожгину острову, где середний братан жил. И вышел Жожга, и подавай ему все деньги, что было, и все, что везли с собой. Старичок-то клюкой и ударь его, и убил, наповал убил. А по весне приговорился на сальный промысел, да и Колгу убил, и в землю его зарыли. Да сказывали бабы — из земли-то выходить-де стал: и мертвый бы — а лежит, мол, что живой, только что навзничь. И пугает... Долго ли, много ли думали да гадали, и стали на том, что вбить, мол, колдуну, по заплечью-то, промеж двух лопаток, осиновый кол...

— Ну! — привздохнул откуда взявшийся старик работник, до той поры незамеченный.

— Перестал вставать: ушел на самое дно, где три большущих кита на своих матерых плечах землю держат.

— Ну, а Кончак-от что, третёй-от брат? — опять спросил рассказчика старик работник. Но хозяин ответил не прямо, а обратился ко мне, примолвив:

— Старика, гляди, розобрало! Не все тебе, старина, сказывать надо: по ночам вопить станешь. Слушай! Кончак-от такой силы был, что коли сух да не бывал в бане, что ли, или не купывался — в силе стоит, с живого вола сдерет одним ногтем кожу; а коли попарился этак или искупался, так знай — малый ребенок одолит. Вот и полюби он попову жену и украл ее у попа-то: та на первых порах и смекни, что богатырь-от после бани что лыко моченое. Она и погонись за ним вдоль берега по морю до Кончакова Наволока, тут он

изошел духом, умаялся — помер. Там тебе и могилку его укажут, коли хочешь. Будет же, браты, видно, разводы-то разводить: вот и Кильяки! Берись за шест да налегай, старина, на руль-то покрепче! — завершил Егор свои рассказы в самую опасную для нас пору плавания: шли мы узенькой салмой (проливом); саженях в десяти-двенадцати справа и слева тянулся ряд неширокиx, невысоких луд, известных в группе своей под именем Кильяков...

В салме этой можно было проследить все разнородные виды морских голышей, так опасных для судов, и прослушать все меткие названия, которыми охарактеризовывали их поморы в отличие один от другого. Вот *баклыш* — надводный огромный камень, покрываемый прибылою водой, и *бакланец* (бакланец потому, что любит на ней садиться и вить гнездо морская птица баклан) — низенькая луда, тот же баклыш, но вода прибылая не топит его; *корго* — подводный камень, иногда в целом переборе, в нескольких десятках экземпляров; *пахта* — целый утес, одиноко выдавшийся в море из груды соседних островов. Вот *поливуха* — камень, стоящий наравне с поверхностью воды, которая мырит на нем все время буруном. Вот и вечно обманывающие самый опытный глаз *водопоймяны* — камни и мели, покрываемые водою во время прилива; *чуры* — хрящеватые отмели или косы; наконец, *клин* — подводная каменная банка или риф, *зáбережье* — та часть морского берега, которая во время прилива покрывается водой и осыхает при отливе, и *лéщади* — ровные, гладкие подводные мели с *арешником* — целыми грудами мелких, округленных волнами камней.

Но вот снова крики: «Оброни марсель! И кливер оброни!.. Старик, ступай-ко к бизани: я пойду якорь брошу!» Затем опять несколько глухих криков, ширканье каната, глухой стук и всплеск — шкуна дрогнула и остановилась. Ветер ходит духами: то припадает, то опять зарябит волны, напущенные сюда дальним голомянным взводнем. Пену несет *дородно,* по замечанию работника, и вся салма наша представляла вообще тот вид, который не позволил бы сунуться в Неву ни одному петербургскому ялику. Егор преспокойно спустил свой ботик со шкуны, достал из каюты два избитых, обгрызанных весла, служивших, может быть, весьма недавно в деревенском дому его для месива пойла коровам, и принялся обряжать парус. Материалом для последней цели послужил старый мешок старика работника, навя-

занный на тоненькую палку. Мешок, вдобавок ко всему, в одном месте украшался изрядной величины дырой.

— Мыши прогрызли, в клети лежала! — объяснил старик.— Думали, надо быть, съестное найти!..

Нашли они немногое: пестрядинную рубаху, кусочек суконца синего, кусочек кожицы, нитки, козырек от шапки — и только. Старик, вечно нанимающийся на суда работником, жил налегке; да едва ли и мог иметь что больше, если представить себе его постоянно в руках прожорливых чужеядных поморских монополистов.

Егор уже готов, одетый в свой полотняный сюртук, пропитанный вохрой с маслом и представлявший вид самодельной клеенки — произведение личной сметки и досужества самого Егора; ни прежде, ни после не случалось мне видеть такого наряда. Сам Егор прихвастнул:

— Никакой дождь не берет: что с гуся вода — отменное дело.

Парусок налажен и, к крайнему удовольствию всех моих спутников, надулся ветром.

— Садись, барин, карета готова.

— Егор, не опружило бы? Видишь, какой взводень, и ветер не тишет!

— Не из таких бед выхаживали сухи: бог миловал, а и эта волна, так... сонное виденье!

— Однако в реке-то мелкие волны будут, подшибут, пожалуй!

— Не кверху полетим и в реке, коли пронесет морем. Ветер-то к той поре авось и потишет...

— Страшно, Егор, право страшно!

— Страшен черт, коли во сне приснится, а наяву-то пристанет — так и открестимся. Одно только сумление наводит: не осмеяли бы встречные, что вот, мол, палкой подпоясались, мешком упираются...

Трудно было не согласиться на предложение Егора, видя все его хладнокровие и зная его опытность и приглядку ко всякому шагу на море. Через месяц после я уже в подобных случаях не задумывался, видя даже в поморских бабах удивительную смелость, уменье управляться и с рулем, и с косыми, и с прямыми парусами.

Егор продолжал быть верным себе и во все время, когда наша скорлупа-ботик болтался по далеко еще не уходившемуся взводню. У старика гребца выскочило из уключин (называемых здесь *кочетьями*) весло, почти

вышибенное бойко набежавшей волной. Егор усмехнулся с таким же хладнокровием, с каким посмеялся бы он и в каюте, во время стоянки на якоре, над стариковой дремотой или чем-нибудь подобным.

— Что, старик, каши ложку потерял?

— Бури престаша, ветры улегоша, во своя устроися,— примолвил он в ту пору, когда скорлупа наша обогнула наволок и побежала в небольшую, порожистую речку Кемь. За дальним коленом реки выглянул и самый город, сначала своими двумя деревянными церквами, потом рядом домов, из которых один коричневый, другой зеленый, остальные все — цвета дикого крашеного и дикого крепко подержанного, вылинявшего от дождей и снега...

V. ПОЕЗДКА В СОЛОВЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ

Первые впечатления пути по морю. — Воспоминания туземцев о недавнем посещении Белого моря англо-французскою эскадрою. — Мои спутники. — Соловецкий монастырь. — Гостиницы. — Часовни. — Воспоминания о посещении монастыря Петром Великим.— Возмущение соловецких старцев и подробности осады монастыря от московского войска. — Беглецы и старцы. — Настоящее состояние монастыря и его значение. — Поездка на Анзеры и в скит Голгофу. — Соловки с птичьего полета. — Монастырская тюрьма. — Ее внешний вид. — Ее история. — Интересный заточник. — Папулин. — Из истории федосеевского раскольничьего толка. — Похищение древнего иконостаса. — Древние иконы. — Тюремный преступник. — Рассказ архимандрита Александра. — Земляные тюрьмы. — Мешок. — Побеги. — Великоважные преступники. — Строгость заточения. — Цепные. — Донской есаул. — Игумен Израиль. — Ссыльные. — Интересные из них: Пархомов и Жуков. — Всенародное покаяние. — Возвращение и обратный путь в Кемь

Шумливо бежит в недальнее море порожистая, неширокая река Кемь, извиваясь прихотливыми коленами, обставленная высокими гранитными берегами; бойко бежит по ней и наш карбас, подгоняемый крутым, не на шутку расходившимся юго-западным ветром. Недавно оставленный нами город Кемь то закроется от нас ближней *варакой,* высокой крутизной каменного, бесплодного берега, то покажет, как бы для последнего свидания, часть деревянных домов дальней набережной, то Леп-остров с его деревянной церковью древней постройки. Наконец он совсем пропадает из виду, когда уходят далеко вправо и влево берега реки, на этот раз какие-то низенькие, какие-то черные, мрачные с виду. Казалось, что вот сейчас же разольется перед нами громадная ширина Белого моря и начнут метаться одна

на другую крупные соленые, для непривычного страшные с виду волны. Как будто нарочно для этого и правая крутизна ближнего мыса, затянувшись туманом, отошла далеко назад. Самый ветер надувал наши два паруса полнее и крепче; чайки выкрикали чаще и тоскливее; море ширилось все больше и больше и бросало в нас уже крепкосолеными брызгами. Мы находились в настоящем море и почти открытом, если бы не выступали направо и налево высокие, словно обточенные, скалистые и щелистые острова из группы Кузовов. Дальние краснеют тускло, как будто надрезанные, прохваченные снизу полосой воды, как дальнее облако, неподвижно врезанное в серый горизонт. Ближние из них ярко выясняются своим грязным, сероватым гранитом с прозеленью тщедушного сосняка, с прожелтью выжженной солнцем, выцветшей травы, ягеля (оленьего моха), листьев ягоды вороницы и морошки. Некоторые из этих островов не кажут ничего, кроме камня, темного цвета выбоин-щельев и потом опять камня серовато-красного и серовато-желтого. На одном из них прицепилась избушка — таможня.

— Это Попов остров,— объясняет кормщик.— В избушке солдаты живут. К ним приставай всякий, кто с моря едет, и показывай им, не везешь ли чего из запретного: рому норвежского, чашек чайных, сукна алибо чего из прочего. Да наши молодцы такие, что и за Кильяками (островами) встанут, не то возьмешь: далеко ведь... Туда досмотрщику несподручно ехать, хоть и карбаса есть у них, и багры, чтобы за чужой карбас ухватиться. Спасаемся же!

А вон, гляди, этот остров,— продолжал мой кормщик, тогда как выровнялась новая гранитная скала, несколько бо́льшая против других соседних. Ехали наши ребята на карбасе, три человека: богомольцев везли к угодникам. С ними женок штук до пяти было — и все тут. А на ту пору у нас этот *аглечкой-то* бродил да обиды всякие делал. Едут вот наши ребята — едут, едут наугад, авось-де со врагом, с супостатом и не встретимся, и проедем и святым угодникам молитву воздадим. Ладно, с тем, стало, и едут. Ан, глядь-поглядь, из-за одной луды в Кильяках словно бы дымок показался. Стали всматриваться — дымок и есть. Наши ребята этак взяли в сторонку рулем и стали заходить правее за луду: там-де встанем, переждем на лютый час, пусть погуляют, проедут. Ружья у них и были, пожалуй, так, вишь, женского-то полу набралось — дери их горой! Ну

вот — хорошо! Слушайте! Обогнули наши молодцы луду ту: пристали. На гору подниматься стали, поднялись — посмотрим, мол, далеко ли супостаты. А они тут и есть под горкой: кто врастяжку, кто стоя, трубочки покуривают, кто как... Насчитали наши ихнова народу, надо быть, сказывали, человек до тридцати. Как, слышь, увидали наших на горе — взболоболькали по-своему да как кинутся под гору назад, так, слышь, только пятки засверкали. А нашим-то и любо; стоят да глядят, что дальше будет; бегут аглечкие к шлюпке — отчаливать тормошатся, весла хватают... Один оступился, в воду попал,— что бык взревел! Так и удрали, так и удрали на свой пароход. Наши после них пистолет нашли, цигаров, спичек хороших таких, ни одна не пропала, а горела, что тебе восковая свечка... Таково-то хорошо, ей-богу!..

Нам завязалось поветерье, карбас, несколько накренившись набок, бежал довольно спешно, бойко рассекая несильные, но частые волны. Мы продолжали ехать между островами, оканчивая то тридцативерстное пространство, которое занято ими, начиная от устья реки Кеми. Остальные тридцать верст (изо всех шестидесяти от города до монастыря) идут уже *пóлым,* по-здешнему, т. е. открытым, свободным от всяких островов, морем.

Хорошо было сидеть мне в чистеньком таможенном карбасе, предложенном мне предупредительностью доброго кемского городничего. Род каюты, навес над кормою, сделанный наподобие кибитки, обит был зеленым сукном; тем же сукном обиты были и скамейки по сторонам. На полу подостлана была шкура белого медведя, мягкая, удобная для лежанья и сиденья. Навес не угрожал ударами по голове, как во всех других поморских карбасах, лаженных кое-как, только бы сошло дело с рук. Там сквозной ветер дует безнаказанно, там от дождя навесы не спасают и всегда одолевает одуряющий запах трески, которою запасаются девки-гребцы. Здесь на этот раз ничего из подобного не было; даже и женщин-гребцов заменили на этот раз шесть мужиков, сильных на руки, бойких и острых на язык. Они подобрали весла и, по обычаю всех архангельских поморов, тотчас же принялись за еду. Несутся в мою будку отрывки их разговоров.

Один сообщает прочим, что он вот уже пятый раз в нынешний год ездит в монастырь и съездит, может быть, и еще четыре раза,

— Чего ж больно так разохотился? — спрашивает его другой гребец.— Али весело очень, в привычку вошел?

— И в привычку вошел, и усердие имею: я и в запрошедший год два раза был там, хоть и аглечкой бродил — небось не побоялся. Я ведь более по портному делу, на монастырских работников жилетки шью: любят очень. Поживешь на острову три дни положенных, жилеток до пяти и обработаешь. А деньги особь и за греблю, и за шитье получу: вдвое, стало быть, в барышах и бываю...

— Стало, тебе там и помолиться некогда?

— Какая уж тут тебе молитва? Известное дело!

Слышатся новые толки. Тот же портной сообщает товарищам, что монастырь выставляет бочку дегтю даровую для того, чтобы богомольцы могли смазывать свои сапоги.

— А велят ли сапоги-то мазать? — робко, сдержанным голосом опросила его кемская женка, упросившая нас взять ее с собой.

Портной посмотрел ей на ноги: баба была в сапогах.

— Да хоть голову мажьте, коли усердие есть! — отвечал он ей и набил трубочку, коротенькую, прожженную и окуренную до безобразия и постоянной воркотни.

Почуялся прогорклый, неприятный запах махорки. Портной высосал трубку в два приема и очумел, вытаращив глаза, которые на этот раз сделались какими-то оловянными и бессмысленными. Вероятно, в это время он испытывал неземное наслаждение, потому что улыбка, до того времени не сходившая с его лица, на этот раз сияла полнейшею, двойною радостию.

— Нечистый вас, братцы, ведает, как это вы в экой дряни смак находите, будь вам пусто! — послышался голос кормщика.

— Да ведь это кому как, Гервасей Стефеич. Иной, пожалуй, вон из одной-то чашки с тобой и пить не станет, а все свою носит. Так-то!

— Да ведь из головы блудницы зелье-то это поганое выросло,— заметил было кормщик грубо-сердитым тоном.

— Это, брат Гервасей Стефеич, по книгам ведь. А по мне, коли водки в кабаке выпить захочешь, в артельной чарке она навсегда слаще бывает. Я не брезглив: по мне, коли водку пить, так из ошметка хорошее дело. Верь ты моему слову нелестному!..

Кормщик замолчал на убеждения соперника. Но не молчал этот:

— Ты это знай, Гервасей Стефеич, что табак бодрости придает, в нем сила... Ты посмотри — вон и его высокородие сигарочку закурил. Стало, это хорошо: вон оно што!..

Кормщик хранил уже после того упорное молчание. Остряк заглянул ко мне в будку:

— Ваше высокородие!

— Что хочешь сказать?

— Вот вы теперича изволите в обитель преподобных в первый раз ехать?

— Да.

— А знаете ли, какие там дивные дела случаются?

— Нет, не все знаю.

— На зиму, изволите видеть, месяцев на восемь, острова Соловецкие совсем запирает: на них тогда ни входу, ни выезду не бывает во все это время. Сначала мутят море бури такие, что и смелый и умелый не суется. Попробовал архимандрит за почтой в Кемь послать — все потонули. С октября месяца у берегов припаи ледяные делаются. Так ли, братцы?

— Припаи верст на пять бывают от берега,— подтвердил кто-то.

— Бывают и больше. Вот на ту пору ветры морские, самые такие крепкие, зимние, от припаев этих ледяных льдины, торосья такие, отрывают и носят, что шальных, из стороны в сторону. Промеж льдин этих не протолкаешься: изотрут они утлый карбасенко в щепу.

— А Михей-то Назаров в четвертом году пробрался! — заметил кто-то.

— Ну, брат, ты мне про это не рассказывай! Про Михея Назарова закон не писан: он ведь блажной. Головушку-то свою где-где он не совал; он ведь, брат, зачурованный. Его и на том свете черти-то голыми руками не ухватят: такой уж!

Все засмеялись.

— Так вот я к тому речь свою веду, ваше высокородие, что монастырь на всю осень, на всю зиму, на всю весну заперт бывает; никаких таких сношений с ним нет. На ту пору они арестантов из казематов выпускают: которые гуляют по монастырю, которые в церковь заходят. В мае (рассказывают монахи), как начнет отходить земля, побегут с гор потоки, прилетает чайка; одна сначала, передовая. Сядет она на соборную колокольню и кричит долго-предолго, шибко-пре-

шибко; покричит часок, другой, третий — улетает. Дня через два, через три налетает этих чаек несосветимая сила, проходу от них нету: сами увидите! Живут они на острову все лето, детей (чабарами зовут) тут же и выводят. Монахи и богомольцы их хлебом кормят, и чайки эти совсем ручными делаются, а ведь пугливая, дикая птица от рождения. Вот вам и первое диво!

Все гребцы при этих словах переглянулись. Портной продолжал:

— Осенью прилетают вороны — с чайками драку затевают. Идет у них тут кровопролитие большое: чаек много бывает побито. Чайки улетают с острова все до одной: остаются хозяевами вороны во всю зиму, а по ранней весне и они тоже улетают, тут драки не бывает. Так ведь вот диво-то какое!

Острова между тем стали заметно редеть; быстро уходили они один за другим назад. Крепкий ветер гнал нас все вперед скоро и сильно. Сильно накренившееся на бок судно отбивало боковые волны и разрезало передние смело и прямо. Выплывет остров и начнет мгновенно сокращаться, словно его кто тянет назад; выясняется и отходит взад другой — решительная груда огромных камней, набросанных в замечательном беспорядке один на другой; и сказывается глазам вслед за ним третий остров, покрытый мохом и ельником. На острове этом бродят олени, завезенные сюда с Кемского берега, из города, на все лето. Олени эти теряют здесь свою шерсть, спасаются от оводов, которые мучают их в других местах до крайнего истощения сил. Здесь они, по словам гребцов, успевают одичать за все лето до такой степени, что трудно даются в руки. Ловят их тогда, загоняя в загороди и набрасывая петли на рога, которые успевают тогда уже нарасти вновь, сбитые животными летом. Между оленями видны еще бараны, тоже кемские и тоже свезенные сюда с берега на лето.

Едем мы уже два часа с лишком. Прямо против нашего карбаса, на ясном, безоблачном небе, из моря выплывает маленькое светлое облачко, неясно очерченное и представляющее довольно странный, оригинальный вид. Облачко это, по мере дальнейшего выхода нашего из островов, превращалось уже в простое белое пятно и все-таки — по-прежнему вонзенное, словно прибитое к небу.

Гребцы перекрестились.

— Соловки видны! — был их ответ на мой спрос.

— Верст еще тридцать будет до них,— заметил один.

— Будет, беспременно будет,— отвечал другой.

— Часам к десяти вечера, надо быть, будем! (Мы выехали из Кеми в три часа пополудни.)

— А пожалуй, что и будем!..

— Как не быть, коли все такая погодка потянет. Берись-ко, братцы, за весла: скорей пойдет дело, скорее доедем.

Гребцы, видимо соскучившиеся бездельным сидением, охотно берутся за весла, хотя ветер, заметно стихая, все еще держится в парусах. Вода стоит самая *кроткая,* то есть находится в том своем состоянии, когда она отливом своим умела подладиться под попутный ветер; острова продолжают сокращаться; судно продолжает качать, и заметно сильнее по мере того, как мы приближаемся к двадцатипятиверстной салме, отделяющей монастырь от последних островов из группы Кузовов. Наконец мы въезжаем и в эту салму. Ветер ходит сильнее; качка становится крепче и мешает писать, продолжать заметки. Несет нас вперед необыкновенно быстро. Монастырь выясняется сплошной белой массой. Гребцы бросают весла, чтобы *не дразнить* ветер. По-прежнему крутятся и отлетают прочь с пеной волны, уже не такие частые и мелкие, как те, которые сопровождали нас между Кузовами. Налево, далеко взад, остались в тумане Горелые острова. На голомяни, вдали моря, направо, белеют два паруса, принадлежащие, говорят, мурманским шнякам, везущим в Архангельск треску и палтусину первосолками...

Набежало облако и спрыснуло нас бойким, крупным дождем, заставившим меня спрятаться в будку. Дождь тотчас же перестал и побежал непроглядным туманом направо, затянул от наших глаз острова Заяцкие, принадлежащие к группе Соловецких.

— Там монастырские живут; церковь построена, при церкви монах живет, дряхлый, самый немощный: он и за скотом смотрит, он и с аглечкими спор имел, не давал им скотины. Там-то и козел тот живет, что не давался супостатам в руки...— Так объясняли мне гребцы.

По морю продолжает бродить взводень, который и раскачивает наше судно гораздо сильнее, чем прежде. Ветер стих; едем на веслах. Паруса болтаются то в одну сторону, то в другую: ветер как будто хочет установиться снова, но какой — неизвестно. Ждали его долго

и не дождались никакого. Взводень мало-помалу укладывается, начинает меньше раскачивать карбас, рябит уже некрутыми и невысокими волнами. Волны эти по временам нет-нет да и шибнут в борт нашего карбаса, перевалят его с одного боку на другой, и вдруг в правый борт как будто начало бросать камнями; стук затеялся сильный. Гребцы крепче налегли на весла, волны прядали одна через другую в каком-то неопределенном, неестественном беспорядке. Море, на значительное пространство вперед, зарябило широкой полосой, сталась на нем словно рыбья чешуя, хотя впереди и кругом давно уже улеглась вода гладким зеркалом.

— Сувоем едем, на место такое угодили, где обе волны встретились: полая (прилив) с убылой (отлив). Ингодь так и осилить его не сумеешь: особо на крутых; а то и тонут,— объясняли мне гребцы, когда наконец прекратились эти метанья волн в килевые части карбаса. Мы выехали на гладкое море, на котором уже успел на то время улечься недавний сильный взводень.

Монастырь кажется все яснее и яснее: отделилась колокольня от церквей, выделились башни от стены; видно еще что-то многое. Заяцкие острова направо яснеются также замечательно подробно. Мы продолжаем идти греблей. Монастырь всецело забелел между группою деревьев и представлял один из тех видов, которыми можно любоваться и залюбоваться. Вид его был хорош, насколько может быть хороша группа каменных зданий, и особенно в таком месте и после того, когда прежде глаз встречал только голые, бесплодные гранитные острова и повсюдное безлюдье и тишь. В общем, монастырь был очень похож на все другие монастыри русские. Разница была только в том, что стена его пестрела огромными камнями, неотесанными, беспорядочно вбитыми в стену словно нечеловеческими руками и силою. Пестрота эта картинностью и — если так можно выразиться — дикостью своею увлекла меня. Прихвалили монастырскую ограду и гребцы мои.

В половине десятого часа монастырь был верстах в двух, на которые обещали всего полчаса ходу. Ровно в десять часов мы уже идем Соловецкой губой, между рядом гранитных корг с несметным множеством деревянных крестов. Теми же крестами уставлены и все три берега, развернувшиеся по сторонам. В губе стоят лодьи и мелкие суда; могут, говорят, подходить к самой монастырской пристани самые крупные суда: до того глубока губа!

У пристани толпится кучка народу, из нее выделяется фигура монаха в затрапезном платье. Монах оказался гостинщиком. Он ввел нас в номер, который не мог похвалиться ни особенною чистотой, ни особенным простором. Говорят, что привелось бы поселиться с пятью-шестью соседями в этой узенькой, маленькой комнате и что теперь я один здесь потому только, что богомольцев *поотвалило,* как объяснил мне монах-гостинщик, побежавший докладывать о новоприезжем отцу-архимандриту Александру.

Я остался один, и, бог весть, сколько темных, нерадостных мыслей пришло мне на ту пору в голову. Вот куда, думалось мне на тот раз, забросила меня капризная, темная судьба, вопреки всех предположений и мечтаний. Это, казалось мне, грань крайняя: дальше идти было можно, но уже недалеко...

«Сию минуту (писалось мною в дневнике) ушел от меня какой-то допотопный варвар, инвалидный офицер в пьяном виде, сменивший своего предместника, который, по его словам, завтра должен был сесть на карбас и ехать в Архангельск. Много говорил он мне всякого вздору: говорил, что если он архангельский, а я костромской, то мы земляки; что солдат солдату брат, офицер офицеру тоже. Чудак принял меня за ревизора и никак не хотел верить, что я прислан от морского министерства, а не от министерства государственных имуществ и что приехал я не землю межевать... Хорош бы этакой-то гусь явился к настоящему ревизору. И пришла же блажь для первого знакомства с монахами нализаться до сплетения языка и немощи... И вот — темная, дальняя, скучная, бесталанная сторона и безвыходная уездная жизнь: вся из однообразия, грязи, плесени и неизлечимых наростов, получивших каменистое свойство и характер гнилого чирья, переставшего уже ныть и болеть. Сердце мучится сомнением, неведением будущего, и не смеешь смеяться, и больно и стыдно за виноватого, пойманного с поличным».

— Господи Иисусе Христе, боже наш, помилуй нас!— послышался за дверью чей-то тихий припев, произнесенный тончайшим фальцетом, с прибавлением ударов в дверь.

— Аминь! — отвечал я.

Явился молодой, кудрявый, сытый послушник. Он говорил:

— Отец архимандрит прислали вам свое благословенье: сливок, булку, чухонского масла — и просили из-

винить, что не могут вас видеть сегодня: они уже в постели...

Крепко заснул и я на новом месте; но рано проснулся: монастырские часы монотонно отбивают минуты. Чайки разнокалиберно, разноголосо кричат во всех углах ограды, на нашей гостинице, на берегу, на воде. Некоторые из них летают мимо окон: и длинноносые, и с утиными носами, и серые, и белые — бездна! Криком своим надоедают невыносимо!.. Прямо перед моими глазами хмуро глядит своими выломанными окнами с выбитыми стеклами другая гостиница архангельская, такая же деревянная, обшитая тесом, покрашенным желтою же краской. Разница в том, что та гостиница уже необитаема, тес ее по местам ободран, углы поломаны, крыша разбита. Говорят, ее заменят новою, потому что она решительно негодна для обитания и потому что на нее-то преимущественно и устремлены были выстрелы англичан во время последнего бомбардирования. Архимандрит оставил ее в том виде для того, чтобы богомольцы, приходившие в этот год в огромном числе, могли видеть следы недавнего неприятельского погрома.

По прибрежью бродят лошади с колокольчиками на шее; ходят инвалидные солдаты; на причалившей лодье шевелится люд православный; из-за ограды белеются монастырские церкви, и несется звонкий благовест, отдающий долгим эхом. Правее архангельской гостиницы зеленеет осиновый лес, левее — березки, и видятся низенькие белые столбики второй ограды. Дальше сверкает неоглядною, бесконечною гладью море. Чайки продолжают кричать по-прежнему невыносимо тоскливо; у пристани белеет парусок — монахи ловят сельдей на сегодняшнюю трапезу. Солнышко весело светит и разливает приятную, увлекающую теплоту.

Я вышел из номера и пошел бродить подле ограды.

Тут, на прибрежье губы, выстроены две часовни: одна — Петровская, на память двукратного посещения монастыря Петром Великим, другая — Константиновская, на память посещения монастыря великим князем Константином Николаевичем. Вблизи их стоит гранитный обелиск на память и с подробным описанием бомбардирования монастыря англичанами.

В первый раз был здесь Великий Петр в 1694 году, 7 июня. Прибыл он сюда в нарочно устроенной для него в Англии яхте с немногими приближенными особами, с холмогорским архиепископом Афанасием, недавно

только спасшийся в Унских Рогах от кораблекрушения. Выйдя на берег, государь тогда же приказал водрузить крест деревянный, который и находится теперь в Петровской часовне. Три дня пробыл он здесь; «в сем удаленном от мира, пустынном месте младый самодержец России упражнялся в молитве и богомыслии, а потом, по отправлении молебного пения и по одарении настоятеля со всем братством денежною милостынею, того же июня, 10-го дня, изволил отбыть обратно к городу Архангельскому с милостивым обещанием всегда покровительствовать святой обители»,— говорит архимандрит Досифей в своем описании Соловецкого монастыря. Второе посещение монастыря Петром I, по свидетельству соловецкого летописца, последовало в 1702 году, августа 10-го дня. «Он прибыл,— говорит летописец,— на 13 кораблях и стал на якорях близ Заяцкого острова, и была пальба из пушек, а прежде себя его царское величество изволил прислать наперед, чтобы великого государя пришествие архимандрит с братиею ожидал в монастыре, а в судах встречать не ездил. И великий государь с корабля с ближними своими людьми, не со многими, изволил прибыть в боте в монастырь за полчаса до вечера, и, вышед его царское величество на берег, помолился против монастыря и принял от архимандрита благословение; келарь же не со многою братиею подошли с подносом с образом, хлебом и рыбою, и великий государь благодарил и изволил сказать: *«Будем у вас»,* а прочая братия все стояли по чину, вышед мало из святых ворот. Благочестивый же государь не подошел ко вратам, изволил идти кругом ограды монастырския на правую сторону, и, обошедши, вшел святыми воротами в монастырь, и изволил идти в соборную церковь — благовесту и звону не было,— и в соборной церкви помолился, и изволил идти в церковь к преподобным чудотворцам, и тамо у гробов преподобным прикладывался, потом изволил идти в ризницу, в оружейную, в трапезу и говорил архимандриту, что «завтра кушать буду со всеми своими пришедшими начальными людьми в трапезе...». Литургию слушал у преподобных чудотворцев, еже есть во вторник, потом пожаловал он, великий государь, к архимандриту в келию и благоволил в тот вечер, еже есть августа в десятый день, в понедельник, у архимандрита кушать. И откушавши, великий государь изволил отъехать, часу в шестом ночи, на корабль, а вышеописанные бояре и ближние люди ночевали в гостиной келии.

Августа 11-го дня благоволил великий государь прийти слушать литургию без благовесту и звону. После соборной службы братия отъели в трапезе, а он, великий государь, изволил войти в монастырь без встречи и с благородным царевичем и великим князем Алексеем Петровичем, и весь его царский синклит; служил иеромонах с иеродиаконом; пели великого государя певчие поскору, по литургии слушал молебен, отпущал один священник со диаконом, и благоволил на молебен дачу пожаловать, и, отслушав молебен ради благородного царевича, опять изволил ходить в ризницу, и в оружейную, и в прочие службы, и благоволил великий государь в трапезе кушать, и благородный царевич, и при нем ближние люди и начальные, а кушанье приспевало все монастырское и питье, а потчевал архимандрит, келарь, и казначей, и от братии первые. Он, великий государь, и благородный царевич сидели купно с бояры и с ближними людьми, и, откушав, благоволил по монастырю ходить, по тюрьмам, и благоволил быть у архимандрита в келье до отдачи часов, и отбыл его царское величество и с благородным царевичем на корабль ночевать». 12-го Петр Великий был в монастыре уже без царевича, осматривал с ближними Вараку (гору) и поздно уехал на корабль. '13-го с корабля не съезжал. 14-го августа он опять приехал в монастырь, слушал всенощную и сам стоял с певчими на правом клиросе и пел басом. После рассматривал он грамоты, жалованные монастырю; архимандриту Фирсу повелел носить мантию со скрижалями, посох с яблоками и совершать все по чину Чудова монастыря. За литургией архимандрит служил уже так, как указал государь. Там же Петр снова стоял и пел на клиросе; «и по святой литургии (прибавляет летописец) изволил идти в гостиную келью, там кушал с благоверным царевичем. Приспешники были дворцовые. Откушав, изволил быть в монастыре и посетить старца Лаврентия Александровца; понеже он из кельи не выходил никуда, ниже в церковь, разве причащения ради».–15-го августа государь на малых судах отбыл на корабли, а 16-го наутре отправился в поход. Вечером он был уже в селении Нюхче Кемского берега, откуда шла недавно сделанная по его повеленью деревянная дорога на Повенец. Архимандрит с келарем и некоторыми монахами ездил на корабли благодарить государя за посещение. Петр Великий «довольно их потчевал» и велел отпустить в монастырь из Архангельска двести пудов поро-

ху. «Архимандрит,— прибавляет летописец,— возвратясь в монастырь, прямо пошел в церковь, пел молебен с благовестом и звоном во здравие государя и его спутников; от радости был архимандрит на погребе со всею братиею и довольно *трахтовались,* благодаря господа бога за таковое благополучие».

Прямо против монастырских ворот находилась третья часовня, называемая Просфоро-Чудовою.

— На этом месте,— объяснили мне монахи,— новгородские купцы обронили просфору, которую дал им праведный отец наш Зосима. Пробегала мимо собака, хотела есть, но огонь, изшедши из просфоры, попалил ее.

В версте от монастыря четвертая часовня, Таборская, построена на том месте, где погребены умершие и убитые из московского войска, осаждавшего монастырь с 1667 года по 1677 год.

Поводом к восстанию соловецких старцев, как известно, послужило исправление патриархом Никоном церковных книг. В 1656 году вновь исправленные книги присланы были в монастырь Соловецкий. Старцы, зная уже о московских бунтах и распрях, а равно и о том, что сам исправитель (некогда монах соловецкий) находится под царским гневом, присланных из Москвы книг не смотрели, а, запечатав их в сундуки, поставили в оружейной палате. Церковные службы отправлялись по старым книгам. В 1661 году из Москвы было прислано множество священников для обращения старцев к раскаянию. Московское правительство думало делать благо, но сделало ошибку. Все грозило близкою опасностью и восстанием: дела монастырские принимали воинственное настроение. К старцам присоединились беглые донские казаки из шайки Стеньки Разина. Двое из них, Кожевников и Сарафанов, назначены были, на случай опасности, начальниками. На Никона сочинялись разные наветы; возрастала всеобщая ненависть. Рассказывали за верное, что когда Никон, бывши еще иноком, однажды читал евангелие во время литургии в Анзерском монастырском ските, то змей пестрый обвился около шеи его и лежал по плечам. Видел это своими очами святой старец Елеазарий. Старцы перестали повиноваться архимандриту Варфоломею и в конце седьмого года, по присылке книг из Москвы, рассмотрели их и написали, в опровержение *новин,* большую челобитную к царю Алексею Михайловичу. Келарь Савватий Абрютин (из московских дворян) с казначеем

Геронтием сочинили эту челобитную; старец Кирилл с двумя послушниками вручил ее царю на Москве. В сентябре 1666 года Алексей Михайлович потребовал к себе архимандрита и еще другого, жившего там на покое, архимандрита Никанора, бывшего царского духовника. Из Москвы с ними был отпущен новопоставленный архимандрит соловецкий Иосиф затем, чтобы кротостию увещать непокорных. Соловецкие старцы не впустили архимандритов, кроме Никанора, который присоединился потом к расколу. Вместо первых двух в 1667 году явились новые увещатели, но старцев и эти не убедили. В следующем году пришла царская грамота, повелевавшая старцам «от противности недоумения и от непослушания отстать» и быть у архимандрита в послушании. Но соловецкие монахи и этой грамоты не приняли. Явился в монастырь стольник Хитрово с обращенным к православию келарем Савватием Абрютиным: монастырские и тогда не послушались. Сведав о том, что из Москвы идет в Суму с ратными людьми стряпчий Волохов, к которому должна была еще присоединиться на Двине стрелецкая сотня, старцы собрали собор. Советом этим положено было отослать на Поморский берег всех немощных и малодушных, а всем остальным (1670 человек) обороняться до последней капли крови. Монастырь запер ворота 7 марта 1669 года и заявил вооруженное сопротивление. К этому представлялась полная надежда, потому особенно, что монастырь издавна делал огромные запасы съестной провизии, и была возможность иметь сношения с ближними монастырскими вотчинами. В монастыре, сверх того, находились кроме мелкого ружья 24 медные пушки, 22 пушки железные, 12 пищалей и, сверх того, свыше 30 000 рублей серебром и медью. Стена была неприступна, твердыня ее неодолима. Все предвещало успех и надежду до такой степени сильную, что и вторая царская грамота была отвергнута. Мирное предложение Волохова сдаться без боя было осмеяно; боевые нападения не имели успеха, и не могли иметь его потому особенно, что Волохов три летних месяца стоял или, лучше, смотрел на монастырские стены, а всю зиму жил под монастырем в бездействии на Заяцком острове. У него было 725 стрельцов против затворившихся в обители 500 монахов и бельцев. Только в 1670 году удалось ему захватить главного начальника осажденных, чернеца-будильника Азария, с 37 человеками, выехавшими из гавани в море ловить рыбу. В том же го-

ду 30 человек вышли из монастыря добровольно, но дело нисколько не подвинулось вперед.

Стряпчий Волохов вызван в Москву. Его место занял голова московских стрельцов Клим Иевлев, явившийся сюда с тысячью человек свежего войска. Этот повел дела если не успешнее, то умнее Волохова: он перевел свои войска на самый остров, отогнал весь рабочий скот, захватил все рыболовные снасти, сжёг все строения, находившиеся вне монастырских стен, прекратил всяческие сношения монастыря с его вотчинами, особенно с селом Keретью. В 1674 году царь отозвал и его в Москву за притеснения и насилия, которыми он отягощал монастырских крестьян; к тому же, как пишут, его постигла цинга. От нее же, как равно от пушечной и мушкетной стрельбы, в самом монастыре погибло 33 человека. Место Иевлева заступил стольник и воевода Иван Мещеринов. Этот, подступив под монастырь, окопался шанцами, построил 13 городков (батарей) и начал делать подкопы. Осажденные принуждены были производить частые вылазки и всегда успешно: подкопы уничтожались при самом начале. Мещеринов делал приступ, но приступ (23 декабря 1676 г.) не был счастлив. Воевода решился блокировать монастырь во всю зиму, как вдруг представился легкий, неожиданный случай сделать дело скорее и легче. К воеводе представлен был перебежчик монах Феоктист, объявивший, что под одною из башен (Белою) находится подземный проход, ведущий из монастыря к кладбищенской церкви, что этот проход закрыт ветхою калиткою и что перед утреннею зарею ночная стража сменяется и идет по кельям, а в башнях для караула остается только по одному человеку. Ненастная, бурная погода, случившаяся на 22 января, указала на время приступа. Майор Келен с отрядом и проводником Феоктистом прошел в отверстие, указанное перебежчиком, отворил Святые ворота и впустил через них воеводу с остальным войском. Осажденным, застигнутым врасплох, уже не было никакого спасения и не дано никакой пощады — по свидетельству Семена Денисова, который (в своем Выгорецком ските) написал «Историю о запоре и о взятии Соловецкого монастыря» [1].

[1] В Архангельском Поморье, можно сказать, нет ни одного селения, где бы нельзя было встретить рукописных списков этого замечательного сочинения, известного более под заглавием «Истории о отцех и страдальцех соловецких». Еще большим уважением и известностью пользуется «Соловецкая челобитная», сделавшаяся

Он говорит, между прочим, следующее: «Мужи же мужественнии, из них Стефан и Антоний, с прочими тридесяти, изшедши ко вратом на сретенье и мужественно за отеческие законы во вратех святых бравшеся, вси смертную чашу испиша, от воинов посечени быша. Отцы Киновии и прочии слуги и трудницы, услышавше, паче же узревше нечаянную, новосодеявшуюся плачевную вещь, разбегошася во своя келии и затворишася. Еже услыша воевода не сме долго во обитель внити и посылаша начальники воинов молити и увещавати иноки, да ничтоже боящеся изыдут из келий, некоего же им озлобления сотворити обещаяся и клятвою крепкою свое завещание печатствова. Отцы же, веру емше, изыдоша на сретение с честными кресты и со святыми иконами. Сей же, забыв обещание, преступи и клятву, повеле воинам иконы и кресты отъяти, иноки же и бельцы за караул по келиям развести».

Далее Семен Денисов пишет, что воевода, возвратившись в стан свой, приказал привести к себе сотника Самуила и бить его перед собственными глазами (Самуил ударов *пястицами* не выдержал и тотчас же умер). Потом приказал позвать архимандрита Никанора.

Этот привезен был на небольших саночках по той причине, что был уже стар и в то же время сильно болел ногами. Воевода говорил ему:

— Рцы ми, Никаноре: чесо ради противился еси государю?

— Самодержавному государю ниже противляхомся, ниже противлятися помышляхом когда,— отвечал Никанор,— зане научихомся от отец к царем чествование паче всего являти. Научихомся от самого Христа воздавати кесареви кесарево, и божия богови.

— Чесо ради, обещався увещати прочия к покорению, не токмо преступил обещание, но и сам с ними на сопротивление цареви совещался еси? — снова спрашивал Никанора воевода.

— Понеже,— отвечал старец,— божиих неизменных законов апостольских и отеческих преданий, посреде вселенныя живущим соблюдати не попущают нововнесенные уставы и новинства патриарха Никона: сих ради удалихомся мира, избегохом вселенныя и в

основным догматическим сочинением, опорою во всех спорах староверов и вызвавшая со стороны православных целые сочинения в ее опровержение.

морский оток, в стяжание преподобных чудотворцев, вселихомся, преподобными их чины и уставы и обычаи тем же благочестием по стопам их руководитися желающе.

— Чесо ради воинства во обитель не пускаете и хотящие внити оружием отбиваете?

— Вас, иже растлити древлецерковные уставы, обругати священных отец труды, сокрушити богоспасительные обычаи пришедших во обитель, праведно не пущахом.

На всякий спрос старец давал ответ решительным, твердым голосом. Разгневанный воевода начал его бранить, но старец не потерялся и тут

— Что величаешися? — говорил он. — И что высишися? Яко не боюся тебе, ибо и самодержца душу в руце своей имею...

При этих словах воевода вскочил с места и бил старца тростью по голове, плечам и по спине, выбил ему зубы, приказал связать по ногам и бросил за оградой в ров. В одной рубашке пролежал Никанор всю ночь, а наутре умер.

По словам Денисова, казнены были потом: старец Макарий, резчик Хрисанф, живописец Федор с учеником его, Андреем.

«Тако,— продолжает он далее,— повеле прочия из караула привести иноки и бельцы, числом яко до шестидесяти, и, различно испытав и обрете их тверды и непревратны, зельною яростию воскипев, смерти и казни различны уготовав, повесити сия завещав: овыя за выи, овыя за нозе, овыя и множайшия междоребрия острым железом прорезавше и крюком продевше, на нем обесити каждого на своем крюке; иные же от отец зверосердечный мучитель на нозе вервию оцепивши, к конным хвостам привязывати повеле и безмилостивно влачили по отоку, дондеже души испустят».

Выкинутые тела лежали на морском берегу до времени таяния снегов и льдов, когда они были погребены на соседней луде, называемой Женской. Из оставшихся в живых большая часть разослана была по дальним местам беломорских прибрежьев. Некоторые, более озлобленные, отправлены в дальние города государства на заточение. Иные успели самовольно убежать из монастыря и скрыться. Все те, которые покорились, прощены и оставлены жить в Соловках. Имена упорных, в числе 33, записаны в раскольничьи синодики и поминаются как страдальцы за веру и мученики. Важно бы-

ло разъяснить и доказать, что в защиту старого благочестия восстала святейшая в России обитель, в убеждении, что мятеж соловецкий — одно из крупнейших событий в истории раскола — произвел сам по себе сильное влияние на обольщение простых умов в пользу раскола. Несколько избранных произведены даже во святые. Увлекшийся, но бесспорно даровитый историк Денисов в своей «Истории» сообщил о них краткие жития и обычные велеречивые восхваления их подвигов — обстоятельство, существенно важное вообще для истории распространения раскола. Эти бежавшие из монастыря скитальцы (в числе десяти) были собственно пропагандистами, с бо́льшим или меньшим успехом укреплявшими в народе веру в старую книгу и старый обычай. Соловецкое сидение с надлежащими последствиями сделало их озлобленными, уверенными в себе и помогло их очень быстрым успехам. Денисов, упомянув о «многострадальных» Епифании, дивном отце Савватии и Игнатии, дьяконе соловецком, указывает проповедников в лице Иосифа Сухого, положившего основу раскола в Суме и Каргопольских пределах, Ефимия Дивного, бросившего первые семена учения в Олонецком уезде, Павла, Серапиона и Логина — в Ковдинской волости и Геннадия Качалова — в Нижнем Новгороде, Тихвине и проч. «И не токмо пустыни (пишет Денисов), и дебри и блата, но и окрест прилежащие грады и веси благочестия светом научивше и просветивше, сторичен плод ко Владыце принесоша». Для пущего успеха дела два фанатика из них (Игнатий и Герман) прибегли к самосожжению.

Весть о покорении монастыря уже не нашла царя Алексея в живых. Мещеринов царем Федором вытребован был в Москву и здесь судим за расхищение монастырской казны и сокровищ.

Монастырь вновь населялся приходившими и присланными монахами из дальних монастырей; но порядку в нем еще долго не было. «Отсюду,— говорит Семен Денисов далее,— в Киновии умножишася мятежи и безчиния: умножишася по келиям особъядения, варения и пирогощения; умножашася винопития и пиянства и рождающия пиянство питий содержание: оставляют яже на пениих молитвословия — исполняют кликов безчиния, яже учащение празднословия, срамословия и лаяний неподобных изношения, яже табаки держания и табакопития и прочие неблаголепные обычаи и деяния».

Показания эти подтверждают и царские грамоты: Федор Иоаннович (в 1591 году) воспретил медовый квас; Михаил Федорович запрещал (в 1621 году) употребление пьянственного пития и обыкновение жить по кельям особенно, *заговором,* как сказано в грамоте. Алексей Михайлович в 1637 году давал указ о том же, и, уже вследствие прошения игумена Ильи, он же вновь подтвердил указ Михаила Федоровича о том, чтобы младые, безбрадые трудники в летнее время жили отдельно вне монастыря, а на зимнее время отправляемы были на берег в Сумский острог, или Кемь, «или где пригоже, а в монастыре б им зимовать не велели».

Осматривая настоящее состояние монастыря и вникая во все подробности его внутреннего и внешнего устройства, почти на каждом шагу встречаем имя св[ятого] митрополита Филиппа, бывшего здесь с 1548 года по 1566 год игуменом. В эти восемнадцать лет он успел сделать многое, что до сих еще пор имеет всю силу материального своего значения. Поставленный в исключительное положение, любимец грозного царя, щедрого на подарки и милостыню, сам сын богатого отца из старинного боярского рода Колычевых, св[ятой] Филипп не стеснял себя в материальных средствах для того, чтобы удовлетворять всем своим стремлениям и помыслам. Он исключительно посвятил деятельность на то, чтобы остров Соловецкий, до того времени сильно запущенный, сделать возможно удобным для обитания: прорыл канавы, вычистил сенокосные луга и увеличил их в числе; провел через леса, горы и болота дороги; устроил для больной братии больницу; учредил по возможности лучшую и здоровую пищу; внутри монастыря, подле сушила, устроил каменную водяную мельницу и для нее провел воду из 52 дальних озер главного Соловецкого острова; в братской и общей кухне устроил колодезь, в который проведена из Святого озера вода через подземную трубу под крепостною стеною. Помпа колодезя этого зимою подогревается нарочно устроенною печью. Другая печь приготовляет теперь в один раз до 200 хлебов. При многолюдстве богомольцев в печь эту ставят две квашни в день; хлеб день отлеживается, на другой день поедается весь. Остатки едят рабочие, остатки же этих остатков превращаются в сухари. Прежде было обыкновение давать каждому богомольцу по широкому ломтю на дорогу, теперь это, говорят, вывелось из употребления. В квасной запасается 50 бочек по 200 ведер каждая.

Сверх всего этого св[ятой] Филипп умножил домашний рогатый скот и на островах Муксалхам выстроил для него особый коровий двор. Он же развел на острове лапландских оленей, которые живут там и до настоящего времени; выстроил просторные соборные церкви и огромную трапезу, вмещающую сверх тысячи человек гостей и братий. Близ монастыря сделал насыпи и разные машины к облегчению трудов работников; построил кирпичные заводы, заменил старинные чугунные плиты — *клепала, била* — колоколами; правителям поморских волостей, тиунам, слугам и доводчикам назначил жалованье, и проч[ее], и проч[ее].

Монастырь и в настоящее время находится в таком состоянии, что не нуждается во многом: только пшеница, вино, рожь и некоторое количество соли для монастыря покупное, а все почти остальное он имеет свое. При легком даже взгляде, монастырь поражает необъятным богатством. Не заглядывая в сундуки его, которые, говорят, ломятся от избытка серебра, золота, жемчугов и других драгоценностей, легко видишь, что сверх годичного расхода на братию у него остается еще огромный залишек, который пускается в рост на проценты. При мне высыпали из кружек богомольческих подаяний, скопившихся в полтора почти месяца, до 25 000 рублей ассигнациями, но что нынешний год, говорили, один из *неурожайных,* затем что первый мирный; в *урожайные годы* вынимают до 95 000. Эту цифру монахи считают средней величиною. Сверх всего того каждый богомолец покупает просфору, платит за чернила, которыми пишутся имена родных на исподке просфоры, платит за писание, если только он сам не умеет грамоте. Годовые богомольцы платят деньги. Лубочные виды монастыря стоят 25 копеек вместо 5 копеек назначенных; маленький кипарисный образ стоит 75 копеек, за стихи, описывающие бомбардирование англичан убийственными виршами и переписанные довольно четко на листе, просили с меня 1 рубль 50 копеек. Товары в лавочке для богомольцев, со скудным количеством предметов, дороги неприступно: палочка плохого сургуча стоит 20 копеек (в монастыре почтовое отделение). Спутник мой на Анзеры (в скит) желал записать в синодик на поминовенье своих родных. Монах, сидевший с пером, объявил, что они берут 30 копеек за годичное поминовение и 1 рубль 50 копеек — на вечные времена. Спутник мой решился на первое; писал долго и много; при расчете должен заплатить 6 рублей; оказалось, что

30 копеек берется с каждого вписанного имени, в чем монах, однако, не предупредил заказчика, бесповоротно испачкав шнуровую книгу с ясным указанием имен.

— Хорошо еще, что я призабыл многих, а то нахватал бы сотню: жутко бы тогда пришлось! — простодушно заметил мой спутник.

Торговля производится всюду, чуть ли не во всех монастырских углах: на паперти Анзерского скита продают лубочный вид этого скита, на Анзерской горе Голгофе (в скиту же) продают вид Голгофского скита, и везде кое-какие книги, и везде стихи монаха. Можно купить сапоги из нерпичьей кожи; можно купить и широкий монашеский пояс из той же кожи, довольно хорошо выделанной в самом монастыре. В самом же монастыре пишутся и иконы, шьется платье не только на монахов, но и на штатных служителей, обязанных черными и более трудными работами. Бо́льшая половина рабочих живет по обету. Обеты дают они при случае опасностей, которыми так богато негостеприимное Белое море. Тюлений промысел, называемый *выволочным*, соблазнительный по богатству добычи, опасный по отправлению, губит много людей. Зверя бьют на дальних льдинах; льдины эти часто отрываются ветрами и *выволакиваются* в море вместе с промышленниками. Счастливые из них прибиваются к острову Сосновцу или к Терскому берегу. Они-то и дают, в благодарность за спасение, обет бесплатно работать на монастырь три — пять лет. Бо́льшая часть уносится в океан на неизбежную гибель.

В монастыре вылавливается морской зверь, вытапливается его сало, выделывается его шкура. Есть невода для белух, есть сети для нерпы и бельков. В монастырскую губу приходит в несметном числе лучший сорт беломорских сельдей, небольших, нежных мясом, жирных. Только крайне плохой засол, какая-то запущенность этого дела мешают пускать их в продажу. Выловленные сельди летом уходят на братскую уху, выловленные осенью частью потребляются, частью идут впрок на зиму. Полотно для нижнего монашеского белья не покупное: оно сносится богомольными женщинами с разных концов огромной России; они же приносят и нитки. Коровы для молока, творогу и масла в монастыре свои; бараны, живущие на Заяцком острову, дают шерсть для зимних монашеских тулупов и мясо для трапезы штатных монастырских служителей в скоромные дни. Лошадей монастырь имеет также своих. Между

монахами и штатными служителями есть представители всякого рода мастерств: серебряники, слесари, медники, оловянишники, портные, сапожники, резчики. Все другие мастерства, не требующие особенных познаний, разделены на послушания; таковы: рыбаки, продавцы, пекаря, мельники, маляры.

В этом отношении монастырь представляет целое отдельное общество, независимое, сильное средствами и притом значительно многолюдное. Ежегодные обильные вклады и правильное хозяйство обещают монастырю впереди несчетные годы.

На третий день моего приезда в монастырь я был разбужен поутру громкими криками, раздававшимися под окнами нашей гостиницы и по коридорам ее.

— Что там такое? — спрашиваю я гостинщика.

— Гонят женок-богомолок сельдей чистить. Сейчас приплыл карбас с свежей рыбой. Ужó на уху она пойдет,— объяснял он.

— А уготовляли ли вы себе цельбоносное купание во Святом озере вчера? — спросил он меня потом.

Я отвечал отрицательно.

— Все богомольцы немедля по прибытии совершают сей обряд во душевное спасение и телесное здравие. От многих недугов полезна вода. И сколь она холодна и благотворна, то такой уже, говорят, и не обретается в иных местах, кроме честныя обители сия.

— Что же это, батюшка, обязательно для всех?

— Неволи не полагается, но всяк творит по мере сил. Немотствующие не купаются. У нас, по монастырским обычаям, все богомольцы, искупавшись во Святом озере, идут ко гробу преподобных отец Зосимы и Савватия и ходатайствуют у них об умилостивлении творца всевышнего. Затем всякий полагает отправиться воздать молитву при гробе преподобного Елеазара в скиту, сооруженном им на острову Анзерском, и оттуда идут на гору Голгофу, где поминают молитвою предшедших отцов и братию в панихиде при гробе преподобного отца Иисуса Голгофского. За сим, на третий день, посещаются все часовни, места коих освятили своими стопами угодники божии: одну в трех верстах от обители близ Исакиевой горы, где первоначально поселились преподобные Зосима и Герман, и все семь пу́стынь.

При последних словах его раздался звон в малый колокол.

— Это что такое?

— Кончилась литургия: к трапезе звонят, пожалуйте! В сей день полагаются скоромные кушанья.

Я отправился. Огромная трапеза была полна народу; монахи пели. Между богомольцами не видать было женщин: все они, по монастырскому обычаю, угощаются в особой зале, так называемой келарской. Раздалось чтение житий святых того дня, производимое с особого амвона чередным монахом. При перемене кушаньев, при звоне колокольчика, читалась с амвона и прислуживающими послушниками молитва: «Господи, Иисусе Христе, боже наш, помилуй нас». Трапезующие должны были отвечать «аминь». Всем возбранялись разговоры, все обязаны были есть из общей чашки; у всех были деревянные ложки с вырезною благословляющею рукою. Мне попалась ложка с надписанием:

На трапезе благословенной
Кушать братии почтенной.

У соседа моего на ложке было написано просто «во здравие братии». Вся посуда была оловянная. Кушанье солить или обливать уксусом обязаны были послушники. На этот раз вся трапеза состояла из четырех блюд: холодное — соленые сельди с луком, перцем и уксусом; треска со сметаной и квасом; уха, удивительно вкусная, из сегодня выловленных сельдей; и каша гречневая с коровьим маслом и кислым молоком. В конце трапезы разносились кусочки просфоры, или богородичного хлеба, освященной в конце пением и разрезанной при том же пении и тогда же. Певчие пели потом молитвы и отпуск, и затем все расходились.

Несметное множество чаек усыпало весь двор монастырский; кажется, на это время слетелись они со всего острова и его берегов. Монахи и многие богомольцы бросали им куски хлеба. Чайки до того были безбоязненны, что хватали хлеб этот из рук; многие клевали проходящих за ноги, за полы платья. Крик был невыносимый, и все это, взятое вместе, представляло странную, хотя и своеобразную, картину. Некоторые из монахов пошли удить рыбу на озерах, другие — смотреть на море, где в это время разыгрывались знакомые, обыденные сцены: вот чайка учит своего чабара летать; чабар старается делать то же, что и мать: машет крыльями, бежит скоро вперед, но спотыкается, ударяется утиным своим носом в землю, прискакивает, но в воздухе держится недолго: собственная тяжесть не пускает его от земли дальше четверти аршина. За дру-

гим чабаром следит мать и смотрит, как он влез в воду и окунывается, хлопая по воде крыльями и обмачивая голову; чабар на воде держится легко. Дальше все прежнее: мальчишки-работники, *безбрадые трудники,* по словам гостинщика, бродят без дела по берегу, одетые в монастырские подрясники с широкими кожаными поясами и в плисовых круглых колпаках на голове. Мальчишки шалят. Взрослые штатные служители важно толкуют с богомольцами; часы выколачивают половину, чайки кричат, и гул их отдается эхом в стенах монастырских. Кто-то запел: «Воскресение Христово видевше...»

Вернувшись в свой номер, я попросил лошадей, чтобы ехать на Анзерский остров. Потребовали три рубля серебром — и мы отправились. Дорога пошла по Соловецкому острову гладким, исправленным полотном. По сторонам ее потянулся лес со своею обычною обстановкою, невычищенный, со множеством неприбранного валежника. Во многих местах лес этот отдавал решительною дичью. Все в нем напоминало леса наших приволжских губерний: те же высокие деревья словно и не полярные, не архангельские, та же спутанность сортов и видов их: тут и березовая полоса, перепутанная с ивняком, тут и сосняк с кустами густого цепкого волжского можжевельника. Сосняк перепутан с ельником,— даже кое-где между ними проглянула лиственница. Между деревьями, по кочкам, иногда мшистым, иногда обтянутым травою, рассыпались кусты ягод вороницы и морошки. Кое-где красовался цветами шиповник; во многих местах зацветала малина и даже краснела уже ягодами. В воздухе разлита была чарующая свежесть, которою дышишь не надышишься: то вдруг прольется струя целебной смолки, то здоровый запах травы, то вдруг опять пролетит нежная эфирная струйка, пущенная зажившими цветами шиповника. Луга, выглянувшие между деревьями, усыпаны были цветами и рисовались таким же пестрым ковром, который так обыкновенен везде, кроме архангельского края. Местность Соловецкого острова — решительный контраст со всеми соседними ей: природа словно огорчилась, истощенная в береговых тундрах и болотах, и, собравши последние оставшиеся силы, произвела на острове новый, особенный мир, в котором так всем привольно и так все сродни и знакомо дальнему, заезжему человеку. Вот пошла дорога под гору, на мостик, перекинутый через бойкий ручеек; вот побежала она в гору, взры-

тую по местам колеями; вот канавы, прорытые по сторонам полотна ее, и опять та же лесная чаща и между нею болото такое же ржавое, такое же зыбкое, как везде и всюду в России, богатой и горами, и болотами, и роскошными лугами. Прекратился лес, открылась поляна, на поляне посеяна рожь. Рожь уже наливается, налив идет к концу; васильки в полной силе. Вправо от дороги, между редко расставленными деревьями, через поляну, засыпанную хвоей, выглянуло озеро, большое, рыбное, на этот раз светлое, зеркальное. Лесная чаща продолжает по-прежнему окружать нас со всех сторон и дышит своим здоровым, целебным дыханием. В ней запела даже где-то птичка, другая, третья... Весело на душе, летят все черные мысли прочь, забываешь обо всем прежнем и живешь только настоящим. Пусть бы дальше и больше тянулась эта дорога с увлекательными видами и свежестью; пусть никакое тревожное воспоминание не беспокоит теперь воображение. А воспоминаний этих накопилось так много, ими так сильно утомлена и пресыщена душа, что прежний путь по прибрежьям кажется как будто сном, какой-то сказкой, выслушанной еще в детстве и теперь с трудом припоминаемой.

Ехали мы лесом часа два. За лесом началось поле, на конце которого стоит избушка и в ней живут два монаха-перевозчика. У избушки этой надо было оставить лошадей и садиться в карбас, на котором предстоял путь через салму (пролив) в 4 версты 300 сажен. Ветру никакого не заводилось: привелось ехать на гребле, между тем как быстрина течения здесь поразительна; к тому же на то время *вода* на том берегу *распалась,* как выразился наш перевозчик, т. е. пошла на прибыль, начался прилив и обещал нам навстречу сувой, но сувой оказался несильным, и мы хотя и медленно, но прошли его при помощи только двух весел. По пути нам морем играла белуха у самого карбаса, и так близко, что можно было рассмотреть, как опрокидывала она свое огромное сальное тело в воду, выгибая над водой спину и выкидывая на шее фонтаном воду. Провожающие нас монахи говорят, что она удивительно быстро ходит, и если уж одной удалось прорвать невод, так все другие уйдут за ней мгновенно.

— Молоко-то у ней тоже белое!— заметил монах.

— А где же его видели? — спросил мой спутник.

— У *пропавшей* (околевшей и выброшенной на берег) видели.

Через полтора часа езды мы были уже на берегу Анзерского острова, подле часовни, на месте которой, говорят, основатель скита Елеазарий работал в избушке деревянную посуду и потом продавал ее приходившим на Мурман поморам. Приготовленную посуду он, по преданию, выставлял на пристани, а сам удалялся в леса от людей. Приплывавшие поморы брали посуду, а в отплату оставляли хлеб и другие съестные припасы, по силе возможности.

От часовни этой мы шли $2^1/_2$ версты пешком до Анзерского скита, раскинутого в ложбине с каменными кельями (в них живет 14 монахов) и таковою же небольшою церковью. Вблизи скита этого ловятся лучшие соловецкие сельди и семга и производятся по осеням промыслы тюленей и морских зайцев.

На острову Анзерском жил несколько лет Никон.

Пустынножительство в этом ските существует на том же положении, как и в монастыре Соловецком.

В Анзерском скиту нас посадили опять в линейку, чтобы везти на Голгофу, в Иисусо-Голгофский скит, до которого считают $6^1/_2$ версты. На второй версте началась эта высокая, словно сахарная голова, гора Голгофа, чрезвычайно крутая, вулканического вида. Дорога побежала винтом между высокими деревьями, в виду озер, разлившихся у подошвы горы. Словно поставленная на облаках, белелась над нашими головами скитская церковь далеко-далеко наверху. Здесь первоначально жил Елеазар, а после него иеросхимонах Иисус, водрузивший здесь крест и положивший таким образом первое основание скита в 1712 году. По завещанию его, в скиту воспрещено употребление рыбы и молочной пищи, кроме субботы и воскресенья, и установлено неусыпное чтение псалтыря. Братии здесь жило в то время 8 человек.

Вид с горы и скитской колокольни поразителен: море протянулось во всей своей пустынности и ушло в безграничную даль океана. Неоглядная даль эта сливается в ближайшей стороне с бойкою, богатою лесною и луговою растительностью острова, с другой, дальней, ограничивается группою островов Муксалмовских. На них пасется монастырский скот. Между Большими и Малыми Муксалмами разливалась салма с необыкновенною быстротою течения, усиленною еще сверх того присутствием порогов. Пороги эти носят название Железных Ворот, едва одолимых гребным карбасом в сухую воду и едва доступных, по быстроте течения, при при-

ливе, или полой воде, по-туземному. В самом узком месте этих ворот с одного берега на другой перекинут мост для перехода скота и оленей. За Муксалмами выясняется группа островов Заяцких с белою церковью, и вот правее их и ближе весь зеленый и огромный Соловецкий. Среди зелени его лесов светлеют зеркальным блеском то несомненные озера, то врезавшиеся в берег морские губы, которые так легко принять за озера. Между последними отличаются два: одно Исаковское, другое Секирное. Первое выделяется из всех тем, что выстроенная на берегу его пустынь означает место, на котором впервые поселился преподобный Зосима. Второе отличается от прочих не столько пустынью, сколько высящейся над ним горою, которая почитается самою высокою на всем Соловецком лесистом острове. На верхушке горы некогда (во время шведской войны в конце прошлого века) построена была батарея и поставлен маяк. Теперь белеется на том месте церковь.

Затем повсюду кругом, как венец, сверкает громадная, неоглядная масса воды, сверкающей на полном свете полуденного летнего солнца. Вот на море этом чернеет корга, едва не заливаемая прибылой водой, та корга, на которой ловят монахи морских зверей по осеням и зимам. С колокольни, на которой вечно ходит круговой ветер (хотя бы под горою и на море была полная тишь и гладь), глаз бы не оторвал от всего, что рисуется и красуется внизу. Гора Голгофа до того высока, что видна с моря верст за 50, по словам туземцев, и до того своеобразна, что чаек, одолевающих криком внизу, в Анзерском скиту,— в здешнем Голгофском не могли прикормить. Не водятся также здесь и голуби; и только вороны да орлы способны прилетать сюда вить гнезда и кормиться от сытной и обильной братской трапезы.

В Голгофском скиту не служат молебнов — служат одни панихиды.

На обратном пути, в Анзерском скиту, нам предложили варенцу и сливок, которых здесь, по словам монахов, в изобилии.

— Тяжелы были времена обители в запрошедшие годы,— рассказывал мне анзерский монах. — В скиту нашем стекла дрожали от пальбы неприятельских пушек. Страшный дым стоял все время над монастырем: думали уже мы, что случился пожар и загорелась какая-либо из башен. Дым, стоявший над монастырем, минут через пятнадцать разносило ветром, и сердца

наши испытывали велие веселие, радовались надеждою. Пришедшие монахи сказывали на другой день, что гроза миновала и молитвами преподобных отец наших Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, Елеазара Анзерского и Иисуса Голгофского обитель спаслась и только испытала некоторые повреждения.

Повреждения эти, сохраненные еще на мой проезд, состояли, как сказано, в неисправимых повреждениях архангельской гостиницы. Одно ядро прошибло крышу и опалило образ у дверей холодного собора, другое пробило в одном месте стену; многие расшибли церковные и келейные окна. Все эти ядра, собранные в значительном числе, показывали богомольцам, выставленными по прилавку на соборной паперти. Пушки, из которых стрелял монастырь, отец-архимандрит Александр предполагал позолотить и выставить при входе в Святые ворота. Также позолочены были и те ядра, из которых одно упало в соборной церкви и не разорвалось, и другое, засевшее в соборной главе и чуть не брошенное вниз, по неосторожности, кровельщиком, впоследствии, когда поправлялись главы и кровля.

Вот что можно услышать от соловецких монахов, с присоединением того, что осталось в воспоминаниях самого отца-архимандрита Александра об недавнем бомбардировании монастыря англичанами.

Эскадра английская, как известно, останавливалась около Заяцких островов. Отсюда отправлены были в монастырь парламентеры с просьбою снабдить их пароходы баранами. Архимандрит отказал. Англичане высадились на один из Заяцких островов, и именно на тот, где паслись в то время бараны. Часть их была поймана, не давался долго один козел, но, когда был схвачен, лизал руки у врагов, своих владетелей. За такую ласковость англичане отпустили козла, не взявши его с собою. Монастырю, во всяком случае, угрожала опасность. Англичане, державшиеся той системы, чтобы не стрелять и не начинать ссоры с беззащитными селениями, сожгли в то же время Пушлахту и Кандалакшу, только после того, когда видели, что жители выбежали с ружьями и стреляли по ним. Англичане знали, что монастырь — сильная крепость, что в крепости этой есть некоторое количество инвалидной команды, есть пушки и боевые снаряды и есть, сверх всего, огромный запас провизии. К тому же из монастыря получен был отказ в снабжении мясом. Архимандрит знал, что бомбардирование неизбежно. Незадолго до него коман-

дир эскадры поручил заяцкому монаху, отправившемуся в монастырь, передать настоятелю подарок. Подарок этот был штуцерная пуля со всем припасом.

— Попенял я им, что посылают пулю,— рассказывал этот монах. «Послали бы вы,— я говорю,— отцу-архимандриту ружье английское хорошее».— «А пусть,— говорят,— приедет сам — подарим!» — «А мне подарите ружье?» — спрашивал я. «Тебе,— говорят,— не надо ружья». Подавая мне пульку, командир, переглянувшись с другим, стоявшим рядом, усмехнулся.

Собрал отец-архимандрит совет из монашествующей братии и объявил им о своем намерении ехать для личных переговоров с неприятелями. Одни отсоветывали, другие утверждали в этом намерении. Отец Александр решился на последнее и, благословивши и распростившись со слезами с братиею, сел в монастырский баркас, управление которым доверил он самому опытному кормщику, а в помощь ему выбрал самых сильных из всего количества штатных монастырских служителей.

При холодном противном ветре, против которого с трудом держался баркас и едва спасала теплая двойная одежда, ехал отец Александр до неприятельских пароходов. Только на рассвете (отправившись после вечерен) он мог достигнуть до них. Выкинут был парламентерский флаг; с парохода неприятельского спущена была шлюпка для переговоров. Настоятель согласился сесть только в таком случае, когда увидел, что на шлюпку вскочило много.

— Отчего ты не давал нам баранов? — спрашивал переговорщик. Переводчик этот чисто говорил по-русски: сказывал, что воспитывался и жил в Архангельске, где и привык так бойко говорить по-русски; сказывался простым солдатом, хотя, по словам отца-архимандрита, и имел на фуражке кокарду.

— Оттого не даем ничего, что вы враги наши! — отвечал архимандрит.

— Мы бы тебе заплатили деньги.

— Денег мне ваших не надо, потому что я монах и не нуждаюсь в деньгах. Я всем обеспечен от обители.

— Мы тебя возьмем в плен и увезем с собою.

— В плен вы меня взять не смеете, потому что я под парламентерским флагом приехал к вам, да и что вам во мне, и зачем вы меня так далеко повезете?..

— Дал бы ты нам баранов, мы бы вас не трогали.

— Дать я вам всего этого не могу, да и не позволит братия.

— А если сам захочешь?

— Сам не хочу и не дам, и братии не позволю, потому что мы хотя и монахи, но принадлежим своему отечеству, любим его и молимся за своего государя.

— Ну так мы будем стрелять...

— А мы будем молиться...

— Стрелять мы будем завтра.

— Стало быть, так и я знать буду и так же точно перескажу братии. Поеду и сам приготовлюсь, по обрядам нашей церкви, к смерти.

Оставив англичан с положительным отказом, отец-архимандрит собрал всю братию и приказал ей исповедью и причащением святых тайн приготовиться к завтрашнему дню. На другой день, в самый день бомбардирования, причастился и сам и, не дожидаясь начала пальбы, начал литию, с тем чтобы при пении ее обойти вокруг монастырских стен. Лишь только потянулось шествие по стенам и не совершило еще половины крестного хода, раздался оглушительный гром от пальбы, завизжали пули, некоторые из них носились над головами богомольцев, незначительная часть которых успела пробраться на то время в монастырь. И вдруг — в одно мгновение (которое, по словам очевидцев, неизгладимо останется в их памяти) — раздался сзади шествия страшный крик и почти все задние ряды повалились ничком на землю. Оказалось, что ядро прошибло стену и пролетело над головами богомольцев, не сделав им вреда. В то же время другое ядро ударило в соборную главу и влетело в церковь, другое пробило кровлю и попалило образ. Гул и пальба не прекращались долго, даже и в то время, когда крестный ход вернулся в собор.

Наконец все стихло: архимандрит совершал благодарственное молебное пение. Английская эскадра отправилась в Кемь...

При этом присовокупляют, что во время пальбы на монастырском дворе не видали убитою ни одной чайки.

Хотя теперь уже, может быть, уничтожен и последний след повреждений, произведенных в монастыре неприятелем, но, думаю, воспоминания и рассказы о нем слышатся богомольцами и до сих еще пор так же обильно, как слышал и я. Тогда для монахов было это свежо, но мне изменяет память; все, что осталось в ней, я передаю как могу и помню.

15 июля 1856 года был последний день моего пребывания в монастыре. В последний раз видел я приветливого, гостеприимного, словоохотливого отца-архимандрита и простился с ним. В последний раз видел я двух схимников с пожелтевшими, словно воск, лицами, в ризах, обшитых спереди и сзади крестами, с седыми, как серебро, волосами. Схимники выходили за трапезу.

Карбас мой был уже готов — и мы отправились. Понесло нас сначала легоньким поветерьем: летний ветер надул паруса и веял приятной, клонящей ко сну прохладой. Монастырь еще виделся долго нам сзади, серея своими стенами из неотесанных камней, плотно лежащих один на другом. Но вот и стену затянуло туманом.

— На Сеннухе мара! — кричит кормщик.

— Что такое? — спросил я.

— Сеннуха — острова, а мара — гляди вон!

Я видел впереди спустившийся туман, который казался дальним, едва приметным берегом. Ехать было невыносимо скучно, к тому же ветер пал, и гребцы сели в весла. Затем пошли обычные, давно наскучившие подробности.

— Батюшко, припади! — говорил один гребец, обращаясь к ветру.

— Припадет — побежим! — подхватил его сосед и товарищ.

— Товарищи, други, не посрамимся,— просил третий, крепко налегая на свое весло.

— Сделайте милость, товарищи, понатужьтесь: там станет легче! — упрашивал кормщик...

Гребцы послушно налегали на весла, хотя и хорошо знали, что *там* не могло быть легче.

Портной наш сидел каким-то сумрачным, как будто обидел кто.

— Что ты такой невеселый? — заметил я ему.

— Из монастыря едучи, всегда так надо.

— Разве работы не было?

— Ни одной жилетки не удалось сшить.

— Что же ты там делал?

— А у монахов про житие все слушал... Все три дни жития слушал.

Опять по сторонам старые виды, и опять на карбасе пустые, наполовину понятные и неинтересные разговоры. Ветер то припадет, то опять стихнет. Дальний остров сначала выплывает словно облако, потом меле-

дится — чуть выясняется в тумане и, наконец, по мере приближения к нему, совсем обозначается ясно и живо, с грудами камней, по которым прошли желобки, словно приступки. В тех желобках, где более тени и тень эта долговременна, сверкают лужи дождевой воды сомнительных качеств, черной, как пиво, и все-таки дорогой, в крайних случаях, при летней жаре, для заезжих. По лудам, и по самым счастливым из них, цепляется кое-какая растительность, и зеленеет у самой воды какая-то скользкая, грязная слизь.

Влево от нас выплывало из-за островов судно. На мачте этого судна засверкала от лучей солнца золотая звездочка, вероятно крест, без которого не бывает ни одной монастырской лодьи, назначенной перевозить богомольцев из Архангельска, из Сумы и иногда из Кеми. Все мы рады этому судну, и всех занимает оно, и рисуются в моем утомленном воображении следующие картины.

Видится мне дряблая, разбитая ногами и голосом старушонка в крашенинном сарафане, с остроносой сорокой на голове, баба плаксивая, богомольная: вывела она сыновей, дождалась и баловливых внуков. В товариществе попова Гаранюшки, баженника-дурачка, да Матвеюшки, что позапрошлый год медведь ломал, да не изломал совсем, сама с клюкой, Христовым именем пробирается в неведомый ей край.

Дребезжит ее разбитый голос под волоковыми окнами спопутных городов, сел и деревушек. В деревушках видят у старухи котомку за плечами, старенькие лаптишки под котомкой — в избу зовут:

— Богомолушка, кормилица?

— Нешто, родимые.

— Куда бог несет?

— К Соловецким, родители, за грехи свои богу помолиться.

— Далеко, кормилушка, далеко. Возьми-ко, сердобольная, гривенку: поставь и за нас свечку там — не погнушайся, богоданная! А вот тебе пятак за проход, пирог на дорогу. Да присядь-ка, касатушка, пообедай.

Бредет эта старушоночка и цокает: рассказывает про свою родину за густыми сосновыми лесами ветлужскими и кедровыми лесами вологодскими. Молит она милостынки и у вагана-шенкурца и у холмогора-заугóльника. Приходит наконец и в длинный Архангельск, но уже не с пустыми руками, хотя и с разбитыми, сильно отяжелевшими ногами. Поскупится она

заплатить, из бережливости и скопидомства, лишний грош, ее заставят щипать паклю или прясть канатное прядево — и без денег свезут...

Вот она на палубе огромного судна — монастырской лодьи, плоскодонной, безобразной, со старой оснасткой и покроем, посреди густой толпы богомольного люда. Едет тут и бородатый раздобревший купец, которому удалось хватить горячую копейку на выгодном казенном подряде. Едет тут и оставленный за штатом недальний чиновник из духовного звания, распевающий в досужее время церковные стихиры и не пропустивший на своем веку ни одной заутрени и обедни в воскресный день. Едет тут и сухой монах дальнего монастыря из-под Киева, отправленный со сборною памятью и игуменским благословением... Все тут вместе: и светская архангельская дама — вдова с томными глазами, со вкрадчивым разговором и в костюме, имеющем претензию на заметное кокетство, и бойкая щебетунья баба-солдатка из Соломбалы, и длинный семинарист богословского класса, и дальний сельский поп, низкопоклонный, угодливый, приниженный.

Паруса уже налажены, снасти подобраны, остается только вытащить рычагом якорь. Все богомольцы стоят без шапок и чего-то ждут с сосредоточенным вниманием и при сдержанном молчании. Раздается сладенький тенорок кормщика:

— Молись, господа! Молись, благословёны,— в путь-дорогу пора. Читай, Кондратушко, молитву на путь шествующим!

Вслед за тем раздается звонкий, выровненный, развитой до поразительной чистоты голос монастырского служки: богомольцы творят молитвы на городские церкви и потом на все четыре стороны, из которых на каждой непременно блестит по одному — по два церковных креста.

Судно трогается и бежит, если ветер крепко попутный, и плывет лениво и вяло, плохо лавируя, если поветерье (говоря поморским выражением) кормщику в зубы. Бежит монастырское судно вблизи Летнего берега Белого моря к Ухт-Наволоку и далее открытым морем.

Трудными повенецкими дорогами с Онежского озера идут другие партии богомольцев из ближних к Петербургу губерний. То пробираются они по узким тропинкам через гранитные скалы, выкрытые тундрой с оленьим мохом и лесами с дряблыми деревьями, то плывут

они по зеркальным, глубоким озерам в утлых, неудобных лодках или на посад Суму, или на деревню Сороку — людные и богатые селения Поморского прибрежья Белого моря.

Здесь их также принимают на лодьи или монастырские, или обывательские. В нередких случаях едут богомольцы и в мелких судах, карбасах. Теперь возит их монастырь уже на собственных прекрасных пароходах, и таким облегчением пути все не нахвалятся.

В одном из промежутков между циклопическими стенами Соловецкого монастыря, складенными из громадных диких камней, и стенами жилых монастырских строений, в северо-западном углу, приютилась отдельная палата каменная и двухэтажная. Весь этот угол отгорожен высокой каменной стеной. Часть палаты занята была казармами караульных солдат, присылаемых на определенное время из Архангельска с офицером, другая часть — арестантскими. 12 чуланов существовали издавна в нижнем этаже очень старинного здания, построенного еще в 1615 году. 16 новых чуланов прилажены были и в верхнем этаже в 1828 году, а в 1842 году тюрьма увеличилась надстройкою третьего этажа, который и делает ее видною богомольцам из-за стен. Для солдат и офицеров построено отдельное здание. До того времени мест заключения было несколько: у Никольских ворот, у Святых ворот, под крыльцом Успенского собора и в башнях: западной и на восточной стороне (у Архангельских ворот). Все были неудобны, но главное неудобство признано было в их разбросанности, не дозволявшей правильного надзора и требовавшей многочисленной стражи. Из стен начали перемещать в подвальные этажи монастырских корпусов. Явились таким образом тюрьмы: Келарская, Успенская и Преображенская (по церквам). Некоторые тюрьмы носили название по фамилиям заключенных; таковы Головленкова и Салтыковская. Иных узников не помещали в тюрьмы: так, один священник Симеон жил в хлебне, прикованным на цепь, и в таком виде месил братские хлебы; иные весь день были на воле в оковах и без них, но на монастырских черных работах. Наступило строгое время преследования за всяческие убеждения, в том числе и за религиозные, ввиду развития сект скопческой, молоканской и духоборческой. Основателями этих сект наших рационалистов и были впервые оживлены новые соловецкие чуланы, похожие более на собачьи конуры. Соловки стали второю по счету живою могилой после

таковой же, приспособленной в городе Суздале, в тамошнем Спасо-Евфимиевом монастыре.

Мне не разрешили попасть туда, несмотря на то что я был снабжен официальною бумагой, предлагавшею оказывать в моих работах возможное содействие. Готовно показывали мне все, что относилось до монастырского хозяйства, столь замечательного благоустройством и предусмотренною обеспеченностью. Я видел даже и ту палатку в связи с Преподобнической церковью, в два этажа, в которой сложена была разная церковная ветхая утварь и те иконы, которые отбирала кемская полиция в Поморье и доставила из разрушенных федосеевских скитов на Топозере, реке Мягриге и других. Приходилось довольствоваться чужими сведениями и, без личной проверки, полагаться на них.

Хотелось мне попасть в тюрьму собственно затем, чтобы повидаться и побеседовать с одним из замечательных людей, деятелем раскола федосеевщины, моим почтенным земляком (костромичом) судиславским купцом «батюшкой-отцом, батюшкой Николаем Андреевичем» Папулиным. Народная местная молва и семейные наши предания указывали на Соловецкую тюрьму как на место заточения этого выдающегося человека, который не пройдет бесследно в истории беспоповщинских толков. Хотелось мне успокоить его нежданным появлением пришельца с родимой стороны и вдобавок, может быть, утешить передачей поклона от моего отца, с которым соловецкий заточник до своей ссылки находился в независимых приятельских отношениях. Спопутно при таком удобном подходящем случае возможно было совершить также одно из дел христианского милосердия, прямо указанного Евангелием,— и в то же время в таком святом и многочтимом месте.

Папулин по вере принадлежал к беспоповщине, к федосеевскому толку. Он действовал в то время, когда на старообрядство этого согласия, заменившего церкви часовнями, а попов — выборными наставниками с попечителями, правительственные преследования обрушились усиленно. Вследствие того с их стороны потребовалась особая энергия, понадобились руководители со стойким характером и твердым умом и явились защитники в виде покровителей, владевших капиталами. Прогнанные с одного места и рассеянные в разные стороны, федосеевцы умными и опытными наставниками собирались опять в новом месте, более безопасном и отдаленном. Денежными пособиями попечители этой общины ук-

реплялись тут и снова начинали жить тесными союзами с наибольшею опытностью и осторожностью до той поры, когда, вновь открытые, снова принуждены были рассеиваться и прятаться. Это была в полном смысле слова «бегствующая церковь», находившая себе поддержку и существенное руководство в богатой Москве, где так называемое Преображенское кладбище было федосеевской метрополией. Ее влияние было обширно, простираясь на всю Русь, когда во главе стояли такие руководители, как богатый и умный Илья Ковылин, как ловкий, опытный и бывалый Семен Кузьмин. Последний сделался наставником в самое тяжелое гонительное время, в начале сороковых годов. Тогда за делами федосеевщины учрежден был особенно бдительный со стороны правительства тайный надзор. Последнему стало ясно, что мелкие толки беспоповщины разъединены, и Москве не всегда удается сплачивать их, что федосеевщина разбилась на отдельные молельни, число которых, однако, возрастало (из 30, находившихся в Москве в 1826 году, в сороковых годах стало уже около 150), и во всяком случае эта секта усиливалась и видимо укреплялась. Успехи ее оказались наиболее ясными в среде обездоленного, закрепощенного и полукочевого заводского и фабричного населения, и покровителями толка, естественно, явились владельцы фабрик и заводов тех известных фамилий, которые гремели не только по всей России, но и за пределами ее — в Сибири, вплоть до китайских пределов.

Хотя Москва и почиталась главою всей федосеевщины, простирая свое влияние даже до таких удаленных общин, как Топозерская (почти на северной границе Финляндии с Архангельской губернией), но временами принуждена была уступать силу влияния и первенствующий голос иногородним общинам. Это бывало во всех тех случаях, когда дело переходило в руки умных богачей и у них случайно сочетались обе силы: нравственная и материальная. Таким между прочими оказался оптовый торговец грибами, производивший оборот этим тайнобрачным растением ежегодно более чем на 100 тысяч рублей. По этой причине он находился в близких и частых сношениях с московскими богомольными людьми, строго соблюдающими обычаи старины, и в том числе православные посты. Всего ближе он стоял к федосеевцам, где старая обрядность доведена была до крайних пределов нетерпимости, и знатоки писания (по свидетельству даже врагов их) настолько были многочис-

ленны, как редко можно найти между православными образованного общества. С одной стороны, ни один федосеевец, даже очень богатый и независимый, не позволит себе оскверниться одной каплей постного масла, одной ложкой горячей пищи в обе великие недели великого поста, так как во всем обиходе установлены точные границы самого строгого, истинно монашеского воздержания. С другой стороны, приверженность всего старообрядства к старым книгам и иконам в федосеевщине породила наилучших знатоков по иконографии, по разбору пошибов письма старинных рукописей и по оценке старопечатных книг. В них понуждались и от них многому научились наши ученые историки, археографы и археологи. Федосеевцы владели главными и истинными сокровищами по всем родам русской старины, и между прочим драгоценными иконами. На приобретение их не брезговали никакими средствами, и та община, которой доводил случай обеспечиться редкостями, выдвигалась вперед всех и обогащалась денежными средствами. На этом-то поприще и отличился Папулин, и маленький посад Костромской губернии, где он жил,— Судиславль, известный до сих пор лишь сушеными и солеными грибами, носившими его скромное имя, сделался известен и славен во всем разнообразном и богатом староверском мире. Похищение икон из старинных церквей велось издавна в одиночку и по частям, но то, что умудрился сделать Папулин, случилось во все 200 лет существования на Руси раскола только во второй раз. Папулин ухитрился приобрести целую древнюю церковь со всем ее иконостасным и настенным украшением.

В городе Сольвычегодске (Вологодской губернии), где еще со времен Ивана Грозного именитые люди братья Строгановы на вывозке соли и иных торговых предприятиях наживали основы последующих несметных родовых богатств, ими выстроена была всеградская соборная Благовещенская церковь. На ее благолепие богачи эти не щадили своих средств, приобретая редкости и отыскивая святыни, каков между прочим холстинный саккос пермского апостола св[ятого] Стефана. Заботу же о церковном украшении они простерли до того, что выписали из Италии мастеров и завели особую школу иконописцев, слава которой сохранилась до наших дней.

Папулин искусно соблазнил покладистого протоиерея того собора и купил весь иконостас под видом обветшалости дорогих старых икон, потребовавших будто бы одновременно и обновления, и полной замены вновь на-

писанными. За семь тысяч Папулин приобрел 1300 икон и темною ночью на шести парных подводах вывез их из Сольвычегодска в Судиславль. Тут были иконы, писанные св[ятым] Петром, митрополитом московским (известным изографом), каковыми московские патриархи благословляли именитых людей Строгановых. Тут же с прочими образами оказалась купленною и икона «Год святых», подлинно писанная знаменитым иконописцем Андреем Рублевым. Вывезенные иконы Папулин исправлял и подновлял: некоторыми украсил свои молельни близ Судиславля, другими торговал не только в Москве, но и в других федосеевских и филипповских общинах. Его приказчик, торговавший в Петербурге грибами, салфетками и холстом, вывез их сюда и украсил домашние столичные молельни и общественную на Волковом кладбище. Самому обошлась каждая икона, мелкая и большая, круглым счетом по 5 рублей, а он брал за иные по 250 и выручил от продажи в разные губернии до 13 тысяч и сверх того 7 тысяч от одного Преображенского кладбища.

Это дело сделалось гласным и обратило на Папулина особенное внимание правительства. По розыскам, дознаниям и расспросам оказалось, что Папулин был не только ловкий торговец, но и опытный ловец в человеках. Жителей исстари православного городка в какой-нибудь десяток лет он совершенно отвел от обеих посадских церквей. При двух своих мельницах — Калишке и Шемякиной — он основал два монастыря-общежития — для мужчин и для женщин и в число обитателей не задумывался принимать беглых и беспаспортных. Это последнее обстоятельство принято было за главнейший повод к его осуждению, аресту и ссылке. Но прежде чем случилось все это, он умел ловко прикрывать свои деяния, задаривая и задобривая власти и успешно ведя много лет ловкую борьбу с епархиальными архиереями. Посчастливилось более настойчивому из них — Владимиру (Алявдину), в союз с которым вступил и явился на помощь граф С. Г. Строганов, состоявший тогда в звании попечителя московского учебного округа и уже успевший возвратить некоторые из икон, найденных врасплох у московских федосеевцев.

В хищении святынь, совращении в раскол, пристанодержательстве беглых и укрывании тех, которыми дорожили и за которых боялись в Москве и высылали к Папулину, он был уличен в 1846 году, тайно взят и неведомо куда отправлен. Имущества его из одной Ка-

лишки было вывезено 20 возов. Груды икон сложены были в Ипатьевском монастыре, и много других небрежно хранились в костромском губернском правлении. Стало доподлинно известно также и то, что много икон успели из Судиславля припрятать в разных местах, и между прочим на Преображенском кладбище в Москве в количестве тридцати. Между ними оказались три другие строгановского письма, и из них одна оценена в 200 рублей.

Этого-то Папулина безуспешно хотелось мне разыскать и увидеть. Проезжая прелестным чищеным лесом поперек острова из главного монастыря в Анзерский скит, я слышал от своего возницы-монаха:

— Не выдерживают они у нас: в уме мешаются. Был случай, что один из них зарезал солдата.

Вот и пример:

— Один досиделся до того, что возмнил о себе, якобы зверь в него вселился и сам он стал зверем. Встанет на четвереньки и с боку на бок качается и хрюкает. Положат его на постель, отвернуться не успеют, как он опять на том месте мотается. Там, где коленками упирался, большие ямки вывертел, где руками — поменьше: пол-от в покоях кирпичный, мягкий.

Убийство сторожа вызвало улучшение в тюремных помещениях и перемену участи заточенных.

— Не спрашивайте: ни имени, ни фамилии здесь нет, я знаю только нумера. Вот и тот, похожий по вашим приметам, должно быть сидит под нумером тринадцать, как раз под чертовою дюжиной,— поучал меня инвалидный капитан, на другой день возвращавшийся с командою в Архангельск и успевший уже на прощание со знакомыми монахами подгулять, «натороpиться», как выразился он сам. Я доверился словам его по безвыходной неволе.

Добровольно явился он в мой нумер монастырской гостиницы в той же походной форме, в которой сидел поутру за общею трапезой. Разговаривая, он все оглядывался по сторонам и, оглядываясь, оправдывался:

— Стены здесь слышат — вот какое строгое место!.. А земляк ваш добрый старик и ласковый! Да вот какой добрый: когда ни придешь, он всякий раз начинает около себя обыскиваться, шарит на столе, заглядывает под кровать: «Подарил бы,— говорит,— что, да взять нечего — все отняли».

Офицер при этих словах не только оглянулся и приподнял над ухом настороженный палец, но на цыпоч-

ках подкрался к двери и, быстро отворив ее с видимым расчетом ударить в лоб того, кто там подслушивает, заглянул в длинный неметеный коридор. Возвратившись, он с большей смелостью говорил:

— Доводят их до беды, потому что исправляют. Я готов в рапорт написать, что нельзя доверять монахам таких людей, которые с ними ссорились прежде, там... Помилуйте, скажите: я офицер, а к архимандриту каждое утро должен ходить, как к генералу или коменданту, вытягиваться и рапортовать. Он выслушает, а чашки чаю не даст — гордится предо мною.

Сквозь слегка нескладную болтовню я узнал от этого офицера, что земляк мой летнею порой сидит в чулане безвыходно, надевает на нос большие круглые очки и беспрестанно читает толстые книги в кожаном переплете.

— Кроткому человеку архимандрит попущает: дает книги, а зимой выпускает с солдатом в старый собор помолиться. Конечно, это дело его. Он здесь полный хозяин, на комендантских правах.

Конечно, без солдата и я ему не могу дозволить,— хвастался офицер. — Положим, что льды обкладывают монастырь так, что не вырвешься. Да здесь держи ухо востро. Вдруг он скрылся: может быть, с берега прибыл сюда его сообщник. Остров-от очень велик, есть где спрятаться. Выждал время, посадил в карбас и увез, здешний народ льдов не боится. Да, по-моему, лучше морская пучина, чем эти чуланы. Я к тому это говорю, что из богомольцев много народу припрашивалось повидаться с ним, давали мне хорошие деньги. Я не соглашался — я помню присягу...

Следовала затем похвальба личными достоинствами, к которой обычно прибегает под хмельком всякий приниженный человек. Нового он уже ничего не говорил и становился просто докучным: видимо, по сумме старых и мелких неудовольствий, желал сплетничать и спьяна злословил языком, наладя тоже на нескладную болтовню и воркотню. Стал он просить и от меня угощения,— для того советовал послать к самому архимандриту.

— Пришлет. Хорошего рому пришлет. Хорошо бы пунштику на дорожку. Давно не пил. Твоему приезду они не рады. Не по нутру им. Говорили мне, что писать будешь: грехи их переписывать. Постарайся, сделай одолжение!

Дальше пошло уже такое все нескладное, настоящий бред, что я и в самом деле не знал, как развя-

ваться с ним. Он помог мне тем, что пообещал сам пойти просить рому,— и ушел.

За него договаривал сам архимандрит, пожелавший дополнить мои скудные сведения о нумере тринадцать, как бы в утешение за отказанное личное свидание.

— Глубоко огорчен я был, когда, приняв настоятельство, посетил тюрьму, неся туда слабое слово утешения,— рассказывал мне отец Александр, прославившийся защитник монастыря Соловецкого во время блокады его англичанами в Крымскую войну. Рассказывал он тем говором, который обличал в нем малоросса и который не сумело затушевать и обезличить даже столь богатое и типическое архангельское наречие, и притом в течение многих лет. — Получил я оскорбление, откуда не ожидал, от своего же, так сказать, брата — духовного. Бросился он на меня с зубовным скрежетом, намеревался ударить, круто обругал. Я уже не давал ему наставлений, ушел от греха. То был безбожник из кончивших курс семинарии певчих. Нумер второй обратился ко мне с криком и слезными жалобами на отца, по просьбе которого он и прислан к нам за непочтение родительской власти. Я ходатайствовал через синод, и испрошено было повеление, чтобы несчастному отец его обязательно высылал благопотребную сумму в приварок к монастырскому продовольствию. Видел и тринадцатый нумер и ожидал новых оскорблений; полагал — отвернется или приблизится, чтобы сказать укоризненное слово. Взглянул он на меня исподлобья кроткими глазами, поклонился очень низко, ничего не сказал, ничего не просил, расположил меня к себе своею покорностью и смирением. Через караульных после выпросил он книги — велел я снабдить ими. Зимой попросился посетить старый собор, чтобы там помолиться: я благословил. Видели вы сами, сколь благолепен иконостас нашего древнего храма постройки московского святителя и чудотворца Филиппа. Поклонился и явленной ему иконе богоматери, именуемой Хлебенною по явлению ее в пекарне. Сказывали мне монахи, что перед нею с особенным усердием молился тот нумер тринадцать и не хотел отрываться. Повторял он и затем свои просьбы, и я благословлял ему таковые утешения. Не разрешил я только приносить коврик и лестовку, ибо нахожу неблаговидным. Да оно и соблазн производит: зачем? При предшественниках моих были случаи обращения монахов в федосеевщину от проживавших в обители на воле ссыльных. Бывали случаи и хуже, но о них перемолчу. Не

удивляйтесь: большинство иноков — народ простой и легкомысленный, очень много из простых мужиков. Например, когда вступил предшественник мой Дмитрий, то он мало нашел монахов, умевших петь и читать: из местных штатных служителей принужден он был собрать хор и сопровождать службы чтением по полному положенному уставом чину. И еще: предлагал я тринадцатому нумеру посещать наши богослужения; он отказался решительным образом, без всяких, однако, объяснений. И еще: из докладов по команде замечается в нем последнее время как бы какое-то внутреннее беспокойство. Перестал старец разговаривать, как бы наложил на себя добровольный обет молчания. Нарушает его, чтобы говорить все одни и те же слова: «Разорили, совсем разорили!» Начнет ходить по келье взад и вперед, начнет рукой махать. Я после того посетил его, встал он передо мною, воззрился мутными глазами и вопросил: «Где правда?» Я не собрался ответить, а он крепко топнул ногой, поднял на потолок глаза и крикнул: «Нету правды на земле — в небесах она!» Я распорядился, чтобы не беспокоили его вопросами и не вступали с ним в подобные разговоры и подобные объяснения. Не знаю, исполняют ли? А я уже очень давно его не видал...

Под тою же башнею в северо-западном углу крепости, носившею исстари название «корожной», находились и исторические «земляные тюрьмы», уничтоженные и замуравленные в Соловецком монастыре по синодскому указу еще в 1742 году. Соловки дают об них наглядное понятие: это были ямы на целую сажень глубиною, обложенные кирпичом и покрытые сверху дощатой настилкой, на которую насыпана была земля. В такой крыше была прорублена дыра, называвшаяся дерзким именем двери, запиравшаяся, впрочем, замком после того, как опускали туда самого заточника или пищу ему. Пол устилался соломой, и не было даже тех кирпичных лежанок, которые приделывались к стенам в качестве кроватей или диванов...

Замуравленные земляные тюрьмы (которые особенно предпочитал Петр I) заменены были особенными казематами для секретных арестантов, устроенными в подвале нынешней тюрьмы, куда надо бы было спускаться по нескольким ступеням. На длинном коридоре шесть дверей вели в шесть чуланов сажени по две длины и с небольшим в два аршина ширины, с общим окном, находившимся на уровне земли. Такие же чуланы,

похожие на обыкновенные тюремные одиночные камеры, находятся в верхних этажах, но они уже светлые и сухие. В самом нижнем этаже, в конце коридора, находилось то «особое уединенное место» с окошечком только в двери и аршина полтора в квадрате, где нельзя ни лежать, ни сесть, протянувши ноги,— этот так называемый «мешок» в просторечии. Сюда-то с цепью на шее и с железами на ногах замыкались в старину великоважные преступники, обреченные на вечное молчание и на постоянное уединение, с тем чтобы «ни они кого, ни их кто видеть могли». Сюда же временно, как в карцер, сажались строптивые, и непокойные, и покушавшиеся на побег. Монастырские акты указывают на Потапова, который под шумный праздничный колокольный звон разогнул табуретом решетку и выбросился на крепостную стену и с нее на землю в одной рубашке. В этом поличном он был усмотрен богомольцами, признался им и заслужил перемену квартиры на худшую, с кандалами. В такой же мешок посажен был и раскольщик Белокопытов (присланный сюда с урезанным языком), который с нечеловеческим терпением успел в стене проковырять дыру, через которую вышел на крепостную стену, по веревке спустился через бойницу, ушел в ночь, переночевал в пустой избушке, сколотил из досок плот, выехал на нем в море, но ветром снова был прибит к берегу и схвачен; в следующем году он снова повторил попытку. Достал нож, прорезал им отверстие подле дверного замка и вышел. Восемь дней он блуждал по монастырскому лесу и, снова очутившись в каземате, скованным по рукам и по ногам, просидел там до самой смерти. Впрочем, это — редкие случаи: побеги невозможны в людном монастыре, при постоянном движении многочисленной братии, при крепких затворах, страже, живущей обок с самими казематами, при развитом до совершенства шпионстве. Побеги затруднительны даже для тех арестантов, которые живут на воле, именно по географическим условиям острова, когда не на чем сплыть на матерый берег и невозможно скрыться зимою, когда припаями обложится монастырь и за ними зияет бездна открытого, незамерзающего моря.

Живущие на воле ночевали в казематах (иногда по двое) — из тех, которые присылались для употребления в монастырские работы; иные носили железо на руках только, иные лишь на ногах, другие были совершенно без оков. С каждым присылались инструкции, как со-

держать их, и даже назначался род самых работ. Этих «смиряли по монастырскому обычаю» либо батогами, шелепами, плетьми и цепью, либо сотнями земных поклонов. Летом, при наплыве богомольцев, их запирали, зимою пускали на полную волю и мучительное бездействие: грамотным не давали книг, перьев и бумаги, не позволяли сходиться и обмениваться разговорами; некоторым неграмотным позволялось работать на себя в казематах: сапожничать, портняжить, сорить стружками, вытачивая ложки, вырезая крестики, делая ведра, сгибая ободья и обручи.

Бо́льшая или меньшая строгость зависела от характера архимандритов: Досифей Нелоленов (приписавший себе известное описание монастыря, составленное ссыльным за богохульство учителем Василием Воскресенским) был самым строгим и суровым дозорщиком; современный моему посещению монастыря Александр был самым мягким и милостивым. Досифей давал убогую пищу, присаживал в одиночные камеры по двое таких арестантов, которые ненавистны были друг другу по религиозному разномыслию...

Кроме раскольников попадали сюда в заточение и юродивые, и заведомо сумасшедшие (которые такими и записывались в ежегодно составляемых донесениях), и крайние мистики, не принадлежавшие ни к какой секте, но очевидные полупомешанные, так называемые маньяки, вроде Котельникова, душевнобольного фанатика (прожил здесь 28 лет). Присылались и за иные вины, как исключение впрочем, но тем не менее личности, интересные по многим отношениям. Попадались обменявшиеся в острогах именами и много таких, которые несли наказание, превышавшее весьма меру вины их. Не говоря о тех раскольниках, у которых смешивалась идея противления господствующей церкви с непризнаванием светской власти и государственных и общественных законов, в прежние времена до нынешнего столетия присылались в соловецкие тюрьмы и такие лица, которые кричали страшное «слово и дело», и те, которые произносили «важные и непристойные слова». Этим без всяких словесных внушений и духовных наставлений клали в рот, поперек его, палочку с завязками, какая употребляется для зверей, пойманных живьем, и на морду лошадей, чтобы не кусались (ее вынимали, когда давали пищу колодникам, а произносимые в это время слова записывали и отсылали в тайную канцелярию). Некоторых присылали без обо-

значения вины, иных, как священник Лавровский (в 1831 г.),— за подметные письма, в которых порицалось крепостное право. Бывшего казанского царя Симеона Бекбулатовича Лжедмитрий сослал сюда за то, что он обличил этого самозванца в латинстве и увещал народ стоять за православие. Один прислан за то, что насильно постриг жену; другой (монастырский казначей) — просто «за грубость».

Тот самый воевода Мещеринов, который взял приступом Соловецкий монастырь и усмирил тем монастырский бунт, явился здесь узником, как обвиненный в разграблении монастырского имущества и в жестоком обращении с побежденными. Петр I прислал самозванца Салтыкова и следом за ним многих, «говоривших великие непристойные слова», пойманных на «воровских подметных письмах», сообщников Кочубея, свидетельствовавших измену Мазепы, двое крещенцев жидовского рода, дважды принявших в 1709 году православие, в 1828 году студенты Московского университета — декабристы, два графа Толстых за неизвестную вину и другие лица, с кратким обозначением: «за некоторую вину». Прислан был даже особенный колодник, который назывался «бывший Пушкин». Ссылали епархиальные архиереи по своему усмотрению и произволу, но в 1835 году состоялось распоряжение, чтобы ссылать только по высочайшему повелению.

Из ссыльных прошлого века и этого сорта людей с исключительною преступностью выдаются двое: Максим Пархомов и Андрей Жуков — настолько, что на них следует остановиться.

У первого началом преступности и дальнейшим поводом к ссылке оказался роман на обычной подкладке. Разлюбил жену, от которой имел четверых детей, и полюбил чужую жену. Когда умер муж последней, любящий человек возымел намерение с нею повенчаться. Убивать законную супругу не поднималась рука, сама смерть к ней не приходила, все меры склонить ее принять иноческий чин не имели успеха. Придумал он постричь жену насильно, так как развод не дозволялся. Избивши до полусмерти, он свел ее в монастырь и, как влиятельное в губернии лицо, заставил постричь. Обиженная пожаловалась на своеволие мужа властям, и ее освободили от монашества, но не сумели водворить к мужу. От второй жены у него родился сын, и на радостях отец задал пир. Один из бывших там был оскорблен и, желая отомстить, подал донос в синод на

Пархомова. Брак расторгли; велели жить с первой женой, но эта сама не захотела и вскоре умерла. Пархомов дал в синоде расписку в том, что со второй женой жить не будет, а между тем тайно продолжал жить с нею по-прежнему. Опять у них родился ребенок,— и опять пир, который в новом доносе выставлен был как явная и гласная насмешка над синодским приговором. Синодским указом (5 мая 1729 г.) велено обоих супругов в церкви не пущать, ни до каких таинств не допущать и в дом их с духовными требами не входить. Пархомовы скрылись; имение их конфисковано. В 1741 году Пархомов вознамерился попытать счастья в просьбе об освобождении от наказания и от принцессы Анны Леопольдовны (во время ее правления) получил разрешение, но, имея неосторожность лично явиться в синод с ходатайством о причтении к церкви, был арестован и скованным отдан под караул. Он подает прошение, в котором отказывается от сожительства, и с него снимаются оковы, но вскоре снова просит синод о соединении с женой, и на него опять кладут оковы. Так повторялось несколько раз. Привезли и жену его, которая с перепугу отказалась ради свободы от мужа, и оба окончательно объявили, что не будут жить вместе. Синод не решился им дать свободу, но от клятв и анафемы освободил и приказал ввести их в церковь. В воскресный день в крепостном Петропавловском соборе торжественно читался архиереем акт присоединения при многочисленном стечении народа. Описывались вины и в конце было сказано: «Во отвращение от их душепагубного сквернодейства, а на наставление их к покаянию и на путь спасения, разослать их в монастыри под караулом скованными». Пархомов привезен в Соловки, где его расковали, но жить ему стало столь тяжело там, где — по его словам — не только здоровье, но и железа ржавеют, и он, из прегорькой неволи и ссылки, «из места крайсветного, заморского, темного и студеного и прискорбного», стал проситься «с радостью души в каторжную работу».

Не менее интересна судьба Жукова, каптенармуса лейб-гвардии Преображенского полка, испытавшего наказание, которое ни до того, ни после ни над кем не применялось. В 1754 году он, в сообществе с женой своей, убил мать и родную сестру. Заключенные в тюрьму, оба содержались там до 1766 года, когда Екатерина II, не подвергая их смертной казни, вознамерилась примирить их с богом посредством покаяния перед народом. Для этого убийцы одеты были в посконные сви-

ты; с распущенными волосами, босые, в оковах, имея в руках зажженные восковые свечи, в сопровождении священника каялись всенародно. Их приводили к церкви и, не вводя вовнутрь, но окружив стражей и поставив на колена, заставляли читать вслух нарочно изготовленную молитву, которою исповедовали свое преступление. Продолжая стоять на коленах, они обязаны были много раз говорить входящим в церковь: «Возлюбленные во Христе! Чувствуя мы тяжесть нашего беззакония и ужасаяся раздраженного нами бога, недостойных себе судим услышание его, вас убо молим, спостраждите нам и воспшлите ко господу молитву, да призрит на покаяние наше и милостив нам будет». На ектениях дьякон возглашал добавочное прошение. По окончании обедни на особом амвоне внутри церкви, но у самых дверей, проповедник говорил народу поучение. Затем убийцы снова просили выходивших о молитве. Обряд этот совершен был в Москве четыре раза: в Успенском соборе, в Петропавловской церкви на Басманной, в церкви Параскевы-пятницы на Пятницкой и у Николы на Арбате. Затем Алексей Жуков сослан был в Соловки, а жена его — в Далматовский женский (Пермской губернии)...

Из секретного монастырского дела видно, что, несмотря на запрещение входа в церковь, этот Жуков ворвался в нее, и притом во время торжественной службы по случаю дня коронования императрицы, и нашумел сильно, и злобно набранился. Безумца вывели и у всех служащих отобрали расписки, что они, под страхом смертной казни, никому не расскажут о слышанном. Жукова заковали и свезли в Архангельск. Дело дошло до Екатерины, которая повелела его прекратить, а преступника отправить обратно в Соловки, но заключить его там так, чтобы про него никто ничего не знал. Просидев в таком заключении около двух лет, Жуков «своею волею удавился», как показывал его караульный.

X. ПОМОРСКИЙ БЕРЕГ, ИЛИ СОБСТВЕННО ПОМОРЬЕ[1]

1. Город Кемь; его история. — Занятия кемлян и жемчужная ловля. — Шкиперское училище. — 2. Разоренная обитель. — Копыловская вера. — Чашники. — Кто такой Копылов. — Вещественные следы Топозерского скита. — Дикая и пустынная река. — Пороги на р. Ке-

[1] Поморским берегом, или собственно Поморьем, на языке туземцев называется западная часть Онежского залива между двумя

ми. — Дорога на Топозеро. — Громадное озеро. — Скитское островное селение. — Внешний вид и внутренний быт скита. — Церковные службы в нем. — Влияние его на окрестных жителей. — Большаки. — Женщины. — Иван Демидыч. — Его мнения и рассказы. — Разоренные скиты. — Их государственное значение и последствия разрушений. — 3. Беломорские суда. — Внешний вид города Кеми. — Лепостров. — Туземные богачи-судохозяева. — Строители судов и обряды, соблюдаемые при судостроении. — Беломорские суда: лодья, раньшина с чердаками, шняка, кочмар, разные виды карбасов. — Мелкие речные суда: барки, полубарки, каюки, обласы, завозни, разные виды плотов, покинутые кочки. — 4. Беломорская торговля: история ее и настоящее состояние по сношению поморов с Норвегией. — Путь из Кеми в Онегу. — Село Шуя. — Село Сорока. — 5. Сельдяной промысел: полярные переселения этой рыбы; подробности ловли сельдей по всем прибрежьям, но преимущественно в деревне Сороке. — Порядок лова. — Общинный лов. — Деревни Сухая и Вирьма. — 6. Сумский посад: его история, занятия жителей. — Обжа. — Таможня. — Соловецкие богомольцы; путь их из Петербурга по переволокам между Онежским озером и посадом Сумою. — Здешний раскол. — Пертозерский скит. — Карташова. — Ее влияние. — Характеристика поморов присловьями. 7. От Сумы до Онеги. — Железные ворота. — Село Колежма. — Нервные болезни. — Раздевулье. — Размужичье. — Трудный путь до села Нюхчи. — Предание о посещении этого села Петром Великим и история пребывания Петра в северном краю России, предшествовавшего посещению Нюхчи. — Народные предания о дальнейшем пути Петра Великого вплоть до Повенца. — Ямы. — Раскольничья хлеб-соль. — Петр на крестинах. — Он же на работах. — Повенецкий Петр. — Случай в дороге. — Дальнейший путь мой из Нюхчи; Унежма. — Верховая езда. — Села: Кушерека, Малошуйка, Ворзогоры. — Крестьянская свадьба. — Могилки. — Разлучение с повязкой. — Здоров. — Дружки и дружок (Вежливой). — Катанья. — Честны. — Здарье. — Баянник. — Коробье. — Полюбовная гостьба. — Дорога в Онегу. — Последнее свидание с этим городом и конечный путь и возвращение мое в Архангельск. — Образчик нравов

Кемь

Кемь по всей справедливости почитается центром промышленной деятельности всего Поморского края. Капиталисты этого города строят лучше и в большем, против других, количестве морские суда, отправляя их и на дальние промыслы за треской на Мурманский берег, и за морским зверем на Новую Землю и Колгуев, они же первыми ездили и на дальний Шпицберген; они же ведут деятельную, с годами усиливающуюся торговлю с Норвегией. Оставляя для приличного случая объяснение значения этого города в ряду всех других помор-

---

уездными городами губернии: Онегой и Кемью. Дальние поморы — мезенские и терские — обыкновенно зовут этот берег Кемским. Мы следуем первоначальному названию этого берега по той причине, что поморцами, поморами называются исключительно обитатели Кемского берега.

ских селений и всю силу нравственного влияния его на домашний и общественный быт всех соседних ему обитателей, считаю главным проследить теперь за историческими судьбами города, чтобы потом перейти к главным проявлениям деятельности жителей его: судостроению и заграничной торговле.

В архиве кемской ратуши сохранилась рукопись, начатая по приказу олонецкого наместнического правления в 1787 году и продолженная до 30-х годов нынешнего столетия. Она называется так: «История о новоучрежденном городе Кеми, состоящем Олонецкой губернии в Петрозаводском ведении, при пределах Белого моря, Северного океана, на реке Кеми». История эта начинается так: «От сотворения мира в лето 7084 (1576) и 7098 (1590) оная Кемская волость от шведов дважды была воюема. Храмы божии и обывательские дома выжжены, жители побиты, иные в полон взяты, а другие разбежались. По населении, лета 7099, июня, по грамоте царя и великого князя Феодора Иоанновича, Кемская волость отдана Соловецкого монастыря игумену Иакову с братиею. Того же лета, августа 2 дня, по таковой же царя и великого князя грамоте, велено ему, игумену, с братиею хрестьян судом и расправою ведать Соловецкого монастыря властям, или кому они прикажут». Этим и ограничиваются все сведения о первоначальном заселении города. То же самое подтверждает и соловецкий летописец. В XV веке, по свидетельству его, Кемь называлась уже волостью и принадлежала именитой посаднице Марфе Борецкой. Марфа в 1450 году подарила эту волость вместе с другими Соловецкому монастырю. После падения новгородского веча Кемь сделалась государевою собственностью и была ею до царя Федора. Больше соловецкий летописец уже не говорит ничего, хотя, по всему вероятию, можно предположить, что и Кемь, как и посад Сума, первоначально населена была кареляками, и Кемь была такая бедная карельская деревушка, как и финская Suoma — Сума. В Кеми до сих еще пор хранятся на языке туземцев старинные карельские названия частей города, хотя карелы русским новгородским населением и отодвинуты вверх по реке Кеми на 18 верст (до деревни Подужемья). Слобода, расположенная на северном берегу реки, до настоящего времени зовется *мáндера* (по-карельски — твердая, матерая земля); городской погост называется *гайжа;* часть города на южном берегу — *кóрга.* Гайжу можно назвать главною частию города, потому что здесь находятся со-

борная церковь, казенные и общественные здания. Это большой остров, образованный двумя рукавами реки. Против этого острова (к востоку) находится другой, меньшей величины, называемый Леп-островом, отделенный небольшим проливцем Пудас. Здесь находится деревянная церковь и полуразрушенная, догнивающая свой долгий век деревянная башня — один из остатков некогда бывшего здесь острога.

Построенный исключительно для защиты от набегов «немецких людей», острог, однако, не успел исполнить своего назначения: немцы не приходили. Городок спокойно догнивал свой век до указа Екатерины II, когда Кемь отведена была от монастыря. Боевые снаряды остались, однако, за ним. До того времени в Кеми, на особом подворье, до сих пор еще сохранившем всю оригинальность своей архитектуры, жили соловецкие старцы, сбирая на монастырь волостные доходы с рыбных ловищ и кречатьих садбищ.

«В 1713 и 1715 годах, по указам его царского величества Петра Алексеевича,— продолжает вышеупомянутая «История»,— для укомплектования морского флота набирано в матросы поголовно людей годных, крепких и здоровых, господином лубенахтом и кавалером Синявиным да лейб-гвардии капитан-лейтенантом Румянцевым (отцом задунайского героя). Из Кемского города взято с полным мундиром 44 человека, которых указом его величества велено в предбудущие наборы с прочими губерниями уравнить зачетами; оставшихся же от взятых в матросы сирот, престарелых родителей, жен и малолетних детей воспитывать того городка обществом». Набор этот — *Синявшина* — до сих еще пор памятен народу, до сих еще пор живет в памяти их как дальние муки и разбои каянских немцев и литовских людей. Выбраны были лучшие люди; волости заметно упадали, не имея уже крепких, здоровых рук для промысла; Синявин до сих еще пор для помора — второй Мамай, второй Бирон. Еще далеко до него, в 1702 году, Кемь отпускала работных людей для проложения дороги от села Нюхчи на Повенец, по которой Петр вез сухим путем свои яхты.

«В 1749 и 1763 годах бывшими великими вешними наводнениями в проходе Кеми-реки вешнего льда у городка, с летней и с западной стороны, стены льдом и водою сломало и унесло в море, также и обывательских домов и анбаров, по низким местам состоящим, много сломало и унесло. В 1764 году, по указу ее вели-

чества государыни императрицы Екатерины Алексеевны, оный Кемский город из вотчины Соловецкого монастыря под ведомство государственной коллегии экономии присланным от архангелогородской губернской канцелярии поручиком Матвеем Какушкиным отведен и управляем был, как прочие духовные вотчины, архангелогородскими экономическими казначеями. 1785 года, мая в 16 день, по именному государыни императрицы Екатерины II указу, данному правящему должность олонецкого и архангельского генерал-губернатора господину генерал-поручику Тутолмину, велено пределы Олонецкого наместничества распространить до Белого моря и Кемский городок переименовать городом, а того же 1785 года, августа 22 дня, прибывшим нарочно его превосходительством, господином статским советником олонецким губернатором Гаврилою Романовичем Державиным, с церковною надлежащею церемониею, открыть».

Герб города изображает щит, в верхней части которого находится губернский герб, а в нижней, в голубом поле,— *венок из жемчуга.* Это последнее обстоятельство немаловажно и не потеряло своего значения и до сих пор. В порожистой, быстрой и местами чрезвычайно мелкой реке Кеми попадаются жемчужные раковины, хотя лов их и не составляет исключительного занятия всех жителей, но даже и одного какого-нибудь семейства. Жемчуг этот ловят от безделья досужие люди и не всегда для продажи, потому что здешний жемчуг невысокой доброты и попадается в реке в незначительном количестве. Иногда целый день терпеливые люди роются в воде и достают много горсть, чаще три-четыре зернышка. Ловля эта обыкновенно производится следующим простым способом. Искатели садятся на бревенчатый плот небольшой, с отверстием в середине, заставленным трубой. Большая часть трубы этой находится в воде. Один, по берегу, тянет плотик, другой смотрит через трубу в воду. Заметив подле камня раковину, имеющую сходство с жемчужною (обыкновенно, при ясной солнечной погоде, когда животное открывает раковину), наблюдатель опускает через трубу длинный шест с щипчиками или крючком на одном конце его. Раковина смыкается, и тогда ее удобно бывает принять на щипчики. Разломивши раковину, счастливец, нашедший зернышко, обязан немедленно положить его за щеку для той цели, чтобы это зернышко — отложение болезненного процесса улитки (как объяс-

няют обыкновенно зарождение жемчуга) — через прикосновение со слюною делалось из мягкого постепенно твердым, до состояния настоящего жемчуга (обыкновенно через 6 часов, как замечают). Точно так же (замечают поморы) жемчуг водится во всех реках, куда любит в избытке заходить семга, и что между этой породою рыб и слизняком существует какая-то темная, загадочная, труднообъяснимая симпатия. Ловится жемчуг и в других поморских реках, кроме Кеми, как, например, в Жемчужной губе, около Княжьей губы, около Колы. Но и кемляне, как и все остальные поморы, не дают этой отрасли промыслов особенной доли участия и внимания, кладя всю жизнь, находя всю цель существования исключительно в рыбных и звериных промыслах, в судостроении и торговле.

Разоренная обитель

— Ты какой веры? — при случае спросишь иного помора и нередко получишь ответ:

— Копыловской.

— Какая же это неслыханная вера и что это за неведомый раскольничий толк?

— Вера-то у них одна с нами, да согласие не одно,— уклончиво отыгрываются одни из вопрошаемых, осторожные и недоверчивые.

— Он своим иконам молится, из своей посудины ест и пьет,— серьезно поясняли те из словоохотливых поморов, которые принимают в свои дома священников и сами ходят в церковь.

— Он и в кабак со своею чашкой ходит,— толкует полицейский солдат Михеев, стараясь изобразить кривым глазом насмешливую улыбку. — Сначала соблюдает себя: свою чашку достает из-за пазухи. Ее и подставляет, а когда подвыпил, то уж и не разбирает: тянет из артельной. Не взирает, что она теперь и позахватана.

Более обстоятельных объяснений я уже и не слыхивал, и, к полному удивлению, именно от тех людей, которые находились во всегдашних сношениях с исповедниками «копыловской» веры. Подозревалось затаенное нежелание выдавать своих, потребовавшее большой осторожности в расспросах; оставалось рассчитывать на благоприятные случаи в будущем. Ясным казалось также и то обстоятельство, что поморы, за недосугом и за своими делами, не привыкли заглядывать в чужую

душу и копаться в чужой совести, вообще заниматься обидным и щекотливым для других делом.

— Всякая божья птица по-своему господа славит, как умеет.

— Видимое дело, не стесняет того человека держать всегда при себе за пазухой или в кармане свою чашку,— пускай и носит.

Очень редко, и то больше от чиновных людей, доводилось слышать обидчивые сетования на ту брезгливость, с какою относятся староверы к православным именно в подобных приемах. На первых порах и самому лично случалось испытывать то же обидное и неприятное чувство досады, видя себя каким-то отщепенцем.

— Посудите сами, ведь они нас просто-таки считают погаными,— толковал мне исправник. — Мне доводилось одолжаться стаканами: он морщится, упирается, не дает. Прикрикнешь — уступит, да на твоих же глазах возьмет из рук тот стакан и разобьет о камень. Ему уже такая посуда не годится. Он не жалеет, хоть помнит, что стекло в здешних местах — товар редкий и дорогой. У богатых мужиков на тот конец держится в особом поставце уже такая особенная, которая и носит свое имя — «миршоны». У бедных из такой посуды и люди пьют, и собаки лакают. Кажется, ее никогда и не моют.

Этот обычай в самом деле докучлив в Поморье, где смешанно сидят рядом православные со староверами, обменявшись насмешливыми прозвищами, как отличиями двух отдельных лагерей. Одни — миршные, или миршоные, другие — чашники, то есть поганые и чистые. Последние с застарелым закалом и с закоренелыми убеждениями.

Один из таких толковал мне:

— Уж скоро изойдет вторая сотня лет, как вера-то сблудила.

Вот почему в Поморье необходимо было опознаваться, чтобы не попадаться впросак, и поневоле прибегать к таким, по-видимому, странным вопросам, каков в среде коренных русских людей вопрос о том, какой он веры. Оказывается, что есть еще какая-то копыловская. Чем еще эта вера может огорчать заезжего человека?

В одном селении, в отводной квартире хозяйка по моем входе тотчас задернула пеленой иконы. В другой и другая, явившись с ручною кадильницей, так густо начадила дешевым ладаном, что пришлось выби-

раться вон на вольный воздух. Расторопный, умный и начитанный Егор Старков, хозяин моей шкуны, на которой я переправлялся по Белому морю из Онеги в Кемь, спускаясь в каюту молиться, просил меня на то время не курить. Увидя мою стеариновую свечку, похвалил ее:

— Хорошо бы ее теперь к образам поставить,— вишь ведь, какая она толстая. Почем фунт-от эких свеч? Какой белый, чудный свет для бога!

На объяснение мое, что в России в больших городах нет этого обычая, он с сердцем и с нескрываемою досадой резко заявил:

— Погаси ее, сделай милость: пущай не мешает мне!

Между тем Егор — человек бывалый, тертый калач, в Норвегу ходил, с тамошними «нехристями» давно уже ведет всякие дела. Однако и он то и дело проявляет странности в характере, в приемах и убеждении. Все, бывало, ждем какой-нибудь выходки. Между прочим почти ко всякому резко выдающемуся случаю у него находилось книжное изречение.

— Завтра шестнадцатое иулия,— говорил он,— святого равноапостольного князя Владимира, во святом крещении Василия.

Оказалось, что он почти все святцы знает наизусть. Не диковина в тех местах, среди староверов, встречать начетчиков. Очевидно, Егор был из таковых: не копыловский ли?

Я его об этом решился спросить и получил резкий ответ:

— Нету такой веры. Дураки тебе такой ответ держали. Есть такой в Кеми богач Копылов. Вот я тебя провожу, куда тебе идти указано в город, а сам к нему зайду! Дураки про такую веру сказывают, а ее и не бывало.

Он ушел наверх, словно бы даже рассердился.

Спустившись в каюту обедать и, видимо, пообмякши в сытом настроении духа, сам Егор начал разговор:

— О Копылове ты даве меня спрашивал,— тако дело обсказывать буду. Ладился я судно строить. Смекал я такой счет, что по нашим местам судно вгонит ста в четыре с половиной, а в Норвегу сведу, там за него дадут тысячу, а то, по временам судя, и полторы могу получить. Как быть, как стать? Места в Норвеге безлесные, а из Онеги всего лесу не вывезешь: сходно бы деньги в тако дело пустить. Нам с дураком-братом после батюшки-покойничка скопленных осталось ста три рублев.

Видишь, полутораста не хватает. Как быть, как стать? Поищи-ка по деревне-то, по нашей по Сороке, такого капитала. И кто поверит мне, ледащему, неимущему? Я к Копылову. На знати он у нас по всему Поморью. Одно слово — богач. Горд и ругателен. Как примет? По человеку он прием делает, а как он меня понимает,— того я не ведаю. Слыхал, что он по взгляду смекает и по разговору разбирает людей. А знает он про всякого по Поморью-ту. Да, впрочем, и сам вот ты теперь видишь, много ли народу живет в наших украинах. Где река покрупнее пала в море, там и деревня; на мелкой речушке и жительства нет никакого. Ищи его дальше,— обходи то место. А встал на горку и все дома сосчитал,— немного их. Про всякого слышим, всякого скажем наперечет: и как он, и что он. А Копылов про иного слышит и знает до потроху, прозирается: таково ему дело предуставлено. Бывает, что воззрится и уж наскрозь видит. Заробел я от таких слухов про него, однако, приотворил дверь-то, просунулся, встал у притолки, очи перекстил и начала положил, как устав наш велит. Накинулся он на меня, изругал. «Молод,— говорит,— в Норвегу торговать ходить: рому тутошнего пить захотел, с трубкой баловаться начнешь». Я ему клятвы сказываю, а он того пуще обиды говорит. Насказал сколько-то, что я запужался даже: привел меня, мол, леший, в такой тупичок, в уголок, что и выходу мне нету. Он и на улицу со мной вышел и там все пытал махаться руками и зыкать на меня, невзирая, что народ по улице ходит и все въявь слышит. Маял-маял, да и молвил на ушко: «Через три дня заходи!» И что ж бы ты думал? Дал ведь. Сколько я просил, столько он от щедрот своих и выложил! Сказать он мне не сказал, а я сердцем своим понял так: вот-де тебе, бери на здоровье, разживайся! — и выложил бумажками. В осенях, после воздвижения честного и животворящего креста господня, я ему тот забор отдал полностью золотом. Так он сам мне и приказал золотых там наменять и золотыми заплатить ему. Я было серебром подсменил малую толику, так он ругался опять, да на тот раз полегче. А я теперь новую шкуну сладил, именем покойничка старшего брата назвал, досками нагрузил да вот по третье лето туда дерева вожу. Шкуну свою не продаю, хоть и были на нее охотники, да я треской там нагружаюсь и в обратну ту треску сухую сюда, либо в город (Архангельск) вожу продавать. Вот тебе Копылов! Каков он таков есть человек на сем свете, вот тебе — смекай!

В самом городе Кеми, в месте жительства этого известного в Поморье и интересного человека, получишь о нем такие сведения. Сообщал добрейший и обязательнейший человек городничий Осип Яковлевич:

— Не думаете ли вы познакомиться с ним? Не советую. От него что-либо интересное для вас и для печати слышать — все равно, что перед любою нашею скалой стоять и ждать от нее слова. С полной откровенностью должен я вам признаться в том, что он первым известил меня о вашем приезде, случайно встретившись на улице. «Пали,— говорит,— слухи, что из Питера большой начальник наезжает какую-то проверку делать». Принял я его слова за обычные у них, у раскольников, вести. Все они кого-то ждут, чего-то опасаются. Вестями этими они любят пробавляться всласть, но цены большой сообщениям их я привык не давать. Мимо ушей пропустил и это известие. Уже через три недели после того разговора привезла почта указ губернского правления, предписывающий оказывать вам возможное и законное содействие при исполнении поручения, возложенного на вас морским министерством по воле генерал-адмирала. Да я и сам вчера слышал, как он из-за косяка, хоронясь и прищуриваясь, всматривался, любопытничал, как пробирались вы мимо его дома из карбаса. Приметы, знать, ваши распознавал, чтоб обходить потом и не натолкнуться ненароком.

Таким образом, вопрос мой на первых шагах решен был разом в отрицательном смысле.

— Что же, в самом деле, представляет собою этот Копылов?

— Прежде всего, Копылов он, должно быть потому, что родители его на дровешках сюда зимой въехали, а теперь он сам может ездить в каретах. Отец-благочинный толкует по-своему: поставить на копыл — поздешнему значит расстроить что-нибудь, поставить вверх дном. Смутьян он, говорит батюшка, помутил церковь;, многих православных отвел. По-моему, он — большак, как привычно говорят здесь [1]. Он, так сказать, комис-

[1] Известный обычай сохранять за каждым лицом уличную насмешливую кличку в смысле приватного прозвища, более употребительного, чем по отчеству и фамилии, распространен по всей России, не исключая Сибири. В Архангельской губернии он известен под оригинальным названием «уличного устава», что и соответствует прямому термину казенных бумаг, взятому из латинского языка (privatus). Так же точно такие же вторые прозвища сохраняются и за селениями, помимо их официальных названий.

сионер, и казначей, и блюститель федосеевщины здешних мест. Большой человек по влиянию и богатый по средствам. А где его корень и в чем его сила — за справками надо ехать в Москву. Сказать я вам сам ничего не могу, потому что ничего не знаю, а показать кое-что желаю с удовольствием.

Осип Яковлевич вынес ко мне несколько церковных книг, страшно закопченных, засаленных и захватанных, большею частью аляповато и самоделкой оправленных в кожу. Все больше псалтыри, печатные и писанные (и довольно плохо). На одной псалтыри надпись: «Сия богодуховенная книга, глаголема псалтырь, блаженного пророка Давида царя, раба божия Илариона, писанная с древней псалтыри; аз многогрешный Иларион писал своею рукой». В печатной псалтыри бумага в некоторых местах повыхватана и исчезнувшие строки подклеены бумажными заплатками с починкою слов пером в неискусной руке. Еще псалтырь писаная, но переплет ее так улощен грязью с рук и воском со свечей, что книга даже скользила в руках.

— Все это конфисковано в Топозерском скиту,— объясняет Осип Яковлевич. — В этом ящике все это и хранится при описи и в таком виде получено мною от предместника моего.

Таковы ничтожные по числу и по наружным качествам следы некогда процветавшей и большой обители Топозерской, славной по всему русскому староверческому миру. В настоящем случае для нас это, пожалуй, лоскуток той канвы, по которой еще можно отчасти восстановить прежний рисунок, не прибегая к помощи Копылова и не выпуская, однако, его самого из вида, как ближайшего свидетеля интересных прежних событий, поучительных и для настоящего, и для будущих времен.

Из тех в полном смысле мертвых и глубоких трущоб, которые в новейших учебниках географии носят название «страны великих озер», взялась одна река, редко упоминаемая в тех же учебниках, но достойная особенного внимания. Во-первых, она не так ничтожна по величине своей, потому что протекает 400 верст; во-вторых, со своими притоками она образует огромную водную систему, усиливая течением пять более или менее значительных озер и несколько маленьких, которые она прорезает; в-третьих, глубина ее восходит

в нередких случаях свыше 12-ти сажен, а ширина до целой версты, особенно в тех местах, где ей удается выбиваться из скал на широкий простор влажных, мокрых и болотистых низин. Угрюмо нависшие над прозрачными водами утесы и скалы делают реку Кемь дикою и пустынною, но, по Батюшкову, прелестною и в дикости своей, совершенно йота в йоту отвечающею той стране, которая соседит с ней и воспета поэтом. Близ самых финляндских границ берет эта почтенная река Кемь свое начало из озера Гогарина, в прямое свидетельство этим последним именем о том, что русские люди издавна спознали реку и бывали на ее верховьях. Здесь в Кемь впадает очень порожистая речка Шомбо-Курья, образующая несколько довольно значительных озер, и между ними Костяное. Это не соединяется ни с каким озером, но от него в $^{3}/_{4}$ версты к северу лежит озеро Поньгама, а к западу от последнего, в одной версте,— громадное среди прочих северных озер Архангельской губернии Топозеро. Разлеглось оно, как безбрежное море, в низменных болотистых берегах в длину на 90 верст и в ширину (в самом широком месте) на 40 верст. Живописца видами своими оно не соблазнит: озеро это не чета соседнему Ковдозеру, которое все усыпано зелеными островами, покрытыми рощами и иногда, в контраст и для разнообразия ландшафта, голыми и безжизненными скалами.

Все эти озера, расположившись гораздо выше берегов Белого моря, пустили в него быстробегущие реки — те естественные пути для входа и выхода людям, забредшим сюда по случайностям быта и житейским нуждам и велениям. Из Топозера оказались две такие дороги в живые и обжившиеся страны Поморья: по реке Кеми на городок Кемь, который хотя и зачислен в уездные, но не больше хорошего села, и по реке Поньге — в приморскую деревушку Поньгаму, совсем уже маленькую и очень бедную. Конечно, все эти пути — не дороги даже и в Архангельской губернии, прославившейся своею бездорожицей. Они береговыми кривыми линиями — только указатели таких троп, по которым обязательно надо колесить и делать мучительные, бесконечные обходы, но со временем и при нечеловеческом терпении попадать в желаемые места, хотя бы на то же Топозеро. Плотов порожистые реки не допускают, требуют сплавов бревен вроссыпь, но река Кемь и таких не щадит. На ней девять злодеев-порогов, которые тянутся по 6 и 7 верст (Белый и Кри-

вой), и иные обладают такою силой падения, что, несмотря на какие-нибудь 60 сажен длины, как Юш, и не больше версты, как в Подужемье (близ города Кеми), ломают крепкие бревна в щепу выступающими тут из воды резаками — скалами и бойцами — каменьями. На самых коротких из них спускаться в лодке нельзя. Только в самом городе на морском пороге (200 сажен длины) бойкие, шаловливые и сытые певуньи-женки выучились бороться с пучиной. Но это уже артисты-акробаты. Они с малых лет навыкают смелости и ловкости, которые их и прославили во всем Поморье. На верхних порогах, несмотря на искусство лоцманов, почти ежегодно гибнет много кареляков (говорят, иногда человек по десяти и больше).

Такими-то труднодосягаемыми путями с едва одолимыми препятствиями обеспечилось топозерское жительство староверов, едва ли не самое отдаленное изо всех мест в Великороссии, куда устремлялись гонимые за веру. Во всяком случае, оно было из давних и происхождением своим обязано многолюдному общежительству выгорецкому, которое, как известно, освободил от ударов своей тяжелой руки даже сам Петр Первый.

Предание приписывает основание Топозерского скита какому-то боярину, сбежавшему во времена стрелецких смут из Москвы, и указывают на деревню Княжую, назвавшуюся так по имени какого-то князя, поселившегося здесь для того, чтобы молиться старым крестом по старинным книгам и пред древнейшими иконами. Будто бы этот самый князь подкупил священника московской церкви св. Анастасии на Неглинной речке, близ Кузнецкого моста (давно не существующей), продать старинный иконостас и показать следователям, что те иконы, по воле божьей, погорели. Сам Илья Алексеевич Ковылин, прославивший Преображенское кладбище, наезжал сюда, в Поморье, для обучения, как жить и молиться, однако сам из поморских ключей брал воду своим черпаком и привез с собою многое множество тех икон. Он рассказывал здесь и хвастал, что те иконы взяты им из нижнего тябла Успенского собора, но тем не менее Топозерскую часовню этим приношением он обогатил, возвеличил и прославил. Наезжал сюда и позднейший заместитель его, не менее его оказавший услуг федосеевщине вообще и Преображенскому кладбищу в особенности, настоятель Семен Кузьмин, после того как выкупился из сельского общества казенных

крестьян Владимирской губернии от преследования тамошнего архиерея и приписался в мещане Костромы. Эти сильные умом и характером наместники-попечители не боялись трудностей пути, чтобы полюбоваться на такую пустынную обитель, которая совсем удалена от всяческих соблазнов и предоставлена одним лишь трудам и богомыслию...

Островов на Топозере немного, и те — каменные, покрытые малорослым хвойным лесом, чрез что, естественно, унылость места удваивается. Где-где выглянет по берегу маленькая деревушка карелов (и таких на целом озере всего десяток) да промысловая избушка, не покрытая кровлей, с дырой вместо окна, закоптелая и с каменкой вместо печи, как молчаливый признак близости селения и один из намеков на житейское хозяйство. Таких избушек для временного пристанища, но необитаемых очень много. Около одной из них дырявая лодка и проводник для доставки на тот остров, на котором расположился интересный скит. От берега сулят до него в глубь озера 12 верст, но лодка ползет пять часов, а остров все еще далеконек. На пути выплывает кое-какой маленький болотистый островок, до того топкий, что далеко по нем не уйдешь и нигде не присядешь, а отдохнуть надо: и проводник умаялся греблей, и седок измучился ожиданием первой половины пути.

— Вот здесь и будет половина,— подсказывает карел, хорошо обучившийся говорить по-русски и приученный креститься большим староверским крестом, как почти все они.

Однако бывалый проезжий этому свидетельству не доверяет, помня поморскую поговорку, что «карельский верстень — поезжай целый день».

Не доверяя, проезжий переспрашивает и догадливо замечает:

— Вот здесь-то ваша баба, должно быть, и веревку оборвала, и клюку, которою версты меряла, бросила и рукой махнула: быть-де так.

Карел старается весело улыбнуться на замечание, но снова наводит на лицо серьезное выражение при ответе в утешение:

— Задняя половина больше, передняя половина «горазд поменьше».

Опять вода кругом, отдающая тою холодноватою сыростью, которая забирается под рубашку, но зато по крайней мере вода эта прозрачная и чистая и на

вкус очень приятная. В ней великое множество всякой рыбы, тех, впрочем, сортов, которые не в почете у поморов, пристрастившихся к треске и палтусу и объедающихся вкусною семгой и сельдями. Здесь вместо семги — лох (да и то редко). Всего больше в Топозере ряпусов, плотвы или сорог, харьюсов, кумжи (крупной желтоватой форели), ершей, сигов, окуней, язей, щук и налимов (последних двух архангельские поморы зовут особыми именами: щуку — штука, налима — менек). Весла лодчонки спугивают уток. На заднем островке из-под ног вышмыгивали кулички, издалека несся крик лебедей и вздымалась, паря над водою, их белая как снег тучка.

Наконец, и скитский остров оказался весь на виду и как бы длинною стеной разгородил все озеро: длины в нем от 4-х до 5-ти верст, ширины — до 2-х. Почву его хвалят, называют хорошею. Видна и сильная лесная растительность с особенным исключением для можжевельника, достигающего здесь до двух аршин роста. Хвастаются также жители обилием малины и особенно морошки; брусникой покрыты все откосы возвышенных мест. Рассказывают про белых и красных лисиц, про злую речную прожору выдру. А вот там по дороге, где шумит и ломает бревна в реке Кеми порог Кривой и где идущая из моря молодая семга встречается с перезимовавшим лохом (и ловится во множестве), почему-то любят держаться медведи и олени.

Мало-помалу при встречных видах ослабевает предвзятый страх от пустынного и скудного житья. Он сменяется чувством теплого довольства, испытываемым иззябшим и оголодавшим путником во всяком жилом месте, где пахнет и дымом, и навозом, и ожидаются ободрительные звуки человеческого голоса. Даже собачий лай, всегда докучливый, на этот раз не беспокоит, но, дополняя картину, даже несколько радует.

Еще больше радуют успехи человеческого труда, который также и здесь обязательно вступил в битву и повел ее на жизнь и смерть со враждебными силами негостеприимной природы. На скитском острову зеленеют луга, и пересекают их перелески, но не видать полей: суровость климата и холодная почва с этой стороны победили, заставив положить оружие. Довольно бывает одного мороза, чтоб уничтожить все надежды хлебопашцев: попробуют — и бросят. Вернее и надежнее оказывается покупной и пожертвованный хлеб.

Тем не менее разведены огородцы, где возделывают с порядочным успехом морковь, репу, брюкву и картофель (хотя и выходит он мелким), но отбились от рук огурцы, горох и капуста, которые никогда не достигают полной зрелости даже в городе Кеми.

Затем известно, что там, где завелись бабы, появилась и домашняя птица, где мужики, там и домашний скот. Нацарапывают горбушей траву по перелескам и речным бережкам — и кормят, а овца привычна есть и осиновый лист. Умудрил господь отшельников разумом и пособил придумать подспорье к корму: олений мох, болотный хвощ и осиновые ветки. Мох берется рослый, старый и чистый, то есть без примесей опавших листьев и разного сора. За ним плавают на лодках и ищут в боровых местах возвышенные и сухие площадки. Он тут и сидит, сильно переплетенным, но слабо прикрепленным к земле корешками, отчего легко отделяется железною лопаткой. Эта работа «вздымать мох» — бабьего досужества: отобрать и повернуть корнями вверх, чтобы приставшая к корням земля просохла. Дня через два встряхнут моховые кучи вилами — и готово. Такой мох если и от дождей намокнет, то снова просыхает в прежнем соку и неутраченной силе. По первому зимнему пути свозят этот корм в амбары, возов до 20—30 каждый. Когда надо задавать скоту корм, перемешают мох с сеном и заварят горячею водою. Выходит такое кушанье, которое ест всякая скотина охотно и даже отъедается, а коровы дают жирное молоко, конечно, не без запаха мохом. Лет через семь оголенная моховая площадь снова покрывается этим питательным и спасительным лишаем. Хвощ болотный, скошенный даже с мест, покрытых водой, и сгребенный для просушки на сухих местах, скот употребляет довольно охотно, осиновые же листья овцы предпочитают даже сену хорошего качества.

Сверх этих даров природы, топозерским отшельникам помогали расселившиеся по берегам в древнейшие времена обездоленные карелы, привычные на свою беду к хлебу и готовые из-за него одного работать при бесхлебье. Да и в счастливые времена они нанимаются за 50—40 копеек в неделю. Здесь для молитвенных старцев еще новый довольный повод и причина для прохладного жития, в котором самый неодолимый враг — докучное время; его надо убивать и с ним сражаться в ту же силу, как и с самою природой.

Из-за высоких бревенчатых стен забора, построенных нарочно для того, чтобы скит во всем походил на монастырскую обитель, поднимает три главы большая часовня, подобная церкви. Подле нее отдельно стоит высокая колокольня, а кругом раскиданы в полном беспорядке братские кельи с запертыми тесовыми воротами и открытыми у окон ставнями, которые, однако, вопреки поморскому обычаю, не размалеваны. Среди прочих изб, величаемых неподходящим именем келий, возвышается изба большака в два этажа, или, по местному говору, в два жила: нижнее жило про себя, верхнее про почетных гостей и важных собеседований. Этой избе любой помор позавидовал бы: такие там бывают только у богатых. Здесь те же голубки из лучинок — досужество умелых скитников,— прикрепленные к потолку ради украшения, те же крашенные в шахматы полы, от которых неприятно рябит в глазах; покрытые клеенками столы, в богатых и больших окладах иконы, как главнейшее украшение, на которое старательно обращено исключительное внимание. Нет такого количества зеркал и стенных часов разных сортов, до которых неизменно охотливы все богачи поморы. Нет картин светского содержания, вроде рассуждения холостого о женитьбе, но зато есть картины с надписанием о том, что сосуды с водой всегда надо покрывать, иначе в них вселяется бес, обьяснение лестовок, дьявол смущает молящегося федосеевца к «маханию рукой», притча о том, как богач звал на пир и отчего «они» не пришли. Есть изображение воздушных мытарств св[ятой] Феодоры, человеческие возрасты, грехи и добродетели. Наконец, в исключение перед всеми поморскими богачами, украшающими свои парадные комнаты картинами, занесенными офенями, здесь висят портреты всех бывших поморских большаков — настоятелей. Все эти портреты висят без рамок, все писаны масляными красками и, конечно, все непохожи. Затем тот же посудный навесный шкапчик, который у всех светских поморов задергивается тафтичкой, а здесь он в открытую и начистоту. Посуда помечена особыми нарезками, которые обозначают три сорта ее: чистую — для настоящих федосеевцев, почтенных, но сердитых, необщительных и довольно грубоватых старичков и болтливых старушек; новоженскую — для недавно присоединившихся, не прошедших всего искуса, не вникших во все правила согласия, и для тех из православных, которые не курят и не нюхают; и миршону или

поганую посуду на всю прочую братию и на вся христианы.

В большаковой избе, сверх всего прочего, опытный глаз способен заметить кое-где в полах люки для спуска в нижний этаж, заметное множество чуланчиков, перегородок и дверей, расположенных таким образом, что представляют целый лабиринт, из которого незнакомцу трудно выбраться. Им, этим тайникам, чердачкам, чуланчикам и жилым подпольям, также нередко связанным между собою под землей, дают недоброе толкование: их зовут вертепами разврата и притонами бродяг. Для отвода глаз и для успокоения подозрений имеется про всякого подозрительного приезжего ласка до приторности, радушие до докучливости и, наконец, пряник, очень большой и всюду неизбежный медовый пряник из тех самых, которые нарочно пекутся и привозятся из Архангельска. Эти пряники, говорят, того же рисунка и величины, в каковом виде некогда подносился, по преданию, выгорецкими раскольниками самому царю Петру Алексеевичу. И еще в подарок заезжим людям неизменный и обязательный шелковый поясок, в палец шириною, с молитвою, вытканною белыми руками девушек-старочек. Они присылаются сюда для обучения грамоте и рукодельям и нередко за содеянное увлечение, в наказание, чтобы очиститься и возродиться от живого греха. Конечно, для сильных и властных, сверх всего, то самое приношение, которое сохранило здесь древнее имя «мзды», основанное на открытом и твердом убеждении, что не для чего различать людей и опасаться от иного недовольного и бранчливого отказа от денежного приношения: «...в восьмой тысяче лет толку не встанет»[1]. Подноси, значит, первому, лишь только вспадет на ум сомнение, что он из опасных и влиятельных.

Все в скиту предусмотрено и предуставлено: мужчины, если не спят и не едят, занимаются чтением и перепиской книг, для чего у грамотных две чернильницы, из которых одна непременно с киноварью. Женщины все за рукоделием: обшивают и починяют. Все из жарко натопленных и душных келий, степенною чередой, с ленивою перевалкой засидевшихся и ожиревших в безработное время суровой осени и долгой зимы, еже-

[1] По мнению старообрядцев, в нынешнюю — восьмую тысячу лет (от сотворения мира) непременно должно ожидать пришествия антихриста, который-де уже и народился.

дневно ходят в часовню. Она дощатою переборкой, немного выше человеческого роста, разделена на две половины: правую — мужскую и левую — женскую. Здесь-то строгие большаки, помогая коротать досадное время в пустынном уединении, держат на ногах свою паству: на утрене — шесть часов, на часах — два часа и на вечерне с правилом — три часа.

Такие длинные церковные службы являются на выручку в скуке и на некоторую усладу отшельнической жизни для тех, кто ощущает в себе силы и тоскует по воле и бездельем. Затем крепительный, после часовенного утомления, что называется, врастяжку, сон, который так и слывет в Поморье под названием «скитского». «Пришел сюда этот сон из семи сел, а с ним пришла и лень из семи деревень».

Приглядевшиеся к топозерским работам прямо-таки уверяли в том, что и работают скитские не столько для дела, сколько с целью убить время. Работа их медленная, хуже поденщины; всякое дело они нарочно затягивают. Помогают длинные переходы и переезды к месту работ, оттого расстояния им становятся нипочем, потому что собственно спешить некуда, да никто и не ждет. Дальние переезды и все равно переходы становятся для них даже некоторого рода удовольствием: идешь — не работаешь. Исключительное положение на острове уединенного озера вынудило к самоделкам, и оттого мебель самой грубой топорной работы не потому собственно, что нет мастеров и инструментов (все привезут), а именно от неохоты приложить свои способности вместе, где за труды не платят и даже некому похвалить. Еда скитская тоже особенная, то есть частая и всякий раз протяженная. Хотя вообще северные люди, как все жители холодных стран, едят много, скитские и из этого занятия сделали работу, убивающую время, и удовольствие приятного и легкого труда. Именно тот и скитский труд, который легок: кошельки вязать, полууставом писать, перекоряться, перебраниваться, голубков клеить, бураки расписывать, сплетни разводить, ревновать, винцо испивать, по меткой пословице: «Жить в скитах в тех же суетах». Кстати здесь же выучивались пению духовных стихов и старинных богатырских былин старые старики и молодые бабы (от одной из них, выселившейся в деревню Поньгаму, я их несколько слышал и все записал). Впрочем, такой уж и народ сюда подбирался с обязательным сильным перевесом женского пола над мужским, как явление общее

и резко выдающееся не только в федосеевщине, но и во всем старообрядстве. На этот случай такая и поговорка сложена: «Муж ревнив, поп глумлив, свекор сердит — пойду в скит, пойду по вере». По вере идти, то же, что «переправиться в староверы», предпочитают старики лет за пятьдесят, преимущественно вдовы и засидевшиеся девки, лет после тридцати, и затем по пословице: «Живут по вере, а пьют по полумере».

При наружном благочинии, в несомненном довольстве на всем готовом и при внутреннем душевном безмятежном спокойствии процветал Топозерский скит в особенности в 30-х годах нынешнего столетия. Процветал он именно благодаря богатой московской федосеевщине, высоко расценившей его значение и услуги в гонительное время 30-х, 40-х и 50-х годов. Москва взяла его под свою защиту, и прислушивалась ко всем его нуждам, и побаивалась недовольного ропота, и не скупилась никакими денежными жертвами и разными приношениями. Дорого стоил этот болотистый островок и этот деревянный скиток не для кармана только, но более для души. Недаром же, когда почуялись первые признаки надвигавшейся бури-урагана, преображенский настоятель Семен Кузьмин решился послать сюда на три года своего лучшего друга, правую руку и такого «твердого адаманта» веры, каковым был московский мещанин Наум Васильев. Митрополит Филарет поручал увещевать его избранному ученому священнику — законоучителю кадетского корпуса и не имел успеха. Недаром тот же Семен Кузьмин поддерживал и Копылова. Он приставил его стражем Топозерской обители как раз на перепутье. На самом прямом повороте в ту надежную хоронушку сидел он, одаренный большим умом, ловкостью и изворотливостью, и притом пользовался большим значением и влиянием не в одной лишь Кеми...

В Тверской губернии, в Весьегонском уезде, крепостные крестьяне завели моленную. Помещик, генерал Маврин, на это рассердился, вздумал преследовать, начал круто теснить своих мужиков. Они доброхотно часовню свою уничтожили, но сами взяли да и разбежались всею деревней и прямо ушли на Топозеро, где, конечно, их любовно приняли и обогрели.

Сюда из больших городов северной России так же уверенно шли все те из ревностных федосеевцев, кото-

рым опасно было оставаться в родных местах. Для облегчения путешествия к тому времени сокращен был путь от города Кеми до скита на целых двести верст: кривые дороги, указываемые течением реки с притоками, были обойдены, тропы облажены. Кое-где гатями и мостами улучшены были дороги для верховых вьюков и наставлены приметы для санного пути на снежное время. Дорога же до Кеми по северным губерниям, по Волге на Мологу и далее, была надежно обеспечена весьма скрытыми переходами по селениям и общинам единомышленников. Добирались до Кеми без всяких паспортов и снабжались из Москвы таковыми лишь более дорогие и важные для секты люди, увлеченные надеждою спасения во святой пустынной жизни, искренние ревнители. Брели следом за этими и все те, которые рассчитывали обеспечиться совершенною свободой от всяких податей и полною независимостью от властей. Поговаривали и так, что сюда же из Москвы прятали и тех, которые тверже были в вере, да нечисты в делах, совершили что-нибудь несодеянное, за что строго наказывают по закону.

По мере увеличения населения, а с ним и некоторых стеснительных неудобств в общежитии, явилась надобность, как и во всяких других больших монастырях, в отдельных поселениях, настоящих скитах. Кучками в 3—5 избушек стали выселяться с глухого озера на приволье берегов самого моря и на его мало-мальски подходящие острова. Старинным знакомым способом выселков стали распространяться селения в виде займищ на новях и починками на давно покинутых, но некогда возделанных пустошах. При московских пособиях дряхлеющий Север России начал приметно оживать и несомненно увеличиваться населением. По всем признакам ясно было, что это дело не остановится — дальше пойдет.

Как устраивались скитами на Ковдозере, на Вожмозере, так не побоялись построиться кельями и на более видных местах. По реке Ковде выбрались к деревне Гридиной (близ Керети) и основали здесь пустынь Иванькову. Те, которые выходили с Топозера по реке Кеми, обстроились скитком близ города Кеми и назвали это место Мягригой. На море, на луде (каменистом небольшом острове), названной Великой, также указывали мне место бывшего жилья пустынников. Между Сорокой и Кемью, на острове Палтам-Корга, стояла известная гробница утонувшей девицы, при маленькой

деревянной часовне, и гробница некогда покрывалась тремя шелковыми пеленами с наметами на них серебряными большими крестами...

Во время переезда на шкуне Егор Старков то и дело рассказывает про святые места и указывает их воочию.

На одном из островов, называемом Кильяками, стоит также пустынька и в ней при часовне живет 30 старушек.

— Ходят их нанимать на акафисты, соглашают читать канон за единоумершего. Когда нанимают церковные (то есть православные), они так и уговариваются: «Мы будем у вас читать, только с тем, чтобы вы сами на то время не молились. Не то мы перестанем и уйдем». Соглашаются. Ихняя молитва очень доходлива,— продолжал объяснять Егор. — Вот сколько я насказал тебе, а многих обителей и сам еще не знаю.

И вздохнул.

— Процвела есть пустыня, яко крин господень,— промолвил он по своему привычному обычаю.

— Кто же эти старцы, выселившиеся из Топозера: те ли, которых за древностию лет надо было снимать с хлебов долой, или уж самые опытные и искусные в делах веры и поучений, пригодные и полезные на непочатых местах?

За Егора объяснил мне уже Демидов:

— Всяко бывает. Однако в последние годы стали появляться такие люди в таких местах, где допрежь не водились: много народу перестало ходить в церковь в Шижне, в Сороке, в Шуе и у нас в Сумах. А про старушек, которых я знаю, могу сказать, что все они круто просоленные. Хозяйственные дела вести всякими богомольными способами — нет их лучше, мужикам ихним за ними далеко не поспеть. Все они — начетницы. Водятся между ними такие, что умеют руду заговаривать божественными и мирскими заговорами. Знают робят повивать. Плачеи на могилки от них хорошие наймуются. Как завидят карбас, так сейчас становятся на молитву и гудят разными голосами, точно тюлени на залежках... У нас, в Поморье, давненько-таки замечается такой обычай. Спросишь иного: какой, мол, ты по вере? Православный, скажет, а вот состареюсь — приму старую веру. Пойдет к этим — макушку на голове выстрижет, чтобы благодати сверху вольней было входить в его потупелую голову. Вот и знакомца твоего керетского, Савина, недавно тоже в скит на Топозере

возили, и там его перекрестили и перемазали. Топозерский скит натворил по этой части больших смут и много грехов на душу принял. Мужиков все еще возят туда; а вот эти самые старушки помаленьку да по охотке исповедывают и перекрещивают все наше бабье государство. До гонительного-то времени росли эти скиты, как грибы. Далеко ли до Выгорецких-то пустынь? От Сороки рукой подать и путь прямой.

— Ими оживлялись пустыня и заброшенные страны, заселялись такие острова, которые всем казались ненужными и неудобными,— заметил я.

— Хорошо и так сказать. Если говорить по-твоему, то и впрямь выйдет на то, что жили иные там порато догадливые. Дорогу-то ко спасению ходили с запасом от доброхотных подаяний. Ограждались от скуки пустынного жития здоровыми женками. Они им помогали поклоны считать. Надо разговаривать и по-другому. Зачем они робят топили? Зачем не поднимали их на ноги, не учили их грамоте, хоть бы и по своей? Все ведь это по нашим местам едино-единственно, а они проклятым делом — за ножки да в воду. Исправник-от к ним когда приедет, чем пужал их, когда деньги хотел собрать? «Бросьте-ка,— говорит,— неводок: мне вашей рыбки захотелось, не попадется ли кумжа, хороша она вареная с хреном; я люблю ее». Они ему в ноги, начнут плакаться, затрусят: не ровен час, ребеночка сети вытащат...

— Ведь это ты, Демидыч, с чужих слов! По России обо всяком ските подобное же рассказывают. Как же понимать теперь: люди ли богомольные живут там, или волки лютые и свои черева едят? Мне поньгамская старуха рассказывала, совсем мимоходом, что она, когда родила в Топозере на мху сына, то его возростила и потом круглый год кормила учителя. Из-за хлебов одного года он паренька выучил и псалтыри и часослову. Я этого мальчика своими глазами видел. В Москве новорожденных своих федосеевские бабы и девки подкидывали на Преображенское кладбище, и для них имелся там особый приют, называемый «детской палатой». Чтобы не переполнялась она, закуплены были чиновники казенного воспитательного дома: дети на казенный счет вырастали и возвращались родителям. Об этом хорошо знали и доносили по начальству те чиновники, которые приставлены были тайно следить за делами московских федосеевцев. Умерших ребят также принимали на кладбище, завертывали в миткаль и хорони-

ли. Бывали часто и такие случаи, что зачисляли живых подкидышей в списки умерших, к сведению полицейского начальства, именно с тою самой целью, чтобы скрыть их в какой-нибудь из единомышленных общин в Москве или отправить в надежные руки в деревню. Попавшие в воспитательный дом не выпускались из виду, и когда потребовали оттуда возвратившихся на Преображенское кладбище, настоятели придумали хитрую уловку. Так, между прочим, на Первой Мещанской известно было большое заведение одного федосеевца для изделия лакированных кож. Он забрал к себе с разрешения опекунского совета пятьдесят воспитанников из приемышей кладбища, кормил их, обучал своему мастерству: это и законом дозволялось...

Эти слова мои перебил и озадачил собеседник мой необыкновенно энергически высказанным замечанием. Он при этом встал со скамьи, оперся обеими руками о крашенный шахматами круглый стол на одной фигурной толстой ножке (обычный в лучших поморских избах). Оперся он о стол, словно вызывал меня на кулачный бой, и выпрямил спину. Я как теперь вижу эту еще незнакомую мне и непривычную позу всегда сдержанно-спокойного и выдержанно-рассудительного человека.

— Я тебе верю: вот истинный Христос! Всем словам твоим верю. От своих слов отрекаюсь. Одни эти дела их и сомущали мою душеньку. Я пытал узнать правду, да в наших забвённых местах спросить было не у кого. Спасибо тебе большое! Теперь вижу ее, всю правду вижу!

Он поклонился низко и, понизив тон, заговорил уже поспокойнее:

— Спрошу я тебя в упор, как того хочется мне. Скажи теперь по-божески, в такую же силу, как я с тобой доселе говорил, всю подноготную правду скажи: за что их всех разорили? Копылов от них только нажился, черт с ним. Я об нем не думаю, его не жалею. Таких злодеев, что пьют крестьянскую кровь, по нашим местам на каждое селение приходится по одному... Хочешь сосчитаю? За что за одного виноватого все прочие разорились? Вот о чем я всех спрашиваю. Брак они отметали, это верно. Так ведь и на Топозере, по слухам, раздор был, проявились новожены, без бабы соскучились: дай-де мне такую, чтоб я ее одну только и знал. Стали и там поговаривать: женившиеся не согрешают, брак чист, ложе нескверно и неблазненно.

Да и впрямь, прости ты меня, господи! Почему те ихние бабы — невесты Христовы в прекрасные ризы облачаются, какие-то светильники куют, а моя верная жена — сатанина свинопасица до самыя смерти? С мужем живет, так якобы на руки и ноги узы железные надевает? Писано это у них в ихных книгах, сам я читал. Да ведь мало ли что написать можно? Покажи дела!.. А я опять к своему же вернусь... Зачем их разорили? Давай теперь считать и смекать. Первое — устроили они жительство, как быть тому подобно. Ведь Топозерский-то скит был втрое больше самого города Кеми. Второе сказать — огородцы развели. Похвали их за то! Подати они не платят: так и все монастыри на одинаковом положении. Ну да ладно. Этим дай повеленье платить и не вели числиться монастырскими. Пускай себе куфтырьки для дому носят, ничему не мешает, а подати плати. Беглых они в чулан прячут и в подпольях держат,— сосчитай сколько; выведи и накажи. Из книг царский титул вырывают,— вот тут ты и прикрикни во весь голос, и притопни ногой, и так накажи, чтобы искры из глаз посыпались! Накажи так-то, да и напредки большим кулаком пригрози, чтобы не повадились: ах, мол, вы, сатаниновы внуки, чертовы братья, погибельные сыны адского титана преисподнего... — Накажи виноватых, зачем всех разорять? — продолжал Демидов допытываться уже совершенно спокойным тоном.

Последний, несмотря на свою вопросительную форму, не вызывал, однако, на ответы. Да, собственно, и не были они ему желательны, именно потому, что вопросы заранее решены им домашними средствами и без чужой помощи. Он, просто сказать, разговаривал потому, что опять впал в повествовательный, спокойный тон.

— Довелось мне прошлою зимой, на Николу (в 1857 г.), быть в Шунге на ярмарке: свою треску продавал и белку пособрал, песцы были — привез. Послышал я там про недавнее выговское разоренье. Любопытен я с самых малых лет: хочу знать про все разное не для других — для себя одного. Хотя и не по пути прямому было; да ведь и крюк небольшой, завернул туда посмотреть, что это такое за разоренье бывает,— не видывал. Порешил я ехать в Сюземки, так ли, не так ли, а ехать.

— Приехал туда и что там увидел?

— Сюземками,— на вопрос мой объяснил Демидыч,— по нашим местам так звали те пустынные мес-

та за то, что там стоят дремучие леса сплошъ, чертово место, одно слово сюземка. Церковь печатями запечатана и окна закрыты ставнями, а к ним тоже красные печати приложены. Можно и дома молиться,— подумал я,— затвори клеть и там помолись: господь вездесущ, увидит и услышит. Колокольня превысокая стоит, а колокола сняты с нее. Пролеты с просветом таково-то уныло глядят. И тяжко мне стало на душе. Зачем так? Чем звоны виноваты? Ну да пущай в другом месте сзывают эти колокола на молитву, где бывает нечем (слыхал я, что где-то там, за Двиной, лычный колокол висит, лыками оплетен). Избы заперты и запечатаны — точно кладбище. Заглянул я на настоящее, а там стоят кресты поломаны, кои повалены. А было то место свято, я это давно знал: тысячи народу сходились туда поклоняться гробам: братьев Денисовых, Данилы Викулыча и сестрицы Денисовых Соломониды[1] и их тетки. От нас туда ходило великое число всякого народу. Заборы в скиту где сломали, где повалили. Поглядел я — и словно пешней мне под сердце ударило! Вход на кладбище заперт и запечатан, под забором его сидят остатные старицы: завидели меня — и плачут. Взглянул я на них, да и сам заревел и стегнул по лошадке, чтобы кому-нибудь на глаза не попасться. Были те жительства обширные и прекрасные. В одной Лексе жило до семисот сестер. Обе обители царя Петра хорошо помнят. Он их простил, и все цари миловали,— и теперь ни с чего такое разоренье!.. Оправятся ли? Я сужу по нашим ближним местам, глядя на Топозерье! — поспешил ответить на свой же вопрос Демидов. — Про Выгозеро после слыхать было, что на том месте, где монастырь стоял, поселили сто душ мужиков. Вывели их откуда-то из-за Питера и сказывали, что сам барин отступился от них: вор на воре и плут на плуте. Им бы хозяйство ладить, а они и на своих-то местах были гуляки да пьяницы; они и остаточных старцев поразогнали. Как пришли, так бабу и убили. Стали их разбирать, да целую половину и угнали в Сибирь. Малая толика прицепилась к месту, да и те непутные. Правильно ли начальство поступило? Когда делались самовольные пытки, тоже обходилось не без греха, хоть бы и у топозерских. Выгонят ветхих старух негодящих на море, на луды пустые (молодых при себе оставляли), построят им избы (недорогого стоят), дадут харча много, чтобы ели досыта (Москва на

[1] Основательница женского монастыря на реке Лексе.

это денежки присылала, из Питера даянья шли и мукой, и всяким житом, и прочим таким делом). Да какие же это селенья? Пословица впрямь говорит: «Бабьи города недолго стоят». Цинга по нашим местам гуляет и воюет; на тех местах только одни косточки забелеются. Топозерские знали и другую пословицу: «Без баб-де города не живут». Так и действовали. А вот теперь их вдосталь разорили... Что ж станется? Города ведь годами строятся,— взять, к примеру, нашу Суму. Старики-покойнички сказывали про «Сенявшину». Прислал царь Петр злого генерала Сенявина солдат на войну набирать и город Питер строить. И натворил этот человек-то у нас, что доселе не выходит в народе из памяти. Всех распугал. Стали прятаться: кои в леса забежали, те там и погибли. Нахватал самых молоденьких, крепоньких,— всех забрал, никого не оставил ни на племя, ни на семя. Было до него в нашем посаде шестьсот душ, стало двести пятьдесят, с тех пор вот нам и не поправиться, а ведь сколько годов прошло! Дошел вот теперь черед до Топозера. Как он строился? Кто-то скиток завел. Стали к нему пристраиваться втихомолочку, не торопясь, исподволь. Рубят избу — прислушиваются, не шибко ли топор звенит?.. Слыхал, твоя милость, про Великопоженский скит? — спросил Демидов, круто оборвавши нить рассказа.

Намек этот указывал на свежее событие, как раз случившееся в то время и, несмотря на свою малость, довольно громкое: оно быстро облетело молвою весь архангельский край. Дело было самое простое, которое при других обстоятельствах прошло бы совершенно незамеченным. Около Печоры давно уже существовал этот скит. За глазами, за непроходимой тайболой скит в этом краю (который на Мезени называется «отдаленной») незаметно превратился в настоящее селение, людное и широко разбросанное. Палате государственных имуществ сделалось совестно называть его скитом, и она поспешила переименовать его в деревню.

— За что такая милость там, а здесь вот одни только разорения? Не слыхал, твоя милость, за что?

На прямой вопрос, выговоренный в том тоне, что требовался ответ, подкрепляющий или разрешающий сомнение или незнание, я не мог сказать ничего, кроме сообщения общих положений, которыми в то время руководились при преследовании раскола. У Демидова оказались свои аргументы, представленные с оговоркой, что говорит он по слухам.

— Прислан был в Соловки из Москвы на смирение и обращение некоторый человек, по прозвищу Гнусин, за большое его озлобление и за писания. Толковал он как-то неладно Апокалипсис и разные такие хульные тетрадки писал. Продолжал тот Гнусин делать то же самое и в Соловках. Того мало, что ругательно писал, а еще и картинки в насмешку хорошо мог рисовать. В Соловецком он и помер. В то время в Топозере настоятелем был Томилин. Он съездил в монастырь, выпросил тело, перевез морем и похоронил у себя, в скиту. Болтают, что-де у архимандрита Досифея он и писания те и картинки купил. У него за великие деньги перекупил их какой-то московский купец и свез в Москву. Там прознали и схапали, а на Топозеро грозу пустили: на полное разрушение. Освятили часовню на православную церковь, попа приставили. Жителям велели выбираться. Кто хочет оставайся, а прочие все вон иди. Старики ушли, не похотели оставаться.

— А если захочет Москва — перебил я собеседника своего, в свою очередь, вопросом,— восстанет ли Топозерское жительство?

— Вот ты мне очи просветил. Прямо скажу: восстанет. Они живущи, а Москва сильна. Вот как они живущи. Выходило им, как и всем, общее положение, высланы были те, у которых пачпортов не оказалось. Старым доживать дозволено, а принимать прибылых нельзя. Нельзя вновь строиться и старые избы чинить. Годов с десяток тому будет, приехали из Питера посмотреть: и заплаточек много наложено, и прибылые есть. Рассердились тогда и сделали тот великий разгром. Стало теперь после них селение как настоящий соловецкий скит: десятка людей не сосчитаешь. Три монахини поехали прямо в Москву жаловаться. Вскоре туда игуменью вызвали. Знакомая она мне была, звали Анфисой. Сановитая такая, из себя дородная, плотная, даром что было ей пять десятков лет с хвостиком. Ростом высока, пущай, как и все наши бабы, да уж больно гладка была, еще не обрюзгла: на Москве, поди, очень понравилась. Пока не обойдется, бывало, важной такой глядит. Кроме благочестивых разговоров, других никаких не знает. С глаз — хитрая, в словах — увертливая. А разгостится да опознается,— любила гостить,— такая-то ли добрая да развеселая. И поговорить любила и шутку подкинет такую, что и молодой разбитной женке не сделать. Эта Москву обойдет. Эта там не заблудится, да еще и других прочих с собой на

свою дорогу проведет. Топозеру не погибать же стать из-за одного Гнусина. Чем пленяли?— отвечал Демидыч на вопрос. — Я должен теперь говорить по всей истинной правде...

Заговорил он шепотом:

— В Сюзецки кто в кой час ни попадал, бывало, всегда у них молятся, все где-то служба часовенная идет и днем и ночью: то заутреня, то часы, а то и всенощная, обедни, вечерни, молебны, панихиды — раздолье богомольному человеку. Вот это надо понимать, в самую глубь дела проникать.

Переменивши тон голоса на такой, каким обыкновенно говорят тайны (хотя даже нас никто в это время не слушал), Демидов сообщил:

— Начинают и на Топозеро помаленьку стягиваться, слышал я про то от верных людей. Из нашего селения и из Кеми кое-кто ушел уж туда. С Ковдозера ожидают. Ведь зачем Наум-то Васильев у Копылова сидел? Он собирал рассеянное стадо и новые деньги привозил на покинутое гнездо. Как можно потерять Москве такое место? Ведь оно насиженное, укромное! Поди-ко знай доберись до него: глаза выколешь себе, все тело перецарапаешь, ноги повывихнешь. Да и богата же эта самая Москва. По этим же самым топозерам и нам всем это видно; надо так думать и говорить: не пустяшная какая ни на есть забота житейская, а великое дело — о вере! Уж если человек по вере пошел и около нее начал устраиваться, то он и впрямь как дятел: и упрям, и чуток! День и ночь он крепким носом долбит, а голова у него не болит. Я твою милость больше и спрашивать не стану,— сам отвечать могу. Топозеру большим городом не быть, а маленький сколотят.

Припомнились эти слова и все сейчас рассказанное, когда случайно попалось мне на глаза в газетах достоверное известие самовидца:

«Деревянный высокий забор обвалился. Ворота и ставни у многих домов заколочены. Много огородов совершенно заросли. Жилых изб я насчитал двенадцать, и между ними видел большую в два этажа,— сказали мне, что тут живет большак. Между жилыми домами разведены маленькие огороды, засеянные репою, луком и картофелем. В жильях — около 20 мужчин и женщин: мужчины сидят за чтением и перепиской рукописей, женщины — за рукоделием...»

Беломорские суда

Город Кемь внешним видом своим столько же похож на всякое другое беломорское селение, обусловленное простым значением деревни или села, сколько, в то же время, не похож ни на один из других уездных городов России. Начиная с того, что в городе этом встречает всякого проезжего невыносимый, докучливый шум речных порогов, как и всюду по берегам Белого моря. Кемь, в свою очередь, поставлена в такое исключительное и незавидное положение, что разбросалась в поразительном беспорядке по гранитным скалам, которые в пяти-шести местах слились в сплошные груды, как будто горы. Цепляясь по уступам этих гранитных гор неправильною линиею, без симметрии, идут одни за другими, одни над другими зеленые, желтые, серые домики и дома этого города. Незначительная часть их, полукругом, как будто в некотором порядке, как бы подобием набережной красивого приморского города (особенно при виде издали, при въезде в город с моря), обогнула широкий, круглый ковш реки, где она слилась двумя своими рукавами. С одного из этих рукавов с шумом и брызгами несется по крупным камням огромная масса воды, трудно победимая силою весел, силою человека и паруса, крепко надутого сильным и крутым ветром. Там, где масса воды этой не кипит уже котлом, а зияет огромной пучиной, выбитой временем и водой как бы в упор стремлению водопада, выплывает невысокая гранитная скала со старинною церковью, с более древнею башнею уже разрушенного или рухнувшего от времени *острога, городка.*

Это — Леп-остров — ячейка первоначального поселения, защищенного деревянным острогом, который в конце прошлого века уже был в развалинах. Продолжая замечательно спокойное течение свое дальше, река обрамляется теми же гранитными скалами, по которым тянется изгородь, вешала с сетями направо, и рассыпался такой же беспорядочный ряд строений налево, в сторону города. В дальнем конце своем, до которого видно такое множество углов, труб и кровель, ряд домов этих, названный карельским именем *мандеры,* замыкается деревянной кладбищенской церковью с крестами и гранитными камнями и плитами кругом. На таких же неправильно очерченных, неправильно разметанных кругом камнях и плитах выстроилась соборная церковь, встала отдельно от нее соборная колокольня,

неизбежно каменное казначейство, еще несколько домов, пожалуй, относительно и красивых, не похожих на дома деревенские или сельские, ни огородца подле, ни кусточка зелени, кроме зелени ивняка да дальнего соснового бора, ни лошади подле или даже где-нибудь и вдали. Если в Онеге есть еще хоть одна улица, по которой можно ездить, то по Кеми окончательно по летам ездить невозможно. Два утлых, наскоро плетенных моста, перекинутых через узкие рукава реки, служат только для прохода пешеходов, заблудившейся или, по обыкновению, оставленной без призора бодливой коровы, всегда огромной, всегда желтой собаки, которая по зимам возит воду и воеводу, дрова и его челядинцев.

Взойдешь на гору, взберешься на колокольню — моря не увидишь, море затянули спопутные взору мысы извилистой, коленчатой реки, закрыли избы, сосновый перелесок, недавно построенные против неприятеля батареи, бараки подле. Видишь неровные, прогнившие крыши домов с кадушками и швабрами в них на случай пожара. Видишь опять прихотливые изгибы реки; видишь кемскую женку, всю в красном, с веслом на плече, идущую к карбасу; видишь этот карбас, который качается на воде подле берега, и парусок другой вдали. Слышишь снова вой порогов или еще более несносный вой своры собак, бегающих по загородным горам. Там дальше тускнеет что-то в тумане: может быть, тот же бор, может быть, те же серовато-красные массы гранита. А там опять-таки слышишь человеческие голоса, как-то не гармонирующие со всею наглазною обстановкою, как будто чужие здесь, хотя под ногами и раскинулся широко один из лучших, самый богатый капиталами город Архангельской губернии.

Спустишься вниз по уступам скал, имеющих в некоторых местах вид и форму решительной лестницы, словно рубила ее рука человеческая, но и тут все-таки ничего не встречаешь нового: слышатся те же пороги, видится тот же широкий и глубокий ковш среди города, среди самой реки. По берегу этого ковша навалены грудами, поленницами доски и бревна. Из-за них по временам вырываются болезненный взвизг пилы, голоса людей, звон топора, плашмя попавшего на сучок. Здесь городская доморощенная верфь, и, говорят, хотя и маленькая, но чрезвычайно удобная. На этом месте, с этого берега, в этот ковш реки Кеми ежегодно спу-

скают по одному, по два, нередко по три и по четыре крупных морских судна, назначаемых для дальних морских плаваний. Подрядчиками работ этих бывают, конечно, богатые капиталисты города; производителями, работниками — карелы из деревни Подужемье, расположенной в семнадцати верстах выше города, на той же реке Кеми. Вся нехитрая и несложная история этого дела обыкновенно обряжается и ведется простым путем...

Богач хозяин, задумавший выстроить судно, заручается лесом, нарубленным по берегам и протокам реки Кеми. Для рангоута и досками на большие суда запасается он или на онежских лесопильных заводах, или привозит их на своем же судне из Архангельска, затем что ближний лес, дряблый и мелкий, негоден для судостроения. Освобожденный указом 1820 года от платежа *футовых денег* и обязанный только при постройке платить единовременно *попенные деньги,* хозяин спешит заручиться мастером. Для этого, как сказано уже, ходить недалеко: в семнадцати верстах выше города, в деревне Подужемье, живут карелы, которые всему архангельскому краю известны как лучшие мастера крупных морских судов, не имеющих никакого порока. Мастеров этих возят в самые отдаленные места прибрежьев: дорожат ими и керетчане, и варзужане, и мезенцы, и летнесторонние, и соловецкие, и горожане (архангельцы). Работа их в чести и славе и у архангельских англичан и немцев. Кемский судохозяин никогда уже не обойдет ближнего соседа, с которым ежегодно в день спаса-Преображенья (6 августа) в том же Подужемье ведет он хлеб-соль и беседу и разводит веселый, длинный праздник и столованье. Напротив, богатый кемлянин выберет и заговорит себе мастера лучшего: к празднику спаса мастера бывают все дома. Заказчик, пожалуй, и переждет один год, а пожалуй, и два, если у этого лучшего мастера есть уже на руках заговоренная работа. Вот отчего кемские суда лучше постройкой, красивее глядят своей внешностью, чем все другие суда, принадлежащие другим деревням и нередко выстроенные доморощенными деревенскими мастерами, не подужемскими карелами. Кемское судно узнается в море издали, угадывается поморами безошибочно; иной сказывает даже при этом имя хозяина, а нередко и имя мастера.

— Лодейку задумал построить,— сказывает кемлянин в избе мастера, являясь туда с поклоном, приве-

том и приносом заграничного крепкого рому или коньяку.

— Сказывали — слышал.

— Возьмешься ли?

— Для ча не взяться — могим! — отвечает мастер.

— Да свободен ли ты?

— Сказываем — слово, так, стало, не врем. Сам знаешь!

— Как тебя не знать, весь свет тебя знает. Весь свет с тобой рад дело вести: это перед тобой, что перед спасом! Откушай-ко!

Откупоривается бутылка, расходуется вино, идут разные сторонние разговоры, которым как ни завязываться, как ни метаться вбок да по сторонам — с Мурмана на город, из города в Москву и Питер,— а сесть на одно, опять на той же задуманной лодейке: в ней и заказчику барыш, и мастеру польза и выгода; для того и другого вожделенные, верные деньги: одному раньше, другому несколько позже. Начавши другую бутылку, и заказчик и мастер, под веселый шумок, говорят о цене, спорят и шумят, не изобижая друг друга; ладят, как умеют и смеют; стягивают, как могут, накидки и скидки. Опять пьют и шумят, и опять-таки добираются до искомой, исходной середины, на которой и заказчику, и мастеру становится безобидно и неубыточно. Сойдутся они на этой средней цене непременно: не в первый раз вершат они дело. Ни заказчик не отпустит без конечного ответа хорошего мастера, ни мастер не бросит богатого, честного хозяина. «Спорить — вольно, браниться — грех»,— говорит поговорка. Как ни шуметь, как ни выговаривать своего *я* и своих барышей — заказчику не пойти из избы, мастеру не пустить его из дверей на город. Так во всех случаях, во всех сделках между своими и ближними. Темен человек дальний; свой ближний известен со всею придурью, со всеми изгибами простого, нехитрого сердца.

— Ну так, что ли, дело наше по тому идет? — спросит еще раз заказчик.

— Так и не инак, по тому по самому,— ответит в последний раз мастер.

— Ну, ударим по рукам, поцелуемся и станем богу молиться.

— Ладно, по рукам и за бога — по обычаю.

Сговорившиеся хватаются за полы, обнимаются, молятся на тябло: и кемский и подужемец старым дониконовским крестом.

— Когда приходить-то? — спросит последний уже у дверей избы своей.

— Да когда удосужишься, когда зима станет; доски пилеными привез, кокоры обтесали инвалидные солдаты на задельные дни — все готово. Скорее придешь — лучше будет.

Подужемец не замедлит. Сборы его невелики; подмастерье его свой человек, правая рука, от него не отходит и часто живет с ним в той же избе, если не рядом.

Сидит кемский хозяин рано поутру в своей светлой, поразительно чистой избе, за крашеным столом, накрытым чистым рядном — скатеркой. Перед ним на столе лежит толстая книга в кожаном переплете времен Михаила Федоровича раскрытою. Он только что *перекрестил очи* и, *положив начал,* сел *попитаться от словесного млека и умственного кладезя,* чтобы потом напиться чаю из *немиршоной* чашки своей, купленной им за морем, в Норвегии. Чем-то мудрым, внушающим уважение, если не страх, глядит его чистое лицо, опушенное большой седой бородой и такими же волосами на лбу, подстриженными, по старому обычаю, в скобку; смело и сурово глядят его умные, бойкие глаза из-под медных очков-клешней, захватывающих его нос до страдательного вида и состояния. Он вслух, для себя, гнусливо читает житие святого настоящего дня и, может быть, прочтет это житие до конечного аминя,— но в двери стучатся с молитвой: «Господи Иисусе Христе, боже наш, помилуй нас!» Слышится в молитве этой женский голос одного из домочадцев; старик *отдает аминь.* Входит жена, а за нею мастер-подужемец, на другой же день по совершении сделки и подряда.

— Ну вот, и свет в очи, а только что об тебе думал, да и попризабылся было! Ладно же — прошу покорно со мною чаю кушать. Неси, девка, рому заветного; стряпай, девка, обед праздничный. На этот день распоясаться хочу — запой сделать, коли со старости лет выдержу это да не крякну! Гости пока, почестной гость! Назавтра думу будем думать и об деле смекать; а сегодня в молитвослове показано разрешение вина и елея. Так и станется!

На другой день, рано утром, и хозяин и мастер уже на месте работы, и именно там, где река Кемь, сливаясь двумя своими рукавами, образовала широкий ковш. На берегу этого ковша строят кемляне суда свои, но

преимущественно большого размера лодьи, шкуны, раньшины, боты. Для мелких судов отводятся другие места, как для карбасов, так и для лодок; но постоянных эллингов нет нигде по всему Поморью. При постройке крупных, как и при постройке мелких, приемы одни и те же.

Давно и положительно известно, что лодейные мастера не знают ни чертежей, ни планов и руководствуются при строении судов только навыком и каким-то архитектурным чутьем, которое, как кажется, надо считать прирожденною особенностью карельского народа. В то же время остальные приемы при деле установлены дедовскими и прадедовскими обычаями, преданием и наглядным наставлением. Точно так же положительно известно и то, что архитектура беломорских судов однообразна и точно такая же и теперь, какая была — говоря поморским же выражением — при царе Капыле, когда грибы воевали с опенками, или, лучше, когда еще правила Поморьем Марфа Посадница. Таковы лодьи, таковы кочмары, таковы шняки и раньшины. Для всех этих судов чертежей и планов не существует. Только шкуны, в последнее время введенные в употребление, начали строить по чертежам, аляповато, бестолково, доморощенным способом начерченным. Правда, что лодьи, имевшие прежде форму нелепого ящика, поморы стали делать острее, но все еще по-прежнему оправдывали плоскодонность своих судов тем, что на них удобнее входить в мелкие приморские реки и затоплять эти суда на зиму у самой деревни, прямо под глазами, или становить их на городки перед окнами. Но в то же время (и отчасти справедливо) и даже те поморы, которые уже начали вместо лодей строить шкуны, объясняли существование на водах моря еще довольно значительного числа лодей тем, что построение их стоит дешевле (рублей на 100 серебром), хотя в то же время на лодью и требуется, для ее тяжелых, неудобных парусов и снастей, рабочих больше (по крайней мере, пять человек), чем на шкуну (трое и даже двое рабочих)...

Точно так же, как бывало прежде, мастер намечал на полу мелом, на песке палкой чертеж судна и вымеривал тут же его размеры. Ширину клал вершками пятью или шестью шире трети длины; половина ширины будет высота трюма. На жерди намечал рубежки (заметки) и по этим рубежкам этою же жердью все время намечал шпангоуты, называя их по-своему — *бо-*

ранами (носовым и кормовым). Отвесы, или перпендикуляры, и на чертеж клал по глазу, без циркуля, и точно так же своим именем *скул* называл боковые части перпендикуляра, его прямые углы. Кончивши чертеж, мастер обыкновенно сбивал лекалы, если строится лодья, и считал это дело лишним, дорогим и для хозяина, если строилась шняка или раньшина. Сбивши лекалы, мастер приступал прямо и не обинуясь к работе, делал *поддон* — основание судна, его скелет; обшивал его снаружи и внутри досками; ставил три мачты, если лодья назначалась для дальних морских плаваний, и две, если она приспособлялась для богомольцев, идущих в Соловецкий монастырь.

В одну зиму, при не слишком усиленной и ускоренной работе, лодья бывала готова со всеми своими мелочными подробностями: с неизбежной помпой, с казенкой — каютой, с приказеньем — люком, местом спуска в каюту, с палубой, с козовами, прикрепленными на бушприте, с двумя печами, если лодья мурманская, и с одной, если ей суждено ходить только в Архангельск. Судно это имеет длины 40—80 футов, ширины 12—25 футов, в грузу способно сидеть от 6 до 9 футов и грузу этого способно поднять, смотря по величине и размерам, от 5 до 12 тысяч пудов. Правда, что большая часть настоящих лодей не берет уже свыше 3 тысяч пудов, но все-таки строятся еще лодьи и больших размеров. Судно это все из соснового леса, креплено железом (единственные суда с таким креплением); обшивные доски его креплены в малых лодьях в наборе, в больших — вгладь деревянными гвоздями и сшиты мягкими древесными корнями — *вичью*. Перекладины, или брусья (бимс), на которые настилается палуба, называются *перешва;* подкладки из тонких досок, какими выстилают внутри низ судна, чтобы не подмок груз, зовут *подтоварьем*. Лодейные мачты — однодеревные, бушприт короткий; на фок- и грот-мачтах по прямому парусу с реею; на бизань-мачте — косой парус с гиком и гафелем; прямые паруса держатся на ветре во всю свою ширину для одинаковых размеров паруса вверху и внизу распоркою, называемою обыкновенно *чеплиной*. Сверх того, при лодье также употребляется бот, называемый *павозком,* и, наконец, повсюдная и неизменная бочка для пресной воды, называемая *подвозок*. Шпангоут лодьи и всех других судов зовется общим именем — *упруг*.

Таково в устройстве и подробностях своих самое крупное из всех беломорских судов — лодья, которое непременно должно быть готово в новом своем виде к спуску до половодья. Сильная разливом и нередко заливающая городские строения река Кемь в половодье способна для этого спуска. Самый спуск ее на воду требует от строителей, по исконному прадедовскому обычаю, некоторой торжественности, некоторого рода гласности для целого селения.

Лед вынесло из реки в океан, река в полной заливной воде, на крайнем дохе, на крайнем рубеже, с которого она пойдет убывать. К тому же полая вода эта стоит на приливе — стало быть, обещает благополучный момент для спуска.

Момент этот предусмотрен, и час для спуска назначен.

Еще с вечера, накануне дня, назначенного для спуска лодьи, мальчишки-подростки обегали все дома и деревни и повестили хозяев приговором:

— Дядя Еремей! Дядюшка Пантелей на первую выть (после завтрака) звал тебя на лодейке спущаться — пожалуй-ко!

Мальчишка, скороговоркой произнесши эти слова, убегал из избы, и званый охотно приходил на другой день раньше часа спуска и видел широкое, чреватое днище лодьи во всем его неприглядном безобразии, еще на городках, на берегу, но без снастей, по обыкновению, без мачт. Виделись только крыша казенки, толстый, тяжелый руль и свежая, щедро просмоленная конопатка. Все деревенские или городские гости, знакомые и благоприятели хозяина, влезают на палубу и ждут молитвы. Придет священник с крестом и чтением молебна — раскольник ли хозяин или нет. Прочтется последняя молитва, дрогнет сердце хозяина, дрогнет и сердце мастера, возбуждены и прочие зрители-гости.

Мастер с помощником спускаются вниз и с крестным знамением подрубают разом с уханьем и вздохами два бревна, поддерживающие корму лодьи. Судно качнется раз и два и, наклонившись несколько на бок, ползет по двум другим бревнам, положенным параллельно килю, прямо в воду. Рявкнет свое заветное «ура» весь народ на палубе раз, другой, третий,— и лодья уже на воде оселась благополучно; не умереть в тот год хозяину, не потерпеть большого несчастия ни ему, ни всем соседям его, спустившимся на новом судне на

вешнюю воду. Хозяина целуют, поздравляют, кланяются в пояс. Честят лестными приговорами мастера, и во все это время ни хозяева, ни гости не надевают шапок до той поры, пока судостроитель-богач не пригласит их всех в свою избу на почетный пир, на пьяное и веселошумливое угощенье. Несется потом неладная песня, бестолковый говор, и долго затем во всю ночь бродят по улицам шатающиеся из стороны в сторону тени, которые или скроются в воротах собственного дома, или под углом первой спопутной клети, подле первого попавшегося бревна, как это бывает везде, во всех углах широкого русского царства...

На этих лодьях поморы или возят купленный в Архангельске хлеб в Норвегию или к промышленникам на Мурманский берег, или совершают прибрежные плавания на Терский берег за семгой, на Карельский за сельдями, на Новую Землю за моржами, на Колгуев за птичьим пухом, в Онегу за досками, в тот же Архангельск с треской и палтусиной и в Соловецкий монастырь с богомольцами.

Во всех этих плаваниях поморы ходят *по вере*, по старым приметам, замеченным или самими, или переданным от отцов или бывалых людей. Большею частью лодьи держатся *бережья*, вблизи берегов, и в крайнем случае, при необходимости пускаться в глубь моря руководствуются компасиками — по-их *матками*, — покупаемыми обыкновенно за четвертак-полтинник на архангельском рынке. У некоторых хозяев, более толковых и сметливых, встречаются на случай порчи одного два и три запасных. У некоторых ведутся также записные книжки о времени *перевалов* (поворотах курса), о коргах и опасных мелях, о более удобных и безопасных становищах. Но и в этом случае все поморы руководствуются памятью, поразительно замечательною сметкою и толком и почти всегда верными приметами.

Второе (по величине судна) место, после лодьи, должно принадлежать *раньшине*. Первообраз этого судна — *шняка*, по величине несколько меньшая предыдущей. Шняка обыкновенно шьется теми же древесными корнями — вичью (по местному названию) — из широких досок, в наборе, длиною от 4 до 5 сажен, шириною немного больше сажени, с плоским, как и лодьи, дном, с острыми носом и кормою. Шняка оставляется открытою. На нее ставят одну мачту посередине; на мачте употребляется еще до сих пор один *прямой* па-

рус. Обыкновенно же шняка ходит на веслах (шести). Судном этим управляют четыре человека: кормщик, тяглец, наживочник и весельщик, т. е. все те рабочие, которые необходимы для осмотра мурманского яруса с треской и палтусиной. Шняка способна поднять 500 пудов грузу...

На зиму шняки оставляются в становищах под надзором лопарей, но редко пускают их в дальние плавания, хотя бы, например, в тот же Архангельск с мурманскими промыслами. Для этой цели менее запасливые и достаточные хозяева на ту же шняку набивают *нашвы* (числом 3—4—5) — фальшборты, ставят еще другую (неопускную же) мачту, не накладывают палубы, но над срединою судна делают выпуклую крышу. Шняки эти больше только бортом и, стало быть, способные поднимать более значительный груз, называются раньшинами по той причине, что они привозят первые — *ранние* промыслы в Архангельск (следующие привозят на лодьях)...

Некоторое сходство в оснастке и в назначении с тою же раньшиною составляет *кочмар* — палубное же судно, несколько, впрочем, большее, с двумя неопускными мачтами, и употребляемое также для перевозки рыбы, назначенной в продажу. Однако судно это сделалось замечательною редкостью, вытесненное из употребления, вероятно, шкунами...

Там же, откуда выходят в Поморье лучшие лодейные мастера, то есть в кемской деревушке Подужемье, строятся и самые употребительные, самые важные для ближних прибрежных плаваний, мелкие беломорские суда — карбасы. Шьются карбасы (крупные суда «строятся») точно таким же образом, как шняки, но меньше последних (длиною 18—25 футов и шириною менее 1/4 длины); в воде сидят на фут. На карбасах этих обыкновенно от 4 до 10 однοручных весел и два шпринтовных паруса; шпангоут карбасный зовется *опругой*. На веслах карбасы легки на ходу и, лавируя весьма недурно, в то же время заметно валки; пустозерские карбасы, с прямою кормою, пускаются в море с грузом, которого они поднимают до 200 пудов. Тот же карбас, только несколько пошире и покороче описанных, употребляется для промысла тюленей на льду и в таком случае принимает новое название весновального. Этот род карбасов, как уже сказано, приспособляется к тому, чтобы быть удобно влачимым по льду,

а для этого вдоль киля приделываются два полоза, называемые *креньями*...

Из судов с правильною оснасткою, выстроенных по верным чертежам, безопасных в море и употребление которых обусловлено законами науки и примером Европы, в Белом море, кроме иностранных кораблей, теперь довольно уже часто видятся *шкуны* и *шлюпы*. Шкуны строятся поморами Кемского и Карельского берегов и употребляются исключительно для торговли с Норвегией; некоторые и редкие возят из Архангельска богомольцев в Соловецкий монастырь. Шлюпы попадаются в редком числе и выходят опять-таки из Кеми и опять-таки употребляются для торговых плаваний в Архангельск и Норвегию. Для тех же торговых целей на взморье Двины ходят *лихтеры* — палубные, плоскодонные (по причине замечательного мелководья бара) суда с тремя мачтами. Они подвозят достальной груз из Архангельска на купеческие корабли, но редко пускаются в самое море. Кроме того, существовали на Двине *гальясы*, но теперь об них и самый слух пропал, как и о кочах. Между тем эти суда, палубные, об одной мачте, сыграли немаловажную роль при заселении края и вообще в его бытовой истории. Их строила казна с большой охотой для таких, например, дальних плаваний, которые предпринимались для походов в Сибирь,— для исследования прохода в реки Обь и Енисей,— и небезуспешно. Хаживали они на Новую Землю, побывали и в Обской губе. Вайгачским проливом и Карским морем они доходили до устья реки Мутной. После пятидневного плавания по этой реке и по двум попутным озерам доходили до двухверстного волока. Здесь их перетаскивали в озеро Зеленое и из него по реке прямо в Обскую губу. Когда бунтовал Соловецкий монастырь против новоисправленных книг, на этих кочах сплыли туда из Архангельска стрельцы.

Обращаясь снова к собственно беломорским судам, которые и строятся в Поморье и принадлежат поморам, мы все-таки должны повторить то, что крайняя, выходящая из размеров, обусловленных наукою корабельной архитектуры, плоскодонность судов поморских зависит не столько от мелководья поморских рек, сколько от какой-то упорно-закоренелой привязанности к старине. Архангельские поморы сметливы и, видя лучшее против того, что есть у них, принимают новизну легко и скоро. Доказательство тому — более десятка шкун, принадлежащих частным лицам и в то же время за-

коренелым раскольникам, и, наконец, общее желание всего Поморья завести собственные пароходы, о которых они имели лишь смутное понятие...

Беломорская торговля

Выселившись на берег Белого моря исключительно для морских промыслов, поморы-новгородцы на первых порах поставлены были во враждебное положение с соседними норвежцами, записанными в летописях под именем *каинских немцев*. Но кроме взаимных враждебных столкновений, иных отношений между соседями не было: новгородские дружины плавали на норвежские берега Северного океана и доходили даже до крепости Вардэгуза, но с вооруженною рукою, и, в свою очередь, получали возмездие. О мирных торговых отношениях не могло быть и помину: всякий отстаивал свой участок земли, всякий старался обусловить свое политическое существование, еще довольно шаткое, значительно неопределенное. Поморы, отданные под защиту, покровительство и ведение Соловецкого монастыря, строили остроги, содержали на общественный счет в острогах этих присылаемых из Москвы стрельцов с пушками, пищалями и пороховым зельем, мирно занимались рыбными и звериными промыслами, сбывая их, и то изредка, в один Архангельск, известный еще тогда под именем *Порта св[ятого] Николая.* Сюда еще во времена Ивана Грозного (в 1553 г.) по ошибке и случайности зашел на кораблях Ричард Ченслер, названный двинским летописцем Рыцертом, послом англянского короля Эдварта. Ченслер искал прохода в Индию, но нашел ласковый прием при дворе Ивана Грозного и получил позволение на торговлю. В 1557 году в Лондоне учредилось общество с целью основания этой торговли, а в 1569 году королева Елизавета заключила уже формальный торговый трактат. Французские и голландские корабли не замедлили явиться с товарами; англичане вскоре успели овладеть монополиею двинской торговли и довели дело до того, что царь Федор Иоаннович в 1584 году приказал заложить близ устья Двины новый город — Архангельск, за удаленностью от моря города Холмогор. Торговля Архангельска усиливалась, город увеличивался народонаселением, число приходящих кораблей возрастало, а с тем вместе неизбежно усилилась и промышленная деятельность всего поморского края, который уже не беспокоили «немцы». Царь Федор Ио-

аннович и потом Борис Годунов ослабили монополию англичан, дозволив приход всем иноземцам (с 1604 г. стали ходить гамбургские корабли), а царь Алексей Михайлович даже вовсе запретил англичанам торговлю. Монополистами сделались голландцы, с одной стороны, и русские *гости* московские, костромские, галицкие, вологодские, ярославские и казанские — с другой. Поморцы пользовались ничтожными выгодами. Таким образом шло дело до времен Великого Петра. «Из Москвы,— говорит г. Пушкарев, автор «Описания Архангельской губернии»,— везли в Архангельск товары зимою до Вологды, откуда по Сухоне и Двине сплавляли их на судах. В июле приходили в Архангельск иностранные корабли, и торговля продолжалась до сентября. Это время называли *ярмаркою.* В октябре иностранные корабли отходили от архангельского порта. Главными отвозными товарами были: паюсная икра (доставляемая из Астрахани), меха и звериные шкуры (отпускалось до 600 сороков соболей, до 350 000 белок, до 16 000 лисиц, до 20 000 кошек), юфть, пенька, лен, холст, поташ, смола, деготь, сало, мыло, щетина, рогожи (до 400 000 штук), слюда, рыбий клей, лес». Стало быть, собственно поморских не было. Иностранные привозные товары были разнообразны, состоя из золота, серебра, драгоценных каменьев, посуды, мебели, галантерейных вещей, сукон, бархатов, парчей, шелковых тканей, колониальных произведений, аптекарских материалов, экипажей, сахару, лимонов, испанских и французских вин... За все привозные товары платилось с цены по 6 процентов пошлины. Если иноземец вез их сам в Москву, взыскивались еще 10 процентов и в московской таможне особо 6 процентов. С вывозимых товаров, если они менялись на привозные, ничего не взыскивали, но если отпускались без вымена — брали также 6 процентов.

Петр I, после первой поездки своей в Архангельск, дарованием многих льгот, уменьшением пошлин, повелением возить товары на казенных кораблях успел усилить беломорскую торговлю до того, что число ежегодно приходивших кораблей возросло до 150, а сумма пошлин — до 150 000 рублей. Но основание Петербурга и желание усилить значение нового города заставили Петра сначала ограничить ($^2/_3$ товаров должны идти в новую столицу и только $^1/_3$ в Архангельск), а потом и совершенно ослабить архангельскую торговлю. Указом 1722 года запрещено отпускать русские товары за мо-

ре и позволено привозить в Архангельск только то количество товаров, какое необходимо для местного потребления. Уничтожая одною рукою, Петр Великий в то же время созидал другой. В 1703 году он позволил Шафирову и Меншикову учредить компанию для усиления рыбных, звериных и китовых промыслов по Мурманскому берегу океана и по всем беломорским прибрежьям и для этой цели выписывал из Голландии мастеров. Однако компания не оправдала надежд великого царя: дела велись неправильно мастерами, недобросовестно руководили ими ближние царские доверенные. Петр, уничтожив в 1721 году компании, дозволил заводить подобные частным лицам. Дело нисколько не поправилось. Первым основал компанию купец Евреинов (в 1722 г.), но не имел успеха, как и иностранец Гарцин (в 1723 г.). Царь дозволил свободу промыслов без исключительных компаний и в этом деле, как и в деле кораблестроения, нашел исполнителя в том же умном холмогорце Баженине. Баженин в год смерти любившего его монарха посылал для промыслов три судна с голландскими мастерами, но также без значительного успеха. Точно так же шло дело и в последующие царствования. При Елизавете промысла подчинялись монополии графа Шувалова до 1768 года. В этот год все монополии уничтожились. С 1803 по 1813 год существовала беломорская компания, которая также не принесла особенной пользы. Естественно, что при такой обстановке и условиях самая торговля поморов, помимо архангельской монополии, не могла существовать самостоятельно, идти вперед, иметь что-либо характеристическое, самобытно-русское. И теперь, когда вся торговля Архангельского порта находится исключительно в руках монополистов — немцев и англичан, поморы довольствуются незначительным паем в заграничной торговле — паем, добытым с бою. Вся поморская заграничная торговля производится только с четырьмя маленькими норвежскими крепостями: Гаммерфестом, Вардэгузом, Вадзэ и Тромсеном,— но и торговля эта большею частию меновая, и та почти вся находится в руках местных деревенских монополистов. Дела общины, дела артели и обоюдных соглашений здесь нет. Торговлю эту начинает тот, у кого есть значительный капитал и есть крупное морское судно, особенно шкуна или гальот. Значение этой торговли много усиливает Мурманский берег и спопутные берега, на которых производятся сальные промыслы. Кемское судно, обрядившись с вес-

ны, обирает на месте улова рыбу, сало за полцены на Карельском, Терском и Мурманском берегах и с этим грузом идет в первую попавшуюся навстречу норвежскую крепостцу, и, конечно, преимущественно в ту из них, в которой оно уже успело завести знакомство и начать дела. Здесь оно сбывает товар свой и выменивает соль (беспошлинно), шкуры, треску (если попадется сходнее мурманской), запасается винами, преимущественно крепкими, коньяком, ромом и ликером (по-поморски — *литерою),* накупает фаянсовых чашек и всего, что находит дешевле домашнего, и благополучно, умеючи, проскользает со всей этою контрабандою и неконтрабандою мимо океанских и морских бурь, мимо норвежских и русских таможенных досмотрщиков...

Все закупленное или выменянное таким образом в Норвегии торговцы-поморы обыкновенно продают по пути в становищах Мурманского берега, преимущественно же вина и соль. Этими обстоятельствами особенно пользуются хозяева покрутов. Они, обирая по пути первую рыбу, везут и продают ее в Норвегии, здесь закупают соль и вино. Соль пускают в оборот на собственное дело осола поздней рыбы; вином забирают в кабалу своих покрутчиков на следующие годы. Фарфоровую посуду везут для похвальбы и чванства в деревню.

Торговлей с Норвегией, помимо дальних мурманских и новоземельских промыслов, занимаются кроме кемлян и все другие поморы Поморского берега Белого моря, каковы жители селений Шуи, Сороки, Сумы и некоторых других.

На том же карбасе, тем же путем прибрежного плавания (7 верст рекою Кемью и 30 открытым морем) достиг я до первого за Кемью селения Поморского берега — Шуи... В Шуе встречается уже не один на все селение, но несколько богачей-монополистов, имеющих, как сказывали, может быть, только наполовину меньшие капиталы против кемских богачей. Легче ли от этого трудовым рабочим и недостаточным шуянам — решить не трудно, тем более что и богачи села Шуи, по всем наглазным приметам, положительно ни в чем не разнятся от всех других достаточных мужиков Поморья. То же стремление к роскоши, проявляющееся в фарфоровых чашках, чайниках, несметном множестве

картин по стенам, в нескольких стенных часах, разного рода и вида, с кукушками и без кукушек. Какая-то крепкая самоуверенность в личных достоинствах и развязность в движениях, хотя в то же время и своеобразная развязность, которая выказывается в протягивании руки первым, в смелом движении сесть на стул без приглашения. Богатые поморы, как и шуяне, в этом отношении находятся в переходном состоянии, отделяющем их от простого рабочего крестьянина и приближающем несколько к значению богатеющего купца. Не так бедно и не таким угнетением смотрит быт и тех шуян, которые, не наживши еще собственных капиталов, пока всецело находятся в руках богатых соседей. Даже и у бедных на первых порах можно заметить некоторое стремление к роскоши и комфорту. На женах и дочерях их — ситцевые сарафаны ярких цветов ежедневные. Гребцы мои, девки, сверх платья надевали *нарукавники* — род курточки или теплые рукава, сшитые между собою тесемками. Нарукавники эти предохраняли руки от простуды в то время, когда девки-гребцы положили весла, наладили парус и от безделья принимались или за еду, или за сплетни. Стремление к роскоши и какому-то даже тщеславию доходит здесь до того, что туеса (бураки) и лукошки по всему Поморью не природных цветов, но обычно выкрашены масляными красками с изображением различных цветков и предметов...

Ровно двенадцать часов плыли мы 35 верст расстояния от Шуи до следующего поморского селения, то под мрачным обаянием темноты и высоких волн морского взводня, то под чарующим обаянием лунного света, серебрившего хребты волн, белившего хребты дальнего берегового гранита. Над ним расстилался в непроглядном мраке темный лес.

Передо мною селение Сорока, густонаселенное, разбросанное на значительном пространстве, с церковью, с красивыми, выкрытыми тесом и покрашенными краской домами, которые могли бы сделать честь даже городу Кеми.

Селение Сорока известно по всему Северу красавицами, каких действительно трудно сыскать в других местах русских губерний. Сороцкие девушки и женщины — красавицы почти все без исключения... Прямо перед деревнею расстилается широкая губа, из-за дальнего берега которой чуть-чуть чернеют дома ближнего селения Шизни и серебрится на лунном свете крест

его деревянной церкви. В губу эту Сороцкую заходит такое несметное количество сельдей, что, по словам туземцев, вода густеет, как песок или каша: шапку кинь на воду — не потонет, палку воткни туда — не упадет, а только вертится...

Сельдяной промысел

...Мурманские промышленники начинают ловить сельдь в конце июля, и только через месяц (в конце августа), а чаще и в сентябре появляется сельдь в Белом море на зимовке...

Из лучшей породы сельдей, собственно полярной, названной нашими *зауреей*, ловится незначительное количество, и притом лов этот не составляет особенной отрасли промысла. Когда в Кольскую губу навалило несметное руно, коляне черпали сельдей ведрами. На Мурманском берегу рыбу эту ловят для тресковой наживки и частию на уху для дневного пропитания, и то только для того, чтобы семужья и тресковая с палтусиной уха (щерба — по-туземному) не набила, что называется, оскомины. То же самое можно сказать и про Новую Землю, и про печорское устье; а у Канинского полуострова ее даже и ловить некому. Сельдь легко здесь делается добычею морского зверя, который зато и приходит сюда в заметно большом количестве.

Таким образом, исключительный улов сельдей производится только в Белом море. Делом этим заняты все приморские селения, поместившиеся вблизи мелких, защищенных от морских ветров губ... Главными местами улова этой рыбы надо почитать Поньгаму (селение Карельского берега), Соловецкий монастырь и деревню Сороку (главнее всех).

Вылавливаемая в Поньгаме сельдь самая крупная из беломорских родов этой рыбы и составляет один из лучших сортов ее. На семь пудов весу поньгамской сельди идет только тысяча штук; в осень вылавливается ее до 6000 пудов. Отсюда возят сельдей мерзлыми на шунгскую ярмарку (6 декабря), и редко на благовещенскую (25 марта), по той причине, что оттепели часто захватывают возы на дороге, а иногда и на рынке. Коптить их не умеют, солить начали в последнее время, но неудачно, и на архангельском рынке как поньгамские, так и гридинские сельди считаются одним из худших сортов. В губах островов Соловецкого монастыря

попадается галадья и вылавливается в таком огромном количестве, что по летам дает монастырю возможность кормить ухою и жареными рыбами людное население обители и огромное количество посещающих ее богомольцев. Для этой цели каждое утро выметываются невода. Монастырь в то же время сельдей этих засаливает до 5000 пудов, которые и сбывает в Архангельске; другая часть засола остается на монастырское потребление. Так как засол этот совершается с большею опрятностию и вниманием, то соловецкие сельди почитаются самыми лучшими из всех беломорских (особенно выловленные в Троицком заливе Анзерского острова). Правда, что рыба эта, при изобилии корма у берегов островов Соловецких, делается жирною и даже светлеет телом. В таком случае сороцкие должны быть предпочитаемы им, хотя в то же время засол их отвратительно дурен. Каждая тысяча этих сельдей весит только два пуда, потому сороцкая сельдь — самая мелкая, но зато и самая вкусная: уха из нее легко может спорить с прославленной стерляжьей. Не отличаясь особенно белизною тела, рыба здешняя имеет сладкое и твердое мясо, способное, по приметам знатоков дела, держать в себе засол долгое время и, стало быть, не скоро портиться. По несчастию, и отсюда также идет рыба более в мороженом и талом состоянии и сравнительно в ничтожном числе осоленною... Здешняя сельдь (как и всего Беломорья) коптится не на местах добычи, а в других городах и нередко других губерний (как, например, Вологодской)...

Сами сорочане в торговле сельдями участвуют редко. Коптят сороцких сельдей обыкновенно жители села Кубенского (Вологодской губернии).

Вот в каком небрежении находится этот род промысла, и вот как рассказывался мне один случай самовидцем события, сорочанином же:

— К нашему мужику карел на возу за сельдями приехал. Спросил: есть ли? Есть-де, карбас полон, с верхом. Стали спорить, торговаться. Поладили. Купил карел весь карбас за один рубль медью.

«Бери же, смотри, все!» — приговорил хозяин.

«Ладно, все возьму: тебе не оставлю небось!..»

Стал карел складывать рыбу бережненько, хозяин стоит пожидается; нет-нет да и припугнет кареляка, чтобы поскорее дело делал, не медлил: некогда-де. Навалил кареляк рыбы полон воз, так что уж и класть стало некуда. А в карбасе лежит еще много.

Стоит хозяин, сторожит, покрикивает:

«Всю бери, мне не надо!»

«Да, вишь, мне некуда: тебе дарю!»

«С подареньем-то твоим тебе же и подавиться. Куда мне твоя рыба? Бери знай. Мне с ней куда деваться некуда. Экой дряни у нас много. Ты бы еще песку вон морского подарил мне».

Стал карел опять куда ни попало прятать и попрятал кое-что, да мало.

«Нет,— говорит,— не могу: лучше-де, слышь, тебе оставлю!»

Взялся наш хозяин за строгость да за палку.

«Ты,— говорит,— купил всю — всю и бери, хоть подавися!»

Пригрозил эдак, поругался, сам стал пихать, да уминает боками и смеется: стало, на смех кареляку делал. Поладили так-то. Всей рыбы не убралось; однако отпустил кареляка, и домой пришел, и спать на ночь лег. На первом забытье слышит — стучит кто-то в оконце, зазывается.

Высунул бороду в оконце, смотрит — кареляк стоит.

«Что, брат, карелушко?»

«Лошадка не смогла, пала. Емандую (не знаю), отчего пала».

«Тяжело стало — воз нагрузил; много рыбы купил. Не алчбил бы больно-то! Ну да ладно, посбросай с воза-то побольше — бери мою лошаденку. Пошутил ведь с тобой. Будет время, приведешь лошадку...»

С тем и расстались. А кареляк не привел лошадки, да и в деревню нашу с той поры и глазу не кажет, мошенник.

В Сороцкую губу из веков уже является один род сельдей — галадья, и при этом замечают, что ее нет уже ни в Троицкой губе Соловецкого монастыря, ни в Гридине; точно так же как анзерские и гридинские никогда не мешаются с породами кандалакшскими и покровскою. Всякая сельдь по выходе из океана отыскивает и всегда находит свое место, если только не признавать возможности и необходимости превращения породы от более или менее дальнего путешествия и свойства пищи. Сельдяные руны приходят к Сороке в более значительном числе обыкновенно в осенние месяцы, начиная с сентября и оканчивая серединою ноября, или лучше тем временем, когда губа покрывается льдом... Лов в Сороке истинный праздник: старый и малый в это

время на воде (особенно в первые недели); кипит там изумительная деятельность: простые саки и сачки пускают в дело, невода едва не рвутся от множества рыбы. Крик и шум, смех и брань делают из этого зрелища, как говорят, решительную ярмарку с тем же гулом, с тою же неуловимою бестолковщиной, затеянною, по-видимому, без особенной видимой цели, но как будто в то же время и для какого-то важного, великого дела. Из базарного крика зачастую раздается веселый и громкий смех: это, наверное, заставляют неудачных ловцов в шутку целовать «гурей» — столб, сложенный из диких камней, один на другой, для обозначения того места, где промышляли (таких много встречается по всем беломорским побережьям).

В большей части случаев и в другие времена, как здесь, в Сороке, так и во всех других местах улова этой рыбы, употребляются в дело самые простые снаряды. Ловят неводами, ловят и мережками, теми же самыми мережками, о которых я уже имел случай говорить прежде, при описании ловли семги...

— Ты, батюшко, коли тебе наши сороцкие сельди вкусом своим хуже архимандричьих, соловецких показались, знай: там перво-наперво с молитвой засол творят, а у нас — со всякой непотребной бранью. Опять же там бочонки-то особенные, к ним и старания больше кладут, потому их мало, потому их и в Питер путь лежит: рыбу лавровым листом обкладывают. А наших ведь много, за всеми не поспеешь, за всеми не углядишь: некогда. Да и глядеть-то нечего, чего глядеть? съедят, ей-богу, съедят, да еще прихвалят. Так дело не одну уж сотню лет живет. Ты спроси-ко, где хочешь, про Сороку нашу. А,— скажут,— у них сельдей много, у них сельди самые наилучшие. И смотри,— беспременно: самые наилучшие — слово-то это упомянут. Нет, видно, дело это не нам с тобой править. Так пущай оно и будет, как было при покойничках наших. С тем и прощай, ваше благородье, счастливого тебе пути!

Этими словами провожал меня старик хозяин по пути в карбас, который должен был везти меня до Сухого Наволока или Сухонаволоцкой станции. Перед этой деревушкой морская губа до того мелка, что весла доставали до дна и карбас наш, садясь раз до десяти на мель, едва-едва дотащился до селения. Вот простая, видимая причина, почему селению этому дал народ нехитрое прозвание Сухого. Сухое оказалось маленькой

деревушкой в 50 дворов, со ста жителями, которые все почти ушли на то время на Мурманский берег. Лаяли огромные желтые собаки, попались таможенные солдаты, их будка и сарай, и — что приятно порадовало после всего, что привелось встретить на недавно покинутых прибрежьях моря,— это огороды с капустой и даже картофелем. Кроме того, здесь можно было достать морошку, уже поспевшую и потому *рыхлицу*, и молоко, не отдававшее противным сельдяным запахом.

Не заезжая в селение Вирьму (с 80-ю домами и 180-ю жителями), мы на новом карбасе кое-как по прибылой воде пробрались обратно Сухой губой. Под бойким шалоником (с пылью, как говорят здесь) обогнули ближний наволок направо, на полных парусах пронеслись 17 верст открытым морем, забрались в реку Суму...

В 9 часов вечера я был уже в Суме,— посаде, одном из древних по всему Поморскому берегу, некогда игравшем более значительную роль и имевшем большее значение, чем Кемский острог, хотя и Сума называлась в старину Сумским острогом. Сума и теперь не потеряла своего значения, даже нравственного влияния на соседнее Поморье, хотя значение это стало слабее значения города Кеми.

Сумской посад

Та же неясность и недостаточность исторических данных о времени первого заселения места, занимаемого теперь посадом, встречается и здесь, как неизвестно то же самое и о первоначальном заселении города Кеми. На этот раз, еще до некоторой степени с большею вероятностию, можно положить, что здесь жило сначала финское племя (suomalaiset), давшее свое имя селению. Народное предание говорит, что новгородцы, селившиеся по прибрежьям Белого моря, заняли место несколько выше по реке от нынешнего селения, и именно в так называемом Загорье, в числе десятка домов. Здесь теперь стоит деревянный крест. В 1450 году селение это наряду со всеми другими соседними с ним принадлежало уже посаднице Великого Новгорода Марфе Борецкой, которая именно в этом году подарила его Соловецкому монастырю...

Царская грамота 1555 года утвердила Суму за Соловецким монастырем навсегда. Монастырь посылал сюда своих старцев творить суд и расправу и взимать

повинности. На помощь старцам сумский мир давал выборных, которые отправляли полицейские обязанности.

Дальнейшая судьба посада во всем сходна с судьбою Кеми. Точно так же шведы, литовцы и русские изменники нападали на Суму. Шведы по зимам делали частые набеги, значительно усилившиеся в исходе XVI столетия. В предупреждение этого зла Соловецкий монастырь вынужденным нашелся и здесь, как и в Кеми, построить острог (после чего Сума стала называться Сумским острогом)... В 1590 году в Суму для предотвращения нападений шведов, опустошивших все почти селения Карельского берега, прибыл воевода Ст[анислав] Бор[исович] Колтовской, который, разоривши, в свою очередь, три селения шведских, целый год простоял потом здесь и открытого нападения не дождался. Нападение это уже последовало в 1592 году. Финляндцы, под начальством шведских королевских воевод Мавруса Лаврина да Гавнуса Иверстина, опустошили все Поморье, истребили хлебные магазины, соляные варницы, весь скот, опустошили рыбные тони, многих крестьян взяли в плен, ограбили и сожгли церкви, сожгли вместе с церквами и самые селения, ближние к Суме, наконец подступили и к этому острогу. Сумские стрельцы, при помощи крестьян, успели упорно удержаться в засаде и даже сделали вылазку. Произошел жестокий бой, по словам соловецкого летописца: немцы были обращены в бегство, воевода их был убит и много было взято в плен. Царь Федор Иоаннович, на случай осадного времени, приказал игумену Иакову заготовить в Сумском остроге 500 четвертей ржаной муки. В 1611 году Сума еще раз видела в стенах своих московские войска, явившиеся для отпора нападений тех же шведов, но этот раз был уже последний. Шведы с той поры успокоились. В 1613, [16]14 и [16]15 годах Поморье опустошали черкасы и русские изменники под именем литовских людей. После неудачного нападения на Холмогоры подступили они и к Сумскому острогу. Однако острог снова выдержал и эту осаду, и притом с малым числом ратных людей, почти единственно при одной помощи своих обывателей. В 1691 году острог снова укреплялся против шведов, но напрасно.

Мирно повела свой век эта волость до тех дальних времен, когда (в 1764 г.) она с прочими поморскими селениями отдана была ведению коллегии экономии. За монастырем оставлено было только подворье его дере-

вянное со скотным двором и с четырьмя сенокосными лугами. Подворье это числится за монастырем, и там до сих пор еще живут два монаха...

Из других преданий старины сохранились в памяти сумлян только два: о том, что Меншиков приписал было Сумской острог вместе с Кемью и Керетью к олонецким Алексеевским железным заводам[1], но что государь, по жалобе архимандрита Фирса, возвратил все это в прежнее монастырское владение...

Точно так же, как в Кеми, и здесь в 1826 году от сильных жаров и сухих погод распространились на посадских выгонах сильные пожары, испепелившие церкви, которые впоследствии перенесены были на нынешнее свое место — на гору правой стороны реки Сумы, внутрь старинного острога. Точно так же пожары эти потушены были сильными дождями, начавшимися с 15 августа того же года.

В 1806 году, согласно желанию и просьбе сумских крестьян, они переписаны в мещане, с дарованием им соответствующих прав и присвоением Сумской волости названия посада.

В 1830 году посад Сума избавился от холеры, которая брала свои жертвы по одну сторону его за 70 верст в деревне Нюхче и по другую за 30 верст в селении Сухом. В памяти жителей сохранились старинные названия частей селения. Весь посад поэтому делится на *низовье* — ту часть его, которая начинается от взморья. От низовья следовал *жемчужный ряд* до средины селения, то есть до того места, где теперь выстроен мост, ведущий в заречную половину селения. Средина селения называлась собственно *посадом;* и *труновой ряд,* или *верховье,*— та часть посада, в которой выстроились беднейшие обыватели. Она идет дальше по восточному берегу за город, где начинается уже тундра, на которой растет мелкий сосновый и березовый лес и течет река Сума с прекрутыми каменистыми берегами, неширокая, местами довольно глубокая, кроткая течением, с иловатым дном. Другая половина посада Сумы по ту сторону (левую) реки, та, где существует острог и возвышаются церкви, называется *нагорье,* набережная на-

---

[1] В 1703 г., при основании Петрозаводска под именем Петровского завода, на крестьянах Сумского острога лежала повинность, обязывающая отправлять там разные работы, с 1706 г. по сентябрь 1714 г., когда эта повинность заменена была взиманием в казну 2000 рублей (не внесшие отбывали работу на заводах).

горья — *зарецкая сторона,* дальше — *кислая губа,* и наконец, опять дальше, на выезде,— *слобода...*

Сумские дома точно так же, как и все поморские, двухэтажные; у бедных в один этаж и, в таком случае, с неизменными волоковыми окнами. Но как в том, так и в другом случае у каждого дома крытый двор, на который ведут ворота, и над каждыми воротами непременно крест или икона. Внутреннее расположение избы также одинаковое со всеми поморскими избами и также старинное: неизбежная печь, рядом полати и *грядки,* или *воронцы.* Подле печи сбоку посудный шкаф — *блюдник;* в правом от входа, переднем углу — *божница;* против среднего окна стол; подпечки красятся синею и красною краскою; двери и рамы так же; простенки снаружи обмазывают обыкновенно охрой. Над дверями и окнами в избе и горницах, назначенных для гостей, написана мелом, а иногда масляными красками или чернилами на бумажках молитва: «Христос с нами уставися вчера и днесь, той же и вовеки».

Со второй половины июня месяца до последних чисел августа жизнь в Сумском посаде идет скромным, тихим, размеренным чередом: женщины ткут холст; бучат и белят его. Затем поспевает морошка, обираемая всем женским населением посада; с морошкой приходит и страдная пора сенокоса, для которого являются сюда из дальних деревень своих карелы, женщины занимаются только уборкою уже готового накошенного сена. При этом замечают, что карелы первым условием при найме на страду требуют каши, и по возможности пшенной.

Впрочем, каша пользуется высоким почетом на всем архангельском севере. Если у кого сегодня, говорят, «каша» — значит надо понимать так, что тот хозяин желает отжинаться и приглашает для этой цели добровольных рабочих не за плату, а за угощение. В Холмогорском уезде знают и помнят всероссийскую «крестильную кашу» и за нее кладут копейки «бабке на кашу». По Онеге невеста после бани и «красованья» (когда надевает повязку и при этом похлопывает) идет в подполье и ест там «золотую кашу», то есть непременно яшную. Называют кашей даже и такие кушанья, которые совсем на нее не похожи: горячий из ржаной муки киселек с молоком и маслом — «водяная каша»; густо заваренное ячменное тесто, съедаемое также с молоком или маслом,— «каша-повариха». Карелы не отстают во вкусе и питают к этому кушанью выдающее-

ся почтение наравне с русскими, и с некоторыми добавлениями. Так, например, у них на свадьбах, когда приведут молодую и пообедают и надо снимать с нее платок,— берут на ложку каши и до трех раз подносят ее молодым, чтобы они вкусили уже на этот раз не столько любимого всеми, сколько символического обрядового кушанья...

Изредка, и только отчасти, видоизменяют скромную, тихую жизнь посада (летом) отправления богомольцев в Соловецкий монастырь.

Богомольцы идут на Сумской посад целыми сотнями с повенецкой дороги...

Большими кучками идут эти богомольцы к своему судну, загорелые от жгучего и в здешних местах летнего солнца, с неизбежными котомками за плечами. Под котомками привязаны сапоги или новые лыковые лапти, в котомках праздничное, лучшее платье: нерваные и незаплатанные армяки, может быть, даже и синие сибирки; лапти на ногах, уже непременно измочаленные долгим путем, каковой для иных идет из стран благословенного малороссийского края. Правда, большая часть этих богомольцев бредет из соседних Петербургской губерний; большею частию убитые с виду, неразговорчивые и вообще какие-то неладные псковичи; бойкие, с размашистыми манерами подстоличные торговцы; нередко купцы целыми семьями, с неизбежными самоварами, больше созерцательные и молчаливые, чем разговорчивые. Правда, что эти редко ходят, чаще ездят на лошадях, хотя и немного выгадывают на тряских и уродливых повенецких дорогах. Большая же часть странников приходит в Суму пешком и почти на $^3/_4$ состоит из женщин, пугливых, охающих, почти всегда творящих изустную молитву, большей частью старух. В толпах этих не редкость то полунагие, молчаливые, вытянувшиеся в высокий болезненный рост дурачки-баженники, к которым питает особенное сочувствие весь православный люд русской земли.

Вся толпа богомольцев на пути по посаду Суме творит крестные поклоны перед всяким спопутным крестом, которых так много стоит на перекрестках и перепутьях селения (больше, чем во всех других поморских селениях), и, наконец, садится на лодьи. Паруса еще валяются по палубе; пассажиры собрались уже все.

Судно готово к отправлению, ждут только исправления старинного обычая.

Один из работников обращается к хозяину лодьи:

— Хозяин, благослови путь!

— Святые отцы благословляют,— отвечает хозяин.

— Праведные бога молят,— прибавляет к этому другой работник, обыкновенно кормщик.

Все вслед за этим молятся в сторону, обращенную к Соловецкому монастырю. Потом вытаскивается якорь, и судно, сделавши поворот по солнцу, отправляется в путь, полусуточный даже при посредственном, умеренном поветерье.

Жители посада Сумы твердо стоят в православии, несмотря на то, что ближняя Сорока и все деревни по направлению к Кеми, самая Кемь и деревни по Карельскому берегу почти все и давно уже держатся раскола. Правда, что и в Суму прокралось старообрядство, но крепится преимущественно между женским населением посада. Между мужчинами мало раскольников, и по мере приближения к городу Онеге число старообрядцев постепенно уменьшается, и нет уже их в последнем городе и по всем берегам Онежскому и Летнему, и мало их по Двине...

На Мурман сумляне выходят лет также 100 назад и больше (с Норвегией ведут торг не дальше 50 лет). Промышляют сумляне по тем же правилам и при тех приемах и условиях, как и все другие поморы... С мурманских промыслов возвращаются домой после 20-х чисел августа, заметно напитанные чванством, заметно окрепшие в силах и пополневшие, «быки быками: шея что полено, лицо разнесет, словно месяц»,— по выражению самих же поморов. Днем производится выгрузка судов, а поздно вечером бывает прогулка по посаду молодых парней с девками при веселых хороводных и посиделковых песнях.

Зимние занятия сумлян немногосложны: они или ходят на губы для ловли наваг (самые лучшие и крупные ловятся в нескольких верстах от посада к Кунуручью), или возят на лошадях дрова, ездят подводами от торговцев рыбою и возят проезжающих по делам службы или по делам торговли. В праздничные дни по зимам сумляне спят после обеда, *уднуют* по старому прадедовскому обычаю, и после удкованья бродят толпами по улицам и толкуют обо всем, что взбредет на ум. При этом случае сумляне имеют привычку, не выслушав рассказа или слов одного, перекричать друг друга, и кто больше кричит, тот почитается самым толковым. У женского пола есть общая привычка, войдя в

избу, перекреститься и, помотав потом головою и кивнув хозяевам, тотчас же, не выждав приглашения, с поспешностью сесть на лавку. Этот обычай, как говорят, блюдется из давней старины...

«Сума не купит ума — сама продает»,— говорит местное присловье и подкрепление общего мнения соседей. Равняло их со всеми остальными лишь одно общее для всех этих жителей Белого моря прозвище «красными голенищами» — за то, что обычно носят они самодельные простые сапоги — бахилы (с круглыми носками и без ранта). Их не чернят; сшитые из нерпичьей кожи, они в самом деле отшибают красноватым цветом, даже если оглядеть помора издали. Эти же самые бахилы столь неуклюжи и некрасивы, что сами обратились в ругательное прозвище, приспособленное горожанами к деревенским жителям. Обутые в привозные из Москвы и с Вологды настоящие сапоги (с каблуком и соковой подошвой), глядя на длинные, четверти на две выше колена бахилы поморов, горожане осмеиваются прозвищем «бахилье». За поморами существует еще нелестное прозвище «ворами», но в этом случае следует помнить, что наши присловья вообще злоупотребляют этим словом, и к тому же оно применяется скорее в старинном, чем в нынешнем смысле, и что попалось оно на язык в данном случае лишь вследствие соблазна созвучием. Конечно, находчивость и изворотливость полуголодных и бывалых поморов, не свободная при подходящем случае от плутовства и вороватости, составляет совершенно противоположное качество простодушию доверчивых и ненаходчивых жителей захолустьев, хотя бы даже вроде приречных (конечно, исключая подвинских), и во всяком случае удаленных от больших дорог и частых сношений с новыми и прибылыми.

От Сумы до Онеги

Морем, суженным множеством луд, между которыми самые большие и метко названные — Медвежьи Головы, плыли мы от Сумы по направлению к следующему поморскому селению — Колежме. Виделись нам на протяжении пути этого на берегу и наволоках две избы, на трехверстном расстоянии одна от другой,— соляные варницы; мучительно долго и с крайнею опасностью перетаскивали мы свой карбас между грудами огромных камней, словно нарочно наваленных поперек

спопутного морского залива. Место это, прозванное *Железными Воротами,* ежеминутно грозило опасностью из каждого острия огромных камней, замечательно обточенных морским волнением, и нам, и нашему карбасу, который теперь казался окончательно утлым, ненадежным, ничтожным суденком. Кое-как, после многих криков, ругательств и почти нечеловеческих усилий, пробрались мы через узенький проход, или собственно ворота, сделанные более усилиями рук человеческих, чем течением моря. И, вырвавшись на вольную воду, мы выиграли не во многом: ветер тянул как-то вяло, вода стояла малая в часы отлива. Не доезжая трех верст до селения, мы сели на мель и дожидались, пока сполнялась вода, которой поверхность мало-помалу из желтоватой до того времени становилась все чернее и чернее. Прибылая вода успела поднять несколько карбас, но позволила ему идти опять-таки не дальше версты расстояния: мы опять сели на мель. Три часа стояли мы на прежней мели (хорошо еще, что сумские девки нашлись в это время насказать мне много песен), немногим меньше привелось бы нам стоять и на этой, дожидаясь полой воды. Наконец, после мучительного ширканья карбасом о корги узкой речонки Колежмы и особенно после утомительнейшего, неприятнейшего пешего хождения (под сильным дождем вдобавок) через две версты от карбаса, где по голым щельям, где по избитым и старым мосткам из бревешек и палок, я попал в вожделенное селение Колежму.

Село это разбросано в поразительном беспорядке, и вероятно оттого, что первоначальные жители предпочитали близость моря удобству местоположения. Местность вплотную изрыта огромными скалами, неправильно раскиданными, отделяющими один дом от другого на заметно большие расстояния. Оба ряда домов идут по обеим сторонам речонки, на противоположной стороне которой видится церковь, мелькают флюгарки, вытянутые в прямое, колебательное положение; слышится ужасный свист ветра. Кормщик приносит не много радостей:

— Дождь перестал, а в море пыль стоит: обождать надо!

Между тем в Колежме положительно делать нечего. Промыслы колежомов сходны с сумскими: та же перекупка у сорочан сельдей, за которыми приезжают сюда зимой из Вологодской губернии; та же осенняя ловля наваг на уды. Судов здесь не строят, на лето уходят на

Мурман: всё, по обыкновению, точно так же ведется и здесь, как и во всяком другом селении Поморского берега.

От скуки смотришь в окно и видишь, что перестал дождь, ливший много и долго, выглянуло солнце, но и это увидело не много хорошего: ту же порожистую речонку, те же серые дома и бабу, которая, ухвативши неловко ребенка, выскочила, словно угорелая, из избы на улицу, обежала кругом клетушки, стоящей, по обыкновению, подле реки, раз, другой и третий. Баба задевала за каждый угол, за каждым углом что-то выпевала болезненно слабым голосом, словно совершала какое-то таинство, словно творила какой-то тайный, неведомый обряд. Из лепетанья ее удается поймать только несколько бессвязных слов: «...ушли детки в богатые клетки». Ребенок все время молчит, словно спит, словно перепуган нечаянностью и крутыми порывами матери так, что не может прийти в сознание и заплакать. Мать продолжает бегать с ним кругом другой клети, стоящей рядом с первою. На зрелище это собираются мальчишки, подходит колежом, отнимает у бабы ребенка со словами:

— Дай-ко сюда мне ребенка-то!

— Ребенок — не котенок! — отвечает баба, но отдает его и сама бежит на другой конец селения. Ребятишки и несколько праздных баб следуют за ней. В мою комнату входит кормщик с поразительно спокойным видом и так же хладнокровно отвечает на вопрос мой: «Что это такое делалось перед окнами?»

— А, вишь, полоумная; на ребенке бес-от зло свое вымещает — порчена... Этак-то вот дня по два дурит, а затем и ничего: опять *живет*...

Что за причина болезни в этих странах, где так мало поводов к нервным болезням? Несчастный вид полоумной женщины, поразившей сразу общим тягостным впечатлением, не выходил у меня из головы и требовал справок. Настоящих собрать не удалось, но приблизительно объяснила повитушка-старуха, которая осматривала ребенка, нашла его уродом, всплеснула руками и, разумеется, не задумалась вскрикнуть во все горло и тогда же объявить всем окружающим до самой роженицы включительно. У последней, конечно, со стыда и испуга, бросилось молоко в голову.

— Чем прегрешила, за что божье наказанье?

— Ведь у тебя, кормилка, ребенок-от «распетушье», страшное дело!

Страшное дело для матери,— с косвенным отношением неудачных и несчастных родов (по суеверным приметам) ко всему селению, где это случилось,— для меня стало ясным, когда объяснилось, что родилось дитя «ни мальчик, ни девочка». Здесь уже этой уродливости рождения придумалось новое слово на замену общего русского названия «двуснастным, двусбруйным, двуполым» и на отмену длинного, нескладного и непонятного чужого слова «гермафродит», составленного по греческой мифологии. Здесь домашним способом обходятся проще и удовлетворительно. Ребенка и потом взрослого парня, сохраняющего в чертах лица и характера нежную женственность, с девичьими ухватками, называют «девуля» и «раздевулье»: парень застенчив, на всякое слово краснеет, стыдится того, чего мужчинам не следует, равнодушен к девкам и с ребятами не сходится. Другая женщина его не только заткнет за пояс, но и перехвастает. Она говорит мужским грубым голосом, в ухватках кажется богатырем. Ей бы кнут в руки, да на лошадь. Рукавиц с руки не снимает, любит обувать мужские сапоги и надевать мужичью шапку: это — «размужичье». Таких смелых и грубых баб много в Коле, но зато там про себя делают и отличие: все-де бабы, как люди, а незамужние, вышедшие из лет, «залетные», как говорят в Поморье, грубеют, утрачивая женские свойства, и размужичиваются, усваивая все мужские привычки и приемы, и даже предпочитают всегда одеваться мужчинами. В некоторых случаях — и не без основания — подозреваются и в этих женщинах «распетушья». Если и вырастет раздевулье в большого мужчину и даже женится, он все-таки останется «бабьяком, бабеней». Точно так же размужичье, до крайнего возраста на старости,— «мужлан и бородуля», потому что у иных и бородка обозначается и на губах усы пробиваются с юношеских лет, чтобы так уже все знали и видели. Кстати сказать, счастливый ребенок, уродившийся со схожими помесными чертами и свойствами отца и матери, «балованное чадушко», на богатом архангельском языке называется «сумясок» — две полосы мяса, согласная и обещающая много хорошего помесь двоякой природы, благодатная и удачная смесь. Вообще должно заметить, что, распоряжаясь с успехом союзами «раз» и «со», коренная народная речь обогатилась не только красивыми словами, но и образно-понятными и внушительными.

Размышление мое прервал тот кормщик, который

поразил меня равнодушием к участи колежомской порченой женщины. Он оповестил:

— Карбас готов, ваше благородие. Ветру выпало много, да он нам *унос* до Нюхчи...

Следующее утро осветило передо мною толпы народа, шедшие в церковь (был праздник успения), осветило и самую церковь поразительно оригинальной архитектуры, выстроенную на высокой скале и тем же мастером, который строил и Кольский собор. В здешней церкви четыре придела: Никольский, Богоявленский, Климента — папы римского (особенно чтимого поморами) и Святой Троицы. Построена она в 1771 году, освящена в 1774-м. Две, бывшие прежде ее и на другом месте, сгорели. Внутренность существующей церкви довольно богата; староверов здесь заметно меньше, но все-таки существуют. В реке выстроен забор для семги с двумя маленькими вершами, которые называются здесь *рюшками;* вершина их зовется *чупой;* в них попадает рыбы мало, и ее больше ловят поездами осенью. По веснам заходит сюда мелкая сельдь, которую также ловят и продают в Онеге и за Онегу; берут ее и карелы и потом вялят, сушат и солят для себя. Сельдей в волости Владыченской меняют на хлеб и редко продают на деньги...

В 1590 году царь Федор Иванович подарил Нюхчу Соловецкому монастырю; в 1764-м она вместе с другими монастырскими волостями отошла в ведение коллегии экономии.

Здесь все те сведения, которыми можно было воспользоваться в селе Нюхче. В селе два раза в год бывают крестные ходы из селения к часовне, построенной у Святого озера и Святой горы, совершаемые, как говорит предание, в воспоминание избавления селения от *Панька.* Предание об этом Паньке и вообще о паньщине — времени набегов на поморские селения литовских людей и русских изменников — в памяти народа сливаются с преданиями о главной исторической достопамятности села Нюхчи — посещении Петром Великим, который вел отсюда две яхты по нарочно устроенной для этой цели дороге. От дороги этой, известной в народе под именем *царской* и *государевой,* до сих еще пор сохранились остатки. Та часть ее, которая ведет от села к Святой горе и Святому озеру, ежегодно поправляется и поддерживается по той причине, что здесь совершаются церковные крестные ходы в день троицы и покрова. Дальше на всем своем протяжении дорога эта

значительно погнила и потерялась в болотинах и грудах гниющего валежника. Только, говорят, около Пулозера (в 45 верстах от Нюхчи) сохранился курган, и подле него до сих пор валяется огромный дубовый кряжище-столб, стоявший, вероятно, на кургане, где сохранилась еще огромная яма.

Вот что записано в «Церковном памятнике села Нюхчи» об этом путешествии Петра Великого: «В 1702 году проходил Петр с сыном своим Алексием и синклитом в Нюхчу с моря. Свиты его, кроме начальников, ближайших бояр, духовных особ и чиновных людей, было 4000 человек. Царь пристал из Архангельска чрез пролив океана на 13 кораблях под горою Рислуды, а на малых судах пристал к Вардегоре; корабли изволил отпустить в Архангельск. От пристани царь шел в Нюхчу и изволил посетить село; отсюда пошел в Повенец мхами, лесами и болотами 160 верст, по которым были деланы мосты Соловецкого монастыря крестьянами. По этой дороге людьми протащены две яхты до Повенца, от которого его величество озером Онегою на судах поплыл в пределы Великого Новгорода и пришел к городу Орешку, что ныне именуется Шлиссельбург».

А вот что рассказывает о тех же событиях народное предание:

«Были на нашу сторонку многие божеские попущения и разные беды: приходили к нам грабить скот, воровать девок и маленьких ребятенков *паны*. Всякий панок, у которого были рабы свои, крестьяне бы по-нашему, волен был творить всякий разбой и грабительство. Эдакий-то один пришел и к нашему селению в старые времена. Тоже богатый был панок и силу большую имел: много народу водил за собой (а сказывал мне все это старик дедушка, а дедушке-то другой сказывал, а этому-то, другому, было восемь десятков лет: тот дело это сам видел). Грабил этот панок все деревушки поблизости: надумал сотворить то же и с нашим селом, и силу распределил, и спать лег. Поутру проснулся, диво видит: бьют его воины всяк своего брата. Бьют они, и рубятся, и насмерть друг друга кладут: потемнились люди неведомой силой и помотались все в озеро, которое и прозвали с той поры Святым; и гору подле тоже Святой прозвали, затем, что спасение свое тут село наше получило.

Увидел панок народу побитие и, не ведаючи причины тому, взмолился Богу со слезами, и крепким покая-

нием, и таким обещанием: «Помилуешь меня, господи,— веру православную приму и разбойничать и убивать крещеные души вовеки не буду!» Господь устроил по его желанию: простил спокаявшегося, дал ему жизнь и силу. Пришел панок этот в селение наше, от священника православного благословение и крещение принял и стал простым крестьянином: стал землю пахать, на промысла в море ездить, скоро научился с волной правиться и стал распрехорошим кормщиком — всем, слышь, на зависть.

Вот и идет, слушай, царский указ в Архангельский город: будет-де скоро царь — приготовьтесь. Едет-де он морем, так шестнадцать человек ему *лочиев* (лоцманов) надо. Ждут царя день, ждут и другой, хотят его лик государский видеть: от дворца его не отходят ни днем ни ночью. Смотрят, на балкон вышел кто-то. Лоцмана пали на землю, поклонение ему совершили, и лежат, и слышат: «Встаньте-де, православные — не царь я, а генерал Щепотев. Петр Алексеевич сзади едет и скоро будет. Велел он вам свою милость сказывать: выбрать-де вам изо всех из шестнадцати самых наилучших, как сами присудите». Выбрали четырех, пришли к Щепотеву. «Выберите-де из этих самого лучшего! Он будет у царя кормщиком, а все другие ему будут помогать и повиноваться». Выбрали все в один голос Антипа Панова, того самого, что под наше селение с войной приходил и святую веру принял.

Царь на это время приехал и сам и сейчас на корабль пришел, Антипа Панова за руку взял и вымолвил: «На тебя полагаюсь — не потопи». Панов пал в ноги, побожился, прослезился; поехали. И пала им на дороге зельная буря. Царь велел всем прибодриться, а Панову — ладиться к берегу; а берег был подле Унских Рогов, самого страшного места на всем нашем море. Ладился Панов умеючи, да отшибала волна: не скоро и дело спорилось. Царю показалось это в обиду; не вытерпел он, хотел сам править, да не пустил Панов: «Садись, царь, на свое место: *не твое это дело;* сам справлюсь!» Повернул сам руль как-то ладно, да и врезался, в самую губу врезался, ни за един камешек не задел да и царя спас. Тут царь деньги на церковь оставил, и церковь построили после (ветха она теперь стала, не служат). Стал царь спрашивать Панова, чем наградить его; пал Панов в ноги, от всего отказался: «Ничего-де не надо!» Дарил царь кафтан свой, и от того Панов отказывался. «Ну,— говорит,— теперь *не твое*

дело: бери!» Снял с себя кафтан и всю одежду такую, что вся золотом горела, и надел на Панова, и шляпу свою надел на него; только с кафтана пуговицы срезал, затем, слышь, золотые это пуговицы срезал, что херувимы, вишь, на них были [1]. И взял он Панова с собой и в дорогу; в Соловецкий монастырь и в Нюхчу привез, и на Повенец повел за собой.

А в Нюхче нашей царь остановился под лудой Крестовой. У Ва́рдегоры была сделана царская пристань для кораблей; лес теперь разнесло, остался один колодезь, да по двум каменным грудам еще мо́жно признать это место. Они-де и песочком были прежде обсыпаны. Теперь вода все это замыла и унесла [2]. В нашу Нюхчу пришел царь со своим любимцем Щепотевым, погулял по ней, показал народу свои царские очи. Деревню похвалил: «Как-де не быть деревне богатой — государево село!» Жил он у нас сутки целые в том месте, где теперь стоит наша церковь, а прежде стояли две соловецкие кельи. Для царевича был припасен другой дом, крестьянский, на другой стороне, супротив царского дома. На другие сутки царь отправился по реке нашей прямой к дороге, а строили эту дорогу целый год всеми волостями соловецкими; из разных сторон народ пригнан был, несколько тысяч. Дорога эта так и покатит вдоль по реке, подле берега, верст на 14. Тут *поворот* называется, и курган был накладен с печь ростом, на самом кряжу да на бережку (и теперь его знать, хоть и стал он поменьше). Тут царь опросил: «Нет ли де, да не знают ли, где бы можно водою проехать?» Сказали, что нету.

На ту пору под яхтами царскими стали подгибаться, а инде и совсем обваливаться мосты. Доложились царю, что не ловко-де ехать, никак не мочно, нудно-де

---

[1] По более достоверным письменным свидетельствам видно, что царь подарил кормщику свое мокрое платье, даже до рубашки, выдал 5 рублей на одежду, 25 рублей в награду и навсегда освободил от монастырских работ. О последующей судьбе Антипа Панова народное предание повествует следующее: царь Петр, подаривши Антипу свою шляпу, даровал ему вместе с нею право бесплатно пить водку везде, во всех царевых кабаках, во всех избах, где бы и кому бы ни показал он эту шляпу. Панов этим лакомым правом не замедлил воспользоваться и неустанно злоупотреблял им до такой степени, что наконец опился и умер от запоев.

[2] Я был на этих местах, и только по указаниям рассказчика можно с трудом различить уцелевшие признаки царской пристани. Груды камней действительно могли быть навалены руками человеческими. Все рассказываемое здесь происходило в 1702 году.

очень (а ехал он на своих конях, на кораблях привел коней этих из Архангельска). Велел царь на *берлины* поставить — лесины такие сделали вроде лыж бы, али наших креньев. Так и потащили царские тележки и яхты эти дальше к Пулозеру, где курган высокий, знать, теперь и кряжище дубовое. Пулозеро (40 верст от Нюхчи) оставил царь в стороне, вправе, и в деревню не заходил, а приехал в деревню Колосьозеро. Тут он и перешел мостом через речку, а затем волоком верст тридцать шел диким таким лесом и опять же по мосту (по настилке). В лесу-то этом и доселева еще полосу, просеку такую, сажени в три в ширину, заприметишь, хоть мосты и заросли травой шибко. Из Колосьозера шел царь в деревню Вожмосову[1], оттуда уж плыл по Выгозеру и по Выгу-реке на деревню Телейкину, через речки Муром да Мягкозерскую. Оттуда опять по мосту, по болотам да по лесам, на сорок верст до Повенца города. Гати по дороге и до сей поры в примету. Прошел он, сказывают, всю эту дорогу (160 верст) в десять дней. А затем, толкуют, Онежским озером шел да рекою Свирью в Ладожское. На озере этом он город[2] взял и положил под ним, сказывают, много народу. Щепотев попрекал его за это: «Зачем-де ты, царь, много народу положил? Лучше бы, слышь, пушку навел: и город бы взял скорее, да и народу бы де потратил меньше!»

У нас тут по дороге-то по этой одно место за примету, верстах в шестнадцати отсюда, зовется *гора Щепотина* — и вот почему. Щепотин этот изобидел чем-то царского коршика Антипа Панова: щипал его, слышь, все сзади; подсмеивался. В обиду, знать, показалось, что тот об руку с царем идет на Щепотином месте. Панов изобиделся. Царь успокаивал было его, мирил обоих. Панов на своем стоял: требовал закону и челобитную подал. Царь принял и решил Щепотина высечь. И высекли его подле этой горы, что сейчас зовется Щепотиной. Сказывают еще, что когда царь был в Соловках — оставил ящик денег с наказом открыть его и тратить деньги тогда только, когда монастырь обеднеет».

---

[1] Деревушка эта — собственно В а ж м о - с а л м а — лежит у проливца на юго-восточном углу Выгозера, в 27 верстах от Пулозера. Здесь царь подарил хозяину дома, в котором останавливался, кафтан.

[2] Орешек, названный им потом Шлиссельбургом — Ключом-городом, и крепость Нотебург при устье Невы.

Передавая рассказ этот, я старался возможно вернее держаться подлинных слов рассказчика, нюхоцкого крестьянина Ф. Г. Поташева, происходящего по прямой линии (женской) от Панова. Подробности рассказа этого казались мне тем более интересными, что о переправе яхт и путешествии Петра Великого известно не много по коротким, отрывочным сведениям... Если из рассказа этого откинуть все те места, которые подлежат еще некоторому сомнению, как, например, о наказании Щепотина за такую ничтожную, темную вину, то все остальное кажется достойным вероятия, сколько по простоте рассказа и несложности событий, столько же и по тому обстоятельству, что времена Петра Великого не далеки и не могли еще быть затемнены народным вымыслом и баснословием. В рассказе нюхоцкого старика может показаться баснословным только предание о паньке, и то в подробностях...

Архангельский народ мог увлечься особенною любовию к своему собрату и земляку, одаренному царскими милостями, и настолько, чтобы по созвучию имен произвести его путем баснословия от заморского князя. Это в духе народных преданий всех веков и народов. Потому-то все эти предания достойны внимательной, строгой критической проверки, а не бездоказательных опровержений. Панов ли, другой ли кто ездил с Петром в Белое море, но этот же кормщик мог провожать царя на Повенец, и все-таки есть вероятие предположить, что мог об нем царь вспомнить и взыскать своею милостью еще один раз. Правда, что народ перепутал и соединил оба события в один год, тогда как несчастный случай подле Унских Рогов произошел в 1694 году, а яхты переправлялись уже в 1702 году, как сказано. Но и перепутал народ события эти опять-таки, как нам кажется, для того кормщика, в лице которого он хочет видеть одного из идеалов своих мореходцев, который сумел приложить доморощенные мореходные способности ко спасению великого царя от верной гибели и в самую критическую минуту жизни...

Путь от Нюхчи до Унежмы был последним карбасным путем, так сильно утомившим и опротивевшим в течение с лишком двух долгих месяцев. С Унежмы начинался иной путь и новый способ переправы, мною еще ни разу в жизни не изведанный и предполагавшийся лучшим.

Помню, когда, к неописанному моему счастию, проширкал наш карбас своей матицей — килем — для меня в последний раз по коргам и стал на мель, я нетерпеливо бросился вперед по мелководью оставшегося до берега моря вброд. Помню, что с трудом я осилил гранитную крутую вараку, выступившую мне навстречу и до того времени закрывавшую от нас селение. Помню, что наконец осилил я щелья, переполз через все другие спопутные, перепрыгнул через все каменья и скалы и, освободившись от этих препон, бежал — бегом бежал в селение. Я не замечал, не хотел замечать, что небо задернулось тучами и сыпало крупным, хотя и редким дождем; я видел только одно — вожделенное селение Унежму — маленькое, с небольшой церковью, которая скорее часовня, чем церковь. Я ничего в этот раз не знал, что со мною будет дальше: так ли будет дурно или еще хуже. Я хотел знать и знал только одно: что меня не посадят уже в мучительный карбас и не стеснят будкой и капризами моря. Я хорошо знал и, признаюсь, как дитя радовался тому, что привезший меня карбас пойдет отсюда назад в бесприветную Нюхчу, и что, если я захочу сам, меня не повезут до Вóрзогор прямым ближним путем, но путь этот идет опять-таки морем, опять-таки в карбасе. Нет, лучше возьму дальнейший, более поучительный путь и в первый раз в жизни попробую ехать верхом во что бы то ни стало, чем сяду опять в докучливый карбас.

— Давай, брат, мне лошадей!

— Готовы,— отвечал староста,— вещи на тележку-одноколочку положу и сам сяду, а то тебе марко будет и неловко сидеть: грязью закидает, да и коротка таратаечка,— еле чемодан-от твой уложился... А вот и тебе конек. Не обессудь, коли праховой такой да не ладный: сена-то ведь у нас не больно же много живет, а овсеца-то они у нас сроду не видят.

Мы ехали дальше. Я мчал во всю прыть, насколько позволяли делать то скудные силы клячи и чудная, ровная дорога куйпогой, то есть по песку, гладко обмытому и укатанному до подобия паркета недавно отбывшей водой. Виделись лишь калужины с водой, еще не просохшей и застоявшейся в ямах. Виделся песок, несметное множество белых червей, выползавших из-под этого песку на его поверхность; кое-где кучки плавнику — щепок, наметанных грудами морем; выяснился лес, черневший по берегу, речонка, выливавшаяся из этого леса, дальние селения впереди, из которых одно было са-

мое дальнее — Ворзогоры. Назади едва поспевала за мною одноколка с чемоданом и ящиком. Я ощутил крайнее неудобство моего седла, кажется, деланного с тою преимущественною целью, чтобы терзать все, что до него касается: стремена рваные, высоко поднятые и неспособные опускаться ниже. Я мчал себе, мчал во всю немногую силу своей лошаденки, пугливой и в то же время, к полному счастью, послушной. Как бы то ни было, но только в четыре часа с небольшим я успел сделать на коне своем тридцать верст перегону до села Кушереки. Вспоминались мне уже здесь таможенные солдаты, бродившие по улице Унежмы, бабы, ребятишки, мужики, рассказы моего ямщика о том, что здешний народ весь уходит на Мурман; что дóма иногда строят они суда и даже лодьи, промышляют мелких сельдей и наваг на продольники; что попадают также сиги, что хлебом пользуются они отчасти из следующего по пути селения Нименги. Вспоминаются при этом кресты, так же, по обыкновению поморских берегов, расставленные и по улицам покинутой Унежмы. Видится, как живой, один из таких крестов под навесом, утвержденным на двух столбах. Вспоминаются бабы на полях, подсекавшие траву, перевертывая коротенькую косу-горбушу с одной стороны на другую. Вспоминаются почему-то и зачем-то картины, развешенные по стенам станционной квартиры: «Диоген с бочкой и Александр Македонский перед ним в шлеме»; «Крестьянин и Разбойник» (басня); «К атаману алжирских разбойников представляют бежавшую пленницу»; «Жена вавилонская, Апокалипсис, глава седьмая-на-десять»; «Дмитрий Донской»; «О богаче, дающем пир, и почему они не пришли» и прочие.

Ожидают новые впечатления, требуют внимания новые серьезные данные: перед окнами расстилается новое селение — Кушерека, людное, одно из больших и красивых сел Поморского берега. Село это строит малые суда (лодьи весьма редко). За три версты до селения по унежемской дороге в трех сараях варят соль. Село имеет церковь, не так древнюю и вместе с тем не оригинальной архитектуры, имеет реку Кушу, мелкую, но бочажистую (ямистую) и порожистую. Народ ходит на Мурман: обрадовавшись уходу англичан, на этот раз ушел туда почти весь. Ловится семга в заборы, в те же мережки, называемые здесь уже нёршами, попадают корюха, камбала; кумжу (форель) ловят сетями; ловят также по озерам мелкую рыбу для домашнего по-

требления и по зимам удят наваг для продажи. Озерная рыба и здесь не в чести, ни щуки, ни меньки (налимы), ни прочая мелкая: избалованные морскими рыбами, хвастливые поморы сложили даже такую поговорку: «Карельска рыба — не рыба: лонски сиги — не сиги», или с таким изменением: «Карельски сиги — не рыба, деревенска рожь — не хлебы»...

От Кушереки до Малошуйки считают почтовым трактом пятнадцать верст. Дорога идет сначала горой, потом спускается в ложбину, как будто в овраг какой-то. Подкова лошади не звенит о придорожный гранит и не врезывается в рыхлую тундру или летучий песок. Влеве видится узкая полоса моря, как говорят, на восемь верст отошедшего в сторону. Еще некоторое время чернеет Кушерека своими строениями, отливает крест ее церкви — и все это пропадает по мере того, как мы спускаемся в ложбину. Тут шумит бойкая, по обыкновению говорливая, речка; через речку перекинут мост, наполовину расшатавшийся и наполовину погнивший. Пришли на память в эту пору предостережения кушерецкого ямщика, который подвел ко мне лошадь с таким оговором:

— Конек маленький, а не обидит тебя: нарочно такого про твою милость выбрал.

Оставалось, конечно, поблагодарить, что я и сделал.

— Только ты под уздцы его не дергай — на дыбы становится, сбрасывает. Не щекоти опять же — задом брыкает. Не хлещи — замотает головой, замотает, не усидишь, хоть какой будь привышный. По весне-то его гад (змея) укусил.

— Так ты бы попользовал его.

— Пользовал: травы парили.

— Какие же?

— Голубенькие такие бывают цветочки...

— Словно бы колокольчики! — добавил другой мужик.

— А ты бы, Никифорушко, канфарой примочил,— вступился третий.

— А, ладно,— отвечал Никифорушко,— есть канфара-то; разносчики, вишь, у нас в деревне-то живут: есть, чай, у них. Ладно, ну!

Лошаденка, вопреки предостережениям, оказалась бойкою, не брыкливою и не тряскою, так что я успел даже приладиться ехать на ней вскачь, особенно после того, как дорога из ложбины потянулась в гору. Тянулась дорога эта по косогорью, кажется, две-три версты.

Скакал мой конек, для которого достаточно было одного только взвизга, легкого удара поводьем, и вынес меня на гребень горы, на котором только что могла уместиться одна дорога: так узок и обрывист был этот гребень. Узеньким, хотя и замечательно гладким рубежком шла по этому гребню почтовая тропа, достаточная, впрочем, для того, чтобы пропускать верхового и потом одноколку также с верховым. Одноколка, с трудом поспевая за мной, плелась себе вперед, не задевая ни за придорожные пни, ни за сучья.

Мы продолжали между тем подниматься все выше и выше. Но вот впереди нас на спопутном холмике показался крест под навесом; рядом с ним другой. Гора здесь как будто надломилась и пошла вперед отлого вниз, заметно некруто, какими-то террасами, приступками. Но ехать дальше было невозможно. Я, как прикованный, остановился на одном месте и, как видно, самом высоком месте горы и дороги — на половине станции, как предупреждал ямщик раньше. Ямщик говорил еще что-то и долго и много, но я уже не слушал его: я был всецело охвачен чарующею прелестью всего, что лежало теперь перед глазами.

Высокие березы и сосны, не дряблые, но ветвистые, с бойкою крупною зеленью, провожавшие нас в гору, здесь раздвинулись, несколько поредели, и как будто именно для того, чтобы во всей прелести и цельности открыть чудные окрестные картины. Пусть отвечают они сами за себя, очаровывая отвыкшие от подобных картин глаза, забывшие о них на однообразии прежних поморских видов.

Влево от дороги, по всему отклону горы, рассыпалась густая березовая роща, оживлявшая тяжелый, густой цвет хвойных деревьев, приметных только при внимательном осмотре. Роща эта сплошною непроглядною стеною обступила зеркальное озеро, темное от густой тени, наброшенной на него, темное оттого, что ушло оно далеко вниз, разлилося под самой горой, полное картинной прелести, гладкое, не возмущаемое, кажется, ни одной волной. Солнце, разливавшее всюду кругом богатый свет, не проникало туда ни одним лучом, не нарушало царствовавшего там мрака. Мрак этот сливался с тенью берега, густой прибрежной рощи и расстилался по всему протяжению рощи, поднимавшейся на берег озера, также в гору. Видно было, как постепенно склонялась она на дальнейшем протяжении, редела заметно, переходила в кустарник, пропадала в этом ку-

старнике. Пропадал и этот кустарник в спопутном песке. Песок тянулся немного; на него уже плескалось, набегало волнами своими море, у самого почти горизонта, далеко-далеко...

— Что загляделся долго: али уж хорошо больно?

Ямщик, стоявший все время, поехал вперед; я бессознательно повиновался ему.

— Гора, вишь, здесь, самое высокое место, так и берет глаз-от далеко — оттого это. Малошуйские бабы за грибами сюда ходят: много грибов по горе-то этой живет; попадаются и белые: сушат, во щах едят по постам.

— Морошку-то больше мочат, а то так едят,— говорил мой ямщик во все то время, когда исчезала от нас часовня; стушевались все эти чудные виды.

Я еще долго не отрывался от них, несколько раз поднимался снова наверх к часовне и всякий раз встречал от ямщика наставления:

— Пора, ваше благородье, на место: стемнеет, хуже будет. Дорога за Малошуйкой самая такая неладная, что и нет ее хуже нигде. Полно, будет!..

Село Малошуйка большое, раскиданное по двум берегам довольно широкой речонки. Встречает оно меня большими домами, деревянной еще не старой церковью. Оставшиеся дома жители его рассказали о том, что село это некогда, до штатов, приписано было к Кожеозерскому монастырю (существующему еще до сих пор вверх по реке Онеге); что они стреляют птиц и деньгами от продажи их оплачивают государственные повинности. Бьют и морских зверей, ловят и рыбу, но в незначительном количестве. Большею частию они по летам также выбираются на Мурман и строят суда, но не много. *Отлучаются* и в Питер для черновых работ, на которые укажет случайность и личный произвол хозяев. Прежде занимались в селе Малошуйском хлебопашеством, но теперь производится это в меньших размерах, оттого-де, что земля неблагодарна, а вероятнее оттого, что сманили богатые соседи — океан и море.

По церковному «Памятнику» видно, что церковь Сретения освящена в 1600 году по благословению новгородского митрополита Евфимия, а другая церковь (холодная), Николая Чудотворца, сооружена в 1700 году. Обе церкви эти существуют и в настоящее время, и обе заново обиты тесом. Жители здешние еще держатся православия, и только незадолго до моего при-

езда вывезены отсюда в Онегу два раскольника, явившиеся было сюда проповедовать старый закон и исповедание. Рассказывают еще, как бы в дополнение ко всем этим сведениям, что у самого почти селения есть небольшой, сажен в 50 высотою, обсыпавшийся курган, который сохраняет еще новое предание о набегах паньков (литовских людей) и тяжелом времени *паньщины*. Сюда будто бы малошуйский народ, проведав о скором набеге неприятелей, спрятал свои богатства в трех цренах (котлах): в одном положено было золото, в другом — серебро, в третьем — медь. Црены эти покрыты были сырыми кожами, засыпаны землей, образовавшей этот холм, или «челпан» — по здешнему говору, и зачурованы крепким заговором. Никто не может взять этого клада (пробовали несколько раз, разрывали гору). Откроется клад и скажется (выйдет наружу) тогда, когда явится сюда семь Иванов, все семь Иванычей, все одного отца дети. Узнают об этом московские купцы — придут и раскопают...

Предание об этих паньках не пропадает и дальше и еще раз встречается при имени следующего за Малошуйской селения Ворзогор, которое будто бы называлось прежде *Вóрогоры* и по той причине, что первое заселение этого места начато *ворами,* теми же паньками, основавшими здесь свой главный притон. Поселившись на высокой горе, паньки эти — воры — прямо из селения могли видеть все идущие по реке Онеге и по Белому морю суда, всякого едущего по нименгской и малошуйской дорогам. Предание это присовокупляет далее еще то, что ворзогорские воры грабили окрестности и потом, когда приписаны были к Нименге, селению, брошенному в сторону от почтовой дороги, на реке того же имени, занятому вываркой соли в одном чрене и заселенному, как говорит то же предание, еще во времена Иоанна Грозного.

Рассказывают также, что в Малошуйке живал некогда богатырь Ауров, который-де, что сено косил, побивал дубиной нападавших на селение паньков с бердышами, которые были-де как грабли по форме своей и внешнему виду.

За Нименгой в болотах, рассказывали другие, лет тому восемьдесят назад семь беглых образовали было селение, относительно людное и большое. Один случай, причиною которого было поползновение к свальному греху одного из поселенцев,— и именно убийство за то виновного пешней, впотьмах в сенях — уничтожило дело

поселенцев в самом начале. По случаю убийства этого наехал суд и разогнал всех поселенцев; теперь уже нет селения, а обитатели его спокойно перебрались в соседние, оженились там и незаметно пропали в массе защищенных правами законов обитателей.

В Малошуйке свадьба: крестный отец — по старинному новгородскому обычаю, которому следовала, может быть, и Марфа Посадница, выходя замуж за Исака Борецкого,— крестный отец (или брюдга, то есть крестная мать) сходил сватом, вызвал невестина отца в сени (непременно в сени), сговорился с ним, услав весть о намерении в невестину избу. Разнесли эту весть бабы по деревне.

— Находит на дело! — защебетала и невестина и женихова бабья родня.

Надо ладить жениховой родне подарки: будущему свекру — ситцевую рубаху, холщовые порты, будущей свекрови — штоф на сороку, которую сладит она в виде копыта и положит в сундук, если заразилась от молодых девок городскою модой. Ей же припасет невеста красной холстины на сорочку (которую по Белому морю рубахой не называют). Золовкам пойдет штофное очелье к девичьей повязке; деверьям по ситцевой рубахе да вместо стариковых портов по ивановскому платку с цветочками либо с городочками. Женихов отец или сам жених дают невестину отцу деньги «на подъем», то есть на вино.

Если злые люди свадьбы не расхинят (не расстроют), если не уверят в том, что невеста «кросен расставить не толкует» (то есть не умеет ничего делать), быть представлению сложному и многотрудному.

Зажегши свечу и помолившись иконам, начинают пить малое рукобитье: дело кончено, по рукам ударено, и малое рукобитье выпито. Теперь за «большим» стоит дело. Ходит невестин отец по знакомым, всякого просит — молитствуется: «Господи Иисусе Христе, сыне божий! Иван Михайлыч, загости ко мне хлеба-соли кушать, на винну чарку». Невеста с девушками идут в свою беседу, которая называется «заплачкой». Она прощается поочередно с каждой подругой. Жених посылает двух парней с угощениями. С ними приходит и невестина крестная мать, с «почолком», или повязкой с двумя рогами, вышитой на серебре кемским жемчугом, которую и надевают на невесту. Теперь, само собою разумеется, надо плакать. Невеста плачет и вычитывает —

стиховодничает, подруги подголосничают, помогают стихи водить такие:

Не во саду-то я, бедная, обсиделасе,
Не на сад-то я, бедна, огляделасе,
Не на травку-муравку зеленую,
Не на всяки цветочки лазоревы.
Не вода надо мной разливается,
Не огонь надо мной разгорается:
Разгорается мое зяблое сердце ретивое,
Разливаются мои горькие слезы горячие
По блеклому лицу — не румяному.
Что за чудо — за диво великое,
Прежде этыя поры — прежде времени
Сидела я, глупа косата голубушка,
В собранной своей тихой беседы смиренныя,
Не бывала крестовая ласкова матушка
Со хорошей-то моей дорогой воли вольныя.

Уж послушайте, милые подружки любовныя,
Не расплетайте моей русой косы красовитыя,
Два востраго ножа, два булатнаго,
Обрежьте свои белыя опальныя рученьки, —

поет невеста так потому, что в это время расплетают ей косу торопливо и скоро,— скоро по той причине, что та девушка, которая выплетет из кос ленту раньше, берет себе эту ленту. Окончание песни обязывает невесту на новый обряд. Она «давает добров», то есть при каждом стихе ударяет правым кулаком в левую ладонь и кланяется в пояс. После нескольких таких поклонов падает она в ноги тому, кому давает добров, и, поднявшись с полу, обнимает. Давая добров крестной матери, спрашивает (с подголосницами): «По чьему входишь повеленью ды благословленью,— со слова ли, с досаду ли ласкотников — желанных родителей, не от своего ль ума, да от разума?» Ответ заключается в самой песне. Невесту накрывают платком и уводят из избы с песней:

Послушайте, мои милыя подруженьки любовныя!
Пойдемте вон со тихия беседы смиренныя:
Пришли скорые послы, да незастенчивые.

Идя по улице, поют о надежде заступы милых, ласковых братьецов: «Сполна-де пекет красное солнышко угревное; во родительском доме — теплом витом гнездышке — сидят они вкупе во собрании, весь-то род племя ближонное. Топерь, слава тебе боже — господи, не бедная ды не обидная»...

Между тем кончилась улица, пришли к лестнице. На лестницу эту вызывают родную мать для встречи, без

матери «не несут ножки резвыя во часту во ступенчату лисвёнку, как севодня до по-севоднешному». Когда выйдет мать «со тонким-то звучным со голосом, со умильной-то со горазной со причетью»,— стихи поют ей спасибо.

Приходят в сени,— опять заплачка:

Становись моя поневольная млада головушка
Середь новых-то сеней перёных.

В сенях снимают с головы плат с новой заплачкой:

Теперь скину свои очи ясныя,
Оведу кругом новы сени перёныя, —
На которой стены ограды белокаменныя
Стоят чудные Спасы многомилостивые.

И молитва:

Помолиться было сизой касатой голубушке
Богу Спасу, пресвятой богородицы, —
Придучись со пути — со дорожки широкия.

Затем невеста здоровается с сенями (конечно, стихами же):

Вы здорово, новы сени перёныя,
Кругом светлыя окошка косесчатыя,
Кругом белыя брусовыя лавочки.

Потом зовет она подруг в дом, приговаривает к дому и себе, садясь на лавку в песьнём (печном) углу; потом опять стиховная молитва ко господу и пресвятой богородице и Николе Угоднику:

Свет сударь Микола многомилосливой!
Попусти тонкой молодой незвучен голос.
Случилось слыхать сизой касатой голубушке
От чужих-то от младых от ясных от соколов,
Через три губы синя солона моря
Есть мощи-ты среди синя солона моря.
На зеленом-то высоком на острове
Стоит божья церковь пресвященная,
Благословите же, соловецкие преподобные
Чудотворцы многомилосливые,
Попустить тонкий молодой незвучен голос
По родительскому теплому витому гнездушку.

Попускает невеста звучен голос к родителям, как бы опомнившись, что забыла спросить и благословиться у них: «Чей дом, того воля довольная». Затем плач

о своей воле: «Прости, вольная волюшка! Оставайтеся все шуточки-глумочки у родителей в дому. Прошла теперь волюшка у красных солнушков. Пошла я, повыступила во женско печально житье подначально. Не своя теперь воля-волюшка: день пройдет даваючи, другой — слова дожидаючись; третий — похоячись (то есть наряжаючись): вот и вся неделька семиденная прошла-прокатилася. Приношу благодареньице, что дрочили (ласкали) да нежили, крутили (наряжали) да ладили». Вставши с лавки из печного угла, она идет давать отцу «здоров». «Здоров» этот подлиннее всех и поскладнее:

Расшатнитесь-ко, народ, люди добрые,
Чужи белые хороши лебедочки, —
Дайте несомножечко пути-дорожки широкия
Со одну дубовую мостовиночку:
Пройти-проплыть сизой касатой голубушке
На родительский дом, тепло витое гнездушко,
Перед белые столы перед дубовые.
Могу ли усмотреть, дитя бедное,
Сквозь туман горьки слезы горячия, —
На которой белой брусовой на лавочке
Пекет красное солнце угревное,
Сидят мои желанные сердечны родители
. . . .
Пропивают меня сизу косату голубушку
Во злодейку-неволю великую.
Послушай-ко, желанный родитель-батюшко,
За каку вину — опалу великую
Отдал да обневолил во злодейку-неволюшку?
Разве не трудница была, не работница,
Не верная слуга все изменная:
Изменяла ль тебе, красное солнце угревное,
У всякого зелья — работы тяжелыя?
Не берея была красным наливным ягодкам,
Не ловея была свежия рыбы трепущия?
Разве укорять тебя стала, упрекать
При толпах тебя — при артелях великиих,
При славных царевых при кабаках?
Лучше найми меня в казачихи-нахлебницы,
Возьми собину счетную — золотую казну,
Заплати-ко чужим ясным-то соколам
За проторы-убытки великие,
За довольное хмельно зелено вино.

Старик в начале песни сидит задумчивый, и так как стихи водятся самым заунывным голосом, то и нет того отца, у которого не растопила бы эта заплачка сердце и который бы не рыдал на всю избу. Плач становится общим. Невеста, которой уже надорвали нервы до того времени, плачет исподтишка. Кланяясь в ноги, она с трудом поднимется, обоймет отцову шею да и

скатится головой на плечо. Редкая из невест допевает стихи благодарственные сначала отцу, потом матери, братьям и всем семейным по тому же порядку, в каком пишут письма родным с чужой стороны. Благодарят за невесту подруги ее и за то, что давали много вольной воли, дозволяли ходить-гулять по гульбам-прохладам, по тихим полуночным вечеринкам; наделяли покрутой-покрасой великой, что дивовался народ — люди добрые, завидовали милые подружки-лебедушки.

Когда выберутся из избы гости, невеста одевает девушек: одну барином, другую барыней. Барина — в синий кафтан, барыню — в хорошую шубейку и платок. Эти двое идут к жениху с песнями и отдают ему честь поклоном от невесты. Посланных сажают за стол и потчуют вином или водкой. Редкая из них не выпьет при этом двух-трех рюмок, стараясь вернуться к невесте пошатываясь, как бы пьяными. По дворам проказят: у холостых ребят опрокидывают на дворах костры дров, загораживают дорогу в ворота дровнями, санями, что попадет под руку. Выбирают, разумеется, те дворы, где понужнее и поприятнее. Чаще же всего затаскивают дровни на реку и запихивают в прорубь.

Возвратившись к невесте, начинают гулять: заунывные песни сменяют на веселые. Захватившись в круг руками, вертятся, притопывают и поют такую песню:

Бражка ты, бражка моя,
Да и-и-их-и!
Дорога бражка поссучена была,
На ручью-то бражка ссученая,
На полатях рассоложенная.
Да на эту бражку нету питухов,
Нет удалых добрых молодцев.
Я после мужа в честном пиру была
Со боярами состольничала.
Супротиву холостого сидела,
Супротиву на скамеечке.
Уж я пьяна, я не пьяная была,
Я кокошничек в руках несла,
Подзатыльничек под поясом.

И пошла крутить гульба до упаду. Некоторые девушки остаются ночевать у невесты.

Утром приходят от жениха дружки — два холостых парня — будить невесту, которую подруги стараются спрятать как можно дальше[1]. Прячутся и сами под

[1] Архангельские дружки замечательны тем, что в числе своих атрибутов они снабжаются колокольчиками. Их они не выпускают из рук и, куда бы ни пошли, равномерно побрякивают. Этих дружек

одеяла, шубы, солому, кафтаны, укрывая лицо для того, чтобы дружки дольше не могли прознать, где спит невеста. В этой путанице дружкам не один раз доведется понапрасну прочесть молитву и поднять с постели не ту, которую следует. Того, кто показал невесту, дружки благодарят калачами. Будят невесту такой молитвой: «Господи Иисусе Христе, сыне божий, княгиня первобрачна (имярек), встань — убудись, от крепкого сна прохватись: белый свет спорыдаетсе, заря размыкаетсе; на улице собаки лают, ребята играют, по боярским домам соловьи свищут, по крестьянским домам петухи поют, печи топятся». Скинув одеяло, невеста начинает стиховодничать. В стихах выражает сетование, что вот будила родная матушка, а сегодня убужают чужи молоды ясны соколы. У всех были перины пуховые, тепло одеяло соболиное,— у ней, у невесты, вместо перины три ряда серых валючих камушков, одеялом была белая льдина холодная. Во сне она видела, что под светлым окошком косесчатым стоит тихое приглубое озеро: в нем плавают серые водоплавные утушки; у них подобрано легкое крылье утиное; у одной это крылушко распущено. Эти утушки — подружки любовные: у них зачесаны младые буйны головы. Только у ней одной распущены тонкие вольные волосы.

А потому зовут мать чесать голову, просят найти ее хороший частозубчатый гребешок, вплести семишелковые ленточки. Когда мать вычешет голову, получает песенную благодарность с сожалением, что не заплела косы и не вплела в нее ленточек.

Посылает невеста сестру за водою на реку обмыть горьки слезы горячие, намыть радости-веселья великого, но с наказом: первую струю пропустить вниз по славной Дунай-реке и другую туда же, а из третьей струи зачерпнуть водицы ключевыя. Первой струей умывается разлучница злодейка-неволя; другой — чужи-дальни не сердечные, а богоданные (жениховы) ро-

---

не следует смешивать с «дружком» (он же и «вежливый клетник, знапич», у карелов — «подвашка»), который есть не кто иной, как знахарь, охранитель свадеб от лихой порчи. Перед свадьбой он осмотрит все углы и пороги, пересчитает камни в печах, положит на пороге замок, подует на скатерть брачного стола, пошепчет над одеждой молодых и конской сбруей, даст к шейному кресту подвески, — «испортят злые люди, и от чирьев не отвяжешься». Этот руководитель, оставшийся в наследство от старинной Новгородчины, объясняет нам, почему в былинах Древней Руси скоморохи, занимавшиеся также знахарством, величаются людьми «вежливыми и очестливыми», как в песне о новгородском госте Терентьище.

дители. С третьей струи у частой ступенчатой лесенки надо поплеснуть воды студеныя: пусть вырастет чаща-роща непроходимая, чтобы нельзя было ни пройти, ни проехати разлучникам злодеям великим.

После этого стиха невеста умывается водой, а подруги пекут блины, которыми угощают дружек и подшучивают: всей оравой стянут с ног сапоги, нальют в них воды или накладут снегу и куда-нибудь запрячут. За сапоги берут выкуп калачами. Сама невеста пришьет дружкам на плечи по ленте: большому на правое, малому на левое; дает каждому по белой опояске. Затем молится богу, предварительно попросив стиховным плачем зажечь свечу у иконы:

— Помолиться было богу Спасу, пресвятой богородице за царя-восударя великого, за матушку царицу-восударыню. Им дай, господи, здравия-здоровья, долгого веку протяжного; жить после меня, с маленькими сердечными детушками, со всей силой-армией. Теперь помолиться за ласкотного родителя-батюшку, за мать, за братьев, сестер и всех домашних; за всех подруг и за себя самоё, чтобы жить во злодейке-неволе великой.

По окончании молитвы — отцу «добров», тот самый, что отдан был и на рукобитье. Затем приготовляется в баненку парную мыльную, но просит отца жаловать идти впереди себя; за ним — мать, подруг и всех соседей, величая по имени. По выходе из бани невесту накрывают платком: «Спасибо тебе, парная мыльная баёнка, на храненьи да на береженьи. Уж раскатить бы тебя с верхнего бревнышка до нижнего, да пусть моются в тебе ласкотники желанные родители: глупая моя младая буйна головушка (не надо мне желать этого)».

Затем невеста просит у отца лошадей погулять по Дунай-реке быстрой, покрасоваться во честном похвальном девочесьви, во ангельском чину — во архангельском,— проститься со славной гладкой горочкой, со хорошей новошатровой колоколенкой.

Катаются на трех лошадях в санях до полудня, пока невеста не объедет всей той родни своей, где прежде гащивала. Везде делает «добров»: кто был добр — тем стиховодничает, что не ласков был, тех вправе на этот раз выкорить при всем честном народе. Не успеет объездить все избы — останавливается и дает добров на улице. У женихова дома дружки выносят водку и потчуют ею подруг и самую невесту. К возвратившейся

домой невесте приезжают гости «чёсные»: крестная мать женихова, сестры его и тетки. Невеста встречает их приветствием на улице, сажает за стол и просит мать свою расставливать столы белодубовы, развертывать скатерти бельчатые, сажать гостей милых-небывалых.

По отъезде «чёсных» невеста надевает на себя хорошее платье и повязки. Повязками ударяет по воздуху, хлопает (это называется «невеста красуется») и принаряжается во покруты-покрасы великие. Затем благодарит она за них отца и братьев. По окончании красованья она садится под образом, обвешанным полотенцем, шитым по концам красной бумагой. У образа горит восковая свеча. Садится невеста «за байник», то есть за стол, накрытый скатертью с хлебом-солью. Приглашает отца и мать ко белупшеничному байничку. Подходит отец и, помолившись богу, дарит ситцу на сарафан или на рукава, судя по состоянию. Подходят и дарят все, кто пил вино на рукобитье. Получивши подарок, невеста обнимает каждого по нескольку раз. Подарки эти, делаемые женихом и его товарищами, называются общим именем «вздарья», «приноса», «задарья» и «здарья» (много названий — значит, обычай повсеместный). Здарья от невесты жениховым родителям и родственникам выговариваются заранее, при сватовстве. Недача считается оскорблением и может расстроить налаженную свадьбу. Бедна невеста — жених поможет. Ничего она не принесет — от свекрови невестке всегдашние покоры и нередко гонения.

С невестой конец, теперь за женихом дело.

Благословившись у родителей, он едет с большим дружкой звать свою родню «в пояс» (на свадьбу), то есть идти с поезжанами за невестою. По улице идет без шапки и за большое удовольствие считает пригласить «к себе в законный брак» встречного; когда родня его, то есть поезжане, соберутся, они пойдут впереди, за ними «тысяцкий» (который сватал невесту) с иконой в руках, наконец жених и сватьи (крестная мать и тетки). Для встречи их в сенях у невесты зажжены у икон восковые свечи, почему поезд и останавливается здесь для богомоленья. Стихи в избе прекращаются, и девки захватываются кругом невесты так, чтобы ей не видно было, когда зайдут гости в избу. Дружки с великим трудом заталкивают кучу девушек в задний угол и выхватывают у них невесту. Ее уводят в горницу или в подызбицу снаряжать к венцу. В это время жених

уже сидит с поезжанами за столом против невестина образа. Изба полна народа: пришли смотреть жениха. Это — *смотренье*, когда едва можно повернуться в избе, к тому же наносят еще досок, настановят скамеек, чтобы всем и все было видно. Сидят «сморёны» на воронцах, на печи, на полатях, наваливаются на стол, который то и дело поскрипывает. В некоторых избах в предупреждение порчи обивают печи досками, чтобы не проломали. Дружки, как ни стараются, ничего в таких делах не успевают: гости требовательны и настойчивы, желая посмотреть невесту, которую для этой цели сажают иногда за стол напоказ.

Девки поют уже свадебные песни. Особенно злобятся на свата, как и везде на всей Руси святой и стародавней:

Да тебе, свату большому
Да изменщику девочьему,
(такому-то)
На ступень ступить — нога сломить,
На другой ступить — другá сломить.
На третьей — голова свернуть.
Того мало свату большему
Да изменщику девочьему:
На печи спать под шубою,
Под тремя полушубками,
Под четырьмя тулупами, —
Да трясло б тебе, повытрясло,
За сквозь печь провалитисе,
В мясных щах оваритисе.
Того мало свату большему
Да изменщику девочьему:
С хором бы тя ó борону
Да с горы бы тя ó каменье
Без попа, без покаенья,
Без духовного батюшка, —
Не ходил бы, не сватался,
Стариков не обманывал
Да старух не подговаривал,
Не хвалил, не нахваливал
Чужи дальныя стороны
Да подгорские слободы,
Она горем засеяна
Да слезами поливана.

Каждый стих вдобавок поется по два раза. Песни стихают: перед столом появляется невеста в лучшем наряде, закрытая платком, с двумя своими сватьями. Поклонившись три раза поезжанам, она начинает обносить вином каждого, за что кладут ей в чарку какую-нибудь монету, либо орехи, либо пряники. Когда дойдет очередь до жениха, то он сам уже подносит невесте

красной водки до трех раз (она не соглашается). После этой церемонии он подает ей на подносе покрывало (большой платок), мыло, в которое натыкано на ребро грошей, за мылом — гребень, зеркало, потом большой пряник. Встает дружка *большой* и говорит невесте:

— Господи Иисусе Христе, сыне божий! Княгиня первобрачная у столов была, молодого князя видела, подарочки приняла: мыльце, гребешок, зеркальце, пряничек: мыльцем умойся, гребешком зачешись, в зеркало посмотрись, пряничком закуси. У нашего князя (имярек) горка низенька, водка близенько, ходи хорошенько. Сяжу-грезь под матицу весь, худые порядки оставляй дома у матки, а хорошие с собой забирай.

Молодой дружка выступает: подает девушкам на подносе калачи за песни. Жених дает прихожим мужикам денег на водку: эти подарок принимают за совет уходить вон из избы. В избе стало просторно.

Невесту снова накрывают платком и заводят за стол к жениху. Здесь невестин отец благословляет обоих три раза той самой иконой, которая была на стене, и передает ее тысяцкому. Все встают с лавок, молятся богу и идут к венцу в церковь. Жених ведет невесту за платок, а «рожники» (братья) — под руки. Впереди идут дружки, побрякивая колокольчиками; поезжане поют песни. Подруги за невестой в церковь не ходят.

Во время венчания в трапезе раздают народу свадебные пироги. Один не делится — и это каравай-«баенник» — за то, что с ним долго возятся: делают чистым, беспримесным ржаным, зашивают накануне девишника в скатерть с двумя пшеничными калачами, деревянной столовой чашкой, солонкой с солью и двумя не бывшими в деле ложками. Зашивают «баенник» в бане (оттого и прозвание), когда невеста, выпарившись, отдыхает, а расшивают наутро после венца, после второй бани обоих молодых. В церкви во время венчания он лежит у крылоса, как запоздалый, но живой свидетель давно отжившей языческой старины. После венца одевают (крутят) невесту в бабий повойник (венчалась она в повязке девичьей), и она с молодым, благословившись у священника, идет в дом жениха. В сенях встречает новобрачных свекор хлебом и солью, то есть решетом, в которое насыпано жито (ячмень) и на него положены хлеб и соль. Решетом свекор три раза

обводит вокруг наклоненных голов молодых и передает своей жене для того же. От матери берет молодой и передает молодухе, которая несет хлеб-соль в дом и кладет на стол. В избе, после обыкновенного моления, молодые с тысяцким садятся за столы. Свекор раскрывает лицо молодой и здоровается с нею, за ним все семейные и поезжане с плеча на плечо, приговаривая: «Здорово ли под венцом стояли?» Дружки подносят по рюмке водки поезжанам, и эти уходят. Молодые ужинают одни, без поезжан. Им обеденный стол после, когда отдохнут до «ружников», то есть тех, которые привезут от отца и матери приданое: сундуки и перины, называемые общим именем «коробье». Так и было — коробки из луба, а теперь — сундуки, в которых копили и рядили «коробью»: одежду, портну, разное прищегольe, платённо, придано, скруту и круту. (Припомним, кстати, что в древних новгородских летописях «крута» поминается также в смысле разных необходимых в приданом женских украшений. «Крутить невесту» и сейчас значит то же, что заготовлять ей приданое.)

После ужина молодые идут спать в клеть, где невеста расстегивает у жениха кафтан и снимает сапоги, в которых положено несколько серебряных монет. При этом молодой пользуется случаем выманить поцелуй, не спуская с ног сапогов. В силе ноги у жениха возможность сорвать таких поцелуев десятки. Затем молодой валится на кровать лицом к стене и не поворачивается до тех пор, пока молодая не поклонится и не проговорит вслух такой молитвы: «Господи Иисусе Христе, сыне божий! Такой-то (имярек), пусти ночевать».

На другой день дружки зовут родню молодого на обед, а родню молодой созывают «рожники» опять с молитвой и просьбой «загостить пожаловать хлеба-соли кушать, молодой смотреть». За обедом, когда дружки обносят водкой, молодая каждого гостя чествует поклоном в пояс. После этой церемонии раздает дары, выряженные при сватовстве, и опять по рюмке водки. Опорожнивший рюмку возвращает ее с деньгами по тому же порядку и закону, как и на смотренье. Затем подают кушанья, и за каждым из них чествуют гостей сперва дружки, потом жених и прочие домашние, называя каждого по имени-отчеству: «Поешь-покушай, гостей почёствуй».

Кончают всю свадебную церемонию «блинами». Они бывают у родителей молодой через несколько дней после красного стола, называемого здесь «полюбовная

гостьба». На эти блины зовет свою родню сам молодой. На «блинах» порядок все тот же, лишь не бывает даров и молодая не носит чарок, но ее все-таки заставляют беспрестанно целоваться с молодым мужем. После блинов молодой выдают приданое, каковое и несут к ней на дом бывшие на свадьбе подруги.

Затем и всему делу конец, да как и везде — «придано в сундуке, а урод на руке». Таким побытом справляются свадьбы по всему беломорскому берегу — от Онеги до самого города Кеми...

Таковы видимые порядки обрядовые. Теперь о тех, которые скрыты от посторонних, произведены домашним образом, то есть о брачном договоре...

Сватья толкует свое в интересах уполномочившей стороны, родители, привычно слушая вполуха, главным образом ожидают существенных предложений, так как дочь в семье — работница, имеющая свою нравственную и материальную цену.

Иногда сват сумеет мастерски расценить работника, желающего получить поддержку в хозяйстве в жене, и никогда не постеснится похвалить выше облака ходячего. Один краснобай похвастал таким образом о бедном и заурядном женихе:

— Хватись — чего у него нету! Хлеба старого полжитницы, четыре скотины на воду ходят, два теленка на сене, пятигодовалый бык на корму; конь тоже хороший, одиннадцать овец, и деньги водятся, домик ничего — живет (то есть порядочный). А хоть из платья-то! Шуб белых, сукманин, кафтан у парня, рубаха дорогого кумачу, тяжелые штаны, пояс из дорогого прядева шленской шерсти, и кисти такие наведены. Не то что кисти, да и концы-то у пояса разве на два вершка... да что на два,— чуть не на три вышиты золотом! Срядится — просто золотой, все бы на него глядел. Ну да что говорить: парень ходит на сплавку — гроша не промотает, не пьяница, а осенью-то ходит в лес: у него в лесу настороженo сорок петлей да тридцать кулем — сколько он переловит зайцев. Есть ружье и собака,— стреляет белку. Собака у него, говорят, хороша: я чул, у старовера Митрохи целковый давали за собаку ту. И морд плести мастер, и рыб ловить в озерах — щук. Да есть, ты сам слыхал, и т. д.

Таким художественным мастерским образом передана рекомендация о женихе заурядном и бедном, произ-

водящем привычные и общие всем работы и притом в самых скромных размерах. Вся задача свата заключалась в том, чтобы подействовать на ум, чувства и волю родителей. Со стороны последних следуют вопросы материального характера: о свадебных расходах и подарках, даже о количестве гостей, а самое главное для обеих сторон: какая кладка, и каково приданое, и какие задатки, и каких размеров неустойки.

Кладка деньгами дается женихом невесте на изготовление приданого, и тогда о последнем уже не бывает речи. Подарки взаимные между сговорившимися и подарки родственникам имеют силу задатков. Условия эти совершаются словесно и держатся на честном слове, но в грамотном населении архангельского Поморья существуют еще письменные договоры на бумаге, «сговорные письма», продолжение допетровских «рядных записей». В них также определяется день венчания, залог или неустойка в предотвращение попятного отказа, перечисляется приданое. Жених, принимаемый в дом, ограничивается правами по отношению к имуществу тестя, ставятся условия, обеспечивающие детей, если невеста выходит замуж «детной вдовой». Неустойку определяют деньгами только богатые, но залог на случай расстройки сватовства обязательно возвращается полностью и в нередких случаях даже с наддачею неустоек. Впрочем, залог отцу невесты дается лишь в местностях края, где существует приданое. Здесь и в этих случаях обычай подарков получил большое развитие, и при необходимости возвращения их происходят недоразумения, доходящие до решения волостными судами. Иски начинают в этих случаях или отцы жен, или сами они, если брак расторгается смертью мужа. Меньше требований, если умер муж, и наоборот — они бывают гораздо значительнее в пользу жениной стороны.

Заключенный брак с обрядами и юридическими условиями считается нерушимым: «женитьба есть, а разженитьбы нет»; «худой поп обвенчает, и хорошему не развенчать». Даже бывает и так в поморском крае, придерживающемся беспоповщины: жениха и невесту благословят родители; брачующиеся кладут друг другу руки со словами: «желаю тебя в жену», «желаю тебя в мужа моего», целуются, кладут начало перед родителями, а если их нет — перед пятью свидетелями, и затем новобрачную крутят (сменяют девичий головной убор на бабий), пируют и закрепляют союз тем же порядком навеки нерушимо... Если расходка (развод) со-

вершится по обоюдному согласию сторон, то уже сюда никто не мешается; если же муж прогонит жену или она сама убежит — недовольных разбирает суд: он или восстановляет сожительство или закрепляет своим признанием расходку.

Замечают при этом, что в более цивилизованном Поморье отношения к женщинам и женам мягкие, ласковые, основанные в некоторых случаях (например, в правах наследства при незаконном, то есть невенчанном, сожительстве) на очень тонких, гуманных правилах. На Печоре отношения к женщинам совсем другие: в Усть-Цильме, например, самым откровенным образом рядятся о цене невесты и поступают здесь, как при всякой купле-продаже: бьют друг друга по рукам, запивают, передают, как лошадь на недоуздке, из полы в полу. В малых семьях (каково большинство в Поморье) хотя женщине приводится работать больше, но зато и нравственная цена ее выше; она по необходимости должна сбросить с себя отупение и апатию. Зато быть снохой (а особенно при этом вдовой) в большой семье — нет более тяжелой доли для крестьянки. Из малой семьи муж почти никогда не гонит жену, так как без нее решительно не может обойтись; в большой семье родители мужа считают вправе бить невестку, не давать ей есть и даже прогонять от мужа, вон из дома. Малые семьи здесь происходят вследствие частых семейных разделов: неурожай затрудняет добывание средств к пропитанию, надо семье работать каждой на себя, и союз большой семьи распадается, всего чаще весной, когда нет хлеба и, стало быть, тяжело кормить стариков и чужих детей. Труд, по причине его исключительной тяжести, поставлен здесь на замечательно высокую ступень. Мы имели уже случай убедиться (в рассказах о промыслах на Новой Земле), как заботливо обставлена целостность морской добычи. Достаточно поставить подле сложенных вещей колышек или письменную заметку, чтобы всякий понял, что они не брошены или обронены случайно, а оставлены нарочно для сохранения. Кому из проезжих приведется взять по дороге из чужого сена охапку на корм лошади, тот всегда положит в зарод деньги по цене сена. Оставленная лодка, пойманная оторвавшаяся сеть тоже неприкосновенны, как и добыча. Уважение к чужому труду доведено даже до такой тонкости, что ценится рабочее время, бесполезно потраченное по чужой вине и для других, и оплачивается виновным, как бы употреблен-

ное по найму в его пользу. Таковы дни, потраченные на отыскание украденного; за труд при перекосе травы, помятой скотом. Запахался в чужой участок, засеял чужое поле — урожай получай весь себе, но за землю заплати кортомные деньги или отдай весь урожай, но получи с обиженного семена и плату за работу. Нарубил по ошибке дров в чужом лесу,— вези их домой, так как прилагал труд, но хозяину заплати по приговору суда.

Подобное трудовое начало применяется и в семьях к женщинам. Исключая повсеместный нерушимый закон о приданом, которое безраздельно принадлежит жене, принесшей его в дом,— собственностью последних признается также и все заработанное в доме: всякий посторонний заработок обращается в женину пользу. Если вдова жила с мужем долгое время — значит, накоплено имущество совместно и в нем она является полноправной наследницей, и не только она, законная сожительница, но и незаконная. «Сестра при братьях не вотчинница»,— выговорила старинная поговорка, но если она работала на них, будучи вдовой долгое время, суд отдает ей наследство. «Мы нигде не видали (говорит изучавшая эти отношения в среде крестьянской г[оспо]жа А. Ефименко) более идеально развитого уважения к трудовой собственности, чем на нашем глухом севере. Одним словом, трудовой принцип красной нитью проходит через все наследственные отношения крестьян, поскольку они определяются обычным правом». В крестьянских судах интересы слабой стороны, то есть женщины, более принимаются во внимание. Крестьянский суд, руководясь своими обычными понятиями о справедливости, относится к женщине мягче, чем закон. Муж требовал от жены имущества ее — приданого платья и заработанных денег — и при этом выхвалялся, что он ее «в пол втопчет, и при живности ее более никакого согласия делать не будет, кроме побоев». За все это суд волостной приговорил мужа к наказанию розгами.

В Малошуйке я сел опять верхом на лошадь и на этот раз решительно на клячу, для которой собственное право и личный каприз были выше всего остального. Тяжело ступала она своими уродливыми ногами в липкую болотную грязь, размытую крепким осенним дождем, лившим целые сутки. Лепила эта грязь всего

меня с головы до ног; к тому же дорога шла безутешными, бесприветными местностями... Лошадь не слушалась, боялась моста, не умела ладить с выбоинами гати; хотелось ей идти по болоту стороной — зачем, для чего? Она *норовилась,* брыкала задними ногами, свалила меня раз в грязь, и другой, и третий. Я взял другую из телеги, но выгадал немногое: раскормленная болотным сеном, которое скорее раздувает, чем питает желудок, лошадь эта представляла решительное подобие бочки, неловкой, почти невозможной для сиденья. Какого-нибудь седла взять было негде. Кое-как добрались мы до перевоза через реку Нименгу, с грязными, расплывшимися берегами, по которым ходить человеку в дождливую погоду едва ли возможно. На перевозе стоит таможенный солдат, не здешний уроженец.

— Поломало же ваше благородье напорядках. Изволите видеть: проклятые места здесь, таких я нигде не видал, всю Хохляндию с полком прошел. Вот в Сибирь посылают, а зачем? Пошли сюда — намается хуже ада кромешного. Здесь, я доложу вам, только и жить бы надо морскому зверю, смотрите, какой народ мелкота: в гарнизу не годится. А оттого гниет народ: яшный хлеб ест, приварок какой в честь почитает. У них, вот изволите видеть, и лето, и зиму на санях ездят. Запоют они теперь песню, такую длинную, что целый день тянут и на другой день еще допевать оставят, ей-богу! Совсем, выходит по-нашему, кромешные места здешние — вот что; извините меня, ваше благородье, на таком крутом слове!

Но, как известно, летом на санях здешние жители возят только сено к стогам в полях; а такой длинной песни, чтобы тянулась целый день и на другой день оставалась, мне не мог сообщить никто из здешних. Видимо, солдат был озлоблен и скучал здесь по дальней родине, которая отошла от него далеко-далеко (солдат был из Нижнего). Случайность и житейские обстоятельства завели его сюда, в крайнюю даль России; случайность, может быть, и возвратит его на родную сторону.

Через час я уже был в Ворзогорах, жители которого считаются лучшими судостроителями. Они строят и романовки для лесной компании, строят и лодьи для своих промыслов. Ловят, так же как варзужане, сельдей и мелкую морскую рыбу переметами и беднями, при тех же приемах и обычаях, как и всюду в Поморье. Село

делится на два: в обоих свои церкви; в одном даже две, из которых одна новенькая, красивая с виду и богатая внутри.

Каменисто-песчаными и высокими горами шел отсюда путь в Онегу. По сторонам расстилался ячмень, наполовину в то время (23 августа) уже выжатый. Спустившись с горы, дорога пошла в лес — настоящий лес, с высокими, не всегда дряблыми деревьями, с просинью по сторонам, со сплошной лесной стеной, сквозь которую прямо, кажется, нет и проезду... После лесу дорога шла дощатыми широкими мостками Поньгамского завода Онежской лесной компании. Но я не мог понять ее удобств, не мог оценить всей ее прелести, сравнительно с прежней дорогой, размытой дождями, изуродованной до последнего нельзя выбоинами и ухабами. Едва дотащился я до карбаса. Он должен был перевезти меня на другую сторону реки, в город. Едва поднялся я на отлогий городской берег и с трудом дотащился до отводной квартиры, той же самой, которая принадлежала мне до отправления в Поморье. Путешествие верхом возымело всю силу своих последствий.

— Изломало же тебя, моего батюшку, пуще всякой-то напасти да болести,— говорила мне старушка, хозяйка отводной квартиры.— Непривышное, гляжу, дело-то тебе это, непривышное! Ишь, даже ходить не можешь: тяжело, чай, что беремя тащишь, а ноги-то, поди, что свинцом налиты. Ну да вот, ладно, постой: в баню сходишь — как рукой снимет, отойдешь...

— Словно тебя ветром шатало, словно я на диво на какое глядел на тебя, как даве с реки пробирался; насилу выдержал на старости лет — не засмеялся,— говорил мне опять старый знакомый семидесятилетний старик, ежедневно навещавший прежде и пришедший теперь поздравить с приездом.

— Тебе смешно, старик, а мне не до шуток!

— Ну да как не смешно? Суди ты сам. Этак-то ведь редко которому выпадает. Пущай вон наши чиновники, тем это дело привышное: смотри-ко, как на коне-то отдирает. А ты, поди, и седёлушком-то своим не запасся. Ну да ладно — дело теперь все это прошлое, останное, с тем оно такое и будет вовеки. Сломал же ты-таки путину большую, как еще живот-от твой выдержал, ведь вы все породы-то какой жидкой, словно мочальные. Жил у нас чиновник — измотался совсем по нашим дорогам, в перевод попросился: перевели, слава богу! Тем только, слышь, и поправили. А ты, на-ко поди, путину

такую отляпал, что и наши привышные-то поморы такой не делают. На-ко: три тысячи верст обработал! Поди вот ты тут с тобой и разговаривай!.. Чай, опять завтра в обратную потянешься?

— Нет, старик, поживу у вас с неделю, отдохну.

— Отдохни, кормилец, отдохни: переведи дух! Телеги-то почтовые тоже небольшая находка: обламывают же вашего брата и оне...

Неделю потом оправлялся я в Онеге, в старой знакомой Онеге, все такой же: с той же одной проезжей улицей, недостроенным собором, закиданною камнями рекой, с тою же, наконец, говоруньей, до бесконечности доброй, простодушной хозяйкой-старухой. Точно так же оказалось неизменным давно слыханное присловье, что «во всей Онеге нет телеги»,— неизменное до сего дня. Здесь же именно и создалось и, может быть, проверено воочию народное предание, что будто бы воеводу летом на санях возили по городу, пользуясь мокрыми, глинистыми и скользкими болотинами, и здесь же можно уразуметь, что некогда (и не так давно) необходимо было «на рогах» (домашних коров) онучки сушить.

Все старое, давно знакомое, забытое только на время, восставало передо мною и на всем остальном пути до города Архангельска. В Красной Горе разбитная хозяйка почтовой станции встречает приветом, по-видимому добродушным и искренним, и поражает вопросом:

— Не ты ли, баринушко, остатоцьку оставил?

— Какую, бабушка?

— А ложецку серебряную.

Ложечка эта оказалась действительно моей, но о ней я забыл и думать, и вспомнил и узнал ее только теперь, через три месяца.

В Сюзьме не было уже видно ни архангельских шляп, ни архангельских шляпок и зонтиков, принадлежавших, в первый мой приезд, морским купальщикам и купальщицам.

— Все уехали, давно уехали,— говорили мне здесь.— После другие приезжали, и те уехали. Видишь ведь, ты больно долго ездил, далеко забирался.

От Тобор до Рикосихи была хуже дорога, вся размытая дождями, вся грязная по ступицу колес почтовой телеги. В Рикосихе пропали уже те мириады комаров, которые, на первый проезд, слепили глаза и буквально не давали покоя и отдыха. С Двины несло уже сы-

ростью, осенней сыростью; не слыхать было пения пташек, свободно и громко распевавших прежде. С деревьев кое-где валился лист. В заливе реки Двины вели соловецкую лодью — на зимовку, как сказывали гребцы. Двина у города засыпана была разного вида и наименований судами. Самый Архангельск представлял более оживленную картину, чем тогда, как оставлял я этот город для Поморья. У городской пристани, на судах и на городском базаре толпилась едва ли не половина всего Беломорья: по крайней мере, мурманские промышленники были все тут. Начинался сентябрь месяц: шли первые числа его. Приближалось 14-е число — время маргаритинской ярмарки: стало быть, я приехал в Архангельск в самую лучшую пору его промышленной и торговой деятельности.

Часть вторая

ПОЕЗДКА ПО СЕВЕРНЫМ РЕКАМ

I. ПОЕЗДКА НА ПЕЧОРУ

1. Тайбола

Первые впечатления пути. — Кушни и кушники. — Волки. — Медведи. — Комары

Декабрь месяц 1856 года нашел меня уже на реке Мезени, и притом в самом дальнем южном краю ее, там, где она готова перейти в другую губернию — Вологодскую. Семисотверстная Тайбола, закиданная глубокими снегами, лежала еще передо мною, рисуясь подчас в воображении, как темная ночь без просвета со всей своею мрачной и непривлекательной обстановкой. Все советовали запастись медным и жестяным чайниками, копченой и жареной провизией, хлебом и — терпением. За первыми не стояло дело. Надо было вооружиться последним.

Зима этого года начиналась как-то вяло: по целым суткам валили крупные хлопья снега, но все это, не скрепляемое достаточно крепкими морозами, ложилось на плохо промерзшую землю рыхлою, глубокою, в рост человека, массою. Дороги не устанавливались долго. Не было бы, кажется, и пути на Печору, если бы не прошли оттуда обозы с мерзлой рыбой на ярмарку в Пинегу. Обозы эти оставили за собой узенькую дорогу с глубокими выбоинами, ухабами и широкими раскатами. Прихотливо извиваясь, прошла эта дорога по Тайболе между высокими вековыми соснами, елями и лиственницей. Этой-то дорогой приходилось ехать и мне в длинной, узенькой, только одному сидеть, кибитке, предложенной любезною предупредительностью доброго человека в Архангельске, испытавшего на себе все невзгоды дальних дорог в губернии. Как теперь слышу роковое известие, сказанное мне как-то вскользь и равнодушным тоном в селении Вожгорах, что дальше уже нет деревень вплоть до первого села на Печоре — Усть-Цильмы.

— Тайбола пойдет тебе теперь ста на четыре верст, вплоть до самой *отдáлёны,* — добавляли ямщики.

— Пугает меня эта ваша Тайбола!

— А вот поезжай: увидишь — нам скажешь,— отвечал бойкий староста с насмешливым видом и тоном.

— Кибиточку-то ты ладную обрядил! — добавил он потом.

— А то что же?

— То-то, мол, хороша: легкая такая!

Он в доказательство своих слов откинул ее в сторону, как самые легонькие, маленькие ребячьи саночки.

— Ходка уж порато, дядя Кузьма, сама бежит! — прибавил от себя привезший меня ямщик.

— У нас ведь места здесь, надо бы тебе сказать, проклятые: коли сани с отводами, так и не проедешь,— продолжал свое ямской староста.

— Ты гляди-ко, дядя Кузьма, в нутро-то: ишь он как его олешками знатно уколотил,— тепло ему будет!

— Это ты, твоя милость, ладно надумал; а то — ишь холода, кажись, вовсе надумали встать. Не хватили бы только тебя, паря, хивуса́ на дороге-то...

— Это что же еще такое: хивуса?

— Хивуса эти, вишь... по-иному бы тебе молвил: падь экая, рянда, чидега — все вместе.

— Курево — сказывай, дядя Кузьма!

— За́мятель тоись,— говорил третий.

— Все вместе, все вместе: снег тебе сверху идет — одно это. Опять другое: ветер метет тебе снизу и с боков, свет закидает. Ничего тебе не видно и ехать нельзя: лошади столбняком так и встанут, бревном ты их не спихнешь с места, не токмо плетью: самое такое поганое дело!

Староста урывисто махнул рукой.

— По трунде (тундре) вон совсем засыпает... Эдакто, слышь, ономнясь пустозеров двое ехали — порешило, замело насмерть! — прибавил старый ямщик.

— Что же вы меня пугаете, ведь ездят же другие!

— Да, это точно, что ездят: вишь, недавно ведь этих лошадей выставлять стали здесь, а то ведь сменных у нас допреж не было: больно же чиновники жаловались в ту пору, скучали... Садись, ваше благородье, ничего: страшен гром, да милостив бог, ничего — проедешь, чай!

Поехали. Тройка хохлатых, измученных лошаденок, сбитых десятским с разных дворов и потому невыезженных, метнулась в разные стороны, сбилась с дороги в сугроб, опрокинула кибитку набок. Кибитка была, правда, тепла, но неудобна для того, чтобы в таком

крайнем случае выбраться из нее. Наконец и это неудобство было устранено: трое мужиков поставили ее на копылья, ухватившись за один бок. Я вылез, но ушел в снег по плечи; наконец и оттуда вылез и опять сидел в кибитке по-прежнему, созерцая впереди себя длинного, как шест, ямщика, взгромоздившегося на переднюю лошадь. Он ежеминутно дергал руками и прискакивал на крестце ее. Все пошло своим чередом: лошади не метались в сторону и не могли этого делать, потому что мы въехали в лес, на лесную тропинку. Огромные лапчатые ели и сосны, засыпанные снегом, ветвями своими метались в лицо; ямщик задевал головой за сук, раскачивал ветви и подвозил меня с кибиткой под этот сук как раз в то время, когда валилась оттуда огромная охапка густого, пушистого снега. Один только, стало быть, ямщик, с передней лошадью, был в барышах. Пробовали снег вытряхивать из саней — нашли бесполезным: ямщик валил на первой же версте новые охапки. Советовал я ему смотреть вперед и быть осторожным — не помогло: он всегда забывал совет этот, но если и сторонился, то по какой-то случайности, не вовремя. Опрокинуться мы не могли: обступившие нас со всех сторон дряблые, выросшие на болоте деревья, подхватывая с одного бока, бросали на противоположный пень, там, где лесная дорога изломана была рытвинами и ухабами. Не меньше радостей приносили и новые виды, когда мы выбирались из лесу на широкую снежную поляну. Здесь не было деревьев и, стало быть, приводилось чаще опрокидываться: повалится кибитка набок, зарывшись до половины в снег, и протащится таким образом вперед до той поры, пока не услышит форейтор-ямщик задыхающегося голоса из кибитки, вопиющего о пощаде и помощи. Соскочит он с лошади, кое-как поставит опять сани на копылья и в сотый раз удивится причине такого злоключения, промолвив:

— Со всеми, почесть, начальниками вот эдак-то!

— Да вы по-дурацки ездите: вместо облучка садитесь на переднюю лошадь. Нигде ведь так-то не ездят!

— Все так бают, да вот поди ты...

— Садись на облучок!

— Насвычно: лошади опять замотаются. Ну ин ладно!

Чтобы угодить седоку, он и примостится, пожалуй, на облучок, но ненадолго. Лишь только успеешь немно-

го вздремнуть и раскроешь глаза, смотришь: он снова сидит на передней лошади и по-прежнему дергает руками и прискакивает.

— Ты, ямщик, хоть бы песню запел.

Махнет он рукой, обратившись назад,— и ответ его на запрос весь тут.

Примешься от скуки версты считать, и, по крайним соображениям, по количеству употребленного на езду времени и по пространству должно быть далеко за половину и скоро должна появиться станция, на которую обещали 25 верст. Спросишь ямщика об этом.

— Да вот озерко проедем, в лес втянемся, так тут кедры стоят. От них считаем половину-то.

— Так какие же вы двадцать пять верст кладете на станцию?

— Это точно, что неладно кладем. Да, вишь, ведь наши-то версты какие: мерила их баба клюкой.

Но и станция здешняя не находка: эта низенькая избенка-кушня, полуразвалившаяся, черная снаружи, с двумя маленькими дырами вместо окон, из которых лезет не пар, а горький дым. Я попробовал пролезть в одну кушню через низенькую дверку и закаялся: больно резали глаза вплотную наполнявшие ее дым и смрад и захватывали дыхание. В четверть часа времени с трудом можно было разглядеть все вопиющее убожество ее, всю голую, горькую бедность ее обитателя-кушника, оборванного, с загноившимися глазами, сугорбого старика, с черным, неумытым лицом, как у кузнеца или угольщика, с крайне недовольным и каким-то плаксивым видом. Кушник и здесь не преминул попросить подаянья в одинаковом тоне и одними и теми же словами, как и все другие на дальнем протяжении Тайболы.

— Не сойдется ли что от твоей милости на бедность?

— Скучно тебе жить здесь, старик, одному, без товарищей?

— Пошто скучно, не скучно! Немощный ведь я: в миру не гожусь, нешто делать-то мне!..

— А давно ты ушел из мира?

— Давно. Почитай, порато же давно. Дальние-то кушни на лето снимают: уходят кушники-то по домам, а я круглый год живу здесь.

— И не боишься?

— Чего бояться-то?.. Нету, не боюсь...

— А лесовиков, водяных?

— Кричат же по лесу-то, а ко мне не ходят: обороням бог. Молитвой ведь я их!.. Медведи вон по лесам живут — те балуют, шибко балуют.

— Что же они с тобой делают?

— Да всяко. Об угол чешутся: расшатывают углы-то; тоже опять дверь припирают...

— Как же это?

— А хворосту да бревен натаскает к двери-то, тем и запирает. И не выйдешь.

— Ты бы оборонялся.

— Чем обороняться-то стану? Ружья у меня нет; прячусь вон на подволоку — вся моя тут и оборона. Подурит дурак, знаю, пошалит у тебя в избе-то, поломает все, да с тем и уйдет: милует бог!

— Зверьков, чай, ловишь тоже?

— Это бывает: горносталев ловлю; тоже псецы (песцы) приходят, лисицы...

— Чем же ты кормишься, старик, ешь что?

— А то и ем, что с проезжих сойдет: дают тоже. Летом в наших местах больно хорошо!

— Чем же, старичок?

— Да ягод уж очень много всяких растет, ну и ешь... Промышленники, что за лесным зверьем ходят, хлебушка дают: ем по праздникам!

— А не ошибаешься, в какой день праздник, в который будень?

— Бывает же и эдак, ошибаюсь!

— Кто ямщики у вас, старик?

— А земские выставляют на зиму с Мезени. Летом-то, вишь, здесь лошадями нету езды: реками плавятся, в карбасах. Есть, бают, пешие переволоки, да небольшие.

— Чья же у тебя кушня, своя?

— Нету, мирская; я, коли поломается что, от себя поправлять должон. Опять же уход за ней мой.

— Какой же уход и какая поправка?

— Правда, что нету, да и не спрашивают. Пошутил ономнясь земский начальник один, что стены-де не скоблишь: да сам же и отшутился, не пугал же больно-то: «Эдак-то де лучше, коли стена коптится: изба-де меньше гниет, а ты-де, старик, не пужайся». Такой добрый!..

Готовы между тем лошади, и затем новые испытания от кушни до кушни, которые так похожи одна на другую, как две капли воды: с такими же бедными, убитыми одиночеством кушниками, между которыми только

ближе к Печоре стали попадаться зыряне, умеющие по-русски только выпросить подаяние и затем молчаливые на все расспросы. Говорили ямщики, что они и по зырянски-то толковать разучились.

— Туги же на разговор-от стали! Приедешь, это, к ним на зиму, мнут они тебе, мнут язык-от свой, чешутся-чешутся, а не приберут тебе ладного слова: сам уже смекаешь. Шибко же дичают за лето, что и наши русские,— отвыкают...

— А все-таки добрые, ласковые по-прежнему?

— Добрые, больно добрые, что дети: ни тебя они обругают когда, ни на твою брань огрызнутся: порато добрые — это что гневить бога!

Ночью как-то вой волков разбудил меня и обдал всего холодным потом.

— Гони, ямщик, скорее: погибаем!

Ответа не было. Казалось, ямщик дремал себе беззаботно и так крепко, что не слыхал зловещего, леденящего душу воя. Лошади бежали труском.

— Гони лошадей: волки воют!

— А пущай их!

— Съедят, чудак, в клочья разорвут. Гони скорей, если дорога́ тебе жизнь! Опомнись — не спи!

— Не к нам бегут, к лесу!..

Вой усиливался, но становился заметно глуше. Слова ямщика оказались правдоподобными: боязнь не позволяла мне высунуться из кибитки и посмотреть по направлению к лесу и волчьему вою, чтобы убедиться в его показании. Я нашелся: ударил кнутом коренную, та брыкнула задними ногами и опять пошла прежней ровной побежкой, как бы согласная с мнением и убеждениями ямщика. Этот равнодушно обернулся назад и, еще при большем хладнокровии (поразительном и досадном), отнесся ко мне с таким вопросом:

— Нешто у вас они страшны, там... в Расее-то?

— В клочья рвут, до смерти рвут, голодные ведь они!

— Наши сытые, наши не рвут!..

Он опять замолчал.

— Гони же, братец, не спи: мне еще жизнь не надоела.

— Да ты не бойся! Что больно испужался? Наши волки человека опасаются, стреляем ведь: они от тебя бегут, а не ты... Оленей вот они режут: это водится за ними, за проклятыми,— и много оленя режут!..

Он опять помолчал, но не дремал.

— Оленя они потому режут, что он смирен, нет у него противу волка защиты никакой, разве что в ногах. Так, слышь, подкарауливает серый черт,— на цыпочках подкрадывается и режет. А то бы человека?! Сорок годов живу, не слыхивал, чтобы этого, никогда... Девоньку вон с братишком на трунде (тундре) комары заели — это было. Комаров у нас по летам живет несосветимое много: деться некуда.

— Знаю, сам испытал!..

Ямщик глубоко вздохнул, но в прежнем показании своем был справедлив: вой волков стих мало-помалу и затих совсем, когда мы съехали со снежной поляны (оказавшейся, по словам ямщика, замерзшим и закиданным снегом озером), в лес, по обыкновению поразительный своей тишиною и мрачным видом. Выглянувшая из облаков луна позволила разглядеть, по указанию ямщика, дремавшую на придорожном сучке птицу, которая оказалась глухарем, по-здешнему — *чухарем.*

— У нас, вишь, и птица не пуглива, не токмя...

— Тебе бояться нечего — ты привык. Теперь и я похрабрее буду.

— Медведей ты бойся: эти ломают, так и те теперь в берлогах спят. Летом они хрустят же по Тайболе, так мы сюда и глаз не кажем на ту пору. Бить их в наших местах — не бьют...

— Отчего же не бьют?

— А как ты его досягнешь?! Тайбола-то ишь какая, долгая да широкая; на низ-то она к тундре подошла, а вверх так ей, сказывают, и конца там нет.

— Хороший, кажется, лес по ней вырос?

— Какой хороший! С виду — так пожалуй, а то нет — дряблый лес: на болотинах растет, где ему хорошим быть; пущай вон по суходольям который поднимается — ничего, живет, матерой есть. А много ли тебе суходольев? Все, гляди, мшина, да болотина, да зыбь, что человека в иных местах не держит. Озер опять насыпано по тундре-то по этой и невесть кое число; и живут крепко же большие, верст по тридцати бывают.

— И рыбы в них, чай, много?

— Где же без рыбы? Известно, много рыбы: щук, окуней, лещей. Да не ловят, разве которое озерко к кушне подошло, так кушники берут же про свое про удовольствие, а то нет, чтобы...

— И птицы ведь много?

— Много, и — несветимая сила! — много!

— И ее не бьют?

— Где же всю-то перебьешь? Да и кому бить-то? Вон там, по Мезени, кладут путики[1], и много же этих путиков и у Печоры живет, да где ее всю перебьешь? Вот видел даве чухаря? Сидит и глазом не двинет, словно человека-то он и не видал, словно человек-от ему и не страшен...

Послышался лай собаки, тот радостный привет, который бесконечно отраден и дорог во всех тех случаях, когда утомляешься долгим и скучным путем и ждешь не дождешься теплого угла, хотя бы, пожалуй, курного и грязного.

На лай этот отозвался и ямщик, обратясь ко мне с замечанием:

— Вон собаки наши чуткие какие: за версту слышат. С виду ты им ломаного гроша не дашь: хохлатенькая такая да маленькая: да и все тут... Ан нет! На охоте за птицей ли, за зверем ли — золотой человек!

— Привыкли, братец! Живут на лесу, около зверей, да с толковыми охотниками, вот и выучились!

— Оно, пожалуй, что и от этого!

Лай собаки и на этот раз не обманул нас: впереди уже чернела, как большая серая куча, кушня, до половины в снегу, вся целиком закоптевшая, с кушником у дверей, который опять-таки, по обыкновению, подошел попросить на бедность и, взявши свое, ушел в избу. Изба на этот раз оказалась хорошею: в ней можно было напиться чаю и не задохнуться от дыма.

— Отчего, старик, у тебя в кушне-то не чадно?

— Чадно же живет, как топить начнешь. Теперь, вишь, скутал (закрыл), так, надо быть, оттого.

Коротенький декабрьский день, с двумя часами света и часом бледного просвета наутре и в сумерки, приходил к концу. Вскоре выплыла луна... Вспоминаются еще две кушни, слышались брань и крики ямщиков и робкий голос кушника, просившего на хлеб. Я просыпался и опять засыпал до новых криков на сбившуюся с дороги переднюю лошадь и требований прогонов, на водку. Это была последняя, третья ночь моего путешествия по Тайболе. <...>

---

[1] Путики — это одно из тех зол, которое когда-либо должно же получить свой конец. Путик — лесная тропа, иногда больше 50—100 верст длиною, по которой расставлены силки, сетки, кулемки и другие смертоносные орудия для птиц и лесного зверя.

Из книги „КУЛЬ ХЛЕБА И ЕГО ПОХОЖДЕНИЯ“



ХЛЕБ — НАША РУССКАЯ ПИЩА

— Хлеб да соль! — говорит коренной русский человек, приветствуя всех, кого найдет за столом и за едой.

— Хлеба кушать, — непременно отвечают ему в смысле: «Милости просим, садись с нами и ешь». Этим приглашением доказывается наше особенное русское свойство гостеприимства, которое по этой причине и называется чаще хлебосольством. Давно уже нами выговорено: «Брось хлеб-соль на лес, пойдешь — найдешь», то есть накорми первого встречного и незнакомого, но голодного, потому что если и тебе самому захочется и приведется попросить есть, никто тебе в том не откажет. Хлеб-соль — заемное дело; хлеб хлебу брат, то есть за угощенье — ответ, за любовью — оплата.

Хлебом и солью *встречают* и *провожают* русские люди всякого желанного заезжего гостя и *подносят* хлеб-соль дорогому, любимому человеку, которому желают доказать почтение и покорность.

— Хлеб да вода — солдатская еда! — хвастаются храбрые русские воины.

— Хлеб — всему голова! — уверяют трудолюбивые крестьяне, которые всех ближе и вернее могут судить об этом деле: крестьянин землю пашет, хлеб сеет, собирает и продает; ел бы богач деньги, кабы убогий не кормил его хлебом. Ни о чем так сильно не хлопочут, ни о чем так усердно не молятся богу простые русские люди, как о росте посеянного хлеба. Без хлеба не крестьянин. Хлеб на стол — и стол престол, а хлеба ни куска — и стол доска. Без хлеба несытно, без него и у воды худо жить, без хлеба — смерть; хлеб — дар божий, батюшка, кормилец.

Вот что выговорил русский народ про те колосовые растения с мучнистыми зернами, которыми он питается охотнее и больше съедает всех других народов целого света. Вот какое уважение оказывают русские люди

этим злакам, которых посев и жатва составляют основу всей нашей русской жизни. Давно всеми признано и доказано, что страна наша преимущественно земледельческая, а потому и самих крестьян, или мужиков, всего умнее и справедливее привыкли называть хлебопашцами. И в самом деле, нам указана для жизни на земле такая страна, где родятся все роды хлебов: ячмень, рожь, овес, пшеница, гречиха, просо, рис и кукуруза. Поэтому, где только поселились русские люди, всегда там засеваются хлебные растения.

Там, где обильно родится виноград, где снег выпадает только раза два-три и все разы лишь на несколько часов, — за Кавказом, сеют рис, то есть самое нежное и прихотливое растение. Стоя почти все время жизни своей по самую верхушку в воде, вырастает это растение, известное у нас под именем сарачинского пшена и способное водиться только в самых теплых южных странах. Чтобы вырастить его, делают искусственные болота, так как рис любит лишь влажную и сырую землю, и для того подле рисовых полей, или чалтыков, всегда наготове целая сеть канав, приводящих воду из рек. По нескольку раз спускают и напускают эту воду. Испарения застоявшейся и загнившей воды в тех местах заражают воздух и производят тяжелые смертельные лихорадки, но зато рис людей тех нездоровых стран спасает от другой, более лютой смерти — от голода. Пилав, или плов, — вареный рис с разными прибавками, сорты которых считают там десятками, избавляет от смерти всю азиатскую бедность, а в том числе и нашу закавказскую. Здесь эти пловы играют в людской жизни столь же важную роль в питании, как в среде петербургской бедности картофель, селедки и цикорный кофе. По сю сторону Кавказа рис исчезает. У берегов Черного моря, где бывают уже холода, хотя и непродолжительные, и выпадают снега, но неглубокие, рис пропадает. На место его могут возделывать всегдашнего его соседа, не столь, правда, нежного и капризного, — кукурузу, или маис. Там, где зреет виноград на открытом воздухе, красуются охотно на чрезвычайно длинных столбиках почковидные шишки — зерновки этого растения, расположенные на мясистой оси в восемь рядов. В юго-западном углу нашей России, а в особенности в Бессарабии, кукуруза опять выходит на выручку тамошней бедности в виде дешевого и сытого блюда, так называемой мамалыги, — круто затертой и заваренной каши из кукурузной муки. Местные бедняки ничего там больше уже и не едят. Ку-

куруза, или белоярая пшеница, которою кормили богатырских коней, но только в сказках, как пища не соблазнительна, а потому в тех же странах предпочитают сеять настоящую пшеницу. Пшеница здесь полный властелин и хозяин. В тех местах, где климат умеренный, то есть зима несурова и теплое время стоит более полугода, пшеница составляет один из главных предметов земледелия. С нею рядом засевают и полбу — ее близкого родича, и просо. Народ не ест другого хлеба, кроме пшеничного, а ржаной хлеб большая редкость и лакомство для приезжих с севера. Нередко в тех местах ржаной хлеб можно достать только у солдат и матросов в казармах: лавки им не торгуют. Растет пшеница только в южных губерниях, и пределы роста поставлены в строго определенных природою размерах. У нас грань эта не доходит до истоков тех рек, которые текут с юга на север, и если некоторые сорта пшеницы растут еще и за границей, то лишь как дорогие гости, на долговременное пребывание которых рассчитывать невозможно. Там, где обманывались этим и сеяли одну пшеницу, часто платились неурожаями и голодовками, из которых не так давно всем памятна в Самарской губернии и в смежных с нею уездах Оренбургской губернии. Здесь указана природой полоса ржи.

Там, где зима побеждает лето и холод стоит дольше тепла, то есть ближе к северным морозным странам, пшеница не устаивает, часто мерзнет и обманывает надежды. Господство ее ослабевает, начинают властвовать матушка-рожь, батюшка-овес и гречиха — самые любимые хлебные злаки русского народа. Область гречихи и овса короче; царство ржи тянется далеко, даже и по таким землям, над которыми трещат морозы и семь месяцев в году лежат глубокие снега. Рожь всех менее боится морозов; во время молодости переносит довольно значительный холод и прежде всех созревает. Она господствует еще там, где ячмень, наиболее способный переносить суровый климат, употребляется только на пиво, но рожь сохраняет свое место и там, где начинается полное царство ячменя. Граница ржаного царства доходит у нас до Архангельска, где на полях сеют $^2/_3$ ячменя и $^1/_3$ ржи: рожь, стало быть, еще в почете. Если во всем ржаном царстве пшеничный хлеб и пироги потребляются народом только по большим праздникам, как конфетка или пряник, то на северных пределах его та же честь воздается ржаному хлебу: его едят после обеда, как пирожное, и то не каждый день, а ко-

гда имеют купленные запасы муки. В обыкновенном потреблении ячменный хлеб годен только в тот день, когда испечен, и превращается на другой день в сухой, твердый и невкусный комок, который и нож не берет. С таким хлебом, без рыбы и овощей, в тех местах беда была бы великая, да и теперь сплошь и рядом обедают там совсем без хлеба, особенно рыбаки наши на Белом море и океане. Поберегают там и яшную муку и крупу, потому что и ячмень, как ни терпелив, но слишком жестокого и сухого мороза боится, и хотя сеют его прежде ржи в холодной почве, но стараются на полях оставлять земляные глыбы для защиты семян. На Кольском полуострове и яшное царство кончается: здесь положена самая крайняя грань вместе с ним всем хлебным злакам.

Согласно этому природному делению нашей родины на три царства: пшеничное, ржаное и яшное, народ наш из всякого зернового немолотого хлеба *житом*, как главным жизненным подспорьем, называет в пшеничной стране на юге пшеницу, а в ржаной — рожь, величает житом ячмень по всему северному краю России. Дальше тех пределов, на которых перестает подниматься и вызревать ячмень, не растет уже ни одного хлебного злака: прозябают только мхи и лишаи, и от лютых морозов трескаются и рассыпаются гранитные скалы. Не растет хлебных растений здесь, где кочуют дикие народы, которые вовсе не имеют понятия о хлебе и питаются кое-чем, а всего больше жиром морских зверей и тухлой вяленой рыбой без соли. Да в теплой полосе, в южных степях, попадаются места, пропитанные солью, наполненные солончаками, каковые почти вовсе неудобны для разведения хлебов. Однако и здесь русские люди — исконные земледельцы — пробуют в поте лица сеять хлеб.

Вот об этом-то хлебе и об этом народе, возделывающем хлебные растения и употребляющем преимущественно мучную, хлебную, крахмалистую пищу, я хочу рассказать и прошу моих рассказов послушать. Как, по пословице, от хлеба-соли никогда не отказываются, так и я кладу крепкую надежду, что вы не откажетесь дослушать до конца эти рассказы о хлебе, или, лучше, *историю о куле с хлебом.* Всякая погудка ко хлебу добра, говорит наш народ, да и моя — старая — на новый лишь лад. Почему я начал говорить именно о хлебе, сейчас объясню.

Отправимся прямо в деревню.

Деревушка, как все, раскинулась по полю, подле лесу, либо на берегу речки, либо, на худой конец, подле стоячего пруда. Издали деревушка кажет темными кучками, разбросанными кое-как, в беспорядке; вблизи распознаем в ней улицу, по сторонам ее стоят избы, в конце часовенка, кое-где колодцы, посередине обыкновенно, чтобы были всегда на глазах, — амбарушки или клети с хлебом и другим домашним добром. В глухих местах их даже не запирают. Избы, конечно, бревенчатые, от времени почернелые, внутренним устройством очень схожие, наружным видом каждая силится отличиться. У домовитого вычинена, старается казаться опрятною; большая часть — запущенные, обломанные и неряшливые; у самых бедных ушли в землю и похожи либо на хлевы, либо на собачьи конуры. Трубы деревянные, обгрызенные и закопченные; окошки покривились, двери на боку и, отворенные наружу, того и гляди стукнут в спину входящего. Крыши местами сползли, местами провалились, особенно крытые так называемою дранью. Дрань на дождях и снегах имеет дурное обыкновение скоро сгнивать. Вместе с нею сгнивают и те упорки и перекладины, которые прилаживаются на крыше, чтобы сдерживать дрань. На беду, упорки по низу крыши должны быть с желобом, на котором постоянно застаивается вода, не имеющая стока. Ближние соседи разладились и расползлись в разные стороны: всякая туда, где ей показалось удобнее, а перекрыть лень либо недосуг. По скорости, подправляют крыши соломой, и тогда еще обидней: где чернеет дрань, где торчит нестрижеными хохлами солома, прикрепленная жердочками. Ветер подсмеивается, потряхивая клочками соломы, и шалит, сбрасывая ее пучками на такого же горемыку соседа. А солома ползет да ползет долой, а дождь ломит прямо в потолок и через него на нос беспечных хозяев, — конечно, всем им за то, что — по привычке русского человека — не обращают они внимания на домашние удобства, называемые комфортом.

Большая часть изб прямо крыта тем материалом, на который в деревнях и цены нет и за который только в городах дают кое-какие деньги. Материал этот — солома: пустые внутри стебли злаковых растений, остатки после обмолоченного хлеба, о которых и речь наша. На крышах солома ржаная: другие сорта сюда не годятся. Овсяная, или яровая, солома, мелко изрубленная в сечку, идет на корм скоту; гречишная солома годится только на поташ, а матушка-рожь дает, во-первых, столь-

ко соломы, как уже никакое другое хлебное растение, а во-вторых, такую, что ее можно бы назвать нетленною, если бы что-нибудь было вечно под луною. Ржаная солома служит кровлей не один год, а до тех пор, пока не растаскают ее ветры. А растаскать ее очень легко: набрасывают солому снопиками и, плотно складывая их один подле другого, соломою же привязывают к жердинкам, очень тонким. Жердинка только и нагнетает солому, а перевязь, в которой должна заключаться главная сила, как бы хитро ни делалась, всегда непрочна.

— Отчего не делаете ее прочнее?

— Нам супротив соседей идти невозможно, потому — обижаться будут. Станут спрашивать: откуда такую моду взял? Станут говорить, что над ними и над отцами и дедами смеяться выдумал.

Если же расчесать солому и помакать в жидкую глину да смазать сверху густой глиной — такая соломенная крыша, выкрытая, что называется, под щетку, ни ветров, ни дождей не боится. Она служит хозяину своему, прикрывая его убожество и сказывая про его большую нищету, целые десятки лет (лет сорок). Из-за соломы крестьянину не надо покупать ни железа, которое у нас очень дорого, ни досок, ни драни, каковые в безлесных местах немногим дешевле железа.

Пойдем под эту соломенную кровлю посмотреть поближе на крестьянское житье. Путь идет через двор, выстланный той же соломой, которая на этот раз заменяет и булыжную городскую мостовую, и слеживается потом в то вещество, на котором родится в поле хлеб и которое называется навозом и наземом. У хорошего хозяина солома и на крылечке насыпана, и тогда служит она ковром и половиком — обтирать грязные ноги.

И в избу войдем — от соломы не отделаемся: в теплом уголке у печки лежит соломенник, то есть набитый соломой тюфяк. Молодые спят на соломницах — на простых соломенных рогожках, сшитых веревками: соломницами завешивают окна зимою и подстилают их же под захожего гостя, укладывая его спать. К покрову старую, годовалую солому сжигают и заменяют ее свежей и новой, когда обмолочен хлеб и начинаются холода и длинные зимние ночи. На соломе коренной русский человек родится, на ней и помирает. Умрет он, солому, на которой лежал, выносят за ворота и сжигают.

Но — до смерти еще далеко — мы вошли в избу, когда там родилась новая живая душа, крестьянский

сын, будущий кормилец-поилец семьи, вечный труженик и непременно хлебопашец. В избу то и дело заходят соседки понаведаться, подсобить матери-роженице, а пожалуй, и помешать, полюбопытствовать, чтобы было о чем порассказать и посудачить. В деревне скучно и в глухую осеннюю пору деться некуда, пока не наладились осенние домашние работы: всякая новость занимает всех. Рождение мальчика почитается счастьем и божиим благословением. Об этом говорят, этому или радуются или завидуют: лишний тяглец на дому и верный помощник. Он не уйдет в чужой дом, как уходят дочери-невесты жить и работать на мужа и на его семью.

«Родись на Руси человек — и краюшка хлеба готова» — так говорит старинная народная пословица, которая только у нас свята и нерушима. В России всякий имеет право получить клочок земли для своего прокормления, а крестьяне получают лишние против других полосы земли на каждую мужскую душу. Родился новый мальчик — у отца лишняя прирезка и на этого сына пахотной и сенокосной земли. Во всех других государствах этого обычая давно уже нет; у нас еще очень много лежит такой земли, которая сотворена на службу человеку, но ждет его труда и еще никем не возделана. При очередном переделе деревенской земли миром, то есть всем обществом нашей деревни, вспомнят про нашего новорожденного, выделят землю и на его пай, на его маленький желудок, на большой рост и здоровье. А вот в углу под образами и знамение будущих его крестьянских занятий: дожинный сноп с колосьями и зернами, подпоясанный той же соломой. Сноп этот последний из поля, когда оно все сжато и убрано. С песнями сопровождали его жнецы в избу хозяина; самая красивая девушка несла торжественно на руках этот сноп-дожинок, украшенный лентами и цветками, голубенькими васильками. Наш ребенок еще очень мал и ничего не понимает: кричит, когда есть захочет, кричит, когда озябнет. На другой, на третий день его поспешат окрестить и для этого непременно свезут на село и таинство крещения совершат над ним непременно в церкви (крестить на дому у крестьян не принято и считается делом незаконным). При крещении он получит на всю жизнь имя, которое и будет состоять за ним по его крестьянскому праву, без отчества. Имя дадут в честь того святого, чью память празднует церковь в тот день, когда мальчик родился. Дадут другое, более ходячее, любимое или желаемое, в том только случае, когда вы-

падет имя греческого святого, которое мужичьему языку мудрено выговорить.

В этот день домашнего счастья в доме родителей, в честь малютки, на его имя, в первый раз первое обрядное блюдо. Это блюдо, заветное, крестильное, — из тех же хлебных растений, которых обработка будет для него обязательна, именно из зерен или крупы, не смолотых в муку, но сваренных в воде, в их настоящем неизменном виде; это — крестильная каша, либо яшная из ячменя, либо пшенная из пшеницы. Бабка, принимавшая ребенка, ходит с этой кашей по всем званым гостям; кто хочет кашу есть, тот должен выкупить ложку, то есть положить грош, по поверью: за кашку грош отдать — младенец жить будет. Отцу дают кашу круто посоленную, с перцем. Каша, сваренная на воде или на молоке, так называемая размазня, будет выручать мать на то время, когда окажется мало ее собственного молока, а ребенок будет просить кушать. Крутая каша пойдет потом выручать на всю жизнь русского человека на несчастный случай проголоди и настоящего голода. Каша — мать наша, выговорили русские люди, потому что это блюдо у них ежедневное. На нем целая половина обеда и последняя сыть: кашицей начинает, кашей кончает обед свой даже бедняк. Чем она хуже других блюд — и сказать трудно, а в виде крупеника, то есть запеченная на молоке и яйцах, составляет лакомое блюдо вроде наших сладких пирожных. Немудреное оно кушанье: по пословице, и дурень сварит — была бы крупица да водица. Затем русская каша везде поспела и всюду пригодилась: она и на крестинах новорожденного, и на свадьбе взрослого, при почине нового хозяйства. Она и на своем празднике на день Акулины (13 июня), который потому и зовется праздником каш, что тогда обыкновенно угощают всякую нищую братию. Каша и в складчине по обету, накануне Ивана Купалы (23 июня), она и на второй день рождества для баб — бабьи каши; она и на угощенье молотильщикам — из свежего зерна осенью. Без каши и обед не в обед. Русского мужика, говорят, без каши и не накормишь.

Стоит остановиться здесь, чтобы мимоходом поговорить о каше: сколь стара Русь, столь несомненно то, что она — первое кушанье, приготовленное земледельческим народом, когда он еще не знал ни жерновов, ни мельниц. Зерен не надо обдирать, молоть, делать из них муку, месить хлеб и т. п., — стоит лишь подлить водицы и поставить на огонь. А кто из нас, людей русских,

тотчас вслед за материнским молоком не начинал жизнь с жиденькой молочной каши — в достаточных семействах и в городах — с каши манной?

Кашу варят изо всех хлебных растений, и реже только из одной ржи, и то недозрелой (эта зеленая каша составляет кое-где купеческую прихоть). Бывают каши: яшная, гречневая, пшенная, овсяная, полбяная, кукурузная (мамалыга) и картофельная — все сорта во всеобщем народном потреблении. Известна еще и такая, которую умеют варить только лучшие повара для самых записных и самых богатых лакомок: гурьевская каша, названная фамилией богача министра Дм[итрия] Ал[ександровича] Гурьева, знаменитого великолепными обедами. Эта каша большой цены целых рублей в лучших столичных ресторанах приготовляется с различными дорогими фруктами: не только попробовать, но и посмотреть на нее надо заплатить деньги. Говорить об ней мы больше не станем. Яшную (из ячменной крупы) кашу Петр I признал самою спорою и вкусною, хотя гречневая (из гречихи) — самая любимая и употребительная во всем Русском царстве, то есть по всем трем царствам его хлебных злаков. Ячмень кладут в ступу и бьют пестом, потом промывают; шелуха, не варимая желудком, отлетает: стала яшная крупа. Высушенная особым способом, она получает название толстой крупы; очищенная самым лучшим способом и тщательным образом, яшная крупа получает имя перловой, перловки, так как зерна ее начинают походить на перлы, или жемчуг. Яшную кашу, как и все другие каши, едят тотчас из печи горячею: остывшая теряет вкус и становится тяжелою для желудка. Гречневая каша потому и распространена так сильно, что гречки у нас родится очень много и в северных губерниях сеют ее потому, что растение поспевает очень скоро (через два месяца после посева). Шелуха, или лузга, отбитая от зерна в крупорушнях, в безлесных местах заменяет даже дрова, составляя превосходное и дешевое топливо.

За большую заслугу, приносимую гречишным зерном, превращенным в крупу, перед посевом гречихи у крестьянских окон поется весной такая песенка:

Кормилица ты наша, радость сердца!
Цвети, расцветай, молодейся,
Мудрее, кудрявей завивайся,
Будь добрым всем людям на угоду!

Для каши зерна кладут под жернова, которые освобождают их от шелухи, сыплют под струю воздуха, на-

правляемую веялкой, и делают таким образом крупу. Если зерна отобрать и тщательно отсеять, можно получить крупу поменьше величиной, но приятнее на вкус: такая крупа называется *смоленской*. Если же отборное, спелое и полновесное зерно обварить кипятком, шелуха сама отстанет, а если его затем высушить, насыпать в мешки и в них, взявшись крепко за углы, сильно вытрясти и отвеять, получится *ядрица*. Каша из нее — для любителей. Для общего потребления гречневая крупа идет с крупорушек не обдирная, но зато гречневая каша тем лучше других сортов, что ее можно есть не только горячею, но и холодною с молоком, с конопляным соком и даже с квасом. Перед гречневой кашей отстают все другие, и ни одна в народе не пользуется таким почетом: ни полбяная, ни из пшена, которая, впрочем, известна только в Малороссии, где из нее варят кашицу, называемую кулешом, ни мамалыга — кашица из кукурузы, к которой русские люди, вообще невзыскательные в пище, не скоро привыкают, ни овсяная каша, к которой русский народ чувствует даже отвращение, так как она напоминает ему больницу и габер-суп. Крупа, приготовленная из пшеницы, называется манною; крупа из картофеля — иноземным словом *саго,* но та и другая народу мало известны, так как трудное приготовление делает их дорогими, как ядрицу и смоленскую крупу. Каши из этих круп едят только в средних достаточных классах, и изобретены они, конечно, богатыми людьми с избалованным вкусом и в то же время, когда у них в распоряжении было много дешевых рук крепостных людей. И дешевые крупы делают свое дело, а простые зерна (например, ржи и пшеницы) приносят человеку еще большую пользу, чем изысканные.

Человек живет, движется и работает, стало быть, изнашивает себя, тратит тело и все то, что его составляет. Когда не возвращаются телу утраты, человека постигает смерть. Пища поддерживает жизнь именно потому, что с нею возвращаются те частицы, которыми питается тело, и потом расходуются и уничтожаются в нем с каждым мгновением. Нужны телу вода, известь, крахмал, жир, соль, сахар и т. д. — все те вещества, которые не только образуют мясо и кости, но и поддерживают в теле жизненную теплоту. Хлебные зерна тем и благодетельны для человеческого тела, что в испеченном хлебе и сваренной каше дают все это вместе, хотя одни зерна больше, другие меньше. Черный хлеб из ржаной муки и пшеничный из низших сортов пшеницы

дают самый питательный хлеб. Ржаной, приготовленный из мало просеянной муки, каким довольствуются наши деревни, еще питательнее и требует лишь привычного и сильного желудка. Пшеничный, или белый, хлеб из высших сортов пшеницы полагается также самым питательным веществом, которое еще усиливается в наших булочных примесью молока и яиц. Вот почему как каши из зерен, так и булки и хлебы из муки хлебных зерен составляют драгоценный питательный материал для человеческого тела, а потому хлеб в особенности сильно распространен в классе рабочих, где всего больше и скорее тратятся частицы тела. Кто видел, как много потребляют рабочие хлеба, хотя бы на столичных улицах, на петербургских барках, тому разъяснять больше нечего. Оставив кашу, пойдем опять в деревню и в крестьянские избы.

Таким образом, почин в жизни русского совершается хлебным, мучнистым и крахмалистым приношением — кашей. Мать дальше не всегда угождает материнским молоком, которое считается самою здоровою, на первых порах единственно полезною и позволительною пищей.

На женщине в деревнях весь дом стоит: она и у печки глядит, чтобы щи не ушли через край, и скатерть на стол кладет, и кошку гонит, чтобы не слизывала с молока детских сливок, и опять к столу, и опять к печке. А там раскудахтались куры, разворчался хозяин, соседка пришла соли попросить — и наш ребенок, ее детище, в зыбке заплакал. Надо покачать, чтобы унялся, горшок щей выхватить из печки ухватом, всем угодить, а самой хоть сквозь землю провалиться. Голова идет кругом, и ног под собой не слышит наша терпеливая труженица, неустанная работница, честная жена крестьянская. Чем угомонить ребенка, когда он раскричится? Покормить грудью или закачать до обморока — времени нет. Придумано давно, как русский свет стоит: напихать в рот ребенку жвачку изо ржаного хлеба или каши, от всех бед прибежище, — будет сосать и замолчит. Станет помалкивать — значит, стал набираться крестьянской рабочей силы. От жвачки начнут развиваться у ребенка в желудке кислоты, появится резь; от болей он начнет реветь на всю избу. Мать скажет себе, что кто-нибудь взглянул на ее сына черным глазом, сглазил,— и успокоится, пока ребенок ревом своим не велит, как говорится, выносить святых вон из избы. А тут отец постарается пособить беде: привезет от куп-

ца с ярмарки или базара пряник — сусленик, опять-таки мучное, да еще с медом: зык и рев еще пуще. Усмиряет мать плаксу песней, да и эта песня, конечно, на ту же стать.

Вот хоть такая:

Баю-баюшки-баю,
Живет барин на краю,
Он ни скуден, ни богат,
У него много ребят.
Все по лавочкам сидят,
Кашу маслену едят.
Каша масленая,
Ложки крашеные,
Ложка гнется,
Сердце бьется,
Душа радуется.

Или на такой склад:

У котика, у кота
Была мачеха лиха.
Она била кота
Поперек живота.
А кот с горюшка,
Кот с кручинушки,
Кот на печку пошел,
Горшок каши нашел.
На печи калачи,
Как огонь горячи.
Пряники пекутся,
Коту в лапки не даются.

А про «сорокину кашу» кто же из нас в детстве не слыхивал?! Стал ребенок подрастать: сначала выучился на дыбки становиться, потом ползать по полу, ходить, ухватясь за лавку. Сотни раз падал и больно ушибался: то синяк высветлеет на личике под глазом, то шишка на лбу или на головке вскочит. Наревелся он не только на свою избу, но и на целую деревню. Наконец стал он держаться на своих ногах без помощи материнских рук, стал ходить вперевалку. До году крестьянский сын всегда начинает ходить.

Как исполнился год жизни и наступил первый день его именин, мать спешит почествовать сына вторым в честь его блюдом и опять хлебным — пирогом именинным. На этот раз кусочек пирога перепадает и на долю именинника, а затем пирог и пойдет ему на всю долгую или короткую жизнь, как непременная именинная принадлежность. Впрочем, как все мы хорошо знаем, звать на пирог и не для одних крестьян значит звать

на именины: без пирога редко кто на святой Руси именинник; без пирога именинника старые люди под стол сажали.

Попались мы теперь на такое кушанье, которому у нас износу не будет и счет сортам подвести невозможно. Назову главные сорта их. Пирог защипанный глухой, с какой-нибудь начинкой, называется собственно пирогом и, судя по начинке, бывает: гороховик, крупеник (с кашей), грибник (с грибами). Если начинка мясная или рыбная, пирог уже называется кулебякой. Пирог незащипанный зовется расстегаем, вздутый из кислого теста — подовым, из пряженого теста с маслом — сдобным. Пироги бывают долгие, круглые (с курицей — курники), треухи, то есть треугольные и сладкие, начиненные сластями, они же и торты. Бывают ватрушки с творогом, кто их не знает? Бывают пироги защипанные, но без начинки, пустые, называемые пирогами «с аминем». Едал я самые вкусные сибирские пироги, каких редко кому доведется есть в России. В России некогда славились пироги арзамасские с рыбой астраханской. На начинку в пирог пирожницы наши не спесивы: в пирог все годится, все завернешь, говорят они, но на приготовление вкусного между ними мастериц немного. Где такая заведется, там ее почитают и, когда нужна ее услуга, зовут с честью и поклонами. Она вынет пирог из печи, поставит на стол да и остановится, подхватясь локотком, что скажут: дошел или перешел, упрела ли капуста, похвалят ли? Едят пироги до обеда, но не крестьяне. Хотя, по пословице, пирог обеду ворог, пироги у крестьян подают после обеда на заедку и не глядят на то, сладкий ли он или просто с крутым горохом, который, как известно, не всякие зубы и перемять могут. При этом пироги не пшеничные, не крупитчатые, какие мы все привыкли есть и видеть: наш новорожденный будет есть ржаные и только по большим годовым праздникам пшеничные, но опять-таки не белые крупитчатые. Эти попадут ему в рот разве на тот случай, когда выпишется он в купцы, начнет торговать и наживать лишние деньги на сладкие дворянские и купеческие кушанья. Так, впрочем, и сказано: матушка рожь кормит всех сплошь, а пшеничка — по выбору.

Между пирогами есть обетные, которые пекутся по обещанию. Так, например, на Ивана Купалу (23 июня) пекут их на угощение странников и нищих; на зимнего Николу опять-таки тот же нищий без пирога за стол не

садится. Вообще можем сказать пословицей: «Изба красна углами, а обед — пирогами».

В старину в пользу сборщиков государевых податей с народа собиралась пошлина, которая и называлась «пироговою». Цари своим близким людям посылали в их именины пироги. Словом, пускаясь дальше, из русских пирогов можно совсем не выбраться. «Ешь пироги, — говорит старая пословица, — а хлеб вперед береги». А так как о хлебе и хлебенном и мне доведется много говорить впереди, то и постараюсь поступить так, как подсказывает пословица.

Подрастает наш молодец по неделям и месяцам, от праздника до праздника. Ему не помнить бы их, если бы родители не отмечали праздничные дни добавочными блюдами, и притом так, что почти на каждый праздник особое блюдо, и уже если и в самом деле особое, то опять-таки непременно хлебное или мучное. Вот на самый большой зимний праздник, накануне великого дня рождества Христова, в сочельник,— кутья. До появления первой звезды на небе не едят в этот день. После звезды выносят эту кутью, или жидкую кашу, сваренную из обдирного ячменя, пшеницы, толстой крупы в воде, наслащенной медом и называемой сытою, очень вкусную и сладкую. Ставят ее на стол, покрытый соломой и скатертью. Из-под скатерти отец семейства вынимает соломинку и по ней гадает: вынулась длинная — будет урожай на хлеб, попалась короткая — надо опасаться хлебного недорода. Под Новый год опять кутья, под крещенье, во второй сочельник,— третья кутья. Эта кутья называется богатой, рождественская — постной, новогодняя — голодной. Сочельник, или сочевник, оттого так и называется, что едят в эти дни это сочиво, то есть наслащенную кашу без скоромной приправы.

С первого дня рождества, как известно, начинаются святки. В ночь под рождество, после заутрени, малые ребята ходят кучками «со славой», то есть поют праздничные стихири, иногда носят с собой вертепы или звезду, получают за то деньги, подарки и опять-таки пшеничные пироги. Для взрослых наступило время веселья, пиров, и второй день святок издавна слывет в народе под именем бабьих каш. На васильев вечер, или под Новый год, опять каши и обсыпанье большаков в семье зерном в виде гаданья на хлебный урожай.

Опять малым ребяткам удовольствие ходить по чужим избам, распевать хоть бы такую песню (и получать то, чего просят):

Пышка-лепешка
В печи сидела,
На нас глядела,
В рот захотела.
Дайте нам ломоть пирога
Во все коровьи рога;
Не дадите лепешки —
Закидаем все окошки;
Не дадите пирога —
Закидаем ворота.

Или:

Кто не даст пирога —
Сведем корову за рога,
Не дадите ножку —
Мы свинью об сошку.

Накануне крещенского сочельника святкам конец: нельзя сбираться по избам, петь песен, плясать, надевать харю или маски на лица и шубы навыворот. Нельзя и малым деревенским ребятишкам шататься по домам и стоять толпой под полатями у входных дверей, смотреть на забавы и игры старших, толкаться и щипаться промеж себя. За святками опять побегут дни за днями, неделя за неделей — и все эти недели называются свадебными, потому что в это время преимущественно устраиваются крестьянские свадьбы. Одна из этих недель сплошная, на которой можно есть скоромное каждый день и пекут и едят особое хлебенное: хворосты, хворостень — тонкие и хрупкие пряженые лепешки, сдобное тесто полосками, лентами, пряженное на масле печенье. За сплошной, или всеядной, — неделя пестрая, которая названа так потому, что один день у ней скоромный, а другой постный. А вот за пестрой неделей прикатила и честная широкая масленица — всемирный праздник, самый веселый изо всех: «На горах покататься, в блинах поваляться».

Блины — пшеничные, яшные, овсяные, гречневые, из пресного и кислого теста, из манной крупы, из творогу, блины с луком, с яйцами, со снетками, с маслом, со сметаной и т. д. в бесконечность. Не станем уже говорить об оладьях и пышках, которые в достаточных семьях заменяют блины и помогают им как разнообразие. «Где оладьи, тут и ладно; где блины, там и мы»,— говорит поговорка. «Без пирога не именинник, без блинов — не маслена». Блинами поминают и покойника и празднуют свадьбу, но с той разницей, что на поминках их подают наперед всего, а на свадьбах после всего. На масленой же блины всякий день: и утром, и в полдень, а у доброй

хозяйки и вечером, хотя бы и холодные, да лишь бы с маслом, блины во всю длину целой недели. Наедаются блинами до отвалу, оттого и масленица неспроста называется объедухой. И поделом ей за ее обжорство и шалости; на другой же день заговенье на хрен, на редьку да на белую капусту. С первого же дня православная тюря — ржаной хлеб с луком, круто размоченный квасом, да какую хочешь кашу, да какой наберешь кисель: опять мучнистое в виде студня, на опаре и закваске, овсяной, ржаной, пшеничной, или пресный и самый любимый — гороховый. Киселем брюха не испортишь, для него всегда место, и самый большой почет ему — именно в постах и на похоронах. На выручку к киселю саламата, или кулага, — болтушка, сваренная из любой муки, какая попала под руку: жидкий киселек, мучная кашица с солью и маслом. Ливенцы орловские этой саламатой даже мост обломили, когда по горшку со двора вывезли навстречу новому воеводе. Так подсмеиваются над ними соседи.

Постов у нас очень много, и в постном нет недостатка. Назову главнейшее, за всем не угоняешься. На выручку к саламате толокно — толченая немолотая овсяная мука с водой либо квасом и солью: от всех бед прибежище, любимая еда и в дальних дорогах спасенье. Кушанье скорое: замеси да и в рот понеси. Некоторые простаки в реках замешивали, реку Каму прудили, подсмеиваются соседи. Однако толокно сухим не проглотишь: толоконной мукой поперхнешься на первой щепотке. Чтобы съесть, надо смочить, разболтать его в жидкости. В молоке? Нельзя: пост, да еще великий. Водой? Дело хорошее, особенно если круто присыпать солью. Да такой способ позволителен только в дороге, в чужих людях по скудости и скорости. В своем дому дозволяется это лишь крайней бедности, дома за толокно с водой просмеют. Худо дело, если в какой крестьянской избе нет — да и в какой же нет? — квасу. Квас, впрочем, такой и напиток древний, что как прознали люди про предков наших славян, так и рассказывали про квас и про бани: «Возьмут-де листья, начнут хлестать себя ими так, что сделаются мертвыми, а потом обольются питейным квасом — и оживут». Квас и теперь ни в одной избе со стола не снимается: стоит он тут в деревянном жбане и ждет заезжего или прохожего, чтобы подсвежить их, особенно в летнюю пору. В деревнях по святой Руси за квас еще никто не плачивал денег, торгуют квасом только в городах. В старинных городах он до сих пор игра-

ет видную роль на купеческих свадьбах; на богатых полагается девять квасов, то есть девять кушаний с непременным квасным подливом. Да и квасы бывают разные: не только обыкновенный сыровец из квашеной ржаной муки или печеного хлеба с солодом, но и лакомый — медовый на меду, клюквенный, яблочный, грушевый, даже можжевеловый, на вкус волжских бурлаков. Чтобы не заговориться об квасах, довольно сказать коротко, что этот напиток — наш коренной русский, национальный. Другие народы про него не знают. Вместе с хлебом он выручает из опасностей голодной смерти самую голую бедность. «Ешь щи с мясом, а нет, — так хлеб с квасом», — повелевает, зло подсмеиваясь, русская поговорка. В посты квасу особенный почет, да без него ни один работник в работу не нанимается, желая пить его когда вздумается. В помощь толокну замешивают на кипятке ржаную муку и солод и упаривают в корчагах на вольном духу эту смесь в виде квасной гущи. Затем студят на холоде, выходит кулага — самое лакомое постное блюдо. Если не выручат щи, на что честнее и вкуснее лапша, которую нередко топором крошат, чтобы было этого хлебенного больше и сварилось оно круче. Для вкуса в посту грибков прикрошат, в скоромные дни подпускают сала. На киселе и толокне и с постом разлучаются. Однако среди поста, на средокрестной неделе, для разнообразия лакомятся крестами; пекут их из кислого теста, в один запекают деревянный крестик. Кому такой достанется, на счастье того засевают хлеб будущей весной, или тот же самый счастливец бросает в землю первые зерна. И еще в посту хлебенное лакомство, в день сорока мучеников, 9 марта. Тогда пекут из хлеба колобки в виде птичек, которые и называются жаворонками, потому что, по поверью, на этот день будто бы прилетают сорок птиц, и между ними жаворонки самыми первыми и главными.

Столько хлебенного для праздников и по праздникам на рост и здоровье русского человека, чуть не с первого года по его рождении! А так как ребенок чем скорее растет, тем сильнее и есть просит, то ржаного хлеба перепадает на его долю больше, чем, например, каши. Сверх того сердобольная мать, неподкупный друг своего детища, чтобы не плакало оно и не ныло, охотясь больно и прося неотступно есть, ставит где-нибудь в укромном месте маленький коробок. Приходи к нему, когда вздумается, бери сколько хочешь и ешь сколько влезет. В коробке — колобки, о которых с такой любовью рас-

сказывается в детских сказках: «Я, колобок, по сусекам метен, в сыром масле пряжен» — и т. д. Колобки — небольшие круглые хлебцы или толстые лепешки, их обыкновенно пекут из остатков муки от пирога или хлебов. Материнская нежность прибавляет туда масла, чтобы сделать сдобными, смазывает сметаной или размешивает на молоке, чтобы стали послаще: кушанья вкусные и ребятами любимые. Сшалят они, провинятся — отказом в колобке деревенских детей наказывают. А так как матери любят баловать деток, то и колобкам много названий и много сортов: есть кокурки, колобаны, клецки, лепешки, кольца, крендели, витушки, каравайцы, сушки, бублики, пряженцы, толченики, папошники, булочки, баранки. При этом всякий из них печется на свою стать особым образом.

На материнских колобках да на улице, то есть при достаточной пище и на свежем воздухе, при постоянной беготне и движении, крестьянский сын вырастает скорее и спорее детей городских. Одна разница: деревенским ребятам не проходит даром то, что они поедают так много хлебного, мучного. У них вырастают большие животы, каких не бывает у детей, питающихся бульонами, супами и вообще мясною пищею. Мясо или говядина попадает в деревенские щи очень редко, в самые большие праздники, и то не во все, и то не у всякого. В замену мяса идут овощи: луку очень много, еще более капусты, редька, морковь, картофель.

Беда от большого живота со временем проходит, с летами исчезает, остается только способность есть много, так как мучная пища тогда только напитывает, когда потреблена в большом количестве. Тогда и в теле теплота, и в душе довольство и спокойствие. На теплом Кавказе с трех-четырех лепешек, называемых чуреками, бывают сыты. Попадется работник на улице с куском черного хлеба больше своей головы — это он про одного себя купил, ни с кем делиться не будет.

Наедается мальчик, чтобы быть сытым и набраться сил. Набирается он силами для того, чтобы хватило их ему на домашнюю помощь. В деревнях детей не нежат, долго не балуют. Поднялся ребенок на ноги, стал твердо ходить и толково все понимать, — его сейчас за работу. За грамоту не сажают, а начинают приучать к хозяйству. Сначала работы полегче: лошадку попоить, пособить запрячь ее, в поле угнать, там посторожить ночью, днем домой привести. Потом работы потруднее и настоящие. Отец пройдет с тяжелой сохой по полю, при-

готовляя из земли твердой годную под посев — мальчик на той же хохлатой лошадке проедет по тому же полю с легонькой бороной и деревянными зубьями ее разобьет комья земли в мягкий пух, где потом будет так хорошо лежать хлебному зерну, расти на теплых дождях и зреть и спеть на пригреве жаркого солнышка.

Прибавится хлебному едоку от ржаного хлеба новой силы, выучится он ладить с тяжелым хомутом и упругой дугой, научится запрягать лошадей, есть за троих — от бороны переводят его к сохе и к молотьбе хлеба. Дадут ему в руки косу — траву косить или грабли — метать стога, приставят и к другим тяжелым работам. В крестьянской семье будь хоть четверо сыновей — всем будет дело, и всякий нужен, и сидеть без работы каждому будет грешно и совестно. Крестьянская жизнь бедная, тяжелая, день полежать — три потерять. Только тот, кто поработал, имеет право поесть. Кто не трудится, а только ест, тот заедает чужой хлеб, тот семье своей, отцу и матери, братьям и сестрам, не друг, а злой враг. Во всякой семье приятен работник, а в крестьянской для трутней и лежней и места нет. Насколько крестьяне дорожат лишним работником, видно из того, что деревенских ребят женят очень рано. Как только подойдут законные года, ему отыскивают невесту — чужого человека работницей в свой дом.

Вырос наш молодец, накопил денег, высмотрел себе невесту, накупил подарков, посватался и получил согласие. В день этого согласия, который называется сговором и помолвкой, всех гостей угощают лапшой, то есть такой похлебкой, в которой сварено накрошенное рубезками тесто. Три «лапшеи» — женщины подносят лапшу мужчинам, а мужья потчуют той же лапшой женщин. Вот и свадьба: жениха и невесту, каждого в своем дому, собственные родители благословляют караваем ржаного хлеба со вделанной в верхнюю корку солонкой с солью, три раза. Эту хлеб-соль возят и в церковь.

На свадебном каравае мы обязаны остановиться вот по какому поводу.

В старинных, самых древних и первых по времени землях русских, каковы Малороссия и Белоруссия, до сих пор сохраняется и справляется особый обряд *каравая*. Вот как делают это в Белоруссии, где обряд такой называется *расчиненьем* (раствореньем) *каравая*.

В доме жениха собираются мужчины. Женщины из кислого теста замешивают каравай и поют в это время свадебные песни. Изготовив, заставляют мужчину вы-

мести веником печь и сажать каравай, то есть делать бабье дело. Сами поют в это время другие песни. Тот, кто сажал каравай, поднимает правую ногу и бьет сапогом три раза в край печи, чтобы понудить ее испечь хорошенько, — иначе нехорошо будет молодым. Когда учат печь, женщины подхватывают и поднимают дежу (то есть квашню, в которой размешивался хлеб) к самому потолку. Затем того же мужика повязывают утиральником, чтобы походил на бабу и обманул печь, и сажают его в задний угол, чтобы каравай не разошелся. Но вот и поспел каравай. Молодой берет его, садится на лошадь верхом; сват с белою перевязью через плечо едет впереди. Жених отправился за невестой. Каравай лежит на веке, то есть на круглой доске, которою покрывают квашню. Молодого встречает мать невесты (теща) в полушубке наизнанку (шерстью вверх) и с ковшом в руках. Молодой льет воду и бросает ковш через голову, сходит с лошади и подает каравай. Каравай этот всякий обязан поднять и сказать: «Наше выше». Молодая тут же и также в шубе наизнанку. Молодым соединяют руки и вместе поворачивают их три раза, затем вводят в избу и сажают. Девичий косник снимают с головы и дают в руки черную барашковую шапку, которую молодая, два раза бросив на пол, надевает. Женщины голосят. Наконец молодых выводят, сажают на телегу и покрывают обоих полушубком, опять шерстью вверх. Молодая, выезжая из отцовского дома, бросает через голову пирог и поднятый пирог этот, подъезжая к жениховому дому, бросает через голову уже вперед себя, в знак того, что о старом доме будет хранить память и любовь, а здесь думает заводить любовь вновь. В воротах молодых ждут зажженная солома и мать жениха, также одетая чучелой, в шубу навыворот. Она подает невестке руку, молодая должна ступить на квашню, с квашни на холст, по которому и входит в избу, где снимает шапку и повязывает бабий убор, называемый наметкой. Молодой на другой день идет к тестю звать его *делить каравай*. Когда каравай делят, новобрачных ведут к колодцу и обливают водой их ноги. Суденки эти берет молодой и передает жене, которая обязана налить воды, принести ее в избу и вылить на руки тестю и теще, затем подать им полотенце, а остальную воду вылить на скамейку и вытереть. Все это знаки покорности и готовности к будущим занятиям в доме мужа, и эти лишь первые. Первый хлеб из новой ржи печет молодая. Приготовив тесто, она кладет на крышку квашни пирог и

деньги. Пирог и деньги оставляет она и у того колодца, где ей для честного житья вымыли ноги.

Без этих длинных обрядов и свадьба не в свадьбу. Все это делается после венца, когда молодые выйдут из церкви и разъедутся по своим домам с этого окончательного домашнего обряда. Обряд этот сохранился с древнейших времен, и кто поручится за то, что это не тот свадебный обряд, который справляли наши предки славяне в старину, когда еще не были христианами и не подчинялись обычаям православной церкви?

Мы рассказали про белорусскую свадьбу. Малороссийская очень похожа, да и в Великороссии свадьба тоже языческое игрище с такими сложными обрядами, которые знают и которыми руководят особые бабы — свахи, на этот раз как бы языческие жрицы. Кстати сказать, что с тех же давних времен седой старины сохранились все обряды около хлеба, о которых я рассказал и вперед буду рассказывать.

Молодые съездили в церковь с колокольчиками и бубенчиками: повенчались. Повенчались, приехали из церкви, в дверях избы их обсыпали зерном — или ячменем, либо рожью — в знак того, чтобы жили богато, ибо хлеб считается знаком божьей благодати, сытости, здоровья, а стало быть, и счастья. Вошли в избу: новый обряд также самого древнего происхождения, исполняемый одинаково в целой России. Молодой и молодая целуют наперед икону, потом отца и мать, а там опять-таки хлеб и соль. Одна соль худо (просыпать ее — беда), а соль с хлебом не попустит врага сотворить зло на честной крестьянской свадьбе. На другой день у молодого, а в первое воскресенье у родителей молодой — два пира, которые зовутся пирожными днями, пирожным столом. Молодая сама потчует всех пирогами, напрашиваясь на новое пожелание счастья.

Крестьянское счастье не так давно заключалось отчасти в том, что сыновья жили при отцах, воевали с нуждой целыми семьями и совокупными силами и говорили: один и дома бедует, а семеро в поле воюют. Теперь забыли, что две головни и в поле курятся, а одна и на шестке гаснет; теперь по деревням каждому захотелось жить своим домом; начали делиться, то есть маленький достаток еще больше дробить, чтобы уже совсем ничего не было. Разделиться немудрено с согласия деревенского общества, немудрено и новую избу поставить, — очень мудрено в четыре руки делать те же дела, на которые тянулись прежде десять-двенадцать рук.

Деревенский мир дозволил нарубить бревешек в мирском лесу, выпросив себе за это четверть водки, хотя, по старинному праву, этого делать не следовало бы. Деревенский лес пообщипан, худое лесное хозяйство сделало из лесу рощу, перелесок; не только хороших, но и средней доброты брёвен теперь не выберешь: нарубливаются не бревна, а только бревешки, тонкие и кривые. Зимой по снегу, по нашей русской почтенной дорожке на санях, деревья вывезены и сложены подле того места, где хочется встать избой. Возить помогают соседи помочью из-за угощения и не отстанут до тех пор от работы, пока не привезут сотни бревен, непременно сотни. Проходящие пильщики, которые промышляют тем, что ходят по дальним деревням с пилами и ищут и спрашивают: нет ли где работы? — пильщики распилили бревешки на горбыли (с краю) и на доски (из середины). Ходила пила сквозь сосновое дерево, взвизгивала и позванивала, наскакивая на сучки; хихали пильщики, подвязав платком лбы, чтобы не летели опилки в глаза и не застилали прямой линии, той наглазной линии, по которой пила ходить любит (возьмет вбок — не выдерешь ее, а сломаешь — и купить негде, да и инструмент большой и дорогой). Так или нет, — мужик с горбылями для крыш и пола, с досками для потолка, лавок и перегородки. Ушли пильщики, можно поискать плотника, у которого глаз хоть и не изощрялся на рисовке геометрических фигур, но, по долгому опыту, очень остер и сметлив. Для топора он не мелит мелом и не размеряет циркулем; прямой глаз и привычная и верная рука делают все дело, которое у иных искусников доходит до высокой степени совершенства: можно залюбоваться. Топор русский такие вырубает фигуры в досках, что можно подумать на долото, ножи и разные столярные инструменты. По крышам богатых изб развешаны так называемые «полотенца», то есть доски, прибитые и разукрашенные вроде полотенец с кистями и прорезанными фигурами: все это мастерит немудреный топор.

С плотником сладились. А так как дело к спеху и скоро надобно, то подговорил он товарищей. Ударили по рукам, богу помолились. Стали рыть ямы. Стали ладить из бревен потолще короткие бревна — кряжи (напиленные пильщиками), то есть обожгли их, обуглили с одного конца. Этим концом и встанут кряжи, или сваи, в ямы, в сырость; обугленные, труднее и дольше будут гнить. Это «стулья» (восемь или двенадцать) — вместо

каменного фундамента столичных домов. Суеверные люди, заставливая (начиная) избу, в передний угол кладут три вещи: деньги для богатства, ладан для святости, шерсть овечью для тепла. На «стульях» первые бревна, связками по четыре вместе, называются «первый венец». Нижние, то есть первые бревна, подобраны потолще — им больше терпеть. После второго венца и на него кладут три или четыре переводины для мощения на них пола, а затем опять венцы (три или четыре) — длинные бревна, во всю ширину и длину избы. В правом углу закладывают поперечные, обтесанные на четыре угла кряжи, или косяки, на красное окно и, еще отступя, косяки — на другое. Между косяками закладывают пространство короткими кряжами, над ними опять венцы (пять, шесть и семь). В левом углу в одном бревне прорубают глубокую щель на волоковое окно, которое непременно должно быть против печи, чтобы была в нее отсюда тяга воздуха и не дымила печь, когда не надобно. Когда накладены верхние и передние венцы, на них кладут поперечные балки или брусья для накатки или настилки потолка и между балками поперек всей избы — матку, или матицу. Изба вчерне готова, самое главное пройдено. Теперь следует подымать и обсевать матицу. Хозяйка варит кашу; хозяин кутает горшок в полушубок, идет в свой сруб и подвешивает горшок к новой балке — матице. Один плотник влезает наверх, обходит последний венец и по пути сеет хмель и хлебные зерна на счастье и благополучие. Проходя затем по поперечному брусу, или матице, на которой висит горшок с кашей, перерубает он топором веревку. Горшок каши ставят в круг, садятся, едят и запивают вином и пивом. Это угощение, называемое маточным, идет сверх ряды за сруб избы, конец которого теперь недалеко.

Выше потолка венцы кладут все короче и короче, в виде конуса, треугольником. Эти венцы заменяют стропила, потому на них кладут, на аршин один от другого, толстые жердины, укрепляя концы их на венцах. Когда положена жердина на самый верх, изба вчерне готова и поглотила столько материалу, сколько понадобится теперь на внутреннее убранство и отделку. Всего дороже честь сытая да изба крытая. Надо, стало быть, торопиться крыть крышу; изба без крыши — что простоволосая баба, да и опасаться надо, чтобы дожди не испортили углов, и они не трещали бы подобно ружейным выстрелам, когда изба будет садиться. Крышу настилают либо из драни, либо из соломы, либо, на лучший слу-

чай, из тесу, то есть из пиленых досок. В лесной глуши кроют, впрочем, теснинами, то есть досками, обтесанными топором, которые прочнее пиленых (пиленые доски обыкновенно тоньше вершка, и потому сильнее коробит их). Кровельные доски прибивают на самом верху, запуская их под опрокинутый желоб, называемый шеломом. На желобе этом, или избяном шлеме, ставится резной гребень с петухами по концам — это уже для красоты и сверх сыта.

Сталась изба четырехстенная, а может она быть и пятистенная, если разгородить ее рубленой бревенчатой стеной. В первой прилаживаются сени с одного боку, во второй сени посередине — и две избы: теплая и холодная. В той и другой четыре угла, налево бабий кут у печки впереди, иногда за дощатой перегородкой. Направо, в ближнем углу, кут хозяйский, или коник, где и ларь приделывается для покладки сбруи и подручных принадлежностей большака семьи. Наискось от печи, направо, прямо против хозяйского кута, — красный кут, большой, самый главный; здесь к углу приставляется стол, а в самом углу прилаживается треугольник, или тябло, для икон.

Изба совсем готова, когда встала в углу печь — мать родная, либо битая из глины, либо складенная из кирпичей. Глину мешают с песком и уколачивают — это основание, или опечье, иногда на деревянном срубе; под ним пустое место — подпечье, в котором любят спать кошки. Затем сама печь на своде с передним выступом — шестом, или очагом, с челом, или устьем, — полукруглым отверстием, которое прямо ведет в самую печь. Печь варит и жарит, греет и парит, да уж и дымит по утрам так, что у всех болят глаза. На печи между потолком оставляется место лежать старикам и приделываются сбоку приступки, а подле них голбец — чуланчик, из которого ход в подызбицу, или погреб, а в голбце — полки для подручной посуды и кушаний. От него на половину длины избы у входа и на половину вышины ее к потолку на бревне или брусе настилаются полати, где общая хозяйская спальня, род иностранных антресолей. Изба теперь совсем готова: полы настланы, потолок накатан. Само собой, кругом всех стен приделаны для сиденья лавки и даже сделаны подвижные лавочки на ножках вместо стульев; куплены ухваты для горшков и сами горшки, ложки, чашки и плошки; метлы вырублены, лопати выделаны, ведерки сбиты прохожим бондарем и кадка для воды готова и т. п.

Теперь уже совсем все готово, а что позабыто, о том можно вспомнить после, а своя избушка — свой простор. Суеверная баба может, пожалуй, и домового перезвать из старого дома, чтобы в новом не прокудил, не шалил, и ставит ему угощенье. Лохматый домовой — мужик добрый, это не то, что леший, который ломает мельницы. Домовой, если полюбит, нет того лучше: лошадям заплетает гривы, по спине хозяев гладит; если во сне начнет давить — значит, предупреждает о каком-нибудь несчастии. Впрочем, бабьих глупостей не переслушаешь и всех их суеверных обычаев не перескажешь. Теперь мы с избой и с хорошим концом на дальний путь наш за хлебом и хлебенным: есть где печь, было бы что есть. Вскоре и тараканы переползли, и клоп завелся, и сверчок затрещал за печкой.

Счастье не дается даром, попадает не на всякого. Нашего крестьянина счастливым назвать нельзя. Дома у него так много нужды и бед, что про счастье он только в сказках слышит. Однако пробует искать счастья и дома. Дома счастья не находит: земля плоха и неблагодарна, с трудом прокармливает только своих хозяев. На той земле, где подолгу стоит зима и вместо чернозема, любимого хлебом, лежит холодная глина, земледельцем не выстоишь, круглым пахарем не сделаешься. Не будешь богат, будешь горбат. Пшеничного хлеба не поешь, а в иных местах и ржаной в большую честь, да и тот с мякиной или тем хлебным колосом, от которого отвеяно зерно. Есть на Руси и такие страны, где вместо мякины прибавляют в хлеб траву лебеду, сосновую кору — мезгу и иную негодную помесь, так что и распознавать бывает трудно, хлеб ли это или высохший комок грязи. В таких местах говорят и веруют, что меж сохи и бороны не ухоронишься, а потому от деревенской земли не бывают сыты и ищут счастья, удачи и хлеба на чужой стороне, в чужих людях и работах. Надо выдумывать промысел и уходить либо с топором в плотники, каменщики, в бурлаки на Волгу, в Петербург в маляры и лавочники, в Москву по торговой части, в трактирные половые.

«Если хочешь пшеничное есть, ступай на Низ», — говорят крестьяне наших северных губерний. Да так и делают. Одни уходят из своей стороны на зиму только, летом возвращаются домой, другие оставляют родную семью и деревню на год, на два и более. В Петербурге и Москве изо всех жителей таких деревенских выходцев больше половины.

На Руси для рабочих людей дорога широкая, для каждого найдется путь и пропитание: иди куда хочешь, в какую угодно сторону, везде в искусных рабочих нуждаются. Здесь замечательно то, что куда бы мы ни пошли, в любую сторону и город, найдем, что русский человек себе верен. Не выдумал он разносолов, разных вкусных яств, ни английских ростбифов и бифштексов, но по части хлебенных, мучнистых кушаний превзошел даже себя. Мудрено представить себе такой город, который бы не прославился вкусным хлебным печеньем. Кто не знает Москвы с ее пшеничными калачами из жидкого теста и сайками из теста крутого? А с московскими калачами спорят еще муромские заварные, подсыпанные отрубями.

Для примера пойдем из Петербурга на Волгу: вот, например, новгородский городок Валдай, который звонит на Московской железной дороге колокольчиками; в нем знаменитые баранки — обварные крендельки или хлебные кольца, но только мелкие, не те, которые зовутся сушками и какими славится местечко Мир в Минской губернии и Филиппов с Борисовым в Петербурге. В Валдае девушки с ног сшибают, предлагая хлебный товар свой, приговаривая: «Молодец, купи баранок, да хороших каких!» Вот и сам город Новгород, жителей которого уже давно зовут гущеедами: «Хороши-де пироги, — говорят они, — а гуща и пуще». Вот и Волга: в городе Кашине около нее выпекают особые булки калитовки — четырехугольные в виде ватрушек с кашей, со сметаной и творогом. Еще дальше по Волге, в Твери, — пряники, в Калязине живут толоконники; в уезде этого города, в Семендяевской волости, сплошь булочник да колбасник, прянишник да пирожник, все отхожие люди, досужие на эти мастерства, — в Москве и Петербурге. Под Нижним село Городец печет пряники, о которых слава идет далеко, они уступают только вяземским, которые привозят сюда, но чаще выпекают здесь на тот же манер и с таким же безграмотным надписанием: «коврышка вяземска»; городецкие испечены на меду и сохраняются долго.

Повернувши с Волги на Москву, у Троицы Сергия, подле монастырских стен в балаганах круглый год угощают блинами, о которых знает также вся богомольная Россия. Мимо московских калачей мы в одну сторону можем попасть через пряничную Вязьму на Смоленск, прославившийся крупой, и на Калугу, где знаменито тесто, то есть та же мука, густо замешенная на воде и

соложенная,— тесто сладкое, тягучее, которое, говорят, меряют аршинами и в котором смоляки будто бы целого козла утопили. В другую сторону попадаем мы на Рязань, про которую говорят, что там блинами острог конопатили. Рязанцам велено было проконопатить мохом деревянную их крепость, они все ленились, откладывали дело. Подошла масленица, их приструнили; моху не запасено, а блинов сколько хочешь; они и проконопатили свою крепость блинами.

Калуга и Рязань привели нас в ту сторону за рекой Окой, где пошли черноземные земли, где хорошо родится пшеница и лежат наши степные губернии и между ними Малороссия, справедливо прозванная за свое хлебородье счастливым, благословенным краем. Здесь уже очень неохотно едят ржаной хлеб, сменив его пшеничным, здесь выдуманы и затирки и галушки — самое простое хлебное кушанье, род клецок, сваренных в воде, в борщу, иногда замешенных на молоке или затертых на свином сале,— самое любимое и общее блюдо для целого Малороссийского края. Здесь выдуманы и всем известные отварные треугольные пирожки с творогом из пресного теста, называемые варениками, распространившиеся теперь по целой России. Выдуманы и другие хлебные яства, как паляницы и т. д., которым можно и счет не свести. Не отстала от Малороссии и бедная малохлебная русская страна Белоруссия, придумавшая все-таки свое хлебное, так называемые «колдуны» — такие же вареники, но с мясом.

Несмотря на то что белорус с приметным усердием сеет хлеб и настойчиво пашет свою неблагодарную, мокрую, болотистую землю, она ему служит плохо. Несмотря на то что им давно выговорено, что хоть и умирать собираешься, а хлеб сей, — хлеб, однако, его плохо выручает. Вычислено, что собственного сбора хлеба хватает тамошнему крестьянину на $^3/_4$ года. Конец один: надо сделать так, чтобы хлеба, оставшегося лишь на девять месяцев, хватило на двенадцать. Такая нужда и беда выучили и приучили растягивать наличное количество муки на целый год, но уж конечно с примесью посторонних веществ: семян различных трав, мякины, в особенности сушеной и истолченной в порошок древесной коры. Хлеб этот непривычный и в рот не возьмет, а не видавший его примет скорее за комок грязи или навоза, чем за людскую пищу. Редкий крестьянин сверх того не прикупит от двух до шести четвертей, если семья человек в десять — двенадцать, и при этом купит вдвое до-

роже тот же хлеб, который сам продал. Затем уже нигде так не развита болезнь бесхлебья, которое и сказывается тем, что белорусы, как скряги серебро и золото, хлеб прячут, зарывают в землю и ежегодно с этим запасом ждут голодовок. И придет голодовка — они не едят хорошего хлеба. От этих ям самый лучший, беспримесный хлеб у достаточных крестьян пахнет затхлостью и всегда неприятен на вкус. Нужда же заставляет есть и такой хлеб, о котором в Великой России не слыхивали: хлеб «суборной», или смешанный из ячменя, ржи, гречи и других зерен, которых удастся нагрести кое-как и кое-где по уголкам и щелям. Несогласную смесь эту вместе с шелухой и соломой растирают дома на скверных жерновах в муку.

Этим субором засыпают они также след покойника, вынесенного из избы на кладбище, чтобы умерший работник не уносил из дому свою рабочую силу. В первый день рождества садятся на полатный столб в черной рубахе и едят колбасу, чтобы уродилась греча; в рождественский сочельник кладут в избяную стреху под кровлей блины и краюшку хлеба для будущего урожая. На щедрый вечер (под Новый год) с теми же блинами тамошние девушки ходят завораживаться. Летом, в урочные дни, вертят из домашнего воску свечу и пекут каравай один на всю деревню. Святой каравай этот переносят от избы к избе и, придя, обносят вокруг стола, выставленного против ворот каждой избы. И все это с хлебом, и все это в видах урожая его, и все это сплошь и рядом понапрасну. Не дается белорусам пшеничный хлеб малороссов и разносортные пироги Великой России. Несмотря, однако, на то, что у белорусов в особые праздники свое хлебенное: весной девичий праздник — пекут латки, сдобные булочки, и зовут молодых парней на угощение. В третью субботу после покрова у всех семей праздник «Дзяды» и «Прадзяды» — день воспоминания о родителях, дедах и прадедах. Хозяин отправляется в баню, хозяйка тем временем печет блины и расставляет их кругом стола, по краям, столбушками. Хозяин садится, самый старший в избе говорит: «Святые радзицели! Просим вечеряць з намы!» Покойники будто бы приходят питаться от блинов паром; блины же съедают живые. Кто хочет видеть этих мертвецов, становись в сени и смотри в избу (однако никто не смотрит, потому что может сам в тот год умереть). На следующий день, то есть в воскресенье, опять садятся за

стол и за блины и опять зазывают тех, которые вчера не слыхали зову или опоздали и не пришли.

На могилках поминают родителей опять блинами и рассыпают в то же время кашу. По большим праздникам и на большую радость угощаются сырниками — «колдунами» с творогом. Едят «панцак» и «груцу» — суп из толченных в ступе яшных круп; едят пироги да называют их то булками, то калачами; знают про оладьи под названием «ладок», про «грибок», то есть драчену, про «налесники» — пресные булочки и т. д. Хлебенного и у белорусов довольно, тем более что и они по преимуществу возделыватели хлебных зерен, коренные и исконные хлебопашцы. Никаких ремесел они не знают, ни к каким сторонним промыслам не привычны: бедный народ! Оставим их, пойдем дальше, хоть на север — в бесхлебную страну Архангельской и других губерний.

Проходя всею Русью, видим, что по сортам потребляемого хлеба она делится на три части. В теплой России — в Малороссии неохотно едят ржаной хлеб, в средней и северной России в ржаном хлебе все спасенье, пшеничный только по праздникам, в самой северной холодной России ржаной хлеб как лакомство, а в замену его яшный — из ячменя, каковой годится в пищу только на тот день, когда испечен, на другой превращается он в такой крепкий комок, что надо рубить топором и жевать невозможно. Ячменю приходится дозревать в то время, когда солнце хотя светит и греет, но потеряло много силы и земли не прогревает. Ячмень снимают с поля недозрелым, и для того ставят стойком колья с поперечинами в виде лесенок, называемых пряслами, и подвешивают снопы. На ленивом солнышке и на ветрах ячмень дозревает, то есть вянет и сохнет, а то и просто солодеет: зерно делается сладковатым. Тем не менее и в этом краю, где рожь плохо родится и ячмень недозревает, выдуманы очень вкусные лепешки и булочки, называемые шанежками. Архангельцев за то и зовут шанежниками и дразнят прозвищем «шаньга кислая». До того шаньги вкусны, что об них стосковались голландцы, прибывшие по зову Петра Великого на своих кораблях в новую столицу Петербург вместо Архангельска.

Царь Петр встретил на прогулке по Неве голландца и спросил его:

— Не лучше ли сюда приходить поближе, чем в дальний Архангельск?

— Нет, не лучше.

— Как так?

— Да в Архангельске про нас всегда готовы были оладьи, а здесь их что-то не видать.

— Если так, — сказал царь, — то этому горю пособить можно. Приходи завтра со всеми земляками своими ко мне во дворец, в гости, я вас попотчую этими оладьями.

Архангельск привел нас на край России. Можно бы пойти в Сибирь и наткнуться там на новое сибирское мучнистое кушанье с мясом или рыбой — на пельмени, то есть крупитчатые пирожки вроде вареников. Без них в тех местах никто не пускается в дальнюю дорогу; напекают их мешками, замораживают и, когда надо есть, разваривают в кипятке: разом и суп, и пирожки с мясом. Пельменями всякий сибиряк считает обязанностью заговляться на каждый пост. Можно думать, что без теплой избы, да уменья строить обыденки (в один день) — бревенчатые избы, да без запасных пельменей мы бы и Сибири не завоевали.

Но о хлебном довольно; довольно, чтобы видеть, насколько этот вид пищи важен для русского человека, то есть не менее как мясо для англичан, салат и другая огородная зелень — для француза, фрукты (как пища) — для жителей жарких стран. За местами же, куда ходит русский человек на промысел, не угоняешься. Трудно перечислить те способы, которыми он промышляет себе хлеб, изнашивает свои силы, старится, теряет зубы, чтобы засесть на печи в деревне и приняться за кисель, легкое стариковское кушанье, на которое и зубов не требуется. Обо всем этом скажу дальше.

С изломанною, натруженною грудью, с изношенным по чужим людям здоровьем, русский человек лесных малохлеборобных губерний идет, если только удастся, умирать в родную сторону, в отцовскую деревню. Здесь желает он и кости сложить, потому что здесь привелось ему впервые увидеть свет божий. Запасается он свежим и новым холстом, бабы шьют из холста этого саван, и когда умрет этот честный труженик, завернут его в этот саван, положат в гроб, сколоченный из сосновых досок, свезут на погост и опустят в сырую землю, которую он считал и называл своей кормилицей. На могиле помянут его кутьей и последним хлебенным в его честь и память — блинами. Блинами же будут поминать его честное имя и потом ежегодно в родительские поминальные дни. В первый день пасхи после заутрени придут похристосоваться и зароют яичко в могилу самые близкие

родные: жена и дети. Впрочем, для них дорога могила и не в указанные и урочные дни.

Придет, хоронясь ото всех, на могилу жена и так будет плакать по мужу надрывным и жалобным голосом:

Моя ты, законная милость-държавушка!
Уж я как-то, кручинная головушка, буду жить без тебя?
Вкруг меня-то, кручинной головушки,
Веют ветрушки с западками —
Говорят многие добры людишки с прибавками.
Как жила я при тебе, моя законная милость-державушка,
Было мне сладкое словечушко приятное,
Была легкая переменушка
И довольны были хлебушки!
Не огрублена я была грубым бранным словушком,
И не ударена побоями тяжелыми,
Тяжелыми, несносными.
Ты придай-ка ума-разума
Во младую во головушку, —
Ты, законная милость-державушка!
Как мне будет жить после твоего быванвица?..
Буду вольная вдова да самовольная,
Буду я жена да безнарядная
И вдова да безначальная.

Придут на могилку дети (особенно дочери) и запоют в память родителя свои печальные *плачки.*

Кто бывал на сельских кладбищах и прислушивался к тону этих песен-плачек, тот мог в напеве их прослышать всю горечь разлуки и всю тяжесть потери столь дорогого семье человека: лучше уйти скорее прочь, чтобы не слышать их вовсе! Плакать и поминать будут покойника до тех пор, пока не затрут его памяти и места погребения другие, позднейшие покойники, такие же, как он, пахотники и лапотники — черносошные и чернорабочие русские люди.

ЗЕМЛЮ ПАШУТ

В давние времена глубокой старины, за десять-двенадцать столетий до нашего времени, вся Русская земля была сплошь покрыта густыми непролазными лесами. Кочевые народы, выходившие из азиатских степей, устрашились их и прошли мимо. В лесах остались лишь сбитые с пути, обессилевшие от дальней дороги и заблудившиеся. Некоторым удалось попасть в лесах на реки, на озера и здесь приостановиться на время и начать жалкую бродячую жизнь. С лесом они не могли сладить — лес их победил. Голод выучил стрелять из луков деревянными стрелами и добывать птицу для пищи,

пушных зверей на одежду, — и почти только. В лесу, посреди огромных деревьев, двум человекам в обхват, они не выучились даже строить жилищ из бревен. И в наши времена потомки их делают свои переносные жилища из жердочек; живут для того, чтобы есть, и едят только то, что уродит лес: птицу и зверей, грибы и ягоды. Лесные неурожаи приносили этим народам повальную смерть: не умели они предусмотреть беду, потрудиться и поработать, чтобы устранить нужду. Человек жил в этом лесу совершенно так же, как дикие звери, рыскающие там для своего пропитания. Когда наши предки славяне пришли сюда с Дуная, народы, обжившиеся в лесу и покоренные пришельцами, могли заплатить им дань только березовыми вениками: по крайней мере, можно было париться в бане, если нельзя было разбогатеть и увеличить казну. Когда установился обмен, завелась кое-какая торговля, у лесовиков нашлись только воск и мед да звериные шкуры: по деревьям прыгали белки и соболи, между деревьями рыскали волки, лисицы, шатался медведь. Между лесами были леса липовые, в древесных дуплах их жили пчелы и копили для себя и этот мед, и этот воск. Леса стояли непочатыми и действительно страшными. При дневном солнечном свете они страшили столько же, как пугает теперь городских детей в ночном сумраке и маленькая роща, нарочно расчищенная для их же игр и летнего гулянья.

И в самом деле. Вот перед нами лес, деревья которого покрываются иглами, так называемой хвоей: лес хвойный, или красный. Высокие стройные стволы сосен и елей густо обросли смолистыми иглами, которые очень редко, не каждый год, падают на землю. И падая на нее, они упорно не поддаются гниению, глушат таким образом почву, мешают росту других земных произрастений, но старательно и бережно сохраняют в земле влагу. Хвоя мешает ей испаряться на солнце; в таких лесах родятся болота, берут начало реки. При этом как одно дерево, так и другое похожи друг на друга как капли воды. Они соединились для взаимной защиты от гроз, ненастья и от палящих солнечных лучей, но соединились и выросли так плотно и так однообразно, что нет никаких отмет, никаких признаков или примет. В таких лесах трудно высмотреть непохожие друг на друга места, чтобы распознавать их за примету и не ошибаться, тут легко заблудиться и погибнуть с голоду. Вот почему до сих пор темные, суеверные русские люди населяют леса небывалыми лешими — злыми духами, которые лю-

бят шутить над людьми. В лесу они вровень с величайшими деревьями, на травяных полянах — в рост с травою, все мохнатые, с хвостом и рогами. Живут они в лесу, чтобы проигрывать зайцев в карты, и перегоняют их из трущобы в трущобу. Навстречу людям выходят они затем, чтобы шутить зло, — обойти человека. Из заколдованного круга, намеченного лешим, по поверью крестьян, мудрено выйти; заблудившийся в лесу говорит, что его обошел леший, который с радости хлопает в ладоши, страшно хохочет и поет голосом без слов. Хвойные леса долго пугали наших предков, особенно в те времена, когда люди пребывали в язычестве: «Ходить в лесу, видеть смерть на носу». В хвойных лесах первые люди на лучший случай делались охотниками, звероловами; самые смелые из них не дерзали бросать хлебных зерен в такую заглохшую, слежавшуюся и заплесневелую землю.

Вот и лиственный лес, деревья которого покрыты не иглами, а листьями,— лес, называемый черным или чернолесьем. Широкая и густая листва дубов, кленов, осин, лип и берез противится солнечным лучам, и в таких лесах лежит густая черная тень. Почва, осененная кудрявыми вершинами, сохраняет сырость, необходимую для питания молодых растений, которых нежные корешки не могут доставать пищу глубоко из земли подобно глубоким и крепким корням берез и дубов. Листва их, ежегодно осыпаясь на землю, гниет на ней и приготовляет год за годом такую почву, на которой охотно растут мелкие кусты, высокие растения и густые травы. Черный лес от таких соседей так перепутан, так густо зарос, что становится решительно непролазным. Как в красном хвойном лесу легко заблудиться, так в лиственном, или черном, не проставишь ноги: счастливец, которому это удастся сделать, попадает все-таки на сырую трясину, которая ноги его и сдержать не в силах. И в лиственных лесах дикие народы не сумели найтись и еще больше задичали. Нашим предкам славянам, которые пришли после, эти леса попались на пути первыми, но не показались страшными. Славяне с Дуная пришли земледельцами, с пахотными орудиями, с зерновым хлебом, с уменьем и крепким разумом, с твердой волей, терпеньем и любовью к труду. Они не могли питаться падалью или есть невкусную белку; они во что бы то ни стало должны сеять хлеб, чтобы добыть любимую и привычную мучную пищу. Без нее они могли бы погибнуть голодной смертью, без земледелия они не знали

бы, что делать, а сидеть сложа руки в ожидании голодной смерти не приводилось. Не обходили они лиственных лесов, и леса эти их приютили и сослужили умелым людям великую по достоинству их службу. Служили черные леса белым племенам славянских людей службу таким образом.

Известно, что чем обширнее леса, тем сырее климат. Сыры леса оттого, что деревья дают почве возможность покрываться мохом, который еще дольше задерживает сырость и воду. Вода постоянно испаряется, постоянные испарения охлаждают воздух. Над холодными лесами пары сгущаются в облака, из которых падают дожди. Опрокидывая на себя громадные тучи дождем, леса таким образом получают для себя новый избыток воды. От излишков воды в лесной почве родятся ключи, из ключей образуются ручьи, из ручьев делаются речки, речки сливаются в реки, и такие большие и многоводные, как Волга, Днепр, Дон. Вот и природные широкие и легкие дороги в самую глубь и глушь лесов, туда, где они всего более непролазны и часты. Стоит срубить несколько сухих бревен в том же лесу, связать их вместе гибкими кореньями тех же деревьев — готов плот, самое дешевое и простое средство водной переправы. Можно и самому поместиться, и поставить домашний скот, а пожалуй, даже и целую избу — жилище. Понятно теперь, почему за такую крупную службу древние народы, находившиеся во младенчестве, источники рек считали священными местами, берегли над ними тень, под страхом смертной казни воспрещали рубить деревья, называли эти рощи заповедными, населяли их богами-покровителями. Понятно, почему и большие реки, служившие дешевыми и легкими дорогами, называли они и считали своими богами. Предки наши славяне назвали прямо Богом, или Бугом, две большие реки, которые первыми попались им на пути переселения с Дуная на ту землю, которая зовется теперь Русскою землею. Именами богов Горыныча и Стыря назвали они третью и четвертую реки по пути (Горынь и Стырь, впадающие в Припять) и именем верховного служителя языческих божеств, именем Волхва, назвали реку Волхов, на которой стоит самый древний русский город — Новгород.

Реки, вводя наших предков в самую глубь дремучих лесов, приводили и на такие места, где лес уступал: расстилалась равнина. Ветры сотнями лет наносили на эти места ежегодно кучи листвы; горы и возвышенности их сдерживали, чтобы дожди не смывали и те же ветры не

растаскивали. Листва спокойно гнила здесь и, сгнивая, скоплялась грудами и целыми пластами. Из пластов перегноя образовалась та земля, сочная и плодородная, которая называется черноземом и которую так любят все хлебные растения. Имея при себе плуг, славяне на новых землях могли пускать его в дело.

Прочищать те места, которые называются новью, новыми или залежью,— дело очень трудное, потому что чернозем слеживается в плотный камень, сквозь который мудрено пробиваться нежным корням хлебных растений. Две пары волов несут на своих выносливых плечах тяжелый плуг, до боли в спине и плечах направляемый человеческими руками. Нарезанная плугом земля все-таки еще под посев не годится, если пройдена железным ножом плуга только вдоль. Поднятую, заставляют трескаться и сохнуть на солнце, и тогда в другой раз проходят по залежи плугом поперек, а пожалуй, и в третий раз вкось, крест-накрест. Только тогда она будет похожа на первое поле, но требует новых костоломных работ. Один лишь терпеливый сильный вол впятером с товарищами способен вести путь и выручать хозяина, лошади тут не годятся и ничего не могут сделать.

Впрочем, на готовые земли, на черноземные залежи попадали только счастливые. Для земледельцев в лесах иные труды и работы — отбить от леса землю под посевы, из лесных чащоб сделать пашни. Можно напустить на лес топор, но топоры были сначала тупые, каменные, а когда стали вострыми, железными — не могли ходить в лес далеко и сечь его много. Топором владела и направляла слабая человеческая сила, перед которою сила лесной растительности, как богатырь перед младенцем. С лесом мог сражаться и его побеждать только один огонь, силе которого может завидовать только сила ветра в поле. С древнейших времен наши предки славяне умели этим способом прочищать леса и отвоевывать в них под посевы пашни. Рубили деревья грудами, подкладывали хрупкий горючий валежник, поджигали: лес горел, но не весь. Там, где плотно навалены деревья и не было свободного доступа воздуху, огонь тухнул. На будущий год предстояла новая тяжелая работа: переворачивать весь этот хлам, опять поджечь и опять дожидаться, что будет. Иногда на третий раз место под пашню готово и называется с той поры ляды, новина, новь, огнище. Свободно *починали* селиться тут люди оседло, деревнями, которые и назывались по этой причине *починками*. Люди, сидевшие на *земле*

и кормившиеся от земли, стали называться *землянами*, земскими людьми и черносошными людьми от сохи — любимого орудия земледельцев. Впоследствии, когда эти люди приняли от греков Христову веру и надели на шею крест в отличие от язычников, с той поры они стали прозываться хрестьянами, то есть христианами, или, по-нашему и по-нынешнему, крестьянами, крещеными.

Сделавшись раз земледельцами, русские крестьяне остались таковыми до сих пор. Вся история русского народа — история народа земледельческого, воспитанного в мирных занятиях, в кротких нравах и в борьбе с суровой и дикой природой. С тех пор как помнит себя русский народ под настоящим своим именем, он был хлебопашцем.

Полянами, то есть жителями полей, а следовательно и земледельцами, назвались первые славяне, которые жили на местах, где теперь Киев, но и до сих пор еще народ ничем, кроме хлебопашества, не занимается. Когда их обижали дикие народы, и один из них осадил их в городе на голодную смерть, и надо было идти на хитрость, поляне придумали такую. Вырыли яму, остатки муки размесили в ней, позвали вражеских послов; убедили диких степняков, не имеющих понятия о хлебопашестве, что напрасна их осада, напрасно думают они изморить их голодом: вот их сама земля выручает, сама земля родит готовую муку и солод — только черпай, стало быть, голодом не изморить. Старец, который не советовал сдаваться, хотя осажденные доведены были уже до крайности, говорил им: «Сберете аче и по горсти *овса,* или *пшеницы,* или *отрубь»*. В 946 году Ольга, вышедшая войною на тех славян, которые поселились в лесах и назывались древлянами, говорила им: «Зачем хотите отсиживаться от меня, запершись в своем городе? Все города ваши отдались мне, заплатили дань и теперь *делают нивы свои и земля своя»*. Словом, все славянские роды знали соху и плуг, все были земледельцами, все возделывали пустые земли, лежавшие им на пути и перед их глазами. Вся Русская земля была им открыта, всякий мог ходить по ней и занимать любое место как захочет: или в одиночку, или несколькими семьями вместе, то есть целым обществом. Таким образом ставились или одинокие дворы — починки и поселки, или деревни и села. Из последних, по мере увеличения народа и оскудения средств жизни, выходили на собственные земли новые выходцы для новых оди-

ноких поселков, которым удавалось потом разрастаться в деревни. Выходил, конечно, тот, у кого были силы, то есть лошадь для пахоты, семена для посева, земледельческие орудия для обработки. Он как был, так и оставался свободным человеком, на своей земле гражданином, землянином, земским *человеком*. Выходили, однако, и круглые бедняки, желавшие трудиться и способные возделывать землю. Своих семян и орудий нет, надо занимать у других. Находились и такие, которые готовы были этим поделиться: либо какой-нибудь богатый человек, либо целые общины. К ним поступали бедняки и получали земли с жеребья или работали по найму, то есть делались менее свободными людьми и назывались в отличие от *людей, крестьян* смердами. Получивши от богачей деньги, смерды работали известное число дней, возделывали условленное пространство земли. Наделенные землею обязывались отдавать владельцу с нее часть сбора, нередко половину, всего чаще третью часть. Если же при земле получены от владельца и скот и орудия, следовало возвратить все, взятое в ссуду. Тогда можно было стать опять свободным и снова уходить на такие земли, какие казались надежнее, и к таким владельцам, которые были милостивее и уступчивее. Для таких переходов определен был ежегодный срок в рождественском посту, осенью, когда кончалась уборка хлебов («о филиппово заговенье»): неделя прежде и неделя после «юрьева дня осенняго» (26 ноября), день памяти освящения храма в Киеве во имя святого великомученика Георгия Победоносца (Гюргия, Юргия, Юрья). Крепки были ряды по юрьев день: крестьянин ходил за землею как за собственностью, питался надеждою, рассчитывал на прибыли, болел и сохнул по юрьев день. Обманула земля, не хотелось сидеть — он снимался и уходил. Мог и сам владелец сослать его, прогнать прочь со своей земли и отдать ее другим охотникам — надежным людям. Мог, однако ж, наймит сидеть на выбранной земле сколько похочет и сколько ему посидится.

Сидели русские крестьяне у богатых людей, сидели и на общинных землях подле сел и деревень, сидели и на монастырских землях, под обителями, когда они сделались богатыми владельцами, получая земли в подарок на помин души поземельных собственников. Сидели охотники, и подолгу, у тех, чьи льготы были больше и чья защита была крепче. Земледелец может тогда лишь возделывать землю, холить и лелеять ее, когда

ему нет помехи, когда ничто другое его не развлекает, никто ему не мешает. Как хлеб боится сильных бурь с ливнями и градом, так хлебопашец боится военного времени и вражеских нападений. Что-нибудь одно из двух: или землю копать, или воевать и защищаться. Все это уразумели люди очень давно, и наши предки славяне строили города — укрепленные места и селились под их стенами, чтобы на случай вражеских нападений было им где укрыться. В эти крепости призывали они военных людей, умелых сражаться, давали им прокорм и плату и жили за ними как за каменною стеною. Новгородцы — северные славяне — призвали трех братьев, радимичи — четвертое славянское племя — платили дань Олегу с сохи, вятичи Владимиру давали подать от плуга. Словом, крестьяне продолжали возделывать землю, кормиться ею и кормить других; воинственные князья защищали возделанные земли, отбивали врагов, которых было довольно в разное время; сначала печенеги, хазары, болгары, потом половцы и наконец татары.

В 1103 году таким воинам надо было выступать в поход весною. Воины говорили своему начальнику, великому князю Святополку:

— Нехорошо выступать весной — морить лошадей, словно хотим мы погубить земледельцев и отнять у них соху и плуг.

— Удивительно мне,— отвечал им на это воинственный князь,— удивительно, что вы жалеете лошадей, на которых пашет крестьянин. Вот и начнет этот смерд пахать, да приедет половецкий воин и ударит в него стрелой, а лошадь у него отнимет, и, приехавши в село, возьмет жену и детей.

Защищая семьи свои и оберегая возделанные поля, наши славяне, жившие там, где бродили печенеги и половцы и где теперь малороссийские губернии, несколько столетий провели в борьбе с врагами. Где не хватало вражеской силы, они вооружались сами, бросали плуги, брали мечи и копья, садились на коней, делались казаками, воинами, повольниками. Наездничали они и воинствовали, пока было с кем бороться, угоняли врагов и затем опять впрягали коней в плуги, опять становились мирными пахарями. Особенно удобно удавалось это делать тем, которые оставались назади, а впереди в диких лесах на севере расчищали пашни зашедшие раньше, наиболее сильные и предприимчивые. Встречаясь опять глаз на глаз с иноплеменниками, они старым порядком делались казаками, вступали в борьбу и

обыкновенно побеждали противников и сливались с ними. Так в особенности удачно выходило у наших предков при встрече с финскими племенами на севере, и когда складывался Новгород, и приобреталась русскими Волга с притоками, создалось сначала Смоленское, потом Московское княжество, когда русские люди попали в суровые страны с холодной землей, с частыми хлебными недородами.

Начинаются в истории рассказы о гибели людей от страшных голодов: в 1023 году в Суздальской земле голод произвел народные мятежи; в 1071 году открылся голод в Ростовской земле. То от неслыханных жаров высыхали поля и леса на болотах сами собой загорались, то от жестоких холодов вымерзали озими, то от проливных дождей выходила так называвшаяся в то время рослая рожь, негодная в пищу, то от обилия весенних вод затопляло нивы и вместо зелени видели хлебопашцы одну только грязь. Народ питался мякиной, падалью, мохом, древесной пылью из гнили. Изнуренные голодом люди бродили как тени, падали мертвыми где ни попало; города превращались в обширные кладбища; трупы заражали воздух. Народ приходил в смятение, целые деревни пустели. Еще сильнее все брели врозь: то в виде голодных нищих, то переселенцев, то бродяг, которые готовы были на всякие преступления. По-прежнему никто не мог возбранить оставлять землю и идти на новые: сыновьям при отцах, племянникам от дядей, братьям от братьев и всем тем, которые не успели обязаться сроками и были свободны от всяких долгов и кабалы.

Вышло то, что населялись самые отдаленные страны: берега Белого моря, вятские и пермские леса и наконец Сибирь. Вышло и то, что скитальцами наполнилась Русская земля, из хлебопашцев стали делаться и невинные бродяги веселого промысла скоморошеством, кормившиеся гудком и скрипкой, и бродяги с воровскими и разбойничьими замашками. Сбиваясь в шайки, голодные люди становились опасными, а когда накоплялись таких шаек сотни, в разных местах начинались все тяжелые последствия бесхлебья и голодовок — внутренние смуты, междоусобные войны. Особенно памятно время лихолетья, когда голодные шайки скопились тысячами, над Русской землей и народом нависла тяжелая беда безгосударного времени; стали появляться самозванцы, и каждый находил себе в этих голодных безземельных бродягах поддержку и защиту. Враги не замедлили вос-

пользоваться несчастьем, и вся Россия осталась на краю погибели. Черносошные земские люди собрали последние силы и с торговым человеком во главе спасли отечество.

В это тяжелое время в судьбе наших земледельцев произошел крутой переворот: переходы крестьян сначала были стеснены, потом Борисом Годуновым воспрещены вовсе (около 1597 года). Велено всем оставаться на тех землях, на которых застал указ; переходцев стали называть беглыми, ловить и водворять на прежних местах. Сначала долго не могли с этим сладить, но тем не менее крестьяне сделались крепостными; владельцы имели право беглых разыскивать и наказывать. Когда призвали на царство Михаила Федоровича Романова, исчез и самый слух об юрьеве дне, и народ выговорил памятную до нашего времени поговорку: «Вот тебе, бабушка, и юрьев день». Крестьяне стали писаться при земле; земля давала право быть крестьянином. Было можно быть без земли боярином, монахом, священником, но крестьянином быть без земли стало нельзя. Только по воде и земле мог он тянуть к городу или волости, то есть быть членом государства — мог продавать землю, дарить ее, завещать в наследство, отдавать внаймы.

Когда же окончательно прикрепились крестьяне к земле, власть землевладельцев стала мало-помалу расти, особенно когда лучшие земли стали попадать в руки сильных людей. Крестьяне делались холопами, рабами; крестьян начали продавать и менять сначала вместе с землею, а потом и одних, без земли, как товар. Сначала это было злоупотреблением, потом стало законом. Стали крестьяне оброчные, платившие подати владельцам, стали и издельные, или барщинные, трудом которых вполне распоряжался помещик. Крестьян мало-помалу начали приписывать к заводам и фабрикам и на вечные времена обрекать на тяжелые работы, без отдыха; стали превращать их в солдат и требовать от крестьян быть в одно и то же время пахарями и воинами, так называемыми военнопоселенцами. Крестьяне мало-помалу теряли свои права, тогда как права владельцев стали возрастать до сильных и неожиданных злоупотреблений. Крестьяне временами выходили из себя и поднимали бунты, но всегда должны были быть безгласны, лишены были почти всякой обороны от притеснителей. Их покупали, продавали и дарили сотнями и тысячами, и оптом, и в розницу: сына отдельно от от-

ца, дочерей порознь от матерей. Снимут пахаря с земли и продадут или променяют его без земли, как безгласную вещь. Захотят продать землю,— продают и ее возделывателя. Стал он в меньшей цене, чем земля его. Ни продавать, ни завещать ее он уже не смел. Крестьяне потеряли даже право жаловаться на притеснителей своих, на помещиков, находясь в полной их воле; их разоряли, секли, мучили... да всего и не перечесть.

Вся Россия заболела тяжелой болезнью, называемою крепостным состоянием, и болела им последние два столетия особенно сильно, на свою же голову. Стеснено было земледелие, а стало быть, стеснялась и торговля, прямо и сильно зависимая от него. В доходах государственных — недочеты, в податях с крестьян — недоборы и недоимки. Нашему времени обязано наше отечество спасением от зла крепостного состояния и свободою крестьян. Крестьяне имеют теперь право без помехи возделывать землю прямо на себя и на государство, без всякого лишнего и ненужного посредства и вмешательства. Перед народом нашим теперь полная возможность догонять и опережать, на свободных и широких полях нашей родины, при свободном труде, все другие народы.

Как в древности славяне лес секли и ставили починки, так и в наши времена тот же способ починкового хозяйства можно назвать коренным русским, с древних лет неизменным. Прадеды наши, выжигая лес, на следующий год засевали ляды рожью. Новая росчисть три года кряду давала урожай. На четвертый год ее оставляли, жгли лес в новом месте; туда же переносили и избу. Покинутая ляжна годится под новую пашню не раньше чем через 35 лет; срок 15—20 — самый короткий, да и то очень редкий. Такими подсеками, десятками и сотнями починков, по мере стеснения людностью, врезались русские люди в самую глубь лесов. Натолкнувшись на хвойные леса, они и с ними поступали так же: жгли, разводили огнища. Оттого крестьянин назывался в старину огнищанином. С огнем и топором он проник в самые отдаленные и глухие страны, не побоялся высеять хлеб там, где об нем и понятия не имели, сумел накопить на русское имя громадные косяки земель. Отыскивая земли, годные для земледелия и на свой прокорм, он нашел их столько, что Россия теперь самое обширное государство в целом мире. Перевезенные с Дуная топор и соха прошли сквозь всю Сибирь, сходили в Камчатку и теперь секут леса и поднимают земли с великим успехом на реке Амуре. Царство хлеб-

ных злаков расширилось через болота западной и мерзлые тундры северной России до необозримых сибирских степей, где уже 400 лет введено хлебопашество.

Выбирая участки лесов под пашню, смотрят на то, чтобы не поросли они толстолистным лесом,— одолеть их не под силу, да и незачем. Для полей всего лучше лес мелкий, но густой, мешаный. Если к сосняку присоседилась белая ольха, значит, почва самая лучшая; если выросли березы и ели — для хлеба будет хорошо, но похуже. Места, поросшие одной елью, обходят как вовсе непригодные, потому что они страдают от излишней сырости. Однако во всех случаях выбора мест под пашню из-под лесов непременно выбирают такие, у которых склон на юг и которые не подвергаются влиянию холодных северных ветров. Смотрят также на то, чтобы с северной стороны не подошло болото: такие места называются «зяблыми»: не проходит года, чтобы на них не пострадал хлеб от летних холодов. Если же с юга протекает речка, лежит озерко, на таких «незяблых» местах только в один год из четырех случается неурожай.

В наши времена в тех местах, где лесу много и он, что называется, одолевает, жгут его под пашни славянским способом весь. Где же лес в цене, там крупные деревья отбирают и увозят, оставляют для огня только обрубленные ветви вместе с валежником и хворостом, выравнивают, зажигают медленным огнем при тихом ветре; сторожей расставляют, чтобы не загорелся соседний лес, не бросало головней на деревню. Зола удобряет, утучняет землю, ее сравнивают — хлеб родится сам. Но такую землю еще не возьмешь на службу, она еще не поддается и для посева не годится. По ней торчат обгорелые пни, валяются угли, земля не выровнена, лежит кочками, изрыта ямами. Уголь надо разбить, камень сложить кучками на межах, пни можно обойти пока и до времени перетерпеть их. Зима со снегами и морозами во многом помогает тут. На зимних морозах такое поле хорошо разрыхляется. На весеннее время наши предки славяне завещали потомкам русским особое орудие, которое как раз прилажено к таким лесам. Орудие это самого нехитрого устройства — смыка, или суковатка: еловые плахи с хвоей и сучьями в две четверти длиною или расколотые суковатые лесины, связанные вместе и привернутые к оглоблям. Они хорошо разрыхляют ту землю, которая лежит между обгорелыми пнями, и свободно соскакивают с них. Когда прой-

дут этой суковаткой, тогда засевают поле рожью. Там, где ржи и без того много и она вообще хорошо родится, сеют пшеницу, так как новая земля очень благодарна, то есть хорошо родит. В третьих местах вместо пшеницы новые росчисти засевают овсом и именно там, где лежат торговые тракты с обозами и, следовательно, овес в цене,— стало быть, вообще тем хлебом, который нужнее и дороже и на обыкновенной старой земле плохо родится. В четвертых местах, наконец, в новях сеют лен и получают самый лучший.

Между тем прогнивают у пней корни: корни перестают питаться теми земными соками, которые так дороги и нужды для хлеба. Настоящее поле поспевает, но еще не готово. Новые тяжелые работы предстоят земледельцу, для мозолей на руках, для увеличения горба на спине. Пни эти надо выворотить, выкопать и выдрать из земли с кореньями — словом, надо *корчевать,* как говорят крестьяне. Корчевать — это значит выдирать рукой, одетой в кожаную рукавицу, мелкие пни; выворачивать при помощи кола или рычага и валить набок крупные пни от первого до сотого и тысячного, затем свозить и жечь в пепел или гнать из них деготь для смазки колес. Теперь только, после трудных хлопот с неподатливыми корнями и глубоко сидящими в земле пнями, поле похоже на пашню, но лишь снаружи. Работа все-таки не кончена. Посеянный хлеб снят, земля еще может родить два-три года, но без людского труда не отдает своей силы. Земля слежалась: никогда не вороченная, она мертва, потому что в нее нет доступа воздуху, а без воздуха не могут жить растения, как не могут существовать ни люди, ни животные: всем воздух нужен для дыхания. Чтобы дать земле жизнь, надо ее выворотить наружу, надо открыть в нее доступ воздуху, то есть разбить, размельчить. Тогда только она сделается плодородною. Для этого землю пашут, а для пахоты существуют земледельческие орудия, пахотные инструменты: в лесных местах и на новях — соха и косуля.

Соха — самое простое крестьянское орудие пашни, всякий ее делает сам, одна лошадь легко ее тянет. В поперечный чурбан спереди наглухо вделывают оглобли. Сзади прикрепляют рукоятки, внизу — полоз, на ноги которого насаживают два треугольных железа, называемых сошниками. Соха-лиса во всю зиму боса, а подошло время работы,— поставили ее на деревянные рогульки, чтобы не чиркала по пути дорогу и сберегалась

бы лошадиная сила до поля: повезли соху на работу. Для огнищ сошники уставляются плоско и мелко, чтобы вернее резать древесные коренья. Соха бороздит, разрывает землю, но то и дело выскакивает и кладет борозды кривые и нечистые. У пахаря она всегда вся на руке, держится на весу и потому очень утомляет. Однако она столько же древняя, как сама Русь. В самой старой песне, старше которой мало других народных былин, мы встречаемся с сохой, и притом такой, которой правит как будто бы даже сам языческий славянский бог Микулушка Селянинович в образе чудодея-пахаря:

Орет в поле ратай, понукивает,
Сошка у ратая поскрипывает,
Омешки по камешкам почеркивают,
С края в край бороздки пометывают.
В край он уедет — другого не видать,
Коренья, каменья вывертывает,
Великие те все каменья в борозду валит.
Кобыла у ратая «Обнеси голова».
Сошка у ратая кленовая позолочена,
Омешки были булатные,
Гужики у ратая шелковые.
«Божья те помочь, оратаюшко!
Орать, да пахать, да крестьянствовати.
С края в край бороздки пометывати,
Коренья, каменья вывертывати.
Как бы сошку с земельки повыдернути,
Из омешков земельку повытряхнути,
В ракитов кустик сошку повыкинути».

У сохи тот недостаток, что она не подымает и не оборачивает земляных пластов, а только крошит землю, взрывая ее. За нее настоящую службу справляет *косуля*.

В косуле не два сошника, а один железный лемех: он треугольный, но шире, наваривается сталью, насаживается плашмя, наискось. Справа приделывается деревянный выгнутый отвал, а впереди лемеха устанавливается и укрепляется железный нож.

Железный нож косули или плуга, то есть резак, подрезает земляной пласт сбоку. Этот нож разрезает землю отвесно, лемех подрезает и вздымает пласт, а отвал отворачивает пласт на правую сторону, навзничь, всегда в одну сторону. На руках она легче, устроена также просто; также одна лошадь тянет ее свободно. Косуля может брать борозды шире и уже, по желанию.

Но так как, по пословице, всякому зерну своя борозда, так и всякому орудию — своя служба. Сохой можно пахать взад и вперед; косулей же при конце борозды

надо заезжать в одну сторону и заворачивать только направо или только налево. Соха не годится для глинистых почв, не умеет она вспахивать глубоко, глубже трех вершков; косуля же работает несравненно лучше. Стоит отпустить у лошади чересседельник — косуля пойдет еще глубже: стоит подтянуть его — косуля пойдет мельче. Ее можно назвать тяжелой сохой и легким плугом. Плугом в лесных местах не пашут, а потому и в рассказе нашем ему свое место дальше.

Сохой или косулей, косулей или плугом пашут землю не один раз, пашут по два и по три раза, пока совершенно не разрыхлится почва. Особенно это необходимо для той ржи, которая сеется осенью, а затем всю зиму лежит в земле до весенних всходов, а потому и называется озимою. Этою рожью и озимой пшеницей в иных местах обыкновенно засевают нови, или новину, то есть росчисти в лесах.

Косой разрез земли сделал то, что посредством пустот, оставленных между всяким пластом, и через них воздух, находящийся в земле, входит в непосредственное соприкосновение с нижней частью вспаханных пластов. Эти пустоты сберегают также ту воду, которая осталась в земле после дождей. Когда эта влага от жары испаряется, почва еще более размягчается: земля мало-помалу садится и наполняет собою эти пустые пространства. Кроме того, здесь является больше мест сообщения с атмосферным воздухом. Таким образом, во всех почвах, которые должны быть разбиты и размягчены, откидывание земли накось представляет самые большие удобства. Только земли рыхлые могут в этом случае представлять кое-какие затруднения.

Натирает на руках мозоли наш пахарь в первый раз осенью — это взмет, или подъем, потому что на этот раз надо пахать поглубже: придет мороз — самый лучший пахарь,— постарается сделать землю рыхлее и мягче. Весною над осенней пахотой мужичок ломает плечи и мозолит руки во второй раз — это двоит. После того как навозит он со двора *навозу* — троит, пашет в четвертый раз — это вспашка посевная.

Хорошо сдобную булку съесть, не мудрено сжевать и проглотить наслащенную сахаром, но до булочки еще далеко, мы и половину дороги не осилили. Пойдем поскорее.

На вспаханное поле напустили бойкую, легкую на ходу, шаловливую борону. Связана она из двойных продольных и тройных поперечных грядок в виде решетки,

скреплена древесными кореньями, в которые забиты и закреплены деревянные зубья. «Сито вито о четыре угла, пять пятков, пятьдесят прутков, двадцать пять стрел»,— как говорит замысловатая народная загадка. Бегает она по полю, виляя из стороны в сторону, и, как гребень голову, прочесывает борона землю: выдирает камешки, выравнивает поле, вычесывает из земли сорные травы. Бегая по взрытому полю, когда уже на нем стало много точек соприкосновения с воздухом, борона производит еще более чувствительное действие, чем она сделала бы это на гладкой поверхности. «Уже да глубже»,— говорит борона сохе. «Шире да мельче»,— отвечает соха бороне. С бороной дело легкое, ребячье: будет ли она с железными зубьями для твердой почвы, будут ли на ней положены камни или встанет на нее мальчик, чтобы была борона тяжелее и расчесывала землю глубже. Бороне, однако, не дают полной воли по старинному правилу оставлять на поле глыбы. Глыбы защищают молодые всходы от солнца и ветра; глыбистое поле лучше нагревается; гладкое поле, как зеркало лучи света, отбрасывает тепловые лучи назад. Под глыбами, распавшимися от солнца и от дождей, как под покрышкой, укрываются молодые растения от всяких бед и напастей, когда начнет оседать поле и могут при этом обнажиться корни хлебов.

После бороны земля как пух. Постель мягкая, колыбель теплая для зерна готова.

Вышел сеятель сеять.

ХЛЕБ СЕЮТ

Вышел сеятель сеять — и замерло сердце: что-то будет? На хлеб вся надежда, да на нем же бед и напастей столько, что и не пересчитать всех. Бывает на хлеб недород, а затем и голод и на людей голодная смерть. Может быть, полон двор, а может быть, корень вон. Может хлеб позябнуть на корню от ранних морозов; в малоснежную зиму — от лютого холода: намочат осенние дожди землю, да вдруг сорвется сухой мороз без снегу — зерно обволочется льдом, как стеклом,— и сопреет, нет ему никакой защиты, не стало ему тепла и угревы под пушистыми снежными сугробами. Гниет хлеб на корню от обильных дождей; заливаясь ими, он мало подымается, не доходит зерном. Может, однако, и подняться, и налиться зерном, да выпадет бешеный град,

исколотит солому, выбьет ее с корнем и повалит гнить на корм свиньям. Нападет летучая мошка, подбирается ползучий червь и поедает хлеб в зерне и наливах. Как не замирать сердцу на этот раз? Когда начали сеять озимые, стаскивали ветхого старика с печи — старинного пахаря. У него голова не держится на плечах, руки не владеют и зерен в горсти сдержать не могут. Поддержали ему руку одни, потрясли ее другие:

— Посей ты, дедушко, первую горсточку на твое стариковское счастье, на наше бездолье. Посей, ради самого истинного бога!

Вышел пахарь сеять, сделавши все, что велел обычай: благовещенскую просфорку в сусек клал, где хранится старый хлеб, чтобы нового больше прибыло; бабы на этот день не вздували нового огня: кто сдержал старый, к тому просить ходили, а другие и в потемках просидели на полную очистку совести. Напротив, в великий четверток, когда ходили на «стояние» слушать двенадцать евангелий, после последнего не гасили свечей, а несли огонь на них бережно в кулаке до избы: и ветер свечи не погасил. И вот мелькнула в сердце пахаря надежда. Припомнился выпавший густыми хлопьями снег на крещенье, день простоял теплый, значит, хлеб будет темный (то есть густой). И еще легче стало на сердце. Припомнилось и то, что молились бабы морозу в великий четверг, чтобы не бил он овса. Припомнился прохожий солдат: заходил погреться в избу, сказывал, что, когда живал в Польше, видывал там, как в первый день рождества садятся старики на полатный столб в черных рубахах и едят колбасу, и говорил, что это помогает хлебному урожаю. Хотелось было попробовать сделать так, как указывал солдат, да колбасы взять негде. И опять сомнение на сердце, и опять мелькает надежда: взойдут хлеба — пошлю бабу поваляться по жниве, пусть-то отдаст ей силу на пест, на молотило, на кривое веретено.

Опять же и семена взял хорошие — околоть. Как снял с поля хлеб, так и околотил снопы о колоду; летело самое крупное зерно, худые на овине досыхали, да этих совсем не примешивал.

Снова сеятелю припоминается о том, как он на досуге пробовал отобранные семена, клал их в воду: поверху не плавали, а опускались на дно — значит, были хороши. Семена все свежие, годовалые, нет ни одного лежалого: с сорными травами они сумеют сладить — сильны. Примешивал к своим, грешным делом, горсточки

три краденных у соседа: взял их мимоходом, когда раз заходили с ним в холодную светелку. И свои семена держал в сухом и холодном месте: не промокали они, не сырели, а стало быть, и не прорастали. Пробовал семена и на руку, на вес прикидывал: тяжелые были. И бабы тоже сказывали. Учили отобрать сотню зерен (да не успел попробовать), учили отобранные эти зерна положить между мокрыми тряпками и держать в теплой избе: если-де не дадут ростков только пяток зерен — значит, хороши, если не выйдет два десятка зерен — отдавай семена бабе на солод, а сам иди покупать новых, чужие семена одобряют, велят менять и на свои долго не надеяться. Привозные семена лучше: свои деревенские вырождаются (то есть перерождаются). Все сделал, все выполнил, как указано. Вот и на пашню вышел к вечеру, чтобы пала роса, и утром на самой заре заборонил семя, пока не успело обсохнуть. Сообразил и то, что месяц не в новолунии и посев ранний, чтобы озимь до морозов успела подрасти и к холоду привыкнуть. Можно бы посмелее ходить, побойчее семена по пашне раскидывать: все соблюл, что заповедано.

И опять защемило сердце, как только промелькнули в уме голые плечи ребяток: и рубашонки сползли, и на осень обуточек нет, и на зиму шапку им захожий человек подарил. Не лучше ли от такого сраму в эту же матушку сыру землю вместе с зернушком лечь да и заныть в ней? Хорошо еще, если с соседями та же беда случится, и на них выпадет горе такое же, и они пойдут по богатым да по счастливым, и они станут просить подаяния: на людях и стыд легче. Одному — беда!

Ходит по полю сеятель босым. На груди висит на веревочках лукошко с отборными зернами. Берет он оттуда горсть за горстью и с тайной неслышной молитвой бросает семена по продольным бороздкам, которые провела соха. То обеими руками, то одной рукой приснораливается он швырнуть семена так, чтобы разбрасывались они равномерно. Сеет молча, словно совершает священное таинство: песня и на ум нейдет, а ходят в голове невеселые мысли. Устанет рука на маху,- бросает семена на бок лукошка, чтобы, отскакивая от него, ровнее рассыпались по пашне.

Посеял наш пахарь озимь. Веселые ребятки проехались по полю опять с бороной: зарыли посев в землю, опять повиляла борона боками своими по полю, иногда такая простая, что скорее можно метлой назвать. Борону бросили тут же: не жалко, инструмент дешевый,

деревянные зубья не покупные, старые иступились — новые на будущий год чесать и пушить землю станут честнее и легче. Вот зернышко полежало в земле, вспрыснуло поле осенним дождем, зерно почуяло влагу, которую любит,— сказалось под землей и дало наверх зеленый росток, зеленую травку. Когда все кругом начинает вымирать, желтеют и краснеют листья и трава,— озимь отливает яркой зеленью, как веселая весенняя трава, но недолго. Осенний холод и ее не помилует, скоро травка озимой ржи поблекнет, замерзнет и обвалится. Когда долго стоят светлые дни и озими продолжают расти, то, чтоб они не вышли в дудку, на них напускают скот, чтобы он стравил всю траву и спас в зерне силу. Это зовется толокой, потравой. Это, впрочем, к лучшему: не теряя теперь своей силы наверху, зерно под землею будет выпускать ростки вниз, будет корениться (делать корни) и куститься в мягкой и сочной земле, пока не ударит зима со снегом. Запушит землю первоснежьем, забросает ее потом снегом; зерну хорошо, зерно засыпает в тепле. Снег для зерна — теплая шуба, а мокрый снег для него благодать, для хозяев — счастье. Сверху снегов в воздухе трещит мороз и хватает за уши, под снегом тéпло. Да и на зерне своя шуба, то есть шелуха,— угрева твердая и надежная. Рожь за то, что лежит всю зиму в земле, называется озимою в отличие от яри, ярицы, ярового, то есть овса, ячменя и пшеницы, то есть однолетних, которые сеются весною и снимаются осенью. Впрочем, озимою бывает в некоторых местах пшеница, как бывает и яровая рожь.

Много разных неожиданных бед валится на хлеб, и все тем нехороши, что нападают врасплох и ничем их отстранить невозможно. От этих невзгод всегдашний страх и опасение. А так как у страха глаза велики, то и пересказать невозможно, чего не придумывают православные пахари, чтобы отвратить беду неурожая и бесхлебья! Хлебом мужички добывают деньги, чтобы платить государевы и общественные подати, на хлеб выменивают все, что нужно, и, между прочим, деньги. Заготовляя потребное собственными средствами дома, крестьяне имеют неизбежную нужду в деньгах на соль, деготь и ков (то есть на железо для подков, колес и т. п.).

В страхе беды от неурожаев наши крестьяне на зимнюю пору то прибегают к молитвам, то гадают по приметам и совершают обряды, перешедшие, по преданию, от предков из далеких языческих времен. На Параскеву-

пятницу (14 октября) гадают по звездам: яркие (думают они) — предвещают урожай и погоду; на Филиповку (14 ноября) по инею судят о непременном урожае овса; на зимнего Николу (6 декабря) также желают инея, как доброго предсказателя. Если космата изморозь на деревьях в день рождества Христова — хорош будет цвет на хлебах, а если выпадет день ясный — урожай на хлеб; если черны тропинки — урожай на гречу; небо звездисто — урожай на горох. Вывозят навоз в родительскую субботу, веруя, что в таком случае уродится всякий хлеб. На богоявленье ждут снега хлопьями к урожаю, ясного дня к неурожаю. В Вятской губернии, напротив, ждут к урожаю синих облаков на южной стороне неба. На сретенье капель — урожай на пшеницу. На благовещенье дождь — родится рожь. На Егорья (23 апреля) в Орловской губернии желают росы, чтобы было хорошо просо, а в лесных губерниях молят мороз. От мороза в этот день, думают там, будут хороши гречи и хорош овес. Ясное утро в этот день — будет ранний посев, ясный вечер — поздний. Теплый вечер на Якова-апостола (30 апреля) да еще к тому же звездистая ночь — несомненно, думают, к урожаю. Тот день, который на масленой неделе выдался ясным и с солнышком, тот день стараются запомнить, и в такой начинают в Ярославской губернии сеять пшеницу. На вербной неделе желают мороза к урожаю хлебов яровых — это в Новгородской губернии. В Ярославской на вербной неделе для тех же целей молят об ясных днях с утренниками. В светлое Христово воскресенье в Курской губернии не разводят огня в домах, боясь головни в пшенице, когда пшеничное зерно в колосе ржавеет и превращается как бы во вредную угольную пыль. На вознесенье в иных местах в поле не работают, в других стараются запахать поле. И велика милость божия, коли в николин день (9 мая) дождик польет.

Но до дождя и мая длинное мертвое время зимы и осени в целых семь месяцев. Все живое попряталось. Ходит мороз да потрескивает. После рождества он как будто еще сердитей делается, а на крещенье бывает в полном гневе, до свирепости. Забьются земледельцы на печь, и слезать им не хочется: все бы грелись. На улицу добрый хозяин и собаки не выпустит, чтобы не окоченела на лютом морозе.

А в Англии в это время пашут под яровое и совершается ранний посев; в Италии косят во второй раз траву, в Новой Зеландии жнут пшеницу, в Китае — сбор

чая самого лучшего и нежного. В наш холодный и сырой Петербург то и дело подвозят из Италии апельсины.

А мужичок-пахарь?

Как медведь в берлогу, ложится он на печь и запирается в избе, если был урожай и за труды тяжелые и праведные наградила мать сыра земля прибылью трехпяти зерен всхожих на одно посеянное в землю. В феврале у нас еловые шишки в глухом и темном инее, а в Китае сеют пшеницу во второй раз в году, в Новой Зеландии цветут розы, в Персии, по соседству с Кавказом, расцветают fleurs d'orange — душистые померанцевые цветы. Зима кует у нас морозы и на целые полгода оставляет нашего трудолюбивого крестьянина без большого дела, чтобы, судя его по образцам теплых стран, не осуждали за лень и не бранили за бедность, за бездольное житье.

Прежде всего надо сказать, что у крестьянина всегда мало денег, а нужды все так же болят и ноют: покупным добром иные из них и угомонить можно, да всего, что надо, и не укупишь. Приходится самому промышлять и на свою одежду, и на обувь семейным. Чего проще — съездить с деньгами в городскую лавку и купить бумажного ситцу (к тому же теперь благодаря дешевому хлопку и скорости машинного дела ситцы и миткаль очень дешевы). Вместо же того:

Посей, млада, ленку
При дорожке, при току,
Ты расти, расти, ленок,
Тонок, долог и высок,
Во земельку корешок,
Что вниз коренист,
А вверх семьянист.

Вырастет лен — выдергивай его, околачивай, отрепли от верхней кожицы (кострики), промыкай и прочеши гребнем, чтобы вышло чистое волокно. Из семян на посты масло вкусное выбивается. Избоина, то есть остатки семян под названием дуранды, идет на корм скоту (коровы ее очень любят). Из прочесанных волокон, садясь за прялку или за гребень, прядут пряжу, сучат нитки — дело дремотное: позывает на песни и сказки, а за ним, однако, у баб уходит много зимнего времени. Когда нитки готовы, хозяйки расставляют станы, садятся ткать на мужнины, на свои и на детские рубахи: очень бедные — посконь и дерюгу, все другие — толстый холст, люди с достатком — толстое полотно. А потом

шить новое, починять старое, к заплате прикладывать другую заплату. Между этих двух работ за малыми ребятками и за коровой присмотреть, в печи кушанье изготовить, с соседкой посудачить, натаскать дров, лучины нащепать, за ней присмотреть, когда горит и светит вечером, стрекая углями в подставленную под светец лоханку с водой: свету мало, дыму много, дым глаза ест. Однако пошли бабьи работы, пошли и песни: работают бабы весело, всегда с товарками и очень часто зовут их и сами к ним ходят на помочи, на так называемые супрядки (совместно прясть) и на поседки (вместе сидеть), рассказывать сказки, загадывать загадки и петь вечерниковые песни. Одна из них, впрочем, сама так и сказывает:

Собрались девки на супрядку,
Что на супрядку, на сюпалку;
Задумали девки пиво варить,
Коя хмелю, коя солоду мешок;
Наварили девки пива горшок,
Пошли девки гостей зазывать:
Коя тетку, коя дядюшку...
И т. д.

В избах зимнею порою и загадки загадывают старухи бабушки малым ребяткам (развивая их смысл и сметку) — все больше на то же, что так дорого крестьянскому сердцу.

— Баба-яга, вилами нога: весь мир кормит, сама голодна?

— Соха.

— Худая рогожа все поле покрыла?

— Борона.

— На кургане-варгане сидит курочка с серьгами?

— Овес.

— Согнута в дугу летом на лугу, зимой на крючку?

— Коса.

— Летят гуськи, дубовые носки, говорят: то-то-ты, то-то-ты?

— Это шумят цепы, которые молотят-бьют хлеб, чтобы отскочило зерно от колосьев.

И опять:

— Братцы-хлопцы, сестрицы-подлизушки?

— Это цепы и метлы, которые подметают в кучу отбитые цепами зерна с мякиной (их оболочкой).

— Мать — лопотунья, дочь — хвастунья, сын — замотай?

— Опять-таки: лопата, метла и цеп.

— А вот это что будет: стоит волчище, разиня ротище, или — стоит Фрол, и рот пол?

— Овин: стоит с дырой или окном наверху, в которое сажают сушить снопы. Он же и «Андрюха — набитое брюхо» (наполненный снопами).

Хмурятся глазки у ребяток, взглядывают они то на мать, то на теток: не подсобят ли? Надумывают по-своему и сказывают старой бабушке или старому дедушке,— и ошибаются. А те молчат, велят самим догадываться. Опять хмурятся брови; веселые личики становятся пасмурными: досада берет. А старики опять с новыми загадками:

— Криво-лукаво, куда побежало? Зелено-кудряво, тебя стерегу.

Это попроще, все знают и разом кричат:

— Городьба в поле и озимь на пашне, хлеб зеленый.

— Режут меня, вяжут меня, бьют нещадно, колесуют — пройду огонь и воду, и конец мой — нож и зубы?

Конечно, не кто иной, как сам хлеб-батюшко, о котором во всю зиму крестьянские думы со страхами.

Впрочем, всех загадок этого рода не перескажешь, да и пересчитать их довольно трудно.

Мурлыкает себе под нос какую-нибудь из заветных русских тоскливую песенку и сам хозяин крестьянской семьи с тяглецами-товарищами: с сыновьями или племянниками. Один подшивает оборвавшуюся конскую сбрую, другой ладит кнутишко, третий взял в руки кочадык — короткое кривое толстое шило (на базаре купил) и ковыряет лапоть из лык. Сам надирал лыки с липы, сам размачивал, очищал от верхней коры, резал на ленты. Слазил было посмотреть в сундучок (скрыню): не завалилось ли бумажных или серебряных денег; видел уж очень хорошие сапоги кожаные на базаре, хорошо бы их смазать дегтем и надеть. Пошарил, глубоко вздохнул да и сел в уголок и тоскливо замурлыкал песню. Приладил колодку, отодрал двенадцать лык и стал переплетать плетень (подошву), загибать наперед на голову (передок) и накручивать обушники (бока или коймы), сводя концы на запятнике и связывая их в петлю, в которую и продел оборы, то есть лыковые же веревки. Надел он новый лапоть на ногу, стал примеривать: нажимает и потискивает, да к такой оказии не привыкать: не баловалась нога кожаными сапогами.

Теперь в лаптях хоть и в дорогу! Сплел мужик лапоть, а царь Петр все умел, все сам делал, мужицкого

лаптя не доплел: с тем и помер. Недолго сплесть этакий лапоть, а долго ли в нем напрыгаешь?

Вздумал это мужичок и опять сел, вспомнивши про обоз и дорогу. Взял у бабы пакли от конопли и прошел по лапотному плетню этой паклей (а то и тем же лыком) — подковырял лапти. А так как времени много, а дела мало, то подковырку сделал узорною — стали лапти писаные. Подостлал соломку внутри и на низ — и готово.

Сел ковырять лапти из березовой коры, которые называются ступанцами, заменяют дворянские туфли и служат для выхода на двор по скорому требованию и по домашней нужде — посмотреть на скотину.

На дворе скотина навоз копит. Намокло очень, журчит под лаптем: надо свежей соломы настлать, съездить для этого на гумно, где сваливается солома после хлебного обмолота. Почаще свежей соломы, побольше свежего корма скоту — навоз будет отличный, даст надежды на хлебный урожай.

Навоз пахотной земле и благодатному хлебцу — пища. Всего больше любит хлеб навоз коровий, который всех жиже, медленнее гниет и бродит, но холодные и глинистые почвы освежаются лучше навозом коневьим. Этот навоз силен и горяч; скорее других начинает перегорать и рассыпаться в пыль. За ним должен быть усердный присмотр. На сухих и песчаных полях он плохой слуга, вместе с навозом от овец (похожим на него, но уступающим в силе). Свиной некогда особенно хвалили, но теперь убедились, что он не заслуживал похвалы: хорош, как и все. Но хороши все сорта только тогда, когда перемешаны: чего недостает одному, добавляет другой. Конский с коровьим медленнее загорается и рассыпается. Хотя у крестьян для коров и лошадей особые помещения и можно добывать и тот и другой навоз в раздельности, но нужда в разбор не входит и хорошо делает, как оправдывают это и опыт и наука.

Чем дольше стоит скот в хлевах, тем больше навозу; чем ему там теплее, тем навоз лучше: подстилка больше вберет в себя навозной жидкости (догадливые хозяева прибавляют в подстилке хвою, листья, подсыпают землю). Но чем дольше держится скот на навозной грязи и чем сильнее гниет и бродит подстилка, тем скоту хуже и опаснее. Надо искать середины, соображать время, не валяться на полатях, а одеться да и выйти на двор посмотреть да и пощупать. Крепко пахнет навозом в хлеве — скоту горшее горе: надо сейчас выгребать на-

воз в яму; яму всякий раз прикрывать, чтобы не жгло солнце, не разжижал снег или дождь. Появилась плесень — значит, пересох и перегорел, надо облить навозной жижей и прикрыть тонким слоем земли. Словом, гляди в оба, особенно на то, чтобы навоз не прогорал снизу и жижа из него не уходила в землю (опытные хозяева для этого и роют ямы в глиннике, который не умеет пропускать сквозь себя воду).

И вот еще новая забота и новая работа деревенскому хозяину в длинную зиму к весне: борону чинить, соху ладить, о железных вещах позаботиться, в кузницу съездить. На базар выехать проведать: нет ли чего подходящего на деревенскую руку, дешевенького? Попалось что, походить — сговориться, либо на обмен того, что самому показалось лишним, либо на деньги, которые дали на базаре за этот лишек,— все равно: будет ли мерка-другая овса, возок-другой дров, пар пять новых лаптей и вся другая мелочь, сработанная на досуге в длинные зимние вечера. А так как базар подгоняется к воскресным дням, то на селе зайдет мужик в церковь богу помолиться и свечку поставить на пущий рост хлеба-батюшки и на здоровье скота рабочего. Лучше всех разумеет сельский хозяин то, как много значит и в хлебных урожаях, и во всем хлебном хозяйстве здоровый и сытый скот.

Следом за делом на базаре мужичку и безделье: подсвежить себя вестями и слухами, потолкаться в толпе, позевать по сторонам, забывши на некоторое время о докучной избе. Кстати, о цене на хлеб надо справиться. Перепал в мошну грош-другой за привезенную и сбытую кроху,— по дороге надо зайти к купцу пряничка ребятишкам купить, жене то, что наказала, да и самого себя потешить под елкой — зайти винца испить.

Ужо вечерком и шапка набекрень: лежит мужичок на возу и лошадку похлестывает. Бойко перебирает она ногами и сфыркивает: мороз трещит. Да хозяину до мороза нет дела: в кабаке он согрелся да и развеселился, песню поет. На встречного ездока наскочил он и ударил в бок отводами раскатившихся саней: обругали. Почтовый ямщик кнутом хлестнул по спине за то же самое. На ухабе сам выскочил и в вожжах запутался и по дороге протащился навзничь лицом: в деревню приехал с синяками и царапинами.

— Отпирай ворота — убирайте лошадь!

— Ну уж обрадовался богатству такому: нализался, свет красный,— скажет жена и заплачет.

Просыпается он опять для той же тихой и однообразной зимней жизни, между теплой печкой и лавкой, между кутом, хлевом и задворьями. В лес съездит он валежнику набрать. Соскучится крепко или занедужится, заколет в боку, заболит голова — велит он истопить баню, сбегает, выпарится, выздоровеет. Попадет на веселую струю — здоровым духом с ребятками поиграет, игрушку им смастерит из лучинок; бабьих сказок послушает и сам, какие знает, расскажет. Присядет на завалинке на солнечном угреве с соседями, посудачит, про войну поговорит, про разбойников послушает, и т. д.

Если уж очень закричит нужда и защемит сердце, заноют ребятишки, прося есть, заплачет жена, распродавши все запасы свои (и куделю, и нитки, и яйца, и топленое масло, и все копченое на недобрый час про себя), тогда одна надежда на извоз и на лошадку: вывози, матушка!

— Пойду в обозы в дорогу. Без меня можешь продать, жена моя верная, овечку, поросеночка, а больно надавит нужда — тащи на базар телку, а то и самую мать ее за рога на веревочку, да тут же на мир, на барский стол,— пусть едят на здоровье!

Есть у пахаря лошадка, которая возила его соху по полю,— он запряг ее в сани, навалил чужой купеческой клади и побрел по ухабистой дороге в извозе, постукивая руками в теплых рукавицах по бедрам, чтобы согреться, и скрипит по обмерзлому снегу своими лаптишками, чтобы поспеть за лошадкой и не отстать от обоза.

Переломилась зима, прошла ее половина — в крестьянской избе забота и дума; на Аксинью-полухлебницу (25 января) озимое зерно пролежало в земле половину срока до всхода. Надо осмотреться: не съедено ли старого хлеба больше половины, потому что до нового хлеба осталась половина сроку. В других местах этот полукорм считается еще раньше, то есть на Петра-полукорма. Вдруг хлеба не хватит, а тут, кстати, и щи пустые: не сходить ли в чужие люди на чужую работу, добыть деньжонок, хлебца прикупить, не продать ли корову, не сбыть ли теленка? Ты бы, баба, что напасла яиц — торгащу унесла бы. Да не купит ли он пряжу твою, нитки, овечью шерсть, масло топленое, самой больно нужное? Словом сказать, забот полон рот. Завидовать ли нашему крестьянину жителям теплых стран, которым валятся сладкие плоды с деревьев прямо в рот? Положим, что он про такие страны не слыхивал, тамошних плодов, по

непривычке, и есть не станет, а на своей холодной родине ими насытиться не сможет. Да и есть ли чему завидовать? Там не полудремота, а постоянный сон, чуть не смерть, смерть по крайней мере потому, что лень никогда ничего не совершала. Все хорошее и высокое в человеке приобретается трудом; труд ведет вперед и людей и народы. Если бы уничтожился труд, нравственная смерть не замедлила бы постигнуть род человеческий. В древние времена землю обрабатывали даже руки полководцев, возвращавшихся после громких побед к мирному плугу. Как в стоячей воде разводятся черви и гады, так постоянный покой и бездействие в людях, не развивая ума, доводят целые народы до младенческого, неразвитого разума и до жизни наподобие животных. Чем больше забаловывает человека природа, чем она богаче, тем он ленивее и ничтожнее, недостоин названия человека. Наши предки в незапамятные времена в тех странах жили, но ушли оттуда из боязни умереть заживо. Научившись побеждать природу, когда пришли они снова в жаркие и ленивые страны, тамошние народы, призванные ими на настоящий труд, труда не выдержали и стали исчезать, как летние мухи. Их легко победили люди труда, высокого ума, умеющего и из пустынь делать пажити, и в ледяных странах бороться, и побеждать такую природу, которая до них всех победила и уничтожила. Истинный труд только там, где человек добывает хлеб в поте лица, а не там, где стараются обогатиться внезапно и без труда. Да и спасибо русской зиме и стуже: они, по пословице, подживляют ноги. Делается из русского человека самый выносливый и самый трудолюбивый. Впрочем, есть и у нас такие страны, где золотая для хлеба земля — чернозем — лежит так плотно и глубоко, что поднимать нужно не лошадьми, а волами. Косулей ее не вспахать, надо плуг; в плуг впрягают три-четыре пары сильных волов. Вшестером очень часто тянут они самое тяжелое и самое надежное земледельческое орудие — плуг: он подымает отрезанный пласт земли и переворачивает его. Вместо оглобель у него вальки с постромками; дышло длиннее и больше, на дышле нож. Плуг берет и широкие и узкие борозды; надрезывая пласт отвесно, подрезывает его снизу ровно и оставляет за собою чистою борозду. Отрезанный пласт он не отсовывает в сторону, а приподнимает его ровно и постепенно и отваливает набок очень правильно. Там, где чернозем неглубок, за рекой Окой к югу, берутся еще за сошонку — за кривую ножонку. В Малороссии

с благодатной землей без плуга и без волов совсем ничего не сделаешь.

Вот отошла земля — растаяла, зазеленели лужайки — трава показалась. Отворяй оконницу — сверчок проснулся. Солнышко с месяцем встретились. Весна землю парит. Медведь встал и вышел из берлоги. Заиграли овраги, пошла вешняя вода разрывать берега. Вот и Егорий с водой и теплом. Вывернуты оглобли, брошены сани: надо чинить телегу, осматривать сохи, борону ладить. Наши озими, засеянные прошлой осенью рожью, взошли, то есть ярко зазеленели. Надо запахивать новую пашню под новый хлеб, на Егорья (23 апреля) и ленивая соха выезжает.

Оживился и обрадовался после зимнего отдыха наш пахарь и стал почаще взглядывать на то поле, которое не было новью, не держало в себе прирожденной силы, а было пашней паханой, не один год рождало оно хлеб, не на одно лето тратило свою силу. В истощенную землю себя не бросишь: надо отдать ей то, что взял у нее, придать ей новые силы и новые соки. Такую службу давно уже указано служить навозу, или назему,— скотскому помету, смешанному с объедьями и подстилкою. Им удобряют землю, его *навозят* на поля не в один раз, а с передышкой, на особых телегах, на которых уже не повезешь воеводу. Телега с покатостью назад и с дверцами в эту же сторону, чтобы ловчее было скидывать железными вилами, а подчас и деревянной лопатой. Бывают навозные телеги и с обшитым опрокидным кузовом или ящиком.

Как пропахали землю ранней весной, когда совсем отлегла земля, так и наступило время навозницы, или пора свозить навоз в поле со дворов и из хлевов. Огня в это время в чужой дом уже не дают из боязни, чтобы не сопрел хлеб. Возить навоз заставляют подростков: по полю разбрасывают сами хозяева — взрослые рабочие.

Выезжает в поле крестьянин и на этот раз, как и всегда, осмотревшись и погадавши по опытным давним приметам и по суеверным обычаям.

По суеверию не пашут на день Симона Зилота (10 мая), думая, что в этот день земля именинница. Не сеют на другой день, на день памяти обновления Царьграда, чтобы не выбило хлеба градом, и т. д.

По опыту и приметам пашут, когда дубовый лист развернулся и, стало быть, земля в полной силе и принялась за род. «Коли на дубу макушка с опушкой, бу-

дешь мерить овес кадушкой». На Еремея (день пророка Иеремии, 1 мая) подымай, говорят, сетево, на Еремея (день апостола Эрма, 31 мая) опускай сетево. Если к этому дню не обсеялся, значит, ленивый человек: просидишь без хлеба круглый год. Появились комары — рожь сеют, лягушка квачет — овес скачет: пора его сеять, когда уже и гад на то указывает. Бабы даже слышат, что лягушка и квачет-то, выговаривает, «пора сеять». Вообще для посева яровых хлебов, вызревающих в одно лето на *яри,* на ярком припеке летнего солнышка, полагается время весенней поры теплое, когда березовые почки начнут развертываться в листья. Если первая вода, во время речных разливов, велика,— яровой посев ранний, а в противном случае поздний. Березовый листок полон — то и сеять полно. Разница ярового посева от озимого заключается в том, что весной засевают прежде теплую и сухую почву,— осенью ее потóм. Весной на холодной и вязкой почве погодят сеять, осенью с озимью поспешат.

Яровые хлеба — собственно овес и ячмень; бывают, однако, и яровая пшеница, и яровая рожь, также однолетние, успевающие до осени вызревать.

Первое место овсу-благодетелю. Овес главного рабочего, то есть лошадку, кормит (да и самих хозяев не обходит в толокне, в кашице, в каше, в блинах и прочем). Чем дольше стоит конь на овсе, тем больше в нем силы, сеном лошадь требушину набивает, а от овса рубашка по телу закладывается, а затем не воз едет — овес везет. На худом корму и работнику худо, а при овсе и навоз лучше, и новому хлебу сподручнее. Без скота хлебу худо, без скотоводства нет земледелия.

Вместо колоса у овса бронь, но соломенный стебель на ячмене, как и на ржи, с колосом, а зато самый остистый (бывает ячмень двурядный, шестирядный, бывает и голый). Это — самый северный хлеб, на выручку голодным людям: в хлебцах-житниках, и в блинах, и в пиве, и в каше яшной, которую сам Петр Великий признал самою вкусною и спорою (то есть питательною). Известно, что Петр в одно время решился, оставив дворцовый стол, сесть на месяц на солдатскую еду, велел готовить себе похлебку и щи да кашу, подавать ржаной хлеб, чтобы своим аппетитом определить меру выдачи солдатского пайка. Будучи здоровым и крепким человеком, он определил такое количество, что солдат всего не съедает: остаются излишки. Избыток муки и крупы экономией поступает в артель, продается: отсюда улуч-

шение пищи до праздничных пирогов и чарки водки от Петровых давних времен до нашего времени.

На овес у народа нашего срок посева, вместе со пшеницей, на 15 мая (Пахома-теплого, Пахома-бокогрея); яровые обжинки — *овсяница* — 26 августа (день Натальи-овсяницы). Ячмень сеют, пока цветет калина; опасаются в это время западных и юго-западных ветров и думают, что когда он начнет колоситься,— на то время замолкает соловей. Срок ячменной жатвы определительно не положен, да с ячменем и не спесивятся: сжиная недозрелым, на севере вешают его на стоячих лестницах, решетинах, на столбах, называемых пряслами. Здесь он вянет на ветрах и доходит, сохнет. Ячмень — прихотник, и притом очень большой: не любит холодных почв и отказывается от слишком сухих и мокрых. Овес, напротив, лучше всех вынослив на сырость и холод, родится и на плохой глинистой, и на легкой песчаной, и почти на всех других почвах. Под него даже и не удобряют земли; ячмень же требует всегда хорошей обработки.

Но самый великий прихотник и капризник и самый лучший и дорогой хлебный злак — пшеница (озимая и яровая разных пород: простая, русская, гирка (голая и красная), арнаутка, белотурка, кубанка, усатка, тюремковая, одесская, ладянка и прочие). Она растет только там, где тепло длится по крайней мере четыре месяца, и тогда, когда босая нога может стерпеть холод в пашне (смотрят также и на черемуху, чтобы она расцвела). Пшеница сильно убожит, истощает почву, и в холодных лесных странах за ней очень не гонятся, предпочитая рожь. Мука ярицы не так бела, но зато из пшеницы лучшие сорты крупчатки для самых белых хлебов (о чем и скажем в своем месте). Из нее и лакомый кус — пшеничный пирог, мечта крайней бедности и предмет ее зависти. По закону природы, не любя холодов, пшеница терпелива к жарам и засухам в полное отличие от ржи, но вподобие со своим родичем — полбой.

Полба уступчивее пшеницы и терпеливее ее. Изморозь ее очень не пугает, не боится она и засухи, а замечают даже так, что в самое сухое время она может расти отлично, тогда как рядом посеянная пшеница-сестрица погибает.

Теперь опять и еще яровой хлеб — греча, от которой любимые зерна русского народа на гречневую кашу, а из них вкусная мука, без которой не бывать бы на свете и масленице. Горе наше гречневая каша: есть не сможется, отстать не хочется, и если уж хлебец ржа-

ной — отец наш родной, то гречневая каша — матушка наша. Извозчики да бурлаки говорят еще, что по постам нет кушанья вкуснее и слаще гречневиков, выпекаемых стопочкой и стаканчиком (у малороссов на гречаники имеется даже развеселая, разудалая похвальная песенка). Честь и слава гречке за благую помощь, а нельзя похвалить за характер: где ее так же любят, как и в теплых местах,— в лесных губерниях наших, она не вынослива к сырости и холоду, хотя и не боится засухи. Сеют на счастье на полях и на супесках и всегда поздно, когда уже и ягода земляника закраснеет и отцветут цветы на калине. Смотрят также и на то, не ползают ли еще по крапиве красненькие козявки, которых за то и прозвали гречушками. Убирают гречиху, когда стебли побурели и стали отливать темно-красным цветом (от молодых всходов гречишное поле зеленеет, а от цвету делается белым, молочным и, наконец, от созрелых семян — бурым под цвет гречневой каши). Гречу и жнут и косят.

Чтобы совсем покончить с яровыми, надо сказать, что хлеба́ эти в своих местах (где их много) настоящими именами не называются, а слывут под общим прозвищем жита. На юге, по черноземным местам, житом называют рожь, за рекой Волгой, к Сибири, всякое яровое зерно — жито (и греча, и пшеница, и ячмень, и овес); на севере по Волге и в Архангельской губернии жито — только один ячмень, а в Твери и по верхней Волге — это только яровая рожь, как уже и сказано.

— Уроди же, боже, всякого жита по закрому на весь крещеный мир: вот и нам опять сеять надо!

Но прежде чем сеять, само собою разумеется, надо приготовить землю, то есть опять вскопать, разрыхлить, но на этот раз уже по сухому и готовому. На земле вырос хлеб — земля отдала ему свою силу, свои соки, все, какие были. Надо их возвратить ей: без этого она не слуга и не работница. Нечерноземные почвы называются тощими, холодными. Поправляет их удобрение, навоз — то, что накопляется на дворах из скотского кала в соединении с соломенной подстилкой. Этот навоз содержит в себе ту питательную силу, которая и нужна почве. Наступает время «навозницы». Работа не очень опрятная, не очень благовонная, но зато она важнее многих и для наших северных земель составляет первое дело: поле с дерьмом — поле с добром. Навоз сбрасывается с телег вилами на поля в кучках. «Навоз отвезем, там и хлеб привезем».

«Навоз кладем густо, чтобы потом в амбаре не было пусто». Кучки разбрасываются по полосам, а по полю опять проходит соха. Соха перемешивает навоз с исхудалой землей и прибавляет ей силы плодородия.

Каждый сорт хлеба любит пору. Рожь, например, «золу», то есть то время, когда земля высохнет, и чем суше сделается, тем лучше. Овес, наоборот, любит землю мокрую и, по присловке, как бы говорит пахарю: «Топчи меня в грязь, а я буду князь»; «Если уронишь на землю и на меня твой измызганный старый лапоть и забудешь его на поле — я и сквозь лапоть прорасту». Были бы только сноровка и опыт: неученого и в попы не ставят. Без знания примет, без опыта, без оглядки пахарем быть нельзя. Недаром он гадает всю зиму, а весна пришла — опять все оглядывается.

Овес, ячмень и пшеницу сеют ранние с Юрья (23 апреля), средние — с николина дня (9 мая), поздние — с Ивана (15 мая) до Тихона (16 июня), но не во всех местах одинаково: смотря по почве, по стране, по климату. Ячмень, например, сеют либо в семицкий четверг либо в троицкую субботу; на Митрофания (4 июня) — лен и гречу. На первый посев, боясь недоброй встречи, выезжают ночью. Во всяком случае, ни из домашних, ни из привозных семян пахарь никогда не сеет ни одного зернышка, веруя, что тогда заведутся в хлебе черви. Хорошее для посева зерно — крупное, а потому так и сказано: «Лучше голодай, а добрым семенем засевай».

Летом крестьянин перепутан работами, как сетями. В одно и то же время столько дела, что и перекреститься некогда; пот льется с лица градом — и утереться не хочется. «Шапка свалится с головы — шапки поднять не хочу»,— говорит наш примерный труженик, русский пахарь, православный крестьянин, выходя в поле на работу.

Ну, тащися, сивка,
Пашней-десятиной:
Выбелим железо
О сырую землю.
Весело на пашне...
Ну, тащися, сивка!
Я сам-друг с тобою,
Слуга и хозяин.
Пашенку мы рано
С сивкою распашем,
Зернышку сготовим
Колыбель святую.
Его вспоит, вскормит
Мать-земля сырая,
Выйдет в поле травка,

Вырастет и колос,
Станет спеть, рядиться
В золотые ткани.
С тихою молитвой
Я вспашу, посею...
Уроди мне, боже,
Хлеб — мое богатство!

Обсеявшись, станут в деревнях молить теплого дождя до иванова дня (24 июня) и ясных солнечных дней до ильина дня (20 июля).

Для роста хлебов и налива хлебного зерна сладким и питательным соком нужна влага. Когда поднялся хлеб и надо ему созревать и поспевать, дожди становятся излишними и вредными. Вот почему считаются те года благодатными и урожайными, когда весной идут теплые дожди, а летом стоят ясные дни. На первый весенний дождь такая и молитва: «Мать божья! Подавай дождя на наш ячмень, на барский хмель, на бабину рожь, на дядину пшеницу, на девкин лен — поливай ведром». На солнечном свете и на солнечном припеке, на его лучах и тепле хлеб зреет: без солнечных дней на полях надежды плохие. Вот почему говорят крестьяне в половине лета: «Вымолите, попы, дождя до Ивана, а после и мы, грешные, умолим», да когда уже не надо и поздно. Вот почему со страху и по языческим обычаям на урожай бабы идут в поле и катаются там по жниве, приговаривая: «Жнивка-жнивка! Отдай мою силку на пест — на колотило, на молотило — на кривое веретено».

Однако летней порой подолгу пировать и праздновать не приводится: на солнечном припеке трава растет. За яровыми посевами она мигнуть не даст: подбирается пора «навозницы» на пар, на отдохнувшие за целый год поля. Лежа без работы или, как обыкновенно говорят, под паром, пашня спеет и, если прорастает дикими травами, делается пестрою травяной зарослью, то обыкновенно пропахивается, чтобы облегчить потом бороньбу. Когда разрыхлится верхний слой, уничтожится травяная заросль, воздух начинает действовать на нижние слои до тех пор, пока открыт слой верхний. Теперь дело за навозом, и навозница эта начинается в то время, когда озимая рожь в полном наливе (во время между 8 и 17 числами июня).

Едва успевают справиться с этим делом, приближается время сенокоса, косовицы. Первый покос на Ивана Купала (24 июня), второй — на петров день (29 июня). С петрова дня пожня: «Дзень-дзень (точат косы) на петров день», потому и сказано: «Не хвались, баба, что

зелено, а смотри, каковы петровки». Они должны показать луга в полном цвету; полное цветение укажет время сенокоса и пообещает траву душистую, мягкую и питательную. Кузнечики полевые звенят, коростель скрипит, луга наполнены жизнью и пением: косы на плечи, деревянные лопатки, натертые варом с песком, за пояс,— и на луга шелковые, на мураву зеленую. Ласкает коса, шумит трава, и то в одном, то в другом месте ширкает о железное лезвие косы деревянная лопатка, когда коса затупится и начнет застревать и ходить ленивее. «Травы поем,— говорит коса,— зубы притуплю; песку хвачу — опять навострю». Навострилась и опять «пошла щука по заводи, искать тепла гнезда, где трава густа; опять ныряет, весь лес валяет, горы подымает».

Выходят на луга рано утром по росе: сухую траву коса не любит, пусть она сохнет подкошенною как можно ниже, под самый корешок, пусть трава досыхает на солнышке и превращается в сено. Моли о вёдре, чтобы не было дождей: их сено не любит, преет, плесневеет и гниет. В это время в пасмурную погоду лучше и не ворошить сена граблями, а оставлять его рядами, как клала коса. По сухой погоде, отмолившись от дождя, траву переворачивают и перетряхивают, чтобы высохла и та, которая легла внизу на земле: только тогда из травы станет сено.

Косьба с виду веселая работа: ее любят подправлять песнями и всегда ими кончают ее к вечеру. Ни одна работа не любит такого спеху, как эта, когда всякий ясный солнечный день дорог для косовицы и столько же дорог для уборки. Надо поспешать складывать высохшее сено в кучи-копенки; надо эти копенки накладывать большими кучами, что называется, «метать стога», прилаживая их к длинному шесту — стожару и огораживая плетнем или остожьем, чтобы не воровала сено лакомая до него домашняя скотина.

На стогах с сеном, однако, не конец: надо его свозить на дворы и сеновалы по мере надобности, да так, чтобы не было больших утрат в раструске, большой гнили вверху и внизу, где обыкновенно накладываются еловые лапки или березовые ветки. Когда сделано и то и другое, от сена можно и отойти,— да и пора кончать с лугами, опять поступают на очередь поля: поспевает озимь, надо забороновать пар, а там начнут подходить яровые. Работ не огребешься, только успевай поворачиваться! «С ильина дня работнику две угоды: ночь длинна, да вода холодна; и все три заботы: и косить,

и пахать, и сеять». Защипывай горох и паши под озимь, дергай лен, да и на коноплю поглядывай: не поспела ли?

Наступает в деревнях из горячих горячее время.

Наша озимь, в прошлую зиму засеянная, к посевам ярового начинает уже колоситься, то есть на зеленом стебле ее вырастает колос, семенные зерна садятся плотными рядами на верхушке стебля. Затем рожь станет цвесть мелкими невзрачными цветочками, потом наливаться сладеньким молочным соком. В начале июля озими «доходят в наливах», да и батюшка-овес (то есть яровое) до половины дорос. Затем озими начинают зреть и поспевать, так что на ильин день (20 июля) зажинают жниво: тут первая новина, свежий хлеб, первый сноп. Бывает и так, что к ильину дню вся рожь убрана, почему и говорят: «Петр (29 июня) с колоском, а Илья с колобком». Но чаще случается, что на Илью рассчитают, что рожь поспела, но убирать ее не начнут до успеньева дня. На этот день ржаной сноп, говорят, обязательно именинник.

Наши крестьяне про рожь обыкновенно думают и говорят так: «Рожь две недели зеленится, две колосится, две отцветает, две наливает, две подсыхает». Чтобы узнать, поспел ли хлеб, хозяин его обыкновенно срывает первый попавшийся колос, вышелушивает зерно и берет его на зуб. Если зерно хрустит — значит, хлеб поспел.

Вот мы обошли кругом целого года опять до того времени, когда надо сеять озими, опять бросать зерно в землю.

ХЛЕБ РАСТЕТ

Стелется по полю рожь колосистая. Если посмотреть на нее, когда пройдет по ржаному полю вольный ветер и начнет шевелить стеблями и наклонять колосья,— глазам легко обмануться: ржаное поле кажется морем, по зеленому ковру его как будто бегут серебряные волны. Вид этот тем обманчивее, чем гуще заросло поле. Во ржи колос составляет со стеблем одно, поэтому и волнение ржаного поля, равномерно колеблемое ветром, напоминает волнение моря, временами до полного обмана. Но зато как красивы те поля, на которых выросли хлеба с цветами не в колосьях, а метелками, каково, например, овсяное! Когда тихий ветерок слегка колеблет стебли еще зеленого или полудозревшего овса, в нем в это вре-

мя являются чудные, нежные волнистые отливы, особенно если поле освещено светом, противоположным направлению наших глаз. В таких случаях овсяные поля представляют одну из редкостных и красивых картин в природе. Для большей полноты ее и прелести природа позаботилась снабдить хлебные поля такими цветами, которые окрашены самым нежным голубым цветом, редко встречающимся на других цветах. Это васильки, без которых никогда почти не растет рожь, и сами васильки почти исключительно любят садиться и красоваться лишь на хлебных полях.

Очарователен голубенький василек: солнечный луч здесь тот чародей, который приготовляет и наводит краски и привлекает к себе на тепло и пригреву и самый стебель из земли. Солнце затем поднимает выше и ближе к себе растение, чтобы свободнее оживлять и лелеять его. В тени, без света, в густой темноте растение хилеет и слабеет; под теми лесами, которые дают длинную и долгую тень, оно вовсе не растет, да там и хлебных растений не сеют. Крестьяне говорят, что под *увеем*, то есть на всем том месте, на котором лежит тень от восхода до заката солнца, «под увеем хлеб не растет». В тепле и свете с растением творятся чудеса роста: из одного хлебного зерна вырастают десятки и сотни зернышек. У нас даже на холодном севере посеянный ячмень на пятой неделе колосится, на десятой его жнут, тогда как в Германии для полного роста вместо десяти ему надобно от четырнадцати до шестнадцати недель. Все это оттого, что на севере длинные дни, в течение которых солнышко не сходит с неба, не закатывается.

Боится света и солнца только семя, оттого и покрывают его землей, оттого оно и бывает неокрашенное, белое. Корни укрепляют растения в земле, сохраняя им прямое направление, и поглощают пищу с помощью мочек и волосиков. При сильном увеличении микроскопом эти волосики оказываются тонкими трубочками, по которым движутся питательные соки с силою, достаточною для того, чтобы гнать жидкость вверх по стеблю. Мочки вводят в корень пищу в растворенном виде, всасывают ее вместе с водою. Корни хлебов исключительно назначены для земли и погибают, если долго остаются в воздухе. Стебель, поддерживающий листья и зерна, кроме всего, передает корням те вещества, которые взяты листьями из воздуха. Первые стебли ржи и пшеницы идут вверх отвесно; следом за ними вырастают другие, которые сначала поднимаются почти совершенно в про-

тивоположном первому направлении, то есть прямо стелются к земле. Войдя с нею в соприкосновение, они пускают из нижних колен стебля новые корни, на которых опять растут стебли и опять пускают корни. Таким образом составляется куст: из одинокого зерна вырастает от 50 до 60 плодоносных зерен. Любят куститься и рожь и пшеница. Листья не только выпускают водяные пары, вышедшие по стеблю из земли, но и служат растению органами дыхания и проводниками благотворных солнечных сил. Зерна на них — те же плоды по подобию яблок и груш на деревьях этих названий. Они же служат и семенами, которые, находясь в сухом месте, бывают в спящем состоянии до соприкосновения с влагой. Долголежалые перестают всходить в возрасте после трех до семи лет.

Вот в коротких словах всем известный общий закон для всех растений, а в том числе и наших хлёбных злаков. Для них вся сущность и разница заключается в том, в какую почву и на какую пищу бросит их рука сеятеля. Обыкновенно через три или пять дней хлебные семена в этих почвах начинают раскалывать свою оболочку, давать ростки вверх и корни вниз. Холод и засуха останавливают прорастание; земляная покрышка служит защитою семян от высыхания, а глубокий пласт земли (дюймов на восемь) — к быстрому прорастанию.

Кстати, оговоримся. Русские, как и европейские, почвы некогда были чужими для хлебных злаков: хлебные растения вместе с огородными овощами имеют родину в Азии, откуда перенесены, у нас переродились, обжились, и так как перенесение их было очень давно, то и сделались домашними, как бы у нас и уродил их бог на нашу потребу. Так, греча привезена из Туркестана, горох — из Китая, через Кавказ из Индии привезли на Дунай просо, ячмень, овес, пшеницу, полбу и рожь. Сперва предки наши славяне вынесли на Днепр, Днестр и Волхов, а русские потомки их затащили уже и на Печору, и на Лену, и на Амур. С хлебами и воробей расширил пределы своих владений по Сибири. Здесь его совсем не знали и познакомились с ним, когда русские начали там садиться на пашни добровольными переселенцами сначала, ссыльными наказанными поселенцами потом и начали возделывать землю и сеять хлеб после обратного кругового обращения его снова на родину.

Семя любит тепло, нуждается во влаге, которую и всасывают в себя вышедшие из зерна корневища, и пи-

тают мочки все растения. Без влаги семя не прозябнет, со влагою оно напитывается и теми веществами, которые полезны для роста. Соки эти берет растение корнями из почвы, очищает их на поверхности земли, само увеличивается, полнеет и созревает.

Всякий знает, что почвы бывают песчаные, глинистые, известковые, рухляковые, болотные или торфяные и лучшие — черноземные. Бывают и смешанные: суглинок и супесок, то есть почва с немалою или с большой примесью либо песку, либо глины. Каждый сорт хлебов любит свою почву и тем охотнее растет, чем больше находит в ней питательных соков. Питательная сила берется из тех веществ, которые смешаны с главною и называются минеральными и химическими. Так, на песчаной почве лучше родится рожь, а на супеске растет еще охотнее: песчаная почва скоро и сильно нагревается и долго остается теплою, в супеске глина дольше задерживает влагу и не так скоро сохнет. На глинистой почве лучше родится пшеница, а если в ней есть примесь извести, то ячмень и овес; в суглинке же, где глины и песку поровну,— всего скорее и лучше вырастает ячмень, но и другим хлебам в нем меньше опасности: это самая лучшая почва. Чернозем для всех готов и всем благодетель: тяжелые глинистые почвы он делает рыхлее и легче, песчаные, то есть легкие и рассыпчатые, податливые на дождях и ветрах, чернозем делает связными и все улучшает. Для пшеницы это самая благодатная и любимая почва. Болотные почвы для хлебов не годятся и требуют для превращения в пахотные поля продолжительных, усиленных и усердных хлопот и великих трудов.

Если соха, нарезая борозды, оставляет лоснящийся след и на пашне остаются глыбы, которые так и засыхают и не рассыпаются, земля прилипает к ногам — та почва глинистая. Если глыбы сами собой крошатся — значит, земля известковая. Когда всего этого не заметно, то почва легкая, песчаная или супесок.

Иная подмесь других веществ в почве неизбежна, и творит свои чудеса, и славится собственными деяниями. Делали наблюдения над овсом и заметили, что без извести растение умерло уже при образовании второго листа; без железа в питающей его почве оно оставалось очень бледным, слабым и неправильным. Без фосфору овес развился прямо и правильно, но был слаб и не дал зерна. Когда овес питался железом, то поражал темнозеленым цветом, полным развитием, сильным ростом и надлежащей твердостью. По пословице: всякому зерну

своя борозда, то есть всякому растению своя почва и своя пища. Беловатая почва означает присутствие извести, желтоватая или красноватая — железо; темно-коричневая или черноватая — чернозем. На глинистой почве вода застаивается, на песчаной или известковой проходит насквозь, на бесплодной, где много песку, вода имеет вид сыворотки. Деревья и растения любят свои почвы, обходят другие: ива, береза, сосна, подорожник и гвоздика любят песчаную; пырей, тимофеева трава — глинистую; шалфей, клевер, можжевельник и ясень — известковую. Если хорошо растет осока и другие кислые травы, криво вырастают береза и ольха — значит, почва болотная. Вот и указания при начальном посеве хлебов.

А вот и новые приметы на добрую почву: жаворонки и воробьи любят садиться на земле, кроты нарыли ям — все это неспроста, все эти пернатые и лохматые лакомки указывают на то, что в земле много гусениц, червей и насекомых — стало быть, земля сытная. Можно к травам и цветам присмотреться: полынь горькая, лебеда (которою за недостатком пищи подспоряют иногда самый хлеб), ковыль-трава и другие любят расти на черноземе. Можно и то сообразить, в какую сторону имеет почва наклон, особенно если подойдут горы: склон на полдень, к югу, указывает на места потеплее и посуше, склон на запад обещает такие ветры, которые дуют с морей и приносят влагу,— меньше опасностей от засухи. Низменные места часто бывают сырыми, высокие и со склонами на север часто посещаются холодными ветрами.

Впрочем, хорош этот выбор, когда его сделать позволят, и там, где приходится заводить хозяйство на новях. Старожилу-крестьянину, осевшему на месте и привыкшему к нему, так поступать не доводится, и вот почему.

При дележе земли для пашни под посевы и под луга для сенокосов на крестьянскую долю выпадает такой обычай: земля, принадлежащая деревне, общая, то есть никому она в частности не принадлежит. Так это завелось в самые древние времена нашей истории, так это так называемое общее, или общинное, владение остается и до наших дней, и только у нас в России, у крестьян. Везде в других местах оно вывелось, земля стала принадлежать только тому лицу, кто ее купил, и достается она прямым наследникам владельца по закону.

В большинстве наших деревень лес общий. Если ре-

ка подошла или озеро разлилось подле — рыбу ловить всей деревней и делить потом на каждый дом поровну. Всякий может пользоваться для себя, продать ему нечего: никто не позволит, а из своего никому покупать себе не доводится. Пахотную землю делят на участки, и косяк этот мой только до того времени, когда подойдет новый срок общинного передела. Могу сесть на другую полосу и непременно сяду, если была у меня земля получше, чтобы этой лучшей пахотой пользовался теперь другой, чтобы было всем ровно, чтобы была правда, чтобы привелось каждому, по очереди поплакаться на худой земле, воспользоваться корыстью на хорошей. Такой справедливый способ общинного надела землей многие не одобряют, хвалят другой способ отдачи земли участками на вечное владение — так называемое участковое хозяйство. Есть в общинном свои и большие недостатки, но не об том наша речь. Впрочем, мы не один раз увидим потом, насколько у наших крестьян развита взаимная помощь, желание помочь друг другу в нужное время работ: на жатве, на сенокосах, при молотьбе и т. п. Немного мы видели прежде, во многом увидим потом торжество и господство русской общины, даже и не отходя от хлеба, ограничиваясь одними лишь земледельческими занятиями наших крестьян-соотечественников.

Пойдем делиться с ними!

С утра еще по деревне гул ходит. Крикливо разговаривают между собой мужики и усиленно машут руками; одни старики не горячатся, толкуя степенно и тихо. Бабы навострили уши и подперлись локотками, молчаливо выжидая, что будет: не их это дело. А все-таки, как хотите, язык не удержишь: как другой бойкой хлопотунье не посоветовать мужу, особенно если он слаб характером и баба им управляет? С вечера еще наговорила она ему, натолковала, натопала, набранила, с тем и спать легла, чтобы было сделано по ее желанию. В день раздела и она смолкла, словно какой грозы ждет. Всех больше опустились, всех упорней молчат и тяжелее вздыхают те, у которых семьи маленькие и своими силами им много земли не поднять. Из мужиков крикливее те, у кого на плечах большие и сильные семьи: у этих споры и крики доходят до обид и ссор с соперниками. Да и они замолчали: мир двинулся в поле землю делить и мерить. Впереди мерщики с веревкой — те, которым больше верят и которых больше уважают за любовь к правде.

Вышли на поле. Обошли веревкой полосу, намерили ее в квадрате — приблизительно десятин в шесть и четыре. Это — курень, корчага. Ее опять веревкой разделили на две равные части: на худую и хорошую. Делятся две стороны: одна сильная семья по неписаному, но непререкаемому закону имеет право выбирать первою — берет лучшую, то есть любки, другая — остальную, невыбранную. Когда заметят другую корчагу, та сторона, которая взяла любки, берет теперь остальцы — землю похуже. А худую и хорошую землю вся деревня от мала до велика знает как свои пять пальцев, как по книге читает. Но так как полукорчага отводится на несколько человек, то поэтому дробится на каждое лицо тем же порядком. Разбирают свои части все беспрекословно, споров уже здесь не бывает. Все остались дома, а потому и шумели до поля, чтобы нашуметься лишь для очистки совести.

Но вот такой дележ не сладился,— утром в деревне не уговорились на нем: пошли на бирки, по жеребью, пытать счастья. А счастье не всякому: другому, однако ж, во всем оно везет; несчастливым обидно и завидно, подымает сердце, подымает и голос.

Для жеребьев землю разбили на осьмушки и полуосьмушки, и у каждой свое имя: перелесье, зыбок (болотинка), забежин кус, колос и т. п. На каждый кусок земли нарезана особая бирка на палочке со знаком участка. Бирку вынуть — значит и тот кусок земли взять. Трясут бирки в шапке и наперед сказывают, кто сколько бирок желает вынуть на себя. Проверяют. Толков, недоумений, рассуждений при этом не оберешься: всякий галдит свое. Бывает, что побранятся и подерутся. Однако надо же вынимать. С сердечным трепетом опускают в шапку руку, ищут в темноте ту бирку, которую хочется. Кто обжегся на зыбке и болотной трясинке, тот и брови насупил и несчастливой рукой полез в затылок. Другой даже закричал и перекрестился: значит, хорошее вынул, может быть, и перелесье. Третий выговорил три бирки и все три вынул неладные. Вот почему старики от жеребьевого порядка дележа земли всегда отговаривают:

— Идите-ко в поле да и выбирайте любки.

Дележ всегда происходит в петров пост, перед вывозкой назема в поле, и стараются кончать его поскорей.

Так или сяк, дележ кончили, а корились и бранились только по дурной привычке: и на хорошей земле можно наплакаться. У хлеба врагов много.

Первым оказывается и не скрывается — сорные травы.

Пусть стелется по полю рожь колосистая и красуется васильками: они, красавцы с виду,— враги и тунеядцы на самом деле. Васильки поживляются теми самыми соками, какие нужны хлебу, и там, где сели кустами и легко и приятно рвать их, там колос от колосу далеко сидит, там место голое, плешинами: красивые цветы всё съели. Пусть их больше теребят девушки и плетут из них венки на головы! Назойливее васильков тра́вы: осока, разные мяты, метла, или метелка, очень образно названная, и трава костра, которые всюду поспевают там, где их не просят. «Бог с рожью,— говорят крестьяне,— а черт с костром». Впрочем, этих трав мало боятся. При них надеются добыть хлеба на собственный прокорм до половины зимы, до Петра-полукорма (21 декабря), а пожалуй, и до второго полукорма, также Петра (16 января). И говорят: «Метла да костра — будет хлеба до Петра». Худое дело, когда появятся денежник (звонец) и костюлки (синец), тогда хоть в гроб ложись, если еще пристанут товарищи эти к метле и костре. «Синец да звонец, и хлебу конец»,— веруют суеверные и напуганные земледельцы.

С сорными травами крестьяне наши ладить не умеют; в ученых хозяйствах ведут неустанную войну, и особенно с метелкой (которая называется также пыреем). На пущую беду, сорные травы растут не корнями, а корневищами, которые можно назвать подземными длинными стволами; каждый сустав имеет свои корни и скрытые почки, может дать самостоятельное растение, лишь отделить его от главного.

Чем больше пашут поле, тем сильнее усиливают рост пырея, тем вернее он размножается и тянется в бесконечность. Сражаются с ним и плугом, и бороной, и катком, косят, свозят, сжигают его. Но вот осталось в поле несколько стебельков, и неприятель, считавшийся уничтоженным, снова тут как тут, в своей прежней массе, со своею обыкновенною живучестью на погибель хлебам. Тогда в поле за каждой бороной идут два человека — один собственно выдергивает пырей: борона не берет, она только волочит его. В другом месте стоит человек с вилами: осторожно перекапывает свой небольшой кусок земли, перетряхивает все корешки, набрасывает их в кучу, свозит домой. Но на следующий год опять пырея столько же, как и прежде. Много старания, много работы потрачено на эту войну. Недавно дознались толь-

ко, что метелке полезно вовремя срезывать голову, и если два раза это сделать в самую жаркую погоду, жизненная сила ее прекращается. Остается запахать пырей в это же время в землю: он сгниет там, а для того после каждой хорошей жатвы надо взметывать пашню как можно ранее и притом хорошо употреблять плуг с тремя лемехами.

От одних отделались, на других налетели,— опять враги: маленькие зверьки, полевые мыши, полевки. Роют норы, подъедают коренья, вьют гнезда и во ржи иногда довольно высоко. Впрочем, мышей боятся крестьяне мало и даже по высоте гнезд их суеверно загадывают на базарные цены: если свито мышиное гнездо высоко — будут цены высокие, наоборот, при низком гнезде, вплоть у земли, цены установятся низкие. Китайцы едят их и очень хвалят, едят и у нас кое-где, называя житничками. На них из царства животных почти все враги и кончаются, если не считать медведя, который любит овсы сосать, и сусликов, или овражков, делающих из зерен зимние запасы. Да у ленивых хозяев, не починяющих изгороди полей из плетня или жердей, мнут и травят поля овцы, лошади, коровы. Проезжие озорники не притворяют ворот, и влезает в ворота скот на потраву.

Весной и осенью на молодые всходы нападают улитки и истребляют целые поля. Но опаснее для хлебов враги из царства насекомых. Вот, например, *медведка.* Она роет целые галереи, по которым умеет укрываться и наносить убытки хозяевам посевов. Где эти ходы под землей, там на полях пожелтелая тощая растительность, и вместо ее кучки нарытой земли, вроде наваленных вблизи кротовых нор. Надо лить туда воду, потому что самка кладет до 300 яичек зараз, из которых через месяц являются личинки. Насекомые — враги настоящие: как и подобает злому врагу, они подбираются и сидят спокойно; по закате солнца начинают летать и размножаться яичками. Дней через десять готовы гусеницы, которые сначала питаются корнями сорных трав, а когда взойдет озимая рожь, нападают на ее всходы. Зимой они, как воры опытные, уходят в землю и зарываются там. Весной опять на промысле: опять на ржи, и, на беду, именно на тех полях, которые хорошо разрыхлены и лучше унавожены. Это — ржаной червь, появившийся в 1846 году в таком множестве, что в восемнадцати губерниях России самые удачные всходы ржи были истреблены им и роскошные зеленые поля обращены в го-

лые и мрачные пустыри. В теплых черноземных странах, где хлеб всего охотнее и обильнее родится,— *саранча.* Там, где она опустится, цветущая страна преобразуется сразу в голую пустыню. Она прилетает несметными тучами, которые издали имеют вид грозовых туч; рои их затмевают свет солнца. Все небо и вся земля на такой высоте и на таком протяжении, какое только может обнять глаз, кажутся запруженными саранчой. Шум, производимый миллионами крыльев, может быть уподоблен только шуму водопада. Когда грозная армия опускается на землю, ветви деревьев ломаются под ее тяжестью— и в несколько часов на протяжении нескольких верст совершенно исчезает вся растительность. Хлеба изгрызены вплоть до корня, деревья лишены всех листьев: все разрушено, разорвано, разрублено и сожрано. Когда уже на земле не остается ничего более, страшный рой подымется как бы по сигналу, оставляя за собой отчаяние и голод, и летит искать другого поля. Самая смерть их становится источником еще горшего зла. Их бесчисленные трупы, согреваемые солнцем, немедленно начинают гнить и заражают воздух, вследствие чего появляются на людях тяжелые болезни, влекущие за собой смерть.

В последнее время на хлебных полях в черноземной полосе России, откуда ни взялся, появился очень злой враг, которого назвали хлебным жучком и кузкой. Он так плодовит и многочислен, что, какие меры ни принимают, никак с ним не сладят. Переселяется он из одних губерний в другие словно ветер, с изумительной быстротой. Порода этих насекомых неумолима. В конце апреля и мая личинки кузки, лежа близко к поверхности земли, питаются исключительно корнями злаков и объедают молодые корешки, вырастающие из стеблей, а также и зеленые листочки. Чем больше углубляется корень, тем дальше следом за ним зарываются в землю личинки. Зимою они, к большому несчастию, не впадают в спячку, а потому нуждаются в пище и, стало быть, принуждены держаться также около хлебных корешков. На возрасте и на поверхности земли любимая пища жука — рожь, ячмень и пшеница, но не все части их, а лишь цветковая пыль, завязь и молодое зерно, пока оно еще мягко и наполнено, что называется, молочком. Такая разборчивость в пище вынуждает жука переселяться с полей, занятых хлебом раннего сева, на поля, засеянные позднее, то есть переходить от ржи к озимой пшенице, а затем к яровой. В этой пшенице самки кузки

производят и кладку яичек. В конце июня жука всего больше, а в июле уже очень мало. Все принимаемые меры, вроде высевания ячменя ранее, частой перепашки полей и т. п., мало действуют, и дело требует новых указаний и советов.

К кузке в наших хлебородных местах присоединился новый враг: отродилась так называемая гессенская муха. Она преимущественно свирепствует на хлебах слабых и редких: встречая густую здоровую рожь или пшеницу, не одолевает их и, протачивая некоторые стебли, не причиняет им, однако, большого вреда — рана в здоровом организме заживает.

Но самою главною причиною бедствий от хлебных неурожаев считается истощение почвы даже в тех местах, где она черноземна и плодородна. Сила, взятая посевом из земли, ей не возвращается, и вместо того чтобы позаботиться об этом, как только старая пашня перестала быть плодородной, ее бросают и ищут новых земель. На новях, как известно, урожаи гораздо меньше зависят от погоды; на старых неурожаи происходят от того, что в почве стало недоставать какого-либо из питательных ее составов. Между ними же одним из необходимых считается, например, фосфорная кислота. Для того чтобы возвратить ее земле, стоит удобрить ее костяною мукой, приготовляемой из костей животных, разбитых на простых и недорогих толчеях. А между тем кость мы стали продавать за границу, даже в Америку, но зато в нынешние голодные времена стали получать хлеб.

Горших хлебных врагов и искать нечего, хотя саранчу встречаем на наших степях в Малороссии и Новороссии близ берегов Черного моря, на Дону, за Кавказом, в Бессарабии. К счастью, в средней России и северной про этого бича божия не знают. Не довольно ли о врагах?

Попробуем, впрочем, спросить самих пахарей.

— Не завалилось ли в бороздах еще каких-нибудь злыдней, о которых мы не слыхивали?

— Как не быть — есть: спроси не меня одного, спроси любую бабу. Есть на свете злые люди, с нечистой силой знаются (вы вот смеетесь!), а задумает он на тебя худое, может в хлебе *залом* сделать. Соберет в пучок колосья, надломит, переломает, завяжет и скрутит: это — залом, да и не один середь поля, а в разных местах. И места́ вокруг все бывают истоптаны. Сожнешь залом — руки заболят; хлеба с того поля поешь — непре-

менно умрешь. Мы его и не трогаем, обжинаем. Когда много заломов в поле, помочи не собьешь: никто не пойдет, все боятся...

— Чего боятся?

— Его боятся, нечистого. Никто не пробует.

— А попробовать бы! Я, впрочем, хаживал, заломы выдергивал: никакой беды не встречал.

— Мы колдуна звали, вином поили...

— Видно, лишнее вино было...

— Нет, ты слушай: только один колдун либо старый дед и смогут это сделать. Приходил колдун в поле к залому, разводил колосья руками, заговорил вражью силу, говорил злому духу: «Коли ты спроста, так и я спроста; коли ты с хитростью, так и я с хитростью». Вырвал залом с корнем да тут же и сжег, и пошли мы жать вперегонку...

— А он у вас водку даром выпил...

— Мы ее не жалели.

— А мне вчуже вас жалко. Я знаю уже много таких мест, где заломам совсем не верят, а знают, что это ветер сшалил, когда сильные колосья кустились, налетел не вовремя и перепутал...

Впрочем, суеверных людей убеждать трудно. С ними не сговоришься — лучше бросить и отойти прочь, на этот раз от выдуманных небывалых врагов к видимым и несомненным друзьям.

О врагах довольно.

— Конечно, довольно. Да как же пропустить вон эту вороватую птичку, которая тут же на полевой изгороди, не стыдясь и не скрываясь, натачивает маленький, но востренький носик. Это воробей, которого так и прозвали вором, таким его и в песнях зовут. Его, например, вовсе не знали в Сибири, а как завели там русские люди поля, стали сеять хлебные злаки, прилетел и воробей и поселился на хлебных полях, точно хозяин: дерзкий такой, нахальный, все сидит на изгородях... В траве коростель скрипит — птичка небольшая, но с голосом не по росту: иной земледелец ее совсем никогда не видал. Это друг хлебных злаков, птичка ест улиток, гусениц, насекомых — врагов хлебных.

Еще кто друзья хлебам?

Спросим у самих крестьян, кого бы они пожелали для своих полей.

— Известное дело — солнышко красное всему голова. Без него смерть настоящая. Пусть почаще солнышко на наши поля взглядывает: любим мы это.

Но об солнышке мы уже слышали. Еще кто приятен и мил?

— Хорошо тепло сухое, хорошо тепло и с дождичком. Всегда бы тепло да в меру бы дождь — чего лучше? Шальной ливень с корнями вымывает хлебушко. Град налетит — нет его хуже: солому переломает, коренья выворотит. Ляжет хлебушко, и не подняться ему, и не раздышится он. Да и чем ему раздышаться? Колосья отбиты, и с корешками нет у него теперь связи, точно чужие. Надо бы кореньям соки выбирать из земли и пропускать по стеблю к колосьям, а как это теперь он сделает?

— Большой хлебу друг навоз свежий. Не перегорел бы, не вымок бы, можно и на него большие надежды класть: выводит из бед.

— Надо знать пору и время, когда что сеять. Кто это разумеет, тот редко внакладе живет.

— Надо делить поле на три поля, на три смены: посеять на будущий год озимую рожь, сжать ее, опять унавозить и до зимы вспахать успеть. Весной посеять яровое. На третий год на том поле не надо ни пахать, ни сеять, оставить под паром. Пусть кормилец наш отдохнет: тоже и поле, что человек, устает. Ты из другого хоть жилы тяни, нет в нем силы. Пожалуй унавоживай, да на этом кнуте, что и на голодной лошадке,— на одном этом кнуте не уедешь.

— Рожь любит сухую погоду: хоть на часок, да в песок. Яровую пшеницу сеем, когда весна стоит красными днями. А на дороге грязь, так и овес князь: этого молодца хоть в воду, да в пору. Гречу велят класть в землю, когда хороша рожь и хороши травы, ячмень можно и до цвета деревьев. Яровое на хорошей земле надо сеять раньше, на худой позже. Да всего и не перескажешь.

— А почему так надо делать?

Ответа от неграмотных людей мы не дождемся.

— Так делали деды и нам наказывали. Спроси ты у солнышка ясного, спроси ты у ветра пролетного, у тучки небесной. Все они мужику помогают. Все они друзья хлебов.

В самом деле, попробуем расспросить: не расскажет ли кто-нибудь из трех несомненных друзей и благодетелей?

Спросим у буйного ветра, он везде бегает, всюду старается поспеть и, верно, все видит.

Отвечает буйный ветер:

— Я налетаю бурей на леса стоячие, на столетние дерева: было бы с кем побороться. С мелкими злаками из стыда не связываюсь, да и они хитры и непокорны: налетел я — берегутся сами, приклоняются. Пошалил я раз, когда хлебные злаки покрылись цветом,— весь цвет осыпал. Когда другой раз прибежал, на поле всходов не видал. Видел: собрались мужики, руками машут, головами качают. Очень бранили меня: погубил-де все наши надежды. Посылал я им на новое поле утеху — меньшего брата: теплый и тихий ветер. Спросите у него, что он делал.

Отвечает за шального верхогляда тихий и скромный брат — теплый ветер:

— Играл я с колосьями (были в наливе): смотрели проезжие люди, хвалили все поле — славно-де красивое теплое море. Любовались и мужички-хозяева: кто в поле вышел, тот и загляделся. Я свое дело делал: шевелил воздухом, чтобы не застаивался; я освежал поле. Стряхивал с листьев и колосьев пыль, чтобы она не засаривала пóры, давала дышать чистым воздухом. Призывал себе на помощь давнего своего друга и товарища — дождичек теплый (и для хлебов нет большего друга и благодетеля), обмывал он хлебные колосья и листья и корни им освежал. Надо спрашивать теперь у чистого воздуха — в нем грозы гремят. Он любит чиститься и охорашиваться: пройдет гроза — свежим станет таким, как будто сейчас заново родился. И все кругом засмеется, и хлебное поле веселей смотрит, колос поднял головку и словно хвастаться собрался, веселиться. Грозы очищают удушливый, спертый воздух. В удушливом воздухе хлеба приклоняют головки и приходят в сон и могут легко умереть.

Говорит чистый воздух:

— Там, куда меня не пускают, где мне доступа нет, там царствует смерть, там нет дыхания и жизни. Комом свалялась земля, и немногим она отличается от твердого камня. В камне и на камне ничего не прозябнет; в закупоренной бутылке вино сохраняется целые годы. Оставьте бутылку без пробки, дайте воздуху доступ, вино начнет приходить в брожение, превращаться в уксус. Без теплоты нет брожения, теплота везде помогает брожению. Помогает она и земле бродить и превращаться в годную для посева, спеть, созревать. А как это сделать без меня, без теплого воздуха?

Надо открыть воздуху доступ. Голодные люди выдумали сохи, плуги, бороны, а для пущих успехов, чтобы

доступ воздуху сделать глубже, напускают на землю так называемые подпочвенные плуги, или углубители, проводя ими года в три раз на одной и паре лошадок. В рыхлой земле от пахоты делается много скважин: воздуху, который не любит пустот и все свободное занимает, теперь простор и дороги торные. Что может сделать воздух, нагретый солнцем и сделавшийся теплым?

— Проходя в земле по взрытому рыхлому пахотному слою, теплый воздух при встрече с холодным, с необогретым нижним слоем земли оседает росой, влажными каплями, как делает это зимой с холодным железным ножом, внесенным в теплую комнату. Вот и влага, которая во всем возбуждает брожение и от которой все гниет и разрушается. И без дождя можно добиться на этот раз того, что земля начнет бродить и спеть от собственной влажности, от теплоты и воздуха. Для этого лишь надо ее глубоко пропахать и мелко разрыхлить да обратиться к ясному солнышку, попросить его милости. Древние люди, как наступала весна, так и начинали справлять праздники в честь красного солнышка, затевали игры, пели хвалебные песни. Наши славяне чествовали солнышко под именем Ярилы, Купалы, и до сих пор пляски в честь их сохранились под названием хороводов. До сих пор, как и в старину, водят эти хороводы кругами, в образец и подобие солнечному обходу, его благотворному пути кругом Земли, его живительному круговому шествию. В чем его помощь?

— Нагревая землю (подсказывает красное солнышко), мне удается выделять из нее соль и оставлять блестками на пашне такое вещество, которое любит притягивать к себе сырость, влагу. Вот и опять земле любимая пища вместе с теплом, да и с жаром, и с зноем. Могу я нагревать, могу, однако, жечь и калить. Да хитер мужик деревенский; не надеясь на мою теплоту и побаиваясь моей силы, он по-своему нагревает землю: кладет в землю навоз и пропахивает.

Как бабья рука перемешивает тесто, когда думает хлебы печь, так мужичья соха перемешивает навозные и земляные кучи. От навоза земля делается теплее; в теплоте квас и пиво бродят (чтобы не бродили, их и хранят хозяйки в холодных погребах и подызбицах); с навозом земля также бродит и перед солнышком и его теплом поднимается и спеет, как хлебное тесто перед печкой. Без теплоты нет брожения; без меня, красного солнышка, и навозу, накиданному по земле, не согреться. Теперь земля начнет бродить и поспевать под зеле-

ное поле несомненно. Вглядитесь в нее, она изменилась: цвет ее сделался темнее, она сама под ногой упруга, а в руке мягче, чем была прежде. Земля раздувается, поднимается и зеленеет. Мое теперь прямое дело, чтобы была зелень изумрудная, а потом и золотая, на радость крестьянского сердца. Спрашивать ли теперь у тучи небесной, у дождя шумливого? Не захочу — и дождю не бывать, не дождетесь его. Перехитрит меня сильной тучей, польется,— могу и тогда его силу ослабить, испарить, превратить дождевые капли в пар. Вверху подниму этот пар незримыми человеческим глазом пузырьками прочь с поля с такой быстротой, что пахотной земле им и не поживиться. Видал я, как от дождей поле покрывается корой; видал я, как шальные ливни выбивали коренья, как торопливый и трескучий град переламывал солому и отбитый колос уколачивал в землю насмерть.

Стало быть, хлеб растет от воздуха, от света, от теплоты и влаги, и тем лучше растет, чем догадливее пахарь на пору, то есть на время посева. Это уже, впрочем, дело ума человеческого: у ленивого и глупого хуже, у трудолюбивого и смышленого чудеса творятся.

Упомянувши о хлебных врагах, мы забыли об одном из главных: о самом человеке, о нерадивом и неумелом пахаре. Вот что он делает, и притом не в одном каком-нибудь месте, а во многих губерниях, так как самый способ возделывания поля существует с незапамятных времен и достался от самых давних предков.

Отдыхавшее поле под паром, на котором гуляла скотина (то есть был выгон, как говорят в деревнях), плотнеет: земля на нем, или дернина, состоит из плотных глыб. Когда на них накладут навоз, пройдут сохой (то есть сделают первый взмет), а потом дня через три-четыре поднятую пашню заборонят, ни борона, ни соха ничего толком не сделают. Твердая дернина остается нетронутой: борона только размельчила мягкие части полуопрокинутых сохой земляных пластов травою вниз. Пласты эти недолго лежали, воздух не проник сквозь верхние части почвы, не оживил их, не ввел туда своих удобряющих сил. Даже трава, наросшая на дерне за время выгона и опрокинутая вниз, не может перепреть и вместе с навозом перейти в брожение. Надо бы их выворотить, но в сохе нет той силы, и она, вместо того чтобы оказывать нужную помощь, только ломается и приносит тем новые убытки в хозяйстве. Сто́ит на такое поле, по которому соха только праздно прогулялась, а борона вспушила и угладила уродливую пахоту, прыс-

нуть проливным дождем — беда готова. Солнышко начнет сушить так, что на всем поле образуется кора в $^1/_2$ вершка толщиной, которая и закупоривает от плодотворного воздуха плодородную землю так же точно, как плотно пригнанная в горлышко бутылки крепкая пробка. *Кореет* поле, и земля лежит без всякого *напару* во всякое лето, предшествующее неурожайным голодным годам. Едучи мимо крестьянских полей знойным днем после проливного дождя и во время пахоты, взгляните на поле: если оно усеяно твердыми дернистыми глыбами, раскиданными сплошными массами с сухими черепками между ними,— несчастье над таким полем висит уже въяве: на будущее лето и беда придет. Эта беда замечена во многих местах и прямо указывает на то, что пора перейти к улучшенным способам хозяйства и оставить стародавние, завещанные еще предками нашими — славянами.

В ученых хозяйствах землю удобряют еще примесью костяного порошка (из которого, как известно, добывается фосфор и для скоропалительных домашних спичек, и для правильного и прямого роста хлебных колосьев).

Удобряют ученые поля свои кормовыми травами: клевером, тимофеевкой и другими; когда взойдут — их запахивают, чтобы сгнили в земле и отдали ей свою кормовую питательную силу. Многое и другое придумано людьми, чтобы увеличить теплоту, влагу и растительную силу земляных пластов, но всего не перескажешь.

Стелется по полю рожь колосистая. Затем в 137 теплых дней (10° по Реомюру) поспевает озимая рожь и на стольких же градусах тепла вызревает озимая пшеница, но дозревает медленнее, не раньше 149 дней. Для овса и яровой ржи требуется тепло посильнее: в 13° (и 100 дней достаточно для этой ржи, а 110 — для овса). Отсюда видно, что у нас в России, на севере, хлеба должны поспевать в кратчайший срок, и созревание их обеспечивается светлыми и теплыми июньскими ночами. Все-таки, несмотря на то, рожь наша требует еще искусственного дозревания: для этого сушат ржаные колосья в снопах на овинах, на огне. За границей такую рожь всегда узнают, потому что видят ее зерна сморщенными. Видят, однако, и такие пшеничные зерна, которые превосходят все европейские, и не досушенными на искусственном огне, а дошедшими до зрелости на ярком солнечном припеке по южным степям, так называемые сыромолотные.

Солома на колосьях стала съеживаться, на полпаль-

ца ниже она даже сделалась белою. Вынуть зерно из колоса — зерно на зубу хрустит: значит, хлеб поспел — подошло время уборки. Если же появилась кое-где головня — изгарина, вместо белого мучнистого зерна как бы угольная пыль, то есть хлебная ржавчина, то уборкой хлеба надо уже и очень поспешить! Перестоит хлеб на корню — зерно начнет осыпаться, станет казаться стеклянным.

Торопись, хозяин, на радости: выноси из клети серпы, излаживай грабли и вилы да поскорей вычиняй телегу. Погадай и на добрую погоду, на ясные дни, чтобы успеть убрать хлеб с поля. На хорошую и худую погоду и животные и насекомые хорошо и часто очень верно указывают. Перед дождем, например, ласточки всегда очень низко летают, а разве делают так зря, не подумавши? Перед дождем насекомые, которыми эта птичка питается, опускаются из влажных верхних слоев воздуха, приготовляющих дождь, в нижние слои, к земле, где он еще сух и тепел. Дождю радуется рыба, весьма часто выпрыгивая из воды, а домашние животные беспокоятся: гуси и утки бегут в воду, полощутся, хлопают крыльями, громко кричат. Лошади трутся об загороди и стены, храпят, фыркают, трясут головами и, поднимая их кверху, нюхают воздух. Петух ночью поет не вовремя, путается, куры кудахтают, а наседка, куриная мать, скликает цыплят под себя; цыплята и без нее начинают прятаться. Ворона купается, галки чешутся, голуби прячутся, выползают земляные черви. Баба видела, как молоко при удое пенится, у нее соль волгнет (сыреет); в спине ломота, в ушах звон, нос залегает. Собака мало ест, много спит, кошка лижет хвост и прячет голову, свинья визжит, и вся скотина старается улечься под крышами и навесами. Их беспокоят насекомые, вообще очень чуткие к переменам погоды. Перед дождем и комар и мухи кусают больнее. Особенно в предсказателях прославился домашний паук-крестовик, который любит ткать паутину во всех кутных углах крестьянской избы. Его влажное толстое брюхо чувствительно к переменам в воздухе, а нежные длинные ноги ощущают сырость и влажность. Будет дождь, когда крестовики совсем не приготовляют свежей ткани, забираются в паутину и садятся головою в угол, в самый кромешный кут. Быть грозе, когда они начинают рвать паутину, а сами залезают наверх и еще глубже забираются в щели, так что и ног не видать. Перед хорошей и продолжительной погодой после дождя они осматривают свои сети и поправ-

ляют их. Зимой перед холодом бегают взад и вперед, ищут готовых паутин, чтобы отбить и завладеть ими, или начинают ткать новые сети и ночью приготовляют несколько сетей одна над другой. Перед ветреным и дождливым днем паук залезает в угол еще накануне. Стало быть, надо подождать с уборкой хлеба: в сильный ветер и во всякий дождь убирать неудобно и вредно.

ХЛЕБ СОЗРЕЛ — УБИРАЮТ

— Погляди-ко, жена, в кут, что там пауки наши делают? Очень что-то птицы ощипывались — видел я утром...

— Трое их там (отвечает хозяйка из своего угла про пауков): двое плетут и хлопочут шибко, словно подряд у нас на паутину-то сняли. Третий высунул голову и ноги широко расставил. Слава богу!

— Ну да как не слава богу: одолели дожди, передыху не дают.

— Сама, хозяин, видела: кошка лапу зализывала, корова с выгона вернулась — не пошла спать под навес, а подобрала ноги да и растянулась посередь двора. Впереди стада шла вчера рыжая корова. Солнушко в креснах садилось (алой зарей); туман не подымался, а падал..

— На небо глядеть хорошо ты надумала. Видно, и нам надо думать с ним вместе.

— Да как не думать — по́мочь надо сбивать, соседей просить: своей силой нам поля не осилить. Ступай-ка сам, да и я уберусь — по бабам похожу, попрошу их пособить хлебушко сжать.

— Уродил нам господь крепкий хлебушко: матерой стоит! — согласился муж, встал с лавки, надел на голову шляпу свою с перехватом и вышел.

На улице навозные жуки поползли ему навстречу. «Опять добрый знак!» — подумал про себя хозяин. На поле вышел посмотреть, а там собрались вороны и галки целыми хороводами и кричат; на выгоне овцы прыгают, и так высоко и весело, что ему даже смешно стало. «И это хорошо!»

С соседом встретился (тоже выходил глядеть на поле). Сказывал встречный сосед:

— Ходил сегодня ночью в лес валежнику от скуки набрать да не попадется ли грибов. И лукошко брал. Глядел я, брат, на пни: светляки так-то важно светили.

— Вот и я, сосед, про то ж. Не придешь ли завтра пособить? Я вот бабе велю ужо изготовиться. В кабак зайду — водки куплю.

— Без дальних слов, завтра к тебе и сам приду, и всех ребят позову.

— Осталось у меня на погребу стоялое пиво, и хмелем его подправила жена...

— Так я тебе и баб своих всех приведу.

Разошлись. Пошел заказчик по избам. Входил, кланялся, просил на помочь, ни от кого не получил отказу, домой пошел.

Солнышко стало закатываться: встали в воздухе толкуны (мошки) густым столбом. Поиграют на одном месте, и вдруг их всех кто передвинет — толкутся на другом месте. По их примеру комары такой же хоровод затеяли, шершни и осы суетливо летают.

Полюбовался мужичок и на это и еще пуще укрепился на том, что быть завтра вёдру (ясной солнечной погоде). Ретивее стал припасаться к угощению, потораплпвал хозяйку тесто месить на пироги. Возились они долго, улеглись спать, но лишь до первого луча солнечного. Тогда вся помочь соберется в поле, помня и веруя святому правилу, что рука руку моет, зато обе чисты живут. Сегодня я помогу, завтра и мне не откажут. И сноп без перевясла (без перевязи) солома, а с миром, с товарищами и помощниками, и беда не убыток. Одному страшно, а всем уже не страшно. Если же все за одного, то и один за всех,— это то, что попросту и по-крестьянски называется круговой порукой, а в хлебном поле является бесплатною, готовною помощью, «помочью».

Собирают по́мочь обыкновенно в праздничный день, когда у всех больше досуга. В Белоруссии, например, в пятницу работать на себя нельзя, к пятнице надо кончать все, что ни делал, и грешно и опасно начинать,— например, запрядать новую вязку ниток, начинать шить рубаху. А придется работать на других, соберут они толоку (ту же помочь, только под иным именем) — идти можно, потому что пригласивший берет уже весь грех на себя (оттого там и помочи чаще по пятницам).

Приглашают на помочь такие хозяева, у которых достанет настолько времени, что можно изготовить обед и ужин, есть деньги купить вина, есть солод сварить пиво. Угощение пойдет как плата, вместо денег. Здесь о последних всякий и вспоминать стыдится.

Денег не берут, как же после этого не покормить тех, которые за меня силы свои истощали, для меня на рабо-

те есть захотели и трудились для того лишь, чтобы и я был сыт? В таких случаях стараются не только накормить, но и накормить послаще, повкуснее, побольше. У хозяек это первым в памяти, потому что всякая знает присловку жнецов: «Ела коса кашу — пониже бери, не ела каши — ходи выше»,— меньше соломы хозяину в хлебном поле, меньше сена в травяных лугах за скупость, которая все-таки в этом случае бессовестная неблагодарность. В подгородных, особенно в подмосковных, местностях, где наниматели не лучше рабочих (и все протертые и попорченные люди), не задумываются рабочие за худое угощение на помочах выговорить в глаза нанимателям такую сердито сложенную поговорку: «Квас твой квас, перешиб он нас: доберется и до того, кто и затирал-то его» (то есть готовил). После хорошего угощения забирают колосья чуть ли не под самые корешки, и после хорошего обеда, к солнечному закату, в один день все поле очищено так, как будто ходили по нему не серп и не коса, а ножницы либо бритва.

Идут на помочь со своими серпами и граблями, идут как и в самом деле на праздник или в почетные гости: вырядились в лучшие платья, в красные ситцы, в платки с городочками. Если взглянуть на поле, и гудит оно от людского говора и цветет фабричными цветами из москательных лавок,— значит, помочь сбита и работа кипит. Перед началом ее в иных местах хозяйка одна или с другой женщиной выходит в поле, взявши с собою хлеб, соль и водку. Нажавши первый сноп, садятся на него и поют песню, смысл которой заключается в следующем: «Благодарю бога, дождалась я нового хлеба, снопок жита нажала! Буду жать — не лежать, чтоб копну жита нажать; нажавши, смолотить, каши наварить и гостей накормить». Затем пьют водку и закусывают. Это — зажинки. После них смело приступают к работе, и опять работа кипит.

Подхватила одна охапку колосьев, сколько ухватила левая рука и могла спрятать под мышку, правой рукой отрезала на себя зубастым серпом этот ворошок. Бережно положила его подле себя к ногам, и опять одной рукой захватила и подобрала другой ворох колосьев, и опять их перерезала серпом. Приметнула глазами: показалось на глаз таких пучков четвертей на восемь в охапку — стал, значит, полный сноп. Надо его связать, потрудиться над ним, поворочаться. Надо его подпоясать скрутом, или перевяслом, то есть пучками того же хле-

ба, свитого жгутом, поставить его вверх колосьями на обрезанные концы соломы да и опять собирать новый сноп. Сутул-горбат (кривой зубреный нож) скачет по полю, валит хлебушко. И в спину наклонившимся жнецам постукивает, и голову поламывать начинает — ничего этого замечать не хочется: не торчали бы только на глазах стоячие стебли. Жнут обыкновенно по ветру, начиная подбирать на себя наклоненные ветром колосья; против ветра жать — значит перепутать всю рожь так, что потом не доберешься толку и со всеми переругаешься. Пошел опять серп подбирать, подчищать поле: этот маленький, горбатенький все поле обрыщет, домой прибежит, целый год пролежит, отдохнет. А теперь пока никому не до отдыха. И серпы на этот конец покупают хорошие, чтобы не ломались, не тупились, и очень часто привозные из чужих земель, между которыми прославилась в изделии серпов Австрия. Ходили туда наши мужички-офени и покупали их из первых рук.

Вот и последний сноп, пожинальный и заветный, прозванный перед сотнями товарищей своих в поле почетным именем: на севере России обжинком, на юге — дожинком. Его отставляют в сторонку и не трогают до урочного часа. Когда поле примет жалкий вид,— вместо колосистого моря станет поле, уставленное снопами в линию, строем, как на городской площади солдаты, тогда снопы вяжут в суслоны, или в большие копны: в одних местах по пяти, в других по шести и по девяти снопов в кучу, стоймя, нахлобучив сверху их последний головой вниз, гузном вверх. Сталась над снопами крыша и со скатами для воды. Пусть беспокойно шевелятся все животные: кроты старательно роют норы, мыши громко свистят, лесные птицы спешат в гнезда, водяные купаются и ныряют, мухи льнут и больно кусают; пусть все это наверное предвещает дожди и сильные, если собаки едят траву и кошки долго умываются: хлебный суслон дождя и сырости не боится, пока прикрыт соломенной покрышкой.

Однако работа кончена: это и видно, а в особенности очень слышно. Повесивши серпы на плечи, идут жницы ужинать с поля в деревню, каши есть со всяким придатком и вкусной приправой, с покупным вином и домашней брагой. Впереди самая красивая девушка; вся голова ее в голубых васильках, васильками украшен и последний сноп с поля — дожинок. Девушку эту так и зовут «Толокой». Идут жнецы и поют самые веселые песни: пожилые бабы басами, молодые девушки самыми

визгливыми голосами, бойкие и веселые прискакивают и приплясывают. Мало таких веселых песен, какие поются на этот раз.

Когда оставалось в поле небольшое количество ржи, рабочие рвали руками сорную траву из этой ржи, рвали «бороду». Самую рожь, то есть колосья, имела право рвать только избранная девушка. Вырывая, она делила колосья на две части и клала их крестом на землю, а посередине, по бокам и на концах клала хлеб. Остальные жнецы вязали огромный сноп, называемый «бабой», и сажали на него избранную девушку. На глазах у ней плели из колосьев и из васильков венки и, когда они были готовы, снимали «Толоку» с «бабы», наряжали венками и шли позади ее. «Толока» несла в руках связанный ею крест из колосьев.

На чарке водки пока и все желания жнецов, когда подвигаются они к дому того хозяина, который сбирал толоку и запросил их всех к себе на помощь. Середь дня было уже им угощение — «палудзень» и с водкой. Теперь захотели того же во второй раз по укоренившемуся и не отмененному еще обычаю.

Идут деревней, веселее и голосистее поют, выше скачут, хитрее приплясывают. С большим торжеством вносят в избу хозяина поля сноп-дожинок и крест из колосьев, положив его на хлеб. С хлебом и солью встречает и хозяин гостей своих. Девушка «Толока» садится на почетное место, в передний угол. Туда же ставится и последний сноп с поля. «Толоке» хозяин делает какой-нибудь подарок (помещики целовали ее и дарили красные башмаки). С «Толоки» и угощение начинают: она как бы и в самом деле языческая славянская живая богиня, наместо той, которой теперь не веруют, но в древности называли также «Толокой» и почитали покровительницей жатвы.

Так в угрюмой Белоруссии и в поэтической Малороссии. В нашей суровой Великороссии обычай этот забыли и, помня и уважая последний сноп под именем обжинка, в одних местах оставляют его в поле, называя именинником. Веруют, что, оставаясь там на всю зиму, сноп этот спасает землю от бесплодия. В других местах Великороссии вместо снопа забывают в поле несжатым клок хлеба, называемый «бородой», в третьих обжинок приносят домой, чтобы на покров закормить им скотину, заколдовать от болезней на всю зиму. Со дня покрова домашний скот: коров, овец и лошадей — уже не пускают в поля, а держат дома, в хлевах на дво-

ре под навесами, в возможном тепле. В иных местах великороссийских губерний последний сноп с поля одевают бабой, в поневу и кичку, перевязывают поясом, надевают платки. Одна баба возьмет его на руки, идет впереди и пляшет: выходит смешно, а не так красиво, как в степных малороссийских губерниях.

Жниво кончено, хлеб убран; на поле ногайском, на рубеже татарском стояли столбы точеные, головки золоченые,— теперь лежат люди побиты, у них головы обриты.

Сжатые колосья связываются в снопы, снопы складываются в суслоны. Суслоны спешат свезти с поля и поставить около овинов на гуменниках, где молотят хлеб, чтобы были снопы на глазах и под руками. Здесь снопы укладываются в *кладь,* которая бывает двух сортов: либо круглая, называемая одоньем, либо длинная, называемая собственно кладью. Кладь называют чаще скирдой, да и вообще, смотря по разным местностям, снопы складываются различно. Где кладут их лежмя, там такая кладка называется *свинкой;* поставленные стоймя делают кладь крестцом, или стоймя нижние, а верхние — лежмя: это бабка. Количество снопов также по местностям различно: по Волге в суслон кладут по 20 ржаных снопов, по 15 яровых вместе, и на один овин полагается там по 30 суслонов ржаного хлеба, по 40 суслонов ярового. Псковская кладь (по-тамошнему — «кладок») — 12 снопов ярового; господский крестец — 13 снопов, крестьянский — 17 и 20, и вообще по четыре крестца на копну. Копны делают после кладки в крестцы, когда хлеб прочахнет и его не так много, чтобы складывать прямо в клади. У копен опять счет разный: в одних местах считают в них от 52 до 60 снопов, в других — по 80 снопов озимого хлеба, по 100 ярового, а в лесных губерниях копной хлеба называют скирду в 4500 снопов. Впрочем, за способами учета и кладки хлебов можно прогоняться до утомления; пословица говорит святую истину: что город — то норов, что деревня — то обычай, что подворье — то поверье.

Стало хлебное поле голое, некрасивое на вид; стоят по нем кучки, одна на другую похожие как две капли воды — нет никакого разнообразия, что всегда так приятно глазу. У такого поля переменилось теперь и самое имя: стали его звать пожниво, пожнище, а по тому, какой сорт хлеба рос на нем,— ржище, овсище, гречище (пожней зовут окошенный луг, травное место). По сжатому полю вырастет трава и между нею любимые дере-

венскими ребятами песты — дикая спаржа. На них потом набредут свиньи и начнут поедать всласть.

У жнецов от работы спины болят, один другому жалуется то на боль в пояснице, то на лом в плечах. Кто на печь прилег отлежаться, а пожалуй, и в баню сходил веником потрепать больные места, чтобы отошло, то есть прекратились приливы крови. Отдыхать после жатвы поспешают: на носу опять работа, еще тяжелее жатвы.

На выручку, в защиту и для облегчения человеческой силы придуманы жатвенные машины. За жатвенной машиной в улучшенных ученых хозяйствах пускают вместо ручных для уборки хлебов деревянные и железные конные грабли.

Надо теперь отделять зерно от колосьев, то есть молотить хлеб. Подходит время молотьбы. Греча и просо, например, обыкновенно не любят ждать — сейчас начнут осыпаться и отдохнуть хозяевам не дают, в особенности греча: «Государыня гречиха стоит боярыней, а хватит морозом — веди на калечий двор». Иногда тут же на пашне расчищают место, то есть проходят косулей или сохой; дерн свозят в другое место. Оставшиеся коренья вырезают старой ломаной косой, которую не жаль тупить. Поднятое место ногами не протопчешь, не напляшешь до того, чтобы стало очень гладко, как требуется. Убивают огромной тяжелой колотушкой, а кое-где проезжают на лошади с большим тяжелым каменным цилиндром, окованным железным листом. Обровняют края топором, и готово: станет ток, как говорят на юге России, или «ладонь», как называют на севере. Иногда для молотьбы расчищают место на реках по льду, как природном гладком месте, которое требует очень легкой работы — расчистки снега. Впрочем, на пашнях расчищают ток очень редко. Обыкновенно эти *ладони* заготовлены раньше на гуменниках, подле самых деревень, где стоят овины. Перед молотьбой их только подправляют и сюда свозят снопы с поля на телегах, у которых имеется особое название — андрецов. Чтобы больше стащить снопов, спереди и сзади укрепляют решетчатые, в виде лестниц, стойки, к которым снопы и подвязываются. Бока андрецов также выше, чем у телег.

Такие телеги в ходу там, где много родится хлеба; в северных губерниях, где урожаями не могут хвастаться, там для свозки снопов с поля употребляются телеги-одноколки (то есть на двух колесах), и с той особенностью, что для удобства при свалке они делаются по-

катыми взад, где тащатся по земле жерди (волоки). В разных местах называются они разно: андрецами, одрецами (от слова «одр»), одером и одрянкой. Подобно тому приспособляются особые телеги, также одноколки, для свозки навозу с деревенских дворов на поля. Чтобы легче сбрасывать его на пашне железными вилами, сзади телеги устраиваются дверцы.

Чтобы заставить себя торопиться работать, крестьяне кладут срок на конец августа, и 28-го числа этого месяца называют *скирдницей:* хлеб к этому дню должен быть сложен в скирды — долгие и большие клади с подстилкой (от сырости) оплетенного на кольях хвороста, чтобы не подпревало и не солодело зерно на осенних дождях и в мокроте. Длинными скирдами складывают снопы, впрочем, только в хлебородных местах.

Вот и «ладонь», действительно гладкая, как ладонь на руке, совсем готова, хоть бы и молотить начать. Южное солнышко это позволяет; на северном солнце хлеб скорее зреет, потому что солнце дольше светит, но не совсем дозревает, потому что солнце несильно печет. Надобна ему помощь. Помогает огонь, огневой жар. Следует снопы досушивать, чтобы зерно легче отскакивало от колоса, иначе его не выбьешь. Для такой сушки отделяются на краях деревень особые места, называемые *гумнами,* а на них строятся особые здания — *овины.* Овины известны в разных местах под разными именами: зовут их осеть, евня, клуня, шиш. От овина досушенный хлеб будет называться потом в торговле овинным, тогда как дозрелый на солнце и черноземных землях Малороссии и за Окой, в Великой России, слывет, как уже сказано нами, под именем сыромолотного.

Вот и сам овин глядит на «ладонь» одним своим глазом — верхним окном, или четырехугольной дырой, называемой садилом. Под окном укреплены жерди в виде балкона. Овин двухэтажный. Верхний от нижнего отделяется деревянным полом, но таким, который весь решетчатый, очень неплотный, с промежутками: наложены тонкие и кривые бревна, называемые колосниками или колосницами. В нижнем этаже яма в земле; в яму складываются дрова и разводится огонь. Жар от него должен проходить в верхний этаж сквозь решетчатый пол, по которому наверху раскиданы развязанные снопы. Один берет из суслона снопы руками, передает другому. Этот в окно-садило принимает снопы и сажает их на пол, или, проще сказать, на колосницы. Принявши несколько снопов, развязывают и раскидывают их. Рабо-

та распределена самое малое на три руки, как говорят в деревнях:

— Ты, Исай, наверх ступай; ты, Денис, иди наниз, а ты, Гаврила, подержись за молотило!

Жар подсушивает снопы, да, на беду, нередко и поджигает. Овин сгорает как свечка, как порох: надо хлопотать об одном лишь, чтобы не загорелись соседи, не занялась вся деревня. И это бывает нередко.

Оглянитесь в деревнях осенью: то и дело горят будто свечки; это сгорают овины, и очень нередко потом ходят по соседним деревням оборванные толпы с немытыми лицами, закопченные погорельцы, просят Христа ради на погорелое место, а место это — целая деревня. Чтобы не летели искры, в верхнем ярусе овина прилаживают около стены доски или лавочки, называемые запажинами. В других местах эти овины, которые помнят царя Гороха и войну грибов с опенками, бросили; вместо них молотят и сушат хлеб в ригах — молотильных сараях с овином, крытых токах с сушилом. Рига больше овина: в нее накладывают 5 тысяч снопов, в овине помещается самое большее 500. Первый овин обыкновенно называют именинником; именины эти в лесных северных губерниях полагаются 24 сентября, на Феклу-заревницу.

В овине или риге на жару хлеб окончательно дозреет: колос подсохнет, потеряет клейкость и может зерно выпустить, если опять не осыреет и не намокнет. Около овинов молотят хлеб на открытом воздухе. Для этого выждут ясный день, станут вынимать снопы из овина, станут расстилать по длине «ладони» двумя рядами: колосьями или бородой снопа внутрь, комлями или гузлом к покатости ладони, к краям, или *берегам,* ее. Затем, благословясь, за молотьбу, для чего уже и инструмент нехитрый давно готов: вырезана в лесу палка такой длины, чтобы от земли подпирала бороду, приходилась до подбородка. Это рукоятка, ручка. К ней привешена другая палка в аршин длиной и укреплена на кожаном ремешке гвоздочками. Это собственно колотило, или тяпало. Весь дешевый инструмент на севере называется молотилом, на юге, за Москвой,— цепом.

Орудие готово. Теперь ему нужен помощник — сноровка и уменье, да и большая сила и крепкое здоровье: весьма немногие выдерживают эту работу без расстройства его. Работник каждую минуту должен поднять цеп вверх и опустить его вниз 37 раз. Если работать 10 часов, надо нахлопать 22 тысячи ударов очень тяжелым

орудием. Только этого и добился вековой опыт, пока не вступилась наука и ученые люди не выдумали машин для того, чтобы сберегать человеческую силу и время, которое может с пользою пригодиться на другое. Придумали молотильные катки и навалили их на спину животных — пусть эти таскают за человека. Выдумали молотилки — целые машины многоразличных систем устройства, и дешевые, и дорогие, с участием людских рук и с помощью водяных паров. Устроили для них мастерские, но продают только богатым людям, господам хозяевам: крестьянам не купить, а потому эти и остаются при своем горбе и на старом труде. Пожалеть их можно, но не винить же их за бедность и необразование! Да и что ж им делать? Не шуба мужика греет и кормит, отвечают они, а этот самый цеп.

Стало быть, бери молотило и приноравливайся к товарищам: обивай в такт, сперва около колосьев слегка, а потом около перевясла, то есть у тальи снопа и у гузла, для того чтобы и коротенькая солома не ушла от ударов. Пробил один ряд с одного конца до другого — переворoти на другую сторону и опять обивай, а если хлеб сыр, то молоти до восьми раз. При первом отбое получаются зерна самые лучшие. Снопы развязывают и отворачивают. Это первый посад. Солому сгребают граблями с длинными зубьями, вытряхивают зерна и сносят охапками или связывают снопиками.

Измолоченное зерно сгребли граблями на горбок тока во всю его длину гребешком, если мало зерна, и сложили его ворохом или кучей к сторонке, если много. Затем второй посад: опять пошло хлопотать молотило: «Потату-потаты, такату-такаты, а яички ворохом несутся», как верно сказано в народной загадке про молотьбу хлеба. Или так: «Летят гуськи, дубовы носки,— говорят гуськи: чекоты, чекоты, чекотушечки» [1].

Да и опять скажем словами загадки, да только другой: «Бились кругом, перебились кругом, в клеть пошли — перевешались». Кончена молотьба — цепы-молотила на стену повесили до будущего года; у молотильщиков головы болят только до завтрашнего дня — настукали. Оттого-то на такую работу всего меньше охотников.

---

[1] В некоторых местах России при подъеме и опускании цепа при молотьбе хлеба существуют разные приемы: в Великой России бьют всегда от руки, в Малороссии молотят через руку. Захожие с севера люди, «москали» (солдаты и купеческие приказчики), подсмеиваются над «хохлами», говоря: «Хохлацкий цеп на все стороны бьет».

Неленивым и охотливым работникам за труды праведные — от хозяина угощение. За то, что ему хлеба достался ворошок, молотильщикам поставит он каши горшок. За молотьбой уже дела немудреные: сами хозяева своей семьей справятся.

Главное дело теперь — *умолот* смекнуть и по нем проверить, во что обошлись труды праведные, все прежние надежды, бесконечные годовые хлопоты: умолот поверяет работы и определяет им цену. Короче, по выходу зерна, по количеству его вымолота сравнительно с числом снопов судят об урожае хлеба. Расчет такой строится разными способами в разных местах России, но везде с десятины земли, хотя, впрочем, и десятина пахотной земли бывает разная: в *казенной* 2400 квадратных сажен (80 сажен длины и 30 сажен ширины); в *косой,* или домашней, 3200 (то есть 80 и 40), в круглой и тоже хозяйственной 3600 (то есть по 60 вдоль и поперек).

В северной лесной России умолот рассчитывают с *овина,* в черноземной урожайной полосе с *воза* и с *сотни снопов.* Крестьянский овин строится на 300—1000 снопов, но как за меру к учету умолотов овин принимают крестьяне от 300 до 500 снопов от $1/2$ до $2 1/2$ четвертей, а господа — до 800 и 1000 снопов. Умолот, то есть прирост хлеба, мужик считает мешками или осминами (по его, 4 четверти, или осмина, и один мешок одно и то же) и в урожайные годы получает два мешка, а в неурожайные полтора. Сеет мужик на десятину от 10 до 12 четвериков, то есть больше целой четверти, в которой, как известно, 8 четвериков; барин высевает на десятину только одну четверть, то есть меньше крестьянского. Мужик намолачивает от 6 до 8 мешков с десятины и говорит: урожай плох, потому что сам-третей вышло, то есть одну посеянную четверть назад взял да две приобрел лишку. Урожай хорош, когда сам-четверт уродился: один сам-семена и три приполону (прибыли). Впрочем, у мужика обыкновенный средний урожай сам-4, у барина, по хорошо удобренной земле,— сам-5, а хороший урожай доходит до сам-6 и больше. Барин, впрочем, старательнее и вернее усчитывает себя; крестьянин этого даже не любит, считая за грех и неохотно отвечая почти всегда одними и теми же словами: «Сколько бог даст, все в сусеке (огороженном ларе амбара) будет». Однако в некоторых местах суеверные люди при начале умолота для счастья затыкают по углам гумна несколько кольев.

В хлебородной полосе, в черноземных губерниях, где хлеб считают широкою мерою: возами да сотнями (а не десятками) снопов,— получают по 1 четверти и больше с сотни или, что то же, с возу. Стало быть, в тех благодатных, счастливых местах урожай выходит сам-10 и больше, а бывают годы — и сам-15, то есть 10—15 четвертей с одной десятины.

Впрочем, по пословице: «Деньги водом, добрые люди родом, а *урожай хлеба годом»*. И хвалятся урожаем, когда рожь уже в сусеки ссыпана: если хорош задался — продают хлеб на базарах раньше; плох урожай — продают позже. Однако, как бы то ни было, хлеб после умолота и наглазного расчета ждет новых забот и требует дальнейшего ухода.

В народе поется такая песенка (плясовая, веселая, хороводная):

Понедельник — легкий день —
Весь день пролежала,
А во вторник снопов сорок
Пшеницы нажала.
Уж я в среду возила,
В четверг молотила,
А в пятницу веяла,
А в субботу мерила,
В воскресенье продала.
В расчет денежки взяла.

Не поторопилась ли девушка похвастаться? На словах легко сказать и в песне пропеть,— не так легко и скоро на самом деле, особенно когда убирает поле одна семья без помочи и своими одинокими руками.

Станем же следить и вглядываться, что будут делать дальше.

Теперь нужно отделить зерно от остей, соломы, мякины, колоса, сорных трав и пыли, словом, надо *веять*. Делают это ветром: из большого вороха берут зерна на совок или лопату и взбрасывают вверх против ветра дугой. Мякину, то есть измельченный и разрушенный цепами хлебный колос, как вещество более легкое, подхватывает ветер и уносит прочь от вороха. Легкое зерно ложится ближе к вороху: это охвостье. Еще ближе к куче упадет зерно средней доброты и подле самой кучи — самое тяжелое, а стало быть и лучшее, так называемое голова или чело. Охвостье надо еще подсевать на ручном грохоте с двумя ручками: зерно перемешано с семенами сорных трав и годится на корм животным. Чело идет на семена, серединка — и на свое пропитание, и на продажу. Мякина вместе с соломой склады-

вается в особое здание, которое также выстраивается на гумне: это половня — небольшой амбар, куда любят забираться сычи и совы, ночные птицы, и водятся особой породы мыши, называемые житничками.

Впрочем, я поспешил. Зерно лопатой провеяно, да грохотом не подсеяно, чтобы вконец очистить его, и на этот раз от одной только перебитой соломы. Осталась пыль: худой хозяин пылью не брезгает, хорошая хозяйка подсеянное зерно насыпает на ночвы — плетенную в виде корыта из прутьев мелкую корзинку с наклоном. Сядет она на ветру, поставит на колени и начнет потряхивать, заставляя зерна прыгать вверх; ветер выдувает пыль. Легкие пылинки улетают, тяжелые ложатся сверху; их легко сбросить руками. Работа эта очень утомительна.

Точно так же готовность ученых и просвещенных людей не задумалась прислужиться и на этот раз. Выдуманы сеялки, выдуманы и веялки, круподерки и крупорушки, жатвенные машины, молотильные машины, сортировки для разбора хлеба по сортам, чистилки: решительно все, что надо в сельском хозяйстве, и везде там, где тратится крестьянская сила и действительно в поте лица снискивается хлеб. Простые и дешевые разумными крестьянами приняты, поняты и пущены в ход и дело. Дорогие опять-таки только для богатых: мозолистые крестьянские руки с ними плохо управляются, да и машины ломаются, а починить их некому. Невежество над вымыслами высоких умов смеется, а тем не менее дело вперед не двигается. И об этих машинах мы говорить не будем, так как у крестьян их не видим.

Сколько, однако, ни утомительна ручная работа, продуванье зерна на ветру от пыли — последнее дело в длинной лестнице уходов за хлебным колосом и зерном. Продуты зерна,— теперь их можно положить на ручной жернов, между плоскими, кремнистой породы камнями, и смолоть в муку. Из муки этой можно испечь хлебец и съесть новую новинку: первый хлеб из нележалого зерна не очень вкусный, но зато очень приятный, потому что дело рук своих, добытый тяжелым трудом, после мучительных ожиданий и бесчисленных страхов. Молотьбой и веянием отделены зерна от неперевариммых и непитательных веществ: соломы и шелухи. Зерна высушены для того, чтобы не портились и давали съедомый хлеб. Они смолоты, превращены в муку, чтобы можно было приготовить тесто, и при этом чем больше измельчены, тем лучше: хлебные зерна сами по себе неперева-

римы, потому что обложены оболочкой, непроницаемой для желудочных соков.

Если разрезать хлебное зерно пополам, мы увидим две половинки: большую, которая составляет все зерно и называется *белок* и на одном конце маленькую — это зародыш. Белок и зародыш одеты пятью тоненькими кожицами: под самой внутренней в микроскоп мы увидим ряд маленьких четырехугольных клеточек, в которых и заключена самая суть зерна — питательное вещество хлеба, по милости которого и тесто делается тягучим и клейким, а потому и вещество это называется клейковиной. Другие клеточки заполняют собою всю внутренность зерна — в них зернышки крахмала, и кроме них (всего понемногу), жир и каменистые части. Во ржи и пшенице частей, нужных для питания человеческого тела, всего больше. По питательности своей различные хлеба стоят в таком порядке: пшеница, рожь, овес, ячмень, рис и кукуруза.

Зерна просеяны от непитательных отрубей. Мука смешана с водой, чтобы еще больше облегчить переваривание. Чтобы тесто сделать легкопроницаемым для слюны, желудочных соков, ему придают ноздреватый вид. Этого достигают спиртовым брожением с помощью дрожжей или закваски, то есть старого бродившего хлеба.

Тороватая, нескупая хозяйка ждет для хлебной нови не ржаную муку, а пшеничную. Опытная хозяйка разведет муку на воде, сделает тягучее тесто, оставит его на час в покое, опустит сито в воду, положит на это сито тесто, слегка подавит рукой и добьется того, что вода с сита будет стекать не молочного цвета, а совершенно чистою. Она и сама не знает, что этим выделяет из муки кусочки крахмала, но, живя опытом и наукой дедов, испечет гостям хлеб превосходный. К тесту она прибавит закваски: для дорогих гостей пивные дрожжи, чтобы вышел хлеб самый лучший и самый легкий. Пивные дрожжи — это испод, отсадок пива, когда оно бродило, то есть делалось пивом, и крепким. Сберегала хозяйка эти дрожжи в глубокой посудине (не сливала в бочонок, из которого им легко убежать), освежала там холодной колодезной водой, а теперь примешала к тесту и поставила в теплое место в квашне. Обдала затем кипятком: опарила тесто, оттого и стало оно называться опарой, стала в ней закваска надуваться ноздрями, наполняться воздухом винного спирта. В опаре началось брожение, опара всходит. Может опара и уйти, то есть вылиться из квашни. Но опытная хозяйка вынула ее и

начала месить руками очень старательно, около получаса времени, не очень круто, потому что думает печь хлеба не в чашке, а прямо в печи, которую уже затопила и успела нагреть (из холодной печи хлеб выходит тяжелый и не очень хороший). После месива тесто опять на печи, на теплом месте, прикрытое шерстяной тряпкой. В опаре началось второе брожение — спиртовое. Крахмал и клетчатка зерна обратились в сахар; с сахаром и от него в растительных веществах начинается брожение, то есть сильное и как бы внезапное движение веществ, которые принялись разлагаться. Суета и кутерьма эта кончается тем, что сахар превращается в спирт, тот самый, из которого приготовляют на винокуренных заводах водку (но об этом дальше). Вот почему хлеб (особенно ржаной и горячий) всегда отдает в нос крепким запахом спирта и тем же запахом пропитываются булочные, когда выносят горячие булки и начинают продажу. За спиртным брожением в хлебной опаре по химическому закону начнется брожение кислое, уксусное: в опаре вместо спирта зарождается уксус. Хозяйка этого объяснить не сумеет, но по опыту не даст опаре перекиснуть.

Попробуем объяснить за нее. Рассмотрим опару в сильно увеличивающие стекла, то есть в микроскоп.

Куда ни взглянем, увидим великое множество грибков в виде маленьких пузырьков с жидкостью внутри. Попали они сюда из воздуха, в котором их хотя и не видно, но тем не менее водится неисчислимое количество. Попадая в тесто опары, грибки продолжают в нем жить и размножаться, выбирая для себя материал, нужный для питания. Напитавшись, иные умирают; питаясь, они переделывают весь состав опары в спирт и особый газ, называемый углеродом (в котором задыхаются люди и не горит свеча). Этот газ силится подняться наверх и выйти вон. Пробираясь сквозь тесто, углерод пробуравливает себе ходы в нем, делает тесто ноздреватым, разрыхляет его,— тесто, говорят, подымается. Газ, выходя на поверхность пузырьками, разрывает их и улетает вон, в воздух. Питаясь спиртом, грибки имеют свойство переделывать его в уксус: тесто, говорят, закисает. Грибки между тем продолжают один за другим умирать, а налетающие вновь из воздуха требуют себе пищи, пища же убавляется все более и более, понемногу разрушается, как говорят, перекисает, превращается в плесень, гниет. Вот почему опытные хозяйки спешат поскорее сажать опару в печь. Там в тепле и в нагретой опа-

ре грибки начинают жить еще привольнее: тесто, как выражаются хозяйки, опять недолго и немного подымается, но когда усиливается жар, грибки его не выдерживают и умирают.

Таким образом, замешивая тесто накануне, хозяйка дает время грибкам за целую ночь забраться в тесто и привести его в брожение, оживить, сделать годным для хлеба. Примешивая же закваску к тесту в тот же день, когда хочет печь хлебы, хозяйка вводит в опару закваску уже с готовыми, забравшимися туда грибками, которые не замедлят народить новых для ускорения того, чтобы поднялась и закисла опара. Старательно и долго скатывая тесто с закваской или дрожжами, хозяйка не знает, что таким делом она по всему тесту в каждую самую маленькую частицу его втирает по грибку, но верит опыту и глазу, потому что ускоряет себе дело. Стараясь держать закваску в холодном месте и по временам подмешивая к ней свежей муки, хозяйка не сознает, но верно действует по той причине (понятной теперь нам), что грибки в тепле размножаются, а в холоду на время замирают и, стало быть, не гноят закваски, не покрывают ее плесенью. Для того и завела она тесто рано утром: на второе брожение не дала ему подняться до половины, пережадала только час времени. А тем временем у ней протопилась печь. Стряпуха сгребла уголья к стороне, чисто подмела печь еловым веничком, выкинула тесто из квашни, начала торопливо валять хлебы и тотчас же посадила их в печь. Печной жар теперь по-своему не скапризничает, а приготовит такой хлеб, какой нашей хозяйке желателен.

Чтобы печь не испортила ей дела, то есть печной жар не сжег, не спалил хлеба, хозяйка попробует: бросит горсть муки по поду печи. Если мука почернеет, значит, жар велик, надо повременить; если же мука станет бурою, стало быть, время сажать хлеб на лопату и запирать в печи. Здесь жар обхватывает весь хлеб: по поверхности его он высушивает крахмал, поджаривает его, делает бурым — образуется таким образом корка, при 170°, тогда как внутри самого хлеба только 80°. Нагретый в хлебе воздух, то есть расширенный, увеличенный в объеме, силится выйти вон, а потому с боков разворачивает тесто, и каравай хлеба вынимается из печи с боков измятым и глянцевитым только по поверхности корки. Кто хочет сохранить в каравае красивую круглую форму, тот накалывает ножом поверхность и этими отверстиями указывает воздуху пути к выходу. У опытной

хозяйки крахмал внутри хлеба сваривается в клейстер, так что становится удобоваримым; у таких же не бывает в хлебе и закала, то есть непропеченного, сырого места близ нижней корки, где тесто является вязким, окрепшим. У опытных хозяек не отстает и верхняя корка от мякиша, что происходит тогда, когда при остывании мякиш сжимается сильнее, а корка за ним не поспевает охлаждаться. Чтобы уравнять охлаждение, то есть замедлить его, вынутые из печи кладут близко один к другому и прикрывают; печное тепло уходит полегоньку, и мякиш не отстает от корки. Хорошо пропеченный хлеб легче переваривается желудком; недопеченный хлеб не пережуют зубы, не размочит слюна; кусочки хлеба сырыми проходят в желудок и затрудняют ему работу, мало-помалу расстраивают его. Горячий хлеб тоже комьями ложится в желудок, и черствый хлеб всегда полезнее свежего. Всякий хлеб вынимается из печи с припеком: из фунта муки с прибавкой воды, дрожжей, соли и прочего выходит хлеб в полтора фунта. Припек зависит также от того, как велик жар в печи и сколь долго сидит в нем хлеб. Вынет хозяйка его на лопате, когда знает, постукает, приложит ухо и по слуху знает — долго ли ему сидеть в печи. Засидеться хозяйка не даст, вынет, смочит водицею верхушку, подстелит капустного листа, посадит, даст отдохнуть. А когда соберутся гости и взрежет она хлеб ножом, поперек толстым сукроем, да и смотреть не станет, так точно: набух так, как следует. Отдельные частички, из которых состоит хлеб, так расширились, что масса печеного хлеба совершенно легко может быть переработана органами пищеварения. А так как на хозяйкину новь собрались все такие гости, что привыкли есть хлеб от колыбели и могут съесть великое множество, то их хозяйкина стряпня не удивляет. Молотильщикам не этого надо. Новое блюдо только придирка и на первом месте: без трех горячих не отделаешься, без жареной баранины не сядут, без двух каш, да без двух молоков (свежего и кислого), да без пшеничного пирога (пожалуй, хоть из той же нови) и разговаривать не станут. Да винца сначала, да квас во весь обед, чтобы облиться им можно было с головы до пят, да в конце обеда пивца, заправленного хмелем,— тогда и обеденный разговор пойдет весело и опять попоют песен. С песнями и по домам разойдутся.

У наших хозяев все это припасено: милости просим! Распояшьтесь, дорогие гости, кушачки по полочкам! Ку-

шайте на здоровье — не всякого по имени, а всякому челом!

За стол гости прямо не сядут, а сначала непременно вымоют руки, кстати, смоют грязь, налипшую на работе, да и исполнят прадедовский обычай: русский человек еще ни разу не садился за стол и за еду с грязными руками (разве в виде особого исключения). Редко и выходят из-за стола, опять-таки не сплеснувши руки водой из глиняного с рыльцем рукомойника (так он и приделывается всегда у входа за хозяйкину перегородку; тут висит и рукотерка-полотенце). Хозяйкино дело смотреть, чтобы вода была в рукомойнике, и дело всех православных крестьян сидеть за столом чинно, унимать от смеху смешливых, пустяшных разговоров не водить и смотреть на хлебный стол, как на божий престол.

Проба нови, нового хлеба — праздник. И винца крестьяне купят, чтобы поздравить друг друга заздравной чаркой. Сядут они чинно за стол, чинно нарежут ломоточки нового хлеба, осенятся крестным знамением, и как первый кусок в рот, так и за ухо. Теребят все друг друга за правое ухо, с ласковым приговором: «Первая-де новинка! Больней теребить — слаще скажется». За этой новью, по древнему обычаю, едут вскоре попы собирать новину с крестьян на себя.

Сами крестьяне делают складчины, братчины, варят пиво: пошли бабьи праздники. Для этой хлебной нови спешат после семенова дня (1 сентября), когда думают, что семена выплывают из колосьев,— спешат работать. Ленивых велит пословица гонять тогда в поле вальком, а не то и плетью. Работают с огнем, выходят на полосу в поле, что называется, *с головней*, то есть зажигают костры. На воздвиженье (14 сентября) последняя копна с поля. 24 сентября, день первомученицы Феклы, называется *заревницей*; зарево от овинных огней всюду видно; издали, как волчьи глаза, светят овины в темных осенних ночах. Начинаются замолотки: спешат с огнем молотить по утрам, чтобы на покров успеть закормить скотину пожинальным снопом, дожинком, то есть последним снопом с поля. С покрова начинают держать скот дома. В глухих местах думают темные люди, что леший вместо ветра выходит из лесу в поле раскидывать снопы и шалит с ними в овинах, а потому надевают тулуп наизнанку, берут кочергу и садятся стеречь и пугать чертову нечистую и злую силу: и в поле, и на овинах.

Добытое зерно складывают в клетях и в амбарах в сусеки. Где хлеба много, а леса истреблены, там ссыпают хлеб в земляные *ямы*. Сухое зерно в этих ямах сохраняется превосходно, в особенности от огня и пропажи. Однако голодные шведы, шедшие с Карлом XII под Полтаву, проходя Белоруссией, придумали такую штуку. Сообразивши, что в зерне довольно теплоты, которая на поверхности земли сказывается тем, что сушит выпадающую росу, перед восходом солнца искали места, где не было росы, и угадывали, выгребали хлеб. Хлебная яма выкапывается в глиняном грунте в виде кувшина, выжигается соломой и обивается берестой. Наружное отверстие закрывают доской и засыпают землей: иногда делается небольшая крыша или колпак. Зажиточные люди выкапывают ямы на гумнах под крышей и, насыпая хлебом, заваливают соломой и сноповым хлебом. Для воздуха совершенно нет доступа; сухое железо не ржавеет, сухая мука не портится, в сухом месте мешок не гниет, а потому и в тех местах уже внуки наталкиваются на дедовские хлебные запасы, превосходно сохранившиеся в течение нескольких десятков лет.

Хлебная новина, мучная новь привела нас к одному концу, однако не вывела. Мы попали на ручные жернова — самое древнее оружие для измельчения зерна на муку, но дошли опять-таки до силы человеческой руки. Руке на двух камнях не смолоть всех ворохов зерен, которые снимаются с широких и длинных полей и обмолачиваются на худой конец четырьмя работниками. Мололи на жерновах в старину, да зато хлеб из муки ели только богачи, которые для этого должны были накоплять новое сословие, так называемых рабов. Сами рабы ели хлебные зерна сырыми, немолотыми, мука считалась положительно роскошью до тех пор, пока люди не познали силы падения воды и движения ветра. Познали сначала первое, потом уже далось людям и другое. Явились на свете мельницы: водяные и ветряные. Время появления на белом свете первых с трудом помнят, появление ветряных не очень давнее.

Вот и можно бы на мельницу поехать и перемолоть весь убранный хлеб в муку, да зерно не велит. Сразу не попадешь и на мельницу: лопатой зерна туда не натаскаешь, горстями не наносишь. Обмолоченный хлеб ссыпан, правда, в амбары, кладовушки или тоже в клети под плотную крышу в защиту от дождя и в сусеки — деревянные ящики, в защиту от сырости. От мышей ему

тут не уберечься, да от мышей не уберегается хлеб и тогда, когда был на корню, в поле.

Сильным врагом хлеба в житницах являются мелкие насекомые: долгоносик, или черный червь, жучок с хоботком, ростом не больше блохи, один из опасных врагов, потому что трудно истребляется. Другой долгоносик белый: он меньше вредит и его легко истребить соленой водой, перцем, напуском муравьев. Третий — пшеничная мошка, которая особенно любит пшеницу. Часто случается, что когда из куколки сделается бабочка, на задней части тела остается остов выеденного зерна; свободны только крылья. Случалось видеть таких бабочек массы, и целые пшеничные поля, так сказать, взлетали на воздух, и улетали с ними тогда все надежды земледельцев. В амбарах число врагов увеличивается животным — хомяком, ненавистным похитителем зерен, точно так же как на полях сурком — зверьком в особенности плодовитым и тем очень докучным. Надо поскорее везти хлеб на мельницу. Чтобы свезти хлеб на мельницу и превратить его в муку, надо его ссыпать в куль, а за кулем надо съездить на базар, если не убереглось старых кулей. Куль — покупная вещь, и приготовлением их занимаются целые местности. Исключительно кормятся этим ремеслом сотни деревень по лесным местам, около сплавных рек, там, где много выросло лесов липовых. Славится этим в особенности Ветлужский уезд Костромской губернии и много мест в Вятской губернии.

Куль, назначенный для хлеба и насыпанный им так, что и зашит веревками с обеих сторон, весит обыкновенно девять пудов с походом. Этот поход, или излишек, составляет собственно сам куль, который бывает обыкновенно самый прочный и самый большой; весу в нем до 16 фунтов; рогожа имеет длины $1^{1}/_{2}$ аршина и ширины $3^{1}/_{4}$ аршина (в куле для овса весу не больше 6 фунтов, в солевом куле до 10 фунтов). Таким образом, куль ржи весит обыкновенно 9 пудов 10 фунтов, а куль овса — 6 пудов 5 фунтов. По кулю и хлеб, как товар на рынках и биржах, называется товаром кулевым, то есть продающимся кулями.

Итак, на самой половине рассказов наших, мы добрались и до куля, а потому здесь и остановимся отдохнуть вместе с пахарями, у которых теперь много горя свалилось с плеч. Старики завалились на печь, девушки засветили лучину, начали прясть, запели песни; покатились с гор на саночках; ребята в снежки заиграли; потянулись долгие вечера и длинные сказки про сильных,

могучих богатырей. Заснуло на улице, зато оживилось в избах, которые во все рабочее время стояли пустыми. А там веселые святки, развеселая масленица. За то они и веселы, что есть запасы, есть чем полакомиться, приправить беседу яшной брагой или пивом. Потянулась длинная безработная зима, и длинна она кажется затем, чтобы успел отдохнуть натрудившийся вдосталь на летних, весенних и осенних работах наш пахарь. Забыл он о поле. На время с его примера забудем и мы.

На досуге и кстати теперь потолкуем о пустом-порожнем рогожном куле; продолжим о нем начатую сказку, если и не веселую и страшную, то, во всяком случае, правдивую.

Из книги
„КРЫЛАТЫЕ СЛОВА“



КРЫЛАТЫЕ СЛОВА

Долетают до слуха отрывочные выражения из разговора двух встречных на улице про третьего:

— Сам виноват: век свой бил баклуши — вот теперь поделом и попался впросак.

— Грех да беда на кого не живет,— огонь и попа жжет. Погоди: будет и на его улице праздник.

Эти жесткие выражения упрека и мягкие слова утешения, принятые с чужих слов на веру, до такой степени общеизвестны, что во всякое время охотно пускаешь их на ветер, не вдумываясь в смысл и значение. Равным образом и сам их выговоришь не одну сотню раз в год, в уверенности, что поймут другие: можно смело пройти мимо. Мало ли вращается в обыденных разговорах разных метафор, гипербол, пословичных выражений и поговорок! За всем не угоняешься.

Впрочем, мы на этот раз общему примеру не последуем, хотя бы и по тому поводу, что в иной поговорке слышится совсем уж бессмыслица: будто бы огню дано особое преимущество и попа жечь, а стало быть, может найтись и такой, пред которым бессилен горящий и палящий огонь. Да, наконец, что это за баклуши и какой такой просак? И где эта улица, на которой, кроме места для прохода и проездов, полагается еще и праздничное время?

Любознательные пусть не скучают тем, что им придется, по примеру русского мужика, который для тех поговорок до Москвы ходил пешком и при этом износил трое лаптей, углубиться в давно прошедшие времена и побывать в местах весьма глухих и отдаленных.

ВПРОСАК ПОПАСТЬ

Попасть впросак немудрено каждому, и всякому удается это не одну тысячу раз в жизни, и притом так, что иногда всю жизнь те случаи вспоминаются. Между про-

чим, попал впросак тот иностранец, который в нынешнем столетии приезжал изучать Россию и, увидев в деревнях наших столбы для качелей, скороспело принял их за виселицы и простодушно умозаключил о жестоких, варварских нравах страны, о суровых и диких ее законах, худших, чем в классической Спарте. Что бы сказал и написал он, если бы побывал в городе Ржеве? Побывши в сотне городов наших, я сам чуть-чуть не попал впросак, и на этот раз разом в два: и в отвлеченный, иносказательный, и в самый настоящий. Расскажу по порядку, как было.

Шатаясь по святой Руси, захотелось мне побывать еще там, где не был, и на этот раз — на верхней Волге. С особенной охотой и с большой радостию добрался я до почтенного города Ржева, почтенного главным образом по своей древности и по разнообразной промышленной и торговой живучести. Город этот, старинная «Ржева Володимирова», вдобавок к тому, стоя на двух красивых берегах Волги, разделяется на две части, которые до сих пор сохраняют также древнерусские названия: Князь-Дмитриевской и Князь-Федоровской,— трижды княжеский город. Когда все старинные города лесной новгородской Руси захудали и живут уже полузабытыми преданиями, Ржев все еще продолжает заявляться и сказываться живым и деятельным. Не так давно перестал он хвалиться баканом и кармином — своего домашнего изготовления красками (химические краски их вытеснили), но не перестает еще напоминать о себе яблочной и ягодной пастилой (хотя и у нее нашлась, однако, соперница в Москве и Коломне) и — под большим секретом — погребальными колодами, то есть гробами, выдолбленными из целого отрубка древесного с особенным изголовьем (в отличие от колоды вяземской), за которые истые староверы платят большие деньги. Не увядает слава Ржева и гремит, главнейшим образом, и в приморских портах ржевского прядева судовая снасть, парусная бечевка и корабельные канаты: троссы, ван-тросы, кабельты, ванты и ходовые канаты для тяги судов лошадьми. Эта слава Ржева не скоро померкнет. Не в очень далеких соседях разлеглась пеньковая Смоленщина, которая давно проторила сюда дорогу и по рекам, и по сухопутью, и с сырцовой пенькой, и с трепаной, а пожалуй, и с отчесанной.

Обмотанными той или другой густо кругом всего стана от низа живота почти по самую шею, то и дело по-

падаются на улицах молодцы-прядильщики (встречных в ином виде и в другой форме можно считать даже за редкость). Промысел городской, таким образом, прямо на глазах и при первой встрече. Полюбовались мы одним, другим молодцом, обмотанным по чреслам, пока он проходил на свободе: сейчас он прицепится, и мы его в лицо не увидим.

В конце длинного, широкого и вообще просторного двора установлено маховое колесо, которое вертит слепая лошадь. С колеса, по обычаю, сведена на поставленную поодаль деревянную стойку с доской струна, которая захватывает и вертит желобчатые, торопливые в поворотах, шкивы. По шкивной бородке ходит колесная снасть и вертит железный крюк, вбитый в самую шкиву. Если подойдет к этому крюку прядильщик, то и прицепится, то есть припустит с груди прядку пенькового прядева, и перехватит руками, и станет отпускать и пятиться. Перед глазами его начинает закручиваться веревка. Крутится она скоро и сильно, сверкая в глазах, и, чтобы не обожгла белого тела и кожи, на руках надеты у всех рабочих кожаные рукавицы, или голицы. Прихватит ими мастер свежую бечевку и все пятится как рак и зорко пред собою поглядывает, чтобы не оборвалось в его рукавицах прядево на бечевке. Он уже не обращает внимания на то, что невыбитая кострика либо завертывается вместе с пенькой в самую веревку, либо сыплется, как песок, на землю. Пропятился мастер на один конец, сколько указано, скинул бечевку на попутные, торчком стоящие рогульки с семью и больше зубцами и опять начинает снова. Время от времени, когда при невнимании или при худой пеньке разорвется его пуповина и разъединится он и со слепой лошадью и с колесом,— он тпрукнет и наладится. Впрочем, иные колеса (и конечно, на бедных и малых прядильнях) вертит удосужившаяся баба, а по большей части — небольшие ребята.

Так нехитро налажен основной механизм прядильной фабрики первобытного вида. К тому же, по старинному закону, и это маленькое заведение кочует: оно переносное. У хозяина невелик свой двор и притом короток, а на вольном воздухе свободней работать, если время не дождливое и не осеннее. Вот он и выстроил свой завод прямо на общественном месте, вдоль по улице — вдоль по широкой. Кто хочет тут проехать — объезжай около; там оставлено узенькое место: лошадь пройдет и телегу провезет. Остальную и бо́льшую половину улицы всю за-

нял заводчик: выдвинул колесо. Отступая от него аршина на два, он вбил доску со шкивами и дальше вдоль, один за другим, по прямой линии, стойки или многозубцы на кольях. Колья эти вбил он прямо в размокшую и мягкую землю просохшей городской водосточной канавы, как вздумалось. И по кольям-стойкам знать, что они порядочно покочевали: били их по головам до того, что измочалили. Вертит колесо в шестнадцать спиц, длиною в два с четвертью аршина, баба в ситцах, а на другом конце валяются обгрызанные поленья, «сани», с прикрепленною бечевкою от колеса и припрыгивают, словно бумажка на нитке, которой любят играть молодые котята. По мере того как колесо крутит веревку, эти полешки, или «сани»,— тяжелые, грубого устройства полозья,— пошевеливаясь, пятятся ближе к машине.

Во Ржеве вообще нет никакого уважения к улицам, или по крайней мере об них господствует своеобразное понятие: они далеко не все служат для проезда.

Действительно, во Ржеве по такой улице не проедешь, потому что там и сям выстроены столбы с перекладиной, до которой самый высокий мужик не достанет рукой. В полное подобие виселиц на всех перекладинах ввинчены рогульками крепкие железные крючья. Это — большие заводы, у больших хозяев, у которых со дворов выходят на простор преширокие ворота. У одного такого заводчика оказалось двадцать колес: по двенадцать человек на каждом — это прядильщики. Затем двадцать восемь человек колесников да пятьдесят шесть вьюшников. Эти последние на каждую вьюху наматывают девять пудов пеньки, то есть двадцать семь концов по четыре нитки, и работают по три перемены.

Я зашел в одну из таких диковинных непроезжих улиц и прямо широких ворот на задах большого дома едва не был сбит с ног и не подмят под сапоги с крепкими гвоздями. Выступила задом из ворот и пятилась до самой средины улицы целая ватага рабочих, человек в двадцать, а тотчас следом за нею другая такая же. Все спины широкие, гладкие, крепкие, серые, белые, синие: такие можно загадать только в воображении на богатырей.

Ржевские богатыри, выдвинувшись из ворот, покрутились на середине улицы перед виселицей. Здесь весело и громко они переговаривались, пересмеиваясь и насмехаясь, и опять, с гулом и быстро, потянулись вперед, куда потребовали их вóроты с колесами, установленные в конце двора под навесом. Эти веселые молодцы счи-

таются первыми бойцами на кулачных боях, которые извести во Ржеве никак невозможно. Тут все налицо, что надо: ребятки, что вертят колеса,— застрельщики, рабочие одного большого хозяина — враги и супротивники соседнего заводчика. Да и самый город с незапамятной старины разбит Волгой на две особые половины, под особыми, как сказано выше, прозваниями: правая сторона за князя Дмитрия Ивановича (Князь-Дмитриевская), левая — за Федора Борисовича (Князь-Федоровская), а место, в котором выходить может стенка на стенку,— где хочешь, если уже удалось отбить от начальства почти все улицы. Если же начальство несогласно, то Волга делает в окрестностях города такие причудливые, как бы по заказу, изгибы и колена, что за любым так ухоронишься, что никто не заметит и не помешает побиться на кулачки.

Я заглянул на тот двор, куда ушла шумливая и веселая ватага бойцов, и увидел на нем целое плетенье из веревок, словно основу на ткацком стану. Кажется, в этом веревочном лабиринте и не разберешься, хотя и видишь, что к каждой привязано по живому человеку, а концы других повисли на крючках виселиц. Сколько людей, столько новых нитей, да столько же и старых, чет в чет понавешено с боков и над головами. Действительно, разобраться здесь трудно, но запутаться даже на одной веревочке — избави бог всякого лиходея, потому что это-то и есть настоящий бедовый «просак», то есть вся эта прядильня, или веревочный стан,— все пространство от прядильного колеса до саней, где спускается верьвь, снуется, сучится и крутится бечевка.

Все, что видит наш глаз на дворе,— и протянутое на воздухе, закрепленное на крючьях, и выпрядаемое с грудей и животов,— вся прядильная канатная снасть и веревочный стан носит старинное и столь прославленное имя «просак». Здесь, если угодит один волос попасть в «сучево» или «просучево» на любой веревке, то заберет и все кудри русые и бороду бобровую так, что коечто потеряешь, а на побитом месте только рубец останется на память. Кто попадет полой кафтана или рубахи, у того весь нижний стан одежды отрывает прочь, пока не остановят глупую лошадь и услужливое колесо. Ходи — не зевай! Смеясь, поталкивай плечом соседа, ради веселья и шутки, да с большой оглядкой, а то скрутит беда — не выдерешься, просидишь в просаках — не поздоровится.

НА УЛИЦЕ ПРАЗДНИК

Не забывая ржевских улиц, вспомним, к слову и кстати, про всякие на Руси улицы. Смотреть же, где настоящие баклуши бьют, пойдем потом в другую и дальную сторону.

Не только та полоса, или дорога, которая оставляется свободною для прохода и проезда у лица домов, между двумя рядами жилых строений, называется улицей, но и весь простор вне жильев, насколько хватает глаз, все вольное поднебесье означается этим именем во всей северной лесной Руси. Старинный народ, любя селиться на просторе и прорубаясь в темных дремучих лесах, хлопотал именно о том, чтобы открыть глазам побольше видов. Для этого он беспощадно рубил деревья, как лютых и непримиримых врагов, в вековечной борьбе с которыми надорвал свои силы. Затем уже он поспешил встать деревней так, чтобы кругом было светлое место. Не оставлялось на корню ни одного деревца подле жильев. Оттого там, в лесных русских селениях, всякий человек, пришедший с воли, незнаемый, а тем более нежеланный и даже недобрый, называется человеком «с улицы», «с ветру». Там, если приглашают приятеля «пойти на улицу», то это вовсе не значит посидеть на завалинке или пошататься между рядами домов, а значит погулять на вольном воздухе, в поле и в лесу. Собственно, тех улиц, которые мы понимаем и чувствуем под этим строгим именем и образцы которых, с европейского примера, указал нам Петр Великий,— в прямую стрелу проспектов, коренные русские люди пробивать и проламывать не умеют. Они настолько о том не заботятся, что выводят их, как бы намеренно и совсем противно петровскому вкусу и указам, и вкривь, и вкось, и тупиками, и такими узкими, что двум встречным не разъехаться. В тупиках или глухих улицах нет вовсе сквозных проездов, в узких же — с трудом прилаживаются обочины или тротуары для пешеходов, а в настоящих и коренных городах и во всех деревнях без исключения уличных полос вдоль дороги даже вовсе не полагается. Уважая и любя соседа, пристраиваются к боку и сторонкой, так, чтобы его не потеснить и потом жить с ним в миру и согласии: не всегда в линии, как в хороводе, а отчего же и не вроссыпь? Должно строиться так, как велят подъемы и спуски земли, берега рек и озер, лишь бы только всем миром или целой общиной. Без мирского строя, без общинных законов, как известно, нигде и никогда

русские люди и не останавливались на жительство, потому что воевать с могучей и суровой природой и с докучливым инородцем одиночной семье было не под силу. Не только земледельцы, но и отшельники в монастырях жили артелями. Только в тех случаях, когда их кругом облагали беды и нужды и приходилось ютиться друг к другу как можно теснее и ближе, зародилось что-то похожее на нынешние улицы с проулками и закоулками. Так сталось в больших городах, спрятавшихся за двумя-тремя стенами. Здесь, когда развилась, обеспечилась и развернулась жизнь и стали разбираться люди по заслугам, по ремеслам и занятиям, отобрались бояре в одно место и устраивались. Духовные, торговые, ремесленные и черные люди выбирали свои особые места и строили избы друг против друга и рядом, чтобы опять-таки не разделяться, а жить общинами и всем быть вместе и заодно. Старинная городская улица, как сельская волость, естественно, сделалась политической и административной единицей, устроила свое управление. Она выбирала себе старост и выходила на торжище, или площадь, когда собирались другие общины-улицы судить и думать, толковать не только о делах своего города, но и всей земли, тянувшей к нему податями и сносившей в него разнообразные поборы.

Во Пскове и Новгороде несколько улиц, будучи каждая в отношении к другим до известной степени самобытным телом, все вместе образовывали «конец», а все вместе концы составляли целый город, как Новый Торг (или нынешний Торжок) с семнадцатью концами или улицами, как и «государь Великий Новгород» с пятью, «господин Великий Псков» с шестью концами. По этим действительно великим центрам и сильным примерам взяло образцы все множество больших городов в северной России вплоть до Камчатки, так как вся Русь по хвойным лесам устраивалась исключительно новгородским людом и по новгородским образцам. Уладились в них улицы — стали они общинами; жители назывались «уличанами» и еще охотнее и вернее—«суседями». Сближаясь интересами, делали и судили дела за «единый дух», в полное согласие: своего не давали в обиду. Как на Прусскую улицу в Новгороде, населенную боярами, хаживали с боем другие улицы и на Торговую подымался Людин конец, где жила рабочая и трудовая чернь, так и в остальных старых лесных городах ходили кулачным боем, стенка на стенку, на Проломную или Пробойную (срединную) Ильинская (нагорная) и Власьев-

ская (окрайная). По русскому древнему обычаю, где ссорились и дрались, тут же вскоре и мирились, как в те времена, когда бои затевались из-за политических несогласий, так и потом, до наших дней, когда большие вопросы измельчались до домашних дрязг, до простого желания порасправить свои могутные плечи, ради удовольствия и досужества или из уважения к обычаям родной старины. Задорнее других были улицы Плотницкие и Гончарные, сильнее всех — Мясницкие, или, по-старинному, «кожемяки»,— вольный слободской народ из окольных слобод.

Захотят свести счеты — и пустячный повод разожгут из конца в конец города: станет каждому досадно и всем невтерпеж. А лишь вышла стена на улицу, и мальчишки вперед бегут задирать,— другая стенка смекает и, как вода с гор сливается, выступает навстречу первой немедля. Бежит каждый в кучу, в чем слух застал, и, засучив рукава выше локтей, каждый приготовился к бою. Когда направят ребятишек, тогда разгорятся и сами погонят малых назад. Большие и сильные начнут выступать, могучие силачи-«кирибеевичи» издали смотрят и ухмыляются, пока не придет их час и не позовет своя ватага на дело, в помощь. Были на улицах свои старосты, бывали и свои молодцы-силачи, по двадцать пять пудов поднимали и клали на сторону лихих супротивников, как снопы, по десятку. Были на улицах свои силачи (теперь их смирили и повывели), были и свои красавицы; нарождались свои обиды и придумывались насмешливые прозвища и укоры за недостатки и прегрешения, жили свои свахи и знахарки. И непременно для всякой избы, в каждой улице, обязательны были свои праздники, с пирами и пирогами, с гулянками, брагой и орехами. На кулачных боях подерутся, изместят накипелые за долгое время обиды на сердце, а на уличных праздниках— «братчинах» — помирятся, размоют руки и нагуляются. Оттого-то мудреный смысл русской улицы опять на народном языке извратился: «улицей» стали называть всякую гулянку с хороводными песнями, соберется ли она у деревенской часовни или на лужайке за овинами. Улица этого рода и звания не лежит неподвижно в пыли и грязи, а капризно кочует с облюбленного места на хорошее новое,— в последние времена в московских ситцах и суконных пиджаках, веселыми ногами и с улыбающимися празднично лицами.

«Петровские соседи,— пишет старая летопись,— разбивши костер старый (то есть башню, как называли их

во Пскове) у св. Петра и Павла, и в том камени создаша церковь святый Борис и Глеб». Вот и указание на время праздников и повод к ним, если только они падают непременно на летнее время и, по возможности, на безработное. Богатые города, впрочем, последнего не соображали; им до этого дела не было: на город всегда работала деревня и за него она хлопотала. На улице в городе тогда и праздник, когда подойдет он в главном, или придельном, храме той церкви, которую действительно всегда строила на своей грязной улице своим трудом и коштом вкупе и складе вся жилецкая улица. Если попадет тот церковный праздник на теплое время, придумается такой, когда чествуют икону какой-либо явленной или чудотворной иконы богоматери. Впрочем, большая часть и таких богородских празднеств как раз установлена на летнее время: и казанская, и тихвинская, и смоленская — всероссийские и другие многие местные, «местночтимые».

Не без причины приходится подольше останавливаться на этом объяснении обиходной и столь распространенной поговорки. Как тот же огонь, который исключительно жег старинных попов — «на улице праздник», представляемый в лицах, становится уже таким же преданием и с таким же правом на полное забвение. Мы переживаем теперь именно это самое время. Однако около сорока пяти лет тому назад я еще был очевидцем и свидетелем такого уличного праздника в далеком, заброшенном и полузабытом костромском городе Галиче, который некогда гремел на всю Русь своим беспокойным и жестоким князем Дмитрием Шемякой и до сих пор славится плотниками и каменщиками [1].

В моей детской памяти ярко напечатлелось необычайное повсюдное безлюдье в городе, не исключая всегда шумливой рыночной площади, и припоминаются теперь огромные толпы народа, сгрудившиеся на одной улице, главной и трактовой, называемой Пробойною. Почтовый ямщик не решился по ней ехать и свернул в сторону, зная, что Пробойная на этот день принадлежит празднику. Большие неприятности и очень тяжелые последствия ожидали бы смельчака, который рискнул бы расстроить налаженные хороводы и другие игры. Вся

---

[1] Впрочем, еще в 1857 г. писали в «Москвитянин» Погодина из Новгорода: «С главных улиц праздницкие (так называемые там хороводы и гулянки) уже исчезли, а справляются еще по закоулкам и пригородным слободам: Троицкой и Никольской».

Пробойная превратилась в веселый и оживленный бал, развернувшийся во всю ширину и длину ее: «Улица не двор — всем простор». Несколько хороводов кружилось в разных местах чопорно и степенно, по-городскому, с опущенными глазами, с подобранными сердечком губами, выступая в середине густой стены из добрых молодцев, еще в длинных на тот раз сибирках, теперь ради куцего пальто и жилетки совершенно покинутых.

Все девушки вертелись в кругу с лицами, закрытыми белыми фатами, в бабушкиных, шитых позументами и унизанных каменьями, головных повязках и надглазных понизях, или рясках, в коротеньких со сборами парчовых безрукавных телогреях, в широких, вздутых на плечах кисейных рукавах и со множеством колец на руках (галицкий наряд пользовался на Руси, вместе с калужским и торжковским, равною известностью и славою). Хороводы собственно были очень чинны и степенны, а потому скучны. Ни одна девушка не решалась поднять фаты, а покусившийся на это смельчак жестоко поплатился бы перед молодежью-уличанами своими боками. Веселились собственно на том и другом конце, где большие и малые играли в городки, или чурки. И в самом деле было забавно смотреть, когда из победившей партии длинный верзила садился на плечи крепкого коротыша и ехал на нем от кона до кона, и гремела толпа откровенным несдерживаемым хохотом. Веселились еще по домам, смотревшим на эту улицу большею частию тремя или пятью окнами, где для степенных и почтенных людей было сварено и выдержано на ледниках черное пиво и брага и напечены классические рыбники, поддерживавшие славу города, который расположился около тинистого большого озера, прославившегося в отдаленных пределах северной России ершами, крупными и вкусными.

Теперь эти праздники там совершенно прекратились, когда, на смену хоровода, привезли из европейской столицы досужие питерщики французскую кадриль. Готовое пальто и дешевые ситцы победили вконец бабушкины сарафаны и шубейки, и в народные песни втиснулся нахалом и хватом, с гармонией и гитарой, кисло-сладкий ветреный и нескромный романс вместе с «частушками» — коротенькими куплетцами водевильного строя. Теперь и в глухих местах пошло все по-новому, и на улицах праздников мы больше никогда не увидим и иных, кроме иносказательных, пословичных, понимать не будем.

БАКЛУШИ БЬЮТ

Баклуши бить — промысел легкий, особого искусства не требует, но зато и не кормит, если принимать его в том общем смысле, как понимают все, и особенно здесь, в Петербурге, где на всякие пустяки мастеров не перечтешь, а по театрам, островам и по Летнему саду их — невыгребная яма. Собственно незачем и ходить далеко, но за объяснением коренного слова надобно потрудиться хотя бы в такую меру, чтобы подняться с места, пересесть в Москве в другой вагон и, оставив привычки милого Петербурга, снизойти вниманием до Нижнего Новгорода. Нижним непременно и обязательно следует по пути полюбоваться: стоит он того! Перехвастал он и острова и Поклонную гору, что под Первым Парголовом. Красота его видов — неописанная. Есть у него соперник в городе Киеве, да еще обе эти силы не меряли и не вешали, а потому сказать трудно, кто из них внешним видом привлекательнее и красивее.

Если посмотреть на Волгу и ее берега со стороны города, хотя бы с так называемого и столь знаменитого «откоса», то простор, разнообразие и широкое раздолье в состоянии ошеломить и ослепить глаза, обессилевшие в тесных и душных высочайших коридорах столичных улиц и проспектов. Там, на Волге, на этом месте все есть, к чему бессильно стремятся всяческие, и все вместе взятые, театральные декорации, размалевывая прихотливые изгибы реки, зелень островов и бледноватую синеву леса, обыкновенно завершающие задние планы картины. Все это здесь могущественно и величественно, как те две реки, которые вздумали именно в этом месте начать обоюдную борьбу своими водами. На них — перевозный паром, на котором установлено до двадцати телег с лошадьми, и работают пароходы. И они, и этот уродливый и большой дощаник кажутся ореховой скорлупкой. До того высока гора и до того мелко, как игрушечные изделия на вербах, вырисовываются на противоположном низменном берегу церкви села Борок. Теперь уже оно не оправдывает своего лесного названия: леса очень далеко ушли в глубь синеющего горизонта. Но зато какие это леса, те, которых не видно (но они еще уцелели там, дальше, за пределом, положенным силе человеческого взора), леса «чернораменные»: керженские, ветлужские! Их редкий из читающих людей не знает. Ими вдохновился покойный знаток Руси П. И. Мельников (Андрей Печерский) в такую меру и силу, что

написанная им бытовая поэма сделала те леса общественным народным достоянием, в виде и смысле крупного художественного вклада в отечественную литературу.

Следом за ним на короткое время и мы заглянем сюда, в эти интересные леса, куда П. И. Мельников сумел так мастерски врубиться для иных целей. В этих первобытных дремучих дебрях, которые также начинают изживать свой достопамятный век, хотя, после П. И. Мельникова, и не осталось щепы, зато процветает еще «щепеное» промысловое дело.

В самом деле, эти боры и раменья или совсем исчезли, или очень поредели: много в них и обширных полян, и широких просек, и еще того больше ветровалов и буреломов. Здесь производится издавна опустошительная порубка деревьев на продажу, которой подслужилась столь известная в истории староверья река Керженец. В лесах этого Семеновского уезда Нижегородской губернии издавна завелся и укрепился промысел искусственной обработки дерева в форме деревянной посуды, говоря общепринятым книжным термином, или, попросту, заготовляется на всю Русь и Азию «горянщина», или щепеной товар: крупная и мелкая домашняя деревянная посуда и утварь. Сильный ходовой товар — лопаты, лодки-долбушки (они же душегубки), дуги, оглобли, гробовые колоды, излюбленные народом, но запрещенные законом. Для разносных и сидячих торговцев с легким или съестным товаром и для хозяйства — лотки, совки, обручи, клепки для сбора и вязки обручной посуды — это горянщина; и мелочь: ложки, чашки, жбаны для пива и квасу на столы, корыта, ведра, ковши — квас пить, блюда, миски, уполовники и другие — это щепеной товар. От этой мелочи и мастера точильного посудного дела называются «ложкарями». Они мастерят и ту ложку «межеумок», которою вся православная Русь выламывает из горшков крутую кашу и хлебает щи, не обжигая губ, и «бутызку», какую носили бурлаки за ленточкой шляпы на лбу вместо кокарды. Здесь же точат и те круглые расписные чашки, в которых бухарский эмир и хивинский хан подают почетным гостям лакомый плов, облитый бараньим салом или свежим ароматным гранатным соком, и в которые бывшая французская императрица Евгения бросала визитные карточки знаменитых посетителей ее роскошных салонов.

Для такого почетного и непочетного назначения ходит с топором семеновский мужик по раменьям, то есть

по сырым низинам, богатым перегноем. На них любит расти быстрее других лесных деревьев почитаемое всюду проклятым, но здесь почтенное дерево — осина. Оно и вкраплено одиночными насаждениями среди других древесных пород, и силится устроиться рощами, имеющими непривлекательный вид по той всклокоченной, растрепанной форме деревьев, которая всем осинам присуща, и по тому в самом деле отчаянному и своеобразному характеру, что осиновая роща, при сероватой листве, бледна тенями. Ее сухие и плотные листья не издают приятного для слуха шелеста, а барабанят один о другой, производя немелодический шорох. Это-то неопрятное и некрасивое, сорное и докучливое по своей плодовитости дерево, которое растет даже из кучи ветровалов, из корневых побегов и отпрысков, трясет листьями при легком движении воздуха, горит сильным и ярким пламенем, но мало греет,— это непохожее на другие странное дерево кормит все население семеновского Заволжья. Полезно оно в силу той своей природной добродетели, что желтовато-белая древесина его легко режется ножом, точно воск, не трескается и не коробится, опять-таки к общему удивлению и в отличие от всех других деревьев.

Ходит семеновский мужик по раменьям и ищет самого крупного узорчатого осинового пня, надрубая топором каждое дерево у самого корня. Не найдя любимого, он засекает новое и оставляет эти попорченные на убой лютому ветру. То дерево, которое приглянется, мужик валит, а затем отрубает сучья и вершину. Осина легко раскалывается топором вдоль ствола крупными плахами. Сколет мужик одну сторону на треть всей лесины, повернет на нее остальную сторону и ее сколет, попадая носком топора, к удивлению, в ту же линию, которую наметил, без циркуля, глазом. Среднюю треть древесины в вершок толщиной, или рыхлую сердцевину, он бросает в лесу: никуда она не годится, потому что, если попадет кусок ее в изделие, то на этом месте будет просачиваться все жидкое, что ни нальют в посудину. Наколотые плахи лесник складывает тут же в клетки, чтобы продувало их: просушит и затем по санному пути свезет их домой. Эти плашки зовут «шабалой» и ими же ругаются, говорят: «Без ума голова — шабала». Есть ли еще что дряннее этого дерева, которое теперь лесник сложил у избы, когда и цены такой дряни никто не придумает,— есть ли и человек хуже того, который много врет, без отдыха мелет всякий вздор, ни-

чего не делает путного и мало на какую работу пригоден?

Шабалы семеновский мужик привез в деревню «оболванивать»: для этого насадит он не вдоль, как у топора, а поперек длинного топорища полукруглое лезо и начнет этим «теслом», как бы долотом, выдалбливать внутренность и округлять плаху. Сталась теперь из шабалы «баклуша», та самая, которую опять надо просушивать и которую опять-таки пускают в бранное и насмешливое слово за всякое пустое дело, за всякое шатанье без работы с обычными пустяковскими разговорами. Ходит глупая шабала из угла в угол и ищет, кого бы схватить за шиворот или за пуговицу и поставить своему безделью в помощники, заставить себя слушать. Насколько нехорошо в общежитии «бить баклуши» — всякий знает без дальних объяснений; насколько не хитро сколоть горбыльки, стесать негодную в дело блонь, если тесло само хорошо тешет,— словом, бить настоящие, подлинные баклуши — сами видим теперь. Таких же пустяков и ничтожных трудов стоило это праховое дело и в промысле, как и в общежитии.

В самом деле, притесал мужик баклушу вчерне и дальше ничего с ней поделать не может и не умеет, так ведь и медведь в лесу дуги гнет,— за что же баклушнику честь воздавать, когда у него в руках из осинового чурбана ничего не выходит? Впрочем, он и сам не хвастается, а даже совестится и побаивается, чтобы другой досужий человек не спросил: каким-де ты ремеслом промышляешь? Однако с баклушника начинается искусство токарное. Приступают к самому делу токари, ложкари — мастера и доточники (настоящие) с покрова и работают ложки и плошки до самой св. пасхи. Вытачивают, кроме осиновых, из баклуш березовых, редко липовых, а того охотнее из кленовых. За ложку в баклушах дают одну цену, за ложки в отделке — ровно вдвое. При этом осиновая ценится дороже березовой, дешевле кленовой. Да и весь щепеной товар изо всех изделий рук человеческих — самый дешевый: сходнее его разве самая щепа, но и та, судя по потребам, в безлесных местах, лезет иногда ценою в гору. Если дешева иголка по силе и смыслу политико-экономического закона разделения труда, то здесь около деревянной посуды еще дробнее разделение это, когда ложка пойдет из рук в руки, пока не окажется «завитой» (с фигуркой ручкой), «заолифленной» (белилами, сваренными на льняном масле) и подкрашенной цветным букетом, когда, одним сло-

вом, ее незазорно и исправнику подложить к яичнице-скородумке, на чугунной сковороде, с топленым коровьим маслом. Для господ и сами ложкари приготовляют особый сорт: «носатые» (остроносые) и тонкие, самой чистой отделки: «Едоку и ложкой владеть».

Стоит у ложкаря его мастерская в лесу: это — целая избушка на курьих ножках, без крыши, только под потолочным накатом и немшоная: лишь бы не попадал и не очень бил косой дробный дождик в лицо и спину. В избе дверь одна, наподобие звериного лаза, и окно одно подымное, да другая дыра большая. В эту дыру просунул хохломский токарь толстое бревно, насадил на том его конце, который вывел в избу, баклушу и приладился к ней точильным инструментом. К другому концу бревна, что вышел на улицу, прицепил ложкарь колесо, а к нему привязал приученную лошадь: на нее если свистнуть, она остановится, если крикнуть да нукнуть, она опять начнет медленно переставлять разбитые ноги. Ей все равно: она знает, что надо слушаться и ходить, надо хвостом вертеть, а иногда и сфыркнуть в полное наслаждение и для развлечения. Тпру! — значит десять чашек прорезал резец. Теперь другую баклушу следует насаживать на бревно, а готовые чашки с того бревна-баклуши будут откалывать другие. В третьих руках ложечная баклуша так отделается, что станет видно, что это будет ложка, а не уполовник. Четвертый ее выглаживает, пятый завивает ручку; у шестых она подкрашенною сушится в печах и разводит в избе такую духоту и смрад, что хоть беги отсюда назад и прямо в лес. Кто бы, однако, ни купил потом эту ложку, всякий сначала ее ошпарит кипятком или выварит, чтобы эта штучка была непоганая да и не липла бы к усам и губам.

Покупать у ложкарей готовый щепеной товар станут «ложкарники», кто этим товаром торгует в посаде Городце и селе Пурехе (в последнем главнейшим образом). Они умеют доставлять и продавать эти дешевые, но непрочные изделия туда, где их успевают скоро изгрызать малые ребята, делая молочные зубы, и ломают сами матери, стукая больно по лбу шаловливых и балованных деток, привыкших дома бить баклуши.

ЛЯСЫ ТОЧАТ

В тех же заволжских лесах, о которых было сказано прежде и где бьют настоящие баклуши и вытачивают

из них бесконечного разнообразия вещи, также не обманным, а настоящим образом «точат лясы, или балясы».

Там не ведут шутливых разговоров на веселое сердце в свободный час и досужее время, истрачивая их на пустяки, или «лясы», на потешную или остроумную болтовню. Усердно и очень серьезно из тех же осиновых плах точат там фигурные балясины, налаживая их наподобие графинов и кувшинов, фантастических цветов и звериных головок, в виде коня или птицы: кому как вздумается и взбредет на ум или кто как выучен с малых лет. Работа веселая, позывает на песню и легкая уже потому, что дает простор воображению и нередко руководится рисунком, которым можно угодить, заслужить похвалу и «на водку». Делается напоказ для похвальбы и идет на украшение лестничных перил, поручней на балконах и т. п., все не в прямую пользу и не для всякого мужика, сколько его ни народилось на свете, а только для богатого и, стало быть, тщеславного. В глазах ложкарей, приготовляющих нужные всем и полезные вещи, такое веселое занятие кажется менее внушающим уважения за последствия, и точеные, на разный рисунок, столбики — пустяковиной, сравнительно с ложкой, чашкой и уполовником. Лесной житель привык видеть в природе отупляющее однообразие и обязан всегда любоваться ее строгим и хмурым видом и среди ее жить чаще буднями, чем праздниками. С другой стороны, на обоих оживленных берегах Волги, среди открытого простора и бесконечного движения, особенно «на горах», народились охотники на яркие и пестрые безделушки, которым придают они большую цену,— особенно богатые судохозяева.

Отвечая спросу и угождая вкусу поволжских богачей, в среде семеновских токарей издавна завелся особый сорт промышленников, которых и называли «балясниками». Их досужеству обязаны были своей пестротой и красотой все те суда, в особенности коноводки и расшивы, которые плавали вдоль Волги. Когда они выстраивались рядами, во время макарьевской ярмарки, в самом устье Оки, вдоль плашкоутного наводного моста, выставка эта была действительно своеобразною и поразительною. Подобной в иных местах уже и нельзя было встретить. Она местами напоминала и буддийские храмы с фантастическими драконами, змеями и чудовищами. Местами силилась она уподобиться выставке крупных по размерам и ярких по цветам лубочных картин,

а все вместе очень походило на нестройную связь построек старинных теремков, где балкончики, крыльца, сходы и повалуши громоздились одни над другими и кичились затейливой пестротой друг перед другом. Идя по мосту с Нижнего Базара города на песчаный мыс ярмарки, нельзя было не остановиться, и можно было подолгу любоваться всем этим неожиданным цветистым разнообразием.

Строгий деловой и казенный вид однообразных пароходов, которые в последнее время, по американскому способу, стали уподобляться даже настоящим многоэтажным фабрикам и заводам, сбил спесь с расшив и коноводок до такой степени, что они теперь почти совершенно исчезли. Исчезло с ними вместе в семеновских лесах и специальное ремесло балясников, уступив место подложным — тем ловким людям, которые «лясы точат — людей морочат», хвастливыми речами «отводят глаза и заговаривают зубы», а угодливыми поступками берут города, то есть все то, чего не достигают другие люди честным трудом и прямыми заслугами. Много таких мастеров в больших городах и в высших сословиях.

СЫР-БОР ЗАГОРЕЛСЯ

Говорят это, когда неожиданно, снегом на голову, нагрянула великая неизживная беда либо поднялся шум из пустого. Обе крайности сведены все на тот же сухой сосновый лес, так называемый красный — строевой, величественный в непочатом виде, который докучлив северянину по своему изобилию, но драгоценен по разнообразию приносимой пользы. Нет для великоросса более сокрушительной беды, как если когда займется пожаром этот сырой бор, и помрачится солнце, и потонет в непроглядном дыму вся эта поднебесная красота. Где эти горные кряжи, как добрый конь гривой, покрытые зеленой щетиной сосен, стоявших стройными рядами, как сказочные богатыри, и где эти зеленые долины между гор, пересеченные такими же веселыми оврагами? Среди них, как стадо пугливых овец, стояли белые кудрявые березы. В полугоре без ветра шумела осиновая роща, а за ней в голубой дали опять подымалась щетина дальних боров там, за рекою, которая сверкала широким изгибистым коленом, как зеркало. По ребру ближней горы цеплялась узенькая дорога, и ее пересекал, весело журча, говорливый ручей. Все теперь поглощено

огнем, и он ничего не пощадит. Вот уже затрещало и занялось и то место, которое «заповедали»: звали священника с образами и хоругвями, пели всем миром «Слава в вышних богу», и обходили кругом, и никто не смел въезжать в тот лес с топором. Огонь теперь и заповедное пожрет, все переменит — старые виды велит забывать и закажет привыкать к новым. Теперь остается одно: прислушиваться и ужасаться тому шуму и треску, который разводит пожар и в сухоподстоях и в молодняке. Кто бывал свидетелем лесных ураганов в огнéнном море, производимом большими пожарами, тот во всю жизнь о том не забудет (мне уже пришлось один раз вспомянуть, как самовидцу, и посильно описать). Кому посчастливило не быть свидетелем подобных ужасов народного бедствия, тот в «Лесах» Мельникова найдет довольно близкие правде картины. Кто же пожелает проникнуть глубже в этот вопрос и очевиднее понять и ужасы картины и ужасы последствий опустошения, тот найдет их в бесхитростном, прямодушном и умно написанном сочинении «Очерки Заволжской части Макарьевского уезда». Здесь и автор «В лесах» принужден был искать неподдельно живых и свежих красок. Следует, в заключение этой заметки, посетовать на злоупотребление, допускаемое в разговорной речи, позволяющей себе уподоблять людской пустяковский шум тому могучему и устрашающему, который подымает лесной богатырь, когда снимется с ним бороться другой такой же силач.

ЛАПТИ ПЛЕТУТ

Лапти плести — в иносказательном смысле собственно значит путать в деле и в разговоре. Так по крайней мере разумеет сельщина и деревенщина («путает, словно кашу в лапти обувает»). В городах применяют это выражение к тем, которые медленно, вяло и плохо работают, и применяют, пожалуй, также основательно, так как самый хороший и привычный работник на заказ успевает приготовить в сутки лаптей не больше двух пар. Легко плетутся: подошва, перед и обушник (бока); замедляется работа на запятнике, куда надо свести все лыки и связать петлю так, чтобы, когда проденутся оборы, они не кривили бы лаптя и не трудили бы ног в одну сторону. Не всякий это умеет. «Царь Петр (говорит народ) все умел делать, до всего дошел сам, а над запят-

ником лаптя задумался и бросил. В Питере тот недоплетенный лапоть хранят и показывают». Оправдывая таким неверным сказанием самое немудреное дело на свете, предоставленное в деревнях ветхим старикам, которые уже больше ничего не могут делать,— народ около лаптя умудрился выискать некоторые поучения, выдумал и пустил в оборот еще несколько обиходных выражений. Из области технических деревенских производств вообще взято довольно выражений для живого языка и ежедневного руководства.

Кто шатается без дела и не находит места, где бы найти работу и присесть за нее,— тот «звонит в лапоть». Кто вдруг и сразу захотел сделать дело, да не вышло,— остался хвастливый ни при чем,— говорят тому в укор: «Это не лапоть сплесть!» Обеднел кто по своей неосмотрительности, которая, однако, не возбуждает сожаления, про того говорят, что он переобулся из сапог в лапти; а случается, что «переобувают» другие ловкие люди — товарищи в деле и в предприятии. На кого ничем нельзя угодить, хоть разорвись,— на того «черт плетет лапти по три года кряду». Собственно «лапти плесть — однова в день есть» — немного заработаешь, потому что пара лаптей дороже трех и пяти копеек бывает редко, и то подковыренная паклей или тем же лыком. Между тем на этого явного и всеми основательно обвиненного врага и злодея красивых и, по применению к общежитию, наиболее полезных и дорогих деревьев истрачивается ежегодно неисчислимая масса. Достаточно вспомнить, что на лыки для пары лаптей обдирается три молоденьких липовых деревца и что только в таком раннем возрасте (до 4—6 лет) они способны удостоиться чести превратиться в обувь. Ее добрый мужик в худую пору изнашивает в одну неделю в количестве двух пар.

Происходит это от уменья ровно подбирать сплошной ряд лыковых лент в дорожку по прямой черте, а также и от добросовестного выбора только самых чистых лык. Не всякое лыко годится в лапотную строку; отсюда и распространенное выражение: «Не все в строку, не всякое лыко в строку», обращаемое советом к тем, которые чрезмерно взыскательны и строги, и к тем, которые неразборчивы в делах, расточительны до излишества в словах и т. п. «Не все лыком да в строку»— кое о чем можно и помолчать.

Пока еще дадут мужику возможность обуться в сапоги и в том ему помогут, лапоть все-таки сохранит достоинство отличной обуви: дешевой и легкой для ходь-

бы по лесам и притом зимою — теплой, а летом — прохладной. Свалится он с ног на улице или завяз в грязи — не жалко: слез терять не станут, а догадливая баба поднимет на палку и поставит в огороде: начнет лапоть ворон и воробьев пугать.

В старину едва ли не всюду, а теперь во многих глухих местах, липовый лапоть играл почетную роль измерителя земли при общинных переделах, когда малые клочки хорошей почвы имели важное значение для уравнения всех в правах владения или торжества общинной справедливости. Пахари становятся один против другого и, считая вслух, приставляют один лапоть к другому непосредственно и так, чтобы передок головы одного приходился к запятнику (задку) другого. Поэтому и поллаптя принимается в расчет, и двое соглашаются «войти в один лапоть» и т. д.

В ДУГУ ГНУТ

Не в иносказательном, всем понятном, смысле, а в прямом, породившем это общеупотребительное «крылатое слово», дуги гнут не одни медведи, а те же простые мужики-сермяги. Медведи в лесу дуги гнут — не парят, а если переломят, то не тужат. Парит и тужит тот, кто работает этот покупной и ходовой товар на базары обычно в то время, когда настоящий медведь, отыскавши ямы в ветровалах, заваливается в них спать до первых признаков весны. Зимой — временем, столь вообще властным в жизни нашего народа,— и дуги гнут, и колеса тут же, по соседству, работают, и сами же собирают их. Особых мест не предоставлено: самый промысел стал теперь кочевать, отыскивая подходящие леса в нынешнее время их поголовного и бессовестного истребления. Например, ильмовые и вязовые дуги считались самыми лучшими и предпочитались другим, а теперь там, где владычествовало чернолесье (в срединной России), илим, как говорят, ходит в сапожках, то есть можно еще найти, но деревья оказываются никуда не годными: всегда с гнилой сердцевиной. Поневоле стали обращаться к ветле и осине. Осина и на этот раз нуждающихся в ней выручает. В тридцать пять — пятьдесят лет возрастом та осина, которая вырастает на «суборовинах», или на возвышенных местах, прилегающих к настоящим борам, не хрупка и прямослойна, а потому признается годной; из нее гнут дуги и ободья. Но где же ей сравниться с вы-

сокими качествами древесины илима или вяза? Если живописному дереву — вязу — задалась глубокая и рыхлая, а в особенности свежая и сырая почва по низменным пологостям рек и оврагов, он дает древесину очень вязкую и твердую, крепкую и упругую. Ее трудно расколоть; она не боится ударов и при этом прочна. С ней много хлопот столярам, но зато в изделье она красива по темно-коричневому цвету ядра и по широкой желтоватой заболони и хорошо при этом полируется.

На смену исчезающих вязов всегда, впрочем, годится и даже напрашивается ветла или ива различных пород и многочисленных названий (верба, ракита, бредина, лоза, чернотал, шелюга и т. д.). По России она распространена повсеместно, а в средней полосе, где умеют гнуть дуги и полозья, она является в наибольшем количестве. Ивушка зато воспевается в песнях чаще прочих дерев, потому что докучливо мечется в глаза: по лесам между другими деревьями, по рекам, оврагам, на выгонах, по сырым покосам. Может она расти на сухих песках и бесцеремонно лезет в чистые мокрые болота, причем растет необыкновенно скоро: даже срубленный пень быстро покрывается множеством молодых побегов. Вот почему и дуга — чаще ветловая, уподобляемая весьма образно в живом народном языке человеческой неправде: «Если концы в воде, так середка наружу; когда середка в воде — концы наружу».

За то, что эти деревья упруги, с ними обычно поступают так. Сначала непременно парят. На это дело годится всякая жарко натопленная банька, а где уж этим промыслом живут и кормятся, там относятся к делу с большим вниманием и почтением. Там гнут дуги на две руки: либо на котловой, либо на огневой парке. Для этого приспособлены и особые заведения: простой деревянный сруб, смахивающий на плохую избенку, аршина на два в вышину. На потолке навалено земли и дерна, сколько он сможет сдержать, а сквозь стены внутрь проведены две слеги и прорублена дыра с дверкой, чтобы можно было пролезать. В оконце мужик влезет, на слегах уложит вязовые кряжи, на полу зажжет поленья дров и вылезет вон чернее черта. Дверцу в оконце он за собою запрет. Дрова тлеют, а кряжи млеют. Ветлы и вяз так распариваются, что гни их потом, куда хочешь. Это — огневая па́рня. А если налить водой котел, подложить под него огонь и заставить пустить пар также в наглухо закрытую парню, то и сыр-могуч дуб сдается: придвигай теперь станок и сгибай дерево — не сло-

мится. Свяжи только концы веревкой, да даже хотя бы и мочалом (ценой всего на копейку), и оставь лежать: кряж попривыкнет, слежится, ссыхаясь и замирая так, как ты того хочешь. Когда дуги остынут, их обтесывают топором, потом проходят скобелью, затем просушивают в теплых избах. На просушенных можно уже вырезать всякие узоры, а затем и кольцо продеть и колокольчик повесить. На охотников, сверх всего, приготовляется краска из коры крушины (которую кое-где, кстати, называют «кручиной»). Толкут ее в порошок и разводят кипятком: выходит оливковый цвет. В расписной кичливой дуге и не узнаешь теперь красивого вяза и величественного, гордого и могучего дуба.

КОЛОКОЛА ЛЬЮТ

— По городу сплетни пошли, и одна другой несбыточнее и злее,— что это значит?

— Колокол где-нибудь льют.

— По деревням бродят вести и соблазняют народ на веру в них. Иная хватает через край, а хочется ей верить: придумано ловко.

— Не верьте, не поддавайтесь: это — колокольный заводчик прилаживается расплавленный колокольный состав из олова и меди вылить в форму и застудить, чтобы вышел из печи тот вестовщик, который, как говорит загадка, сам в церкви не бывает, а других в нее созывает.

Этот обычай народился, конечно, в то время, когда деревянные и чугунные доски, подвешенные к церковным дверям, начали заменять звонкими благовестниками. Шел обычай, вероятно, из Москвы, где, кстати, на Балканах рядом и обок с колокольными заводами живут в старых и ветхих лачужках первые московские вестовщицы и опытные свахи. Вся задача на этот раз состоит в том, чтобы пустить слух самый несбыточный и небылицу поворотить на быль. Мудрено ли? С древних времен забавные небылицы и дикие вести и слухи привыкли ходить по стогнам этого города на тараканьих ножках, и под них здесь никогда не было нужды нанимать подводы.

Выходила сплетня обыкновенно прямо с колокольного завода, а выпускали ее в угоду хозяину и с полною верою в ее несомненную пользу, как обязательный придаток к искусству отливки, заинтересованные удачею де-

ла работники. С Балкан быстро перелетала весть, как по телеграфной проволоке, в Рогожскую, оттуда перекидывалась, как пожарная искра по ветру, в благочестивое Замоскворечье, а отсюда разлеталась мелкими пташками по Гостиному двору и по всем трактирам, с прибавками и подвесками.

— Проявился человек с рогами и мохнатый: рога, как у черта. Есть не просит, а в люди показывается по ночам; моя кума сама видела. И хвост торчит из-под галстука. Поэтому-то его и признали, а то никому бы невдогад.

Это глупое известие самое употребительное в таких случаях везде и в такой степени, что его можно назвать «колокольным». Конечно, бывают и другие сплетни, каких в Москве вообще не оберешься. Доходит дело до того иногда, что самые недоверчивые люди впадают в сомнение: в сущую ли правду следует верить ходячему слуху или и в самом деле какой-нибудь тороватый церковный староста заказал новый колокол.

Пущен же нелепый слух с тем, чтобы отвлечь внимание праздной и докучливой толпы от своей работы, в уверенности, что в новом колоколе не будет пузырей. Таким способом отвлекают внимание, скрывая день и час родов женщин (лишний человек — помеха). <...>

Вообще следует сказать, что этим церковным благовестникам не только приписывается врачебная сила (например, для глухих, для больных лихорадками и проч.), но народное суеверие зачастую подозревает в них нечто мыслящее и действующее по своему желанию. Так, например, один сослан был в ссылку за то, что, когда во время пожара хотели бить набат, он «гулку не дал». Царь Борис сослал углицкий колокол в Тобольск за то, что он целый город собрал на место убиения царевича Димитрия. При подъемах новых на колоколенные башни иные упрямятся и не поддаются ни силе блоков, ни тяге веревок, предвещая нечто недоброе и, во всяком случае, зловещее. В Никольском уезде Вологодской губернии, на реке Вохме, невидимый колокол отчетливо и слышно звонил, указывая место, где надо было строить церковь. Это было в 1784 году. В 1845 году эта церковь сгорела, причем колокола тоскливо и жалобно звонили,— и с той поры сберегается там поговорка: «Звоном началась — звоном и кончилась». Не говорим уже о чрезвычайном множестве провалившихся городов с церквами, колокола которых не перестают в известные дни слышно звонить и под землею и под водами, например

в реке нижегородского города Большого Китежа. В одной Белоруссии я знаю таких мест больше десятка. В заволжских лесах Макарьевского уезда Нижегородской губернии большой колокол Желтоводского монастыря будто бы и по сие время подает знак на св[ятую] пасху в святую заутреню, когда начинать христосоваться, в тех селениях, которые разобщены с селами и лежат среди дремучих лесов, в шестидесяти верстах от города Макарьева, и т. п.

Не забудем также и тех исторических фактов, когда колокола имели даже и политическое значение. Перевозка их из одного города в другой служила одним из знаков утраты самостоятельности. Оба вечевые, новгородский и псковский, перевезены в Москву (псковичи так и говорили царскому послу: «Волен князь в нас и в колоколе нашем»). В XIV веке Александр Суздальский, возведенный ханом в достоинство великого князя, перевез соборный колокол из Владимира в Суздаль. Тверские князья Константин и Василий Михайловичи должны были отправить в Москву соборный колокол, как знак зависимости от Калиты, и т. д. Теперь на колокольне Ивана Великого целая так называемая «колокольная фамилия», состоящая из тридцати одного звона, в числе которых находятся и удельные: ростовский, новгородский, корсунский и прочее. В старину за действием этой «фамилии» наблюдали сами патриархи; к настоящему времени многие колокола лежали неподвешенными, иные неизвестно куда исчезли. Звонили только шестнадцать, у других висевших не было языков (клепал, или телепней).

СТОЯТЬ ПОД КОЛОКОЛАМИ

В самой Москве, в которой еще в XVII веке, по свидетельству иноземцев, насчитывалось до пяти тысяч колоколов, «дивных слышанием», впоследствии оказалось удобным «стоять под колоколами» в прямом и переносном смысле, то есть в последнем значении «слышать» не всегда подколокольный звон, но и сущую «правду-матку». В 60-х годах мне показывали в Москве того оглашенного, который «ходил под колоколами», то есть принял столь редкую вообще, но не уничтоженную и новым законом «очистительную присягу».

Ограбил он, под видом опекуна, капитал сирот, и когда подросшие наследники потребовали отчета, а улик

и доказательств никаких в руках не имели, он согласился «пройти под колоколами». Обычно сделали ему сначала увещание в церкви, и он потом присягал на кресте и евангелии при колокольном звоне во-вся и среди всенародного множества, которое едва не разрушило церковные стены. Шел он туда посреди живой стены народа с непокрытой головой, но вышел (как и всегда во всех таких случаях) не оправленным: люди таким крайним и резким случаям опасаются верить. Они внутренно убеждены, что «бог очистительной присяги не принимает». Она остается лишь в виде добровольной сделки ответчика со своей совестью да приканчивает дело с наследниками или вообще с обвинителями, не добившимися удовлетворения иными способами.

Московский купец, среди белого дня, на виду всей Ножовой линии Гостиного двора, наполненной праздными зубоскалами и несомненными остряками,— купец, прогулявшийся по Красной площади под колоколами Василия Блаженного и Казанской, считался человеком отпетым: на него указывали пальцами. Жил он точно на том свете, всеми покинутый и презираемый. Вообще этот способ очистительной присяги признавался самым неудобным и тяжелым, пригодным на крайние случаи и породившим поговорку: «Горе идущему, горе и ведущему». «Хоть при колокольном звоне под присягу пойду» — осталось теперь в виде божбы или клятвы, необязательной к исполнению и однородной с подобными: «лопни утроба (глаза)»; «хоть голову на плаху»; «даю руку на отсечение»; «иссуши меня, господи, до макового зернышка»; «сквозь землю в тартарары провалиться»; «с места не встать»; «детей не видать»; «всему высохнуть»; «первым куском подавиться»; «ослепнуть, оглохнуть»; «коли вру, так дай бог хоть печкой подавиться» и т. д.

С КОЛОМЕНСКУЮ ВЕРСТУ

В таком нелестном подобии является в представлении московских людей высокий человек, превосходящий на целую голову прочих и, стоя, например, в толпе, мешающий задним видеть впереди себя. По большей части такой человек неуклюж, неловок, неповоротлив, что называется на севере «жердяем» и «долгаем», а повсеместно — «верзилой» и «долговязым». Для московских жителей такие большерослые люди представляли подобие тех столбов, которые царь Алексей Михайлович расста-

вил от Москвы до своей любимой загородной резиденции — села Коломенского. Это был первый опыт обозначения видными знаками верстовых измерений, существовавших издавна в одном лишь призрачном представлении, с обязательною неточностию самой меры. Неточность зависела столько же от сметки расстояний на глазомер, сколько и от условной подвижности или изменяемости самой меры, и при этом не одних только верст, но и саженей. Древнейшая сажень была короче нынешней, и таких требовалась в версту целая тысяча. Впоследствии верста стала составляться из семисот сажен, и такое-то количество их и велел уложить царь Алексей в ту видимую версту, которая ушла в поговорку. Царь Петр I повелел считать в версте пятьсот сажен, что и намечали впоследствии по всем казенным почтовым дорогам пестрыми верстовыми столбами, покрашенными в три национальных цвета. За такой-то столб задел в степи хохол, изумленный невиданною диковинкою, и остался недоволен.

— Ажно проехать стало неможно: проклятые москали верстов по дороге понаставили!

На самом деле консервативное начало высказалось и в этом нововведении: еще на нашей памяти в захолустных местах семисотные версты предпочитались пятисотным, взаимно соперничая. Требовался переспрос: по какому счету принято на поселках, где не поставлено столбов, разуметь дорожную версту? Конечно, всего чаще случалось получать в ответ всем известное объяснение расстояний в нашей пространной и неоглядной Руси: «Меряла баба клюкой, да и махнула рукой,— быть-де так!»

НУЖДА ЗАСТАВИТ КАЛАЧИ ЕСТЬ

Нужда бесхлебных и малохлебных губерний обычно увлекала народ на низовую Волгу. Здесь, за малою населенностию края, очень нуждались в рабочих руках для косьбы роскошных степей и жнитва неоглядных хлебных полей, а также и для лова рыбы в устьях Волги и на Каспийском море. Там все едят хлеб пшеничный, потому что пшеница — господствующий хлебный злак, и ржаного хлеба не допроситься верховому бурлаку или рабочему. Пшеничные хлебы и булки до сих пор называют там калачами. В подкрепление наших слов мы находим такую заметку известного ростовского археолога А. А. Титова (в предисловии к изданию г. Вахра-

меева «Расходная книга патриаршего приказа кушаньям, подававшимся патриарху Адриану и разного чина людям с сентября 1698 по август 1699 г.»): «Русские в XVII столетии ели преимущественно ржаной хлеб. Он был принадлежностью не только убогих людей, но и богачей. Наши предки даже предпочитали его пшеничному и приписывали ему (да и теперь также) больше питательности. Название «хлеб» значило собственно ржаной. Пшеничная мука употреблялась на просфоры, а в домашнем быту — на калачи, которые вообще для простого народа были лакомством в праздничные дни. От этого и поговорка «Калачом не заманишь» — самым редким кусом не привлечешь к себе того, кто испытал в чужих руках горькую долю, суровую нужду. Зато иного человека и калачом не корми, а сделай ему то и то, или: «Лозою в могилу не вгонишь, а калачом не выманишь» и т. д. До пароходства эта нужда искать заработков при калачах самым главным образом находила удовлетворение здесь. Десять губерний поступали таким образом. Отсюда идет и другое темное выражение: «Неволя идет вниз, кабала — вверх». По толкованию В. И. Даля, тут речь идет все о той же Волге и о разгульном бурлацком промысле, с которым связана кабала: задатки взяты, усланы домой в оброк, а остатки пропиты. «Неволя, то есть нужда, идет вниз, по воде, искать работы; вверх, против воды, идет или тянет лямкою кабала»; а за нею следом рваная и голодная нищета. Или, по иному толкованию этого же знатока народной речи, в буквальном смысле: «Раб ждет милости за верность, а кабальный все более и более должает и в кабалу затягивается».

БОБЫ РАЗВОДИТЬ

Теперь это значит пустяками заниматься, побасенки рассказывать, с прямым желанием подлаживаться, угодничая находчивым, острым или веселым словом. «Иной ходит до похода, бобы разводит», как подсмеивается поговорка. Выражение это взято от обычного не только в старину, но и в наши дни способа ворожбы, по которому раскидывали бобы (или разводили) и гадали по условным знакам, как ложились эти продолговатые плоские зернышки обыкновенного огородного стручкового боба. Повезло ему счастье избрания с древнейших времен. Искусство разумения предсказательной силы в будущем приобреталось наукой, передавалось за особую

высокую плату не всякому встречному, но каждому втайне. Опытных мастеров выписывали, например, в Москву из далеких стран, какова Персия, доискивались их в глухих лесных и болотистых трущобах, какова наша озерная Корелия. Прятали их самым тщательным образом потому, что уличенных и сознавшихся в колдовстве, по старинным московским законам, предавали лютым казням. В старину науке волхования — искусству разводить чужую беду бобами — обучали всяких чинов досужие люди, но больше всего простолюдины. Чаще всех владели тайнами ворожбы и гаданий коновалы, среди которых это искусство уберегается и до сих пор, наравне с цыганами. В таких же кожаных сумках хранятся у них бобы, травы и росной ладан. Бобами гадальщик разводит и угадывает; ладаном оберегает на свадьбах женихов и невест от лихих людей, при родах от сглазу и от ведунов. Умея ворожить бобами, умели на руку людей смотреть и внутренние болезни у взрослых и младенцев узнавать и лечить шептами. Траву богородскую дают пить людям от сердечной болезни без шептов; норичную траву дают лошадям. И зубную болезнь лечат, и щепоту, и ломоту уговаривают, и руду (кровь) заговаривают, и тому подобное.

Не одного из таких знахарей в строгие времена застенка и пыток сжигали живыми в срубах с сумками и с наколдованными в них травами и бобами всенародно в Москве на Болоте.

Из «розыскных дел о Федоре Щегловитом и его сообщниках», изд[анных] Археографическою комиссиею, видно, между прочим, следующее: царевна Софья узнала, что постельничий Гав[рила] Ив[анович] Головкин водил в Верх, в комнату царя Петра Алексеевича, мурзу князя Долоткозина и татарина Кодоралея. Они там ворожили по гадательной книге и на письмах предсказали, что царю Петру быть на царстве одному. За такое предсказание их обоих отвезли в застенок, пытали и в заключение сожгли на их спинах гадательную книгу и письма. Здесь родилась и пословица: «Чужую беду на бобах разведу, а к своей ума не приложу».

БЕСПУТНЫЙ

«Не быть в нем пути» — говорят про такого человека, который явно не встал на прямую дорогу, обычно ведущую к цели, а выбрал или «попал на неправый, кривой

или ложный путь житейский», как выразился Даль и подкрепил общеизвестными живыми изречениями: «Идешь по беспутью к погибели своей», «На беспутной работе и спасиба нет». К нашим удельным князьям приходили с воли свободные люди, бояре-дружинники, и нанимались к ним на службу двояким способом: навсегда — служить до смерти, или на время, «сколь поживется». Первые получали «кормленье» — право собирать известную часть доходов не только с городов, но и с целых волостей. Вторые — мелкие бояре — получали разные должности при дворе, где и служили в разных чинах, пользуясь за службу содержанием или жалованием (то есть что пожалует князь) с каких-либо доходных своих статей, смотрели — что теперь называется — из «чужих рук», а не брали, как первые, своею «властною рукою». А так как современное слово «доход» в старину называлось «путем»[1], то и княжеские наемники этого рода получили прозвище «путных» или «путников». Иные прямо оправдывали свое звание тем, что разъезжали по поручениям князя, обычно провожали и охраняли в дорогах во время переездов княжеские семьи, но вообще они были на каком-нибудь «пути». Одни собирали на бойких проездных дорогах «мыт» и пользовались доходом от сбора пошлин за товары, провозимые по земле князя. Другие держали путь по владениям князя для сбора ко двору съестных припасов с сел и деревень[2] (это «стольничий путь»). «Окольничий», при походах и разъездах царских, посылался вперед и приготовлял станы или места царских остановок. У царя Алексея указан был «сокольничий путь», то есть состоял при дворе чиновник, ведавший охоту, и имелись под его рукой рассыльные, собиравшие по дальным волостям соколов, кречетов и иную ловчую птицу. Лица, занимавшие подобные должности, так и назывались: «боярин с путем», «сокольник с путем» и т. п. До строгих времен собирателей земли — московских царей — у «путных бояр» оставалась в силе и праве «вольная воля». Высмотрев более богатого и тороватого князя, охочего в посулах, уходили к нему. Здесь такие «послуживцы» получали поместья; так, между прочим, народились из них помещики на свободных землях вольного Новгорода, когда их стал

---

[1] Так и писали: «...отдали землю на льготу, да в том ему и путь».

[2] Даже у вольного Новгорода из глубокой старины приписывались волости «на путь тысяцкого».

раздавать Иван Третий. Вообще этот класс людей был подвижным (они даже не обязаны были сидеть в городе). Впоследствии многие из них домотались со своим вольным правом, переходя с места на место, до того, что сошли на очень низкую и незавидную степень. На Литве, например, они заняли у панов должности управляющих имениями, стали приказчиками, войтами и даже прямо слугами. Оставшимся при старинном праве и звании «путных» довелось очутиться без прежних почетных путей, а при неудачах в жизни без промыслов было удобно и легко стать совсем «беспутными» в современном обидном смысле. Неимение определенных занятий все-таки главным образом зависит от того, что у таких людей и в личном характере «не было проку».

ВЫДАТЬ ГОЛОВОЙ

Этот обычай известен был еще в XII веке, когда с князя за вину бралась волость, а прочих людей отдавали головой, причем последняя выражала понятие о личности. Отданный головою за долг поступал к заимодавцу с женою и детьми в полное рабство и в работу, которую и отбывал до тех пор, пока не покрывал весь долг. Во время местничества оскорбитель был бит батогами и потом обязан был просить униженно прощения у обиженного и жалобщика: кланяться в землю и лежать ничком до тех пор, пока оскорбленный не утишится и не поднимет со словами: «Повинную голову и меч не сечет». Словом, в старину это означало предание суду за преступление с лишением гражданской свободы, а также во временное рабство за долги. Тогда «брат брату (шел) головой в уплату», а теперь нечаянно, без умыслу выговорить в неуказанное время неподлежащему человеку условленную тайну значит то же, что «выдать головой».

ПРАВДА В НОГАХ

Хотя пословица и укрепляет в том бесспорном убеждении, что в ногах правды нет, однако в недавнюю старину ее там уверенно, упорно и с наслаждением искали наши близорукие судьи, с примера, указанного татарскими баскаками. Сборщики податей, а впоследствии судные приказы, взыскивавшие частные долги и казен-

ные недоимки, ставили виноватых на правеж, то есть истязали. По жалобе заимодавца приводили должников босыми. Праведчики, то есть пристава или судебные служители, брали в руки железные прутья и били ими по пятам, по голеням и икрам (куда попадет). Били с того самого времени, когда приходил судья, до того, когда он уходил домой.

Били доброго молодца на правеже
В одних гарусных чулочках
И без чоботов, —

говорит одна старина-былина. Бивали так новгородских попов и дьяконов «на всяк день от утра до вечера нещадно». Чаще всего ограничивали срок битья согласием должника заплатить долг или появлением поручителя. Бирон казенные недоимки, накопившиеся от неурожаев, вымогал тем, что в лютую зиму ставил на снег и все-таки в отмороженных ногах бесплодно искал правды. Стали толковать: «Душа согрешила, а ноги виноваты» и «В семеры гости зовут, а все на правеж». Истязуемые умоляли безжалостных заимодавцев: «Дай срок, не сбей с ног!» Бессильные и безнадежные, когда «нечем было платить долгу, бежали на Волгу». Все эти болезненные вопли и бессильные жалобы ушли в пословицы и, с уничтожением правежного обычая, приняли более смягченный смысл. Плачевный вывод из суровой практики старых времен погодился в нынешние времена лишь в шутливый и легкий упрек доброму приятелю. Стали уверять, что «в ногах правды нет» тех, которые, придя в гости, церемонятся, не садятся [1]. Точно так же: «Дай срок, не сбей с ног!» обращают теперь к тем, кто в личных расчетах торопит на работе, понуждает на лишние усилия сверх ряды и уговора, в тяжелом труде, затеянном либо на срок, либо в самом деле наспех, и т. д. Над упраздненным правежем начали уже и подсмеиваться в глаза заимодавцам, «на правеж не поставишь!» (не что возьмешь!). Какая же в сущности правда в ногах? «В правеже не деньги», то есть иск по суду мало надежен,— сознательно говорят и в нынешние тяжелые времена всеобщего безденежья.

---

[1] И. М. Снегирев говорит, что в буквальном своем значении и в свое время пословица эта заменяла нынешнюю: «На нем взятки гладки», то есть ничего с него взять нельзя; напрасны и мучительные домогательства, как бесцельны и настойчивые просьбы.

СЧАСТЬЕ ОДНОГЛАЗОЕ

«Не в котором царстве, а может, и в самом нашем государстве жила-была женщина и прижила роженое детище. Окрестила его, помолилась богу и крепким запретом зачуралась,— довольно-таки с нее одного: вышел паренек такой гладкий, как наливное яблочко, и такой ласковый, как телятко, и такой разумный, как самый мудрейший в селе человек. Полюбила его мать пуще себя: и целовала-миловала его день и ночь, жалела его всем сердцем, и не отходила от него на малую пяденочку. Когда уж подросло это детище, стала она его выпускать в чистом поле порезвиться и в лесу погулять. В ино время то детище домой не вернулось — надо искать: видимо дело — пропало. Не медведь ли изломал, не украл ли леший?

А та женщина называлась Счастьем и сотворена была, как быть живому человеку: все на своем месте и все по-людскому. Только в двух местах была видимая поруха: спина не сгибалась и был у ней один глаз, да и тот сидел на самой макушке головы, на темени: кверху видит, а руками хватает зря, что нащупает и что под самые персты попадется наудачу. С таковой-то силой-помощью пошло то одноглазое Счастье искать пропавшее детище. Заблудилось ли оно — и с голоду померло, или на волков набежало — и те его сожрали, а может, и потонуло, либо иное что с ним прилучилось — не знать того дела Счастью: отгадывать ему бог разума не дал — ищи само, как ты там себе знаешь. Искать же мудрено и несподручно: видеть не можно, разве по голосу признавать. Так опять же ребячьи голоса все на одно. Однако идет себе дальше; и может, оно прислушивается, может, ищет по запаху (бывает так-то у зверья) — я не знаю. В одной толпе потолкается, другую обойдет мимо, третью околесит, на четвертой, глядь-поглядь, остановилось. Да как схватит одного такого-то, не совсем ладного, да, пожалуй, и самого ледащего, прахового, сплошь и рядом что ни на есть обхватит самого глупого, который и денег-то считать не умеет. Значит, нашла мать: оно самое и есть—ее любимое и потерянное детище. Схватит Счастье его себе и начнет вздымать, чтобы посмотреть в лицо: оно ли доподлинно? Вздымет полегонечку, нежненько таково, все выше да выше, не торопится. Вздымет выше головы, взглянет с темени одним своим глазом да и бросит из рук, не жалеючи, прямо оземь: иной изживает, иной зашибается и помирает. Нет, не

оно! И опять идет искать, и опять хватает зря первого встречного, какой вздумается, опять вздымает его к небесам и опять бросает оземь. И все по земле ходит, и все то самое ищет. Детище-то ее совсем сгибло со бела света, да материнское сердце не хочет тому делу верить. Да и как смочь ухитриться и наладиться? Вот все так и ходит, и хватает, и вздымает, и бросает, и уж сколько оно это самое делает — счету нет, а поискам и конца-краю не видать — знать, до самого светопреставления так-то будет! Правду молвят в народе: «Счастье, что трястье — на кого захочет, на того и нападет».

Таковую притчу слышал я от старика-раскольника на реке Мезени, но после нигде с нею не встречался и ни в каких изданных сборниках не нашел.

ГДЕ РУКА, ТАМ И ГОЛОВА

Рука согрешит — голова в ответе.
Пословица

Взятая в буквальном смысле, всем известная и повсюду распространенная пословица может показаться ненужной, лишней пустословкой, вызывая прямой и короткий ответ: конечно, так, само собой разумеется. В самом же деле пословица заключает в себе глубокий смысл и есть не что иное, как юридический термин, от старины до наших дней не утративший своего значения. В старину послухи, или свидетели, при поголовном безграмотстве, ручаясь в данном показании, подавали полуграмотному дьяку правую руку и тем как бы давали собственноручную (или, вернее, и по-старинному, «заручную» подпись). Во многих случаях требовалось даже наложение самой руки или обеих вместе на бумагу свитка поручной записи,— прием, объясняемый словом позднейшего сочинения — рукоприкладства или, короче и проще по-русски, подписи, вместо составленного на немецкий лад. В некоторых случаях она заключалась в том, что послухам или видокам обмазывали правую ладонь черной краской и делали оттиск на свитках в столбцах, называемых поставами (гербовую бумагу начали употреблять с 1699 г.). Во всяком случае человек ручался за данное показание на суде, становился порукою за другого человека по старозаветному выражению, часто встречаемому в старых актах: «Ты о том не тужи, в том моя голова». Было все равно, ограничивался ли он одним лишь голословным показанием, или целовал

евангелие, крест, сырую землю, или скреплял все клятвы подписью на бумажном листе. Отсюда и «держать чью руку» значит стоять за того, быть на его стороне при выборах и клятвенных ручательствах, и «играть в одну руку» — действовать во всем заодно. В старину «порукой» назывался и тот человек, который брал подсудимого себе на руки, ручался ответом за него. Порукой считалась и целая семья купцов, остававшаяся как бы в закладе дома, на родине, когда (по Котошихину) торговые люди ездили в чужие земли, чтобы «им в иных государствах не остатися». Со времен той же старины «поручным» называется всякий задаток, особенно деньги, взятые или данные при битье по голым рукам или по рукавице, при условиях всякого рода: наймах, продажах, куплях, обменах. Точно так же до сих пор отцы жениха и невесты покрывают полами кафтанов руки и ударяют ими в знак окончательного согласия на брак, то есть одновременно этим способом подписывают брачный контракт и свидетельствуют его у нотариуса. То же самое делают барышники при продаже лошадей, хлопая в иных случаях неуладицы по нескольку раз до последнего, когда бьют по рукавицам, прихватив на этот раз руками повод продажного коня, и т. д. До сих пор на общинных сходах при составлении мирских приговоров верители подают грамотеям руки, что и зовут «отбирать руки», и проч. Так велико значение этой верхней конечности человеческого тела в жизни и обычаях русских людей. В то же время столь разнообразны в живой речи применения в иносказательном смысле этого существительного имени женского рода!

Ленивый человек, привыкший ничего не делать и сидеть праздно, «поджал руки»; у таковых, конечно, по этой причине и всякое дело «валится из рук». Иной городской извозчик или почтовый ямщик сумеет запрячь лошадь «под руку», то есть на пристяжку, да в езде часто не знает «своей руки», то есть не знает правила держаться «парадной», то есть узаконенной у нас в России правой стороны при направлении в езде (в Англии и в Японии «парадная» сторона — левая). Иные бестолковые или тупые люди «руки не знают», то есть не разбирают права или лева,— прежние рекрута, приведенные из глухих мест и требовавшие на ученьях привязки к одной ноге сена, к другой соломы, чтобы уметь разбирать очередь той или другой ноги при маршировке. Человек, от постоянно преследующих его неудач пришедший в отчаяние, растерявшийся до того, что не знает, как посту-

пать дальше и что ему делать, «опустил руки». Драчливый и вздорливый человек, посягая на смирного, «поднимает руки»; нападая на податливого, «прибирает его к рукам», и, на худший конец, «налагает руку», то есть порабощает и притесняет. Воры, у которых «руки с ящичком», действуя с товарищами, «играют с ними в одну руку», и если поживились случайно или нажились окончательно,— они «нагрели руки». Бывают руки тяжелые, легкие, длинные, как бывают толстые шеи и медные лбы и т. п.

ГРЕХ ПОПОЛАМ

С грехом пополам бывает такое дело или даже самая жизнь, что можно выразить также словами: кой-как, так-сяк, с примесью добра и худа, горя и радости, довольным быть нечем, а, впрочем, ничего — не жалуемся, а терпеливо сносим: от греха не уйдешь. Грех пополам — это уже совершенно другое. Пополам с водою и молоко рыночное продается, пополам делят, по обычаю, и общую находку, а «озорники все рвут пополам да надвое». Несогласные семейные наследства делили: пополам перину рубили, не смотрели на то, что давно уже сложилась насмешка на таких людей: «Кувшин пополам — ни людям, ни нам». Пополам также люди торгуют, то есть работают на складочный капитал соединенными силами находчивого ума и налаженной опытом привычки. Впрочем, с такими приемами и воры мошенничают и крадут. В лавке торговец за свой товар запрашивает, покупатель дает свою цену, конечно меньшую. Между посулом этим и запросом образуется таким образом разность. Она уменьшается по мере того, как соперники борются, слаживаются каждый на своих резонах. Выходит так, однако, что разность все еще такова, что им ее не осилить: тому и другому тяжело и невыгодно, а желательна сделка ради знакомства и других добрых чувств. Вот тогда-то эта разность оказывается «грехом», в смысле помехи, которую и решаются, с обоюдного согласия и по взаимному уговору, рубить на две равные половины, как бы бревно или полено, попавшие под ноги и мешающие ходу.

Таково самое простое, всем известное толкование этого выражения. Нередко каждому доводилось даже применять толкование его на деле, но у нас имеется про запас другой повод, чтобы указать иные применения гре-

ха пополам. В народной русской жизни здесь важно то, что этот обычай перешел в судебное разбирательство при исках и тяжбах: суды решают платить ответчику только половину той суммы, которая с него ищется. Так на Дону у казаков и таких же сибирских казаков (иртышских). Во-вторых, этот обычай упоминается еще в эпических песнях. Так, например, Илья Муромец говорит своему крестному отцу:

Батюшка крестный Самсон Самойлович,
Покажи ты половину греха на меня.

У донских казаков в случае погибели скота во время езды, пастьбы или в случае недостатка доказательств для решения спора станичный суд определяет платить ответчику только половину той суммы, которая с него ищется.

В КРАСНУЮ СТРОКУ —

говорят, диктуя пишущему. «Начинать с красной строки, писать в красную строку».

«Ярославские епархиальные ведомости» приводят любопытные сведения о значении этих обоих слов, рассказывая о том, как у нас в старину переписывали книги.

Приступая к переписыванию, писец возносил к богу молитву о благополучном окончании предпринятого труда. Некоторые книги писались в течение двух-трех лет. Летопись, около ста восьмидесяти листов, написана монахом Лаврентием в 1377 году в семьдесят пять дней, то есть по два с половиной листа в день. Еще медленнее писалось Остромирово Евангелие, хранящееся теперь в Петербурге, в Императорской Публичной библиотеке: оно писано на пергаменте двести три дня, то есть по сто строк в день. Принимаясь за переписывание книги, писец для ведения строк в равном одна от другой расстоянии, проводил на бумаге прямые параллельные линии. Писали крупно — уставом или мельче — полууставом, и буквы ставили прямо. Каждую букву писали в несколько приемов. На каждой странице оставляли широкие «берега» во все стороны, то есть поля. Чернила употреблялись железистые, сильного раствора, глубоко проникавшие в пергамент. Удивительно, что цвет чернил большинства старинных рукописей сохранился до сих пор: они не выцвели. Смотря по уменью и усердию, книги писались весьма различно. Заглавные буквы писа-

лись красными чернилами, киноварью; отсюда — название «красной строки». Иногда заглавные буквы затейливо украшались золотом, серебром, разными красками, узорами и цветами. В орнаментацию русских рукописей, преимущественно заглавных букв, входили разные фантастические существа: чудовища, змеи, птицы, рыбы, звери и т. п. В начале каждой главы или в конце помещалась заставка, нарисованная сложным узором.

ГОЛ, КАК СОКОЛ

Кому только не приравняли совсем бедного, бездомного, неодетого и необутого человека! Говорят: гол, как осиновый кол, как перст или бубен, как сосенка. Такие уподобления, взятые для примера, наглядны и весьма понятны и в пальце, скудно прикрытом волосами, и в бубне, обечка которого нарочно обтягивается сухой кожей, тщательно очищенной от шерсти («Тяжбу завел — сам стал, как бубен, гол»). Если всем хвойным деревьям судила природа смотреть вершинами только в высокое небо, то сосне заказано это строже других. Исполняя такое назначение, сосна стремится охотнее ели занимать самые возвышенные места, обрастает все горы своей семьей, борами, и не любит соседей. Она глубоко, как редька, пустила свой корень в сухую, большею частью песчанистую землю, но затем растеряла все ветви почти вплоть до вершины и густо скопила их только здесь в виде шапки. Большая часть ствола этих высочайших деревьев во всем свете является совершенно голою и такою же стройною, как все столь прославленные южные пальмы. На просторе, который сосна очень любит, древесный ствол высоко очищается от сучьев, потому что сосна сбрасывает отмирающие сучья и в молодом возрасте дает самые длинные, крепкие и голые жерди. Словом, все эти принятые в разговорном языке сравнения и уподобления с полным правом пользуются общим кредитом. Их довольно бы, но почему-то понадобился еще сокол — хищная птица, один из известнейших тиранов воздушного царства.

Природа снабдила сокола грозными орудиями, настолько надежными, чтобы быть ему сытым и не линять от недостатка пищи. Серый глаз с острым, холодным и жестким взором, угрожающий погиб клюва, расставленные люто когти — все это признаки могучего силача. Он по природе опытный воин: неподвижно покоится он в

прозрачном воздухе, но его пронзительный взор видит всё пернатое царство. С быстротою молнии, как всякий хищник, он падает на жертву и, как гастроном, медленно наслаждаясь, высасывает ее теплую кровь. Сокол еще, сверх того, обучается бить на лету особым, любимым охотниками, приемом: он сперва подтекает под намеченную жертву, взгоняет ее, испуганную, ввысь, потом сам выныривает сзади и, взмахнувши крыльями, взлетает вверх и тотчас опускается в то самое время, когда испуганная птица падает как бы с последнею надеждою на спасение. Он, как живой нож, быстро распарывает ее, перерезая горло, и пьет кровь не так, как ястреб, который щиплет куда ни попало, а как запойный пьяница.

Этот-то своеобразный полет и оправдывает ту ходячую поговорку, что «видно сокола по полету, как доброго молодца по ухваткам». На длинных и широких крыльях, подобно орлам, сокол показывает всю силу величавого стремления и поразительную красоту парения. Как рыба в воде, он парит в воздухе, как бы покоясь на незримом облачном столбе, и сам воздух стремится к нему навстречу целыми потоками, ищет и окружает его, проникает в него, подымает и носит.

Оперён сокол так же, как и все летающие птицы, представляя в воздухе непроницаемое целое из бородок перьев, переплетенных между собою. При этом он свободно и красиво плавает в воздушном пространстве, и вся фигура его отличается теми же мягкими контурами, которые при ярких цветах, вообще предназначенных всем хищным птицам, делают из сокола красавца. За это его восхваляют и в песнях, и в пословицах, и в поговорках. Для русского доброго молодца нет лучшего уподобления и наибольшей похвалы. Зачем же этой красивой птице придается такая несчастная, унизительная прибавка, какая указана нами в заголовке? Если сталось так по набалованной привычке к приятному для уха созвучию, то отлично выручает и заменяет кстати подслужившийся и успешно выполняющий свою службу осиновый кол.

Действительно, мертвенно гол и гладок другой «со́кол» — одно из старинных стенобитных орудий, которое обыкновенно выливали из чугуна, подвешивали на железных цепях и ломились им во всякую стену, каменную и деревянную, с большим успехом. Если изловчались придвинуть сокола к воротам, то и от железных створов летели только осколки да куски. Это — то же

тяжелое бревно, окованное на одном конце и называвшееся также тараном или, еще проще, бараном. Под именем сокола идут и большие ручные ломы, которыми обычно ломают и гранитные камни и каменную соль. Ручная баба, или трамбовка вроде песта,— тоже сокол, в работе и от нее не только голый, но и ясный сокол.

ГОРОХ ПРИ ДОРОГЕ

Незавидна участь людей богатых, но тороватых и тех смиренных бедняков и бедовиков, которых всякий готов обидеть, подобно участи всем известного, а русским людом любимого стручкового растения и плода (pisum), называемого горохом, когда он посеян подле проезжей дороги. «Кто ни пройдет, тот скубнет (ущипнет)». Тогда, ввиду очевидного соблазна, зачем же и сеять его на видном месте (он и так оттеняется в поле своею веселою и густою зеленью); зачем и оперять его, утыкая хворостом? Пройдет мимо один зоркий прохожий, нащиплет целую китину (охапку), прижмет левой рукой под мышкой, правой начнет пощипывать и шелушить.

Для разрешения вопроса приходится идти в давнюю старину, когда расселялся православный русский народ по лицу родной земли своей. С готовым запасом, на шитых плотах и в долбленых комягах плыл он по рекам, но попадал в межиречьях на волока. По таким надо уже было тянуться сухопутьем, подвергаться опасностям долговременного безлюдья, испытывать тяжелые беды от захватов в пути неожиданно нагрянувшими холодами и видеть ежечасно впереди самую жестокую и тяжелую смерть от голода. Она, впрочем, и не медлила там, где сами на нее шли и доброй волей напрашивались. Сколько же смертей постигло русских людей на то время, когда они клали тропы по непролазным северным лесам, торили пути по диким и совершенно безлюдным и обширным пустыням холодных стран и проложили такую длинную, неизмеримую дорогу, как та, которая увела в Сибирь! Она помогла от домашнего бесхлебья родины расселиться по тамошним девственным местам и на благодарной почве. Конечно, по людской молве, а в иных случаях на крик бирючей по базарам и торжкам, расхваливавших новые места и суливших всякую на них благодать, снимались охотники с родных насиженных гнезд семьями, артелями. В горячее время переселений (в начале XVII века), когда достигли обратные хвалеб-

ные зазывные слухи испытавших приволье вновь открытых мест, шел народ толпами, одна за другой. Передним рядам было худо, задним стало лучше: все приловчились, заручившись мудреным опытом и испытанною наукой. Стало так, как говорится в пословице: «Передний заднему мост». Испытавший беды на самом себе сделался не только опасливым, но и жалостливым для других, вольно и невольно оставляя по дороге следы, приметы и разного рода памятки для руководства.

Указателем пути и вожаком в дороге прежде всего служит звездное небо, и на нем в особенности та звезда, которая раньше всех появляется и позднее других скрывается в той именно стороне, где лежат самые холодные места. Об них же можно наводить точные справки и на древесных стволах, которые с северной стороны всегда обрастают мхом, кутаясь в него, как в шубу. Помогают: и направление течения струй в попутной речонке, и следы ветра, намеченные на снежных сугробах, и множество других признаков, добытых долговременным опытом скитанья по лесам и указанных и доказанных и передовыми пришельцами из русских и давними насельниками тех стран, то есть инородцами. Выручило же главным образом христианское чувство памятования о задних, несомненно неопытных и обязательно страждущих.

В Архангельской и Вологодской губерниях лесные избушки, названные образным славянским словом «кушней» (от кущи),— в Сибири переиначенные в «заимки»,— великие, но мало оцененные пособницы при народных переселениях (особенно первые). Никому они не принадлежат, и неизвестно, кто и когда их срубил, а по заплатам на щелях видно, что их чинил тот, у кого нашелся досуг и топор. Изба стоит без хозяина, заброшенною в лесу, значит, она мирская: забредшего в нее некому выгнать; к тому же она и не заперта. Вместо окон в ней щели, вместо двери — лазейка; печь заменяется каменкой; пазы прогрело солнышко и вытрусил ветер; углы обглоданы и расшатаны. Чтобы вконец не обездолили лютые бури, хижина приникла к земле: на потолки (крыш нет) накиданы каменья и густо навален дерн, даже веселая травка там выросла, и завязались небольшие березки. В такой избушке на курьих ножках, пожалуй, и не выпаришься, хотя она и очень похожа на деревенские баньки, и тепло она держит кое-какое. Нехороша она видом и складом, но зато хороша обычаем. Про бездомного случайного человека в ней всегда ос-

тавляется какой-либо припас — кадочка соленой трески, ведерко с солеными сельдями, голая соль в берестяной коробочке, сетка с поплавками половить свежей рыбы в соседнем озерке или речонке; вместо стакана — выдолбленная чурочка и т. п. Вот и низенькие лавки, где посидеть можно и усталому человеку сладко выспаться. Вот в углу и полочка со старенькой иконой — богу помолиться. Отсиделся здесь некто из передних, ушел — владей избушкой кому надобно. Дай господи повладеть тому, кому доведется отсиживаться от лютых морозов, злых вьюг и проливных дождей. Кто отсиделся, тот поблагодарил тем, что оставил здесь из своих припасов, какие оказались у него излишними и каковыми не жаль поделиться. Кому снова довелось испытать подобное,— поступай таким же образом по вековечным примерам и по правилу, нигде не записанному, но всем известному по наслуху.

В Сибири эта забота об участи отсталых и задних до сих пор, как остаток старины, очевидно сохранилась в полках, приделанных снаружи домов, под кухонным окном. Сюда домовитые хозяйки ставят остатки из съестных припасов для нищей братии и для прохожего человека. В последнее время этим воспользовались беглые с каторги и мест поселения — и добрый обычай оказался вдвойне милосердным и полезным: голодным бродягам нет нужды прибегать к воровству и грабительским насилиям: поешь и проходи мимо. Времена изменяют обычаи, из которых многие стали уходить в предание. Между прочим и горох сеют теперь подальше, особенно на больших и проезжих дорогах, но в глухих местах этот старозаветный прием не покинут. Его еще можно видеть воочью во свидетельство старинной загадки (на церковных богомольцев): «Рассыпался горох на четырнадцать дорог». Там еще поступают даже так, что к посеянному гороху присевают рядом репу, что называется сверх сыта. Пословица вопрошает прямо: «За репу кто хвалится?» — и сама же отвечает ясно: «Репой да брюквой люди не хвалятся». Да и что же в самом деле бывает на свете дешевле пареной репы?

РУССКИЙ ДУХ

Нянина сказка «О царь-девице» восстает теперь в памяти, как вчера сказанная, а из похождений «Ивана-царевича» припоминаются такие картины.

Выехал он из дремучих лесов на зеленые луга и увидел избушку — и в ней старуха. Сидит она на лавке: шелко́в кудель точит, через грядку просни мечет; в поле глазами гусей пасет, а носом в печи поварует.

Говорит она Ивану-царевичу:

— Доселе русского духу слыхом не слыхано, видом не видано, а ныне русский дух в-очью является, сам на́ дом ладом.

Вторая старуха на другом конце в новой избушке говорит по-новому:

— Фу, фу, фу! Досель черный ворон кости расейской не занашивал, а ноне кость в глаза копает (или: в очи вержет)!

Отвечает добрый молодец не очень вежливо, но зато прямо по-русски:

— Дам тебе поушину, будет в спине отдушина; дам в висок — посыплется песок! Ты бы, старушка, не училась много богатыря спрашивать — училась бы кормить да поить, на постелю спать уложить.

Если мы этого доброго молодца сказки приравняем к Илье Муромцу былин, станет ясен нам образ русского колонизатора, ведущего дело с недобрыми лесными силами. Вот смело пришел он и открыто заявил старинным языком о заветном обычае,— все то, что между прочим составляет народный характер и дух в переносном значении этого последнего слова. Не погрешим нисколько, если примем слово это и в том значении, которое придает ему одна поговорка. Она тоже в свою очередь выражает иносказание, говоря, что «от мужика всегда пахнет ветром, а от бабы дымом». Не только внешняя обстановка, но и потребляемая известным народом пища имеет влияние на его животный, специфический запах. Поражают обоняние свежего человека все азиатские народы, пристрастные к употреблению чеснока и черемши, но между ними резко выделяются евреи от цыган, и всякий носит свой особый запах: китайцы и персияне, киргизы и самоеды — в особенности те, которые усвоили ношение шерстяного и мехового платья. В равной степени влияют и ароматические приправы к блюдам, и пахучесть господствующих растений страны и т. п.

Со своей верой, при своем языке, мы храним еще в себе тот дух и в том широком и отвлеченном смысле, разумение которого дается туго и в исключение только счастливым, и лишь по частям и в частностях. Самые частности настолько сложны, что сами по себе составляют целую науку, в которой приходится разбираться

с усиленным вниманием и все-таки не видеть изучению конца и пределов. Познание живого сокровенного духа народа во всей его цельности все еще не поддается, и мы продолжаем бродить вокруг и около. В быстро мелькающих тенях силимся уяснить живые образы и за таковые принимаем зачастую туманные, обманчивые призраки и вместо ликов пишем силуэты. Счастливы мы лишь энергией в усилиях и неустанным исканием той правды, которая, однако, составляет лучшее украшение художественных созданий текущего гоголевского периода литературы.

Если мы пойдем дальше в объяснении того, что значит «по-русски», то лишь с великим трудом можем свести концы: до того своеобразна и самобытна наша родина! И одеваемся мы не так, как другие, и едим не то, что прочие, и даже носим прическу, кланяемся встречному по-своему, а русская печь, в прямом и переносном смысле, печет совсем уже не так, как до сих пор говорят и пишут. Не забудем при этом, что мы переживаем то трудное время именно теперь, когда освежается и изменяется весь налаженный строй нашей жизни. Изменяется не один внутренний быт, но и внешний облик. Та самая прирожденная и коренная старина, которая совсем недавно, едва не вчера, была у нас перед глазами, стала бесповоротно уходить в предание. Даже самое консервативное явление, как народный костюм, сделался игрушкою прихотливой моды. Мы стоим теперь как раз на том круговороте и пучине, где встретились два противоположных течения, и очутились мы на том рубеже, где старая, изъезженная дорога начала уже затягиваться мохом и зарастать травой, а взрытая новая еще не укатана. Такие места, обещая обилие материала для наблюдений, интересны, но самое время переломов и переворотов, увлекающее новизной явлений, нельзя считать особенно удобным. Еще не видать ничего определившегося и законченного. Лишь кое-где по стрежу реки рябят сильные струи, текущие в упор и навстречу, а на полотне дороги засветлели местами уже накатанные, но еще пока свежие колеи.

ПЕСНИ ИГРАТЬ

Когда бродил я во Владимирской губернии, в Вязниковском уезде, по офенским деревням, для изучения быта и для сбора искусственного словаря этих бродячих

торгашей, пришлось недели две прожить в селе Холуе, где пишут иконы яичными красками. Меня начала там одолевать скука. Я повадился ходить на мельницу на реке Тезе, где молодой парень мельник, проторговавшийся на мелком товаре, охотливо за штоф пива сказывал офенские слова новые и исправлял прежде пойманные и записанные. Раз он пожалел меня:

— Ты что в кабак не зайдешь? Скучно тебе! А там чудесно «песни играют». Теперь офени, перед нижегородской ярмаркой, домой поплелись: каких только песен они из разных-то мест не натаскают! Друг дружку перебивают, друг перед дружкой хвастаются. Расчет получили — им весело. Сходи в кабак!

На этот раз впервые остановилось мое внимание на странном выражении «играть песни», когда они в самом деле поются. Слышалось это выражение и прежде, но, по обычаю, бессознательно пропускалось мимо ушей, хотя в этой упорно неизменной форме оно настойчиво повторялось всюду в иных местах.

Когда архангельский Север развернул свою многообразную и многострадальную жизнь и потребовал вдумчивых наблюдений, напросилась и песня, тогда еще там не совсем испорченная. Местами, в виде обрывков, она была на устах и в действии, вызывая игру и требуя движений. Хотя к балалайке успела уже, для голосовой поддержки, пристроиться привезенная с Апраксина рынка гармония, но еще можно было слышать в перебое ее хриплых тонов сиповатые звуки извековной дуды — «сипоши», которая в Поморье так и называлась («сиповкой»).

Первая «игра песен», которую довелось наблюдать, были «вечерковые», или, по времени года, святочные. В тесной и душной полутемной избе разыгрывался «заинька», сохранившийся с глубокой старины, заманчивый своей классической простотой, повсюдный и любимый до докучливости, немудреный напевом, небогатый вымыслом: «Где ты был-побывал?» Что бы ни рассказывал про него ответный хор, взявшиеся за руки пары молодцев и девушек неустанно кружились; при конечном стихе кружились еще быстрее, подпевали возможно скорее и живее, почти бормотали. За «заинькой» играли «старицу». На сцену выходила девушка и садилась в кругу хоровода. Парень ходил кругом и пел: «Вкруг я келейки хожу, вкруг я новыя хожу,— младу старицу бужу: спасенная душа, встань, встань: к заутрене звонят, на сход говорят». Старица отвечает с целым хором: «Не могу я

встать, головы поднять: голова моя болит, грудь-сердечушко щемит».

А вот когда певец рассказал ей, что миленький идет, гостинцы несет, она вскакивает с места и поет вместе с хором: «Уж и встать было мне, поплясать было мне». Затем снова быстрое кружение и веселый припляс в виде новгородского «бычка», подмосковной «барыни», малороссийского «журавеля» и всероссийской «камаринской». И эта «старица» кончалась поцелуями. Таков же и «голубь», с одним различием, что стоящие друг против друга пары целуются все вместе одновременно. Да такова и почтенная более глубокой стариной «Как со вечера цепочка горит». Эта песня начинается плавным пением, а кончается круженьем, щелканьем языком, свистами и топаньем каблуками, когда девица решилась сойти с терема, соблазнившись тем, что «на улице сушохонько, в переулочке темнехонько, что башмачки не стопчутся и чулочки не смараются».

С такими любовными играми, как с самыми поцелуями, на которые по пословице, «что на побои нет ни весу, ни меры», можно было бы не кончить, если бы эти самые обрядовые и открытые знаки любви и привета не приводили прямо к своей цели. Близость мясоеда, пригодного, по досугу своему, для свадеб, объясняет и оправдывает старинный обычай. На смену его выступает целый ряд настоящих «действ» со сговора до венца, полное сценическое представление с начала до конца, когда «играют свадьбу». Здесь только одними песнями и объясняется символическое значение свадебных обрядов, а зато и эти самые песни не столько разнообразны, сколь чрезвычайно многочисленны. И здесь уже ясно видится несомненный, бережно сохраненный, след дохристианского обряда, потребовавшего так же, как и все, песенной помощи. Воспевают любовь в весенних хороводах, и в старинных (теперь полузабытых и даже изуродованных) можно было видеть представление полной деревенской свадьбы с выбором невесты и отдельно жениха, с последующими семейными раздорами и расчетами. И «сеяли просо», чтобы разыграть заключительную сцену похищения, «умыканья» невесты, как драматический бытовой эпизод; он до сих не утратил во многих коренных русских местностях своего доисторического значения. И «плавала по морю белая лебедушка, пленяя сизого селезня», чтобы справлял весенний хоровод свою вековую службу для выбора невесты, заплетался бы плетень на союз да любовь, и завершался

запечатывался невинными и откровенными поцелуями, это согласие суженой на зимних вечорках, чтобы вступить затем в целый ряд «свадебных игр». Для этих предвенечных действ на родном языке и нет уже иного названия. Безуспешно истомились здесь благочестивые ревнители веры, искоренявшие языческие обряды, проповедники живого слова и составители Кормчей книги, воспрещавшей дьявольские песни и бесовские игрища [1]. Тем не менее свадебные недели и теперь заключаются языческой масленицей, с катаньем целыми поездами и заключительным сожиганием чучелы. Таково положение песенного дела в Великороссии. Когда привелось перенести наблюдения в более древний и совершенно противоположный русский край, какова Белоруссия, оказалось не только то же самое, но и в более целостном и обширном развитии. Оказались в лицах и «женитьба Терешки», и выдача невесты за немилого, и мак на горе, требующие сценического представления, или что называется там «танок» (пляска, танец). Когда зажинают хлеб и когда отжинают его, совершаются полные священнодействия, сопровождаемые переодеваньями и целым циклом пьес, которые и приурочиваются к обычному времени и играются только тогда и ни за что ни в какое другое. Там даже и письменные записи со слов знающих чрезвычайно затруднены именно тем, что белорус становится в тупик при требовании песни в сухом пересказе. Он понять не может, чтобы песню можно было снять с голоса и вести ее рассказом, как сказку, да притом еще так, что при этом отсутствует вся приличная и обязательная обстановка: хоровая поддержка и образное пояснительное представление в лицах. Доводится не выслушивать с глазу на глаз, а прислушиваться, выжидая поры-времени, когда вживе и въяве развертываются живые картины в движении и действии в той веселой обстановке, которая обрисовывается словами великорусской пословицы: «Песни играть — не поле орать».

---

[1] Известная, даже слишком популярная игра песни, или, вернее, сочиненного романса «Вниз по матушке по Волге», с хлопаньем в ладоши сидящих друг против друга на полу, в подражание ударам весел, с атаманом, расхаживающим между рядами и прикладывающим кулак к глазу при разговоре с есаулом о погоне, доказывает то же стремление к изображению песенного смысла в лицах. К сожалению, излюбленная песня эта — не народная, и самое представление, приделанное к ней, вышло из солдатских казарм по следам «Царя Максимилиана».

ЗА ПОЯС ЗАТКНУТЬ

Несмотря на всем известную простоту и ясность этого выражения, употребляемого иносказательно в смысле быть доточником, или мастером своего дела, самое значение пояса невольно останавливает нас для кое-каких заметок. Мы не историю пишем, а потому не будем говорить о том, как в отмщение за позор и бесчестье по поводу сорванного пояса на свадебном великокняжеском пиру (с Василия Косого) поднялась война, имевшая следствием свержение с престола побежденного великого князя Василия Васильевича Темного. Словом, мы не будем объяснять исторического значения русской подпояски, так как за нею есть и другие достоинства. В самом деле, можно ли найти и указать, даже в настоящее время, хотя бы на одного простого русского человека, вышедшего из деревенской среды, который не имел бы на себе подпояски или пояса? Даже в тех случаях, когда городские обычаи заставляют надевать немецкое платье, деревенская привычка, скрытно для посторонних наблюдательных глаз, остается нерушимою и святою. Святым считается это непременное обязательство в силу того, что при святом крещении всякий православный младенец опоясывается, при молитве о препоясании силою, ленточкой или шнурком по рубашке. Ходить без пояса по рубахе считается основным и тяжелым грехом, хотя и допускается в некоторых редких случаях неимение опояски сверх кое-какой мужской верхней одежды, например кушака или подпоясника, то есть ремня с набором или пряжкою. Отсутствие этой туалетной принадлежности возбуждает у самых простых людей серьезное недоумение и вызывает искренние насмешки. Ни одна догадливая и любящая мать не пустит своего парнишку, рассеянного и необрядливого, без пояса на улицу в силу издавна укоренившегося поверия о порчах сглазу. И по пословице: «Рассыпался бы дедушко, кабы его не подпоясывала бабушка». У русских людей, наиболее преданных заветам старины, как, например, у раскольников, этот обычай получает даже строгое мистическое значение. Так, при молитве, налагая истовый размашистый крест во всю длину вытянутой руки, нельзя класть этого знамени поперек, то есть опускать ниже пояса. За крестным знамением следует и малый начал, или поклон святым иконам, опять-таки поясной, то есть во всю спину. Уверяют при этом, что в старых людях, особенно принадлежащих беспоповщинским сектам, со-

хранилось поверие о делении человеческого тела на две половины: верхнюю — чистую, где помещается душа и сердце, и нижнюю — нечистую, где орудие плоти; «все мы по пояс люди, а там — скоты». Во всяком случае каждая русская женщина имеет пояс, шерстяной, шелковый, бумажный или плетеный нитяный домашнего дела, поверх сарафана, а в жаркое летнее время, при спешных работах в поле, пояс переносится прямо на рубаху. Заткнувши за этот пояс полу рубахи, сбоку, работающая, как вол, и сильная русская женщина еще с большею легкостию, с усердием и без помехи, отправляет свой честный труд поистине в поте лица своего. Даже и самая крестьянская нужда и деревенское горе являются в наглядном представлении не иначе, как подпоясанными, хотя бы на этот раз и лычком. По длинной, до самых пят, белой рубахе подпояска, на левом плече серп, в руке ведерко с квасом, под правой мышкой охапка сжатых колосьев — вот и жнея. Обе рукавицы, заткнутые обоими большими пальцами за кушак спереди, и кнут, круто заткнутый сбоку, немного взад,— вот и удалый ямщик, поблекший уже на красивом фоне картин русского быта, стираемый с лица земли обер-кондукторами и изгоняемый кочегарами в засаленных и чумазых блузах. Топор назади, наискось по спине, закрепленный в петле кушака, означает плотника, приметного и Петербургу ранним утром, с восходом солнца, и вечером, перед закатом его: нарубился, натесался, заложил топор за пояс так, что лопасть с лезом и обух с проухом пришлись снизу кушака, острием к земле, а деревянное топорище просунулось вверх к левому боку,— плотник теперь пошел спать и отдыхать. Обязательный обычай и прием при употреблении подпоясанного одеяния, конечно, вызвал и такие промыслы, которые удовлетворяют этим насущным потребностям. Не говорю о кушаках, для которых на Руси — в разных местах мастеров очень много, но и такая мелочь, как узенькие пояски, обратила на дело ремесла очень многих. Очень славятся пояски тагайские, из симбирского села этого имени, и промзинские, той же губернии Алатырского уезда (указаний на другие местности мы не имеем). Богатые семьи покупают шерсть, прядут, красят и потом раздают бедным женщинам на дом для плетенья. Такой шерстяной пояс продается не дороже двух копеек. Но ничего не может быть приятнее покупки на монастырском празднике или ценнее подарка знакомой богомолки, удостоившейся сходить к соловецким угодникам

или киевским чудотворцам,— именно в виде подобного пояска, изделия монашеских чистых рук. Как известно и видно из вышеприведенного указания, эти руки отбили от мирян промысел изделиями столь нужного и распространенного предмета. В больших монастырях продажа поясов составляет изрядную статью дохода, крупнее всех для киевского Михайловского монастыря с мощами Варвары-великомученицы. Эти пояса в особенности почитаются в народе вместе с медными и серебряными колечками, полежавшими у мощей в раке святой; ими богомолки в свою очередь весьма с выгодою поторговывают, не без обычных обманов подделками. Особенно заманчивы и прекрасны, на девичий взгляд, шелковые пояски с вытканными молитвами — рукоделье женских монастырей: «По поясу-то пояски, а по пояскам-то поясочки (полоски) и слова молитовки нанизаны! И сколько тут много всякой благодати и спасенья!»

СПУСТЯ РУКАВА

Таким чрезвычайно распространенным выражением либо хвастаются ввиду легкой и хорошо знакомой работы, либо исполняют обыкновенную или трудную неохотно, небрежно, кое-как, чтобы только сбыть ее с рук и убежать. «Бегать же с засученными рукавами» — совсем уж ничего не делать, а просто суетиться, зачастую мешая настоящим делателям. Не попало для разъяснения это изречение в ряд других, потребовавших по личному убеждению или по подсказу посторонних лиц,— не попало в первое издание этой книги по своей простоте и очевидному смыслу. Рецензент ее указал на это обстоятельство как на существенный пропуск, предупредив замечанием, что выражение обязано своим происхождением истории и что здесь подразумевается «древняя одежда с длинными, спускавшимися до земли рукавами, заимствованная от татар» [1]. На это могу сказать в тоне самого рецензента: «пора перестать верить» или, лучше сказать, злоупотреблять ссылками на татар и их влияние в разнообразных заимствованиях, воплотившихся в русскую речь и народный быт. «Отошла пора татарам

[1] А терлик (несомненно монгольское слово) — самая употребительная и обычная одежда удельных князей и московских царей? Кашинский князь пробежал мимо Твери в одном только таком терлике — халате, похожем на узкий кафтан, почти без сборов. Но он был узкий и имел короткие рукава, даже и впоследствии в одеждах московских царей из дома Романовых.

на Русь ходить»,— говорит историческая пословица, применимая в настоящее время, когда позднейшие исследования отбили у татар не только много слов, якобы от них полученных, а между ними оказались половецкие, а кнут даже немецким, но еще большее число обрядовых частностей в жизни, до затворничества женщин включительно. Длинные рукава мы видели в зимнее время и на Амуре у манчжур и китайцев, выдумавших меховые маленькие наушнички, но еще не знакомых ни с рукавицами, ни с перчатками. Озябли руки — китаец спустил загнутый рукав и греется. Неужели нужно было прийти татарам на Русь, чтобы научить бороться с лютыми морозами, оберегая зябкие конечности? Старинные «теплуги», хотя бы в виде шубы, а в особенности полушубка, наиболее удобного для работ, сшитого в обхват и покороче, имеют в рукавах ту особенность, что они кроятся узкими, но длинными, или, говоря обычным выражением народным, долгими. Делается так с расчетом на запас для набора в сборки к плечам (в полушубках) или чтобы засучивать, отвертывая края (в шубах). Накатанные и засученные рукава не мешают работе ни в лесу с топором, ни с ухватом у печки. Отработал, спустил рукава, стал отдыхать. На рукавицы (кожаные голицы с шерстяными варежками) нет прямых указаний в древних актах, но «перстатые» рукавицы (перчатки) привозились из-за границы, как видно из договоров с ганзейскими немцами. Коренной русский сарафан (встарь бывший мужскою одеждою) у женщин потребовал на рубахах длинных рукавов во весь стан и тоже для набора в сборки ради удобств, а для красоты женские рукава шьются широкими. Таковою изображена на картине, приложенной к Святославову сборнику, сама княгиня и та женская фигура, которая изображена на новгородской иконе в часовне Варлаама Хутынского. Такие же вздутые рукава рубах при безрукавных телогреях и шугаях на борах сзади представляют бесспорное русское одеяние, какого нельзя уже нигде больше встретить. При всей наклонности к подражаниям, под увлечением модой, при всей слабости к заимствованиям, исторически доказанным борьбою духовенства и властей с нововведениями в обычаях и одежде, не все взято у татар, не все можно им приписывать. Даже крутой и настойчивый Петр Великий принужден был уступить. Так, например, одевая Русь в немецкое платье голландского покроя, сибирским жителям, «ради их скудости», дозволил он оставаться в прежнем платье.

НЕ ВОВРЕМЯ ГОСТЬ

Извековный прадедовский закон велит всякого пришедшего в дом, хотя бы и незваным, посадить и зачесть дорогим гостем, а если найдутся в доме запасы, то и угостить. Запасливость, впрочем, не обязательна: требуется лишь радушие, ласковое слово, добрая беседа: «Не будь гостю запаслив — будь ему рад». Конечно, приятно, если пожаловал добрый человек в то время, когда в доме скопились запасы, и обидно и досадно, если он посетит в то безвременье, когда скопленное и храненное все до остатка истреблено. А то недоброе, с сердцов выговоренное изречение, что не вовремя (пришедший) или незваный гость хуже татарина, явно народилось в живой речи в те времена, когда Русь находилась под татарскою властью. Покорители не щадили побежденных, и еще Плано Карпини, посещавший татарские улусы в XIII веке, заметил в этом народе непомерную гордость, ярко высказывавшуюся презрением ко всем другим народам, страшную жадность, скупость и свирепость: убить человека им ничего не стоит. Всякий татарин, если ему случится приехать в подчиненную страну, ведет себя в ней как господин: требует всего, чего только захочет. Наши летописи полны рассказов о притеснениях татарских баскаков и о жадности ханских придворных. Вообще насилие у них преобладало над обманом даже в торговле. При встрече и столкновении с такими степными нравами Монголии, какие сохранились в татарах до конца их исторического поприща, русские люди невольно, с грозным принуждением, привыкли всякого татарина, пришедшего в дом, считать властным гостем, всегда незваным и всегда не вовремя. Извратилось понятие о госте и самое хлебосольство утратило добрые черты, когда, с появлением татар, во многом изменились самые условия жизни и произошло огрубление нравов. Дикому произволу и неудержимой разнузданности этих новых хозяев Русской земли некоторыми нашими историками (как К. Н. Бестужев-Рюмин) приписывается небывалое явление в бытовом строе народной жизни — затворничество женщин и у достаточных классов постройка теремов. В условия, на которых татары принимали в подданство какой-нибудь народ (по завещанию Чингисхана), входило, между прочим, брать десятого отрока или девицу, отвозить их в свои кочевья и держать в рабстве. На этом же сильном праве, конечно, основались и злоупотребления. Вот почему зажиточные люди стали

запирать жен и дочерей, будучи вынуждены обычаями самих татар, считавших все на Руси своим, увозить чужих жен и похищать девиц. С извращением и порчею нравов, об руку с ними, естественным образом охладели мягкие отношения к гостю и резко изменились самые представления о нем. Стали говорить: «Гость на двор — и беда на двор; гости навалили, хозяина с ног сбили; и гости не знали, как хозяина связали; краюшка невелика, а гостя черт принесет — и последнюю унесет» и т. д., почти все в этом смысле.

ЩЕЛКОПЕР

Щелкопер — довольно известное укоризненное или бранное слово, недавно лишь утратившее живой корень своего происхождения. Оно, ввиду многих однозначащих и новых, начинает выходить из употребления с тех пор, как перестало быть и казаться совершенно понятным, даже до очевидности. По объяснению Даля, это — пустой похвальбишка (бахвал) и обирало, а по Гоголю — достойный презрения ничтожный человек, шатающийся без дела, скалозуб, занятый на полном досуге пересмеиваньем чужих недостатков, но сам владеющий в то же время избытком собственных, непризнанный обличитель, в некоторых случаях даже опасный, друг Хлестакова, душа Тряпичкин, бумагомаратель. В бессмертной комедии оба бранных слова недаром вместе и рядом вылетели из уст городничего, возмутившегося до бешеного раздражения; в его время щелкоперы и бумагомаратели уживались в близком соседстве, даже сидели рядом, будучи одной семьи, кровнородственными. До второй половины истекшего столетия пока еще мало были известны и вообще не вошли еще в общее пользование стальные перья, а перья машинного очина доступны были лишь губернским и торговым городам,— казенное и частное письмоводство производилось гусиными перьями. Этот сорт и существовал в продаже пачками, круто перевязанными крепкой бечевкой красного цвета, наподобие сахарной. Каждый писец обязан был выработать в себе уменье чинить перья, и, конечно, не всякому оно давалось, но зато иными достигалось до высокой степени совершенства и поразительного искусства, чему доводилось не только удивляться, но и любоваться. Ловко срежет он с комля пера ровно столько, чтобы можно было надрезать расщеп, и оба раза щелкает.

Повернет перо на другую сторону и опять щелкнет, снова срезавши из ствола или дудки пера именно столько места, чтобы начать очин. Прежде всего, конечно, он вынет из дудки сердцевину, прикинет перо на свет, прищурит глаз, поскоблит обушком ножа цепкую пленку, на ногте большого пальца левой руки отщелкнет в последний раз с кончика расщепа ровно столько, сколько нужно по вкусу любого писца. Перо теперь окончательно излажено «по руке». Отмахнувши кончик бородки, иной для доброго приятеля из той же бородки сделает елочку — и получается готовое оружие для прицелов. Скрипит оно в руках другого умелого мастера, который действует так же, склонив голову набок, откинув глаза в одну сторону, а пожалуй, даже и язык на отброс. До сих пор перо только щелкало под перочинным ножом на весу и на свету — теперь оно заскрипело в упор по белой бумаге. Стало, словом, так, как предлагается досужей загадкой: голову срезали, сердце вынули, дали пить, стало говорить. А затем бумага терпит, перо пишет — на темные глаза деревенского люда, приученного не верить тому, у кого перо за ухом,— пишет про то, что не стешешь или не вырубишь потом топором, и зачастую недоброе на чужую голову. Бывало, старый подьячий — по пословице — «за перо возьмется, у мужика мошна и борода трясется». В эти-то, теперь уже далекие, времена в том многочисленном сословии, которое было вспоено чернилами, в гербовой бумаге повито, концом пера вскормлено, всегда выделялись особые мастера для изготовления готовых чиненых перьев, особенно для сварливых и капризных начальников. Подбирался сюда народ, ни к чему другому не способный, обычно грамоте мало разумеющий и даже в писцы-копиисты не годившийся. В эти самые нижние слои чернильного царства по большей части оседали сыновья местных влиятельных лиц, так называемые матушкины, умственно бессильные, нуждавшиеся в покровительстве сильных и сами охотливые до коренной льготы, предоставленной обычаем всем этим щелкающим, а не скрипящим перьям, быть свободными от занятий далеко прежде других. Они уходили из судов и приказов тотчас, как все требуемое для чернильной фабрики количество чиненых перьев было ими изготовлено. Всякий из таких счастливцев-пустозвонов был свободен снова идти гранить мостовую, зубоскалить в общественных садах и на городских бульварах обижать невинных, задевать бессильных и т. п.

ПРИМЕЧАНИЯ

При подготовке настоящего сборника использованы издания, предпринятые в самое последнее время: *Максимов С.* Избранное. М., Советская Россия, 1981. Подгот. текста, вступ. статья и примеч. С. Плеханова; *Максимов С.* Год на Севере. Архангельск, Северо-Западное книжное издательство, 1984. Подгот. текста, вступ. статья и примеч. С. Плеханова; *Максимов С.* Куль хлеба. Изд. 2-е. М., Молодая гвардия, 1985. Научно-текстологическая подготовка и примеч. С. Плеханова.

Некоторые незначительные сокращения обозначены отточием в угловых скобках <...>.

Из книги «Лесная глушь»

Крестьянские посиделки в Костромской губернии

Впервые опубликовано: Библиотека для чтения, 1854, т. 123, кн. I.

Интересно прежде всего включенной в него записью народной, имеющей антикрепостнический характер, сценки «Барин голый и Афонька новый». Запись является одной из первых, известных науке.

«Извозчики»

Впервые опубликовано: Библиотека для чтения, 1854, т. 124, кн. III.

«Швецы»

Впервые опубликовано: Библиотека для чтения, 1854, т. 124, кн. II.

Очерк, помимо самостоятельной его ценности, интересен также сказкой о портном, включенной в текст. В своих многочисленных путешествиях по России С. В. Максимов записал много сказок, составивших сборник, но не делал попыток его издания. Недаром известный собиратель фольклора П. И. Якушкин называл имя Максимова в ряду крупнейших знатоков и собирателей фольклора, тех, кто служил национальной культуре «только бескорыстно и не для прославления своего имени» (*Якушкин П. И.* Сочинения. СПб.,

1884). Именно ему С. В. Максимов передал записанные сказки. К сожалению, Якушкин потерял сборник.

«Сергач»

Впервые опубликовано: Библиотека для чтения, 1854, т. 128, кн. XI.

Очерк о вожаке медведя привлек особенное внимание читателей и критики. По свидетельству биографа С. В. Максимова П. В. Быкова, правдивостью, красочностью и обилием интересных деталей он очень понравился И. С. Тургеневу, который пригласил к себе начинающего писателя, поощрил его на дальнейшую деятельность, ввел в литературные круги и посоветовал: «Ступайте в народ, внимательно наблюдайте, изучайте его на месте, запасайтесь свежим материалом!» И. С. Тургенев познакомил С. В. Максимова с редакцией «Современника», поместившего в журнале (1854, № 12) рецензию И. И. Панаева, который писал: «В своем рассказе г. Максимов обнаружил значительную и ловкую наблюдательность и умение владеть простонародным языком, умение, которое дается не легко и не каждому. Г. Максимов идет по пути, проложенному г.г. Далем и Григоровичем, и является достойным учеником этих двух писателей, разрабатывающих русскую народную жизнь. Мы сожалеем только об одном, что этот рассказ может пройти незамеченным, потеряться в груде итальянских романов с восклицательными знаками, остроумных повестей, называющихся трогательными, к которым больше шел бы эпитет забавных, критики и другого литературного материала в этом же роде.

Рассказ г. Максимова резко отличается во всей ноябрьской книжке „Библиотеки для чтения"».

Очерк содержит одно из первых и подробных описаний «медвежьей комедии», сценок, разыгрываемых вожаком с медведем.

«Дружка»

Впервые опубликовано: Библиотека для чтения, 1855, т. 129, кн. II.

«Встреча»

Впервые опубликовано: Библиотека для чтения, 1855, кн. VI.

Имя Папулина, земляка писателя и приятеля его отца, «грибного короля» города Судиславля, встречается и в последующих произведениях С. В. Максимова. Купец, богач, составивший состояние на скупке и обработке грибов. После организованного им похищения иконостаса и настенных украшений старинной церкви в Сольвычегодске он был осужден в 1846 г. и сослан в Соловецкий монастырь (см. «Год на Севере»). Будучи на Соловках, С. В. Максимов пытался добиться встречи с ним, но получил отказ.

«Бульня»

Впервые опубликовано: Библиотека для чтения, 1855, т. 134, кн. II.

Значение этнографическое, по выражению А. Н. Пыпина, приобретали такие, как этот, очерки Максимова. Точное знание всех процессов производства льна и льняных тканей, глубочайшее знание экономики крестьянской семьи, удивлявшее уже его современников, продемонстрировано в этом произведении наглядно и вполне конкретно.

«Колдун»

Впервые опубликовано: Библиотека для чтения, 1857, т. 143, кн. XI.

Интересно уникальным в художественной литературе изображением передачи «колдовской науки» старым колдуном новичку, стремлением передать психологическое состояние старого «колдуна» и его ученика во время передачи «ведовской» силы.

Из книги «Год на Севере»

(СПб., 1859; 2-е изд. — СПб., 1864; 3-е изд. — СПб., 1871; 4-е изд. — М., 1890; 5-е изд. — Архангельск, 1984).

Публикуемые очерки впервые были напечатаны в журналах «Морской сборник», «Библиотека для чтения», «Сын Отечества» и др. в 1857—1859 годах, на материалах, собранных Максимовым в литературной экспедиции.

В официальном предписании морского министерства, определявшем программу действий участников литературной экспедиции, им предоставлялась определенная самостоятельность в следующих выражениях: «Морское начальство, не желая стеснять таланта, вполне предоставляет Вам излагать Ваше путешествие и результаты Ваших наблюдений в той форме и в тех размерах, которые покажутся наиболее удобными, ожидая от Вашего пера произведения, его достойного как по содержанию, так и по объему». Вскоре, однако, выяснилось, что обещание свое «не стеснять таланта» командированных литераторов морское министерство выполнить не торопится. К тому времени, когда в «Морской сборник» стали поступать статьи участников экспедиции, на сцену выступил морской ученый комитет, как официальный издатель поступающих в печать литературных и ученых трудов. Позднее С. В. Максимов писал, что морской комитет отдавал предпочтение лишь тем фактам, которые имели «непосредственное отношение к воде и стояли далеко от живой жизни» и что «браковка производилась по-военному, с изумительной самоуверенностью, без справок с желаниями авторов и властною рукою, не признававшей обычных прав сочинителей». Надежда правительственных кругов — в выполнении официального мероприя-

тия опереться на авторитет писателей — не осуществилась. В своей практической работе (сборе материалов, публикации очерков) «командированные литераторы» пошли своим независимым путем, и именно поэтому им пришлось устраивать свои статьи, помимо «Морского сборника», на страницах других журналов. Именно в силу самостоятельности, независимости от морского комитета и морского министерства участников экспедиции она приобрела огромное общественное значение.

Среди многих рецензий на вышедшую в 1859 году книгу «Год на Севере» следует отметить рецензию Н. В. Шелгунова, опубликованную в «Русском слове», в которой она названа «умной, поэтической, талантливой, во всех отношениях замечательной» (1860, № 3). Рецензент «Отечественных записок», признавая несомненный талант автора и бесспорные достоинства книги, выразил сожаление, что автор не объясняет причин многих замеченных им явлений: упадка беломорских промыслов, разгрома в последней войне и др., но что нельзя быть в претензии на него: «Подготовленный путешественник, замечающий характерные интересные явления, подчас не может их описать: само явление если подходит под мысль, то не подходит под перо» (1859, № 12). В «Записках Русского Географического общества» отмечалось, что работа Максимова имеет большую филологическую ценность: автор записал более двухсот терминов, не вошедших в Областной словарь, изданный Академией наук, или слов, известных по словарю, но употребляемых на Севере в особом значении: «Эти слова нельзя не признать драгоценным приобретением не только для филологии, но и для других специальностей».

С. 347. *...московского войска, осаждавшего монастырь с 1667 года по 1677 год.* — Даты, указанные Максимовым, не соответствуют времени осады монастыря, определяемому современными историками с 1662 по 1676 год (БСЭ, т. 24(1), стлб. 454).

—

Куль хлеба и его похождения

Впервые публикация очерков, позднее составивших книгу, началась в 1872 году в журнале «Школьная жизнь» (№ 11—13). Книга издавалась в 1873, 1875, 1881, 1894 годах. В последнее время книга выходила дважды в издательстве «Молодая гвардия» (1982, 1985).

Книга была рассчитана автором на детей среднего возраста, однако она пользовалась большим успехом у взрослых современников писателя.

Значение «Куля хлеба» для наших современников точно и полно определил Почетный академик ВАСХНИЛ, дважды Герой Социалистического Труда Т. Мальцев в предисловии ко второму изданию книги (М., 1985): «Книга его, написанная вроде бы про

всякие детали земледельческого труда и быта, написана вовсе не о том. Ее главный предмет — тысячелетняя культура нашего народа, показанная на хлебном ее „срезе". Больше века минуло со времени первой публикации книжки, а чтение ее доставляет истинное наслаждение и сегодня».

Из книги «Крылатые слова»

(СПб., 1891; 2-е изд. — СПб., 1899.)

Статьи, посвященные толкованию отдельных речений народа, печатались начиная с 1833 г. в разных газетах и журналах («Новости», «Задушевное слово», «Осколки» и др.).

Первое издание книги «Крылатые слова» вызвало резкие отзывы Д. Никольского в «Филологических записках» и академика А. И. Соболевского в «Русском филологическом вестнике». Рецензенты укоряли автора в том, что он мало знаком с историей языка и не пользовался необходимыми источниками, а в том случае, когда пользовался, брал только то, что казалось ему подходящим, умалчивая об остальном. Именно по этой причине в книге наряду с удачными толкованиями, по мнению рецензентов, встречаются малоубедительные, не совсем верные и вовсе ошибочные. Рецензенты упрекали автора также в пристрастии к анекдотам, балагурности речи.

С. В. Максимов отчасти согласился с критикой рецензентов и во второе издание книги внес ряд поправок. Вместе с тем на страницах этого издания он вступил в полемику с Никольским, отстаивая свою точку зрения.

МЕСТНЫЕ И МАЛОПОНЯТНЫЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ

Азя́м — верхняя мужская одежда прямого покроя из домашнего сукна.

Ака́фист — хвалебное песнопенье в честь богоматери, Христа и святых.

Акони́т — цветок, род из семейства лютиковых.

Алибо — или, либо, авось.

Алты́нник — скупой человек, наживающий деньги мелкими барышами, правдами и неправдами.

А́глечкий, англичанин — английская военная эскадра, блокировавшая Белое море во время Крымской войны (1853—1855 гг.).

Андрей Первозванный — 30 ноября по ст. стилю.

Андре́ц — особого устройства телега для перевозки снопов.

Антидо́р — просфора.

Антими́нс — напрестольный плат, в который влагается частица мощей какого-либо святого.

Арги́ш — олений обоз.

Армя́к — верхняя мужская одежда из сукна или шерсти.

Ассигна́ция — бумажные деньги. По старому денежному счету один рубль серебром равнялся $3^1/_2$ рублям ассигнаций.

Бар — песчаное мелководье в устье реки, мель.

Ба́ско — красиво, нарядно.

Бели́ца — женщина, живущая в монастыре и еще не постриженная.

Белу́га — белуха, род тюленей.

Бе́льчатый — бердчатый, т. е. браный, узорчатый, с тканым узором.

Бе́рдо — принадлежность крестьянского ткацкого стана, род гребня.

Бере́мя — ноша, охапка.

Берея́ — женщина, занимающаяся собиранием ягод для продажи или домашнего употребления.

Благова́ть — блажить, дурить.

Благове́щенье — 25 марта по ст. стилю.

Блонь, за́болонь — белый, нетвердый слой коры.

Богома́з — иконописец.

Боле́сть — болезнь.

Большáк — хозяин, глава семьи; большуха — хозяйка.

Борть — пчелиный улей, выдолбленный из цельного куска дерева.

Бочáг — омут, яма, залитая водою.

Булы́ня — прасол-перекупщик, скупавший по деревням у крестьян лен, холсты, пеньку, щетину и т. д. для перепродажи на торгах и ярмарках.

Бурáк — туес, сосуд из бересты.

Бурлáк — рабочий по найму, в частности рабочий, тянувший суда бечевой.

Бурми́стр — управляющий помещичьим имением или назначенный помещиком староста.

Буты́зка, или *буты́рка*, — толстая деревянная ложка, употребляемая бурлаками.

Буя́н — торговая площадь, рынок.

Вáнты — снасти на парусных судах.

Варáка — крутой каменный берег, утес, береговая скала.

Василий Капельник — 7 марта (на севере), 28 февраля (на юге).

Васи́льев вечер — канун Нового года, 31 декабря по ст. стилю.

Васильев день — 1 января по ст. стилю.

Введёньев день, введенье — 21 ноября по ст. стилю.

Велик день, Христов день — пасха.

Великий четвертóк — четверг на последней неделе перед пасхой.

Верея́ — столб, поддерживающий крышу, столбы, на которые навешиваются ворота.

Взвóднишо, взводень — сильное волнение на море.

Вóлок — путь на водоразделе, по которому перетаскивают лодки (и грузы) с одного водоема на другой.

Волокóвое окно — узкое задвижное оконце, через которое в курных избах выволакивался дым, в других случаях оно служило для подачи милостыни.

Вóлоть — льняное полотно.

Вор — изменник, разбойник.

Вóроб — приспособление для размотки пряжи.

Ворóнéц — брус, на котором лежат палати в избе.

Вóтченица — наследница.

Вотяки́ — удмурты.

Впóколоть — насилу, кое-как, переколачиваясь по нужде.

Выводнóе — выкуп помещику за крепостную невесту.

Вы́ть — доля, участок, пай земли; пора, час еды; время от еды до еды.

Вя́зниковцы — жители Вязниковского уезда Владимирской губернии; многие вязниковцы занимались одним из видов отхожего промысла — торговлей вразнос, вследствие чего в некоторых мест-

ностях России коробейников — торговцев вразнос — называли вязниковцами.

Галиот — небольшое купеческое судно.

Гать — дорога, проложенная по болоту, топкому или песчаному месту.

Гилёвщик — участник гиля — скопища, толпы, смуты.

Голбец, голбчик — припечье со ступеньками для входа на печь и на полати, с лазом в подызбицу (подполье).

Голик — веник с обившимися листьями.

Голица — кожаная рукавица.

Голомя — даль морская, открытое море.

Гон — длина пашенной полосы; перегон, расстояние, какое проходят (проезжают) без отдыха (кормежки лошадей).

Гоношить — заботиться, хлопотать о чем-либо.

Гоньба — почтовая повинность.

Горний ветер — ветер со стороны берега.

Гора — берег морской.

Государственные крестьяне — различные группы свободных крестьян: черносошных (сидевших на казенных землях), прежних служилых людей, бывших монастырских и др.

Грохот — больших размеров решето.

Грумант — старинное русское название архипелага Шпицберген, открытого нашими поморами в XV веке.

Грядка — полка вровень с полатями у печи.

Губа — полоса земли, вдающаяся в воду (море, реку и др.).

Гумно — крытый ток, место хранения хлеба в скирдах.

Гузло — гузов, огузок снопа, его низ, комень.

Даве — недавно, некоторое время тому назад.

Дважды принявшие православие — за переход из иудаизма в православие казна выплачивала денежное вознаграждение, чем пользовались некоторые иудеи, несколько раз меняя веру.

Дежа — квашня.

Доброхот — доброжелатель, покровитель.

Доводчик — доносчик, доказчик.

Домашний стан — кросны, крестьянский ткацкий станок.

Домовина — гроб.

Доточник — мастер своего дела, опытный и искусный.

Дресва — крупный песок.

Евдокия — 1 марта по ст. стилю.

Евхаристия — причастие.

Едома — съестные припасы, собираемые как подаяние. *Выйти, ходить на едому, ходить по едоме* — собирать, выпрашивать подаяние.

Ендова — широкий сосуд с носком для разливания напитков.

Жёнка — замужняя женщина.

Живот, животина — домашний скот, жизнь, имущество.

Забвённые места — забытые, глухие.

Загнётка — шесток у печи, место, куда сгребаются угли.

Загóн — пастбище, луг, пажить.

Задвённая — удаленная, задвинутая далеко.

Задёживать — закреплять, привязывать.

Залóм — скрученный пучок колосьев; по суеверным представлениям, колдун мог навести им порчу на хозяина поля.

Замáть — трогать.

Запрёж — до того, прежде.

Зарóд — стог, скирда сена или хлеба.

Зачурáнье — ограждение словом, заговор, нашепт.

Зóбать — хватать, глотать (о птицах обычно).

Зырянин — коми.

Иван Елкин — так в крестьянской среде называли кабак.

Иван-купальник, Купала, иванов день — народный праздник, справлявшийся в ночь с 23 на 24 июня по ст. стилю.

Извóз — крестьянский отхожий промысел по перевозке грузов на своих лошадях, преимущественно зимой.

Икота долит — икота, икотка — распространенная на Севере болезнь, которую приписывали порче.

Ингод — иной, другой год.

Ирмóс — разновидность церковного песнопения.

Испрáвник — капитан-исправник, начальник уездной администрации, избираемый из среды дворян данного уезда.

Кабыть — как будто, будто бы, кажется.

Казáк, казачиха — батрак, батрачка, работники.

Калика — нищий, просящий милостыню пением эпических народных произведений, странник.

Кáменка — банная печь из камней, без трубы.

Камень — Урал.

Камкá — шелковая цветная ткань с узорами.

Канáться — конаться, считаться, кидать жребий; просить, умолять.

Кéларь — монах, ведающий монастырскими припасами.

Киновúя — форма монастырской жизни, определяемая уставом, общежитие.

Киóт — вместилище для икон, 2-створчатая рама с дверцами.

Кистéнь — ручное оружие, дубинка с утяжеленным концом, ядро, гиря на ремне.

Китáйка — гладкая бумажная ткань.

Кúчка, кика — женский головной убор с рогами.

Клобýк — монашеский головной убор.

Коганéц — плошка, лампадка, жирник.

Коллегия экономии — управление бывшими монастырскими землями. В 1774 году монастырские земли перешли в ведение государ-

ства. В 1778 году коллегия была закрыта и экономические крестьяне слились с казенными — государственными.

Кóлок — отдельный лесок, роща.

Колоснúцы — жерди, на которые вешают снопы для просушки.

Колтýн — болезнь волос, которые спутываются и образуют сплошную массу, похожую на войлок.

Комя́га — выдолбленная из ствола дерева лодка.

Кóник — ларец и вместе с тем лавка в хозяйском углу избы.

Коновóдка — двухпалубное судно, приводимое в движение лошадью.

Кóпыл, копылья — стояки с торчащими кверху концами; ряды копыльев соединяют полозья саней и надолбы; ручная прялка или ее часть.

Коргá — подводный камень, риф, мель.

Кóрмщик — управляющий ходом судна, рулем.

Кортóм, кортомá — совместно, артельно.

Кортомúть, картомить — арендовать.

Косáрь — широкий нож с откосом, косой.

Косýля — соха или легкий плуг.

Косéсчатое (окно) — косящатое окно: а) с косяками в отличие от волокового; б) составленное из клинышков слюды.

Котцы́ — плетневый закол, загородка в реке для ловли рыбы.

Кочеды́к — шило для плетения лаптей.

Красные товары — мануфактура, ткани.

Крашенúна — крашеный домотканый холст, обычно синий.

Кузьмúнки — 1 ноября по ст. стилю.

Кýйпога — начало морского прилива, когда водá стоит неподвижно, не подаваясь ни вперед, ни назад; также название осыхающего после отлива морского берега.

Кумáч — простая бумажная ткань, обычно алого цвета.

Кукшúнец — кувшинец.

Кулёма — ловушка на мелкого зверя.

Кут — угол в крестьянской избе: хозяина — у входной двери, хозяйки — у печи.

Ласкóтный — ласковый, заботливый.

Лéстовка, листовка — кожаные четки у старообрядцев.

Летний ветер — южный ветер.

Летняя Казанская — 8 июля по ст. стилю.

Лётошний — прошлогодний.

Лещúться — биться, трепетаться, вскидываться, полоскаться.

Лúсвенка — лестница.

Литúя — богослужение, совершаемое обычно вне храма.

Литургúя — главнейшее христианское богослужение.

Лихвá — избыток, излишек.

Личны́е сапоги — сапоги из простой кожи, смазываемые дегтем или ворванью.

Ловей — тот, кто промышляет ловом птиц, зверей, рыбы.

Ложечная трава — растение из семейства крестоцветных; ложечница арктическая.

Лонись — в прошлом году.

Лопарь — саами.

Лопотина — верхняя одежда.

Лох — отнерестившийся лосось, в данном случае семга.

Луда — каменистый островок, мель, подводные и надводные камни.

Макарьевская ярмарка — ярмарка в с. Макарьеве Нижегородской губернии, с 1817 года переведена в Нижний, но продолжала называться макарьевской.

Марья Египетская — 1 апреля по ст. стилю.

Масленица — языческий праздник проводов зимы у древних славян, приуроченный христианской церковью к неделе перед великим постом.

Матица — поперечная балка, поддерживающая потолок.

Межонные ветры — непостоянные ветры.

Меньшак — младший в семье.

Мировой — мировой судья, в ведении которого находились мелкие уголовные и гражданские дела.

Морда — рыболовный снаряд.

Моторить — тошнить.

Мочка — вычесанный, свернутый и перевязанный пучок льна, пеньки, приготовленный для пряжи.

Мурий — муравей.

Мыт, мыто — пошлина за проезд через заставу, мост, за провоз товара и т. д.

Наветки — намеки, косвенные обвинения.

Навиды — посещение роженицы соседями с гостинцами.

Наволок — мыс.

Накопыльник — горизонтальный брус у саней, соединяющий вертикальные стояки (копылья), вделанные в полозья. *Сбиться с копыл* — потерять правильную нить в жизни. *Ума с накопыльник* — мало ума.

Нали — даже.

Намнясь — на этих днях, недавно.

Начал — у староверов начало молитвы и сама молитва.

Неключимый — непоправимый, неисправимый.

Немчи — немцами поморы называли норвежцев (каинские, каянские) и шведов (свейские).

Новина — все первое в году: первые овощи, хлеб, холсты и пр.; также земля, никогда не паханная или снова заросшая дерном.

Норичная трава — растение, применявшееся как лекарство от конской болезни норицы.

Нуда — немочи, телесные болезни, неволя.

Нужно — бедно, убого, скудно.

Няша — тина.

Обе́тные — давшие обет, торжественное обещание в случае спасения от смерти в море или тяжелой болезни отработать в монастыре бесплатно определенный срок.

Обоко́нки — ставни.

Обо́ры, оборка — завязка у лаптей.

Образ «неопалимой купины́» — икона, которая, по суеверным представлениям, оберегала от пожаров.

Обро́чная статья — деньги, взимаемые за аренду казенных угодий (лугов, пастбищ).

Ови́н — строение для сушки хлеба в снопах.

Одме́н — обмен; ругательство, имеющее основой поверье, что ребенка может украсть нечистая сила (леший, ведьма и др.) и взамен подбросить своего — обменять детей.

Номня́сь — недавно.

Ону́чи — портянки.

Опру́жить — опрокинуть.

Осенняя Казанская — праздник, установленный церковью в честь иконы Казанской Богоматери, якобы способствовавшей освобождению Москвы от польских захватчиков в 1612 году (22 октября по ст. стилю). *Летняя Казанская* — 8 июля по ст. стилю.

Осно́ва — продольные нити при тканье в ткацком стане.

От покрова до зимнего Николы — с 1 октября до 6 декабря.

Ота́ва — трава, выросшая после покоса.

Оче́сливый — вежливый, воспитанный.

Падо́г — батог, палка, посох.

Падь — теснина, ущелье между гор.

Па́жить — луг или поле, на котором пасется скот.

Па́лая вода — движение воды во время отлива.

Па́ля — свая.

Пане́ва — женская шерстяная юбка.

Па́сма — моток льняных или пеньковых ниток.

Па́ужин, па́ужина — еда между обедом и ужином.

Па́хтать — сбивать масло из сметаны.

Пелена́ на иконе — завеса, покрывало.

Пере́ное крылечко — окруженное перилами.

Перу́н — древнеславянский языческий бог грома и молнии.

Пе́стрядь — грубая пеньковая ткань, пестрая или полосатая.

Пи́терщик — крестьянин, мещанин, ходивший «в отход» на заработки, в данном случае в Питер (Петербург).

Плашкаутный мост, плашкотный — мост, сооруженный из плашкоутов — плоскодонных беспалубных судов.

По нау́ке — по наущению.

Побы́вшиться — умереть.

Пова́живать, повадить — потворствовать, приучать соблазнам.

Повалу́ша — общая летняя холодная спальня.

Повете́рье — попутный, благоприятный для парусника ветер.

Пове́ть, пови́т — крытый двор, сеновал.

Пово́й — повива́нье младенца, прием новорожденного; *повитуха* — женщина, принимающая роды, повивающая новорожденного.

Повя́зка — праздничный девичий головной убор.

Пого́ст — церковь с домами попа и причта, с кладбищем.

По́дать с ды́ма — то есть с каждой печи, с каждого двора.

По́дволока — чердак.

Поддру́жье, поддружка — помощник дружки на свадьбе.

По-досельному — по-старинному.

Поду́шный оклад — подушная подать, налог государству с каждого члена крестьянской семьи.

Подторжье — канун базара, ярмарки.

Поды́збица — подполье.

Поезжа́не — родственники жениха в свадебном поезде.

По́жня — сенокосный луг.

Позо́рище — в старорусском языке — зрелище.

По́колоть — нужда, крайность.

Покро́в — 1 октября по ст. стилю.

Полуно́шница — бессонница.

По́мочь — работа всем сельским обществом (миром) для кого-нибудь, обычно за угощение; чаще всего помочь устраивается во время сенокоса, жатвы, строения дома.

По́лба — один из видов пшеницы.

По́лоть — кусок, полоса.

Помеле́диться — почудиться, показаться, померещиться.

Понёва — юбка.

По́низь (поднизь), или *ря́ска,* — жемчужная или бисерная повязка на лбу.

Пони́ток — крестьянское домотканое сукно или одежда из него.

Пора́то — очень, сильно.

По́ртно — льняная пряжа, до́мотканый холст.

Пору́шать — разрезать.

Порядо́вые соседушки — живущие на одном ряду деревенской улицы.

Поса́д — поселение вне города, слобода.

Пота́кнуть — потакать, потворствовать, понравливать.

По́шевни — розвальни, широкие сани.

Правеж — наказание батогами должника с целью принудить его к уплате долга.

Преображенское кладбище — один из центров старообрядчества в Москве.

Призо́р, прико́с — сглаз, порча от дурного глаза.

При́тка, при́тча — болезнь, причиненная, по суеверным представлениям, колдовством.

Притчи́на — причина.

Проко́фий-жатвенник — 8 июля по ст. стилю.

Про́сень, про́стень — веретено с пряжей.

Противня́к — встречный ветер.

Пря́женец — жаренный в масле пирожок, печенье.

Ра́дуница — языческий праздник поминовения умерших на первой неделе после пасхи.

Разболока́ться — раздеваться.

Разде́л делать — производить окончательный расчет.

Ра́менье — мелкий лес, прилегающий к полю.

Распо́п — поп, лишенный духовного чина, расстриженный.

Раши́ва — большое плоскодонное судно.

Ра́товище — древко копья, бердыша или рогатины.

Ревенду́к — толстая парусина.

Рекрутский набор — в XVIII—XIX веках (до 1870 г.) русская армия пополнялась путем рекрутского набора, главным образом из крестьян. Служба длилась 25 лет.

Рога́тина — род копья с двумя заостренными концами.

Ро́сный ладан — пахучая смола.

Ро́сстани — место, где расходятся дороги, перекресток.

Ро́чить — закреплять, свертывать.

Руда́ — кровь.

Руно́, руна́ — косяк рыбы.

Рядно́ — тонкий холст.

Са́лма — прилив.

Само́ед — ненец.

Сбо́йливый — крепкий, плотно сбитый.

Свете́ц — подставка для лучины.

Свя́точные посиделки — вечеринки крестьянской молодежи с танцами, играми, пением, ряжением во время святок, т. е. с 25 декабря по 6 января по ст. стилю.

Сгибень — пирог, вдвое согнутый с ягодами или кашей, или полукруглая булка.

Сергач — вожак медведя.

Сермя́га — грубое крестьянское сукно, а также кафтан из этого сукна.

Сиби́рка — короткий кафтан в талию, со сборами и стоячим воротником.

Сивери́к — северный ветер.

Сиде́лец — продавец вина в кабаке.

Сино́дик — поминальная книжка или тетрадь, в которую заносят имена умерших для поминовения во время богослужения.

След поднимать — вырезать отпечаток ноги человека на земле с целью причинения ему зла.

Сли́тки — спрыски, выпивка на радостях, с поздравлением.

Собачья старость — народное название детской болезни рахита. Максимов изображает суеверный обычай «припеканья огнем» болезни, основанный на вере в чудодейственную очищающую силу огня.

Сопе́ц — руль, правило, кормило.

Со́рок — четыре десятка, счетная единица, употреблявшаяся до десятиричной системы. Особенно долго так велся счет соболиных шкурок.

Соро́ка — волосник, головной убор замужней женщины.

Со́тский — крестьянин, избиравшийся для исполнения полицейских функций в деревне.

Спас — праздновался три раза в году: первый Спас — 1 августа, второй — 6 августа, третий — 16 августа по ст. стилю.

Сре́теньев день — 2 февраля по ст. стилю.

Ставропигиа́льный монастырь — управляемый не епархиальными архиереями, а непосредственно патриархом или синодом и пользующийся особыми привилегиями.

Стано́вище — удобное пристанище для судов; гавань, стоянка; место временного приюта, промысловая избушка.

Ста́рица — монахиня, женщина престарелых лет.

Старый крест — старообрядческий, они крестились двумя пальцами.

Стли́ще — место, где расстилают лен после обмолачивания перед дальнейшей обработкой.

Сто́гны — городские площади и улицы.

Страстна́я — последняя неделя великого поста (перед пасхой).

Ссы́пка — складчина для общего празднества (ячменя, солода и др.).

Сукма́нин, сукма́н — кафтан из сукна.

Сукро́й — крупный ломоть хлеба во всю ковригу.

Сусло́н — составленные вместе снопы на поле.

Съе́мцы — свечные щипцы.

Та́лька — мера пряжи.

Те́плина — огонь в овине.

Тиу́н — судья, управитель.

Ти́финская Пречистая — икона Тихвинской Богоматери.

Торова́тый — щедрый, великодушный, гостеприимный.

Тре́ба — отправление церковного обряда.

Тре́бник — сборник молитв для частного пользования (не для церковного).

Третьёводни — позавчера.

Три святителя — Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, день памяти которых отмечался 30 января по ст. стилю.

Троста́ — камыш, стебли конопли.

Трясца́ — лихорадка, трясучка.

Ты́сяцкий — старший чин в русском свадебном обряде.

Туга́ — горе, печаль.

Тютю́н — табак.

Тябло́ — киот, полочка для икон.

Тя́гло — тягловое положение — рабочая единица в крестьянской семье, состоявшая обычно из мужа и жены или определенного числа трудоспособных лиц. Государственные подати, как и размер земельного надела, определялись по количеству тягол в семье.

Убо́ина — свежее несоленое мясо, говядина, баранина.

Уде́льные крестьяне — крестьяне, принадлежащие царской фамилии и находившиеся в ведении особого ведомства уделов.

Ужи́ще — веревка.

Украина, украйна — окраина; страна, местность, область.

Уповод — срок, определенный период времени от 2 до 4 часов, время работы до отдыха и еды, время проезда без кормежки лошадей.

Ураз — удар, ушиб, рана, увечье.

Уро́к — сглаз.

Уро́чище — так в старину могли назвать отдельный луг, лес, дерево и др.

Уро́чные часы — назначенное время.

Усекновение главы Иоанна Предтечи — 29 августа по ст. стилю.

Успе́ньщица — 15 августа по ст. стилю.

Уто́к — поперечные нити при тканье на кроснах.

Хайду́к — вор, буян, крикун.

Хиротони́сали во епископа — рукоположили, т. е. совершили обряд посвящения в епископский сан.

Хру́шко — очень, сильно, крупно.

Человек божий — св. Алексей, день памяти которого отмечался 17 марта по ст. стилю.

Целова́льник — продавец вина в питейных домах, кабаках.

Чело́ — передняя часть русской печи.

Че́мер — конская болезнь.

Черни́чки — монахини.

Чернолесье — лиственный лес.

Чернота́л (шелюга, верба, лоза, ветла) — ива.

Чесно́к — частокол, частые столбы ограды, тын.

Чистый понедельник — понедельник первой недели великого поста.

Чумаки́ — возчики на юге России, доставлявшие грузы, в основном хлеб, к портам Черного моря.

Шабёр — сосед.

Ша́ньга — ватрушка, лепешка.

Шаше́йные — шоссейные, шоссейный сбор, взимавшийся с каждого экипажа на заставах при выезде из городов.

Ше́леп, шелепень — плеть, кнут.

Шептуны́ — лапти из рассученных веревок, из пеньковых отрепьев.

Шесто́к — передний под печи.

Шиш — бродяга, доносчик.

Шлык — женский головной убор.

Шоркунцы́ — бубенцы.

Шо́фа, шоф — сарай, амбар на базаре, где хранятся лен и пенька.

Шуга́й — душегрейка, женская короткополая кофта.

Щеко́лда — вал на ткацком станке.

Ще́лья — каменистый берег, каменная гора на берегу моря или реки.

Яма — ям, дорожная станция, где происходила замена лошадей.

СОДЕРЖАНИЕ

Из книги

«КРЫЛАТЫЕ СЛОВА»

Максимов С. В.

М29 Куль хлеба: Рассказы и очерки.— Л., Лениздат, 1987.— 655 с.

В сборник произведений замечательного русского писателя Сергея Васильевича Максимова (1831—1901) вошли рассказы, очерки, отрывки из его книг «Лесная глушь», «Год на Севере», «Куль хлеба и его похождения», «Крылатые слова», в которых ярко запечатлены коренные стороны быта и творчества русского народа.

М $\frac{4702010100-061}{М171(03)-87}$ 175—87 **84.3Р**

Сергей Васильевич Максимов

КУЛЬ ХЛЕБА

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

Составление, вступительная статья и примечания
АНТОНИНЫ НИКОЛАЕВНЫ МАРТЫНОВОЙ

Зав. редакцией *А. И. Белинский*
Редактор *Н. Ю. Памфилова*
Художественный редактор *Б. Г. Смирнов*
Технический редактор *И. Г. Сидорова*
Корректор *В. Д. Чаленко*

ИБ № 4337

Сдано в набор 05.08.86. Подписано к печати 06.03.87. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарн. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 34,44. Усл. кр.-отт. 34,44. Уч.-изд. л. 38,44. Тираж 200 000 экз. Заказ № 536. Цена 3 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.